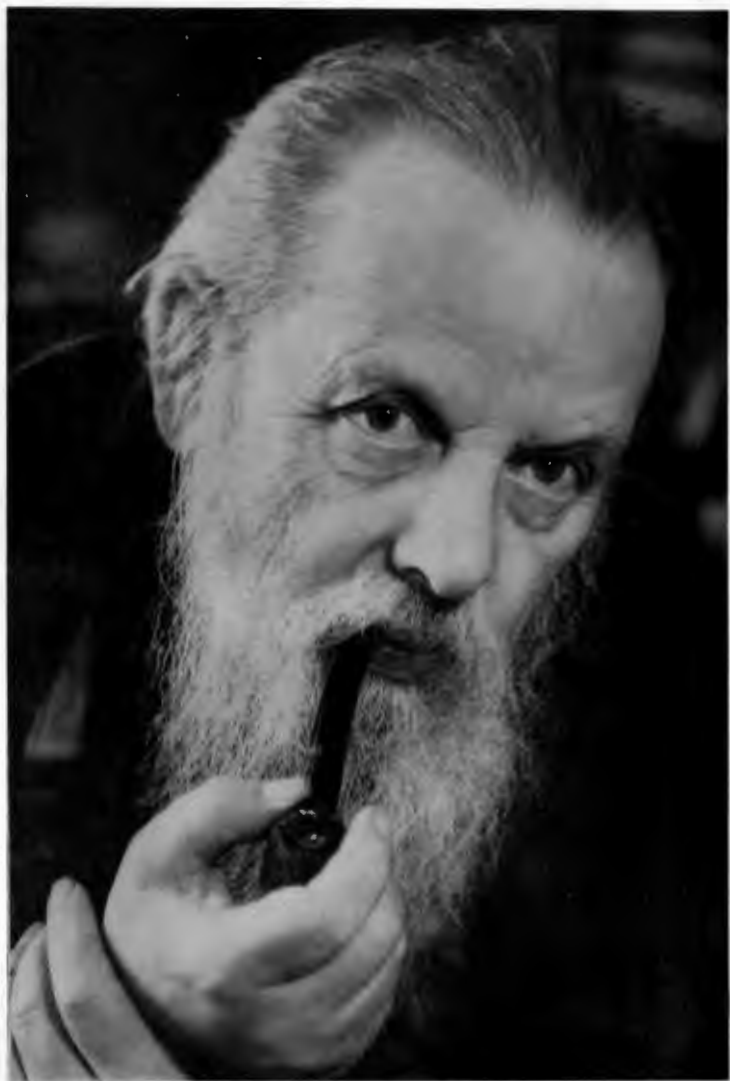


8P2(C17)
M 328

МАСТЕР, МУДРЕЦ, СКАЗОЧНИК

*Воспоминания
о П. Бажове*

1740359



N. Bamby

МАСТЕР, МУДРЕЦ, СКАЗОЧНИК

*Воспоминания
о П. Бажове*

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1978

Издание этой книги воспоминаний приурочено к столетию со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879—1950), создателя классических сказов «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер». Поэты (Л. Татьяничева, А. Сурков), прозаики (А. Караваева, Ф. Гладков, Лев Кассиль, Е. Пермяк, Б. Полевой), критики (Л. Скорино), а также многие друзья и родные Павла Петровича Бажова воссоздают человечески притягательный образ этого выдающегося художника, увековечившего своим живым словом красоту души уральских мастеров и умельцев.

СОСТАВИТЕЛЬ В. А. СТАРИКОВ

*В книге воспроизведены фото И. Н. Тюфякова
и фото из архива семьи П. П. Бажова*

М $\frac{70202-194}{088(02)-78}$ 103-78

©Издательство «Советский писатель», 1978 г. Очерки, отмеченные в содержании звездочкой, печатались до 27 мая 1973 г.



В. А. БАЖОВА



О МУЖЕ

Вдали от центра, на тихой улице уездного города Екатеринбург, стояло довольно мрачное кирпичное здание. В нем помещалось епархиальное женское училище. Здесь в основном учились те, чьи родители не имели возможности вносить высокую плату за обучение в гимназии. При школе было общежитие. Школа готовила учителей для города и сельских школ.

Вспоминается длинный школьный коридор в день первого сентября 1907 года. Ученицы шумно делились впечатлениями о том, как провели каникулы. Но не только этим были они взволнованы — ждали прихода нового учителя русского языка. Прозвенел звонок. Вошли в класс. Чинно расселись по местам. Послышалось покашливание, и в класс вошел человек среднего роста, с красивой, густой бородой и чуть волнистыми русыми волосами. Но особенно привлекали внимание его умные и какие-то лучистые глаза. Это был наш новый учитель русского языка Павел Петрович Бажов.

Не только мы присматривались к новому учителю, но и он, когда поднялся на кафедру, испытующе обвел

взглядом притихший класс и чуть приметно улыбнулся, как будто подумал: «Посмотрим, что вы за народ...»

Раньше, как нам стало известно, он преподавал в мужском духовном училище, и там его очень любили, и ему было интересно работать с мальчишками. Как я узнала впоследствии, ему не хотелось расставаться с учениками, он боялся, что девочки народ менее восприимчивый и пассивный.

Свой первый урок Павел Петрович просто беседовал с нами. Выяснил, что мы из себя представляем. Много говорил сам о красоте и богатстве русского языка, о том, как важно знать его в совершенстве.

Павел Петрович отличался от большинства преподавателей, державшихся чопорно и официально. Между учителем и нами установился постоянный тесный контакт. Хотелось лучше подготовить урок, лучше ответить. На его уроках не было места равнодушию, зубрежке.

Любое, сухое и трудное на первый взгляд, грамматическое правило становилось доступным, понятным, живым в изложении Павла Петровича, прививавшего нам вкус и любовь к русскому слову. Он строил свои уроки на примерах, взятых из русских былин, басен Крылова, стихов Пушкина, Некрасова, Лермонтова, из произведений Тургенева, Толстого, Лескова, Чехова. На его уроках казалось, что учитель приходит в класс и свободно импровизирует. Между тем эта простота и доступность изложения достигались путем тщательной, длительной подготовки. Впоследствии Павел Петрович говорил:

— Мне приходилось работать с подростками, и, разумеется, здесь всегда могли возникнуть неожиданные вопросы, поэтому надо было готовиться серьезно и широко. Больше всего было трудностей в области правописания. Это была самая кропотливая, самая скучная часть работы, в связи с чем я много читал сам и учил четко излагать мысли. Все это требовало подготовки и знания литературы, а также знакомства с различными предметами из области естественных наук. Надо было удачно подобрать материал, чтобы он служил для сознательного изучения родного языка.

Очень внимательно подходил Павел Петрович к оценке ученических работ. Особенно не любил он «красивостей», которыми часто изобиловали наши сочинения.

«Погоня за искусственными построениями ничего, кроме вреда, не принесет». «Не забывайте, что красота слога прежде всего — в простоте». «Чем проще, тем лучше». «Избегайте всего искусственного». Подобные замечания можно было встретить на полях многих ученических тетрадей, правленных рукой Павла Петровича.

Он обладал большой выдержкой и умением владеть собой. Не было случая, чтобы он повысил голос или резко оборвал ученицу, плохо знавшую урок. Если его что-нибудь раздражало, он хмурил брови и несколько раз проводил рукой по волосам — всем становилось ясно: Павел Петрович чем-то недоволен.

Его деятельность не ограничивалась преподаванием русского языка. Он выступал как педагог в самом широком смысле этого слова. В частности, внимательно следил за тем, что мы читаем. Очень резко и насмешливо отзывался он о книгах Чарской, заполнявших в ту пору все школьные библиотеки:

— Они не раскрывают перед читателем подлинной жизни, не говорят о труде, а учат скользить по поверхности жизни, маня легкими удовольствиями, уводят от действительности в царство мечтаний.

Подобной псевдодетской литературе он противопоставлял произведения классиков. У Павла Петровича в эти годы была большая и хорошо подобранная библиотека. В ней были собрания сочинений Гоголя, Пушкина, Чернышевского, а также книги по истории, экономике и естествознанию. Павел Петрович очень много читал. Уже тогда он работал над картотекой. На карточки в основном записывались пословицы, поговорки, жизненные эпизоды, присловья, шутки. Рядом с общероссийской пословицей стояло уральское слово, факт.

Своей личной библиотекой он позволял пользоваться ученицам. Беседовал с нами о прочитанном, углубляя понимание не только художественного, но и идейного значения произведений русских классиков. В 1910 году мы все были под сильным впечатлением

грустного события — умер Лев Николаевич Толстой. Несколько уроков Павел Петрович посвятил изучению творчества этого великого писателя, акцентируя наше внимание на его критике социальных порядков.

Впоследствии одна из учениц Павла Петровича, А. Алексеева, педагог Красноуфимской школы, говорила на собрании, посвященном выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР: «Хорошо помню Павла Петровича Бажова, его теплое, простое отношение к нам, ученицам. Павел Петрович всегда отличался тем, что старался отдавать людям все свои знания. Он привил мне, как и многим другим своим ученикам, любовь к нашему родному, великому языку, к литературе».

В 1911 году, когда я окончила училище, Павел Петрович сделал мне предложение. Наша совместная жизнь сложилась на основе глубокой любви, большой дружбы и доверия. Эти чувства прошли через всю нашу жизнь, не угаснув до последних дней.

Павел Петрович много рассказывал мне о своем детстве, о том периоде жизни, которого я не знала. Вырос он в семье рабочего, которая знала нужду и тяжелым трудом добывала средства для существования. Но это не отражалось на крепких дружеских отношениях между членами семьи.

Здоровая, трудовая атмосфера в доме Бажовых, полное взаимопонимание между отцом, матерью и сыном — все это еще в детстве наложило отпечаток на характер Павла Петровича, способствовало воспитанию душевной бодрости, веры в человека, трудолюбия.

Отец Павла Петровича, Петр Васильевич Бажов, работал на Сысертском заводе, в пудлинговом цехе. Он был добрым и веселым человеком, ласковым по отношению к детям. Доброта, однако, не мешала ему решительно и принципиально вести себя на работе. Часто он, опытный, квалифицированный рабочий, жестоко платился за резкие отзывы о начальстве, за обличение жестоких порядков на заводе. Не раз его переводили с одного завода на другой, а иногда и увольняли с работы. За годы военной службы Петр Васильевич много повидал и сумел правильно оценить увиденное. Ему было присуще чувство презрения ко всякому «жулью», «сударям» и «присударям», грабя-

щим людей труда — крестьян и рабочих. Подлинным человеческим достоинством, гордостью рабочего человека были проникнуты его наставления десятилетнему сыну, когда тот отправлялся в город на учебу.

Я не знала Петра Васильевича. Он умер задолго до того, как мы поженились. Мать Павла Петровича, Августа Степановна, жила с нами. Она рассказывала мне о своей тяжелой юности. Девочкой-сиротой она попала в большую, многодетную семью отчима, где на нее взвалили всю черную работу по дому, уход за скотиной. Еще совсем маленькой ее отдали в мастерскую, где она научилась искусству плетения кружев и вязанию ажурных чулок. Это впоследствии явилось большим подспорьем для семьи, особенно в беспросветно голодные годы, когда Петр Васильевич сидел без работы.

Но бесчисленные житейские тяготы не ожесточили Августу Степановну. Она была неизменно добра и внимательна к окружающим. После смерти мужа сын остался ее единственной привязанностью и опорой. Благодаря природному уму и жизненному опыту она сумела стать другом для сына. Ее настойчивости, заботам и самопожертвованию Павел Петрович во многом обязан своим образованием. Большая любовь к сыну, единственному ребенку в семье, заставила мать решиться на отправку его в Екатеринбург и мужественно вынести многолетнюю разлуку.

Выбор учебного заведения определялся материальным положением семьи. Ни в гимназию, ни в реальное училище родители не могли поместить мальчика, так как плата за обучение была там в два-три раза выше, чем в духовном училище, где от учеников не требовалось форменной одежды и предоставлялось общежитие.

Когда Павел Петрович учился в четвертом классе Пермской семинарии, отец его умер, и продолжать учебу пришлось, добывая средства для существования собственным трудом. Кроме того, на плечи легла забота о матери. Приходилось братья за все: давать частные уроки, заниматься репортерской работой в пермских газетах, корректурой, разработкой статистических материалов. В годы учебы Павел Петрович принимал участие в выступлениях семинаристов против реакци-

одно настроенных преподавателей, в устройстве маёвок за Камой, в течение трех лет был библиотекарем подпольной библиотеки, в которой имелись произведения Маркса, Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

После окончания семинарии Павел Петрович мечтал продолжить свое образование в университете, но мечте этой не суждено было осуществиться. Впоследствии Павел Петрович вспоминал: «Несмотря на предельно высокую оценку успеваемости по всем предметам, в моем семинарском аттестате была пометка о специальной характеристике». Очевидно, она была отрицательной и указывала на политическую неблагонадежность Павла Петровича. Во всяком случае, ему было отказано в приеме в Томский университет и даже запрещено остаться вольнослушателем с правами зачета.

«Политическая неблагонадежность» выпускника духовной семинарии с годами усиливалась. Павел Петрович активно участвовал в революционных событиях 1905 года в Екатеринбурге, в забастовке сысертских рабочих, в работе учительского союза. О продолжении учебы нечего было и думать, и Павел Петрович остался учителем русского языка и литературы в Екатеринбурге. Вместе со своей матерью поселился он на окраине города, в небольшом деревянном домике.

В первые годы нашей совместной жизни Павел Петрович работал над историей крестьянской войны во главе с Е. И. Пугачевым и над историей города, часто бывал в архивах. Несколько лет он занимался изучением французского и немецкого языков. Вместе мы читали много исторической и художественной литературы. Ходили в театры, чаще в оперный. Павел Петрович никогда не пел, не играл на музыкальных инструментах, но пение и музыку любил и понимал.

В молодости я немного пела, аккомпанируя себе на гитаре. И не было для него большего удовольствия, чем слушать меня в тихие вечерние часы. Позже мы часто бывали у краеведа и библиографа Андрея Андреевича Анфиногенова и его жены Надежды Павловны. Музыкальные дуэты Анфиногенова и врача Одинцова доставляли Павлу Петровичу истинное наслаждение. И в более поздние годы очень радовался Павел Петрович, когда слышал по радио или в концерте ставшую ред-

кой игру на гитаре. Он сердился на меня за то, что в повседневных заботах о детях, о семье я совсем забросила музыку. Гитара висела у нас в комнате до последних лет, хотя после смерти Алеши, очень музыкального мальчика, никто больше не прикасался к этому инструменту.

Павел Петрович был замечательным отцом. Его отношения с детьми устанавливались на основе дружбы. В доме никогда не было ссор, недоразумений, тяжелых сцен.

К женщине-матери он вообще относился с огромным уважением. Помню, одна молодая женщина, инженер-химик, пожаловалась, что не может работать, так как вынуждена все свое время посвящать ребенку. Павел Петрович сказал: «Напрасно вы огорчаетесь! Быть хорошей матерью не менее трудно и не менее почетно, чем быть хорошим инженером».

В самые тяжелые и ответственные моменты жизни, когда Павел Петрович был на фронте и потом, находясь на нелегальном положении, работал в Западной Сибири, он всегда помнил о своей семье, заботился о нас. Вот одно из его писем, датированное осенью 1918 года:

«Валянушка. Родная моя, хорошая, дорогая! Ребята! Где вы все? Что с вами? Как тяжело не знать этого. Хотя и уверяю себя, что ничего с вами не сделали, но полной уверенности все-таки не имею, и мне представляются картины одна другой безотраднее. Трудно, оказывается, быть политическим работником, оставив в таких условиях семью. Тяжело. Одно время я был уже совсем близко, только несколько верст отделяло меня от вас, но пришлось отступить. Ты все-таки не унывай, крепись и заботься о ребятишках. Все в них. У них все впереди. И для своих, и для чужих ребят не могу согласиться, чтобы опять допустить владычество этого проклятого денежного мешка. Его свалить — ничего не жаль. И все-таки свалим! Из наших, которых ты знала, правда, многих нет, но на смену им приходят новые, и силы не слабеют, а крепнут, если не здесь, то в других местах. У меня все-таки уверенность, что к зиме будем в своем уезде, вернусь и я, если, конечно, уцелею. Наши меня, правда, берегут, но случайности всякие бывают. Работы у меня, как везде

и всегда, полно. Ею только спасаюсь. Если выдается свободный час, то это всего хуже — все думаешь, что с тобой, с Алешкой, с девчонками. Ночи не сплю сплошь, а как-то это на меня мало действует, вошло в привычку. Но ты не бери с меня примера. Помни, что у тебя на руках трое малышей и у самой еще много осталось впереди. Не унывай, заботься о ребятах, жди меня. А если не случится возвратиться, не раскисай, не падай духом, у тебя дети. Помни мою последнюю просьбу — воспитай, как я говорил. Прощай, поцелуй ребят».

И позднее, постоянно находясь в командировках, будучи целиком поглощен работой, Павел Петрович всегда помнил о семье, заботился о ней.

В период коллективизации он долго жил в районе Ирбита. К десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции «Крестьянская газета» подробно освещала путь советского крестьянства. Павел Петрович ездил по деревням Ирбитского и Зайковского районов. Его корреспонденции часто печатались в газетах и журналах. Накопились впечатления и на книжечку очерков «Пять ступеней коллективизации». Он был целиком захвачен событиями, происходящими в деревне.

«12/IV—1930

Валянушка, ну, я опять пока в Зайково. На днях будет в Скородуме собрание уполномоченных артели. Мне придется дожидаться этого собрания. А потом поеду в Чернорицк, как предполагал. Уже сговорились с председателем артели — примерно после 15—16 направлюсь на недельку, может быть и больше, в этот район. Там, кроме Чернорицка, придется, вероятнее всего, поработать еще в Белослудском селе. Кстати, там, говорят, на пригорках скорее сохнет. Есть предположение перебросить туда трактора и начать пахоту неделей раньше, чем ожидают по району. Очень бы хорошо получилось, если бы удалось! Все-таки чуть не десятую часть пахоты можно бы возложить на машины. Вчера была проверка тракторов — оказались в удовлетворительном состоянии. Меня все больше и больше начинают захватывать деревенская весенняя суматоха, тревога о погоде. Приближаются те горячие дни, о которых сложилось присловье: «О вешну за вицей в куст некогда...» Для успешной работы мне нужно

лишь, чтобы у вас там все было как надо. Ну, всего хорошего. На улице шумят тракторы, прибыли новые. Целую крепко тебя и ребятишек...»

Павел Петрович любил Урал. Природу, климат нашего края, «зиму с морозцем». Где бы нам ни приходилось бывать — в Крыму, на Кавказе, в Сибири, на Алтае, — его неизменно тянуло на Урал, к его горам, лесам с высокими мачтовыми соснами, прудами и горными озерами, к людям Урала. Много раз ему предлагали переселиться в самые разные места, но он неизменно отвечал: «Нет лучше Урала! На Урале родился, на Урале и умирать стану».

Из времен года Павел Петрович любил раннюю осень, так называемое бабье лето. «Едва ли молодая зелень весны сравнится с красотой осеннего леса. Одна рябина чего стоит», — любил говорить он. Но в последние годы жизни осенние краски наводили на него грусть. С особой силой полюбил он весну.

«Какой-то неуловимый и в то же время всеми чувствуемый и понимаемый запах весны и есть та привязка к жизни, которая не ослабевает, а чуть ли не усиливается с годами», — писал он. «Ну, теперь веселее станет, дни будут прибывать, не заметишь, как и весна подойдет... и человек радуется, что за зимой придут весна и лето. А об осени и зиме, которые тоже неизменно придут, никто почему-то не думает».

Физический труд приносил радость Павлу Петровичу. Зимой — уборка снега, осенью — пилка и колка дров, весной и летом — работа в саду. Самым большим удовольствием для него было «копаться в земле до пота». Такой отдых, он считал, лучше всякого другого. Весь наш небольшой сад он возделал собственными руками. Липу посадил крошечным деревцем тридцать с лишним лет назад, а позже вместе с детьми приносил из леса и посадил березку, кусты рябины. Последние годы жизни увлекался посадкой фруктовых деревьев.

В 1914 году умерла Августа Степановна, одной с двумя девочками, одного года и двух лет, мне было трудно, и я уговорила Павла Петровича переехать в Камышлов, поближе к моим родным. Мои сестры и мама жили тогда в Камышлове. Павел Петрович особенно не возражал, он всегда считался со мной. И вот

мы в Камышловe. И здесь Павел Петрович учительствовал. Здесь мы встретили Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

Дружба с рабочими-большевиками, которая началась еще в дореволюционные годы, оказала серьезное влияние на него. Рабочие паровозного депо — В. Д. Жуков, Д. И. Лещев — и обувной фабрики — Подпорин и Удников — часто бывали у нас дома и засиживались до глубокой ночи, обсуждая наиболее важные вопросы того времени — война, пути дальнейшего развития России... Когда разговор заходил об истории, литературе, искусстве, говорил больше Павел Петрович, а остальные жадно слушали. Как-то в наступившей тишине Василий Данилович Жуков сказал: «Эх, нам бы такую грамоту, если не нам, то хоть нашим детям!» — «Завоеуем!» — откликнулся Павел Петрович. Сказал уверенно, твердо. Эта дружба в жизни Павла Петровича сыграла немалую роль. Она помогла ему выбрать правильный путь в жизни.

К началу 1917 года встречи у нас на квартире участились, причем всякий раз народу собиралось все больше и больше. Это могло вызвать подозрение полиции, и место собрания было перенесено в загородный сад, на Бамбуковку, в здание депо. В феврале 1917 года у кружка наладилась связь с революционной группой расквартированного в городе запасного 137-го полка. С первых дней февральской революции Павел Петрович и все члены кружка работали по заданию большевистской организации. Они принимали активное участие в организации общегородских собраний, особенно после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Я нередко бывала с Павлом Петровичем на таких собраниях, устраивавшихся чаще всего в здании городского кино. Обычно помещение наполнялось до отказа. Многие рабочие приходили целыми семьями. Но теснота и духота не мешали людям по пять-шесть часов слушать речи ораторов, принимать участие в спорах. На этих собраниях выступал и Павел Петрович. Он говорил, как обычно, тихо и спокойно, но за этим спокойствием чувствовалась горячая убежденность в правоте революционного дела. Слушали его всегда внимательно, в зале стояла тишина. Встречали и провожали аплодисментами.

Начиналась подготовка к вооруженному восстанию. Под руководством большевиков шла организационная работа, собирали оружие, создавались боевые отряды. Помню, как-то ночью Павел Петрович уходил на очередное задание. Поцеловал спящих ребят, обнял меня. Время было такое, что всякий раз, расставаясь, прощались навсегда. Хотел что-то сказать, но только рукой махнул: «Что говорить, ты и так всегда все понимаешь».

Началась трудная, ответственная полоса нашей жизни. Впоследствии, обращаясь мысленно к этим годам, Павел Петрович говорил:

— Вспоминаются трудные, но прекрасные дни гражданской войны, каждый день приносил новые неожиданности, новые события.

В апреле 1917 года он был избран в уездный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в феврале 1918 года — комиссаром просвещения, в июле — ответственным редактором камышловской газеты «Известия», принимал участие в организации первых отрядов для борьбы с контрреволюцией.

В 1918 году Павел Петрович был принят в партию. С началом гражданской войны события развивались стремительно. С востока на Урал двигалась армия Колчака. Над Камышловом нависла угроза захвата чехословаками. Советские органы в Камышлове предприняли изъятие ценностей из банков. Одним из членов комиссии по изъятию ценностей был и Павел Петрович Бажов. Он рассказывал так: «С одним из отрядов, организованных из крестьян Тамакульского села, в количестве 28 человек, по заданию уездисполкома, эвакуировали в Пермь ценности. По окончании эвакуации в конце июля 1918 года, вместе со всем отрядом явились на фронт, который был тогда в Егоршино. Был зачислен, как тогда говорилось, в Особую советскую роту. Впоследствии эта группа была причислена к отряду Жукова, потом Окулова. Работу вел главным образом по отделу агитации и пропаганды. В октябре стал секретарем ячейки штаба 29-й дивизии, заведовал подотделом политотдела дивизии, а еще раньше был назначен фактическим редактором дивизионной газеты «Окопная правда» (агитвагон). Вся работа эта протекала в условиях боевой обстановки». Так Павел Петрович

стал добровольцем Красной Армии. Во время «пермской катастрофы» Павел Петрович был захвачен белыми и попал в тюрьму. Через некоторое время ему удалось бежать. Попытка пробраться к своим через линию фронта окончилась неудачей. Части Красной Армии и партизанские отряды отступили за Каму, и путь к ним преграждали многочисленные колчаковские заслоны. Павел Петрович решил направиться в Сибирь. Холодной уральской зимой, в легком пальто и сапогах, шел он ночами вдоль проселочных дорог, находя временный приют в деревнях и заводских поселках. Павел Петрович вспоминал, как однажды его, замерзшего, полуживого, подобрал в лесу крестьянин, уложил в дровни, укутал рогожей и, рискуя собственной жизнью, провез мимо колчаковского поста. Об этом пути из Перми в Екатеринбург, а потом через Камышлов в Томский Урман Павел Петрович предполагал рассказать подробно в «Записках рядового крестьянского полка». В Камышлов Павла Петровича вело желание узнать, что с семьей. Чтобы в захваченном белогвардейцами городе его не узнали, он изменил внешность — сбрил бороду и усы.

Мы в это время находились в отчаянном положении. В маленьком уездном городе, каким был тогда Камышлов, всем было известно, что я жена большевика и что муж ушел с частями Красной Армии. В доме несколько раз производились обыски. Я с детьми пыталась укрыться у сестры, учительницы Августы Александровны Иваницкой, в селе Спасском. Но и здесь свирепствовали белые. Сестру на второй день арестовали и увезли в Камышлов. Арестовали и вторую сестру, Наталью Александровну Иваницкую, за то, что почти все ее ученики ушли с частями Красной Армии. Арестовали зятя, тетку. Племянника зарубили шашками.

Меня не трогали,— видимо, надеялись, что беспокойство о семье приведет сюда Павла Петровича и его удастся схватить. Школа, где я осталась с детьми и старушкой матерью, непрерывно подвергалась обыскам. Мне в конце концов пришлось вернуться в Камышлов. Я ждала ребенка. В больнице, сразу же после родов меня отправили в заразный, скарлатинозный барак, где я и новорожденный тяжело заболели. И тогда

меня, больную, с умирающим ребенком на руках, выписали из больницы. Как раз в эти дни и попал в Камышлов Павел Петрович. Позже он говорил, что никогда из его памяти не изгладится картина той страшной ночи.

Павлу Петровичу пришлось покинуть нас. И не только потому, что в городе свирепствовали белые и оставаться было опасно. Он ехал в Сибирь, где нужны были большевики, где развертывалась партизанская война против колчаковцев. Через Тюмень, Омск, Каинск Павел Петрович пробирался в Томский урман, где принял деятельное участие в партизанском движении (в книге «За советскую правду» отражена эта полоса его жизни).

Отправился он в дорогу совсем больным, путь от Перми до Екатеринбурга в морозы, в легкой одежде отозвался на его здоровье. Потом в Томске он попытался остановиться, поискать своих, но это ему не удалось: документ, сделанный ему камышловскими железнодорожниками, вызвал подозрение, подписи были сделаны плохо. Еле выбрался из Омска. Пришлось ехать дальше. А куда? Совсем больным добрался до Барабинска.

В двенадцати километрах от Барабинска, в городе Каинске, Павлу Петровичу удалось получить документ учителя и выехать в дальний район уезда, где он связался с партизанским отрядом Михайлова и Мацука. После того как отряд был жестоко разгромлен карателями, Павел Петрович с документами, сделанными на бланке страхового отдела барабинскими железнодорожниками, под фамилией Бахеев (при написании «Бажов» легко переделывается в «Бахеев»), был направлен на работу страховым агентом от Змеиногорского уезда, а в действительности на нелегальную работу. Поселился в трех километрах от города Усть-Каменогорска, на Верхней пристани, в доме Рябовой Матрены Антоновны. Двое сыновей ее, большевики, погибли от руки белогвардейцев. В это время Павел Петрович принимал участие в организации партизанского движения в районах Рудного Алтая. Разъезды, связанные с работой «страхового агента», давали возможность бывать в различных районах края, главным образом в Риддере и на Бухтарме.

Едва поднявшись на ноги после болезни, я начала собираться вместе с детьми к Павлу Петровичу. От него к тому времени была получена весточка. Не оставили меня ни дальность расстояния, ни трудности и опасности пути. Была только одна мысль — поскорее добраться до мужа. Я уехала из Камышлова тайно — иначе задержали бы колчаковцы. Много пришлось перенести за дальнюю дорогу, во вражеском окружении, но всюду находились люди, которые помогали мне и детям.

Одним из лучших моментов моей жизни была встреча с мужем после долгой и страшной разлуки.

В конце 1919 года Павел Петрович с партизанскими частями вступил в город Усть-Каменогорск. На первом общегородском партийном собрании он был избран членом горкома, а позже — председателем уездно-городского комитета РКП(б).

В трудных условиях устанавливалась советская власть на Алтае. Сказывалась близость границы, за которой скрывались остатки разбитых белогвардейских войск. В районе действовали банды, опиравшиеся на кулачество. Павел Петрович часто уезжал и, возвращаясь, рассказывал, какими непроходимыми тропами приходилось ему пробираться, как встречали его казаки с Бухтармы.

Вся наша семья жила при упробюро, напротив помещался комитет партии. Часто к нам заходили ответственные работники, чтобы отдохнуть, наскоро перекусить и отправиться на ночные дежурства. Около Усть-Каменогорска то и дело проходили банды белых. Город приходилось охранять. Распределялись посты по охране мостов, разъездов, дорог, складов с продовольствием. Усталые, озабоченные люди брали винтовки и уходили до утра. Уходил с ними и Павел Петрович. Часто случалось, что после дежурства кто-нибудь не возвращался... Эти тревожные, страшные ночи я проводила без сна, сидя на подоконнике, прислушиваясь к тревожной тишине ночи, лаю собак, к выстрелам где-то далеко в горах. Сидела и ждала: вернется ли? Жив ли? Долгие годы потом мне снились эти ночные ожидания, как кошмар.

Днем тревога за мужа несколько ослабевала. Дел было много. Как член женотдела, принимала участие в создании детских домов, устройстве многочисленных

сирот. Была активным членом первого в Усть-Каменогорске самодеятельного коллектива, возникшего при рабочем клубе «Красная звездочка». Исполняла самые различные роли, от главной героини до суфлера. В Усть-Каменогорске создавалась библиотека. Помню, с каким чувством радости я поставила на полку первые десять библиотечных книг. Подбор библиотеки, выдача книг все пополняющейся библиотеки тоже занимали немало времени. А кроме того, на моих плечах лежала забота о девочках и сыне.

Шел 1920 год. Как раз в это время группа партийных работников из Усть-Каменогорска была направлена в город Каркаралинск, расположенный западнее Семипалатинска. Старые боевые друзья настойчиво звали с собой на новую работу и Павла Петровича. Он очень хотел поехать, но пришлось задержаться — на губернской партийной конференции 1920 года Павел Петрович был избран в Семипалатинский губком партии. И мы переехали туда.

По приезде в Семипалатинск мы вскоре услышали ужасную весть. Каркаралинск подвергся нападению банды белых, которая проходила от Петропавловска к границе Монголии. Сорвав сторожевые посты, белые ночью ворвались в город. Перерезали, зверски растерзали не только партийных работников и их семьи, но и всех служащих. На следующий день в учреждениях было пусто. А из партийцев остались живы только двое — они находились в командировке в Семипалатинске. Погибли все боевые друзья Павла Петровича и их семьи.

Работая в Семипалатинске, Павел Петрович заболел малярией. Болезнь совсем лишила его сил и свалила в постель. Врачи предлагали единственный выход — перемену климата. В 1921 году по вызову из города Камышлова и с согласия Сиббюро ЦК РКП(б) Павел Петрович был откомандирован на Урал.

С тяжело больным мужем и детьми я вновь отправилась в дальний путь. Транспорт работал с перебоями. Приходилось ехать в теплушках, в тамбурах, жить по неделе и больше на каком-нибудь полустанке. В дороге Павел Петрович заразился тифом. Ослабленный организм с трудом боролся с болезнью. После брюшного тифа начался паратиф, потом тифоид и в конце кон-

цов тяжелое воспаление легких. Полгода жизнь Павла Петровича висела на волоске. Выздоровел он на Урале и уверял, что его спасла родная природа, по которой он так истосковался. Как только Павел Петрович начал вставать с постели, он просил, чтобы его уводили в лес. Там он сидел целыми днями, наслаждаясь покоем, тишиной, ароматом сосны, прогретой солнцем. К концу лета он так окреп, что врачи, которые не надеялись на его выздоровление, удивленно спрашивали: «Вы с какого курорта вернулись?»—«С нашего, уральского»,— отвечал Павел Петрович. Вскоре он смог приступить к работе в газете г. Камышлова «Красный путь».

В 1923 году мы всей семьей вернулись в Екатеринбург. Павел Петрович был назначен заведующим отделом крестьянских писем областной «Крестьянской газеты».

Впоследствии он говорил, что работа во фронтовой печати и особенно в «Крестьянской газете» дала ему столько жизненных наблюдений, так обогатила язык, что этого запаса он не мог исчерпать до конца жизни.

«Поток писем тогда измерялся тоннами,— вспоминал Павел Петрович,— а диапазон их был огромен: от мелких житейских вопросов до международных проблем в деревенском понимании. Какие ситуации, сколько материала для самых неожиданных поворотов! А язык! Это то самое, что только в молодости присниться может. Каким надо быть сухарем и чурбаном, чтобы не испытать на себе воздействие этой первоначальной красоты!»

Руководя работой своего отдела, Павел Петрович часто общался с селькорами, помогал выбирать темы, сосредоточиваться на главном и представляющем широкий интерес, учил писать просто, привычным разговорным языком. Селькоры любили Павла Петровича, доверяли ему, прислушивались к его советам. Некоторые стали друзьями, как Павел Соломеин, который часто бывал у нас в доме и много лет спустя после того, как Павел Петрович уже не работал в «Крестьянской газете», а Павел стал журналистом.

Еще до революции Павел Петрович много ездил по Уралу, собирал уральский фольклор. Сам он писал об этом: «В дореволюционное время свыше десяти лет довольно пристально и не совсем бессистемно присмат-

ривался к жизни уральской деревни. Изучал историю своего края. Неплохо знал экономику и быт так называемой горнозаводской деревни, население которой жило не столько сельским хозяйством, сколько горными и подсобными заводскими работами. Видел жизнь и тех людей, которые являлись эксплуататорами, поработителями, хозяевами уральской промышленности».

Великая Октябрьская социалистическая революция по-новому поставила перед Павлом Петровичем вопрос о писательском труде. Впоследствии он часто говорил, что только советская власть дала ему возможность подняться до высот литературы.

На Первом съезде писателей, в 1934 году, М. Горький обратился к писателям с призывом: «Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его. Он очень много дает материала и вам и нам, поэтам и прозаикам Союза». Это была первая побудительная причина. Вторая — подготовка Свердловским областным издательством сборника «Уральский фольклор». Помню, Павел Петрович вернулся домой после беседы с составителями сборника очень взволнованный:

— Подумать только — рабочий фольклор в сборнике не представлен, стыд в люди сказать!

В эту ночь он особенно долго не ложился. Шелестели странички, он доставал с верхних полок какие-то старые, казалось, забытые папки, снова что-то искал. Много курил, ходил по комнате.

Думаю, что мысль реализовать накопленные знания зрела давно. Еще в 1925 году Павел Петрович со старшими детьми обошел пешком все уральские заводы, близкие ему по месту рождения. С младшей дочерью мы провели лето в Сысерти в 1934 году. Тогда он нам показал места, знакомые с детства — Полевской, Северский, Верхне-Сыртский заводы. Много рассказывал о прошлом, раздумчиво и просторно, как будто вспоминая для себя. В общей сложности на протяжении десяти лет, с 1925-го по 1935-й, он раз шесть побывал на уральских заводах. Очевидно, он искал пути к сказам. Свидетельством этих поисков можно считать его ранний сказ «Водолазы».

В 1936—1939 годах появились первые сказы «Малахитовой шкатулки». Помню, в день нашей серебряной

свадьбы Павел Петрович прочел сказ «Медной горы хозяйка». Я и дочери были его первыми слушателями.

В годы Великой Отечественной войны жизнь Павла Петровича была заполнена заботами о писательской организации Свердловска, об устройстве быта своих и приехавших из разных городов писателей, агитационной работой, поездками на заводы, в госпитали, в колхозы, выступлениями в рабочих клубах, школах.

Первое время он заколебался: «Нужны ли сейчас сказки?»

Сама жизнь ответила ему на этот вопрос. В трудном для нашей страны 1942 году в одной из московских типографий печаталась «Малахитовая шкатулка», книга о прошлом русского народа, о его мудрости, мастерстве, о любви к родине. Народ высоко оценил произведения Павла Петровича. Бойцы в письмах с фронта много раз подтверждали, что книга нужна, что она учит их любви к отчизне и ненависти к врагу.

«Ваша книга о народной мудрости и ненависти к врагу учит нас любить нашу родину, гордиться вековой славой уральцев, беречь нашу отчизну от посягательств врага»,— писали ему гвардейцы танкисты.

«Мы хотим, чтобы вы были нашим почетным гвардейцем, шагающим с нами вперед, к окончательному разгрому врага»,— писали ему воины-уральцы, защитники Сталинграда.

И не в одной фронтовой газете в те годы можно было прочесть строки, обращенные к советским воинам, за подписью: «Ваш старый уральский сказочник».

«Мы ни на минуту не забываем,— писал Павел Петрович в одном из писем,— о том, что вы там, на фронте, отстаиваете то самое великое и дорогое, без чего никому из нас нет жизни... Поэтому каждый из нас старается помочь вам, защитникам человеческих прав, культуры и радости жизни. Пусть цветет наша родина не только своими чудесными недрами, но и вами, героями-победителями, чтобы вашему старому уральскому сказочнику легко было перейти от овсяного сказкой былого к не менее яркой, творимой вами легенде. Той легенде, которая в истории веков и народов станет самой прекрасной из всего, что когда-нибудь делал человек».

Последние годы нашей с ним жизни были наполнены радостными волнующими событиями. Писательский труд Павла Петровича был высоко оценен. Правительство наградило Павла Петровича орденом Ленина, ему присвоено звание лауреата Государственной премии, он был избран депутатом Верховного Совета СССР. Но и окруженный всеобщим вниманием Павел Петрович оставался таким же простым и скромным человеком, каким он был всегда.

Павел Петрович любил путешествовать, видеть новые места, новых людей. Мечтал он увидеть гораздо больше, чем ему привелось. Еще в молодости мы с ним любили совершать путешествия по карте. Выберем какой-нибудь город, и Павел Петрович рассказывает, какой он, когда построен, какие реки и леса вокруг, какие памятники старины, но ни в одном из этих городов побывать нам не пришлось.

В 1937 году в Комсомольск-на-Амуре, не без влияния отца, уехала наша дочь Елена. Я очень горевала, что она уезжает так далеко, боялась за ее здоровье, а Павел Петрович меня утешал: «Зато сколько увидит! Край-то какой! Да будь мы с тобой помоложе, тоже бы махнули. Не горевать, а завидовать надо. Там еще столько первозданной красоты!»

Это была его обычная формула: «Что можно увидеть и услышать в жизни — нельзя придумать, хоть кожаные штаны просиди». В последние годы жизни нам посчастливилось поехать по стране. Дети выросли и не требовали моих забот, материальное положение позволяло, и мы теперь ездили вместе. Каждая из этих поездок мне памятна.

— Что-то тянет меня на дорогу,— говорил Павел Петрович.

И, отложив все дела, решал:

— Едем...

Так, сентябрьским ранним вечером 1946 года мы выехали в колхоз «Заря» Ачитского района, к нашим друзьям Александру Порфирьевичу и Марье Гавриловне Терновым.

Когда выехали на старый Сибирский тракт, памятный Павлу Петровичу с детства, он замолчал, на вопросы отвечал односложно, внимательно всматривался, в сгущающихся сумерках стараясь разглядеть знако-

мые места, и только временами, как бы проверяя себя, предупреждал:

— Тут, сколько помню, будет крутой поворот, а за ним спуск.

— А тут, посмотрите, плакучие березы пойдут, в другом месте таких не увидишь.

Машина наша бежала быстро, водитель, профессор, друг Александра Порфирьевича, был неуютим, и мы на рассвете прибыли в «Зарю». Нас ждали и нам были рады.

Весь следующий день ходили по колхозу. Александр Порфирьевич с гордостью показывал свое большое хозяйство. Павел Петрович обо всем расспрашивал. Внимательно слушал. Когда пришли на строящуюся плотину, он и Тернов горячо обсуждали возможность разведения рыбы в пруду. Павел Петрович рассказывал, что где-то в подобных условиях попробовали разводить зеркального карпа — не получилось, оказалось, эта рыба довольно капризная и не везде приживается. Спрашивал, не стоит ли посоветоваться с кем-нибудь из знающих людей в Свердловске, чтобы ошибки не вышло.

На участке для нового поселка посмотрели места, отведенные на строительство домов, больницы, школы, усадеб специалистов. Павел Петрович сказал:

— Вот был бы я агроном или электрик, поселились бы мы с тобой, Валянушка, здесь!

— Ну что вы, Павел Петрович, соскучились бы тут, у нас, — покачала головой Мария Гавриловна.

— О чем? О толчее большого города? О времени, которое тратится на транспорт и пустопорожние разговоры? А что, в самом деле, тишина, воздух как мед, возможность работать полная, а при желании да при наличии машины, радио, телефона — город рукой подать!

В мастерских, где делали шестерни и колеса для большого колхозного хозяйства, задержались, поговорили с рабочими, покурили. Осмотрели огород с сортовым картофелем. Павел Петрович позавидовал порядку и ухоженности, рассказал про наш беспорядочный, бесхозяйственный огород, но и похвалился: зато веселый, маки и душистый жасмин растут вперемежку с картошкой.

По дороге заглянули в маленький домик, где начинали свою жизнь молодые Терновы двадцать три года назад, когда еще никакого колхоза и в помине здесь не было, а стал самым большим в области! Павел Петрович расспрашивал о прошлом, о трудностях, которые пришлось вынести в начале строительства колхоза, о детях. Мария Гавриловна, человек веселый и остроумный, рассказывала обо всем интересно, с юмором и не раз заставляла нас смеяться, хотя горя ей пришлось хлебнуть немало.

Дорога назад запомнилась своей удивительной красотой и рассказами Павла Петровича. Он был весел, оживлен, будто помолодел. Сказала ему об этом. Он рассмеялся.

— Понятно, посмотришь на эти старые березы и думаешь: а ведь это все было точно таким, когда я мальчуганом впервые здесь проезжал,— вот и почувствуешь себя моложе. Вся и разница в том, что сейчас едем на машине и за рулем профессор, а тогда, пятьдесят с лишком лет назад, на ветхом пеганке или на велосипеде. Как будто вчера было: остановился я на развилке Сибирского и Исетского трактов, и тут и там старые плакучие березы, и решаю: куда? На Югиново или на Белоярку? И вся жизнь еще впереди...

По дороге от Первоуральска вспоминал, как летом 1898 года, по совету ветеринарного врача Николая Семеновича Смородинцева, для заработка работал в Билимбае на эпизоотии. Здесь все нашел изменившимся. Уже ничто не напоминало юность. Дорога другая, вдали большие каменные корпуса заводских зданий, жилых домов. Здесь перемены подчеркивали, что времени прошло немало...

В середине июля 1948 года мы поехали в Сысерть, куда Павел Петрович всегда ездил с удовольствием. На этот раз поехали по приглашению директора завода гидротурбин. Остановились в маленьком доме гостиничного типа, но старой постройки, в том конце заводского поселка, который раньше назывался Рым. Утром, когда вышли во двор, Павел Петрович сказал:

— По-видимому, здесь жил раньше торговец средней руки.

— Почему так думаешь?

— А вот, видишь, плитняк. В Сысерти все дворы

выстланы плитняком. У самых богатых плиты были тесаные, одинакового размера, у бедноты — осколки, а у среднезажиточных — «возовые», без отеса, но крупные, умещающиеся на одном возу. Здесь «возовые», и сад при доме старый и ухоженный.

Наутро на машинах поехали на Тальков камень. Здесь бывали и раньше не раз, но красота этого места всякий раз завораживала. День был солнечный. Старые тальковые выработки сверкали и переливались на солнце, внизу, у подножья, раскинулось прозрачно-зеленоватое озеро с холодной и чистой водой, а вокруг сосновый лес, прогретый солнцем, напоенный ароматом смолы, и выглядело это место не тронутым рукой человека, а созданным природой, чтобы радовать глаз.

Но Павел Петрович хорошо помнил эти места в конце XIX века, когда здесь велись разработки талька и на них работали многие сысертчане.

Когда возвращались в Сысерть, Павел Петрович показывал места детских игр: пляжное место Сивка-бурка (с белой галькой), озеро, где ловились самые большие караси, Потепанову пасеку — и даже вспомнил частушки, которые распевали в заводе в 1905 году:

Потепану (надзирателю) окна вставим,
«Немогутку» (заводского управителя) за бока!

Заехали в детский санаторий. Павел Петрович поговорил с ребятами, а потом прошлись по территории санатория. Павел Петрович был весел и разговорчив, пока не дошли до аллеи елей. Здесь остановились, он жадно закурил, замолчал, перестал задавать вопросы. Мы с Марией Григорьевной Филитарчик, директором санатория, поговорили еще о детях и нуждах, о хозяйстве и вернулись к машине.

— Что-нибудь случилось? — спросила я Павла Петровича.

— Ты обратила внимание на эти ели? На Урале ели не растут. Они здесь привозные. Видела, как ровно посажены, по ниточке, под суровым присмотром. Помнятся мне кой-какие рассказы. Надо об этом будет написать... — И опять замолчал.

Памятны, конечно, и другие наши поездки — в Москву, Ленинград, Новый Афон...

На Кавказ мы впервые полетели самолетом в 1949 году. Это вторая в нашей жизни поездка к Черному морю. В 1911 году мы ездили в свадебное путешествие в Крым. Навсегда запомнился вид на горы и море из окна небольшой ялтинской гостиницы. Вспоминали об этом в Новом Афоне спустя тридцать семь лет и снова чувствовали себя молодыми.

Наша большая семья в полном составе собралась в последний раз на встречу 1946 года. За столом сидело одиннадцать человек — наши дети и внуки. Потом все разъехались. Дом опустел. Стало непривычно тихо.

— Работать не могу, — жаловался Павел Петрович, — ребятишки не шумят...

Вскоре вернулась наша младшая дочь Ариадна, и у нас появился еще один внук — Никита; следом за ней приехала старшая дочь Ольга с маленьким сыном Славой. Снова зазвучали в доме детские голоса, и Павлу Петровичу пришлось возвращаться к ночному режиму работы, но он был рад. Дети его никогда не утомляли. И чем их было больше, тем лучше. Он очень жалел бездетные пары и детей, растущих в одиночку — без сестер и братьев.

В мае 1950 года мы с Павлом Петровичем были в Москве. Собрались вокруг нас все три дочери. Не помню, у кого возникла идея, но мы решили воспользоваться этим редким случаем и сфотографироваться все вместе. Были мы очень веселы, дружны, и никто не мог предположить, что через полгода мы потеряем самого для нас дорогого человека.

Свердловск, 1952—1960



НИКОЛАЙ АНОВ



ПАВЕЛ БАЖОВ
В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ

Десятого июня 1956 года я отправил в Свердловский литературный музей имени Мамина-Сибиряка письмо:

«Сегодня в нашей газете «Казахстанская правда» я прочитал заметку о деятельности П. П. Бажова в Усть-Каменогорске. В ней сообщалось, что, согласно документам Вашего музея, Павел Петрович Бажов работал в 1920 году членом ревкома, затем председателем укома партии, был редактором газеты «За власть Советов», а потом заведовал отделом народного образования.

Меня эта заметка удивила. В 1920 году, когда я приехал в Усть-Каменогорск, здесь выходила газета «Советская власть», а не «За власть Советов», которую редактировал не Бажов, как ошибочно писала «Казахстанская правда», а Бахеев...»

...Будучи председателем Усть-Каменогорского уездного комитета партии, заведывая отделом народного образования, выполняя огромную работу в ревкоме, он за-

дышался от всяческих нагрузок. И когда я приехал в Усть-Каменогорск, Павел Петрович обрадовался, узнав, что я журналист и работаю в газете «Советская Сибирь». На мое предупреждение, что я намерен здесь прожить не более двух-трех месяцев, он не обратил внимания: мол, там виднее будет.

Бахеев довел меня до типографии, где помещалась редакция газеты и стоял колченогий стул редактора. Он вручил мне редакционный портфель — тощую папку с селькоровскими письмами, познакомил с рабочими и, пожелав успеха, отправился в уком партии.

Вместо двух-трех месяцев я прожил в Усть-Каменогорске около трех лет, проработав фактическим редактором газеты «Советская власть» до конца ее существования.

Я разговорился с заведующим типографией Божко, молодым быстроглазым человеком, щеголявшим военной выправкой.

— Бахеев удивительно энергичный человек, — сказал он мне с восхищением. — Обратите внимание: чем человек ниже ростом, тем больше в нем развита энергия. Я давно это заметил. Вы на его пышную бороду не смотрите, ему всего сорок лет. Как говорится, мал золотник, да дорог. Так вот, когда Колчака выгнали, Павел Петрович затеял газету издавать. При белых тоже газета выходила, но владелец Горлов со злости утопил типографию в Иртыше. Не хотел, чтобы большевики печатной агитацией занимались. Сволочь была жуткая, рабочих без куска хлеба решил оставить. Но не удалось, Бахеев с помощью рабочих вытащил машины из реки... Канители было много в порядок их привести, но кончилось все благополучно. Газета хоть не каждый день, а выходит.

По словам Валентины Александровны, вдовы покойного писателя, Павел Петрович на Урмане вел подпольную работу под измененной фамилией. Произошло это потому, что писарь, выдавая ему справку, удостоверяющую его личность, допустил ошибку: подлинная фамилия Павла Петровича писалась не Бажов, а Бажев — от слова «бажить» (жаждать, желать). Писарь написал небрежно, расчленив букву «ж» на две — «х»

и «е». Так получилась новая фамилия — Бахеев. Против допущенной ошибки Павел Петрович не стал возражать: при подпольной работе это создавало определенные удобства.

После разгрома партизанских отрядов Павлу Петровичу пришлось скрываться в лесах и болотах. При содействии барабинских железнодорожников он добрался до Барнаула, где местные большевики помогли ему получить должность страхового агента в Змеиногорске и отправили его в Усть-Каменогорск, на стык двух губерний — Семипалатинской и Томской, разделенных Иртышом.

Явка у Павла Петровича была к Матрене Антоновне Рябовой, жившей в поселке Верхняя пристань. Поселок входил в Бобровскую волость, Томской губернии, а Павел Петрович уже знал, что работать ему придется в Семипалатинской области, в Усть-Каменогорске. Для подпольщика роль страхового агента была удобна. Никому в голову не могло прийти, что свободно разъезжающий страховой агент ведет незаметную, но важную подпольную работу, лишь попутно страхуя от пожаров имущество, посеvy, скот, строения.

Внешность Бахеева в те трудные месяцы тоже сыграла свою роль. Никто из мужиков не мог бы подозревать в нем отважного большевика, скорее он походил на мелкого чиновника или на бывшего священника.

В первую же встречу с Павлом Петровичем Матрена Антоновна рассказала неожиданному гостю о кровавой трагедии, разыгравшейся в старой крепости, когда погиб ее сын Сергей Рябов, член Совдепа. Анненковцы зверски расправились с восставшими заключенными и продолжали выискивать тайных врагов колчаковской власти. Павел Петрович прибыл в Усть-Каменогорск в июле девятнадцатого года и на нелегальном положении прожил до падения колчаковщины 10 декабря, то есть почти пять месяцев. Он видел, как анненковцы преследовали предполагаемых коммунистов. Разговор был короткий: подозрительного человека тащили в Лог возле сопки, за пристанью, и рубили шашками.

Существовавшая партийная организация в годы революции потеряла огромное большинство своих чле-

нов. На долю Павла Петровича выпала нелегкая задача создать ядро коммунистов, чтобы в нужную минуту оказать помощь повстанцам при свержении колчаковцев. В своей организационной и политической работе Бахеев опирался на партизан, штаб которых располагался в селе Шемонаиха.

Колчак терпел поражение за поражением, части его отступали, но советская власть в Усть-Каменогорске утвердилась не сразу.

Впервые тогда прозвучало никому не известное имя атамана Козыря. Он пришел в город с буйной вольницей анархистов. Козыревцы разъезжали по улицам верхом, и красные ленты, прикрепленные к их шапкам, ниспадали чуть ли не до земли. Показывая свою «революционность», они в первый же день вывели из домов протоиерея Дагаева, бывшего владельца типографии Горлова и городского голову Сидорова и «для остротки другим буржуям» зарубили всех троих шашками.

Атаман Козырь, в прошлом царский поручик, командовал Четвертым крестьянским корпусом в армии знаменитого руководителя партизанского движения на Алтае Ефима Мамонтова. Одиннадцатый полк корпуса расположился в деревне Согра, в десяти километрах от города; он и поднял мятеж, подхваченный козыревцами.

Задача перед Бахеевым стояла чрезвычайно сложная. Он знал, что партизанский полк (шемонаихинский) в борьбе с колчаковцами выполнит любой его приказ. Но... ведь атаман Козырь привел с собой не белогвардейцев, а тоже партизан, успешно воевавших против Колчака. Надо было проявить большой такт при разоружении крестьянского корпуса. Павел Петрович решил устроить митинг. В нем приняли участие козыревские партизаны из армии Мамонтова и красные партизаны.

Очевидцы митинга в Усть-Каменогорске, на котором председательствовал Бахеев, рассказывали мне, как искусно выступал Павел Петрович, затрагивая самые болезненные вопросы о власти, волновавшие партизан обоих лагерей. Против Колчака воевали не только бедняки, сочувствовавшие большевикам, но и зажиточные мужики, соблазненные программой эсеров.

Но вот победа над сухопытным адмиралом одержана. Как жить дальше? Что делать?

Павел Петрович блестяще разоблачил авантюрную сущность бывшего поручика царской армии Козыря. Митинг закончился полной победой Бахеева. Крестьянский корпус принял решение отправиться на польский фронт, помогать Красной Армии громить Пилсудского. Все обошлось без кровопролития.

Первого председателя Совдепа Якова Ушанова анненковцы в 1918 году сожгли в топке парохода, многих коммунистов замучили и расстреляли. Это был жестокий урок для оставшихся. Если не справиться с контрреволюцией, она не пощадит никого. Павел Петрович с первых дней становится особоуполномоченным губернской ЧК и ведет борьбу с остатками белых банд. И только с наступлением сравнительного затишья он отдается любимому делу народного просвещения.

Бывший учитель русского языка, оказавшись в Казахстане, ужаснулся, когда увидел, в каком плачевном состоянии находятся национальные школы. Казахских детей должны учить казахские учителя! — это казалось для него естественным законом.

В июне 1920 года Павел Петрович послал в казахские школы восемьдесят семь учителей-казахов, прошедших подготовку на созданных им курсах. По тем временам это был неслыханный успех.

Примерно в то же время появились в Усть-Каменогорске ученые — профессор Матвеев и доцент Соколов (к сожалению, не помню их имен). Тихий городок в продовольственном отношении был сравнительно благополучным. Этим, кстати, и объясняется и то, что в Усть-Каменогорске оказалась хорошая труппа артистов. Профессор Матвеев и доцент Соколов в сопровождении преподавателя истории Метаньева отправились к Павлу Петровичу с предложением организовать в городе «Усть-Каменогорский крестьянский университет». Идея была хороша хотя бы по одному тому, что никаких затрат на свое осуществление она не требовала. Дополнительный паек для трех преподавателей повлиять существенным образом на государственный бюджет не мог. Вопрос был решен быстро, только Павел Петрович настоял на изменении названия открываемого вуза.

— Большинство людей даже не знает, где находится Усть-Каменогорск, городишко маленький, всего одиннадцать тысяч жителей,— говорил он. — Лучше назвать Алтайский крестьянский университет. И по существу это будет правильно. Вон из окна видно, где начинаются отроги алтайских гор.

На другое утро профессор Матвеев, жизнерадостный бородатый мужчина, принес в редакцию статью под заглавием «Алтайский крестьянский университет».

Если память мне не изменяет, это был единственный в стране крестьянский университет. Для его оформления из русских волостей по разверстке присылали сюда студентов. Они приезжали со своими харчами, жильем их обеспечивал коммунальный отдел, выдавая ордера.

Я не помню, о чем писал профессор в статье, напечатанной в усть-каменогорской газете, но у меня сохранилось письмо Валентины Александровны Бажовой. Она мне писала: «Создание Алтайского крестьянского университета в Усть-Каменогорске Павел Петрович рассматривал как предысторию Высших партийных школ. Сохранился в его записи отрывок воспоминаний о создании Алтайского крестьянского университета и о тех задачах, которые ставило партийное руководство при организации этой школы в 1920 году».

Сколько просуществовал крестьянский университет в Усть-Каменогорске, не помню. Я прослушал первую лекцию профессора Матвеева. Читал он с огоньком, интересно, но, к сожалению, однако большинство студентов трудно усваивали его лекции. Они имели самый разный уровень знаний. Попадались такие, что даже не окончили начальную школу.

Джанузак Таирбердинов был одним из первых, кто пришел поступать в университет. Бахеев знал Джанузак, молодой казах был членом первого Совдепа. Вместе с Ушановым, Сергеем Рябовым и Шакеном Утеповым он попал в крепость. Накануне подавления восстания ему удалось бежать. Ушанова сожгли в топке парохода, Сергея Рябова уничтожили в тот же день. Джанузак Таирбердинов пробрался в степь, но снова был арестован колчаковцами, снова бежал из-

под стражи и стал связным между казаками и партизанским отрядом.

— А где сейчас работаете? — поинтересовался Матвеев.

— Служу в советской милиции! — с гордостью ответил Джанузак.

Из Народного дома он вышел вместе с Бахеевым.

В это тревожное, смутное время в Усть-Каменогорске оказалось много интеллигенции. Среди приезжих встречались интересные люди, случайно попавшие в глухой сибирский городок. Я подружился с Георгием Альбертовичем Тотиним. Несмотря на сравнительную молодость (кажется, ему не было тридцати лет), он объехал полмира: был в Индии, в Бразилии, на острове Борнео, в Париже, в Италии. В Усть-Каменогорске он заведовал детским домом, преподавал в школе географию, а его жена, художница, работала воспитательницей. Тотин сочинял пьески для детей, жена делала из бумаги костюмы. Спектакли пользовались у детворы большим успехом.

По вечерам, когда мы отправлялись с Тотиним в сад, он брал с собой неизменный томик в кожаном переплете, заполненный собственными стихами. Находясь под влиянием творчества Валерия Брюсова и Андрея Белого, Тотин сочинял стихи по пяти или семи строф и, по примеру Петрарки, называл их канцонами. Мы садились на скамейку в тени деревьев, где никого не было, и Тотин читал одну канцону за другой. Стихи были звучные, но совсем непонятные.

Начинающие поэты частенько приносили в редакцию стихи, а старшеклассница Валентина Бехли прислала по почте рассказ «Старая тайга». Как мне показалось, рассказ был неплохой. Я показал его Тотину.

В один из вечеров мы решили создать в городе нечто вроде литературного объединения и даже придумали название — «Звено Алтая». На другой день отправились к Павлу Петровичу в уком посоветоваться.

— Что же, хорошая вещь! — одобрил Бахеев, собиравшийся куда-то ехать. Он, видимо, торопился, но не отказался побеседовать о стихах.

— Вот мои канцоны, — с гордостью сказал Тотин и

пытался томик в кожаном переплете. Он заговорил о своем творчестве.

Павел Петрович полистал непонятные стихи и вернул томик.

— Вот вы говорите — Петрарка. Он жил в четырнадцатом веке, а мы с вами в двадцатом. Я знаю, человек вы очень образованный, советской власти можете большую пользу принести. Но должен предупредить — в наши дни нельзя заниматься искусством ради самого искусства. Ваше «Звено Алтая» никому не будет нужно, если вы не сумеете найти общий язык с народом, совершающим революцию. Найдете — тогда другое дело. Ближе к жизни надо быть. Ближе!

И, улыбнувшись, закончил добродушно:

— А стихи Пушкина я всегда любил и сейчас очень люблю.

...Ближе к жизни надо быть! Этот совет Бахеева мы запомнили крепко.

Литературное объединение «Звено Алтая» оказалось живучим (кстати, оно было единственным в Казахстане). Начинающие поэты выступали со своими стихами на торжественных митингах, организовывали литературные вечера и выпуск устного журнала. В моем архиве сохранилась афиша, отпечатанная на желтой оберточной бумаге тиражом 50 экземпляров. Вот ее содержание:

«Гарнизонный клуб 26 апреля 1922 г. в среду в 9 ч. вечера выйдет № 3 устного литературно-художественного журнала «Звено Алтая» при участии поэтов-звеноалтайцев. Весь сбор идет на содержание голодающих детей Поволжья, которые прибудут с первым парходом в Усть-Каменогорск. Входная плата — 3 фунта муки. Для неимущих — 25 тысяч рублей. Предварительная продажа билетов за муку в торговой лавке ЕПО».

В тридцатых годах поэт Михаил Алтайский-Иванусьев, автор сборника рассказов «Малинник», прислал мне тоненькую книжицу стихов, изданную в Усть-Каменогорске. На обложке стояли два слова: «Звено Алтая».

В сборнике кроме рассказа напечатаны были стихи четырех авторов. Стихи гладкие, размер и рифма на ме-

сте, а под рассказом стояла подпись — В. Бехли. Это была та самая девочка, что прислала почтой в редакцию газеты «Советская власть» свой первый рассказ.

Перелистывая страницы сборничка, я вспомнил Павла Петровича Бажеева, его задумчивые глаза и тихий, неторопливый голос:

«А стихи Пушкина я всегда любил и сейчас очень люблю»

Усть-Каменогорск находился в кольце кулацких мятежей. На подавление большенарымского восстания уехал председатель уездного ревкома, старый большевик Нестор Калашников.

Зайдя в типографию, Павел Петрович с его слов рассказал, что творилось в эти дни в Вольшенарымске. Мятежники объявили «войну Москве» и выпустили манифест, в нем они требовали:

1. Кулаков не называть буржуями, а звать трудовиками.
2. Восстановить свободную торговлю хлебом.
3. Лишить права участия в Советах коммунистов, допускать только трудовиков.

Серьезные события разыгрались в селе Предгорном. Здесь вспыхнул мятеж в стрелковом полку. Убили командира, военкома, политрука и командира роты. С помощью артиллерии и кавалерии полк был обезоружен.

В таких условиях пришлось строить советскую власть Павлу Петровичу Бажову, первому председателю уездного комитета партии большевиков.

В уезде в разных местах вспыхивали восстания, а в уездном городке жизнь текла размеренным порядком. В девять часов утра служащие приходили на работу, маслобойка купца Сидорова за отсутствием сырья не работала, Риддерская железная дорога бездействовала — не было угля, бывший владелец золотых приисков Хотимский играл в шахматы с бывшим прокурором, в гарнизонном клубе артисты репетировали «Привидения» Ибсена. На базаре спекулянты продавали стаканами пшено и из-под полы сахарин.

А в советских учреждениях жизнь была ключом. Шли заседания, совещания. У меня в памяти осталось одно такое совещание,— возможно, потому, что на нем выступал Павел Петрович.

Упродкомиссар Прокопенко делал доклад о распределении хлеба по волостям:

— Чтобы уложиться в отпущенные нормы, я называю только русские волости. Как известно, казахи хлеба не едят.

По залу прошел ропот. Павел Петрович поднял руку.

— Простите! Повторите, товарищ Прокопенко, что вы сказали. Я что-то не совсем понял.

Упродкомиссар неуверенно повторил. Присутствующие казахи — их было меньшинство — недовольно загудели.

— Я знаю,— возмутился Бахеев,— баи, имеющие отары овец, действительно предпочитают есть баранину, а не хлеб. Но как жить бедняку, если у него нет ни одной овцы, а товарищ Прокопенко норовит его оставить без куска хлеба? Я вижу, упродкомиссар очень ловко свел зерновой баланс по уезду, однако такая ловкость советскую власть не устраивает. Придется план составить заново.

Трудно, очень трудно было Павлу Петровичу руководить огромным уездом. По правой стороне Иртыша, в горных и таежных районах, жили кержаки, предки которых бежали от царского произвола в Сибирь в поисках сказочной страны Беловодье. Тут же обитали рабочие риддерских рудников — бергалы, чей труд озолотил английского хищника Лесли Уркварта. Левая сторона — степная, пустынная, ковыльная. Здесь разбогатели казачьи хутора, захватившие плодородные земли и тучные луга, а чем дальше от Иртыша в степь — растянулись кочевые аулы. У русского, казаха, украинца, кержака, казака свой особый уклад жизни, свои предрассудки, обиды, несбывшиеся надежды. Председатель укома все должен был предвидеть и знать, хорошо разбираться в экономике уезда.

Вместе с Бахеевым мне пришлось быть на заседании упрофбюро. Кто-то из профсоюзных деятелей стал жаловаться на невозможность развернуть профсоюз-

ную работу. В городе одна маслобойка, да и та бездействует. Скептики утверждали, что рабочего класса в уездном городке нет. Есть кустари — кузнецы, сапожники, — но это же мелкие хозяйчики. Нужны ли вообще профсоюзы? Сейчас они существуют, чтобы защищать служащих, то есть государственных чиновников, а их и так развелось чересчур много.

Павел Петрович слушал, хмурился, а потом дал ответ:

— Мы выслушали речь как раз типичного чиновника, он видит жизнь в окно канцелярии и ничем не интересуется. По сведениям Всеработземлеса, в нашем уезде насчитывается несколько тысяч батраков. Вы здесь говорите, что рабочего класса нет. А батраки, по вашему, кто? Не рабочие?

Зная о моих литературных опытах, Павел Петрович настоятельно советовал:

— Край наш очень интересный, здесь у кержаков сохранился семнадцатый век. Полюбопытствуйте! Пригодится!

Я последовал совету Бахеева и, когда представилась возможность, проехал верхом тысячи верст, забираясь в самые глухие уголки уезда. В памяти моей сохранились две поездки.

На Убе я побывал у старика пчеловода и мараловода Федора Афанасьевича Гусева, человека исключительной биографии. Это он ездил к Николаю Второму с жалобой на лесничего, отнявшего у него добрый кусок казенной земли. Не найдя защиты у императора, кержак, зная, что у русского царя много родни в Европе среди монархов, поехал за границу, чтобы через кого-нибудь из них найти дорогу к царю. Он объехал одиннадцать столиц, и только одна греческая королева решила ему помочь...

Жил Гусев большой семьей — с сыновьями, зятьями, внуками и правнуками, — всего душ восемьдесят!

— «Стариковской коммуной» живем дружно, в полном согласии, все у нас общее. Я и Льву Толстому, когда был у него, рассказывал. Одобрил он нашу жизнь.

Об этой поездке на Убу, к Гусеву, я подробно рассказал Павлу Петровичу. Он слушал с интересом, из-

редка перебивая вопросами. А потом долго молчал, о чем-то раздумывая.

— Говорите, Лев Толстой одобрил «стариковскую коммуны» Гусева? Разумеется, яснополянскому мудрецу она пришлась по душе. Однако он не подумал, что произойдет с этой коммуной, когда старик умрет. На другой же день она прекратит свое существование. Мы, большевики, считаем, что мужик будет горой стоять за подлинную коммуны, если он увидит и почувствует, что общественный труд на земле ему в десять раз выгоднее, чем труд в одиночку.

Во время скитаний по Восточному Алтаю я попал в село Тургусун, основанное на речке того же названия. Я шел берегом с местным жителем и увидел висевший высоко на скале осколок бетонной плиты.

— А это что такое?

— Память от плотины осталась. Электрическую станцию иностранцы хотели соорудить, да только из этой затеи ничего не вышло у них.

— Какие иностранцы? Англичане? Немцы? — удивился я.

— Нет, французы. При старом режиме царь сдал им в аренду зырянские рудники, говорят, на девяносто девять лет. Своего электричества там не хватало, вот ихние люди разъехались по всему Алтаю и стали искать, где бы им сподручнее построить собственную электростанцию в горах. И к нам в Тургусун приехали. Место как раз подходящее, и до Зырянска не так далеко. По проволоке можно электричество передавать. Только жадность сгубила арендаторов. Поставили инженеру условие — плотину как можно дешевле возвести. За дешевой погнались да в лужу сели. Станцию построили, на радостях в день пуска пир устроили. Инженера качать стали, — дескать, молодец! А тут беда — напор воды смыл плотину. В считанные минуты исчезла! Была плотина — и нет ее! Словно корова языком слизнула. Остался только прилепленный к скале обломок бетонной плиты, вот этот. Ходит слух, будто инженер себе пулю в лоб пустил, — закончил повествование мой спутник.

Вернувшись из командировки по уезду, я постарался уточнить историю разрушенной станции на Тур-

гусуне. Инженер, работавший в свое время в Зырянске, рассказал мне подробности катастрофы:

— Французское акционерное общество, добывавшее в зырянских рудниках серебро, свинец и медную руду, решило поставить гидроэлектростанцию на Тургусуне. Сооружали ее концессионеры по последнему слову техники. Из Марселя привезли три турбины «Жанвиль» по пятьсот лошадиных сил каждая. Они были соединены одним валом с генераторами, каждый на четыреста киловатт. Гористая местность не позволила сразу перебросить оборудование с Иртыша на Тургусун. Испробовали лошадей и верблюдов, с огромным трудом машины перевезли на волах.

И об этой поездке я рассказал Павлу Петровичу. Вопросы электрификации очень его интересовали, слушал он внимательно.

— Почему вы говорите о неожиданном провале затеи построить на Тургусуне электростанцию? — спросил он. — По-моему, это вполне закономерно. Концессионер — чужой человек. Он знает: наступит срок окончания договора, и ему придется покинуть Россию. Ваш тургусунский спутник был прав, когда говорил, что жадность, погоня за дешевой погубила плотину. Концессионер лишний винтик пожалеет истратить. У него одна мысль — нажива. Придет время, и на Тургусуне советский народ своими силами построит гидроэлектростанцию, да и не только там. Я в этом уверен.

После Восьмого съезда Советов, состоявшегося в конце декабря двадцатого года, Бахеев на открытом партийном собрании сделал доклад о выступлении В. И. Ленина на съезде.

В тот вечер в Народном доме зажгли люстру. Павел Петрович прошел на сцену и, оглядев переполненный зрительный зал, стал рассказывать о грандиозном плане электрификации всей страны и о первой электростанции, что строится в Кашире, на Оке. И хотя в театре стоял страшный холод, всем интересно было слушать о мощном потоке электроэнергии, который пойдет в самые глухие, отдаленные деревушки и в каждой избе станет так же светло, как во дворце.

Все шло хорошо, но в самом ответственном месте, когда докладчик стал рисовать картину будущей России, залитой электрическим сиянием, свет в люстре

начал слабеть и наконец совсем погас. За кулисами нашли свечку, разрезали на две части, и Павел Петрович продолжал свою речь, будто не замечая внезапного мрака, воцарившегося в зрительном зале. В это время, перебежав улицу, кто-то помчался на электростанцию и принес печальную новость: сухие дрова кончились, а сырые не хотят гореть. Механик Теплоуков разозлился и ушел домой, сказав, что света не будет до утра. Смекалистый человек кинулся в собор (он стоял рядом с Народным домом) и притащил дюжину толстых церковных свечек. Две из них поставили на трибуну, остальные на стол президиума.

Ноги у слушателей заковенели, а стучать ими об пол казалось неудобным. Однако никто не ушел. Все жадно слушали прекрасные слова о будущих электростанциях и не сводили глаз с бородатого лица Павла Петровича, освещенного колеблющимися огоньками восковых свечей. А он говорил, как всегда, спокойно, только в этот вечер уверенный голос его звучал по-особенному торжественно. И докладчик, и слушатели верили Ленину, и хотя зрительный зал тонул во мраке, все знали: электрификация сотворит в России чудо. После доклада все поднялись и дружно запели «Интернационал».

Спустя несколько дней мы собрались за кулисами театра гарнизонного клуба перед торжественным заседанием. В нетопленном помещении было очень холодно, все сидели в валенках и полушубках. Спичек ни у кого не было, и инженер Стольный, тщетно высекая искру кресалом, чтобы закурить самокрутку, замесил с ядовитой усмешкой:

— А вот когда доживем, даст бог, до полного коммунизма, тогда и вернемся благополучно к пещерному веку. Потомки наши не поверят даже, что существовала вот такая удобная штучка, как, например, эта электрическая лампочка. Простой стеклянный пузырек, внутри несколько проволочек, повернул выключатель — и вдруг появился свет, как в Библии.

Трут наконец затлел от искры, инженер прикурил, затянулся мажорочным дымом и закончил:

— Ничуть не сомневаюсь, наше поколение будет жить при лучине, как жили когда-то наши предки.

Стольный, европейски образованный инженер, в Сибирь попал случайно, в годы колчаковщины, с волной беженцев. Врагам нового строя, белым генералам, он не сочувствовал, так же как и советской власти. Реакционных убеждений своих не скрывал, как «спец» аккуратно ходил на службу в Райзолото, где, ничего не делая, получал хороший паек и месячную зарплату, на которую можно было купить на барахолке коробок спичек.

Бахеев пропустил мимо ушей «пещерный век» и с присущей ему мягкостью заговорил о великих возможностях, которые открывает перед коммунизмом электрификация.

Стольный ответил:

— На прошлой неделе я слышал ваше выступление в Народном доме. Начали вы с лампочки Эдисона, а конец доклада прошел при свете церковной свечки.

Мне трудно сейчас вспомнить, как возражал Бахеев инженеру. Но говорил он, видимо, убедительно, потому что Стольный начал сердиться и с явным раздражением сказал:

— Вы, Павел Петрович, великий фантазер и мечтатель, с вами спорить невозможно.

— Фантазия для революционера тоже вещь необходимая,—убежденно произнес Бахеев,—а без мечты вообще жить могут только животные.

Через несколько месяцев по совету Павла Петровича в Москву, к Ленину, отправился посланец риддерских рудокопов. Владимир Ильич принял его в своем кабинете. Прежде чем начать деловой разговор, алтайский гость молча разложил на письменном столе председателя Совнаркома образцы руды с золотом, серебром, свинцом, медью и цинком.

Ленин, словно взвешивая, подержал на ладони по очереди все камни, поразившие его странной тяжестью. Сощутив глаза, он внимательно разглядывал на их поверхности мелкие блески металла.

— Это образцы руд, которые мы добываем в Риддере. До революции рудники находились в руках английского концессионера Уркварта. Во время Октябрьского переворота служащие Уркварта затопили шахты по приказу своего хозяина. А сейчас дошли до Усть-

Каменогорска слухи, что Уркварт снова пытается получить Риддер в концессию.

Собеседник Ленина сделал небольшую паузу.

— Владимир Ильич, рабочие обещают своими силами восстановить рудник. Они просят вас, как главу Советского правительства, не соглашаться на домогательства Уркварта!

Ленин слушал внимательно. Разрабатывая план ГОЭЛРО, Владимир Ильич, конечно, знал, что собою представляет рудный Алтай и какие энергетические богатства таит полноводный Иртыш, но все же поинтересовался:

— А какие возможности существуют для электрификации рудного Алтая?

Посланец Риддера перечислил названия некоторых крупных рек.

Владимир Ильич сделал для себя запись. Через десяток лет она вошла в двадцать третий том «Ленинского сборника». В ней он записал мысль о необходимости построить плотину для будущей электростанции мощностью в сто лошадиных сил, упомянув две реки — Ульбу и Граматуху.

В тысяча девятьсот пятьдесят третьем году я приехал на строительство Усть-Каменогорской гидроэлектростанции. При мне было закончено сооружение уникального шлюза, в то время самого высокого в мире. Он давал возможность одним приемом поднять на сорок метров идущие вверх по Иртышу суда. Сухое дно шлюза, шириною в восемнадцать метров, длиною — в восемьдесят, напоминало глубокое ущелье. Завтра по нему пройдут первые суда с грузами, и электростанция вступит в строй действующих.

Я несколько раз поднимался на гребень плотины и спускался в машинный зал. Здесь гудели генераторы. Мне сказали: Усть-Каменогорская ГЭС имеет мощность триста тридцать две тысячи киловатт.

Невольно вспомнились неповторимые двадцатые годы в Усть-Каменогорске — Народный дом, гнетущий мрак давно не топленного зрительного зала, два восковых огарка на трибуне и вдохновенное лицо докладчика, писателя-коммуниста Бажова. Павел Петрович

тогда с глубокой верой говорил о будущих электрогигантах, которые зальют советскую землю ослепительным светом.

И еще вспомнился спор председателя укома партии Бахеева и заядлого скептика инженера Стольного. Павел Петрович тогда сказал:

— Фантазия для революционера тоже вещь необходимая, а без мечты вообще могут жить только животные...

Усть-Каменогорск проделал огромный путь в техническом развитии — от керосинового фонаря, стоявшего у дома купеческой вдовы Проскуряковой, до казахстанского Днепротэса, как любовно называли стройку на Иртыше в те дни.

Алма-Ата, 1974



АРИАДНА БАЖОВА-ГАЙДАР



ГЛАЗАМИ ДОЧЕРИ

Двадцать пять лет я прожила рядом с моим отцом — Павлом Петровичем Бажовым, для меня удивительным и неповторимым человеком.

Многие читатели «Малахитовой шкатулки» представляют себе ее автора мудрым сказочником с седой бородой — уральским дедушкой Слышко. Это вполне объяснимо — ведь автором книги, принесшей ему известность, Бажов стал в шестьдесят лет. Почему так поздно? Наверное, потому, что большая часть его жизни протекала в бурное время трех революций, свидетелем и участником которых он был. Он не стоял в стороне от жизни страны: был добровольцем Красной Армии, партизаном, революционером-подпольщиком, журналистом первого советского призыва, общественным деятелем.

Когда я родилась, отцу было сорок шесть лет, за плечами остались детство, годы учебы, преподавательская работа, годы революции и гражданской войны.

В годы моего детства отец работал ответственным секретарем и заведующим отделом писем «Крестьянской газеты». Жили мы в Свердловске, на углу улиц

Детский городок и Болотная (ныне Чапаева), в том доме, где сейчас музей Бажова.

Дом строился еще до революции на учительское жалованье, в кредит. Я родилась в этом доме, и все в нем мне дорого и близко. Распланировал его сам отец. В доме было четыре светлых, почти квадратных комнаты и кухня. Стены и потолок не были тогда покрыты штукатуркой, а каждое светлое, полированное, будто медом облитое, бревно мыли теплой водой с мылом. В доме было много света и цветов. Окна открывались в сад, где цвели черемуха, липа, сирень, яблони и вишни. Весь сад был посажен и выхожен нами. А зимой в доме топились печки, уютно потрескивали дрова, и мы с отцом подолгу засиживались перед танцующими огоньками пламени.

Сейчас дом стоит на том же месте, но потерялся среди больших домов, стал казаться маленьким, а в дни моего детства вокруг стояли такие же деревянные дома в зелени садов. В доме все осталось, как было, в значительной мере стараниями мамы, которая все двадцать лет своей жизни после смерти отца посвятила его литературному наследству. Она подготовила его первое собрание сочинений, изданное в 1950 году, разобрала и передала в архив все рукописное наследство Бажова, перепечатала рукописные дневниковые записи и письма и дала возможность литературоведам и исследователям творчества Бажова работать над его материалами, издала неопубликованные сказы и сохранила для музея дом в том виде, в каком он был. И при жизни, и после смерти она бережно охраняла творчество мужа, посвятив этому всю свою жизнь.

Одно из первых моих воспоминаний связано с возвращением отца после длительного отсутствия.

Я проснулась от оживленных голосов мамы и сестер в соседней комнате, услышала глуховатый голос отца, его кашель, и мне стало горько и обидно, что я исключена из общего веселья, должна спать и еще долго не увижу папу. Чуткое ухо отца услышало мой плач, и вот уже я, завернутая в одеяло, у него на руках, шелковинки его бороды ласково щекочут мой нос, он что-то говорит и тихо шагает по комнате вперед-назад, и я засыпаю, совершенно счастливая.

Умение все знать о своих близких было удивительной особенностью отца. Он всегда был больше всех занят, но у него хватало душевной чуткости быть в курсе забот, радостей и огорчений каждого.

А был он в те годы очень занят. Теперь, спустя много лет, я перелистываю пожелтевшие документы — свидетельства жизни моего отца в те годы. Вот билет № 16 — делегата от Камышловского уезда Бажова П. П. на IX Екатеринбургскую губернскую конференцию РКП, состоявшуюся 15 марта 1923 года; телеграмма: «Переведено через Уком 6 червонцев путевых проезд Екатеринбург. Ждем Вашего приезда. С приветом. Члены редколлегии «Крестьянской газеты». Далее следует документ, связанный с хлопотами об устройстве семьи на новом месте. В связи с поступлением в школу имени Ленина моих старших сестер Ольги и Елены редколлегия «Крестьянской газеты» подтверждает, что Бажов П. П. является ее сотрудником с окладом 143 рубля.

Вот номер «Крестьянской газеты», в котором помещены портреты шести членов редколлегии. Отец очень худой, с заострившимися чертами лица после малярии и тяжелого тифа.

Помимо своей основной работы в «Крестьянской газете» он выполнял еще множество разных поручений. Вот распоряжение Екатеринбургского окружного военного коменданта от 16/II 1924 г., которым Бажову поручается «в случае объявления всеобщей мобилизации выработать статью на тему текущего момента и передать в редакцию газеты через три часа после объявления всеобщей мобилизации». В это же время Екатеринбургский губернский комитет РКП(б) приглашает его на заседание комиссии по выработке плана издания агрономической и крестьянской литературы. В марте 1924 года Бажов проводит конференции в Сысертском, Арамильском, Белоярском районах. Выступает с докладом о работе редакции и «дает ответы на все вопросы, интересующие крестьян».

Бурной была жизнь журналиста тех лет. «В порядке партийной дисциплины» Бажов получает распоряжение: сделать 6 октября в библиотеке имени Белинского доклад на тему «Работа с селькорами». Это 6 октября, а уже 18-го того же месяца приходит извещение:

«С сего числа Вы мобилизованы окружкомом на налоговую работу. Выезд Ваш из Екатеринбурга может быть лишь с разрешения окружкома. Никаких заданий, кроме как от окружкома, Вы принимать не должны». Между тем в этот день он присутствовал в Екатеринбургском комитете РКП(б) на инструктивном совещании «по вопросам шефства». А в ноябре ездил по области с докладами о годовщине Октябрьской революции.

Вот год моего рождения — 1925-й. Мелькают командировочные удостоверения: проведение агрономического совещания по просьбе Ирбитско-Туринского окружного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов; обследование работы селькоров; поездка в Челябинск для проведения Ленинской недели; организация посевной; Ирбитский округ; Баженовский, Каргопольский, Зайковский, Ревдинский, Первоуральский районы; Сарапул, Камышлов.

И все это плюс к тому ежедневному потоку крестьянских писем, о котором отец говорил как о реке, насыщавшей его знаниями, обогащавшей его творческую мысль.

Сохранилось более десятка его писем к семье той поры. В них видны и жизнь села, и увлеченность Павла Петровича делом, которым он в данный момент занимался, и его отношение к нам, его близким. Письма написаны в мае 1930 года.

«Валестёночка, ты что же? У меня миновала десятидневка работы, а от тебя ни строчки? Ни ты, ни ребята, никто не пишет. Только Алеша прислал открытку, на которую я тотчас ответил. Ты, кстати, насчет мяча не забудь, я ведь обещал. Тебе пишу третье письмо. Чуть-чуть о работе. Близится сев, и те планы, которые легко идут на бумаге и в разговоре, придется проводить в жизнь. Чувствую, что не так гладко пойдет дело, трудностей много и придется работать с полным напряжением. С жилищем и питанием, по-моему, неплохо, это вопрос второстепенный, но с работой гораздо труднее. Думаю все-таки, что лучше все усилия сосредоточить около работы тракторной станции. Она хоть с преувеличением так зовется, но все-таки 14 машин будет. Это кой-что значит, если будут работать полным ходом в три смены! Некогда будет писать

просторные письма, придется переходить на открытки. На днях переезжаю в деревню Васину. Интересует там меня птицеводное хозяйство. Там строятся большие птичники и скоро выведутся цыплята в инкубаторах. Надо взглянуть и кой-что сфотографировать. Жду письма. За меня будь спокойна. Целую тебя и ребят. Ридчёну наособицу».

«Сижу в деревне Молоково. Здесь ведется подготовка к посеву. Местами начинают раздавать семена. В двух-трех селах выехали на поля заборанивать пары. Все это говорит, что пахота и сев уже не за горами. Меня теперь, пожалуй, вовсе захватило мужицкой тревогой о погоде — от нее все зависит: и быстрота, и успешность сева. Пока стоят здесь солнечные, но ветреные дни. В такие дни сильно сушит сверху, но слабо идет оттаивание почвы. Такие холодные ветры уже нанесли значительный ущерб хозяйству артели. 105 гектаров озимой ржи «Вятка» по обследовании оказались «в неудовлетворительном состоянии», хотя из-под снега вышли хорошо. Все дело в том, что после тепла, дня на три, выпадал снег и по ночам крепко замерзало.

Словом, меня начинает захватывать деревенская вешняя сумятица и неопределенность. С табачишком бьюсь по малости. Посылать из Свердловска все-таки не надо. Не буду докуривать своей порции, а только по одной пачке в день».

Ясно, что при той нагрузке отец редко бывал дома. Без него скучно. Мама делает все, как обычно, но не все, старшие сестры совсем не бывают дома — у них находятся неотложные дела. Но вот отец возвращается. Из командировки ли, с тяжелым портфелем и фотоаппаратом через плечо, или после длинного заседания, или просто в конце обычного рабочего дня, — все спешит ему навстречу. Мамочка всегда оказывалась первой, узнавала его шаги еще на улице. Выскакивали из-за своих чертежных досок сестры Ольга и Елена, с трудом переставляя больные ноги, спешила бабушка, мамина мама Екатерина Васильевна. Я бежала со всеми своими приятелями казаками-разбойниками. Мой брат Алеша выглядывал из своей комнаты.

Отец целовал маму, спрашивал сестер: «сколько осталось?» (у них всегда истекали сроки сдачи чертежей), ерошил волосы мне и моим друзьям, проявляя

удивительную осведомленность об их именах и состоянии здоровья.

— А в городе сегодня жара, Екатерина Васильевна,— сообщал он бабушке, которая давно уже не выходила за пределы дома.— Алеша, вот тебе струна. У тебя ведь лопнула вчера? — протягивал он свернувшееся колечко Алеше, учившемуся играть на мандолине.— А это вам всем, ребята, баловство,— и вынимал из портфеля что-нибудь вкусное. Не очень дорогое, но в большом количестве, чтобы всем хватило.

Я была последним, седьмым ребенком в семье. У меня было очень счастливое детство. Оно не омрачалось ни чрезмерной строгостью родителей, ни ссорами в семье, ни одиночеством, ни обидами со стороны сестер и братьев.

Главой дома был отец, хотя казалось, что он ни во что не вмешивается и всеми нашими заботами руководит мама. Он всегда был самым тихим человеком в семье. Никогда не кричал, не командовал, не шумел, не распоряжался. Но когда «папа сердился», все в доме ходило на цыпочках. А сердился он, когда мало помогали маме, когда возникали ссоры между детьми, когда не возвращали на место его «инструменты», когда читали «всякую чепуху» или забывали выполнить его просьбу. Он тогда хмурился, был молчалив, и в доме становилось тяжело и неприятно.

Самым лучшим временем были вечера, когда вся семья оказывалась в сборе.

Хорошо помню один летний уральский вечер. Год, наверное, 1932-й, может быть, 1933-й. На столе в столовой стоит кипящий самовар. Отец в кухне снимает тяжелые огородные сапоги, моется. Только что закончили сажать картошку. К огороду относились в те годы серьезно. Семья огромная, а заработок невелик, работник один, поэтому «натуральное хозяйство» было серьезным подспорьем. Своей картошки, моркови, лука, капусты хватало до весны. Весь наличный состав семьи работал в это горячее время на огороде. Никто не знал пощады. Ни уроки, ни собрания, ни чертежи не служили оправданием.

— Ничего, сделаешь позже,— говорил отец.— Маме все должны помогать.— И сам, как только приходил

с работы, отправлялся в огород с лопатой или мотыгой в руках.

Правда, заниматься огородом как земельным участком отцу было скучно, и он всегда что-нибудь придумывал. Так, однажды весь наш сад и огород расцвел белыми, красными, розовыми маками ширли, семена которых отец откуда-то выписал. В другой раз на самом лучшем участке огорода был посажен турнепс, и отец водил всех смотреть, как из земли вылезают его могучие лиловые плоды. Турнепс уродился. Отец очень гордился урожаем и уверял, что он хотя и невкусен, но страшно полезен.

Но в тот вечер, о котором я хочу рассказать, все работали всерьез. Картошка посажена, значит, самое горячее время закончилось, начинается поливка, прополка... Но сейчас все довольны, оживлены, голодны. Уже поздний вечер, но еще светло. Стоит то короткое время, когда на Урале в двенадцать темнеет, а в три светает. Отец, усталый, умытый, в голубой сатиновой рубашке в узкую белую полоску, входит в столовую. Вся семья усаживается за большим обеденным столом. Старшая сестра Ольга с мужем — оба студенты Свердловского горного института, средняя сестра Елена с мужем — студенты Уральского политехнического, брат Алеша — школьник, бабушка, мама, отец и я, всего девять человек. Мама вносит блюдо с пирожками.

— Ого! — говорит Алеша. — А с чем?

— С мясом, — улыбается мама.

— А по сколько?

— Сегодня кто сколько хочет...

Веселое оживление, и пирожки начинают таять. Мама разливает чай, и лицо у нее веселое, а глаза грустные. Я знаю, что утром она плакала и жаловалась папе, что ей нечем кормить ребят и что ей очень не хочется менять обручальные кольца на муку, но другого выхода она не видит...

— Ну, подумаешь, кольца! Дело какое... — утешал ее отец.

— Как ты не понимаешь! Разве в кольцах дело! Память ведь...

И вот сейчас все сидят и жуют пирожки, а я не хочу, мне жалко маму, хотя у нее и веселое лицо.

— А ты, Ридчѐнка, что приуныла? Ешь-ка давай. — Отец ласково и внимательно заглядывает мне в глаза: он знает, о чем я думаю. Он всегда все понимает.

Потом я долго не могу уснуть. Кровать моя в комнате родителей, я уже давно выселена из «детской комнаты». Там поселились, разделив ее пополам, две молодые пары. Мне хорошо видно папино лицо. Оно сегодня очень усталое. Он сидит за своей маленькой, сделанной руками сысертского столяра конторкой, настольная лампа бросает пучок неяркого света на его лицо, бороду и лист бумаги перед ним. Он пишет.

Теперь я знаю, над чем он работал по ночам, после утомительного рабочего дня, после изнурительного физического труда дома, — после всего этого он составлял «для себя», «впрок», картотеку — «узелки для памяти», как он это называл.

Сейчас я могу взять любую из этих карточек и привести ее целиком:

«Сила и задор. Задору много, да силенка мала. Силы накопил — задору не стало. Старостью не укоряют. Молодостью не хвалятся.

Жизнь одна, да жить-то приходится по-разному.

Зимнее тепло что мачехино добро. Греть не греет, а вид дает.

Людей с мысли сбивать умеет, а нет чтобы на думку натолкнуть.

Крута гора, да забывчива.

Живой воды капелька. Большой горы начало. Горная роса, росинка горы».

Поиск живого, своеобразного, выразительного слова всегда был задачей, потребностью отца, его увлечением. Он мог восхищаться словом, образностью речи, искать его историческую основу, закономерности его развития.

Но собирательством слова ради его коллекционирования никогда не занимался. «Если слово устарело, надобности нет хранить его, особенно если за ним не стоит образ, а всякими там причудами языка можно умиляться, можно играть словом, но это пустяк, в конце концов».

Хорошо помню, как впервые поехала в Сысерть с родителями, на родину моего отца. Я наконец увидела любимые им края, рассказы о которых слышала с самого раннего детства.

В те годы отец еще не был автором «Малахитовой шкатулки», и родственников в Сысерти у нас не нашлось, кроме старушки Натальи Павловны (не знаю, в каком она была родстве, но, очевидно, очень дальнем). Она сдала нам чуланчик без окон, потому что «горница» была уже занята. Но мы были и этому рады, так как достатки у нас были скромные, горница нам была не нужна, а чуланчик очень подходил, тем более что в нем было прохладно даже в послеполуденный зной, а дом стоял на краю заводского поселка — лес и пруд рядом. Там мы и проводили все время.

— Сегодня мы пойдем на княженичные горки, — говорил отец, и мы шли мимо пруда, через лес, по тропинкам в самую глушь леса. Там по одному ему известным приметам отец находил низинку с невысокими горками, усеянными редкой ароматной ягодой — княженикой.

На следующий день мы попадали в царство лесных орхидей. Потом — на грибное место... Мы долго-долго шли по лесу, потом отец говорил:

— Вот здесь ходите! От этого овражка до того пригорка, дальше не надо. А справа — до той березовой опушки. Походите. А я посижу на пенечке, покурю.

Мы с мамой ходили там, где он показал, и заполняли наши корзины рыжиками, маслятами или груздями в зависимости оттого, чему пришло время. Когда я удивлялась, почему он знает, где есть грибы, а где нет, он улыбался.

— Это не забывается. Весь этот лес обеган мной в детстве. Много изменилось, но кое-что осталось. Может быть, и твои дети увидят эту красоту.

Памятью об этой нашей поездке в Сысерть остался рассказ «Недоступное место Храпы», в котором отец, скрывшийся за фамилией учителя Мисилова, рассказывает жене и дочери про места своего детства, которые представляются ему недоступными лесными, заповедными местами:

«— Птицы там всякой — палкой сшибай. Дикие козлы стадами пасутся. Сохатые тоже. Ну, и волков с медведями немало. Даже в летнюю пору ходить без ружья нельзя. Колесной дороги туда вовсе нет. Только шимой по пруду оттуда лес вывозят. Самое это недоступное место...

Когда вечером пришел сосед, живший в «горнице», Мисиллов стал расспрашивать, где тот работает.

— Урочище тут у нас есть, Храпы называется. Там и работаю.

— В лесниках?

— Зачем в лесниках? Машину вожу. Шофер я. Шестнадцать машин на этой трассе ходит...

— А танцевальной площадки там нет? — серьезно спросила жена.

— Для сохатых... — со смехом подхватила дочка.

И Мисиллов вместе со всеми смеется над собой, и радуется, и чуть-чуть огорчается этим переменам».

Было в нашей сысертской жизни в то лето еще одно удовольствие.

Мы устраивались с удочками на берегу пруда. Изпод светлой папиной кепки по лбу и усам стекали капельки пота, но он ничего не замечал — все его внимание сосредоточивалось на поплавке. Он явно наслаждался происходящим: были ему милы и эта тишина, и неподвижность воды, и горячее солнце, и родной аромат детства.

После полудня, когда одолевала жара, уходили на Беседную гору, расстилали одеяло и по очереди читали сказки Гофмана. Из сказочного, впервые мне, городскому ребенку, открывшегося мира старых уральских заводов я переносилась в мир дождей и догаресс, следила за приключениями крошки Цахеса.

Читать я начала рано. Первые буквари еще задолго до школы мне принес отец. Были они некрасивы. Печать тогда была бедная. Это очень огорчало отца. Он все искал что-нибудь поинтереснее. Рылся в своих старых учебниках, стараясь выбрать книжку позанимательнее, но старые буквари были с ятью, старинным шрифтом и анахроничными текстами. Наконец мы выбрали, по мнению отца, самый удачный учебник, и начались наши первые уроки. Проходили они интересно. Не утомительно. Я ждала их с радостью и нетерпением. Мама убирала со стола посуду и насухо вытирала клеенку, отец раскрывал букварь... Это были счастливые часы моей жизни. Читать я научилась мгновенно и начала одну за другой глотать книги. Это были русские народные сказки, басни Крылова, сказки Пушкина, братьев Гримм, Перро... Книжки стали моим главным

увлечением. Отец внимательно следил за моим чтением и неназойливо направлял его. Причем при выборе книги он наверное меньше руководствовался моим возрастом, а больше качеством произведения. Единственное правило, которого он всегда придерживался, было: плохую литературу не надо читать ни в каком возрасте, а особенно в детском, когда закладываются представления об основных понятиях, формируется вкус.

...Иногда мы просто лежали на спине и глядели, как бегут облака, похожие на причудливые цветы, на длинноволосых красавиц, на экзотических птиц, и тихо говорили. Часто мы смотрели на заводской поселок, хорошо видный с горы, и отец рассказывал про те места, где прошло его детство: улица Шиповая, Пеньковка...

— На Шиповой, если идти от пруда по правой стороне, стоял дом моих родителей. Дом сгорел, когда мы жили в Полевском... остались сарай и флигель. Я побывал там в прошлый приезд, но как-то ничего не узнал. Наверное, дело в том, что и я сам изменился, и все вокруг изменилось...

Поблизости жили и мои дружки закадычные — Колюшка и Петюнька. Мы были точные одногодки и с ползунков росли вместе. Звали нас «заединщина». И в достатке семей не было разницы. Все «тянулись от получки до получки», перехватывая друг у друга что случится. Дружба отцов и матерей скрепляла нашу ребячью дружбу. За драки и проказы нам тоже попало вместе. Матери не склонны были разбирать, чья вина виновата. Заединщина так заединщина, заодно и получай. Здесь проходили и «драки до крови», страшные и жестокие.

А мой любимый дедушка жил вот здесь, за рекой, недалеко отсюда. Он был забавный человек и выдумщик, вот уж кто знал и лес, и завод, и поселок как свои пять пальцев! Многие заветные места еще он мне показал. И руки у него были золотые. Радостно было смотреть, когда брался за что-нибудь. Все у него выходило ладно да красиво. И часы починить, и побыльщину рассказать — на все был мастер. Только не мог долго одним чем-нибудь заниматься, скучно ему было. Потому и семья жила бедно, и мать осуждала

своего отчима, в чем никак не могла найти поддержку у меня и бабушки. Мы любили деда Филата...

Рассказывал отец и о других зареченских жителях, о Сысерти конца XIX — начала XX века. Отец показывал на какой-нибудь дом и говорил:

— Смотри-ка, какой дворец выстроили, а раньше здесь худенький домишко стоял и жил в нем наводчик по конному воровству Маркушка. Весь завод и вся округа знали, что наводчик, а поймать с поличным не могли. Хитер был. Избенка у него была хуже всех в околотке. Даже без крыши. Двора, как при других домах, не было, а только редкий забор из жердей. Жил, как говорится, на виду у всех. Но ему не верили...

А вот этот дом я помню. Здесь пекли хлеб на продажу и обрабатывали для завода горновой камень. От дома в дни моего детства несло «хлебным духом», а вокруг среди серебристо-зеленых обломков можно было найти красивый камешек...

А здесь жил столяр по прозвищу Мякина. Неграмотный был, но очень одаренный. Его песни и частушки весь завод пел, и сейчас еще их помню, а посчитай, сколько лет прошло...

Когда мы все вместе ходили по улицам завода или встречали в лесу и на берегу пруда людей отцовского возраста, он обязательно здоровался и внимательно глядел в лица. Иногда говорил:

— Вроде бы знавал я его. Кажется, вот еще немного поднапрячь память — и из-за этой незнакомой оболочки выглянет мальчишеское лицо старого друга. Ну, может, и ошибся...

Отец любил вспоминать свое детство. Особенно те десять лет, что прошли в Сысерти. Семья была дружная, трудовая. Единственного ребенка хотя и не баловали — это, как видно, не было принято в заводской среде, — но окружали любовью. Мать, Августа Степановна, была человеком очень мягким. Отец, Петр Васильевич, хотя и слыл резким и неуживчивым, но сына любил, недаром мать и бабушка называли его «потаковщиком» и «поноровщиком», — позже эти слова бытовали в нашей семье, только «потаковщиком» был мой отец. Игры, рыбная ловля, походы за грибами и ягодами, сказки, лес, как дом, пруды и речки, как друзья и помощники, окружали отца в детстве.

Учеба, чтение книг постепенно открыли перед ним мир более широкий и интересный, чем тот, который он знал и который кончался дальним берегом пруда, покотиной и синеющим вдали лесом. Он узнал, что на свете существуют дальние страны, большие города, перед ним открылся прекрасный мир поэзии.

— Если бы не Пушкин, я бы так и остался заводским пареньком с четырехклассным образованием,— рассказывал отец. — Впервые получил томик Пушкина на довольно тяжелых условиях — выучить его наизусть. Библиотекарь, наверное, пошутил, но я отнесся к делу серьезно. Учить было довольно трудно,— вспоминал отец. — Много было тогда непонятно. Вот послушай:

Она внимала мне с улыбкой, и слегка
По звонким скважинам пустого тростника
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов...

Ну? Все поняла?

— Да...

— Вот и я так же,— улыбался отец. — Но дальше пошло лучше. А когда дошел до поэмы «Братья-разбойники», стихи уже сами заучивались. Кстати, а ты что из пушкинских стихов наизусть знаешь?

Теперь я читала Пушкина наизусть, а отец только кивал довольно головой и подсказывал, когда я путалась.

— А ты выучил первый том? — возвращалась я к его детству.

— Выучил.

— И сейчас помнишь?

— Нет, конечно, все не помню, но кое-что в памяти осталось.

И отец начинал читать Пушкина. Он мог читать часами, иногда прикрывая глаза, будто переносился в другую обстановку, иногда пропускал строки и сокрушенно вздыхал:

— Тут не помню. Видишь, что годы делают. А потом,— рассказывал отец,— Пушкин помог мне получить образование. Приехал в Сысерть из Екатеринбургa ветеринарный врач и известный краевед И. С. Смородинцев, ему рассказали о способном маль-

чике из рабочей семьи, который «всего Пушкина на зубок знает».

О своей учебе в Екатеринбурге-Свердловске, о встречах с людьми отец рассказал в автобиографической повести «Дальнее — близкое». Мечтал он написать о своем отрочестве повесть, продолжение «Зеленой кобылки», было для нее придумано название — «Крашенный панок», и сколько помню себя, на книжной полке отца как напоминание стоял тот самый панок, который приносил ему победу в сражениях на сысертских улицах в детстве. Было написано несколько начал. Вот одно из них:

«День выдался невеселый. Не то чтобы непогожий, а так, не задался с утра. С вечера мы стоворились идти в лес, а не вышло. Колюшку мать послала в самый дальний конец завода — в Рым, отнести заказ. Петюнька уехал с отцом за сеном, а я остался один. От безделья сидел на завалинке и смотрел, как играли девчонки.

По проулку в это время проходил Гриньша Чирун. С ним мы не мирились, но все же после случая с Сенькиными голубями не дрались. Мы, пятеро, ходили на Первую глинку, а они ходили к нам. В той и другой улице было много «немирившихся», но никто из них не вязался. Играют наши с пятеркой первоглинских — ничего, играй, мы не тронем. То же было и с нами. В Глинке у нас было пятеро друзей, а остальные ребята ни то ни се: в друзья не шли и в драку не лезли. И мы не трогали и тех, кто с нами не мирился.

Гриньша даже поздоровался со мной:

— Здорово, Егорша.

— Здравствуй.

Больше нам говорить было не о чем. Он подошел ко мне и спокойнехонько сел рядом. Меня это удивило. Не деремса — одно, а дружить — совсем другое. Но промолчал.

— Ты что один? Не рассорился ли со своими заединщиками? — И так все ласково, будто ему тут большое дело.

— Зачем ссориться? У нас этого не бывает.

— Сказывай. А с Петьшей на нашей улице за плитку подрались.

— Подрались, помирились. Наше дело.

— Заединщина. Надолго ли? Мы с Сеньшей тоже

заединщиками были, а теперь в разные стороны глядим. Он теперь с Петьшей, а про тебя Петьша говорит...

Девчонки в это время пробежали совсем близко от нас. Гриньша подставил ногу. Райка ткнулась носом в землю и отчаянно заревела, а Гриньша схватил с нее платок и еще ударил по спине.

Хотя с девчонками мы никогда не играли, но не лезли к ним. И я без всяких предисловий засветил Гриньше звонкую оплеуху. Он был слабее меня, но полез в драку и получил по первое число...»

Повесть «Крашенный панок» не написалась...

Я много раз слышала от отца рассказы о его родителях. Знала, что они умерли давно, сравнительно молодыми, видела их фотографии, но как-то они для меня не существовали как люди близкие, пока мне не попало в руки письмо бабушки, Августы Степановны, к сыну, учившемуся в то время в Перми, по понятиям тех лет далеко от родных мест. Письмо отправлено из Верхсертского завода 23 октября 1895 года воспитаннику третьего класса Пермской духовной семинарии Павлу Бажову.

«Здравствуй, Паша,— пишет Августа Степановна. — Желаю быть здоровым и всего хорошего! Мы, слава богу, здоровы. На Верхнем живем уже две недели в доме, где жил Павел Васильевич, а они переехали в Сысерть в дом Кадошников. Жалованье отцу пока до рождества все то же. Перевозку приняли на казенный счет. Зырянов просил управляющего, чтобы перевезли отца на Верхний. Хотят строить новую машину — катать проволоку, боятся поставить новенького, что все перемешает. Паша, ты, пожалуйста, береги здоровье, не студись. Теперь погоды хуже зимней. Новостей больше никаких нет. Будь здоров.

Твоя любящая мать *Августа Бажова*».

Рукой отца приписано: «Здравствуй, Паша. При сем посылаем денег два рубля. Будь здоров.

Твой *Петр Бажов*».

Возможно, потому, что письмо такое обычное (я сама неоднократно писала такие своим детям: «Берегись,

не простудись»), оно приблизило ко мне деда и бабушку, превратило их из персонажей с пожелтевшей фотографии XIX века в живых людей — моих близких. Я пожалела свою бабушку, которой пришлось ради блага единственного сына расстаться с ним на долгие годы. С сожалением подумала, что отец, очевидно, в последний раз побаловал сына, посылая ему два рубля. Через год Паша остался без отца и без всякой надежды на материальную поддержку. Наоборот, у него появилась повседневная забота не только о том, где взять деньги на продолжение учебы, но и для матери. Я с гордостью подумала о деде: хоть и считало его начальство неуживчивым, так как льстить не умел, но когда трудности возникали, обращалось к нему за помощью.

...Наше короткое лето в Сысерти осталось в моем сознании дорогим и светлым воспоминанием. Оно приблизило меня к отцу, научило любить и восхищаться природой — ее живыми разнообразными красками. Эталонами красоты стали для меня на всю мою последующую жизнь сосновый лес, прогретые солнцем пригорки, чистые тихие пруды Среднего Урала. С этими родными местами сравнивала я впоследствии природу Подмосковья, Крыма, Кавказа, Кубы, Югославии. В то лето впервые, будучи уже вполне сознательным человеком, я так много и интересно общалась с отцом. Мне понятнее стал тот родовой корень, из которого вырос мой отец, а следовательно, и я.

Моя память выхватывает из прошлого летний жаркий день 16 июля 1936 года. В нашем саду, как будто специально к серебряной свадьбе родителей, зацвела липа. Старшие сестры в то время уже не жили с нами, брат Алеша погиб в результате несчастного случая, осталась я одна. Но в этот день по пути в командировку в Златоуст приехала из Москвы Елена.

Мама, худенькая, красивая, в светлом ситцевом платье, с цветком в еще черных волосах, играла на гитаре и пела. Когда обо всем переговорили, съели пироги и выпили чай, отец с таинственной и смущенной улыбкой вынес из дома простую ученическую тетрадь с пушкинским Лукоморьем на обложке, исписанную ровным, аккуратным почерком бывшего учителя русского языка и чистописания, и прочел нам глуховатым

голосом, смущенно покашливая, сказ «Медной горы хозяйка».

Потом для отца наступил год вынужденного бездействия, год тягостных раздумий. Он сделался неразговорчив. Днем по-прежнему работал в саду, в огороде, подолгу сидел молча, покуривая короткую трубку и глядя вдаль невидящими глазами, а ночи частенько проводил за своей старенькой конторкой. Иногда, зачитавшись интересной книгой, я до утра видела полоску света и слышала тихие, размеренные шаги. За этот год отец написал сказы «Надпись на камне», «Сочиневы камешки», «Каменный цветок», «Марков камень», «Золотой волос», «Змеиный след», «Две ящерицы», «Тяжелая витушка», «Горный мастер», «Кошачьи уши», то есть основной костяк «Малахитовой шкатулки».

Сказы не сразу нашли своего читателя и завоевали признание.

— Это, Павел Петрович, я при всем уважении к вам печатать не стану,— сказала ему редактор сборника, которой отец впервые принес свои сказы. — Это фальсификация фольклора.

Демьян Бедный впоследствии рассказывал отцу, что спас его от разгромной статьи о первых сказках. Редактор одного из центральных детских журналов вернул рукопись сказа «Серебряное копытце» с категорическим и лаконичным отказом. Отец огорчился, терял меру в себя. Переставал писать. Не прекращалась только работа над словом. Писательская кладовая продолжала пополняться.

Признание и известность пришли к нему исподволь. 28 января 1939 года, в день шестидесятилетия отца, его друзья — журналисты, писатели и издатели — преподнесли ему драгоценный подарок — первый экземпляр первого издания «Малахитовой шкатулки», еще пахнущий типографской краской. Потом их было много, красивых и некрасивых, богатых и скромных, цветных и черно-белых, на многих языках мира. Но эта первая книга с дедушкой Слышко на обложке навсегда осталась для отца самой дорогой. На подаренном мне тогда экземпляре книги еще очень четким отцовским почерком написано: «Моей маленькой дочерёнке — Ридчишке».

Во время Великой Отечественной войны писательская организация Свердловска насчитывала около 60 членов Союза писателей. В ее состав влились известные литераторы: Ольга Дмитриевна Форш, Федор Васильевич Гладков, Мариэтта Сергеевна Шагинян, Анна Александровна Караваева, Агния Львовна Барто, Лев Абрамович Кассиль, Оксана Иваненко, Юрий Верховский,— все они бывали желанными гостями нашего дома в трудные военные годы. Гости хвалили морковный чай и подолгу засиживались в нашем слабо освещенном и плохо нагретом доме.

Хорошо помню проезд к нам Алексея Александровича Суркова. Он приезжал на Урал, чтобы написать о героях тыла. Провел он у нас весь вечер, сидя на старом бабушкином сундучке возле конторки отца. Разговор шел о войне, о событиях на фронте, о героизме. Отец слушал, расспрашивал, курил, непрерывно набивая трубку махорочным самосадам, дым от которого оседал на стеклах синим маслянистым налетом. Алексей Александрович так и не ушел в гостиницу, а остался у нас ночевать. Еще на рассвете из комнаты отца доносились голоса, и поспал он немного на том же коротеньком бабушкином сундучке.

Те, кто общался тогда с отцом, вспоминают неумную его энергию, внутреннее спокойствие, умение заботиться обо всем без суеты.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны все жили и работали с огромным напряжением человеческих сил. И отец в эти трудные годы жил как все.

С фронта стали приходиться к нему письма, в которых бойцы и офицеры подтверждали, что книга нужна, что в сказах утверждаются лучшие национальные черты русского человека — могучая жизнеспособность, ум, трудолюбие, талантливость, стойкость характера.

В 1942 году в Москве печаталась «Малахитовая шкатулка», которой суждено было оказаться в руках людей не только в дни мира, но и во время войны.

«Бажова как автора «Малахитовой шкатулки» знают уже немало лет,— писала М. С. Шагинян. — Но лишь в Отечественную войну это знание стало полным. Великие испытания, переживаемые всем народом, служат как бы пробным камнем искусства. Они опреде-

ляют удельный вес каждого произведения, степень его участия в том большом совместном творчестве человечества, которое можно назвать «тягой истории», направляющим движением к будущему. Отечественная война показала, что книга Бажова «тянет», и тянет крепко. Бажову удалось в конкретной художественной форме, на образной исторической основе создать произведение огромного значения»¹.

Никогда не забуду рассказ Бориса Николаевича Полевого, побывавшего в нашем доме летом 1950 года, о том, как он прочитал впервые «Малахитовую шкатулку». На фронте он увидел в руках капитана книгу, которую тот читал ночью, при свете карманного фонарика, во время короткой передышки между тяжелыми боями, читал увлеченно, внимательно, хмурясь и улыбаясь. Когда утром Полевому вручили для передачи в политорганы документы убитого капитана, он вынул из полевой сумки книгу, которую тот читал за несколько часов до смерти,— это была незнакомая ему «Малахитовая шкатулка».

Вот передо мной стоит и это издание книги. По светло-золотой обложке ползет золотая ящерица. А на титульном листе знакомые слова: «Теперь уже совсем взрослой моей младшей дочери Ариадне. П. Бажов».

«Взрослая дочь Ариадна» в то время заканчивала школу, работала в госпиталях и отчаянно голодала. Семья, как всегда, была большая. Приехали старшая сестра Ольга с сыном Володей, мамина сестра Анна Александровна с внучкой. Мама предпринимала героические усилия, чтобы хоть чем-нибудь нас всех накормить, хотя бы лепешками из редьки... Хлеб на стол нарезался не тонкими, а ажурными ломтиками, и я совсем не замечала, как проглатывала уже два кусочка, а отец еще не брал ни одного, и у меня не хватало силы воли не протянуть руку за третьим.

— Бери, бери,— успокаивал меня отец, поймав виноватый взгляд.

А последний, оставшийся на тарелке кусок они делили пополам.

В 1943 году я окончила школу и поступила в Уральский государственный университет.

¹ «Правда», 4 февраля 1944 г.

Не помню, чтобы отец особенно интересовался моей учебой в те годы. Некогда ему было. Но вот день, когда стало известно, что меня приняли в аспирантуру, на кафедру истории СССР Уральского государственного университета, я помню хорошо. Отец просто сиял, я видела, что он счастлив. История всегда была главным интересом в жизни отца. «История» и «Слово», «Слово» и «История», и еще Урал.

Во всех своих ранних публицистических вещах — «Уральские были» (1924), «За советскую правду» (1926), «К расчету» (1926), «Бойцы первого призыва» (1934) — он оставался автором исторического очерка. И позже, когда Бажов стал автором «Малахитовой шкатулки», он написал автобиографическую повесть «Зеленая кобылка» (1939) на широкой исторической основе — о жизни подростка уральского завода в конце XIX века. Эту же тему он продолжил в повести «Дальнее — близкое» (1949) — об истории Екатеринбург-Свердловска в конце XIX — начале XX века.

В последние годы жизни отца мы много и интересно общались. Хотя он был очень занят. Время его было заполнено поездками, встречами с людьми, обязанностями писателя и депутата Верховного Совета СССР, работой над сказами, но неизменно по вечерам вокруг него собиралась вся семья, и велся неторопливый разговор о том, что видели, что читали, о чем думали, что волновало в течение дня. В эти тихие вечерние часы я услышала рассказы о детстве отца, о родителях и друзьях, об играх и обязанностях заводского подростка в конце XIX века, о его впечатлениях, о Екатеринбург тех лет — первом большом городе, который ему привелось увидеть, о событиях 1905 года на Сысертском заводе, о наступлении колчаковских войск на Камышлов, о том, как он пробирался на Томский Урман, не зная, удастся ли найти своих, как нашел он друзей среди крестьян Томского Урмана, как собирали оружие и готовили нападение на белогвардейцев, об успехах и разгроме небольшого отряда партизан «Горные орлы». Когда в воспоминаниях всплывал Алтай, в разговор неизменно включались мама и сестры.

В 1919 году, получив первую тайную весточку от отца, извещавшего, где он находится и как его можно разыскать, моя мать, не прислушиваясь к охам и ахам

родных, только выйдя из больницы и похоронив сына, собрала трех своих детей — восьмилетнюю Ольгу, семилетнюю Елену и трехлетнего Алексея — и отправилась в дорогу, не зная точно, где находится отец и жив ли он. Как они ехали, кто встречался и помогал в пути, где им приходилось холодать и голодать — обо всем этом каждый рассказывал по-своему. Но рассказ о том, как они наконец после долгой и сложной дороги — ведь это были годы гражданской войны — прибыли в Усть-Каменогорск и увидели на пристани в толпе встречающих пароход отца, — а он с надеждой ждал каждый, — и мама шепнула детям: «Вот ваш отец, только об этом никому нельзя говорить!» — я помню с детства, неоднократно повторенный, и у меня всякий раз замирало сердце.

Невысокий человек в темных очках, страховой агент Бахеев — так он изменил свою фамилию — мог появляться в любом месте, не вызывая подозрений. Он осуществлял связь между соединениями партизан «Красные горные орлы», рассказывал о положении на фронтах, вручал партийные билеты. О том, каким опытным, тактичным и смелым подпольщиком был отец, рассказал в своих воспоминаниях Н. Рахвалов¹.

В конце 1919 года соединение «Красные горные орлы» вошло в Усть-Каменогорск, освободив его от белогвардейцев. Среди первых 28 членов коммунистической партии Усть-Каменогорска был и Павел Петрович Бажов. Он стал редактором газеты «Советская власть», заведующим отделом народного образования, создавал первые учительские курсы, организовывал первые школы по ликвидации неграмотности, принимал участие в восстановлении Риддерского рудника.

О положении, которое сложилось на Алтае, в Бухтарминском районе, где он выполнял сначала подпольную, а потом партийную работу по установлению советской власти, отец рассказывал неоднократно, часто и с удовольствием возвращаясь мыслями к этому периоду своей жизни.

В те годы Бухтарминский край был далекой окраиной Советской Республики. Крестьянство там было за-

¹ Н. Рахвалов. Бажов в Усть-Каменогорске. «Урал», 1969, № 1.

житочное. Помещиков коренные жители края не знали. Земли в избытке. Недостатка в фабричных изделиях тоже не чувствовалось.

Советских войск из России тогда здесь был только один полк коммунистов, ничтожная горсточка, а местное крестьянство было организовано в восемь партизанских полков из бывших фронтовиков, знавших в совершенстве свою горную местность, великолепно вооруженных и пользовавшихся доверием всего населения.

Огромный перевес вооруженной силы был явно на стороне местного крестьянства. В случае надобности они могли позвать и своих недавних врагов — колчаковцев, которые сидели тут же, под боком, за китайской и монгольской границей. Ждали только случая, чтобы выступить против советских войск.

Одинокому же советскому полку поддержки ждать было неоткуда. Основные группы Красной Армии были тогда заняты на других, более важных фронтах, да и пути сообщения с Алтаем были плохие.

Советская Республика тогда не могла послать никаких товаров в этот удаленный край. Вместо них пришел упродком с самой жестокой формой разверстки.

Крестьянство заколебалось. Не один раз были случаи кровавых столкновений, в результате которых гибли партийные и советские работники, которых и так было мало.

И все-таки к началу лета 1920 года бухтарминский крестьянин окончательно определил свой революционный путь. Оставив дома необходимый заслон против вылезавших время от времени из-за границы белобандитов, бухтарминцы выделили значительную группу бойцов. Три эскадрона кавалеристов на лучших алтайских скакунах, в полном вооружении пошли с Бухтармы против Врангеля. Местным органам советской власти пришлось даже ограничить запись добровольцев, чтобы не ослабить заслона на границе.

Когда отец вспоминал об этом времени, он начинал ходить по комнате, голос его становился громче, он молодец, глаза яснили, и я отчетливо представляла себе отца в папаше с красной лентой наискосок, с ружьем за плечами.

— Когда отец уходил в ночной патруль по охране города, я не спала,— рассказывала мама. — Такое было опасное время. Граница рядом. Белые, чувствуя, что приходят их последние дни, совсем озверели. Только и слышно было о зверских расправах с коммунистами и их семьями.

Сестры вспоминают другое: как цветут багульник и альпийские маки, как вкусны семипалатинская колбаса и конопляное семя с медом. Это лакомство в доме называлось «последняя отрада» и выдавалось мамой в исключительных случаях. О том, как мама радостная вернулась с рынка с куском мыла, вымыла свои роскошные черные косы... и осталась совсем без волос. Как она горько плакала, а отец утешал и говорил, что сейчас она гораздо красивее. Как отца арестовали и посадили в крепость. Как трясла его жестокая малярия. Как в доме нависала мучительная, угрюмая тишина и все, даже маленький Алешка, ждали, когда же пройдет мучительный приступ.

В мае 1921 года «заведующий информационным отделом военно-революционного комитета общественной и политической организации, член военно-революционного комитета, председатель уездного комитета РКП(б), редактор газет «Известия» уревкома¹ и «Советская власть», член Семипалатинского губернского комитета партии Павел Петрович Бажов вследствие тяжелого заболевания и по просьбе Камышловского исполкома» возвращается в Камышлов.

Моя мать с тремя детьми и мужем, до крайности изнуренным малярией и тяжелой формой тифа, отправляется в обратную дорогу. Семья вернулась на Урал. Отца все радовало — и неяркое уральское солнышко, и запах соснового леса.

— Не жилец он на свете,— сказал маме, скорбно покачивая головой, камышловский земский врач, старый друг отца.

А больной просил об одном — выносить его в лес. В весеннем сосновом лесу он лежал часами без движения, глядел на деревья, слушал пение птиц...

¹ «Известия Усть-Каменогорского уездного революционного комитета».

и постепенно стал поправляться. Семья ожила, повеселела.

Вскоре он уже снова работает, редактирует газету «Красный путь», орган Камышловского уездного комитета РКП(б), и корреспондирует в «Крестьянскую газету», орган Екатеринбургского обкома РКП(б). В октябре он получает назначение на работу в «Крестьянскую газету», на должность ответственного секретаря. Семья возвращается в Екатеринбург-Свердловск.

Меня часто спрашивают, помню ли я сказки, которые мне рассказывал в детстве отец. Нет, не помню. И старшие сестры тоже не помнят. Все, в том числе и я, с раннего детства знали пушкинские сказки и «Конька-горбунка», их отец читал нам наизусть и любил к ним возвращаться.

А его главными сказками для нас были рассказы о жизни. Этими рассказами были полны вечера в нашем доме. Они могли касаться истории Урала, встреч с людьми, поездок по старым уральским заводам или избирательному округу. Обо всем он умел рассказать увлекательно, ярко, весело и по-своему. Причем мы не чувствовали себя аудиторией, которая собралась послушать. Нет, мы себя ощущали участниками общего большого разговора о жизни и соучастниками рассказа.

В книгах о Бажове часто пишут: «Он любил детей». Это справедливо, но только с одним оттенком. В детях он прежде всего видел людей и соответственно к ним относился. С детьми любого возраста он разговаривал как равный. Ни маленькой девочке, ни взрослому юноше он не говорил: «Ты еще маленькая, подрастешь — узнаешь». «Вы еще молоды и не можете знать того, что пережили мы, старики». Собеседнику любого возраста он давал высказать свое мнение и уважительно, с учетом возраста, отвечал.

Я не помню, чтобы кому-нибудь из своих детей отец сказал: «Не вмешивайся, не твое дело». Наоборот, я твердо знала, что у меня в семье есть право голоса. И какие бы сложные семейные или даже творческие вопросы ни обсуждались на семейном совете, отец спросит: «А ты, Ридчёна, как думаешь?» Независимо от того, сколько мне лет — семь, двенадцать или двадцать два.

Внук Никита был еще совсем мал, но и для него дедушка находил нужные и понятные слова. Никто не

мог толком объяснить, почему день сменяет ночь, почему петушок бегаёт по снегу босиком, а дедушка мог.

Как раз в последний год жизни деда Ника переживал «почемучный» период. Все в доме уставали. «Ах, почему, почему!.. Не знаю я, почему!» — то и дело восклицал кто-нибудь, только дедушка терпеливо и подробно отвечал на все «почему», и Никитка, едва заслышав его шаги, радостно бросался навстречу:

— Дедушка, мама не знает, а почему?..

Контакты с детьми устанавливались мгновенно. Часто ребята подходили к отцу просто на улице.

— Это вы дедушка Бажов? — спрашивал какой-нибудь отважный семилетний паренек.

— Я. А ты кто?

— А я Витька!

— Ты как, Витя, с нами пойдёшь или у тебя дела?

— Да нет, с вами пойду.

— Ну, так пошли тогда. Тебе куда надо-то?

— Да просто вас проводить.

— Ну вот и спасибо тебе. А то я вижу плохо, так ты мне подскажешь, где мостик, а где канавка. А ты, Ридчёна, тогда на трамвай беги, ты ведь торопишься. Мы с Виктором не спеша дойдем. Верно?

— Конечно, дойдем. Я могу вам и руку дать, а то, хотите, буду портфель нести?

— Да нет, спасибо, это я и сам донесу, а ты мне лучше вот что скажи: как ты смотришь...

Может быть, оттого, что он не проводил резкой грани между детьми и взрослыми, читателем «взрослым» и «детским», его сказки, в основном адресованные взрослым, быстро завоевали детскую аудиторию. Причем ребята узнали и полюбили сказки Бажова раньше, чем их начали печатать детские журналы и детские издательства.

Отца удивляло, что особенно привлекательными оказались вещи, стилистически и по фабуле наиболее сложные, типа «Каменного цветка», «Дорогого имячка». Для иллюстрации ребята чаще выбирали совсем «не детский» сказ «Солнечный камень» и изображали камень в виде улыбающегося солнышка. Огневушка-поскакушка во время войны была разведчицей, малахит и другие уральские камни ослепляли фашистов,

Великий Полоз обвивал и душил своими могучими кольцами вражеские полки.

Даже такой сказ, как «Приказчиковы подошвы», ребята часто выбирали для иллюстрации и чтения со сцены, а это уж совсем «взрослый» сказ. По мнению отца, это происходило потому, что ребятам всегда хочется видеть зло наказанным.

Часто во время наших вечерних чаепитий разговор касался истории Урала. О том, что отец собирался написать роман об атамане Золотом, знали многие. Об этом рассказывает подробно в своей книге «Долговекий мастер» Е. А. Пермяк. Но я не помню, чтобы отец кому-нибудь читал наброски к роману. Между тем они сохранились, и видно, какая проведена большая подготовительная работа.

Видимо, замысел романа или повести родился еще в 90-е годы XIX века, прошел через всю жизнь и не осуществился. Как-то в последние годы жизни, видимо понимая, что не осилит эту большую тему, отец сказал за вечерним чаем наигранно веселым голосом:

— Подарил я атамана-то Золотого Константину Васильевичу — он моложе, да и склонность к исторической тематике у него есть. А эту вот папочку, Ридчэна, себе возьми, ты ведь у нас историк, на досуге как-нибудь разберешь.

Все промолчали. И отец замолчал надолго, будто думал: «Жаль, что времени, отпущенного на одну человеческую жизнь, не хватает, чтобы осуществить все замыслы!»

Не знаю,годились ли Константину Васильевичу замыслы и материалы Бажова. Вряд ли. Но тема попала в надежные руки. В 1955 году, через пять лет после смерти отца, на Урале издана повесть Константина Васильевича Боголюбова «Атаман Золотой».

Вот теперь я открываю объемистую папку, на которой отцовской рукой еще молодым, четким почерком написано: «Атаман Золотой». Здесь в основном заготовки. Словарь к Золотому обширен и разнообразен: искательный; оказать ласковость; грамоте тихо знает; понаровка; глаз вострый; выкланивать расположение; безкорезный (бесстыдный); ясенева укладка; на-храпок; в бороде ума нет; собачья дружба до первой кости; вотчинник Иванка Косач; захребетник Савка

прозвищем Пузырь; уведомился через подлазчиков; гулебщик; Вахоня — прозвище; сын-одинец, буздаган (кованое оружие); ведун (знающий); борода сохаста; Савка Пуп; Васька Ковиряй; улещать; рудная вода; строгаль; коваль; чугу́н-рука (тяжелая); пух-рука (легкая); прямое дерево ветру не боится; за всяко просто; кошачье золото; неочерпаемо (неисчерпаемо); корчажничать — варить пиво, брагу.

Первоначальный краткий план повести выглядел так:

«Новое Усолье. В именье князя Бор. Г. Шаховского, приказчик Федька Калашников. Семья Плотниковых. Дедушка, сказки, отец, два брата. Семейный разлад. Цифирная школа. Почему туда попал Андрей. Учителя и учебники, соученики. Работа в заводской конторе».

В развернутом виде план несколько видоизменился и оброс деталями:

«Строптивную Рыжую выдают за Степу Смиренного — шибко тщедушный. Дед Андрея — плотник Афанасий, бывалый человек, балагур и сказочник. Хромой и пахорукий. Относительная свобода. Рыбалка. Рассказы о постройке острогов «осередь башкир». Далматовский монастырь. Разбойничьи песни. Бабушка Дарья — старая кружевница. Ее сказки».

Среди черновиков, набросков встречаются совсем готовые куски.

«Рослая красивая девица (судя по цвету волос, сестра Андрея) в сарафане из домотканой пестряди и фартуке грубого холста поила телят на широком пустынном в этот час барском дворе. То один, то другой из телят поднимал от корыта мокрую морду, тянулся к девушке, чтобы толкнуть ее в руку, бедро. На руке и сарафане оставались хлопья хлебного корма, но деушка как будто этого не замечала. Она наклоняла слюнявые морды к корыту, порой похлопывала своих ласковых питомцев, но было видно, что делает это только по привычке, мысли ее заняты чем-то другим — большим и тяжелым. Об этом говорили и заплаканные глаза, и криво повязанный на голове платок. Покровный угол платка приходился не посередине спины, а сбился в сторону, открывая толстую, тяжелую косу темно-рыжего цвета. Черная ряпушка, за-

креплявшая конец косы, распустилась, и бронзовые пряди разошлись.

Проходившая мимо главная скотница Афимья Козлуха сейчас же заметила этот беспорядок и набросилась на девушку:

— Ты это что патлы свои рыжие распустила? Куда у тебя платок пошел? В суседи? А княгинюшка выйдет, либо сам князинька — что тогда? Кому за тебя, бесстыжую, отвечать?

Когда девушка измазанными в корме руками быстро поправила платок и стала завязывать конец распустившейся косы, скотница смягчилась:

— Дура ты, Дарёнка! Право слово, дура! Смотри, как уревелась. Радоваться надо, а она себя изводит. Парня-то ведь недаром смиренным прозвали. Лучше лучшего с таким проживешь. Всю жизнь князь-батюшку благодарить должна за такого жениха.

— Да он, Афимья Ивановна..

— Ну, чем похаетшь парня?

— Смотреть тошно... Девки смеются. Этакого, говорят, недоноска по всему царству не найти... Борода растет, а самого от земли не видать.

— Вот и вышла дура. От земли не видать! Ты не на рост гляди, а чтоб душевный человек был. Свекровка-то, Марьица, кроткая-прекроткая у тебя будет. За такой жить — не охнешь. Знаю ее. В одной девичьей росли. Первая мастерица была золотом шить. Теперь еще ее поминают. На самую тонкую работу ее ставили. Другая и узора-то не разглядит, а она его выведет из точки в точку. Да еще сама новое выдумает. Теперь хоть отупела глазами, а все еще серебром плетет не хуже других. Поучит тебя, а ты ревешь!»

Очевидно, это начало повести о том периоде жизни Андрея Плотникова, когда он еще не стал атаманом, о его родных, учебе в местной владельческой школе в Новом Усолье, о службе конторщиком в имени князя Бориса Григорьевича Шаховского.

Судя по словарю и написанным кускам, довольно подробно освещался тот период, когда Андрей скрывался на займке купца Шавкунова:

«К зимнему Николе Шавкунов обыкновенно уезжал в Кунгур, на ярмарку. С ним уходил обоз со всем

юхтовым товаром, который вышел из дела. Возов десять, иногда и больше. Подготовка начиналась спозаранку — дня за три, за четыре. Кожи сортировали по весу, по отделке, пересчитывали, выискивали всякого рода брак. Порой спорили, но последнее слово всегда оставалось за Тихоном. Скажет он — в первый или второй воз, — так тому и быть».

Далее идет рассказ о том, как Андрей бежал на Клиновской рудник, где получил подложный паспорт и весной 1769 года появился на Шайтанском заводе Яковлева. Как ходил Золотой с караваном на судах строгановского приказчика Никиты Колчина в Рыбную слободу, где встал во главе отряда в десять человек, «разбойничал» на Волге, работал на медеплавильном заводе купца А. И. Кобелева, на Сергиевском заводе, на сплаве по реке Уфе, вновь организовал отряд в 17 человек и отправился по реке Белой до ее устья, где присоединился к отряду, возглавляемому мастеровым Егошихинского завода Иваном Прибытковым.

Из заготовок, прописанных кусков, развернутого плана видна основная идея повести. Еще в конце прошлого века учитель Павел Петрович Бажов хотел показать, что протест уральских мастеровых против крепостного права «нельзя обозначать коротким и презрительным словом «бунт», что нужно донести до потомков память об отважном мастеровом, крепостном интеллигенте, сподвижнике Е. И. Пугачева Андрее Степановиче Плотникове».

Была у отца и другая мечта — написать историю первых Демидовых, которые в сложном деле создания русской промышленности на Урале действовали в соответствии с петровским указом: «Деловых людей и разного кунста искусников надлежит всяко обнадежить и принимать с респектом и привилегией, то памятуя, что от таковых великое прибавление и польза заводскому делу простекать могут».

Пожалуй, полнее всего его отношение к Демидовым-первым, в отличие от «последышей», проматывающих отцовское наследство по заграницам, нашло отражение в письме к Алексею Александровичу Суркову по поводу романа Е. А. Федорова «Демидовы». Не буду пересказывать это письмо, оно частично опублико-

вано¹, о нем много писали, в частности его в значительной части цитирует Е. А. Пермяк в книге «Долговекий мастер».

Главная идея Павла Петровича — энергия Демидовых, их напор, организаторская сметка заслуживают справедливой оценки потомков. Их крепостническая сущность не должна заслонить того факта, что благодаря их деятельности наша страна в короткий срок освободилась от импорта железа и сама стала его экспортером. Открыты медные и серебряные руды в Сибири.

Демидовы привлекали его как «переходные фигуры от мужиков к барам. Они впитали в себя много таких черт, которые говорят, что они не забыли еще своих кузнецов-предков». Очень интересно, например, отношение Прокопия Демидова к взбуйтовавшимся приписным, как и его хозяйское письмо верхневинским приказчикам о соревновании в поисках плавней. «Надо это письмо показать какому-нибудь металлургу, — заключает отец со свойственным ему стремлением не делать скоропалительных выводов, — чтобы понять, есть ли в нем действительные поиски, или только привычка поучать других, даже тому, чего сам не знал».

Было в исторической теме Бажова еще одно любимое детище — город Екатеринбург-Свердловск, с которым в течение шестидесяти лет сознательной жизни он был связан. Ему казалось, что история города недостаточно изучается.

«— История нашего города освещена односторонне, а может быть, и неправильно. Исследовательско-историческую работу вел Н. К. Чупин на основе документов, исходивших от администраторов и чиновников города. По документам картина строительства города выглядит так: приехали администраторы, выбрали место, построили город-крепость, ставший центром металлопромышленности! Нет, не так все просто! Достаточно посмотреть на городскую плотину, чтобы задуматься. Ведь это огромное и первоклассное для того времени техническое сооружение. Иностранцы специалисты не могли здесь выступать в роли учителей, так как в Западной Европе, в других климатических

¹ П. П. Бажов. Публицистика, письма, дневники. Свердловск, 1955.

условиях, была принята другая система: канал и заднебойное колесо, а у нас использовалось падение воды на верхнебойное».

На первое место в истории строительства города он выдвигал русских, мансийских первооткрывателей — рудознатцев, мастеровых, умельцев — и призывал ученых изучать пристально и серьезно подлинные документы по истории Екатеринбурга-Свердловска, но «не гнушаться народными преданиями Урала, который еще в эпоху крепостничества сконцентрировал высокие качества рабочих коллективов, впоследствии нашедших выражение в борьбе за социализм».

П. П. Бажову хотелось видеть любимый город благоустроенным, красивым, известным. Вот почему он хотел, чтобы каждый знал историю города и гордился ею, чтобы стояли в нем памятники первому русскому теплотехнику И. И. Ползунову, который девизом своего изобретения сделал: «Облегчать труд по нас грядущим»; Л. И. Бруницыну, родоначальнику русской золотопромышленности, Д. Н. Мамину-Сибиряку, бытописателю Урала.

Вот почему, гордясь историей своего края, он считал, что нужно отмечать не 100-летний юбилей горно-металлургического техникума в Свердловске, а 225-летие существования в Екатеринбурге-Свердловске учебных заведений для создания инженерно-технических кадров, так как начало ему положили петровские цифирные школы, которые начали функционировать на Урале еще в 1721 году.

После выхода из печати сказа «Ермаковы лебеди» отец получил предложение от редакции истории Большой Советской Энциклопедии написать о своей версии уральского происхождения Ермака.

Помню, отец был польщен и взволнован. Несколько наших семейных вечеров были посвящены обсуждению вопроса о происхождении Ермака, и хотя отец разворачивал убедительную картину, приводил множество никому не известных и собранных им по крупицам фактов, свидетельствующих об уральском происхождении Ермака, никто, кроме нас, членов его семьи, этих аргументов не узнал. Они не были изложены в энциклопедии, отец отказался, написал вежливое письмо: «...польщен... не считаю вправе... это лишь досужие предположения». А нам через пару дней

сказал: «Не пристала мне академическая камилавка. Ростом мал и плешив, кто-нибудь еще подумает, что чужой шапочкой хочу увеличить рост и скрыть плешину...» И больше к вопросу не возвращался.

Самые разные люди бывали в доме на Чапаева, 11, в гостях у Бажовых. Писатели и поэты, рабочие и инженеры, актеры и колхозники, учителя и академики, пионеры и журналисты. Всех угощали одинаково: домашней квашеной капустой, по которой мама была великий мастер, маринованными уральскими грибами, пирогами и чаем с вареньем. Велся тихий, неспешный разговор. Из друзей отца, бывавших у нас в тридцатые годы, особенно запомнились Петр Лаврентьевич Велин и Петр Абрамович Карьков, с которыми отец вместе работал в «Крестьянской газете», краевед Андрей Андреевич Анфиногенов и его жена Надежда Павловна, Алексей Петрович Бондин, в прошлом слесарь-железнодорожник, впоследствии писатель, книгу которого «Моя школа» очень высоко оценил А. М. Горький.

С Демьяном Бедным отец познакомился еще в 1926 году, во время работы в «Крестьянской газете». Сохранилась пожелтевшая фотография тех лет: Д. Бедный в открытой машине в сопровождении членов редакции. А в предисловии к своей книге «Горная порода» — поэме, написанной на основе сказов «Малахитовой шкатулки», — он назвал Бажова «горным мастером фольклорного цеха».

Частым гостем нашего дома был писатель Евгений Андреевич Пермьяк, написавший о дружбе с отцом очень теплую книгу «Долговекий мастер».

Дружил отец с историком В. В. Данилевским, который в годы войны жил и работал на Урале. За короткое время В. В. Данилевский подготовил и опубликовал две такие большие работы, как «Русская техника» и «Ползунов». Его метод работы восхищал отца. Он говорил:

— Наверное, от правильной постановки дела зависит половина успеха работы. Посмотри, у Виктора Васильевича нет ничего лишнего — ни закрытых шкафов, ни папок, затянутых шнурками, — но для каждой вещи и для группы есть постоянные места. Это позволяет не только быстро и без хлопот взять нужный материал, но и напоминает о нужном. А как часто бывает, что материал, тебя заинтересовавший когда-то, забудь-

дется, а потом случайно наткнешься на него и жалеешь об упущенных возможностях для его использования и пополнения.

Мне отец советовал учиться у Виктора Васильевича. Но сам пользовался старым, кустарным методом. «Что поделаешь,— говорил он,— привык даже конверты сам заклеивать, ни на кого не полагаться».

Нельзя сказать, что отец не пытался использовать помощь в работе. Работал он и со стенографистками и секретарем, но ничего не получалось. «Неужели это я говорил?» — удивлялся он, перечитывая стенограмму. И тратил массу времени на ее переделку. Он стеснялся затруднять людей. Ему было неудобно, если машинистка не могла разобрать его почерк: «Ничего, ничего, оставьте, я сам!» Его смущало, если у него не находилось нужное слово, а стенографистка ждала. Его огорчало, если кому-нибудь приходилось что-то делать для него. Он все предпочитал сделать сам, если мог, никого не затрудняя. И поэтому, наверное, он не успел осуществить многие творческие планы своей жизни.

Думаю, все уральские писатели в 30—40-е годы бывали в нашем доме. Творческое общение связывало отца с И. С. Пановым, И. И. Ликстановым, К. Мурзиди, Е. Е. Хоринской, Б. С. Рябининым, А. С. Ладейщиковым, К. Куштумом, Ю. Я. Хазановичем, В. А. Стариковым, Л. К. Татьяничей, Н. А. Поповой, О. И. Марковой, К. В. Боголюбовым, М. А. Батиным, О. Коряковым.

Отец не был завистлив, он всегда радовался удачам и успеху других, но был один человек, которому он откровенно и сильно завидовал. Он завидовал молодости и таланту Д. Д. Нагишкина, тому, что он выбрал в расцвете творческих сил тот жанр, к которому отец пришел так поздно, его разносторонней одаренности, умению иллюстрировать свои произведения и сетовал, что хотя никогда сам не вмешивался в работу художников, иллюстрировавших «Малахитовую шкатулку», редко мог согласиться с их видением сказочных образов. Вспоминая первую, мимолетную встречу с Дмитрием Дмитриевичем в Москве, в Союзе писателей, отец писал: «Представлял себе вас более пожилым и более...

науковидным, а оказалось вроде солнечного блика на зелени: форма не отложилась в памяти, но осталось ощущение молодого, здорового, радостного. Порадовался за вас, как много у вас впереди!..» И тут же с грустью добавляет: «Быть бы и мне помоложе лет хоть на десяток!» Очень тепло отзывался о книгах Нагишкина, особенно об «Амурских сказках»: «Какая изумительная вещь фольклор! Через ваши сказки не просто видишь жизнь, а начинаешь ее ощущать. Как жаль, что многие этого не понимают!»

И хорошо помню его огорчение от несостоявшейся встречи с писателем-дальневосточником. Писатель дал телеграмму о том, что будет в Свердловске проездом с Дальнего Востока в Москву. Поезд прибывал на вокзал ночью. Была зима, отцу нездоровилось, мама уговаривала его не ездить, но он поехал на вокзал. Поезд задерживался из-за заносов. Отец терпеливо ждал несколько часов. Наконец поезд прибыл... и стоял на станции пять минут. Бажов не смог даже добежать до нужного ему вагона. Встреча не состоялась. Разочарование и огорчение было большим.

Многие писатели оставили теплую память о себе в нашем старом доме. На титульных листах книг, подаренных отцу, в письмах и книгах о нем его современниками сказано много ласковых слов.

«Я с большой радостью,— писал А. П. Бондин,— вспоминаю, как мы совместно работали над моей книгой «Лога» (Бажов был редактором. — А. Б.), и с большим удовлетворением подсчитываю сумму всех твоих пожеланий, так для меня ценных... Пусть твоя ласковая рука напишет еще не одно произведение»¹. «...Сыновне приветствую вас. Простите, что не был на вашем торжестве,— писал П. Павленко.— Лечу в Америку. Радуюсь вашему творческому многолетию, завидую ему и рад, что являюсь вашим современником».

«...Я вновь и вновь перечитываю сказы, подлинно наслаждаясь и богатством выдумки, и слаженностью, и сладкозвучием русского языка... С пожеланием творческого настроения и душевного покоя остаюсь ваш неизменный почитатель» — Игорь Грабарь.

¹ Письмо А. П. Бондина от 25 января 1939 г. Архив П. П. Бажова.

«...Дорогому Павлу Петровичу с любовью — Мариэтта Шагинян».

«...Спасибо за ваши сказки — Сергей Михалков».

«...Автору «Малахитовой шкатулки», который открыл секрет создания сказки, тысячелетиями хранившийся в тайне. Немного открытий, равных по значению вашему. Спасибо вам за это от одного из тех, кому сказка близка и мила. — Дмитрий Нагишкин».

«...Обладателю волшебной «Малахитовой шкатулки» от очарованного Федора Гладкова».

«...Самому лучшему, самому настоящему из всего, что я «добыл» на Урале, — Лев Кассиль».

В 1970 году, спустя двадцать лет после смерти отца, мне привелось разговаривать с К. М. Симоновым.

— Я помню встречу с вашим отцом, — сказал Константин Михайлович, — и ваш уютный деревянный дом в Свердловске... А было это в 1939 году!

Столько лет прошло, война, интересные люди, другие страны, впечатления, а недолгое общение с моим отцом, посещение нашего дома запомнились... Почему? Я часто задаю себе этот вопрос: почему — и в кругу семьи, среди рабочих, молодежи, академиков, писателей и крестьян отец всегда был интересен и становился центром внимания? Он никогда не повышал голоса, никого не перебивал, никому не льстил, не подлаживался под собеседника, он оставался всегда самим собой — тихим, скромным, спокойным, умеющим слушать и уважать мнение другого. Наверное, это происходило потому, что запас его знаний был велик, у него всегда было что сказать собеседнику и интересно что-то у него узнать. Он не задавал вопросов «из любезности», чтобы тут же выбросить ответ из головы. Он спрашивал только в том случае, если ему было действительно интересно, и говорил всегда о своем и по-своему.

Зрение отца все больше слабело. Он не мог прочесть даже собственную рукопись. Печатал только на машинке, а при чтении писем к депутату прибегал к помощи мамы и моей. Выполняя для отца секретарские обязанности, я, в то время аспирантка Уральского университета, разбирала и готовила к отправке депутатскую почту. Нужно было прочесть отцу вслух

два-три десятка писем, а потом по его указаниям готовить проекты ответов.

Выслушав, отец говорил:

— Неплохо. Но потеплее бы надо, да и почетче! Давай-ка добавим вот что... — и диктовал совсем другое, свое письмо, ничем не похожее на предыдущее, хотя просьбы и слова писавших были совсем одинаковыми.

Как-то отец поручил мне отправить подготовленную и перепечатанную почту. Я взяла письма, положила в портфель, побежала на факультет и среди своих дел забыла их отправить. Поздно вечером отец спросил:

— Отправила?

— Ах, нет, забыла!

Отец молча встал из-за стола и ушел в свою комнату. Мы с мамой пошептались. Решили, что лучше его сейчас не волновать, и потихонечку разошлись. Я долго не спала. Чувствовала себя виноватой. Прислушивалась, не застучит ли за стеной машинка, но там было тихо,— значит, не работает, не может...

Рано утром я побежала на почту и, вернувшись, сообщила:

— Извини, пожалуйста, за вчерашнее, письма отправлены.

Он погладил меня по голове.

— Нельзя быть черствой. В каждом письме к депутату надежда, боль, беда, а ты... «ах, забыла!». Нельзя так!

Дела, на которые теперь уходило его время, были самые разные: государственные, литературные, просто человеческие. Раз в неделю у него был депутатский прием в облисполкоме, но в обычные дни недели поток посетителей по депутатским делам переключался на дом, и с утра до вечера на крыльцо поднимались то рабочий из Сысерти, то старая женщина из Артей, то школьники из Красноуфимска.

— Когда же ты будешь писать? Ведь у тебя есть приемный день! — пыталась я вмешаться в рабочий распорядок отца.

— А куда же им деваться? Они издалека приехали, и не к писателю Бажову, а к своему депутату. И ждать им некогда, у каждого работа поважней писательской.

В 1949 году очень торжественно был отмечен семидесятилетний юбилей отца. В зале Свердловской государственной филармонии собрались друзья и читатели Бажова. Много торжественных и смешных подарков. Отец растроган, благодарен, взволнован. Начал он говорить медленно, как будто еще не знал, о чем сказать. Но и в этот торжественный для него день он не забыл о своих близких.

— Мы всегда досадливо оглядываемся на камень, о который споткнулись на пути,— начал он,— но почти никогда не вспомним с благодарностью о тех людях, которые протоптали нам широкую и удобную тропу через лес или через топь. Для меня эту тропу в жизни проложила моя жена Валентина Александровна, которая взяла на себя все житейские заботы и тяготы, которые так осложняют жизнь. Благодаря ей я прошел жизнь по утоптанной тропе и мог спокойно работать...

Потом он благодарил друзей, литераторов, журналистов, издателей и читателей за внимание к его работе и за помощь. И вновь повторил то, что говорил всегда:

— Это внимание, разумеется, не ко мне, а к тем безвестным творцам, материал которых дошел до меня и стал доступен читателям. Моя роль в этом второстепенная...

После юбилея отец заболел. Долго лежал в больнице, потом в зимнем санатории... Вернулся домой, но все ему как-то нездоровилось.

«...Все-таки со мной делается что-то неприятное,— писал он в письме А. М. Ступникуру. — Зимний санаторий ничего не изменил. Там казалось скучно от безделья и санаторного режима. Приехал домой, а рабочего настроения нет. Стараюсь преодолеть долголетней привычкой, но пока результатов не вижу и быстро устаю. Видно, возраст берет меня сильнее, чем я его. Ну, все-таки еще поборемся»¹.

Грустные нотки все чаще проскальзывали в словах и письмах отца.

— Не те сны пошли,— рассказывал он, просыпаясь. — Смолоду вверх тянет, и всяк этому рад. Либо

¹ Архив П. П. Бажова. Письмо ответственному секретарю журнала «Огонек» А. М. Ступникуру.

во сне на крутую гору взбежишь, либо по лестнице чуть не до солнца взберешься, а то и полетаешь на просторе. После таких снов и днем кажется, что ты легче стал.

В старости другое снится. Видишь ту же лестницу, да по ней надо спускаться, а она под тобой подгибается либо кончается обрывом. Кверху не поднимаешься, и вниз бросаться не хочется, висишь на руках и думаешь: а ведь долго не продержаться. На весь день после такого сна усталость чувствуешь.

Десятого декабря 1950 года, в морозный день, похоронили отца на высоком холме, с которого виден Урал — леса и перелески, горы и пруды — все, что он любил, что всегда было дорого его сердцу, и вернулись домой. Еще пахло табаком, на столе лежала его трубка, а в машинку запроважено незаконченное письмо, но дом опустел...

Вечером у нас собралось много народу. Сначала было тихо. Потом выпили. Голоса стали громче. Заговорили о том, что волновало каждого. Маршала Георгия Константиновича Жукова расспрашивали о недавних днях войны, напоминали о встречах на фронте, требовали, чтобы он писал мемуары. Мама сидела ко всему безучастная, да вряд ли вообще слышала что-нибудь, а мне стало обидно, что вот уже и забыли и речь идет не об отце, как будто это не его дом, как будто он не среди нас, и зазвучал его голос:

— Ридчёна, что приуныла? Не надо. Жизнь ведь продолжается...

И она действительно продолжилась в его книгах, в памяти людей, в произведениях искусства, созданных по мотивам его сказов, в его детях, внуках и правнуках, среди которых есть экономисты, строители, рабочие, геологи, журналисты, социологи, историки и те, кому еще предстоит выбрать свои профессии и определить свой путь в жизни.

Много лет спустя после смерти отца, в чужих краях, мне привелось встретиться с памятью о нем. В 1962 году вместе с мужем, корреспондентом «Правды», и младшим сыном Егором я оказалась на Кубе. Вскоре по приезде в Гавану, осваивая незнакомый язык, я читала надписи. И вдруг на самом большом кинотеатре Гаваны прочла: «Цветок из камня». «О! Как

знакомо!» — подумала я, радуясь, что начинаю понимать по-испански... То есть как цветок из камня? Каменный цветок? Не может быть...

И все-таки это был фильм «Каменный цветок», и я смотрела его вместе с кубинскими зрителями. Большинство сидевших в зале огромного кинотеатра не были в Советском Союзе и, наверное, смутно представляли себе, где находится Урал. Я волновалась. Мне казалось — фильм не поймут, он будет скучен, начнут выходить из зала, и мне будет больно. Ведь здесь все другое — язык, природа, восприятие. Все здесь красочнее, эмоциональнее. Небо синее, море ярче, голоса громче, восприятие обостреннее. Скупые уральские краски, сдержанное слово с подтекстом не будут восприняты. Но все произошло иначе. Зрители реагировали на события, происходящие на экране, точно так же, как те, с которыми вместе я впервые увидела фильм «Каменный цветок» в Свердловске. Там же смеялись, в тех же местах замолкали... Почему? Я поняла позже.

Когда я уезжала на Кубу, мама положила мне в чемодан маленький кусочек малахита, ограненный с одной стороны.

— Возьми на память о родительском доме. Там, наверное, не видали.

Я рассказала об этом моим друзьям — геологам, работавшим на Кубе. Они смущенно промолчали, видимо удивляясь моей безграмотности. Потом один из них, порывшись в многочисленных сверточках, положил мне на ладонь точно такой же камешек, похожий, как близнец, на мой уральский.

— Этот не со Змеиной горки, — сказал он, улыбаясь, — это его брат из Пинар дель Рио.

Когда на острове Пинос я ехала от аэродрома по дороге, отливающей белым мраморным блеском, я вспомнила Урал. В Мраморском тоже дороги мощены мраморной крошкой...

Вот почему «Каменный цветок» и в другом полушарии смотрелся с интересом. И здесь занимались тем же трудом: искали медную и железную руду, добывали камень, обрабатывали его, создавали произведения искусства.

Неожиданной была для меня «встреча» с отцом в Югославии. Остановилась я у книжной витрины. Маленькая книжка в сером переплете привлекла внимание. Название знакомое: «Уральские байки». Полистала и убедилась, что хотя и без имени автора, но все-таки это сказы «Малахитовой шкатулки». А в городе Сараево, столице Боснии и Герцеговины, был поставлен балет «Каменный цветок». Слушая музыку, я вспоминала, как отец пришел однажды вечером взволнованный и веселый и рассказал нам, что в Свердловском театре оперы и балета начинаются репетиции балета «Каменный цветок» композитора А. Фридендера.

— Этого я пока не представляю,— возбужденно говорил отец,— подпрыгнет Данила и словно скажет: «Не буду делать чашу по барскому чертежу.» А хозяйка сделает пируэт ножкой — та-та-та,— это значит: «Приходи, покажу каменный цветок!» — Отец смешно выбрасывал ноги в толстых домашних валенках, изображая то Данилу, то малахитницу, и глаза его смеялись....

С тех пор я прожила долгую жизнь, но глаза отца, то веселые, то печальные, добрые, пытливые, требовательные, живут в моей памяти, будто расстались мы с ним только вчера...

Москва, 1963—1977



НИКОЛАЙ РАХВАЛОВ



В УСТЬЕ КАМЕННЫХ ГОР

Я не встречался с автором сказов «Малахитовая шкатулка», писателем П. П. Бажовым на Урале. Я знал Павла Петровича Бахеева на Рудном Алтае, в городе Усть-Каменогорске, где он прожил с июля 1919 года по конец апреля 1921 года.

Первые полгода своей жизни в этом далеком тогда от всех промышленных и культурных центров крае он посвятил восстановлению большевистского подполья, разгромленного колчаковцами после неудавшегося восстания в крепостной тюрьме и связям с партизанскими группами Горного Алтая, возникающими стихийно. А после изгнания колчаковцев он во главе небольшой группы коммунистов восстанавливает в крае советскую власть.

Вот если вы, читатель, способны перенестись мысленно с улицы Чапаева в Свердловске, из бажовского кабинета с его знаменитой старинного покроя конторкой, за которой писатель создавал свои сказы, в самое некло колчаковского ада, на Верхнюю пристань, к под-

ножию гор, где ютились бергальские домики (там и жил с семьей Павел Петрович Бахеев во второй половине 1919 года), вы почувствуете сердцем ту страшную опасность, какой подвергал себя и свою семью страховым агент П. П. Бахеев, живя вблизи знаменитого Шмелева Лога, где казнили, терзали каждого и всех не согласных с колчаковским режимом. Это было страшное место. По ночам там терзали узников крепостной тюрьмы. Изрубленные, искромсанные тела оставляли на месте казни, не разрешая родственникам хоронить их, пока власти не сочтут достаточным наглядное назиdание во страх населению.

По улицам города и пригорода Верхняя пристань разъезжали верховые казачьи патрули, выискивая новые жертвы.

И в то же самое время участники большевистского подполья за спинами патрулей, среди бела дня расклеивали на заборах листовки, призывающие к свержению колчаковской власти. Одним из таких расклейщиков была здравствующая и поныне сноха Матрены Антоновны Рябовой — Анна Михайловна Рябова, вдова замученного на пароходе «Монгол» члена Совдепа, продкомиссара Сергея Рябова. А сам Бахеев, составитель листовок, в это время под видом страхового агента восстанавливал связи в Риддере, в Шемонаихе, на золотых приисках Акджал, в кержацких селах Горного Алтая, в степи левобережья. Связной с алтайскими партизанами была та самая хозяйка домика, где жил П. П. Бахеев (теперь Пролетарская, 20) — Матрена Антоновна Рябова; гидом по степным аулам и кочевьям, связным с беднотой, — казах Баяш Утепов. С помощью Баяша Утепова Павел Петрович, не знавший казахского языка, глубоко исследовал жизнь и положение казахов, работающих на Риддере и руднике Акджал, в аульской степи.

Но самым центром политической работы подпольщика Бахеева было партизанское соединение, созданное из отдельных партизанских групп и партизан-одиночек, получившее впоследствии гордое название «Красные горные орлы», вошедшее под этим названием в историю партизанского движения в Восточном Казахстане.

Об одном из посещений Бахеевым партизанских гарнизонов рассказывал впоследствии адъютант полка Дементий Михайлович Савельев:

— В конце ноября 1919 года мы, большевики Змеиногорского и Усть-Каменогорского уездов, получили приказание от Никиты Ивановича Тимофеева готовиться к выступлению. А вскоре и сам он прибыл к нам, чтобы объединить все силы, способные к боевым действиям. Вместе с ним приехал и Павел Петрович Бахеев, о котором мы много были наслышаны от Никиты Ивановича, — маленький, коренастый блондин с небольшой бородкой¹. Он доложил партизанам о положении дел на фронтах Сибири и в колчаковском тылу. Тут и был разработан план дальнейших действий. В этот раз он мне вручал партийный билет.

Декабрь 1919 года — январь 1920 года были месяцами интенсивного освобождения Семипалатинской области от колчаковского засилья.

Сейчас трудно себе представить состояние и уровень средств информации и связи того времени.

Единственным способом связи областного центра с уездами был телеграф, прямой телеграфный провод, телеграфная лента. Но он был вечно занят военными оперативными штабами, ведущими двусторонние переговоры о положении на фронтах. О радиосвязи и говорить нечего — известно, что сети радиовещания тогда не существовало. Московские газеты доходили до губернского центра через полторы недели после выхода их в свет, а об уездах и говорить было нечего.

Первым посланцем из Усть-Каменогорска оказался С. М. Фофанов — старый большевик, интеллигентный сухощавый человек с седой курчавой бородкой.

В городе не было гостиницы, Фофанов явился прямо в коммунальную квартиру, где жили: семья председателя временного революционного комитета В. А. Куррамжина, редактор областной газеты «Степная правда» А. И. Богданов с женой Е. П. Груздевой, председатель

¹ В целях конспирации Павел Петрович, уходя в подполье, сбрил бороду и некоторое время ходил чисто выбритым, носил темные очки. Потом постепенно стал отращивать бороду. На съезде Советов в августе 1920 года он был уже с великолепной бородой.

областного профбюро Любовь Павловна Пиндрик, в прошлом имевшая партийную кличку «тетя Люба» (она когда-то работала с Р. С. Землячкой, о чем очень любила рассказывать нам), и Антон Бобра, член бюро губкома РКП, в прошлом инструктор штаба Крестьянской Красной Армии, очень талантливый, но болезненный юноша, умерший вскоре от чахотки.

Центральное место в рассказах С. М. Фофанова занимал Павел Петрович Бахеев и его удивительная, многогранная деятельность. Он изумлял товарищей своей работоспособностью, бесстрашием, спокойствием и дерзостью при расчетливом выполнении рискованных операций. И при всем том отличался необычайной скромностью.

По тому, как рассказал о нем Фофанов, нельзя было не представить его могучим богатырем, с широкой грудью и отважным сердцем. Так я его себе и представлял (мне шел в ту пору двадцать второй год).

В то время притчей во языцех была попытка командира четвертого корпуса Крестьянской армии, бывшего поручика царской армии, эсера Козыря, вошедшего в доверие к Мамонтову, поднять восстание против только что восстановившейся советской власти в уезде. Среди партизан четвертого корпуса было немало выходцев из слоев зажиточного крестьянства, имевшего в своих амбарах избытки хлеба. Агенты Козыря развили агитацию против подразверстки, чем и возмутили некоторую часть алтайского крестьянства. Бахеев благодаря своему авторитету среди широких слоев населения, примкнувших к партизанскому движению «Красных горных орлов», сумел физически и морально обезоружить Козыря и доставить его на суд Ефима Мефодьевича Мамонтова.

Вскоре после освобождения города Усть-Каменогорска от колчаковских банд была проведена регистрация коммунистов. Налицо оказалось всего 28 человек членов и кандидатов РКП(б), включая руководящий состав советских и партийных организаций. Как распределить кадры?! Приходилось каждому активному партийцу занимать по несколько ответственных постов, пока не были выявлены кадры сочувствующих, способных вести определенную работу.

Только это и могло послужить причиной курьезного случая, о котором рассказал ныне здравствующий соратник П. П. Бахеева Николай Степанович Гавриленко.

В Усть-Каменогорске существовало до прихода советской власти Русско-киргизское акционерное общество, имевшее свой пароход «Нарымец». Коммерческим агентом этого общества был некий Н. Н. Мелихов. На пароходе, сразу же национализированном советской властью, имелось пианино. Предвидя национализацию имущества, Мелихов снял с парохода инструмент и поставил его в квартиру своих приятелей. Про это узнал Николай Степанович Гавриленко — художественный руководитель самодеятельного драмколлектива водников, где между прочим принимала участие в качестве суфлера и Валентина Александровна Бажова. Гавриленко стал добиваться, чтобы пианино было отдано клубу водников. Мелихов укрыв пианино в другом месте — на квартире директора городского училища.

Гавриленко, взяв в военкомате двух латышей-красноармейцев, явился к директору училища. Но тот зартачился. Латыши не долго думая — к председателю ЧК. Тот, конечно, предложил директору передать инструмент клубу, а самому явиться наутро в ЧК для объяснений.

У директора от страха, говорят, тряслись колени. Но все же он нашел в себе силы попросить предчека отсрочить возврат пианино и разрешить ему проконсультроваться у заведующего отделом народного образования, коему по службе подчинен. Предчека разрешил.

Павел Петрович Бахеев, заведующий отделом народного образования, принял жалобщика приветливо, сказал ему, что и сам бывший учитель, понимает его с полуслова, но пианино, сказал он, клубу водников нужнее, чем супруге директора училища.

Раздосадованный неудачей директор решил найти управу на Бахеева в профсоюзе. В то время явочным порядком было уже создано упрофсоюза работников просвещения. Директор очутился лицом к лицу с председателем упрофбюро... П. П. Бахеевым!

Директор был зол и настойчив. Он решил обратиться к прессе. В Усть-Каменогорске с первых же дней восстановления советской власти стала выходить

газета «Известия Усть-Каменогорского ревкома». Облечившись для солидности в парадный вицмундир, директор предстал наконец перед ясным взором редактора газеты — Павла Петровича Бахеева.

Павел Петрович встретил его приветливо, с добродушной улыбкой.

Водники долго потом вспоминали эту историю с музыкальным инструментом.

И вот в августе 1920 года я, делегат Первого уездного съезда рабочих, крестьянских, красноармейских и киргизских депутатов, в секретариате президиума съезда. Ищу глазами «своего богатыря». И вдруг председатель Уревкома Нестор Григорьевич Калашников объявляет:

— Слово для приветствия от работников просвещения предоставляется товарищу Бахееву, делегату от профсоюза.

Далеко не богатырская фигура. Вот только борода! Действительно отменная!

Но надо было видеть, как принял его зал! В числе делегатов большая половина из алтайских селений, бывших партизанских гнезд. Товарищ Бахеев! И этого достаточно. Если лично кто из них и не знал, не видел Бахеева, то фамилия была известна народу не менее, чем грозное имя командира «Красных горных орлов», прославленного в алтайском крае Никиты Тимофеева, погибшего от рук бандитов во время кулацкого восстания. В это время, в дни съезда, П. П. Бахеев известен был не только как бывший руководитель большевистского подполья на Рудном Алтае, но и как один из первых и непосредственных организаторов советской власти в этом беспокойном крае.

С места, где размещался секретариат, был виден весь зал. Стояла напряженная тишина. Оратор говорил негромко, спокойно, очень четко. Говорил без шпаргалок, просто. Чувствовалось, что это давно устоявшиеся, глубоко выношенные мысли. Он говорил о том, как мы еще бедны, что у нас нет даже керосина, чтоб осветить жилища и школы. И как велики богатства недр земных и просторы степей. Они ждут приложения сил свободного труда. Надо поднять грамотность населения, построить сеть школ. Для начала в городе создан первый в Сибири Крестьянский университет.

Это был учредительный уездный съезд представителей трудового народа, где собрались люди, только что освободившиеся от тяжелого гнета реакции. И о том, что их ждет на пути возрождения, делегаты слышали из уст человека, шедшего с ними, впереди них, руководившего ими в борьбе за свободный труд. И люди верили ему, партизанскому наставнику.

В литературе о Бажове, где бытуют беглые упоминания о пребывании Павла Петровича на Рудном Алтае (теперь Восточном Казахстане), можно часто встретить утверждение, что Павел Петрович, как только вышел из подполья в декабре 1919 года, сразу же принял свою настоящую фамилию — Бажов. Это неверно.

Павел Петрович был в это время чрезвычайным уполномоченным по проведению продразверстки. И он сохранил известную трудовому Алтаю фамилию Бахеев, чтобы все знали, кто руководит продразверсткой. Это привлекло на сторону продотрядов большинство среднего крестьянства, сочувствующего советской власти. Борьба, полная драматизма, продолжалась повсеместно до тех пор, пока не был собран хлеб, предназначенный для снабжения центрально-промышленных районов и голодающего Поволжья.

Последняя встреча с Павлом Петровичем произошла у меня в феврале 1921 года.

Не поймите меня превратно, будто я в какой-то мере был близок товарищу Бахееву. Нет. Ему было сорок, а мне шел двадцать второй год. На губернской партийной конференции он был избран в члены губкома. Я работал в то время заведующим общим отделом и по долгу службы выдавал ему, как вновь избранному члену губкома, удостоверение (фотокопия этого удостоверения находится в заветной папке «Усть-Каменогорск», которую бережно хранила вдова Павла Петровича Валентина Александровна).

В эти годы в крае свирепствовала малярия. Она и прихватила Бахеева. Был он худ, бледен, в глазах гнездилась тоска. Только большой, «марсианский» череп царил над его недужной фигурой и внушал мысли о человеческой красоте.

Своими исхудавшими руками он взял у меня приготовленное для него удостоверение, взглянул на него и печально улыбнулся. В то время канцелярская

техника была донельзя бедна: серая бумага, прыгающие буквы, фамилия вписывалась в машинописный текст от руки, в данном случае неверным юношеским почерком; даже без инициалов, «Бахееву» — и все тут. Беря удостоверение, он, наверное, вспомнил при этом, что все же он Бажов, уралец, и по Уралу-то своему соскучился.

29 апреля 1921 года Любовь Павловна Пиндрик, председатель губпрофбюро, выдала ему другое удостоверение, свидетельствующее о том, что он, П. П. Бахеев, как член президиума Семипалатинского губпрофсоюза, командирован в Москву, на 4-й съезд профсоюзов. В удостоверении значилось, что при нем следует семья — жена, Валентина Александровна, и трое детей.

Только в мае 1921 года Павел Петрович вернулся в Камышлов, где и обрел снова свою подлинную фамилию, прославленную теперь как имя автора единственных в своем роде сказов.

А на пристанях Семипалатинской области, как только открылась на Иртыше навигация, на баржи грузился алтайский хлеб для городов Центральной России и Поволжья. И люди, участвующие в коммунистических субботниках, вспоминали чрезвычайного уполномоченного по мобилизации хлебных ресурсов в крае — товарища Бахеева.

Он творил живую легенду на Алтае, и, быть может, с не меньшим блеском, чем уральские сказы.

Позволю себе еще один экскурс в прошлое и некоторое сравнение.

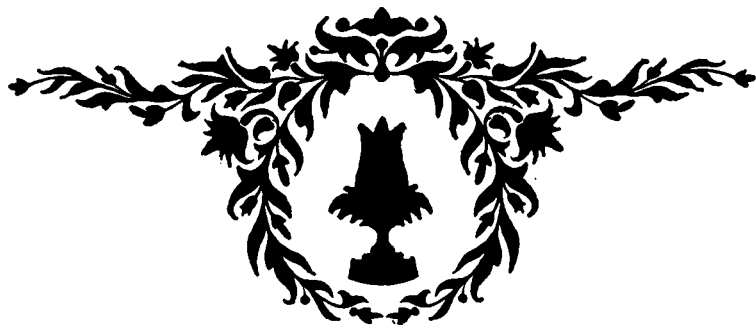
В конце 1921 года — в начале 1922-го я попал в первый набор Высшей кооперативной школы Центросоюза, преобразованной впоследствии в институт. Это было первое учебное заведение в кооперативной системе, ставящее себе целью подготовку кооперативных кадров в духе ленинских тезисов о кооперации. И придавалось ей большое значение. Достаточно сказать, что в качестве лекторов перед слушателями выступали такие деятели партии и Советского государства, как Н. Н. Баранский, С. Г. Струмилин, П. И. Стучка, О. Ю. Шмидт и Н. Л. Мещеряков. Последний был в то время редактором «Правды» и читал нам лекции о современной советской литературе. Только что вышла повесть

Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69», и он читал не только фрагменты из этой на шумевшей тогда повести, но и делал обширные комментарии. Особенно он выпятил роль председателя подпольного революционного комитета товарища Пеклеванова. А я представлял его себе тогда по образу и подобию Бахеева.

Но сейчас, когда я изучил архив, встречался с живыми участниками и свидетелями памятных событий, я убедился, что Бахеев выше, одухотвореннее, кореннее Пеклеванова, что условия, в которых действовали Бахеев и Пеклеванов, несравнимы. За спиной у Пеклеванова стояла мощная рабочая организация большого города, и партизаны были лишь подсобной силой; Бахеев же действовал в среде разноликой, непролетарской массы, часто принимая решения на свой страх и риск, не имея для организуемого им движения прочной пролетарской базы, руководствуясь лишь своей партийной совестью. Он поднимал крестьянские массы и бедняков казахов, вооружая их идейно и организационно, привел к победе. Это немеркнувший подвиг гражданина, коммуниста, воинствующего гуманиста, который воспринимается ныне нами как Герой своего времени.

Вспомянем же добрым, благодарным словом наряду с создателем сказов Бажовым творившего живую легенду Павла Петровича Бахеева!

Челябинск, 1975



АЛЕКСАНДР ШАРЦ



ВСТРЕЧИ с П. П. БАЖОВЫМ

В августе 1923 года шестьдесят воспитанников детских домов и шестеро студентов Пермского университета (в их числе и я) поехали в Москву, на первую Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарную выставку.

На эту поездку нам выдали мешок денег — 700 миллионов рублей знаками 1922 года (в то время килограмм хлеба стоил один миллион рублей).

Осмотрев выставку, мы побродили по Москве, побывали в Кремле, а потом дружной гурьбой пришли на Ярославский вокзал: настало время возвращаться в Пермь.

Вагон, в котором мы поместились, был старой конструкции: в нем поднятые вторые полки превращались в сплошные нары. Мы захватили больше полвагона, развернули полки и удобно разместились на них.

Кроме нас в вагоне были и еще пассажиры. Один сразу обратил на себя наше внимание. Лет за сорок, небольшого роста, широкий, выпуклый лоб, спокойные, пронизательные глаза, красивая русая борода. Его

манера говорить и простота в обращении — все удивительно располагало к нему.

Ребята окрестили его «дедушкой» и сразу захотели подружиться с ним. Опустили полки в одном из купе, чтоб образовалась комната, и пригласили «дедушку».

Это был Павел Петрович Бажов.

Наш поезд шел еле-еле. Все пять дней пути Павел Петрович был нашим спутником и собеседником. Он рассказывал об Урале, о гражданской войне, интервенции, о зверствах белогвардейцев.

Оказывается, он сам был участником гражданской войны на Урале и в Сибири, воевал в тылу колчаковцев, организовывал партизанские отряды. Рассказывал он тихим, спокойным голосом, немного даже монотонно. Но слушали его затаив дыхание. Удивительно было по тем временам, что он не курил в вагоне, а просто держал трубку в левой руке. Курящих среди пассажиров было много. Однако все постепенно перестали курить на местах, стали выходить в тамбур. Хотя он ни разу никому даже не намекнул, что курить в вагоне нельзя.

Под стук колес да скрип старого вагона вел Павел Петрович свою беседу. Чтобы лучше слышать и видеть Бажова, ребята устраивались кто как мог: сидели прямо на полу, лежали на полках, свесив головы, а на их спинах еще один ряд.

Павел Петрович не только рассказывал сам, он умел заставить и ребят разговориться. Многие из них были детьми участников гражданской войны. Особенно запомнился мне один, по прозвищу «Димка-хохол». Тогда почему-то все ребята имели прозвища. Дима рассказывал живо, весело, хоть, конечно, немного и привирал о своих «подвигах». Павлу Петровичу он понравился.

— Хорошо, хорошо! — подбодрял рассказчика Павел Петрович и увлеченно слушал.

Были рассказы о «путешествиях» ребят по железной дороге, о побегах из школ-коммун, о скитаниях, о голодовках, ночлегах в подвалах больших домов, на чердаках, в асфальтовых котлах.

В те времена в общих вагонах проводников не было, уборкой вагона никто не занимался, вагоны чистились

и дезинфицировались только на станции отправления. Павел Петрович предложил установить дежурство по уборке и мытью вагона. В число дежурных включил и себя. Ребята запротестовали. Но Павел Петрович унял их:

— Я такой же пассажир!

— Нет,— закричали ребята,— вы другое дело!

И все же Павел Петрович настоял на своем, дежурил наравне со всеми. А так как дежурили по несколько человек, то ребята ухитрились оставлять Павлу Петровичу мыть самый крохотный уголок.

Дежурства проходили весело, дружно. Ребята приносили воду (кипяток был только на больших станциях), собирали щепки, уголь и разогревали огромный самовар, который таинственным образом появился у них в вагоне еще в Москве.

Мы, сопровождающие, имели строжайшую директиву от Пермского губоно не выпускать ребят одних из вагона — побеги тогда были частым явлением. Однако очень скоро стало ясно, что ребята никуда не денутся. Они так и липли к «дедушке», не оставляя его ни на минуту.

Вспоминая нашу поездку спустя полстолетия, я поражаюсь: как это удалось Павлу Петровичу почти мгновенно покорить и привлечь к себе ребят? Без малейших усилий он объединил, сдружил всех пассажиров. Возник веселый, трудолюбивый коллектив.

Прибрав вагон, ребята, да и взрослые сейчас же окружали Павла Петровича. Мирные наши беседы нарушались лишь тогда, когда в вагоне появлялся контролер. Дело в том, что на шестьдесят шесть путешественников было куплено только шесть взрослых и двадцать детских билетов. Деньги наши кончились быстро.

Контролер, обнаружив сорок «чистых», как он выражался, безбилетников, требовал высадить их на первой же остановке. Но ребята поднимали такой рев, заводили такие причитания о своем бедственном положении, о том, что они ездили в Москву повидать Владимира Ильича, а теперь, мол, их собираются вышвырнуть из вагона... Суматоха и причитания ошеломляли контролеров, и они прямо-таки терялись. А уж

когда Павел Петрович вступался за ребят, объясняя, что это дети погибших красноармейцев, контролеры, махнув рукой, уходили. На станции Вятка после очередной проверки билетов один старый усатый железнодорожник в поношенной форме, похвалив нас за чистоту в вагоне, скоро вернулся с большой корзиной огурцов. Вот было радости! Есть нам к этому времени стало совсем нечего. Павел Петрович, зная, что на такие поездки детям обязательно выдают деньги, попробовал выяснить, как это мы так выбились из сметы.

— А мы картинки купили для нашего детского народного дома! — закричали ребята. — А без еды — подумаешь! Потерпим! Мы привычные!

25 августа мы прибыли на станцию Пермь 2-я. Багажа у нас не было, и мы, простившись с Павлом Петровичем, высыпали на перрон. Много вышло и других пассажиров. А Павлу Петровичу нужно было ехать дальше...

Нас встретили работники губкома комсомола и губоно. Они вручили каждому сухой паек — кусок хлеба и два огурца.

Ребята, пошептавшись, вдруг полезли обратно в вагон.

— Куда? — закричали им. — Куда? Сейчас же вернитесь!

Как потом выяснилось, они решили поделиться своими пайками с «дедушкой».

Когда на вокзале ребят построили в колонну, выяснилось, что троих нет, в том числе и Димки. Правда, их скоро обнаружили с другой стороны вагона. Оказывается, они собрались ехать с Павлом Петровичем до Екатеринбурга!

Павел Петрович, разобравшись, в чем дело, сказал ребятам:

— Ведь вы дети красных бойцов. Значит, знаете, что такое дисциплина. Я бы тоже, ребята, хотел с вами еще побыть. Да нельзя... Ну, ничего, встретимся!

Тут поезд медленно-медленно поплыл мимо перрона. Ребята закричали, замахали руками, побежали за вагоном.

У многих глаза были на мокром месте...

Это был август 1923-го. А через полтора десятка лет, когда появилась «Малахитовая шкатулка», когда

замелькали портреты Павла Петровича в газетах, журналах, книгах, я думаю, многие из ребят, ставшие уже взрослыми, узнали «дедушку», встретились с ним на страницах его удивительных книг.

УРАЛЬСКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
«ЧУГУННАЯ БАБУШКА»

С 1919 года по инициативе моего школьного учителя Ивана Васильевича Базарова я собираю материал, главным образом из личных архивов, о замечательных людях Урала. Под территорией «Урал» я понимаю бывшую Пермскую губернию, а по современному делению — Пермскую, Свердловскую и Челябинскую области.

Бывая у меня, Павел Петрович не раз обращал внимание на огромные стеллажи с папками, расположенными в алфавитном порядке. Однажды он попросил разрешения, как он выразился, ознакомиться с ними.

Долго, очень внимательно и осторожно Павел Петрович рассматривал папки, сам доставал их с полок и, полистав, снова ставил на прежнее место. Попросил даже тряпочку и стирал с них пыль — многие стояли очень давно.

Некоторые папки Павел Петрович откладывал в сторону, а на освободившееся место клал газету.

За чайным столом он заговорил о просмотренном материале.

— Я хорошо знал Ивана Григорьевича Ряпосова, знал, что он печатается в газетах и журналах, а вот что роман «Пираты XX века» — его роман, а псевдоним «И-де-Рок» — его псевдоним, — это для меня открытие! Жаль, что у вас нет сведений, как и где он окончил свой жизненный путь.

«Пираты XX века» — так Ряпосов называл немецкий империализм. Вспомнить автора романа стóбит. И я стал устанавливать, где и когда Ряпосов окончил свой жизненный путь. Я был благодарен Павлу Петровичу за совет: интересоваться судьбой человека, который привлек мое внимание.

Знал Павел Петрович и другого писателя — Константина Дмитриевича Носилова.

— Очень хорошо помню, — говорил он, — как я читал рассказ Носилова «Юдик» ученикам школы. Ребята плакали, им жаль было Юдика. Он великолепно умел пробудить в людях сочувствие к обездоленным, и значит, воспитывать в человеке человеческое. О Носилове можно написать целое исследование! Ведь он был первым русским человеком, который предлагал проект освоения Ямальского полуострова и рассказывал о народностях Севера, которых царские чиновники и купечество называли самоедами... Мы еще вернемся к Северу Тюменской области, вот увидите!

Вот и Алябьев! Забыли, хотя и не совсем. В Большой Советской Энциклопедии первого издания есть о нем заметка. «Алябьев в Перми» — небольшая зарисовка, а читается с интересом. Печатать это надо! А вот Савина Мария Гавриловна представлена хорошо, много нового материала. Нужно опубликовать! А Жаков Каллистрат Фалалеевич! Вот получил удовольствие посмотреть на его портрет! Его книга «Сквозь строй жизни» — замечательный документ о народах коми, удмуртах...

С большим любопытством Павел Петрович рассматривал конверт «Н. Г. Чернышевский». Он два раза прочитал мою запись народной легенды «Сосна Чернышевского».

— Жива внучка Николая Гавриловича, в Саратове живет, пошлите ей на рецензию эту легенду, и надо печатать, обязательно печатать!

(Только десять лет спустя я послал внучке Чернышевского свою запись. Нина Михайловна сделала поправки и рекомендовала назвать рассказ «Народное предание». Позднее были найдены архивные материалы, подтверждавшие легенду. Публикация ее обошла и ту пору многие газеты. А первая была помещена в «Уральском следопыте».)

— Сиговы! — Павел Петрович придвинул ближе три больших папки. — Очень любили восхвалять свой род, да и не зря: много сделали! Александр Кузьмич, если уж вы взялись за Сиговых, то и здесь доведите дело до конца. Не все еще у вас собрано о Сигове-Потурелове Алексее Сергеевиче. Нет его рисунков, нет его романа, где они? Вы хорошо знали Павла Сергеевича? Он написал огромный труд «Род Сиговых». Бу-

дет ли это когда-либо опубликовано или нет, но в этой рукописи есть страницы, которые представляют бо-ольшой интерес!

— А-а! Вот и Мурашев! Где он, как сложилась его судьба?

— Петр Васильевич жив. Работает врачом в Алапаевске. Встречался я с ним. Ведь Алапаевск — мой избирательный округ. Любопытный человек. С Горьким переписывался.

Павел Петрович долго рассматривает фотографии Мурашева.

— Очень интересный человек. Знает много. Многих встречал на своем пути — писателей, ученых, политических деятелей. Знал хорошо Дмитрия Наркисовича, писал о нем, а вы на маминской конференции, между прочим, умолчали об этом!

В моей комнате на полке стояла небольшая статуэтка каслинской работы — «Чугунная бабушка». Павел Петрович сразу обратил на нее внимание.

— Слышал, — заговорил он, — сказ об этой бабушке. И начал писать о ней. Вы дайте мне ее, конечно на время, хочется подумать и кое-что вспомнить в ее присутствии!

В ноябре 1943 года я получил от Павла Петровича номер газеты «Челябинский рабочий» от 7 ноября этого же года с его сказом «Чугунная бабушка», а скоро и самое бабушку привезли мне из Свердловска. Так статуэтка каслинского литья напомнила Павлу Петровичу давно задуманный сказ и, видимо, подтолкнула к окончательной отделке его. Позднее «Бабушку» у меня попросила наша Пермская художественная галерея. Там она теперь и стоит.

В конце сороковых годов, работая в Пермском университете, я продолжал собирать материалы, но, занятый своей диссертацией, публиковал статьи в отечественной печати и за рубежом, доказывая приоритет русского изобретения электросварки металлов.

И вдруг получил от Павла Петровича письмо, текст которого привожу:

«...Вспомнил о Вашей давней работе над биографическим словарем. Вы ведь, я знаю, человек напористый и точный в работе. Вероятно, накопили не одну тысячу записей об именитых уральцах. Накопление материалов, т. е. процесс работы, конечно, может быть интересен для автора, но нельзя его затягивать до бесконечности. Владимир Павлович Бирюков вон копил свой словарь уже 45 лет, а показал из него лишь крупницы, да и те в массовых изданиях, а это не всегда правильно воспринимается.

Недавно вон в «Уральском рабочем», в рецензии В. Я. Ильичева, досталось Бирюкову за «Словарь горняка». Конечно, этот отзыв больше говорит о невежестве рецензента, но в то же время служит показателем, что работы такого типа не следует выпускать в порядке разменной монеты изданий массового характера. Там они будут не всегда правильно поняты и оценены. Надо добиваться, чтобы подобные вещи увидели свет в их полном объеме и выходили в специальных изданиях. Пермь в этом отношении имеет опыт по выпуску работ Е. А. Боголюбова о Мамине-Сибиряке. Недостаток здесь другой — слишком мал тираж. Если этого избежать нельзя, то, разумеется, тоже неудовлетворительный выход, и надо искать другой. Ваше Пермское издательство, мне кажется, действует несколько смелее Свердловского, и оно могло бы теперь, в связи с приближением большой исторической даты, издать Вашу работу. Было бы большим и очень нужным подарком.

Отсюда вывод — что интересуюсь положением с Вашей работой. Буду благодарен, если сообщите, что с ней: все еще спокойно лежит в папках или намечается какой-то выпуск ее в свет? А пора! Давно пора, Александр Кузьмич! И размениваться на мелочи не следует. Надо издать компактным трудом, чтобы он не мог попасть в оценку газетных рецензентов, которые видят лишь наше сегодня и совершенно безразличны к прошлому и к будущему. Смело говорю о будущем, т. к. уверен, что многие вещи далекого прошлого этому будущему пригодятся. Служит же нашему настоящему академик Греков, которому по-новому удалось осветить вопрос о возникновении нашего государства по старым документам».

С 13-го по 19 июня 1943 года в Перми проходила межобластная литературная конференция «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе». Павел Петрович внес в резолюцию пункт об издании Уральского биографического словаря. А потом, упрекнув меня за нерадивость и нерасторопность, стал сетовать на то, что у нас плохо поставлено архивное дело:

— Плохо мы хранили и продолжаем плохо хранить исторические документы и материалы. Вот вы сами же мне рассказывали, что были свидетелем, как в Перми погибла часть архива Соловецкого монастыря! А ведь вы не рядовой работник, вы занимали ответственные должности и обязаны были употребить свой авторитет, все сделать, чтобы предотвратить это.

ПОЕЗДКА В РЕВДУ

Зимой 1941—1942 года в Свердловск приехала большая группа писателей из Москвы и Ленинграда. Я тогда работал секретарем обкома партии и сейчас, вспоминая то время, хочу сказать, что эвакуированные писатели жили в довольно тяжелых условиях. Павел Петрович, секретарь отделения Союза писателей в Свердловске, делал все от него зависящее.

Случалось даже, что он совершал поступки, как будто и не свойственные его характеру, вызванные желанием во что бы то ни стало помочь товарищам.

Вот об одном эпизоде, характеризующем Павла Петровича, его заботу об эвакуированных, я и хочу рассказать.

В январе 1942 года в Ревде, в пятидесяти километрах от Свердловска, должен был состояться литературный вечер для рабочих и служащих местных заводов. Ревда была у нас на особом счету, как поставщик цветных металлов, и это мероприятие отдел пропаганды обкома партии одобрил и обеспечил выступающих транспортом.

Но необходимо было еще помочь писателям приобрести теплую одежду — валенки, ватники и шапки.

...Из секретарей обкома на месте оказался только я. И вот, когда я, как говорится, как назло, был занят

по горло, в моем кабинете появилась делегация писателей во главе с Павлом Петровичем.

— К вам, Александр Кузьмич, дело нас очень торопит, помогите, — такими словами, тихим голосом, немного покашливая, начал разговор Павел Петрович.

А. А. Караваева и Ф. В. Гладков, вошедшие вместе с Бажовым, были хорошо одеты, но явно не по погоде. На Урале стояла суровая зима, температура часто падала до минус 50 градусов.

Я посочувствовал и хотел позвонить в отдел торговли, но Павел Петрович предупредил меня, что там они уже были и им сказали, что нужны талоны. Тогда я попросил Павла Петровича зайти ко мне завтра, обещая положительно решить этот вопрос.

Павел Петрович, всегда выдержанный, спокойный, заговорил вдруг с явным упреком и недовольством:

— «Завтра» да еще «попытаюсь». Мы, Александр Кузьмич, едем не завтра, а сегодня на литературный вечер в Ревду. Иван Степанович о транспорте договорился. Они, — он показал на своих спутников, — тоже поедут, еще с нами несколько человек, артель, значит, едет целая, решили вот так и ехать, а сами, пока сюда шли, так чуть не застыли совсем. Валенки, ватники и ушанки нужны нам прямо сейчас, до отъезда еще. Помогайте, вы один тут из секретарей остались.

Я даже в душе разозлился немного на Павла Петровича: сидел бы и руководил, а то еще и сам ехать собирается! Но помочь было нужно.

И я пообещал:

— Ладно, Павел Петрович, достану вам теплое обмундирование! Только чуть позже. Сейчас обязан написать одну справку и срочно передать в Москву.

Павел Петрович, видно, почувствовал мою «слабину» и начал наступать смелее:

— Справка — это же чепуха. Язык у тебя бойкий, вызови Наташу (секретаршу) да и продиктуй ей, а мы посидим в приемной, пока сочинять будете.

Делать нечего, пришлось согласиться... Но вместо того, чтобы ждать в приемной, я предложил посетителям пока пообедать в столовой обкома партии и пошел их сопровождать. В приемной оказалось еще трое писателей!

— Это наш резерв, — сказал Павел Петрович, указывая на весьма не по-зимнему одетых товарищей.

Минут через тридцать мои посетители появились уже в полном составе, с «резервом», значит. Пришлось вызвать маленький автобус. На базе главвиаснаба был небольшой запас теплой одежды, которая выдавалась особо нуждающимся. База была предупреждена. Но... каково было мое удивление, когда, выйдя на улицу, я увидел, что около обкома стоят еще пять человек, тоже писатели и тоже слишком легко одетые...

— Александр Кузьмич, — смущенно заговорил Павел Петрович, пряча хитренькую улыбочку, — подкрепление, значит, не осудите уж...

Все прибывшие были снабжены одеждой по их выбору. Павел Петрович, которому тоже предложили взять кое-что из теплых вещей, категорически отказался.

Он был очень доволен исходом дела. Таким довольным я его давно не видел!

— Ну, теперь мы вооружены! В наступление готовы! — шутил Павел Петрович.

Он был из тех людей, которые искренне радуются чужой радости и глубоко страдают, если рядом у людей что-нибудь не так.

Пермь, 1975



НИКОЛАЙ ОЛЕСОВ



ДРУЖБА С ГАЗЕТОЙ

Впервые с Павлом Петровичем Бажовым я встретился, кажется, в 1927 году. Тогда я работал в селе Багаряк, ныне Челябинской области. Попав однажды в Свердловск, я зашел в редакцию «Крестьянской газеты», с которой был связан как селькор. В то время редакция помещалась на улице Вайнера, 12. Здесь меня расспросили, кто я, зачем явился, и повели в отдел писем.

В маленькой, тесной комнате за огромным столом, заваленным бумагами, сидел человек с большой бородой. На нем была толстовка, какие тогда носили в городе и в деревне. Девушка представила меня:

— Председатель райкома Всеработземлеса Олесов.

Человек поднял голову, и на меня глянули ласковые голубые глаза.

— Помню, знаю. Садись!

Он отодвинул бумаги и снова внимательно стал смотреть на меня, чуть прищулив глаза. Я в свою очередь рассматривал его.

— Из Багаряка, значит? — прервал мое молчание хозяин комнаты и, к моему большому удивлению, стал называть заметки, какие я присылал в редакцию.

Он называл и те, что напечатаны, и те, что были забракованы. Память у него оказалась на редкость цепкой. Можно было подумать, что он специально готовился к нашему разговору. Похвалив за то, что я пишу о событиях свежих, он, улыбнувшись, стал закуривать. Курил самокрутку долго, не спеша и расспрашивал меня о деревенских делах.

— Больно мельчишь, — потом сказал мой собеседник. — Жизнь перед тобой разворачивается вон как широко, а ты выхватываешь из нее какие-то фактики и даешь нам.

Он говорил долго и очень хорошо о широком обобщении явлений жизни. Я слушал его внимательно.

— Факт вещь хорошая, — продолжал собеседник, — но сам по себе он мало чего стоит. Каждый факт должен раскрывать какую-то идею. А возьмем твою корреспонденцию из Кабанья.

Тут он достал комплект газеты, полистал его, нашел заметку.

— «Выстрелом в окно, — читал он, — убит член ВКП(б) и член союза, старый партизан и общественный работник т. Сумин Федор Степанович. Это уже второй случай за нынешнее лето покушений на ответственных работников в Кабанье».

— Факт трагический, а заметка не стреляет, хотя и начинается с выстрела. В летопись современного Пимена она, может быть, и годится. Но ты не Пимен, а селькор! Понимаешь?

Собеседник полистал комплект и нашел вторую заметку. В ней говорилось о том, что в связи с землеустройством беднота Вагарякского района организовала первые пять машинных товариществ и две сельскохозяйственные артели. Эту заметку тоже прочитал вслух. Но ничего не сказал. Потом нашел еще одну. В ней говорилось о том, что кулаки нарушают трудовые договоры, безжалостно эксплуатируют батраков, а тех, кто обращается в профком за помощью, выгоняют с работы. Опять прочитал вслух. Потом отложил газету и внимательно посмотрел на меня. В это время раздался телефонный звонок. Он поднял трубку:

— Бажов слушает.

Бажов! Это имя обожгло меня. О Бажове я слышал много. Один из моих родственников, Василий Алексе-

евич Кузнецов, служил с ним в рядах Красной Армии. Бажов работал в газете, а боец Кузнецов увлекался фотографией и потому часто бывал в редакции, встречался с Бажовым. После гражданской войны они вместе создавали фотоальбом по истории «Полка Красных орлов». Кузнецов рассказывал о Бажове как о человеке чутком и отзывчивом, очень грамотном, или, как он выражался, башковитом. Бажов прислал Кузнецову свою книжку «Бойцы первого призыва». И я знал, что он писатель. Но человека, пишущего книги, я представлял по своей наивности иначе, чем тот, что сидел за простым столом и запросто беседовал с селькором.

Павел Петрович заключил наш разговор так:

— Ты селькор. А поэтому должен смотреть шире. Изучать жизнь глубже. Изучать ее в движении, в борьбе. Ты должен не только видеть поступки людей, но и уметь объяснять их, находить причину этих поступков. Ты видишь, что уничтожаются межи, но не замечаешь, что вместе с этим меняются судьбы людей, их настроения, их характеры...

От Бажова я ушел окрыленный. Перед моими глазами, как на ленте кинематографа, мелькали сцены деревенской жизни. Я словно присутствовал на собрании о внутриселенном землеустройстве, слышал, как спорили люди около карты земельных угодий, которые предстояло делить. Коммунисты хотели посадить кулаков на дальние и худшие земли, а бедноте отвести ближние и плодородные участки. Им возражали. Одни — резко, другие — несмело. Я видел, как члены комиссии, нарезав спички по масштабу карты, меряли поля и снова спорили. Вспомнился мне и рассказ батрака Семена Дегтянникова о том, как кулаки уговаривали соседей не голосовать за передел земли, обещая за это хлеб и деньги. А один из кулаков разделил свое хозяйство с пятнадцатилетним сыном и подал от его имени заявление о наделе нового середняцкого хозяйства землей...

Вернувшись домой, я всю ночь писал об этом. Наутро порвал все, что удалось написать, и стал сочинять все заново. После многократных переделок я послал наконец свое творение в редакцию. А через несколько дней в газете появился мой очерк под заголовком

«Отошла пора» — очерк о землеустройстве и разгоревшейся в связи с этим классовой борьбе в деревне.

Очерк многим понравился. Меня хвалили. И мне казалось, что я на этом действительно сумел показать деревню 1928 года с ее бурлящей, бьющей через край жизнью.

Вскоре в «Крестьянской газете» стали печататься очерки П. П. Бажова о колхозном строительстве. Позднее они вышли отдельной книжкой. Читал я эти очерки, и краска стыда заливала мои щеки. Автор взял аналогичные моим факты, а раскрыл их по-иному. Читая очерки Бажова, я видел деревню заново, слышал знакомые выражения и понимал, почему одни «за», а другие «против», почему третьи колеблются. Бажов показывал не только факты, а и душу крестьян, их думы и чаяния — то, чего не хватало в моем очерке.

Это был практический урок П. П. Бажова нам, молодым журналистам.

В 1932 году в Уральском областном издательстве вышла первая моя книжка «За 50 миллионов». Редактировал ее Башуров. Старый газетчик, коммунист с дореволюционным стажем. Человек вполне уважаемый. П. П. Бажов в то время работал тоже редактором издательства и сидел в одной комнате с Башуровым. Только первый редактировал политическую литературу, а Павел Петрович — художественную. Моя книжка была написана о задачах стенной печати на лесозаготовках. Появлению книжки предшествовала большая организаторская работа, проделанная массовым отделом редакции газеты «Уральский рабочий».

Книжку, как только она вышла, я подарил П. П. Бажову, своему учителю. Позднее я как-то пришел в издательство и встретил Павла Петровича. Он позвал меня к себе.

— Ну как, рад? — начал свой разговор Бажов.

Я действительно был рад и сказал ему об этом откровенно:

— Еще бы! Газетчик я молодой...

Павел Петрович перебил меня:

— Молодым быть хорошо. А вот ранним — не советую...

И, раскрыв брошюру, показал ее мне. Книжка была в сплошных пометках. Некоторые фразы подчеркнуты. На одну из них он указал мне. Я прочитал вслух: «Перечисленные формы и методы должны быть применены в борьбе за пятидесятиmillionный план лесозаготовок».

— Что это? — спросил Павел Петрович. — Циркуляр или книжка? — Павел Петрович скрутил папиросу, затянулся и закашлялся. — Ты рейд проводил? Ежедневную газету организовал? И все это без трудностей? Без людей? Так почему же в книжке ни одной детали? В твоей книжке, как в пустыне, ни одного человека!

Павел Петрович по характеру был человеком мягким и никогда не повышал голоса. Но на этот раз он изменил себе, правда, только на мгновение. Затем опять начал говорить тихо и спокойно, как всегда:

— А мог бы написать с интересными деталями, показать людей колоритных. Мог. И не написал. А почему? Не готовился к этому. Не стремился. — Он опять помолчал. — Да, пожалуй, и не написал бы. У тебя, кажется, нет даже записной книжки? Ты, как тот герценовский журналист, хочешь писать и печататься с брызгу? Записная книжка — это думы, мысли. А если ты не записал того, что видел или узнал, — значит, и не подумал, не разбудил свою мысль по этому поводу. Значит, у тебя работали только глаз и ухо, а мозг спал.

Краска стыда залила мое лицо. Сколько раз слышал и читал я о записной книжке журналиста и не последовал доброму совету. В свой блокнот я записывал лишь голые факты да фамилии, которые потребуются в корреспонденцию. Блокноты эти представляли ценность только в течение нескольких дней. Потом без всякой жалости я выбрасывал их в корзину.

Перед моей поездкой на строительство вторых путей Челябинск — Петропавловск Павел Петрович напомнил:

— Попробуй вести дневник!

Я последовал совету, и в итоге появился большой очерк «История одной победы». Он был опубликован в сборнике «Ударными рейдами». По поводу этого очерка Павел Петрович говорил:

— Это еще не литература, но добротный литературный документ. Через такие очерки познается жизнь. Здесь читатель узнает не только о важных партийных директивах, но и о том, как к ним отнеслись люди разных социальных прослоек. Он узнает, как побеждало новое, передовое. Очеркист должен не описывать, а мыслить.

Шел к концу 1943 год, переломный год в Великой Отечественной войне. В воздухе запахло победой. В газетах наряду со сводками Совинформбюро стали появляться рассказы и стихи о любви и дружбе, о супружеской верности

«Уральский рабочий» не хотел отставать. Обратились к местным писателям с просьбой дать газете свои рассказы и стихи. Первыми откликнулись Ю. Хазанович и К. Мурзиди. Затем принес свой рассказ А. Бартен. За ним напечатала рассказ о букете сирени Ольга Маркова, дала свою поэму Белла Дижур. Но рассказов было еще мало, и редакция печатала их редко.

Однажды Ю. Хазанович приносит в редакцию сказ П. П. Бажова «Живинка в деле».

— Может, подойдет? — спросил Ю. Хазанович.

Странным показался вопрос. Не менее странно, что материал принес не сам Бажов.

Но в редакции сказ понравился. Редактор «Уральского рабочего» Л. С. Шаумян прочитал его не одному десятку людей в рукописи. Все одобрили, советовали печатать.

Редакция напечатала «Живинку в деле». Тогда-то и выяснилось, что П. П. Бажов послал этот сказ в один из московских молодежных журналов. Там его долго держали, а потом вернули, заявив, что сказ не подходит.

В это время Бажов был уже писателем известным. Его сказы печатались широко и охотно. И вдруг осечка. Видите ли, Бажова знали как мастера сказов

фантастических, где героями являлись Хозяйка Медной горы, Полоз и другие обладатели сверхъестественных сил, а тут сказ о каком-то Тимохе Малоручке, научившемся выжигать древесный уголь! Ну что тут сверхъестественного? Сказочного?

Жил во время войны у нас на Урале старый большевик, знавший Ленина, А. Пьянков. Он любил Бажова за его сказы.

Когда был напечатан новый сказ, он обратился с письмом к Демьяну Бедному. Послал ему вырезку. Вскоре получил ответ. Сказ Д. Бедному очень понравился. Он написал даже, что был со сказом в «Правде» и «Труде» и что обе эти газеты обещали «Живинку» напечатать. Д. Бедный обещал «Труду» даже свое предисловие. Вскоре действительно сказ появился в «Правде», а потом и в «Труде». О Павле Петровиче заговорили, его «Живинку в деле» характеризовали как новый этап в творчестве писателя. Это действительно был сказ на современную тему. Он был своевременен не только по своему идейному замыслу, но и по материалу. Героем сказа выступал обыкновенный рабочий, наш современник.

Во время войны на заводах Урала ведущее место занял операционник — человек, выполняющий лишь одну какую-то операцию. Молодежь, что пришла в те годы на предприятия, быстро осваивала свою профессию и считала, что от нее требуется не больше, чем от простого механизма, — были бы только руки! Бажов своей «Живинкой» выступил против такого подхода к делу, он утверждал, что любая, самая рядовая работа — творческая, что простор для творчества найдется всюду, если человек вложит в дело свою душу.

После этого сказ Бажова перепечатали многие газеты, и заводские, и районные. Свердловское радио передало его в эфир. Потом по заявкам радиослушателей пришлось передачу повторять еще, и не один раз. Издательство «Уральский рабочий», набрав немного обрести, издало сказ книжкой-малышкой. Она разошлась в несколько дней.

Теперь на заводах про самых лучших мастеров стали говорить, что они работают с «живинкой в деле».

Как-то в беседе со мной Павел Петрович сказал:

— После «Живинки» меня в газету опять страшно тянет. Видимо, и впрямь писателю нельзя отрываться от нее.

С тех пор каждый свой новый сказ Павел Петрович нес в «Уральский рабочий». У нас стало правилом в праздничных номерах — октябрьском и первомайском — печатать сказы Бажова.

Павел Петрович черпал темы из жизни, черпал пригоршнями. Он охотно раздавал их и другим. Я знаю, что Бажов подсказал тему для серии очерков К. Мурзиди, объединенных общим заголовком «Высота». Повесть Ю. Хазановича «Мне дальше» тоже написана по совету Бажова. А разве можно перечесть все темы, которые раздал Бажов нам, журналистам... Делал он это очень тонко, никогда не навязывая своей воли. То расскажет об интересной встрече, то сообщит факт, мимо которого не пройдешь.

Помню, шел 1944 год. Наши войска на всех фронтах Великой Отечественной войны вели успешные наступательные бои. На сердце у людей стало легче и светлей. «Уральский рабочий» выходил на двух полосах, своих материалов помещал мало. Тем не менее о заводских коллективах кое-что печаталось, а вот о деревне газета, можно сказать, молчала. Первым это заметил Павел Петрович и как-то в беседе рассказал о думах и чаяниях колхозников Камышловского района. С людьми этого района он был связан десятки лет.

— Маловато материала, а то бы написал очерк о встречах, думах и делах земляков. До чего там замечательный народ!

В Камышловский район поехали журналисты. Пробывали они в колхозах примерно неделю. В их задачу входило повстречаться с самыми различными людьми, узнать их думы и чаяния, познакомиться с их делами.

По возвращении товарищей из командировки в «Уральском рабочем» появились один за другим три очерка под общим заголовком «По камышловским колхозам». Назывались они так, как советовал Павел Петрович, — «Встречи», «Думы», «Дела».

Павел Петрович остался доволен. Прочитав очерки, он сказал:

— Смотри-ка, как пошло против прошлого! Отрадно.

Достал чугунную табакерку каслинского литья и стал потчевать нас крепчайшим табаком-самосадам. Получить закрутку из бажовской табакерки было не легко и не часто.

Бажов был изумительным мастером слова. Он, как ювелир, любовно гранил и шлифовал его, подбирал одно к другому так, что они сверкали всеми цветами радуги.

Но не каждый может представить себе, какой огромный труд скрывается за каждой строчкой бажовских сказов.

Кажется, все слова найдены, записаны, сказ уже в редакции, а он не перестает искать, как бы сделать их еще звучнее.

Помню, это случилось глубокой ночью. В редакции остались только дежурные по выпуску. Номер вот-вот пойдет под пресс. В это время раздался телефонный звонок. Знакомый голос:

— Слушай-ко, еще не поздно, если я слово одно заменю?

Записываю это слово, иду в типографию, вношу поправку и вижу, что новое слово засверкало яркой звездочкой, бросилось тебе в глаза, горячей искрой ударило в сердце. Да, это слово будет работать.

Книги Бажова теперь выходили часто. Но по-прежнему он радовался каждому новому изданию.

В один из морозных дней Павел Петрович вошел в кабинет секретаря редакции «Уральский рабочий» необычно энергичной походкой. Глаза его сияют. С места в карьер Бажов достает из папки книжечку и, не говоря ни слова, пишет на ней:

«Самое дорогое автору издание. С приветом на добрую память. П. Бажов».

Это была книжка «Сказы о немцах», изданная «Правдой». Без рисунков, на газетной бумаге. Но именно она, эта книжка, особенно обрадовала Павла Петровича. Подарив ее мне, Павел Петрович стал говорить о книжках-копейках, которые читал в детстве, на которых учился и к которым сохранил свою лю-

бовь. Потом показал на выходные данные. «Правда» издала «Сказы о немцах» тиражом в 200 тысяч экземпляров. У Бажова впервые в жизни был такой тираж.

— Это книжка для народа, — сказал Павел Петрович.

Всю свою жизнь П. П. Бажов учил нас служить народу и сам служил ему честно, беззаветно.

Свердловск, 1960—1976



ПАВЕЛ СОЛОМЕИН



МУДРЫЙ УЧИТЕЛЬ

С трепетом переступил я впервые порог редакции «Крестьянской газеты». В углу за большим письменным столом сидел заведующий отделом крестьянских писем Павел Петрович Бажов. Меня поразили взгляд его больших, открытых глаз. От такого взгляда нельзя отвернуться, а смотря в эти глаза, нельзя солгать. Казалось, что он видит тебя насквозь.

Неласково встретил меня заведующий отделом крестьянских писем!

— Ах, вот ты какой? — сказал он, внимательно оглядев мою тощую, бледную физиономию, мою потрепанную шинель колониста. — Приехал, наверное, справиться, почему не напечатаны твои заметки? — сердито заговорил он. — А я вот письмо написал тебе. Хотел сегодня послать. Пишу тебе, что критиковать может только человек с чистой совестью, а хулиганов мы на страницы газеты не пускаем! Почему же ты не написал о том, как бил окна у Ивана Степановича? Как прошиб голову Митьке Ненилину? Как сломал гармошку у Володьки Хромого?

Я чувствовал, что у меня покраснели сначала уши, а потом все лицо. Это была чистейшая правда. Я даже знал, что написала об этом моя подружка по сельковскому кружку, секретарь нашей комсомольской ячейки Аннушка Соломеина. Ведь она говорила мне, что напишет, а я не поверил.

— Все это правда, Павел Петрович,— твердо сказал я и взглянул ему в глаза.

— Правда? А я думал — отрицать будешь. Тут, брат, есть письмецо о твоих похождениях,— сказал Бажов. — Из комсомола-то тебя не исключили?

— Нет.

— Надо было! Ну, а как ты оказался в деревне? Ведь последний год писал из Шадринска?

— Выпустили из детской трудовой коммуны,— ответил я. — Вот и решили мы с двумя дружками захватить в деревню, получить от моего опекуна все, что он сохранил, и податься на Кавказ.

— А что вы там делать собираетесь?

— Работу искать.

— Что же вы умеете делать, «работяги»?

Он встал и сказал более мягко:

— Вот что. Ты посиди, почитай газеты. А я схожу к редактору, посоветуюсь с ним.

Вернулся он через час. Хитренько улыбаясь в усы, сказал:

— Так вот, Аника-воин, решили мы простить тебе твои прегрешения. Сделать скидку на молодость. Никуда ты не поедешь. Так и скажи дружкам своим. Жить будешь в Доме работников просвещения за счет редакции. А работать в отделе крестьянских писем. Временно пока, потому что штаты у нас в редакции полные. Вот бумажка тебе. Иди в Домпрос, устраивайся, а завтра приходи на работу. Деньги-то есть?.. Есть — так хорошо. Да не вздумай выпить и проявить свои воинственные способности. Говорю это тебе как коммунист комсомольцу...

Работая в отделе крестьянских писем, я понял, что Павел Петрович чутко относится к каждому селькору. Он растил и воспитывал селькоров, отдавал много сил и энергии для того, чтобы они получили среднее и даже высшее образование.

Отдел крестьянских писем бронировал для селькоров места в Пермском и Свердловском рабфаках. Каждый селькор к подаваемым документам прилагал вырезки из «Крестьянской газеты» своих заметок, очерков, фельетонов или стихов.

Только весной 1927 года я по заданию П. П. Бажова писал от имени редакции письма не одному десятку активных селькоров, в которых извещал их, что редакция «Крестьянской газеты» решила дать им путевки на рабфак и советует, не теряя времени, готовиться к вступительным экзаменам.

Однажды Павел Петрович спросил меня:

— Кому из вашего, сосновского селькоровского кружка рекомендуешь дать путевку на рабфак?

— Аннушке Соломеиной,— не задумываясь ответил я.— Она активная селькорка и комсомолка.

— Пишет-то нам редко,— сказал Павел Петрович,— но хорошо пишет. Согласен. А не сердисься на нее? Она ведь про тебя...

— Я знаю, что она,— ответил я.— Ведь она сама говорила мне об этом.

— Ну? Значит, она вовсе молодец! Не побоялась тебя, Анику-воина,— рассмеялся Бажов.

В этом году и мне была вручена путевка областной «Крестьянской газеты» на Пермский рабфак.

Я на всю жизнь полюбил беспокойную профессию журналиста. Четверть века работал в редакциях. Видными журналистами стали селькоры Ефим Филистеев, Герасим Юрин, Михаил Букин, Иван Семенов и многие другие. Все они по праву считают своим учителем Павла Петровича Бажова.

В конце 1929 года я был мобилизован в счет двадцати пяти тысяч коммунистов на работу в колхозы. Получив путевку в белоносовскую коммуну «Красный день» Покровского района, я зашел проститься с Павлом Петровичем.

— Понимаешь ли ты, какое большое дело доверяет тебе партия?— спросил Павел Петрович.— Понимаешь?.. Ну, то-то! Смотри не подкачай. А куда едешь?.. В Белоносово? Ну как же, знаю! Село это интересное, но крестьяне там не любят сельского хозяйства. Там живут горшечники, кошечники, скорняки. Это, кажется, единственное на Урале село, где даже бабы чулки

вяжут на чулочных машинах. Нелегко будет сельское хозяйство налаживать. А ты слушай-ка, дневничок заведи. Записывай все. Ведь придется там пни корчевать кулацкие. Записывай, пригодится,— посоветовал он на прощанье. — Да в газеты-то не забывай писать о ходе коллективизации, о классовой борьбе в деревне.

Я часто писал в газеты заметки, зарисовки, критические корреспонденции. А к весне закончил повесть «Пути-дороги». В 1931 году отрывок из этой повести послал: один экземпляр — в журнал «Штурм», второй — на консультацию П. П. Бажову, третий — на консультацию московскому писателю П. И. Замойскому.

Как и следовало ожидать, Петр Замойский жестоко раскритиковал меня и вернул мне рукопись с ядовитыми пометками на полях.

Был я в те времена еще сравнительно молод и не в меру горяч. Прочитав письмо Замойского, я пошел в редакцию свердловского литературно-художественного журнала «Штурм» и со скандалом забрал свою рукопись, уже подготовленную к печати.

С этой же целью отправился я и к Павлу Петровичу, который в то время работал редактором в Уралгизе.

Выслушав меня, он сказал:

— На вкус и цвет товарищей нет. Твоя вещь, на мой взгляд, неплохая. Я послал ее в набор. Она будет напечатана в сборнике «Колхозные огни».

— Я прошу вас вернуть мне рукопись,— просил я. — Никогда в жизни не буду больше писать...

Павел Петрович смотрел, как я горячился, и от души смеялся. А потом серьезно сказал:

— Будешь писать! Тебя ругать будут, а ты будешь писать. Теперь ты, брат, обречен... Так что брось-ко зря горячиться... Ты думаешь, меня балуют? Нет! Тоже ругают, а я вот книжки пишу. Вот на-ко, я подарю тебе... — Он сделал надпись и дал мне свою книгу «Пять ступеней коллективизации». — Почитай, это тоже о колхозной деревне,— сказал он в заключение. А мою рукопись так мне и не вернул.

В 1938—1939 годах Павел Петрович был частым гостем в редакции областной комсомольской газеты «На смену!». Он принимал активное участие в редакционных летучках, подсказывал молодым журналистам

темы, советовал не забывать старые, но интересные формы руководства юнкорами, журил по-отечески нас за промахи, за горячность.

Каждый приход Павла Петровича в его неизменной суконной толстовке был для нас, молодых журналистов, немалым событием.

В эти годы мне частенько приходилось бывать и дома у Павла Петровича. В 1940 году, когда «Малахитовая шкатулка» и ее автор были уже известны во всех уголках страны, Павлу Петровичу стали посылать свои книги молодые писатели и поэты. Очень нравились ему стихи молодого, мало еще известного омского поэта Леонида Мартынова, дальневосточника Петра Комарова.

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы я работал редактором в Егоршинском и Таборинском районах, в городе Первоуральске. Бажов неизменно интересовался работой газет. Он требовал, чтобы каждая районная или городская газета имела свое ярко выраженное лицо, не была бы как две капли воды похожа на газету соседнего района.

Когда Павел Петрович был уже знаменитым писателем, лауреатом Государственной премии, депутатом Верховного Совета СССР, он при встречах в Свердловске неизменно приглашал своих воспитанников-газетчиков к себе и учинял им допросы с пристрастием.

...Это было 23 июля 1949 года. Солнце уже закатилось, стало несколько прохладнее, когда я подходил к знакомому домику.

Павел Петрович сидел в своем кабинете в кресле, придвинутом к письменному столу, и при помощи толстой лупы читал какой-то журнал. В настольной лампе была ввернута длинная сороковаттная лампа, какие в то время были разве только в трамвайных вагонах.

— Ну-ко, ну-ко, какой ты стал? — спрашивал Павел Петрович и с грустью сказал: — Совсем плохо стал видеть. Читаю — середина слова пропадает. Слова-то по памяти схватываю, а попадет четырехзначная цифра — все пропало. ...Да и старик стал. Пришел вот из сада и задохся, еле отдышался... Да ты садись, рассказывай, что там нового у вас, в Первоуральске.

Павел Петрович уселся поудобнее, приготовился слушать. Он мог часами слушать, не стеснялся пере-

спрашивать о том, с чем был мало знаком. Но не один раз мне казалось, что спрашивает он не потому, что не знает, а чтобы проверить, знаю ли я. Так получилось и на этот раз. Он интересовался технологией производства хромовых солей, динасового кирпича, нержавеющей труб. Спрашивал, куда идет продукция первоуральских заводов, как идет на предприятиях Первоуральска соревнование за досрочное выполнение послевоенной пятилетки, и о многом другом.

Он поинтересовался, как работает газета, которую я в то время редактировал, печатаю ли я на ее страницах очерки, фельетоны.

— Вездь вот такая штука,— говорил он. — Вы, журналисты, живете среди героев. Вам бы вроде и карты в руки — писать о рабочем классе, о его труде, жизни, о его думах и чаяниях. А вездь мало, можно сказать — совсем нет, в газетах таких очерков.

Долго разговаривали мы в этот вечер. Павел Петрович подробно меня расспросил о семье, послал моим дочерям новое издание своей «Зеленой кобылки».

В полночь я простился со своим учителем и наставником. Ночь была теплая, звездная, тихая. Хотелось пройтись пешком по городу, подумать обо всем, что сказал этот мудрый человек. Вездь каждая беседа с ним расширяла кругозор, как ни одна прочитанная книга.

Первоуральск, 1960



КОНСТАНТИН БОГОЛЮБОВ



БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ

1

Впервые встретился я с Павлом Петровичем зимой 1928 года.

Областное издательство помещалось тогда в маленьком одноэтажном домике на улице Гоголя. В трех комнатных помещениях было по-домашнему уютно. Потрескивали дрова в печке, стрекотал ундервуд, пахло табаком. Когда приходили авторы, становилось совсем тесно.

Однажды зашел я туда в морозный солнечный день. Зима вообще стояла студеная. Редактор, грузный мужчина с львиной гривой, старый журналист, заглянул в окно и пробасил:

— Вон наш дед идет.

Действительно, по улице шлепал дед. В шубе, в шапке. Русая окладистая борода с проседью.

Он вошел в комнату с клубами морозного пара и сразу внес какую-то особенную атмосферу простоты и добродушия. Я тогда не знал, что «дед» было чем-то вроде клички. Об этом Павел Петрович сам говорил:

— Сорока лет не было, а уж дедом звали... за бороду.

Конечно, дедом он тогда еще не был. Среднего роста пожилой мужчина с хорошим русским лицом. Удивительные были глаза его — светло-серые, почти прозрачные. В них светились ум и лукавая усмешка. Впоследствии мне пришлось увидеть в них и гнев, и злую иронию.

Он протянул мне руку и глуховатым голосом сказал:

— Бажов.

Я подумал, что это селькор откуда-нибудь из наших сельскохозяйственных районов — из-под Ирбита, Камышлова или Красноуфимска. Фамилия Бажова ничего не говорила: в работе литературной организации Павел Петрович в то время участия не принимал, да и художественных произведений печатал мало.

Редактор предложил ему папиросу, но Бажов вынул из кармана кисет и ловко скрутил сигарку.

— Деревенский табачок лучше...

Я обратил внимание на его руки. Эпитет «одухотворенные» полностью можно было отнести к ним.

Редактор спросил:

— Опять из командировки, Павел Петрович?

— А как же! У меня в Туринске, Байкалове, Манчаже — везде почтовые станции, везде знакомцы. Любопытны эти наши уральские места...

И повел рассказ о том, как он путешествовал по деревням, с кем встречался. Рассказ пересыпался острыми шутками, а «любопытные места» вставляли такими, как будто рассказчик прожил в них целую жизнь.

В конце двадцатых годов организовалась Уральская ассоциация пролетарских писателей (УралАПП). Павел Петрович был избран членом правления УралАПП. Не знаю почему, но он возглавлял секцию крестьянских писателей. Может, потому, что являлся сотрудником «Крестьянской газеты», да и внешностью своей производил впечатление человека, близкого к деревенской жизни.

В литературных боях тех лет Бажов участвовал не раз. Рецензии за подписью «Чипонев» («Читатель поневоле») были принципиальны, остры и отличались

высоким уровнем литературного мастерства. Бажов беспощадно разоблачал халтуру и приспособленчество, борясь за чистоту и идейность литературы, за правду в искусстве.

После Первого съезда советских писателей он был введен в редколлегию уральского журнала «Штурм». Это еще более укрепило его связь с литературным движением. С тех пор она уже не прерывалась до самой его смерти.

2

Большую часть своей жизни Павел Петрович провел в Екатеринбурге-Свердловске и с полным основанием называл себя его старожилом. Павел Петрович хорошо знал старый, дореволюционный Екатеринбург — город миллионеров Злоказовых, Макаровых, Агафуровых, город рабочей и ремесленной бедноты, ютившейся в подслеповатых избенках на бесконечных Опалихах Верх-Исетского завода, на Мельковке и Загородных улицах. В этом городе был не один фешенебельный ресторан, клуб благородного собрания, полдюжины церквей, монастырь, целые кварталы публичных домов на Водочной улице, но не было ни одного высшего учебного заведения, не было городской бани и мощеных улиц.

И все же Екатеринбург являлся одним из мощных центров рабочего революционного движения, — здесь работал Я. М. Свердлов, здесь организовались первые на Урале боевые рабочие дружины в 1905 году.

Павел Петрович любил свой город. В повести «Дальнее — близкое» он нарисовал яркую картину старого Екатеринбурга. Чего хотя бы стоит такая характеристика:

— На другие города наш не походит. Он вроде самого главного завода. На железе родился, железом опоясался и железом кормится.

Чуть не каждый дом вызывал у него воспоминания.

Как-то осенним вечером шли мы по улице Розы Люксембург. Павел Петрович рассказывал об Екатеринбурге:

— Была такая улица — Косой порядок. Недалеко от старого рынка, где сейчас улица Степана Разина... Ко-

нечно, улицы в нашем представлении как таковой не существовало, только «порядок», — значит, односторонка... Вдоль берега Исети стояло, вероятно, несколько избушек. Вот и вся улица.

Около цирка, на перекрестке, сворачиваем направо. Впереди — громоздкое кубообразное здание бывшей единоверческой церкви, построенное купцом Рязановым.

— Здесь у рязановского попа вышла ссора с одним из екатеринбургских тузов — Толстиковым. Поп-то что делал? Во время обедни возглашал: «Мир всем, кроме Яшки Толстикова!» Тот терпел-терпел, да и выстроил свою церковь. Это на теперешней улице Степана Разина... Были и другие чудачки. Вот помню барыньку одну — Тиме (кажись, жена главного инженера). Так эта самая барынька завела двенадцать собачек и прогуливалась с ними по главной улице... Ну чем не маминский тип?

Павел Петрович рассмеялся и заключил утвердительно:

— Чертополох!

О «чертополохе» он всегда отзывался саркастически. Зато с увлечением и любовью рассказывал о «мужицких» заводах на Исети, о старинном мастерстве «искровщиц», о строителях Екатеринбургского завода, о монетном дворе, о памятниках старины.

Идя по плотине городского пруда, размышлял вслух:

— Прочное сооружение. Долгонько держится. Больше двухсот лет миновало... А кто строил? Простой человек, демидовский плотинный мастер Леонтий Злобин. Знаменитый был строитель плотин. Да и плотинное-то дело исконно русское. Геннин вон хвастает своим заграничным. По его словам выходит, что без немцев мы на Урале и заводов не построим. У него и терминология-то вся немецкая. А вот как он в своей истории заводского устройства дошел до плотинного дела, так и пошли русские наименования: вешняк, вешняшний прорез, водяной ларь, понурный мост, ряжи... Ни одного слова немецкого!

Прошло несколько лет. В Уральском государственном университете имени Горького открылась научная конференция, посвященная двухсотдвадцатипятилетию Екатеринбург-Свердловска. Вступительное слово

произнес Павел Петрович Бажов. Это было одно из его последних и, пожалуй, самых ярких выступлений.

— Историкам надо направить свои поиски в сторону тех творческих исполнителей, которые мало или вовсе не показаны в материалах генералов-строителей,— говорил он.

Сам человек труда, он жалел о том, что так мало осталось сведений о великих делах простых людей — умельцев. «Были знаменитые мастера, да только в запись не попали, — с горечью писал он в одном из сказов.

3

Коренной уралец, Павел Петрович любил свой край неизменной горячей любовью.

— То, что сказы мои уральские, вот в чем главное,— говорил он, делая ударение на слове «уральские». — У нас на Урале сколько профессий, да таких, каких нигде больше нет. Возьмите хотя бы горщиков. Ведь это коренная уральская профессия, и сколько в ней поэзии! У нас ведь и мастерство здесь коренное. Еще в давно прошедшие времена столько было настоящих самородков, крупнейших талантов. Заводы-то еще при феодализме строились... Любопытна, например, история с золотом. Найти-то его нашли, а вот что с ним дальше делать — не знают. Стали плавить, выплавляли в год восемьдесят пудов. И что же? Простой штейгер Брусницын предложил свой способ дробить и промывать руду. Сразу счет на сотни пошел. С той поры так и стали называть — брусницынское золото... Мировой известностью пользуется. Нигде в мире нет лучше каслинского литья. А в чем его секрет? То ли чугун особенный, то ли опоки, то ли руки такие у каслинских мастеров. Все дело в том, что литье-то художественное,— значит, и здесь уральское мастерство сказалось.

Впрочем, любя Урал, Павел Петрович всегда едко высмеивал тех, кто напирал на уральскую исключительность. Говорил:

— Урал, товарищи, не удельное княжество и никогда им не был. Вот один горе-исследователь насчитал семнадцать коренных уральских слов, а на повер-

ку-то вышло, что все они у Даля имеются... За исключением «молоконки», да и та под сомнением: есть у нас на ВИЗе местность такая — «Малый конный» называется.

У него была собрана богатая литература об Урале.

Интересовало его все, что имело отношение к Уралу. Помню, шли мы с ним и беседовали на излюбленную тему — о фольклоре, о языке, о значении местных слов и речений. Павел Петрович, постукивая палкой, высказывал свою точку зрения:

— Надо бы этот вопрос осветить пошире. Тут ведь целая география. Истоки колонизации Урала... Тверитиновы, Олонцевы, Новгородцевы, Волгожаниновы, Устюговы... В Сысерти у нас попадают соликамские фамилии — Пермьяковы, например. Пермьяков ведь Турчанинов-то вывозил, вот и пошли Пермьяковы. А то еще есть у нас Чепуштановы, их называют «берёговики». Вот и суди: почему это так? Оказывается, у Даля есть объяснение: чепуштан — это береговой лес для сплава...

Бажов мечтал создать историческую трилогию. Первой ее частью должна была стать повесть о разбойнике Рыжанко — атамане Золотом. Личность этого молодого человека из конторских служащих, ставшего народным мстителем, очень увлекла Павла Петровича. Он даже сделал несколько набросков будущей книги.

Привлекала его внимание и фигура Ивана Велобородова, одного из лучших полководцев Пугачева, действовавшего на заводах Среднего Урала. «Хромой капрал» — так хотел он назвать вторую часть своей трилогии.

Концепция трилогии в целом мыслилась им как история труда и борьбы рабочих людей и приписных к заводам крестьян. Не случайно и предполагавшееся название для всех трех частей — «Предгрозье». Далеко видел!

4

Органическая, кровная связь Бажова с его краем, с народом объясняет его любовь к фольклору, к народной поэзии. Не один раз полушутя, полусерьезно он называл себя «сказителем».

Горячо ратовал он за соби́рание фольклора, в особенности заводского. Первый свой сказ — «Дорогое имячко» — Павел Петрович написал тотчас же после жаркого спора с одним из работников издательства, начисто отрицавшим существование рабочего фольклора.

Помню одно из типичных бажовских выступлений, посвященных этой теме.

— Вот вы слышали, что я написал сказы,— говорил он на слете учеников ремесленных училищ,— а ведь настоящий-то творец — народ. Да и настоящая-то поэзия — народная поэзия. Надо собирать ее золотые крупички... Мне молодые фольклористы говорят: «Вам хорошо, Павел Петрович, вам старики все рассказывают, а нам — нет...» Эх, и мне старики не все рассказывают, а рассказы их собирать нужно. Ведь у нас на Урале население-то заводское — коренное. Заводы-то еще при первых Демидовых строились, а некоторые даже раньше — в семнадцатом веке. Поезжайте в Невьянск — там из одних Поляковых можно конференцию собрать. Да Шмелевых столько же. Ведь это же целая история завода. Спроси о старине — и в любой семье ответят: «Это мне дедушка рассказывал, про это бабушка говорила...» У нас на Урале и фольклор-то особенный — не успел отстояться.

Когда в 1949 году я поехал в командировку в Чердынь, Павел Петрович мне наказывал:

— Ты там обязательно разыщи Лунегова. Музеем заведует. И поклон ему передай... Это энтузиаст. Мы с ним еще по «Крестьянской газете» знакомы. Тогда он был селькором и, кроме того, собирал всякую чердынскую старину. Это фольклорист нашей, советской формации.

3

Однажды — Павел Петрович работал в это время в издательстве — зашел разговор о том, кто что пишет. Павел Петрович уклонился от прямого ответа и заметил только:

— Моя работа — ювелирная.

Не раз приходилось убеждаться в меткости этого определения. Всякий читавший бажовские сказы попа-

дал во власть этого волшебного слова, поддавался очарованию языка, сверкающего юмором, меткими словечками и присловиями. Недаром некоторые из них, как, например, «Живинка в деле», вошли в широкий речевой обиход.

Бажов упорно работал над словом.

Речь Бажова была пересыпана поговорками, острыми народными выражениями. Не стеснялся он употреблять и словечки, непривычные для изоощренного уха. В то же время это была речь высокообразованного человека.

Про одного поэта он сказал: «Крылышки у него хоть маленькие, да свои». О другом отозвался так: «Всемирно хорош парень, только с зайцем в голове». А свое положение охарактеризовал юмористической поговоркой: «Дали белке воз орехов, когда зубы съела».

6

Интересны высказывания Бажова о литературе и литераторах.

Характерно его отношение к Решетникову и Мамину-Сибиряку.

Решетникова он очень уважал за то, что тот первым в русской литературе поднял тему рабочего человека, уважал писателя за его суровый и трезвый реализм, за глубокое и точное знание действительности.

К Мамину-Сибиряку отношение у него было сложное. Он отмечал у него черты, наиболее родственные ему самому, — «редкую изобразительность» и «богатейший лексикон народного языка, полный метких слов». Любопытно, что лучшими из его произведений он считал «Бойцов», «Горное гнездо», «Три конца», «Охонины брови». Когда он стал редактором Гослестехиздата, именно эти произведения включил в серии книг для лесорубов. На маминской конференции в 1940 году он выступил с речью и статьей, посвященной памяти «певца Урала».

За что же он любил его? За то, что Мамин нарисовал правдивую картину пореформенного Урала, за его искренний демократизм, за его чуткость к общественным проблемам. Однако неизменно добавлял:

— А рабочего-то он знал плохо.

Однажды мы разговорились с ним о рассказах Мамина, предназначенных к печатанию в местном издательстве. Павел Петрович отобрал такие, как «Зимовье на Студеной», «Емеля-охотник», особенно похвалил рассказ «В каменном колодце», а о «Легендах» сказал:

— Не надо. Не та философия.

С большой любовью и уважением относился к своему другу и собрату по перу А. П. Бондину. Они являлись людьми одного поколения, одной социальной среды. В одно время начали литературную работу. Еще в 1923 году встречались на собраниях литературной группы «Мартен». Бажов был первым редактором романа Бондина «Лога». Теплое и содержательное предисловие написал он к книжке Бондина «Избранные рассказы», вышедшей в 1949 году в библиотеке «Огонька». Лучшим его произведением он считал роман «Ольга Ермолаева». Он ценил Бондина за умение изобразить рабочий быт, передать язык рабочей среды.

Всякое отступление от жизненной правды, особенно у современных писателей, возмущало его до глубины души; он требовал точности и в художественном произведении, и в газетном публицистическом материале.

Два автора, совместно написавшие пьесу, читали ее в присутствии Павла Петровича. Он сидел в своей обычной позе, опустив голову. Кончилось чтение, и Павел Петрович взял слово:

— Вот у вас герой пьесы падает в шурф и сразу же произносит монолог. А представляете вы глубину шурфа? Пишете о том, что за Полярным кругом создают оранжереи, целые «зеленые цехи», и выдаете это за новинку. А знаете ли вы, что еще сто лет назад русские ученые занимались проблемой озеленения Севера?

В произведении одного молодого писателя, талантливым и интересном, рассказывалось, как председатель колхоза разрешил юным туристам взять бревна для сооружения плота. Павел Петрович с возмущением говорил:

— Если был где-нибудь такой председатель, так он или дурак, или преступник, которого надо судить за расхищение колхозной собственности. Вот к чему приводит незнание действительности.

На одном из «четвергов» обсуждалась рукопись очерков о городе Карпинске. Автор нагромоздил кучу сырого материала, очень небрежно обработал его и, естественно, сразу же вызвал резко отрицательную реакцию со стороны участников обсуждения. Но в горячих выступлениях критиков этой вещи трудно было отыскать главное, что помогло бы автору найти кратчайший путь к исправлению ошибок. Этот путь указал Павел Петрович.

— Надо ведь и о читателе думать,— говорил он своим слегка глуховатым голосом.— Очерк-то ведь художественная литература... Вот я спрашивал об историческом прошлом. У другого города двести лет история, а сказать нечего. Карпинск — особь статья. Почему, например, когда в России было всего сто горных инженеров, один из них, Карпинский, попал в Богословск? Значит, чем-то отличался Богословск от других заводов. Неспроста это. Вот это и надо раскрыть. А сборник что ж... сборник весь надо перелопатить.

О поэзии Павел Петрович говорил обычно в шутовском тоне. Об одном поэте из рабочих сказал:

— Какой хороший слесарь пропал!

А когда один такой поэт вернулся с фронта, Бажов буквально огорошил его:

— Все еще стихи пишешь? А сколько тебе лет-то? Пора бы и в ум войти...

О Маяковском говорил уважительно:

— Много ли у нас после Маяковского написали равного Маяковскому? Совсем мало...

Вышла в свет книга местного автора, фантастический роман. Встретил его Павел Петрович сдержанно.

— Трудно писать фантастические романы. В будущее-то ведь надо глядеть марксистским глазом. Вот раньше в толстых журналах печатали переводные романы, вроде послесловия, в конце книги. Один такой роман с продолжением в конце семидесятых годов был напечатан в «Русском вестнике». Какого-то француза... «Железная рабыня» называется... Так вот, француз этот писал о том, что через пятьдесят лет даст электричество. И не нашел ничего лучшего, как применить электричество для очистки Сены... До чего же убогая

фантазия! Посмотрел бы этот француз, как у нас электричество работает! Надо бы разыскать этот роман да сопоставить с нашей электрификацией.

Постоянно напоминал он о писательской «вышке», о необходимости честно и упорно трудиться, о художественном мастерстве. Однажды в беседе со мною и Ладейщиковым он сурово отозвался о наших статьях, помещенных в пятитомнике Мамина-Сибиряка.

— Вот вы все на социологию напираете. А где же эстетический анализ? Ведь Мамин-то был художник.

На одном из писательских собраний, где было много литературной молодежи, Павел Петрович сказал:

— Про старое пишу потому, что знаю, чего вы не знаете, а про новое вам надо писать.

Отвечая на вопрос о качестве наших произведений, он высказал горькую истину:

— Надо, чтобы на наши «четверги» ходили люди и не литературные. Из самой гущи жизни. Почему мы пишем слабо? От бедности впечатлений. Отсюда и неизбежное самоповторение.

7

Скромность — свойство людей большого ума и большого сердца. Павел Петрович в полной мере обладал этим свойством.

Припоминается один почти анекдотический случай. Дело было на избирательном участке. Происходили выборы в Советы. В то время Павел Петрович уже вышел на пенсию по инвалидности и среди прочего «неорганизованного» населения был приглашен на избирательный участок прослушать беседу агитатора. Как человек дисциплинированный, он явился одним из первых.

Большинство присутствующих составляли дети и женщины-домохозяйки. Тема беседы заключалась в противопоставлении старому новому, — разумеется, на уральском материале. Агитатор, молодой паренек, очень бойко рассказал о новом, о наших достижениях, о росте промышленности Урала, но как дошел до прошлого, начал спотыкаться. Заметив седую, стариковскую бороду Павла Петровича, он «ухватился» за нее, как за спасительный якорь:

— Вот ты, дедушка, наверно, давно живешь на свете?

Павел Петрович улыбнулся.

— Подходяще.

— Ты, конечно, хорошо помнишь, как жилось рабочему человеку при царизме?

— Ну, как не помнить!

— Так вот, расскажи-ка нам, дедушка, как вам тогда жилось.

— Что ж, это можно.

И «дедушка» начал рассказывать о том, как скитался отец его по заводам, как обсчитывали рабочих сысертские заправилы, как на спичечной фабрике у Белоносихи сгорали в несколько лет молодые, сильные люди, как погиб талантливый импровизатор по прозвищу Мякина. О многом страшном из прошлого Урала рассказывал «дедушка». Лилась и лилась увлекательная беседа. И по мере того как Павел Петрович говорил, у агитатора вытягивалось лицо — уж больно складно и ярко текла речь незнакомого старика...

— Кто это? — в смятении прошептал он на ухо ближайшему из присутствующих.

— Бажов Павел Петрович, писатель.

Кончилась беседа. Агитатор сконфуженно благодарил Павла Петровича и извинялся:

— Простите, не знал, что вы Бажов...

— Пустяки, — отвечал Павел Петрович. — История — мой хлеб.

8

С нежностью и гордостью говорил он о советском человеке.

— Был у меня один знакомый — бывший комиссар финансов... в районном масштабе. Казалось бы, интеллигентный человек. Так он в тысяча девятьсот восемнадцатом году приехал в свое село, пошел в церковь, надел на себя ризу и сплясал в алтаре. Вот ведь какая психология. И люди-то ведь были неплохие. Чистые сердцем, преданные делу революции. Но культура была другая. Теперь не то. Если раньше поколение измерялось десятилетиями, так теперь оно измеряется

пятилетками. Да что пятилетками! Каждый год приходят сотни тысяч высокообразованных молодых людей. А что будет через десять лет, мы даже представить не можем.

С глубоким уважением говорил он о советской женщине — работнице и матери.

— Читаю журнал «Советская женщина»... Ну, хорошо. Пишут о докторах химии, о лауреатах, о Героях Социалистического Труда. А вот вижу однажды фотографию — звено Макаровых. Восемь женщин — и все Макаровы, заметь. Стало быть, одна семья. Воспитала же эта самая Макарова-мать таких дочерей! А ведь это дело-то государственное. Приходил ко мне недавно бывший партизан. Сейчас ему пятьдесят четыре года. Так он успел побывать и на этой войне. Шестерых сыновей на войне потерял, получил там ранение. Теперь осталась одна дочь. Она врач и тоже военная. С парашютом прыгала к партизанам. Геройская семья. Я вот думаю, что мало мы пишем о женщине-матери, о ее роли в жизни. А ведь она и почетная, и тяжелая, и, в конце концов, самая главная. Обидно иной раз бывает, когда видишь, что некоторые женщины забывают о своих материнских обязанностях, пренебрегают ими. Другая, смотришь, живет сама по себе, на холостом положении, семьи у нее нет. Неправильно это...

И вот последние встречи. Все так же сидит Павел Петрович за столом, среди книг и рукописей. Так же широкая седая борода ложится на грудь. Он красив той благородной старческой красотой, какую дает людям честно прожитая, большая жизнь.

Свердловск, 1952—1960



ЛЮДМИЛА ТАТЬЯНИЧЕВА



СЛОВО О МАСТЕРЕ НЕСРАВНЕННОМ

Время в непрерывном движении своем многое уносит.

Рушатся сухостойные деревья, освобождая место молодым побегам; крошатся старые утесы, обнажая рудные пласты; стираются в нашей памяти многие подробности пережитого, очищая облик минувшего от налета второстепенности.

Сквозь линзы времени явления и люди видятся крупнее и ярче. Впрочем, это относится далеко не ко всему...

Бывают характеры и события такой самоцветности и силы, что не требуется никакой временной дистанции для определения их необычности и значительности. Такой удивительной личностью был и остался в памяти современников Павел Петрович Бажов.

Каждое его слово, каждый поступок свидетельствовали о его незаурядности; в моем восприятии он был одновременно и художником, и художественным образом, редким воплощением совершенства человеческой природы.

Таким он виделся при жизни. Поворачиваю линзу времени, внимательно всматриваюсь: не ошиблась ли?

Нет, все верно, все так! И что удивительно, — жизнь не обтекает его, как речные воды огибают неподвижный утес, а непрестанно движет вперед. Он каждой строкой бессмертных своих сказов принадлежит непобедимой жизни, и она дарует ему свою неиссякаемость.

Мне выпало счастье со школьных своих дней знать Павла Петровича Бажова.

...1929 год. Я училась в пятом классе свердловской школы имени Ленина. Одним из моих школьных товарищей был Алеша Бажов, черноволосый задумчивый мальчик с крупными, выразительными глазами. Он очень любил стихи и, возможно, даже писал их, но по крайней застенчивости своей никогда их нам не показывал. Не говорил он и о том, что отец его литератор, известный в области журналист. По своей начитанности Алеша заметно отличался от большинства своих сверстников.

Мне отчетливо запомнилось, как однажды весной, по дороге на пионерский сбор, мы, целая ватага мальчишек и девчонок, зашли за Алешей.

Окна одноэтажного дома, в котором жила семья Бажовых, были широко открыты. В одном из них я увидела удивительное лицо сказочного старика. Впрочем, глаза его светились совсем молодо — открытые, горячие, с доброй лукавинкой. А стариком он показался потому, что лицо его пряталось в широкой, волнистой бороде, какой я ни разу ни у кого не видела. Мои друзья с не меньшим интересом разглядывали диковинную роскошную бороду.

— Ну что, ребята, хорошая борода? — спросил нас «старик» и, добродушно рассмеявшись, спросил: — Наверно, Алешины товарищи?

В это время появился Алеша, и когда он встал у окна, мы сразу поняли, что «старик» — Алешин отец.

У детей есть удивительное свойство — распознавать отношение людей к себе. Безошибочно. Быстро. Иногда с первого взгляда. Так, с первых слов, мы почувствовали расположение к Павлу Петровичу. Он беседовал с нами как с равными, внимательно и уважительно. Задавал вопросы, на которые было легко и радостно отвечать...

Разве я могла предположить тогда, что пройдут годы — и я встречу с Павлом Петровичем как с известнейшим писателем и что его «Малахитовая шкатулка» станет одной из самых дорогих для меня книг, дивом дивным, кладезем мудрости и поэзии! И что судьба подарит мне потом незабываемые беседы, каждая из которых запомнится как событие...

Да, именно как событие, — в этих словах нет и грана преувеличения! Круг познаний Павла Петровича был необозримо широк. Он во всем любил основательность, точность, надежную весомость исторического или научного факта, что ничуть не мешало полету его неистощимой фантазии.

Увидев ласточкино гнездо под карнизом одноэтажного старого дома, в котором мы некоторое время жили в Челябинске, Павел Петрович, сославшись на многолетние наблюдения одного французского ученого, сказал, что ласточки удивительный народ: они совершенствуют «архитектуру» своих жилищ, делая их все более ёмкими и удобными.

— Как видите, и у птиц строительное дело не стоит на месте.

У Бажова было свое особое понимание природы. Красота Урала в его сказах не просто отображена, а волшебным образом преломлена. Деревья, камни, животные и птицы были для него сложными мирами, познать которые он стремился всю жизнь. Он умел слушать голоса природы, находить общий язык с «братьями нашими меньшими».

Был у нас весьма серьезный пес по кличке Атач — немецкая овчарка, не получившая достаточного воспитания и потому не всегда подчинявшаяся воле хозяев. На приказание «фу» Атач реагировал по своему усмотрению и настроению. Это часто ставило нас в затруднительное положение.

...Бажова он встретил сердитым лаем. Я безуспешно пыталась утихомирить собаку.

Видя мою растерянность, Павел Петрович сказал:

— Не беспокойтесь, мы сейчас с вашим ревностным стражем обо всем договоримся.

И ведь договорились! Уже через несколько минут Атач завороченно смотрел на нашего гостя и, положив голову на вытянутые сильные лапы, казалось,

вместе со всеми слушал неторопливый рассказ Павла Петровича о его поездке в Москву и о работе над новыми сказами. Некоторые из них, например «Орлиное перо», я знала по рукописи, присланной в Челябинское издательство, директором которого в ту пору работала.

Об Атаче и его негостеприимном лае забыли. Но он решил еще раз напомнить о себе, проявив неуместное рвение...

Когда были поданы пельмени — коронное блюдо уральского стола (в ту послевоенную пору весьма скромного!), я вдруг заметила, что Павел Петрович сидит как-то скованно, не притрагиваясь к еде.

— Да вы ешьте, Павел Петрович, пельмень хорош, покуда горяч!

На это Бажов не без иронии заметил:

— Вы бы это не мне, а вашему Атачу объяснили. Или, может, он у вас так натренирован?

Я ровным счетом ничего не могла понять. При чем тут Атач? Какое отношение он может иметь к остывающим пельменям? Оказалось, что самое непосредственное!

Стоило гостю поднять руку, Атач осторожно оттягивал зубами рукав его пиджака.

Провинившийся пес под общий хохот был изгнан из столовой. Потом мы не раз вспоминали забавный этот случай...

Однажды, говоря о животных, Бажов обронил:

— Интересно, однако, что они о нас думают?

Я не раз размышляла об этом, удивляясь разумности четвероногих наших друзей, их чуткости и преданности человеку. Этими бажовскими словами навеино, по существу, недавно мною написанное стихотворение, которое начинается такой строфой:

Странные порой мне снятся сны:
Я гляжу на мир и на людей
То зрачком непуганой желны,
То скользящим взглядом лебедей...

Павел Петрович очень ценил в людях непосредственность и «детскость» восприятия жизни, раскованное умение удивляться и радоваться ее пусть даже самым скромным дарам. Мир может дать человеку

ровно столько, сколько человек способен от него взять...

Как весело, как по-мальчишески неуемно смеялся Бажов, когда я поведала ему об одной своей озорной выходке.

Во время коллективной загородной прогулки я в обществе двух совсем еще молодых руководящих работников районного масштаба плыла на лодке по озеру. Они сидели в качестве пассажиров, а я усиленно гребла. Эту роль выбрала сама,— с детства люблю греблю. Сотни верст провела на веслах на порожистой Чусовой...

Разговор не клеился. Мои спутники держались чинно, словно на ответственном совещании. И тогда мне в голову пришла затея: приблизясь к противоположному пологому берегу, украшенному порознь стоящими ветвистыми березами, я предложила сделать небольшой привал. Когда лодка опустела, я оттолкнула ее и заработала веслами.

— Куда же вы? — в один голос воскликнули «рыцари печального образа».

Я продиктовала свои условия: лодка причалит к берегу лишь в том случае, если каждый из них заберется на дерево — пусть не очень высоко, метра на два или на три. Деревья сильные, ветвистые, вокруг — никого, и ни им, ни их служебному авторитету решительно ничто не угрожает.

После длительных пререканий условия были приняты.

Через некоторое время я глазам своим не поверила: мои солидные спутники стали просто неузнаваемы! Сидя на толстенных березовых ветвях, они улыбались, и столько мальчишеского было в выражении их глаз и губ, что я немедленно перестала корить себя за эту дурашливую выходку...

— Не расставайтесь с детством, как можно дольше не расставайтесь, и мир никогда не потускнеет в вашей душе, и душа не огрузнет,— эти слова я не раз слышала из уст уральского волшебника, а вот последовать мудрому совету, к сожалению, в полной мере не смогла...

Удивлению, восторгу, вызванными красотой мира, литература обязана многими своими шедеврами. Ба-

жов не раз высказывал мысль, что поиски красоты обязательно приведут к постижению творческой сути труда и к дерзновенным поискам открытий.

Чудесные сказы Бажова — убедительнейшее доказательство этому.

Тайна раскрытия каменного цветка мне представляется не менее значительной и удивительной, нежели тайна раскрытия цветка живого, — ибо эта тайна подчинена извечным законам бытия, а первая обязана трудовому подвигу мастера.

Мастер и мастерство — главные герои бажовских сказов. А Мудрость, Талант, Трудолюбие, Доброта — главные их свойства.

Не много найдется произведений, в которых с такой силой возвеличено упоение в труде, как в сказках Бажова. Человечность и гуманизм его произведений, может быть, полнее всего проявляются в том, что он сумел убедительно показать творческую силу труда, силу, способную даже крепостному мастеру-самоучке дать чувство собственного достоинства и гордость создателя, поднять его над пропастью бесправия, нищеты и невежества, раскрыв за плечами орлиные крылья...

Удивительно многогранно и проникновенно бажовское постижение души рабочего человека. Он и в Урале-то превыше всего ценил и любил людей этого горделивого, богатырского края. И мерой всех мер было для него и как художника, и как человека отношение к людям труда, к всемогущим рабочим рукам.

С мужем моим Николаем Давыдовичем Смелянским, с юности увлеченным огненной работой металлургов и отдавшим Магнитке многие годы жизни, Павел Петрович вел особые, прицельные разговоры, в которых раскрывались его незаурядные познания и в этой области.

Историю металлургии он знал отлично — от глубоких, еще преддемидовских корней до густо разветвленной кроны наших пятидесятих годов. Он называл десятки славных имен и среди них особенно выделял народных умельцев.

Вспоминая выдающихся металлургов Амосова и Куряко, он отмечал в них умение заметить и поддержать

в трудовом человеке искру таланта и их глубокое уважение к личности рабочего.

Павел Петрович не раз высказывал свои суждения о моих стихах, укрепляя в главном — в стремлении запечатлеть неповторимые черты уральской природы и самобытного характера уральцев.

В одном из писем, датированном 26 июля 1945 года, Бажов писал:

«Вчера прочитал в «Огоньке» Ваши стихи. От души поздравляю с выходом на широкое плесо, каким, бесспорно, является этот журнал. Умненько выбран портрет. Хорошо, что редакция взяла стихи с «преобладанием областного колорита». Пусть-ка кой-кто из составителей поэм и баллад об Урале поглядит, как можно писать о нем, когда его любишь и знаешь не только по книжке Семенова-Тян-Шанского, когда его видишь вплотную, а не из окна вагона да во время переходов из центральных гостиниц в другие центральные учреждения областных городов. Впрочем, эта публика вряд ли поймет в полную меру прелесть образа «сосны босые сбегают с задымленных скал». В лучшем случае прикроют многоспальным одеялом «счастливых находок». Ну и пусть! Мы-то знаем, что эти находки не приходят на писательский стол ни с книжных полок, ни с городских улиц, даже идеально асфальтированных, как знаем и то, что подлинную любовь нельзя подменить виртуозностью версификации...»

Каким дорогим подарком было для меня это письмо, исполненное доброжелательства и желания уберечь молодого литератора от хитрых ловушек мелкотемья, от книжности и витиеватой манерности!

В другом письме Павел Петрович советовал мне старательно и надежно «обживать» малые площадки лирических стихотворений. В трех-четыре строфах можно выразить очень многое, если, разумеется, каждая строка, каждое слово «работают» на основную мысль, выражают живое чувство, если они — художественны!

Павел Петрович всегда говорил то, что думал, как бы ни горька порой была правда.

Фальшь, вычурность, словесная расхристанность и неточность вызывали у него чувство горькой досады, внутреннего отталкивания.

Однажды он обратил внимание на следующие мои строки:

Мне слышно, как плачет о доме
Бездомная птица желна.

Прочитав их вслух, ворчливо спросил:

— Да знаете ли вы, что это за птица — желна?

— Что-то вроде кукушки, — ответила я не очень уверенно.

— То-то и есть, что вроде, — пожурил Бажов. — А желна совсем не кукушка, а дятел. Об этом еще у старика Даля написано...

Как-то я заикнулась о том, что собираюсь написать поэму о Магнитке.

Павел Петрович посмотрел на меня исподлобья:

— Для солидности?

— Нет, почему же? — обиделась я. — В поэме больше можно сказать.

— Ну что же... Материал накапливайте, а за перо браться не спешите. Вполне может оказаться, что этот жанр не ваш.

И вот с той поры прошли многие годы. Из них успели сложиться десятилетия. Жизненного интереснейшего материала собрано множество, а поэма моя остается пока невоплощенной мечтой...

...Без преувеличения могу сказать: Бажов был не только притягательным центром, но и самой совестью писателей Урала. Не Среднего, не Северного и не Южного, как мы привыкли его административно делить, а всего Урала, по сути своей единого, отлитого из булатного сплава!

Бажовское укорливое: «Нехорошо!» — действовало сильнее, чем многоречивые наставления и порицания. А скупое его одобрение наращивало крылья, вселяло уверенность в своих силах, особенно в пору творческих неудач, сомнений и трудных поисков.

С Бажовым было надежно и высокогорно. Большая слава, пришедшая к нему на вечерней заре, — не погостевать, а остаться с ним навечно, — объединяла всех, а не разделяла, как это иногда случается в многосложной писательской среде, особенно в краях и областях. Он был вне зависти и вне сравнений. Единственность «Малахитовой шкатулки» понимал каждый, даже измучен-

ный неудачами и считающий себя незаслуженно обойденным вниманием литератор. Бажова любили. Им гордились!

Как торжественно-всенародно отмечал батюшка Урал семидесятилетие своего чудо-мастера!

Я отчетливо помню это прекрасное торжество в большом зале Свердловской филармонии, а сердцем тянусь больше к тихому разговору в маленьком бажовском кабинете, в тот поздний послеюбилейный вечер, когда близкие друзья продолжали произносить тосты в уютной столовой, а я отважилась заглянуть «на огонек» к притомившемуся Павлу Петровичу.

— Не помешаю?

— Заходите.

Лицо его было усталым и задумчивым, освещенным глубинным светом мысли. Пережитое радостное волнение еще не улеглось. Бажов сидел, зажав в небольшой смуглой горсти поредевшую, густо посеребренную бороду. Мне он показался утомленным путником, присевшим на перевале, — оглядеть пройденный путь и набраться сил перед новым подъемом.

Когда я сказала ему об этом, Павел Петрович отозвался не сразу.

— Беда в том, что у старости зрение дальнее, а дороги близкие. Об этом вот я как раз и думаю. Хотелось бы выбрать дорогу покруче да подлиннее — немало их открылось передо мной, да вот только смогу ли осилить? У юбилеев есть такая особенность — жизнь идет все так же, только еще быстрее...

Только еще быстрее! В правильности этой мысли я успела убедиться уже после своего первого юбилейного перевала...

...И еще был тогда разговор о славе — о том, как и когда приходит она к людям. Торопливую и «организованную» славу Бажов считал пагубной и зряшной. Очень жалею, что разговор этот записала бегло, понадеявшись на молодую память. А память — она тоже забывчива и заплывчива...

Среди разрозненных страничек воспоминаний есть у меня горчайшая запись о том, как мы провожали нашего Павла Петровича в его последний путь.

...В Челябинске проходила конференция молодых

литераторов Южного Урала. Все мы радовались скромным успехам своих товарищей, приехавших с новыми произведениями. В скобках замечу, что многие из них уже давно стали членами Союза писателей и составляют актив писательской организации.

В конце третьего дня работы был устроен вечер встречи участников конференции с молодежью города. Погода стояла звонкая и морозная, медленно падал молодой снежок. Шумной компанией, оживленные, возвращались мы домой.

Не успела снять пальто, как раздался требовательно-резкий звонок междугородной станции. Телефонистка предупредила:

— Не отходите, даю Свердловск.

Прошло несколько секунд. Взволнованный голос давнего товарища сообщил:

— Сегодня в Москве скончался Павел Петрович Бажов...

Не было сил задавать вопросы — такая тяжесть обрушилась на сердце. Мы знали, что наш Павел Петрович тяжело болен, и все же, покуда человек жив, всегда есть надежда, что все обойдется, что болезнь, даже самую жестокую, удастся преодолеть...

И вот — конец, безысходность. Казалось невероятным — как можно заниматься обсуждением рукописей, говорить о планах перед лицом такой утраты? Но вслед за этой пришла другая отчетливая мысль. Впереди у нас остаются творческие семинары. Вправе ли мы обрывать конференцию молодых на полуслове? Как бы к этому отнесся сам Павел Петрович, столько времени и сил отдававший работе с молодыми?

Посоветовавшись, участники конференции решили: работу продолжить, предельно уплотняя время. К этому решению присоединились и участвовавшие в руководстве семинарами свердловские писатели, хотя им было особенно необходимо в эти скорбные дни быть в Свердловске, чтобы принять участие в траурных хлопотах.

Работа конференции была достойно завершена.

Девятого декабря делегация писателей и трудящихся Челябинской области выехала в Свердловск, на похороны Павла Петровича Бажова.

Мы везли с собой необычный груз — огромные венки, остро пахнущие лесной свежестью и смолистой хвоей.

Несмотря на усталость, никто из нас не мог уснуть. В ту ночь мы говорили о нем.

Особенно подробно вспоминали его приезд в Челябинск весной 1945 года, на областную писательскую конференцию, его проникновенную, глубокую речь о великой и неисчерпаемой теме труда, о художественном мастерстве, о постижении людских характеров и явлений современности.

Бажов принял живое участие в обсуждении произведений молодых литераторов,— маститых в ту пору на Южном Урале еще и не было, организация только складывалась, собирала силы.

Внимательно выслушав стихи одного челябинского поэта, который громогласно декламировал о своей любви к Уралу, Павел Петрович легонько усмехнулся, помолчал, словно мысленно взвешивая что-то, а потом произнес:

— Очень уж крику много в этих стихах, уши слышали, а до сердца не дошло.

Участники конференции осаждали Бажова и в перерывах между заседаниями, и в гостинице, куда он возвращался лишь в поздний час, просьбами прочитать рукописи, дать совет. И он никому не ответил отказом.

И на письма—об этом знаю по личному опыту—отвечал обстоятельно, широкообхватно. Он избегал стандартных рекомендаций, ход его мысли всегда был по-бажовски оригинален и свидетельствовал не только о глубоких познаниях, но и о собственных воззрениях на литературу, рожденных в горниле писательского опыта и длительных творческих раздумий.

Самозабвенное трудолюбие считал наиглавнейшей принадлежностью таланта.

— Лениость убивает талант, а трудолюбие удесятеряет его силу и возможности.

Гладеньких путей в литературу не признавал.

Однажды два молодых литератора обратились к нему с жалобой на местные организации, которые не создают якобы начинающим писателям условий для профессиональной работы.

Павел Петрович в упор спросил:

— Хорошо. О чем же писать вы будете?

— Разумеется, о жизни...

— Вот что, ребята,— мягко прервал их Бажов,— не надо торопиться стать писателями-профессионалами. Надо работать на заводе, в газете, в колхозе, в школе и писать только о том, что хорошо знаешь, что любишь всей душой...

Когда наша конференция закончилась, Бажов изъявил желание ехать в Свердловск на автомашине. Было начало июня, погода стояла теплая, деревья буйно зеленели. Это было первое послевоенное лето.

— Хорошая поездочка предвидится...— мечтательно говорил Павел Петрович.— Дорога мне сызмальства знакома, редкостные места, глаз не оторвешь, а сердцем я к ним давно прирос...

Мы вызвались проводить Павла Петровича до Свердловска — хотелось продлить общение с ним.

Поездка в самом деле оказалась изумительной, хотя в дороге нас то нагонял, то встречал дождь. Павел Петрович, словно опасаясь, что мы останемся недовольны путешествием, был необыкновенно словоохотлив. Он рассказывал удивительные истории, и я никогда не прощу себе, что не удосужилась даже бегло их записать...

... И вот снова дорога в Свердловск. Но как она не похожа на ту радостную, которая была пять лет назад!

Мы приехали в Свердловск ранним морозным утром. У вокзала нас встретила легковая машина. Громадные венки пришлось перевозить по одному, укрепив их на крыше автомобиля.

С вокзала, не заезжая в гостиницу, мы направились к зданию филармонии, где был установлен гроб с телом Павла Петровича Бажова. Несмотря на ранний час, здесь было многолюдно. Каждую минуту в вестибюль вносили все новые и новые венки. А возле здания уже скапливалась очередь свердловчан, пришедших проститься со своим любимым писателем.

Пожилая женщина с заплаканным лицом принесла бережно укутанные живые цветы — несколько красных домашних роз. Она просила, чтобы их положили на гроб Павла Петровича.

...В зал вливался поток людей — это были посланцы школ, заводов, колхозов, институтов. Они вносили

венки с развевающимися траурными лентами. Их лица выражали глубокую скорбь и боль утраты.

Наступил час похорон. Медленно падая, кружился неестественно-крупный, лепестковый снег. Траурная процессия растянулась почти во всю длину улицы Ленина. Вначале несли венки. Их было много. Целая река цветов медленно и торжественно текла по запорошенной снегом улице. За гробом Бажова шли десятки тысяч людей. Из переулков, как ручейки в могучий поток, вливались новые толпы провожающих. Если бы не разрывающие сердце звуки шопеновского марша, не траур на склоненных знаменах, не скорбно сомкнутые уста людей, можно было бы подумать, что идет демонстрация. Так могуче было это народное шествие. Урал провожал в последний путь своего замечательнейшего певца.

Навсегда и всем поколениям оставил Бажов свою «Малахитовую шкатулку». Открой ее и увидишь, как искрится, как сверкает драгоценными гранями живое, немеркнувшее бажовское слово.

...Годы смягчают боль утраты. Жизнь Павла Петровича Бажова вступила в новое, не подвластное смерти измерение. Это — благодарная и благородная память народа, ревностного хранителя всех подлинных сокровищ.

Все это так. Но вот недавно, во время Дней советской литературы в Свердловской области, с группой товарищей я побывала в Доме-музее П. П. Бажова.

Музей открыт давно, еще при жизни верной спутницы Павла Петровича, обаятельной и гостеприимной Валентины Александровны. Но случилось так, что в музее я оказалась впервые. И боль, живая, горячая боль захлестнула меня с такой же горестной силой, как много лет назад, в минуты скорбного прощания.

Я все время оглядывалась, словно ждала, что вот откроется дверь его кабинета, и нам навстречу выйдет Павел Петрович, и приветливо пригласит:

— Проходите, гостями будете!

Такое же чувство я испытала вскоре и в Магнитогорске, при посещении квартиры-музея большого русского поэта и давнего моего товарища Бориса Ручьева. Эти два впечатления сплавились в одно и стали сти-

хами, которыми я и завершаю странички своих воспоминаний об удивительном, неповторимом писателе и редкостном гармоническом человеке Павле Петровиче Бажове...

В МУЗЕЕ

В этом доме жил друг.
А теперь здесь музей.
О, как тесен стал круг
Наших старых друзей...
Миновав коридор,
Я спешу в кабинет.
Тот же стол и ковер.
Тот же шкаф и портрет.
В ореоле седин
Входит друга жена.
Через стекла витрин
Вижу я ордена.
Пожелтый дневник.
Письма.
Горный кристалл.
И собрание книг,
Тех, что друг написал.
Я твержу наизусть
Его песен слова.
Потеснив мою грусть,
Жизнь вступает в права.
Каблуков легкий ступ —
Входят люди в музей...
Расширяется круг
Вечной славы друзей!

Москва, 1952—1976



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК



ДОЛГОВЕКИЙ МАСТЕР¹

ДОБРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Наша полусамодетельная редакция ежедекадного сборника-пособия для коллективов живых газет «ЖТГ», или «Живая театрализованная газета», перебиралась из Перми в новую столицу Уральской области — в город Свердловск. Это было в 1929 году. Я еще не износил студенческих башмаков и очень гордился занимаемым постом редактора «ЖТГ».

В Свердловск мы переезжали не потому, что разлюбили выучившую нас и поставившую на ноги Пермь. Как можно разлюбить, когда она в крови, в юности, в первых публикациях, но Пермь в те не очень блистательные для нее годы перешла сначала на положение окружного города, а затем и... районного. Любили мы или нет бывший уездный город Пермской губернии Екатеринбург, оставим за полями этой стра-

¹ Главы из книги печатаются в сокращениях по изданию: Евгений Пермяк. Долговекий мастер. О жизни и творчестве Павла Бажова. Москва, «Детская литература», 1974.

ницы. Екатеринбург был назван Свердловском и провозглашен столицей Урала, стремительно меняющей свой облик.

Пермской «ЖТГ», ставшей уже всеуральским «центром» так называемого в те годы «живгазетного движения», необходимо было и территориально находиться в центральном городе Уральской области. В Свердловске.

Здесь издавалось много газет: «Уральский рабочий», «Крестьянская газета», «На смену», «Сабан эм Чукеч», «Всходы коммуны»... Здесь были литературные журналы, было книжное издательство, была, по тем временам, и значительная полиграфическая база.

Это был стремительно растущий, большой город.

Номера сборников «ЖТГ» выходили в красочных, привлекательных обложках. Однако же под многообещающими обложками скрывались произведения очень скромного литературного достоинства.

Три номера журнала в месяц, авторов же меньше, чем пальцев на руках. Мы не успевали писать театрализованные передовицы, фельетоны, инсценированные статьи на тему текущей жизни и сенсаций дня, разыгрываемые в лицах.

«ЖТГ» нуждалась в творческой помощи и заботливом шефстве. И мы все это неожиданно нашли в организации, имевшей к нам косвенное отношение. Сочувственный редактор пионерской газеты «Всходы коммуны» Саша Козлов посоветовал мне познакомиться с Бажовым.

— Бородатый такой,— сказал он мне. — Как войдешь, не спутаешь. Один с бородой.

Бородатых тогда было очень мало, а в советских учреждениях почти не было их. И я сразу увидел нужную мне «бороду».

Я назвал его и услышал в ответ:

— Очень приятно... Бажов!

Я познакомился с любезным, мягким, располагающим к себе человеком лет пятидесяти. Я встретил не просто «указчика» на наши недостатки, каких было больше, чем недостатков, а доброго советчика. Я нашел больше, чем хотел. Чем мог ожидать.

Товарищ Бажов (так и только так я тогда называл его) терпеливо и деликатно раскрывал изъяны тех

строк, в том числе стихотворных, которые нуждались в ласковой руке учителя, а не в надменном перечеркивании хорошо начатого, но плохо выношенного. Темпы же! Сегодня случилось, а завтра заверстывай в номер!

Мой новый знакомый не просто разбирался в стихотворных строках, но и умел выправить их. Тут же, за столом, не давая высохнуть своему перу.

Это был уже клад! Самородная россыпь недостающих слов, нужных синонимов, выразительных эпитетов. И когда подписанное мною в набор товарищем Бажовым в значительной части переписывалось... притом в нескольких вариантах... это уже был не только клад, но и чудо!

Не принадлежа к людям, умеющим рассыпаться в благодарностях, за что я всегда страдал и страдаю, я и на этот раз не сумел выразить товарищу Бажову глубочайшую признательность, переполнявшую меня. Но мне кажется, что чуткий Бажов, читая не только написанное мною, но и меня, не нуждался в словесном переводе моих чувств к нему. Он знал о них.

Бажов тогда учил меня стилистике, неизвестной мне риторике, искусству отбора слов, отличия слова «звучащего» от слова «начертательного». Что было особенно важно в живой, слушаемой со сцены, а не читаемой газете.

Временами он казался мне педагогом, и я думал: «Вот такого бы в университет, уж он бы выучил». И вообще Бажов, его знания, его интеллигентность, культура речи изобличали в нем преподавателя высшей школы, профессора, магистра, а внешность?.. По внешности его можно было принять за земского деятеля, землемера, ветеринарного фельдшера прошлых лет, за учителя рисования заштатного училища, только не за того, кем он был. А был он тогда журналистом, литературным работником, редактором.

Ну, посудите сами... Во-первых, борода. Пусть каштановая, шелковистая, хорошая борода... Но тогда в советском учреждении бородатого, как я уже сказал, было встретить так же трудно, как девушку с косами. И сама по себе борода была если не признаком

старого режима, то его пережитком. Да и усы тогда были редкостью.

А одежда Бажова? Блуза, подпоясанная широким ремнем. Рабочая кепка. Брюки, заправленные в сапоги. К этому же невысокий рост, маленькие ручки, маленькие ножки и большая, красивая голова с высоким лбом. Его широко разрезанные глаза заставляли вспоминать известный портрет композитора Мусоргского. Глаза светились бирюзой. Они излучали доброжелательность. Они были отечески, покровительственно насмешливы. Смеяться им, читающим наши материалы «ЖТГ» перед сдачей в набор, было над чем.

Товарищ Бажов ко всем прочим его достоинствам оказался еще и музыкальным человеком. Дело в том, что театрализованный материал, предназначенный для исполнения коллективов живых газет, не только читался, но и пелся. Пелся на широкоизвестные мелодии: мелодии русских песен, арий, опереточных куплетов, романсов и т. д. В тексте мы указывали в скобках: на мотив такой-то. И не всегда этот мотив соответствовал тому, какое действующее лицо и что исполняет. Бажов не упускал и этой подробности.

— Зачем петь такие серьезные слова на пошлый мотив «Пупсика», разве мало мелодий на этот размер? Вот послушайте...— И он принимался тихо напевать написанное на иную, более или вполне соответствующую мелодию.

Знакомство было недолгим, но запомнившимся. Я тогда не удосужился узнать его имя и отчество, да тогда и не было принято называть полным именем официальных лиц. Я не знал, где товарищ Бажов живет, какое у него образование... Я понял только, что это безусловно хороший человек. Таким он и запомнился.

Фамилия Бажов негаданно-нежданно возникла через десять лет на обложке очаровавшей меня книги «Малахитовая шкатулка».

— Неужели это мой добрый знакомый?

Нет, этого я не допускал. Не допускал, но не переставал думать: а вдруг да?.. А вдруг?

Вспоминая подробности десятилетней давности, я, может быть, продолжил бы свои размышления, если бы зашипевшие тормоза вагона не вернули меня в текущий тысяча девятьсот сороковой год на перрон станции Свердловск, где меня встречали товарищи из областного отделения Союза писателей. Ведь я же был не просто приехавшим в творческую командировку, а, можно сказать, «представителем из центра», с «мандатом», подписанным самим Александром Александровичем Фадеевым. Он, командуя тогда меня, поручал:

— Познакомьтесь, как живут ваши земляки, что мешает им в работе и что, на ваш взгляд, необходимо сделать и чем помочь организации.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ

Выполняя московское поручение, я должен был побывать у Бажова и познакомиться с ним. Для прогляда на будущее. Мне хотя и не сообщали о сути этого прогляда, но я догадывался о ней.

Павел Петрович пригласил меня по телефону к завтраку. Мне хотелось, чтобы его голос оказался знакомым. Но голос ничего не сказал. Десять лет — это десять лет.

От центра до улицы Чапаева довольно далеко. Трамвай тогда в Свердловске был самым распространенным городским транспортом. Не скорым, зато приятным.

Трамвай шел довольно долго. В эти часы, когда схлынула волна едущих на работу, вагоны безлюдны.

От остановки трамвая до дома Павла Петровича длинный квартал. У меня было время еще раз перепроверить те добрые и, может быть, несколько «фанфарные» слова, которые я вез из Москвы, чтобы сказать при встрече с Бажовым. Но все они тотчас проглотились, как только на пороге бажовского дома я увидел отворившего мне входную дверь своего старого знакомого. У него было все тем же и все то же. И голубая тишина глаз. И большой, высокий лоб. И все еще пышная, хотя и побелевшая борода.

— Это вы, товарищ Бажов?

— Это я, товарищ Же-Тэ-Ге...

И мы обнялись...

Десять лет — небольшой срок, но когда человеку нет сорока, это четверть его жизни, а если принять во внимание, что до десяти лет он еще только становился человеком, то это треть прожитого.

Так много нужно было сказать, и не с чего было начать. Не с погоды же... Начали с дома Павла Петровича.

ДОМ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА

Дома всегда выражают внутренний мир тех, кто их строил, вычерчивал, планировал.

Дом Павла Петровича был его детищем учительской поры. В доме нет рамы, двери, не говоря уже об остальном, что можно было бы назвать пришлым, случайным, а не рожденным воображением, вкусом, потребностями, наконец, молодого Бажова.

Дом строился (об этом я узнал позднее) на учительские деньги и кредиты, предоставленные частными лицами. Дом прост. Бревенчатые, неоштукатуренные стены. Сравнительно высокие потолки. Высокий фундамент, так как строение возведено на сырой, бывшей Болотной улице, не случайно получившей это название. Его планировка разумна. Все четыре комнаты имеют самостоятельные двери, и только одна из комнат, позднейшего происхождения, не изолирована от других. Здесь все целесообразно и продуманно.

Пройдя в комнаты, я как будто вошел в дом моей тетушки, где прошла часть моего детства. Все то же. Все то же, и даже запах. Те же фasonsы и цвет стульев, рамы, зеркало, комод и накомодное убранство, дощатый пол, «покрой» дверей, кухонная печь, только нет керосиновых ламп, замененных электрическими, да стоит необычная для глаза конторка, за которой в молодые годы Павел Петрович писал стоя.

С этого все и началось... Перекинулись какие-то незримые мостики, «сработало какое-то словесное реле», и я заговорил в той же особой уральской манере, в какой говорил до переезда в Москву, где старательно

терял то, что в моем языке и наречии выдавало мою «географическую принадлежность».

В «Малахитовой шкатулке» я нашел слова, которые казались умершими навсегда, и даже казалось, что их не было, а теперь они не только читались, но и слышались в разговорной речи.

Павел Петрович становился мне ближе, дороже, понятнее через подробности уклада жизни, через вещи и убранство комнат, через все, что, казалось бы, жило порознь, но продолжало и выражало живущих в этом доме.

Как-то не принято говорить о любви одного мужчины к другому, хотя этим так часто злоупотребляют в поздравительных письмах и особенно дарственных надписях на книгах.

Павла Петровича я безудержно полюбил с этой встречи. И он... Он тоже, как мне показалось, проявил ответные симпатии. Об этом говорили его кроткие глаза, его мягкий голос и его второе «я» — его жена Валентина Александровна. Но, может быть, мне так показалось. Может быть, я этого хотел и поверил в желаемое. И если это так, то все равно я был счастлив в это утро. Иногда и стены отражают твои же чувства, а ты думаешь, что они излучают — свои, и от этого становится теплее.

А стены бажовского дома излучали тепло. В этом меня никто не разубедит. И если их тоже нагрело мое воображение, то я благодарен ему.

Но воображение воображением, а действительность действительностью.

Павел Петрович выглядел человеком простым, общительным, откровенным, уступчивым, мягким, охотно рассказывающим о себе.

Таким он не только выглядел, а и был. Но все эти его отличные черты знали свою меру, свой предел.

Его простота никогда не переходила в простоватость и тем более в упрощенность. Уступчивость — в угодливость, мягкость — в бесхарактерность. Как и любовь к рассказыванию не превращалась в многословие.

Прирожденный, нутряной настрой характера, поведения и поступков Павла Петровича сочетались в гармоническую цельность его внешнего облика и внутреннего мира. Мира богатого по его многообразию и слож-

ного по духовному его устройству. Хочется сказать: сложного и трудного по его духовной композиции.

Такой была и его жизнь. Сложная и трудная, не ба-ловавшая Бажова своими щедротами, не мостившая ему гладких дорог.

Павел Петрович и в эту солнечную для него осень 1940 года жил трудновато. Это было видно по всему, хотя бы по той же его «парадной» темно-синей блузе, которая была перешита его женой из ее зимней суконной одежды.

Материальная стесненность чувствовалась и в том, что было подано на стол. И не только это подтверждало древнейшее изречение о пророках, переделанное нашими бабками на новый лад: «В своей деревне красавиц не бывает, а в чужой — и конопатая девка царевой цветет».

Бажов, не в этот день, а спустя годы, заметил мне: «Репины всегда приходят из Чугуева».

Что верно, то верно. Однако в Чугуеве Репин не мог стать тем Репиным, которого узнал мир, а затем узнал и Чугуев.

Голос Бажова в Свердловске зазвучал сильнее и шире, как эхо из других малых и больших городов, и, конечно, из Москвы. Когда я приехал в Свердловск, «Малахитовую шкатулку» еще можно было купить в книжных магазинах. В Москве же ее дарили как редкий отечественный сувенир именитым зарубежным гостям и дипломатам.

В Свердловске, распродав «Шкатулку», пока и не помышляли о переиздании, тогда как в Лондоне предприимчивый книгоиздатель Хетчинсон готовил перевод «The Malachite Casket» на английском языке.

Об этом я не знал тогда, но и в тот день, 10 сентября 1940 года, было ясно, что, пригласив меня к завтраку, мне оказывает честь большой писатель, который и в десятую долю не осознавал своей величины. Высоко и по-настоящему изнутри одаренные люди об этом всегда узнают позднее других. Только прошу вас, не подумайте, пожалуйста, что я приписываю себе приоритет открытия Бажова на небосводе литературы, как новой значительной звезды, хотя я думал именно так. Наверно, я так думал потому, что верил другим, кому нельзя было не верить, кто в один голос называли

«Малахитовую шкатулку» большим событием в литературе.

Убеждать Павла Петровича в этом значило бы обидеть его и при этом выглядеть неумеренным льстецом, развязавшим язык после второй рюмки водки. Иных вин, к слову говоря, Павел Петрович не пил, памятуя шуточный отцовский наказ: «Павел, если будешь выпивать, то пей только водку, потому что все другое подкрашенная, изгаженная и удороженная она сама...»

Мы были верны процитированному и не оскверняли памяти предков иными напитками. Разговор зашел — кажется, завел его я — об инсценировании какого-то из сказов. «Малахитовая шкатулка» была уже инсценирована, поставлена и не стяжала на сцене, по сравнению с перевозданным, больших лавров. Мне хотелось взять что-то другое, если не изменяет память, сказ «Ермаковы лебеди», что и было сделано впоследствии.

А потом мы обменялись подарочными книгами.

Павел Петрович вручил мне уже знакомую по Москве книгу «Малахитовая шкатулка» из тех первых «штучных» экземпляров, которые были переплетены особо и представляют теперь библиографическую «антикварность». Он сделал лестную для меня и обнадеживающую надпись:

«Евгению Андреевичу уповательно, что дальше установится связь не такая мимолетная, а плотная, по совместной работе. Да?

10/IX—40 г.

П. Бажов».

В тот же день я был интервьюирован редактором газеты «Уральский рабочий» Иваном Степановичем Пустоваловым. Предполагалось дать беседу о встрече с Павлом Петровичем. Я предложил начатую статью, которую дописал, скажем точнее, — написал заново, там же, в редакции.

На другой день, 11 сентября 1940 года, моя статья появилась в номере.

Спустя тридцать два года я перечитал ее и убедился, что эту книгу я начал писать еще в 1940 году, ра-

зумеется и не предполагая, что одной из ее глав станет моя газетная статья. В ней я кое-что преувеличил для тех дней, свято веря, что еще не происшедшее обязательно и всенепременно произойдет. И оно произошло.

Мне так приятно сейчас блеснуть перед вами своим предвидением, однако сожалею, что в редакции мое название статьи — «Встреча с волшебником» — нашли излишне восторженным и заменили достаточно ординарным «Встреча с писателем», повторявшимся в том же «Уральском рабочем» не один раз, а в печати вообще неисчислимо. Но было уже поздно спорить. Когда номер в стереотипе, то только стереотипные простакки могут надеяться на смягчающую переотливку редакционного исправления. Редактор еще до сдачи статьи в набор соглашался со мной.

— Бажов, бесспорно, наш уральский женьшень, и надо об этом так и сказать, именно так, — говорил он, вычеркивая из рукописи статьи именно эти слова, — но сказать, понимаешь, в другой газете, а не в нашей, уральской, чтобы не дать повод для всякого рода кривотолков, ненужных противопоставлений и прочего... Ну, да ты знаешь сам и правильно пишешь о нехватке дерзаний и свежести, — сказал он, вычеркивая и эту фразу. — Она, понимаешь, прозвучит очень свежо, но не в нашей газете...

Приводя на этих страницах статью тридцатилетней давности, я почти ничего не изменяю в ней ради угоды времени и в ущерб доподлинности атмосферы тех лет, исправляя в ней только явные опечатки и сокращая мимоходное.

Вот эта статья из газеты «Уральский рабочий» от 11 сентября 1940 года.

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

Есть встречи, о которых хочется рассказывать.

На углу улиц Чапаева и Большакова стоит старый, кряжистый дом, срубленный из сосновых бревен лет сорок тому назад. Дом старится, но он еще крепок. Правда, трехскатная лестница входной двери, видевшая много дождей и ног, просела. Время иссушило и

выветрило конопатку. Короче говоря, дом этот крайне нуждается в руке ремонтных рабочих.

Распорядок домика напоминает обзаведение, типичное для жилья уральского рабочего справногo достатка. И сам его хозяин напоминает многие портреты почтенных уральских мастеров-старожилов. Глядя на него, невольно думаешь: «Где я его видел?» И вспоминаются старые заводские знакомцы по сю и по ту сторону Уральского хребта.

С Павлом Петровичем Бажовым мы встретились добрыми знакомыми. Меня провели в рабочий кабинет. Книги, рукописи и наброски, снова книги и рукописи. Павел Петрович трудится каждодневно. Это прекрасное качество писателя-профессионала.

Пришедший впервые в дом невольно оглядывает обстановку, вещи и все, что доступно глазу. И глаз видит, что все окружающее писателя является как бы продолжением или составной частью его личности. Возьмете ли вы оконные некрашенные рамы — они не покрыты краской потому, что Павел Петрович не считает нужным прятать затейливое древесное естество, уже получившее необходимую для него олифу. Возьмете ли вы мичуринскую яблоньку, гнущуюся за окном под плодами, — она посажена для того, чтобы молча говорить: «Сажайте яблони на Урале, они приносят плоды». Возьмете ли вы каслинскую чугунную табакерку 1903 года — в ней целый рассказ и жалоба на то, что изумительное и единственное в мире по тонкости литье, которое можно сравнить разве только со смежным искусством палехского письма, утрачивается.

Разумно и литературно живут в этом доме вещи. Тысячи невидимых нитей связывают этого человека со всем, чем жил, живет и будет жить наш Урал.

Эти нити тянутся на заводы, к старателям, к гранильщикам, камню-змеевику, к старым, заброшенным и вновь возрожденным шахтам листовничного крепления. Нет, кажется, ни вопроса, ни темы, ни отрасли, которые бы кровно и живо не интересовали этого писателя.

Надо родиться на Урале и прожить столько лет, чтобы так его знать и так его любить. В самом деле,

разве не любя можно создать такую волшебную «Малахитовую шкатулку»?

Большую, тугую котомку революционного опыта, доверху наполненную знаниями, бесценными изумрудами и золотым песком сверкающих слов, старательно намытых из народного языка Урала, несет писатель Бажов через жизнь.

Хорошая, благородная зависть загорается в человеке, слушающем рассказы и планы Павла Петровича...

Талант Павла Петровича цветет буйно, решительно и молодо. Его произведения за короткий промежуток времени стали достоянием широкого читателя. Павел Петрович — сверкающий самоцвет литературного Урала. И едва ли не через него одного из ныне живущих в Свердловске писателей уральская тема доносится до широкой читательской публики СССР. Та же «Малахитовая шкатулка», живя книгой, изданной в Свердловске, переиздается в Москве. Перевоплотившись в пьесу, она рассказывает зрителям о сказочно богатом Урале. «Малахитовая шкатулка» будет жить и цветным фильмом. Всесоюзный комитет по делам кинематографии обратился к Павлу Петровичу за разрешением на экранизацию этого замечательного уральского произведения. Киноискусство понесет сказы об Урале средствами, доступными для людей, не знающих русского языка, далеко за рубежи нашей Родины.

Большие писатели нередко создают большую славу своим краям. Павел Петрович много сделал и еще делает для области. Кедр, как говорится, с осинкой не спутаешь и с липой тоже.

...Нельзя не кивнуть в сторону Свердловского отделения Союза советских писателей. Там возникла версия о том, что, мол, Павлу Петровичу надо писать и нельзя, мол, этого ценного человека загружать работой по руководству писательской организацией.

Побудьте день в квартире этого человека, и вы увидите, кто душа уральской литературы. Кому несет первые робкие пробы пера литературная поросль? К кому приходят художники с эскизами своих будущих полотен? Кто ведет огромную переписку? Павел Петрович и сейчас общепризнанный руководи-

тель литературной организации свердловских писателей.

Руководить писательской организацией не значит просиживать обивку кресел на заседаниях отделения Союза писателей. Час, проведенный полезно, часто дает литературе больше, чем месяцы бесплодных заседаний. Этот вопрос тоже не требует доказательств и дискуссий. Мы его коснулись только потому, что он невольно приходит в голову, когда сидишь в кабинете Павла Петровича, слушаешь его и учишься у него. А учиться есть чему.

Приятно быть лично знакомым с этим человеком и, более того, жить с ним в одном городе.

ПАМЯТНАЯ КОПИЛКА

Про писательскую память кто-то сказал, что она является главной кладовой литературного таланта. Павел Петрович обладал невероятной памятью. Начиная с имен и отчеств третьестепенных знакомых, кончая датами, местами действия, множество событий хранилось в большой бажовской голове, как в хорошо организованной картотеке.

Но все же, будто не надеясь на себя, будто боясь потерять дорогое для него, Павел Петрович пользовался вещичками-памятками.

Например, я как-то заметил у него на столе окрашенную бабку-панок, или биток, как называют уральский панок игроки в бабки Средней России.

— А это зачем у вас красуется на столе? — спросил я.

— Для упрёка. Тысячу лет собираюсь пересказать одну детскую историю и все откладываю. А панок каждый день упрёкает меня в этом.

Примерно так ответил тогда Павел Петрович. И вскоре я узнал, что не один панок, а другие безделушки-памятки, вещицы-ассоциации бережно хранились в его рабочей комнате. Они как бы составляли памятную вещевую копилку замыслов, копилку подсказок о ненаписанном. И до последних дней Павел Петрович любил привозить из поездок различные «пустяковины», вплоть до стальной капли — «остывшей брызги» — из мартеновского цеха.

В этом сказалась какая-то древняя черта стариков помогать памяти хранением «всякой всячины», иногда самой неожиданной.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

В военные годы в Свердловске картофель сажали все, кто мог. Бажовы тоже сажали его у себя в огороде и на загородном участке. Там им отводили несколько соток.

Когда бажовская семья собиралась на посадку картофеля, вооружившись лопатами и нагрузившись мешками, я сказал Павлу Петровичу:

— Неужели вам со своего огорода не хватает картофеля?

— Хватает. Даже гостей кормить остается.

— Тогда для чего же вы берете еще загородный участок?

— Жадность одолевает...

— Да ну вас, право... Только силы тратите. Опять ведь выкопают ваш урожай, как в прошлом году, и оставят вам одну ботву.

— Непременно выкопают. Все до последней картошечки унесут.

— Так зачем вам это все надо?

— По неосознанности. Умный человек правильно рассудит, а я могу рассуждать только по-своему.

— То есть? — спрашиваю я.

— Я так думаю, что мою картошку и этой осенью не оккупанты выкопают. Свои люди ее съедят... И она, так сказать, с картофельного баланса Свердловска никуда не денется... Значит, я при всех обстоятельствах и в этом году буду участвовать в улучшении нашего картофельного баланса... И вам советую сотку-другую посадить. Не для воров, а для картофельного баланса.

«ЕЛКА МИТРИЧА»

Зима 1941/42 года была холодная даже для Урала. Холодная и не то что голодная, но все же не очень сытая. Трудное было время. А елку справить хотелось. У Павла Петровича внук, и у меня две дочери.

Одна еще была тогда дошкольницей. А другая тоже пока еще не вышла из елочного возраста. И последняя дочка Бажовых Ридочка не прочь была зажечь елку.

Елку решили соорудить в бажовском доме, там же и встречать Новый год. Елочных украшений оказалось не густо. Но разных типографских бумажных обрезков, картинок можно было набрать достаточно.

Сложнее оказалось сервировать новогодний стол. Семеро Бажовых, четверо нас — итого одиннадцать ртов. Взрослые уже научились есть умеренно, а как это внушить детям? Они не знают лимита за столом. Кое-что наменяли на рынке, где неусмиримо взбесились перед праздником цены на все съестное и особенно — сопутствующее ему. Кое-что выдали в «лимитном закрытом распределителе».

Завязка торжества заключалась в доставании елки. Они были на рынке, но плата? Чуть ли не буханка хлеба...

Главными деньгами того времени были тогда три вида устойчивой «валюты»: буханка хлеба, чекушка водки и пачка табака. Это все у нас хотя и ограничено, но было. А как расстаться в новогодний вечер с тем, что размерено до куска и до глотка?

Решили елку добывать, по совету Валентины Александровны, прямым и коротким способом — в лесу.

Лелечка, старшая дочь Бажовых, и я отправились по старой Уктусской дороге. Холодно было так, что трудно дышать. А елку вырубил. Доволокли. Втащили!

Дома у Бажовых и «ура», и рукоплескания, и визг, и поцелуи. Шквал восторгов, и как никогда — теплынь.

Бажовский дом в те годы был холодным. Воробьи поработали достаточно для того, чтобы освободить пазы бревен дома от излишней пакли. Да и время сказывалось. Кое-где просели углы.

Павел Петрович ради Нового года истопил печи собственноручно, на «тысячу двести пятнадцать про-

центов», как он рапортовал нам, вернувшимся с елкой.

Он встречал нас в передней, приложив к несуществующему козырьку руку, и докладывал:

— Истопник Бажов спалил недельную норму березовых дров и двухнедельный запас до единого соснового полена. Как жить будем, неизвестно, а теперь снимайте валенки.

В комнатах пахло жареным. Значит, достали мясо. Валентина Александровна, счастливая, сияющая, в светлом платье (темные платья Бажов запрещал носить своей жене: «Находишься еще в черном. Надоест»). Разрумянившаяся возле русской печки, она шепнула мне:

— Добавочную сегодня выдали.

Пока елка оттаивала, ребят выгнали в детскую. А потом началось украшение. Украшали все. Кто чем мог. Даже, кажется, старые открытки повесили. Все-таки красочное пятно. А Павел Петрович, стилист и литературолоб, повесил на ниточках несколько кружочков копченой колбасы, подаренной Мариэттой Сергеевны Шагинян, и «чекушку» (то есть четвертинку) водки.

— Теперь в полном смысле «Елка Митрича», — сказал он.

Я не знаю, помните ли вы старинный хрестоматийный рассказ о старике Митриче, устроившем своему внуку елку. Митрич повесил тогда на ее ветки шкалик водки и кусочки колбасы.

Нам всем хотелось веселого вечера. А когда хочется веселиться, веселье приходит даже по незначительному поводу.

Главным режиссером веселья в этот вечер была Валентина Александровна и при ней два артиста — Вова и моя младшая дочурка Ксения.

Их в течение вечера, под «идейным» руководством Павла Петровича, переодевали раз пятнадцать. Эти два очаровательных артиста выходили танцующей парой то под испанцев, то под украинцев, то под... неизвестно кого, в прабабушкиных кружевных панталонах и в дедушкиных рубахах.

Павел Петрович хохотал до кашля, до слез, требуя бисировать танцевальные номера. Дети, воодушевлен-

ные успехом, теперь уже не только танцевали, но и пели невообразимое:

Мы кармены... Мы вдвоем.
Мы танцуем и поем.

Потом «двух карменов» трудно было уложить спать. Они требовали зрелища и оваций.

Павел Петрович танцевал в этот вечер «Барыню»... Будто иронически, будто для детей, будто снисходя, танцевал он все же отлично. Чувство меры, чувство тональности, иронического ключа делало танец очаровательным, не умалявшим ореола — старейшего и почтеннейшего среди остальных.

Может быть, глава об этой елке тоже ни к чему, но ведь П. Бажов был не только писателем, общественным деятелем, но и весельчаком, затейником, любящим отцом и ласковым дедом, нежным мужем и великолепным товарищем.

Не за одну же «Малахитовую шкатулку» любили мы его все. Он сам был шкатулкой, неиссякаемым волшебным ларцом, наполненным всем тем, что не чуждо живому, жизнелюбивому человеку.

Бажова я почти не помню угрюмым...

УМОЛКШАЯ МИРОВАЯ СЛАВА

Табакерка-махорочница представляла собой отлитую из тонкого, мелкозернистого чугуна коробку с «заполуваленными» кромками и углами.

На крышке табакерки чуть больше спичечной коробки старого формата отлит известный лермонтовский сюжет обольщения Тамары Демоном. Он, привиденчески бесплотный, с крыльями, на которых заметны перья, с выражением лица, характерным для аборигенов ада, как бы находится на втором, потустороннем плане. Она же отлита рельефно-земной, не лишенной некоторой соблазнительно-греховной полноты, в заманчиво тонких одеждах, предстает на первом плане крышки табакерки в таких подробностях и деталях, что только разве ковкое золото могло запечатлеть эту мини-миниатюру.

Часто эта табакерка служила поводом для рассказов о Каслинском заводе, Златоустовском заводе и по-

добных им. Я о них знал и раньше, но что? Да ничего. Я знал, что оба они находятся на Южном Урале, один льет чудеса из чугуна, другой делает отличные ножи и вилки.

Я видел клодтовских коней, что на Аничковом мосту в Ленинграде, отлитых в уменьшенно-настольном виде так, что у коней виден волосяной покров. И в этом не натуралистические изощрения, а изыск жанра тонкого литья. Павел Петрович расширил мои познания, и я стал знатоком, хотя и дилетантом, волшебного каслинского искусства. Бажов говорил:

— Каслинские литейщики в форму льют чугун, а он остывает серебром. И это я не для красного словца говорю.

И далее подтверждения: тяжеленькая чугунная табакерка с Тамарой и Демоном на крышке стояла в Париже дороже, чем такой же по весу серебряный портсигар, а чугунные колечки, брошки-сережки и «прочий женский убор» чуть ли не приближались к золотым. Изыск!

Говоря о заводе, Павел Петрович часто упоминал имя каслинского мастера скульптора-самоучки Василия Торокина, рассказывая о его литье, рассказывая как будто обычно, на самом же деле «репетируя», он проверял на мне сказ, который потом был назван в честь скульптуры Торокина, изображающей старуху, — «Чугунная бабушка».

Сказ начинался почти так же, как рассказывалось мне о заводе:

«Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один ровень не поставишь».

Я тогда, помню, скаламбурил: «Вот и отличи у вас, Павел Петрович, где художественная литература, где художественное литье. Недаром три первые буквы общие». Сказ впервые был опубликован 8 февраля 1943 года в газете Карельского фронта «В бой за Родину». Казалось бы, совсем вдали от Москвы, а стал сразу же известен и перепечатывается.

Восславив сказом Каслинский завод и его мастеров, Бажов с горечью узнал, что вместо художественных изделий завод отливают... мясорубки.

С одной стороны, война, и как будто не до ювелирных изделий. Это верно. Верно и то, что кто-то должен отливать для тыла мясорубки. Но после того, как война завершилась, оказалось множество литейных цехов, а Каслинский завод продолжал лить мясорубки.

Начались письма, ходатайства, а Каслинскому заводу не возвращали его искусство. Нашлись болельщики и защитники, кроме нас. Одним из таких был Николай Николаевич Серебrenиков, высоко чтимый Бажовым и вызывающий мое поклонение его настойчивости, терпеливости, которым обязан научный подвиг.

Это он, Николай Николаевич Серебrenиков, создал первый и пока единственный музей культовой народной деревянной скульптуры. Это он на западных склонах Урала разыскал в селениях северного Прикамья десятки резных и раскрашенных Христов, а затем и резных богородиц, Магдалин, «Миколаев-угодников» и опубликовал об этом книгу, разошедшуюся молниеносно по странам света.

Книга и собрание «пермских богов» потрясли наркома просвещения А. В. Луначарского в бытность его в Перми. Я помню, как восторгался Анатолий Васильевич и как благодарил Серебrenикова. Это было в середине двадцатых годов. Теперь шло начало сороковых, и Серебrenиков продолжил свое ратование за народное искусство Урала.

Вот что пишет Павел Петрович об этом мне в Москву:

«Вчера — 1 апреля — слушал доклад Н. Н. Серебrenикова «Искусство Урала». Вы ведь знаете, Серебrenиков тоже принадлежит к числу дорогих сумасшедших¹. От Вас разнится тем, что закрышка другая. Вы широкий открытый сосуд, который дает огромное количество энергии в пространство. Кого эта энергия заденет, тот может легко отмахнуться: что Пермь с Бажовым в этом деле понимают? Писатели! Серебrenиков — сосуд, конденсирующий энергию. И вот вчера он почти два часа держал советскую общественность

¹ Имеется в виду старый анекдот о «миленьких сумасшедших».

Свердловска под действием этой конденсированной энергии. Жарко всем стало.

Говорил как будто об очень далеких вещах: об иконах строгановского письма, о деревянной скульптуре, об архитектуре заводских сооружений и поселков, о чугунном литье Кувы, Кусы и Каслей, о гранильном и камнерезном искусстве, ни разу никого ни в чем не укорил, но всем стало стыдно...

...По литейному делу Серебренников оказался тоже очень сведущим, без узости местного патриотизма.

Рассказав об опытах разных заводов, он пришел к выводу, что только Касли смогли дать высокие образцы литья. Причина оказалась не изученной и на сегодняшний день, но факт остается фактом. Недавняя попытка скульптора Камбарова с помощью двух каслинских литейщиков сделать отливку на Уралмаше показала, что дело не только в опыте литейщиков, но и в формовочных песках, и в качестве чугуна, и в древесноугольном способе его изготовления. Словом, темное, неизученное место.

Как видите, по поводу Вашего письма все-таки беспокоюсь. Задела капелька паров из открытого сосуда.

Разве это плохо?

Ну, будьте здоровы. Привет Марии Степановне и ребятам. Чтобы не было повода сослаться на неполученные письма, посылаю это заказным. Только Вы его как-нибудь прочитайте. Иначе вовсе обидно — мазать по бумаге ни для кого. 2 апреля 44 г.»

Это письмо не только прочиталось и перечитывалось, но и не забылось, запав в память и душу, а затем продолжилось статьей о Каслях, которую писал я, но моей рукой, кажется, водил Павел Петрович.

А было это так.

После того как не без усилий и авторитета Павла Петровича Каслинскому заводу вернули его художественное литье, писатель Юрий Хазанович привез мне из Свердловска каслинские настольные часы. Эта тяжеленная отливка, 10 килограммов и 560 граммов, представляла (и представляет) собой две ростовые фигуры — Данилы-мастера и Медной горы Хозяйки. Чугунное литье, может быть, и не сердило бы при

взгляде на него, если б оно было сделано на каком-то другом заводе, а не на Каслинском, овеванном славой изготовления миниатюр и увенчанном первоклассным сказом Бажова. Он-то, его голос, его любовь к Каслям, его опасения, что «мясорубочный затянувшийся антракт» прервет нить преемственности мастерства, заговорили во мне. И мне показалось, что так и случилось. Когда я вспоминал Тамару и Демона, уместившихся на крышке табакерки, и смотрел на эту почти полуметровую, грубоватую, чуть ли не пудовую поделку, ненаписанное письмо Бажова разговаривало со мной:

«Что же вы так равнодушно смотрите и годами терпите это крупномасштабное отклонение от тонкой прелести дедовских ажурных сувениров на века».

Этот разговор стал невыносим, и я опубликовал в «Правде» критическую статью «Касли», которая, как я свято верю, была только, повторяю, технически написана мною, принадлежа П. П. Бажову и Н. Н. Серебренникову.

СТЕНОГРАФИЯ И МАШИНКА

Коли уж мы заговорили о технике, связанной с искусством, то, может быть, справедливо заметить, что работа современного писателя не чуждается, а иногда и нуждается в технических средствах.

Позвольте не называть известные писательские имена, носители которых предпочли сыну гусиного пера — перу стальному — пишущую машинку. Одни печатали на ней, а другие диктовали на нее.

Вот бы, думал я, такие же условия Павлу Петровичу. И работа спорее, и глаза целее.

Предпочитая от слов переходить к делу, ища конструктивно-организационные способы облегчения работы Павла Петровича, я имел возможности получить в Литературном фонде субсидии на оплату постоянной стенографистки. И теоретически выглядело все реально и осуществимо: Павел Петрович рассказывает, сидя у себя дома, она записывает. И никакой усталости и напряжения. Потом перечитка записи. Правка. Сокращения. Добавления. И так называемый белой черновик рукописи готов.

Не получилось. Вот что Бажов говорит о стенографии:

«Со стенографисткой все-таки ничего не выйдет. Поверьте, это я уже испытал. Не было в моей жизни стенограммы, которую я сумел бы исправить, хотя стенографистки бывали и очень квалифицированные. Видимо, в моей устной речи нет той необходимой дозы литературной правильности, которая другим легко позволяет пользоваться стенографической записью. Получается сплошная мука. Говоришь как будто и ладно, слушают тебя, понимают, а увидишь запись, ничего не поймешь и исправить не можешь. В тех случаях, когда надо было обязательно сделать запись, переделывал ее вовсе заново, и стенограмма мне ничуть не помогала, а скорей мешала. Да и все равно записанное надо перечитывать, так как на слух воспринимать тоже не привык».

Когда со зрением Павла Петровича становилось хуже, я стремился хотя бы облегчить самую технику письма, зная по другим и по себе, что когда пишущая машинка становится «рефлекторным придатком рук», она оказывается куда предпочтительнее пера. И тем более предпочтительнее, когда пишущий на ней овладевает так называемым «слепым методом» печатания или хотя бы «полуслепым». Логика проста: Павлу Петровичу труднее вывести букву пером, нежели воспроизвести ее на бумаге одним ударом пальца по клавишу машинки. И строка ровная, и буква четкая, и виден размер (объем) написанного.

Павел Петрович протестовал. Высмеивал меня, называл «американствующим» кем-то.

— У Пушкина и гусиным пером получалось неплохо, — доказывал он. — Так можно до линотипа дойти. Сразу набор.

Инерция мышления, как известно, страшнейшая из инерций. Ореол «рукописной рукописи» исключал машинописную технику. Она оскорбляла перо. Она «отпугивала своим стуком вдохновение».

— Вы только представьте Александра Сергеевича, печатающего на машинке «Я помню чудное мгновение...» или «Не пой, красавица, при мне...». Представьте, и вы увидите, как это несуразно. Оскорбительно для рукописи, для строк без почерка.

Это оскорбляло меня. Я даже лирические личные письма писал на машинке. Клин нужно было вышибать клином.

— У гениев древности,— говорю я,— не было бумаги, но Пушкин уже не писал на папирусе и бараньей коже. Пушкин писал при масляной лампе. Заведите ее и вы вместо электрической. У нее же холодный, неживой свет. Но освещаться лучиной сказочнику еще лучше. Особенно сосновой. Мало дымит, хорошо пахнет, потрескивает, и настоящий первозданный огонь, как у Данилы-мастера в «Каменном цветке».

Бажов отмалчивался. Глядел в сторону. Чадил самосадом. Он знал, что ему не хотят зла. А я наступал. Называл фамилии маститых и произведения, известные всему миру, написанные на машинке. Вспомнил и «Ремингтон» с закрытым шрифтом Толстого. И, наконец, по возвращении в Москву принял все меры, чтобы литфонд по «собственной инициативе» подарил Павлу Петровичу пишущую машинку. Тогда ее трудно было достать.

Подарил. Послал. Средневатенькую. Трофейную. С плохо перепаянным русским шрифтом. Но она полюбилась Павлу Петровичу. Аппетит пришел с едой.

Машинка понравилась. Сначала как игрушка, а затем как «механический помощник», облегчающий технику письма и не затрудняющий самое уязвимое. Глаза. Зрение. Вот что пишет мне Павел Петрович:

«...Как видите, «осваиваю» машинку.

...Печатаю, разумеется, медленно, строка у меня вихляет, знаки проскакивают, но уже для моих адресатов это лучше, так как не придется разбирать мой стариковский почерк. Для меня тоже, пожалуй, уже лучше, так как машинка позволяет печатать без напряжения зрения. Выяснился пока один существенный недостаток. Не видя пред собой написанного, часто ставишь то же слово, которое только что употребил. Если взяли бы труд подсчитать, например, сколько раз в этом письме встречается слово «довольно», то автору должно стать стыдно, но он ничего: утешается тем, что не привык еще. Облегчает, но и раздражает обилие сходных буквосочетаний (при письме этого как-то не за-

мечаешь). В этом кажется какая-то ограниченность возможностей языка, хотя знаешь, что это не так. Во всяком случае, крайне доволен. Благодарен не только Литфонду, но и вдохновителю подарка. Тому самому, которого Вы, вероятно, изредка видите в зеркале, выходя из Ксаниной комнаты.

Кудрявый такой, но уже с поредением на макушке. Не проверяйте! Ничего не поделаешь. «Преходит бо образ мира сего: кудрявый плешивеет, а плешивый в прах переходит». Будем утешаться, что из праха небесно-синий лен вырастет. Насколько это весело, судить не берусь, а работе мешать может. Это мной испытано и отвергнуто, но вот, видно, не окончательно изгнано. Простите за срыв в эту сторону.

17 декабря 1944 г.»

АППЕТИТ ПРИШЕЛ С ЕДОЙ

Взаимоотношения с механической помощницей у Павла Петровича улучшались. Налаживались. Она, войдя в его рабочую комнату как принудительная, профилактически-предупредительная необходимость, становится постепенно тем самым рефлекторным придатком рук, о котором я говорил. Павел Петрович еще боится признаться в добрых чувствах к своей портативной сотруднице, но уже мирится с ней. Не буду голословным и выпишу из его письма ко мне подтверждающие сказанное абзацы:

«Шрифт, каким написано Ваше последнее письмо, мне перекрыть было бы нечем, если бы не Ваша же лента. Смотрите, что делает! Хоть вывеску ставь: ново! Экстравагантно! Спешите видеть! Строчка черная, заилтые красные! Не будем доискиваться, отчего это: неправильно поставил, узка лента или дефект в подводщике аппарате. Факт налицо. Так его и примем. Для конвертов это немножко неудобно, а в письме даже шбавно.

Шрифтик, действительно, хорош, но... есть в нем что-то от банковской щеголеватости. Знаете? Чистенько, гладенько, все размеренно, а не веселит, бухгалтерию напоминает. Никакой, можно сказать, ни лирики, ни романтики.

Ну, ведь русские на этот счет прихотливы. Не случайно наш национальный поэт обронил будто бы мимоходом многозначительный стих: «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не терплю». Шутка, скажете? Но шутка гения, а она весит больше иного исследования. Может быть, мы, воспитанные на просторах первозданной красоты нашей родины, меньше всего принимаем все прилизанное, слишком правильное. Ошибка у нас, как скала среди реки, как старая липа на пшеничном поле, легко принимается. Другие бы убрали, а мы даже любимся: бойцы! Богатая невеста!

И никто не докажет, что это плохо. Вдуматься, так увидишь за этим культ живой красоты против гримас городской европейской культуры вроде деревянных катков и бетонированных пляжей.

В отношении Ваших клавиатурных изысканий могу только склонить почтительно голову. Сам, каюсь, до сих пор не удосужился узнать, каким пальцем по какой букве принято колотить в русском и международном масштабе. А ведь, вероятно, выводы есть. Тут уж наша сожалительная особенность: любим прокладывать новые дороги рядом с существующим трактом».

Машинка стала в конце концов заменой пера Павла Петровича. Он уже не слышал ее стука, не задумывался о конце строки, о переводе валика, о нажиме на клавишу заглавных букв. Клавиши сами услужливо подвертывались под его пальцы. «Полуслепой метод» печатания осваивался сам по себе. Глаза отдыхали, и Павел Петрович стал реже жаловаться на них. Смотрите, какие веселые и чуть озорные строки выбивал его палец:

«...Думаю засесть с машинкой примерно на месяц куда-нибудь «под сень струй» и побрякать там без телефона, без посетителей. Мемуарная литература ведь довольно близка к эпистолярной. Жарь по порядку, что в голову придет. Глядишь, в день страниц десятков и набрякаешь, и читать не надо, так как уверен, что тут только корректурные ошибки, а не извращение смысла. Попробую, во всяком случае. Если окажется ладно, стану продолжать, не выйдет — тогда и суда на это не будет. Вопрос ведь не только в книге, но и в том,

чтобы она вышла стоящей, а не просто сборником случайного. Здесь же у меня не очень много возможностей для литературной работы. Донимают разные дела-делашки, которые бывают на каждый день».

Машинка, без всякой иронии говоря, способствовала поднятию производительности труда литературного и особенно эпистолярного. Ко мне стали приходиться машинописные письма объемом до четверти печатного листа и более.

Если б Бажова увлечь магнитофоном вместо машинки, который бы не заставил стесняться его, делая длительные паузы, то появился бы могущественный избавитель напряжения глаз. Но дело в том, что почти никто не принимал близко к сердцу трагедии надвигающейся слепоты, которая, слава всевышнему и в первую очередь профессору Страхову, миновала.

ПИСЬМА КО ВСЕМ

Павел Петрович не вел дневников, если не считать записей, названных «Отслоение дней», составляющий примерно сорок книжных страниц, которые писались с 16 апреля 1943 года по 5 сентября 1946 года. Эти записи не самое лучшее из написанного Бажовым.

Зато письма Бажова составляют очень большой раздел его творчества. Именно творчества. Для него они, может быть, и не были произведениями (очерками, рассказами, критическими статьями, писательскими размышлениями и т. д.), но всякий прочитавший хотя бы несколько его писем неизбежно увидит, что это далеко не частная переписка: здравствуй-прощай, как твои дела, я живу так-то и так-то. Это литература, если даже он пишет об огороде или о чем-то весьма специальном, частном, узком. И на это у него свой взгляд, свои концепции и суждения.

Писем Павел Петрович написал великое множество. Если их только у меня сохранилось до двухсот страниц, то надо думать, сколько их вообще. До того, как Павел Петрович не освоил пишущей машинки, он не оставлял копий писем. Поэтому, как говорят музейные работники, неучтенного больше, чем наличествующего в рукописном фонде.

Читая и перечитывая бажовские письма, я убеждался в том, что Павел Петрович всего лишь адресовал кому-то свои письма, а писал их для всех. И, в частности, я был всего лишь своеобразным «пунктом» переадресовки написанного мне. В этом не трудно убедиться. Вступительные строки обращения в письмах и заключительные пожелательные, как бы только обязательные рамки для письма-рассказа, письма-статьи, письма-очерка. В этом вы убедитесь на последующих страницах...

Читайте, пожалуйста.

О ЛИТЕРАТУРНОМ ТРУДЕ

«Писать теперь в манере «Аси» или «Первой любви», конечно, было бы дико. Цвет времени не тот. Но ведь и Тургенев тоже не писал своих вещей в манере своих предшественников. В этом, на мой взгляд, и вопроса нет. То, что у новеллистов библейских времен рассказывалось, как «хождение Иакова», то в средние века передавалось как «Дафнис и Хлоя», у Тургенева как «Первая любовь», а вот как у нас этот же мотив? Наше горе как раз в том, что мы не можем вырваться из плена старых заголовков, противопоставить им что-нибудь более выразительное и «созвучное». «Большой конвейер», «Скважина бис-2», «Штурм», «Разбег», «Наступление» кажутся примитивными, грубыми, а для «Первой любви» и «Гранатового браслета» время прошло. И не стоит на них оглядываться с этаким вздохом: «А напиши теперь так». Надо, наоборот, выпрыгнуть из плена прошлого, не попав, однако, в «Скважину бис-2». Кир...ая бутара¹ малых тиражей и многочисленных названий, мне кажется, останется без работы, т. к. пока не хватает материала даже для тех изданий, какие имеются. Все-таки ведь и бутара должна не просто всю землю пропускать, а лишь те ее породы, где можно ждать ценного. Прежде чем поставить бутару, как известно, надо подыскивать пласты — старые или новые, это безразлично, — ради которых стои-

¹ Разговор идет о предложении одного писателя увеличить количество издаваемых книг за счет сокращения тиражей.

ло бы этим заняться. Охотников искать «стоящие пласты» у нас крайне мало. Как работающему рядом с историей, мне это особенно видно. Перелопачивают что полегче, а копнуть заново боятся и не хотят, и получается не лучше того, что мне как-то предлагал покойный профессор Н. Н. У него была диссертация на тему «История Оренбургской епархии», вот он и говорит: «Давайте напишем теперь о Пугачевском бунте. Материалу у меня много, а вы марксистского соусу прибавьте и там всяких пейзажей». Так ведь Н. Н. был старик и профессор богословия. С него не взыщешь. А когда такое же почти видишь в историческом романе, то становится не по себе. Да еще хотят «всего достичь», не утруждая ни глаз, ни зада,— за счет «голового таланта», а не выходит. И никогда не выйдет без большого участия глаз и сидения даже при самой большой одаренности. У стариков надо учиться именно этому непривычному для нас искусству. Разве наш национальный гений А. С. Пушкин не поразителен и своей трудоспособностью? Работая над историей пугачевщины, он не только месяцами сидит в архиве, но он едет на Урал. Это ведь не на самолете и даже не в вагоне, а на перекладных. Попробуйте представить, что кто-нибудь из наших современников проделал адекватный труд! Да он бы написал несколько томов своих дорожных впечатлений, десятка два рассказов, четыре пьесы, пять сценариев, один малоформистский сборник, а у Пушкина все это вошло частично в «Капитанскую дочку» да в отдельные строки стихов. Вот и выходит густо. Читаем современников и говорим: «А у предшественников лучше». Да, потому что у предшественников больше предшествовало, чем у нас. Словом, был и остаюсь сторонником труда в литературе. Стоя на этой позиции, утверждаю, что каждый через какой-нибудь десяток лет работы может дать изумительное по своей неожиданности полотно, скажем, о Демидовых. Наиболее одаренный и быстрее сделает это, может быть, за пять лет. Но тот, кто захотел бы еще ускорить это, неизбежно должен просто воронить тени прошлого или даже дойти до скважины-бис-биз кавычек. Вы спрашиваете: «А чем в это время жить?» Это разговор другой. Питательно-журналистская работа, вероятно, неизбежна, но она должна

быть откровенно публицистической: «Колхоз «Заря», «Пчеловод Морозов», «Сталевар Миронов», «Фрезеровщик Босый». Не месть, не гнев, не расплата, а именно — фрезеровщик, даже не «Орс горы Высокой», а «Высокогорский орс» и т. д. И все это ни под каким видом не должно называться повестями, рассказами или другими именами художественной литературы. Литература начинается с котлована ниже линии промерзания и очень честной выкладки фундамента. При таком положении никто, конечно, не станет строить карточный домик, а возведет здание большое или маленькое, а не на квартал, до первой рецензии.

...Ну, ладно, хватит пустоговоря. Не пятую же страницу начинать. Наверно, уж давно не выдержали? Значит, будьте здоровы, думайте о первой любви в противоположную сторону и передайте привет от меня и всех наших Марии Степановне и ребятам.

27. 10-45 г.

П. Вазов».

ПИОНЕР ВЕЛОСИПЕДНОГО ДВИЖЕНИЯ

На Среднем Урале едва ли найдется уголок, где бы не побывал, о котором бы не знал страстный краевед, неутомимый добытчик устного речевого золота, искатель самородных сказаний, записыватель бесценных слов... На рудниках ночует, в цехах днюет, с бывальными людьми знает, со стариками дружбу ведет, мальцов не обходит, про жизнь слушает. Во все вникает. Мусором даже не брезгует. Случается, что вместе с ним из другой избы и редкое словечко выметут. Золотник весит, а пуд тянет.

Хмельные гулянки тоже не обходил Павел Петрович. Пьяный словами кидается запросто. И не только бранными, да и они иной раз алмазной гранью отсвечивают. Про казарму и говорить нечего. Там со всех губерний слова в одном речевом строю стоят. Выбери-кай знай лучшие.

Бескраен, бездонен сказочно-сказовый-пересказовый рудный Урал. Речисты мастеровые уральские старики. Даже в старом колодце синюю старуху ведьму

они поселили. Лебедей не забыли. Про эту птицу немало бытует всякого, сумей только соскоблить наросты лет и дойти до главного зерна. И горный козел не по одним хребтам бегал, дотошный трудовой уральский люд серебряным копытцем его подковал. Опять сказка.

А про тайную силу, что нутро гор сторожит, людей привораживает, тоже не одна, не две побывальщины. В темноте ведь светлые-то камешки добывались. В штольнях. А там мало ли страхов! И свою тень за горное чудище примешь. Сколько там неизвестной красоты каменной росписи! Не сказовая ли все это руда? Бери да переплавляй ее в волшебное литье...

Весь вечер купаюсь я в рассказываемом Павлом Петровичем. В комнате сизым-сизо от самосадного махорочного дыма. Не продохнешь. А мы, как «на воздушном океане без руля и без ветрил», в синем плаваем тумане на волшебных кораблях...

Время прошло. И я, повторю сотый раз, разумеется, не помню в частности всех выражений по этому или другому поводу. Запомнилась только их суть и примерная вязь словосочетаний.

«Пионер велосипедного движения» остался таковым до последних дней. Он всегда предпочитал медленное пешее передвижение быстрому.

— Быстро надо снабженцам ездить, а мы ведь с вами заготовители (заготовители слов — имел он в виду). Нам слушать надо.

В Тагиле ли, в Тавде ли, в Краснокамске, Перми, Первоуральске, Челябинске, Висиме, где мне довелось побывать с Павлом Петровичем, где всегда можно было получить автомобильный или, на худой конец, гужевой транспорт, он мне часто говорил:

— Я-то бы лучше на своих на двоих, и вам бы советовал... Дольше не состаритесь, и опять же разговорчивого человека можем встретить.

И мы очень часто встречали «разговорчивого человека». Бакенщика. Старика доменщика. Подростка из школы ФЗО. Словоохотливую бабушку. Всезнающего пустомелю. И кем бы ни был наш собеседник, Павел Петрович всегда находил в такой встрече пользу.

Про одного враля он сказал так:

— Врет он, конечно, без оглядки, без совести... Но врет-то как? Слова-то какие? Выдумка-то одна чего стоит! Подружитесь с таким. Заведите знакомство, вот вам уральский барон Мюнхгаузен. Веселое-то ведь тоже надо. Через глупость иногда и умное лучше видится. Контраст.

Минуло это все, но не умерло, вспомнишь, как говорится, и оживет. И я вспоминаю и оживляю наши поездки. Мы ездили просто так, безафишно, но была и универсальная афиша, в которой клубу или Дворцу культуры, школе нужно было только дописать кистью число, день и место литературной встречи.

Мы вдвоем, иногда втроем, с Виктором Васильевичем Данилевским, доктором технических наук, автором книги об изобретателе первой огнедействующей машины И. И. Ползунове, бывали в больших и малых населенных пунктах.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В ТАБОРАХ

Литературные вечера в больших городах не всегда проходят, как говорят театральные администраторы, с аншлагом. А здесь — заняты даже подоконники. Даже открыты окна, а за окнами на принесенных из дому скамьях и столах стоят люди.

Здесь Павел Петрович дома. Он даже не притрагивается к рукописи. Он читает по памяти. Ему нечего бояться ошибиться, пропустить строку. Он «сказывает сказы», а не читает их.

Таким я его видел только дважды — в Таборах и на платиновом руднике «Красный Урал».

Каждое слово — всхожее семя. Язык «Малахитовой шкатулки» — это их, не «стилизированный», а родной язык, полученный с молоком матери, язык их дедов, язык их обихода.

Буря аплодисментов!

Вопль и стон радости, когда победа оказывается за героем сказа, когда добро торжествует над злом.

Выступающий воспаляет аудиторию. Аудитория взаимно воспаляет выступающего. Когда этот контакт в Таборах достигает накала свечения, я увидел Бажова страстным, темпераментным мастером чтения

(точнее — «сказывания»). У старика блестят глаза. В голосе гневные, трагические или, наоборот, мягкие, певучие нотки.

— Отвел душеньку,— сказал Павел Петрович, когда кончился нескончаемый, многочасовой литературный вечер, начавшийся после полудня.

Из Таборов я увез уверенность в том, что Павел Петрович «еще не развернулся». Эта уверенность не покидает меня и теперь. Не развернулся он во весь голос, уйдя от нас.

В Таборы за Павлом Петровичем зашел быстроходный катер. Он был тоже завален букетами провожающих.

Сравнительно высокий таборинский берег был усеян детьми и взрослыми, пестро и празднично одетыми. Берег махал платками, косынками, войлочными шляпами, флажками до тех пор, пока катер, увозивший Павла Петровича, не скрылся за поворотом.

Таборы были серьезной проверкой популярности на «глубинном» слушателе сказов Павла Петровича и неподдельной любви к нему читателей. Поэтому я и позволил себе несколько затянуть этот рассказ о таборинском путешествии.

Потом Таборы вспоминались Павлом Петровичем часто и подробно.

В Таборах я был свидетелем собрания и накопления Бажовым тех особенностей в языке, укладе жизни, быте, которые свойственны городкам, живущим рядом со Свердловском, но на отшибе.

ЧЕРЕМУХА В СНЕГУ

— Смотрите, как прекрасен закат. Земля будто отразила на небе все красные и розовые яшмы. Почему вы, Павел Петрович, так мало уделяете внимания пейзажу, особенно небесному?

— Поэтому и уделяю мало внимания,— сказал мне Павел Петрович,— что для вас закат один, а для меня другой, а для третьего человека третий. У всякого свой образ.

Затем последовало пространное суждение о восприятии природы каждым по-своему. И Павел Петрович заключил примерно такими словами:

— Я не хочу и, мне кажется, не имею права навязывать своего видения в это широкое, свое в каждом отдельном случае, эстетическое наслаждение окружающей природой. Пусть каждый любит природу так, как ему позволила эта природа.

Вскоре после этого мы — Павел Петрович, Виктор Васильевич Данилевский и я — отправились на родину Мамина-Сибиряка, в Висим. Павел Петрович заботился о его памяти. Нам захотелось побывать в местах, где протекало детство певца Урала, где зарождались его творения.

В Висим мы поехали через Нижний Тагил. Тагил с Висимом связаны узкоколейкой. Дорога идет мимо старых демидовских, ныне заброшенных уже заводов. Эти места все еще оставались краем непуганых птиц. Зеленый разлив лесов. Могучие, в рост человека, лесные травы.

Стояло так называемое «бабье лето». Погода выдалась на редкость теплой. Было на что посмотреть из окон вагона в эти сентябрьские дни...

Березы, пожелтев до цвета золота, не теряли листвы. Они красовались там и сям солнечными кострами в смешанном лесу. Фиолетово-красные осины. Коралловые плоды рябины. Деревья, будто нарядившись в самое лучшее, торжественно праздновали «пышное природы увяданье».

Карнавал лесных нарядов и запахов! Здесь все цвета, все краски, кроме белой, все ароматы, кроме весенних...

Где-то на полпути к Висиму Павел Петрович насторожился, стоя у окна, и позвал меня:

— У вас помоложе глаза, гляньте. Не черемуха ли зацвела?

— Точно! — отозвался главный и единственный кондуктор. — Во всю головушку цветет. Диву даешься, какая нынче осень. — И старик принялся вспоминать, как в дни его юности также однажды осенью цвела черемуха.

Павел Петрович попросил остановить поезд. Поезд узкоколейки состоял из одного вагона, едва ли больше нынешнего рижского автобусика «РАФ». Паровоз напоминал положенный набор увеличенный самовар с за-

гнутой в небо трубой. Это был почти игрушечный поезд. Рядом с высоченными деревьями он выглядел почти таким.

Кондуктор «два пальца в рот»—и свистнул машинисту. Машинист отозвался гудком, похожим на синичий писк, и остановил свой самовар на колесах.

Мы вышли. В низинке, в месте, защищенном от ветров, цвела черемуха недвусмысленно вызывающе и зазывно.

Павел Петрович подвел меня к белому кусту.

— Вот,—сказал он, как бы продолжая недавние суждения о восприятии природы каждым по своему внутреннему миру,—сколько человек ни подойдет к этому кусту, у каждого возникает особенное—свое. Для одних это будет репортерская заметка, для других—сенсационная статья в уголке натуралистов, а для третьих, может быть, повесть о второй любви... А может быть, и роман о позднем цветении человека. Скажем, композитора или архитектора...

Я ничего не сказал на это, глядя на белый цвет черемухи, на белые волосы, белую бороду Павла Петровича. Ничего не сказал и думал о своем.

Данилевский, наверно, тоже думал о своем, как и кондуктор. Он не скрывал своих мыслей:

— Цвет-то ядреный-разъядреный, как весной, а ягод не будет. Заморозки не дадут. Пора уж... «Бабы летечко» большому лету пятки кажет—прощается, а руками зиме машет—здравствуется.

Поезд пошел дальше, и чем ближе к Висиму, тем чаще попадались кусты цветущей черемухи.

На второй или на третий день мы направились из Висима на рудник «Красный Урал» на лошадях. Теплые ночи и жаркие дни добавили цвета черемухе, особенно в тихих логах, куда не залетал ветерок. Местами черемуха цвела буйно, как весной.

— Холод не даст ей во всю силу доцвести,—повторил Павел Петрович, вспомнив сказанное позавчера стариком кондуктором.

— Может быть, еще постоят хорошие дни,—не очень уверенно сказал я, снова посмотрев на седину Павла Петровича, и заверил:—Определенно еще будет много таких дней.

В полдень посерело небо. Заморосило. Дождь неожиданно перешел в снег. Такое случается на континентальном Урале.

Рыхлые белые хлопья падали на цветущую черемуху. Лес и кусты белели на глазах. Вскоре нельзя уже было различить, где снег, где кусты черемухи. И казалось, чем обильнее шел снег, тем сильнее цвела черемуха. Цвела снегом, умертвившим ее цветение.

Москва, 1974



ОЛЬГА МАРКОВА



НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Был конец 1932 года. Я работала в учебно-педагогическом секторе Уралгиза. Работа редактора-организатора требовала много выездов в Пермь. Чаще всего я адресовалась там к профессорам с просьбой принять участие в создании комплексных учебников для средних школ.

Павел Петрович Бажов заведовал отделом сельскохозяйственной литературы издательства.

Помню огромную комнату со следами снятых перегородок на Банковском переулке. В ней помещались отделы художественной литературы, детской художественной литературы, сельского хозяйства, педагогический.

Столы сельскохозяйственного отдела стояли у огромного сводчатого окна. Как только я появлялась в издательстве после командировки, Павел Петрович подманивал меня к себе и, пряча в бороде лукавую усмешку, спрашивал:

— Ну, заключила договора?

— Заключила, Павел Петрович! — выдыхала я радостно.

— И подписали те, профессора-то?

— Подписали, Павел Петрович!

— Подписали... — с удивлением и грустью повторял Бажов.

Мне отчего-то становилось стыдно, словно меня уличил этот человек с мудрыми глазами в какой-то большой неправде.

Я верила в необходимость своей работы и гордилась тем, что участвую в важном деле — в просвещении народа. А вот он своим недоверием, которое угадывалось в его глазах, беспокоил, создавал тревогу. Однажды, не выдержав, я спросила:

— Вы что-то знаете о моей работе, Павел Петрович? Скажите, а то я волнуюсь...

— Кое-что знаю... Я ведь учитель. Первым советским комиссаром просвещения в Камышловле был... Ты учебники-то читала хоть, те, которые организуешь?

— Учебники я читала.

— Ну и что? Спишь после них? Разве ваши «Рабочие книги» — это учебники? В них вы всего понемногу насыплете, а полного изложения знаний по каждому предмету не даете... Но это пройдет, обязательно пройдет! Опять вернетесь к изданию стабильных учебников! А пока много неучей нафабрикуете вы своими «рабочими книгами» да «журналами-учебниками».

— Но ведь комплексные учебники не у нас одних... — пробовала я возражать.

— То-то и оно, что не у нас одних. Из буржуазной педагогики взяли. А там не очень заботятся о глубоком изучении основ науки. Вот и мы... старое рушим, а нового, лучшего создать не умеем! Подхватили буржуазную теорию и кричим: «Эврика!» А ребятам учиться неинтересно.

— Не я же придумала эти учебники... — беспомощно сопротивлялась я.

— Вот мы все так и живем...

Тогда я еще не понимала всей справедливости замечаний Бажова.

Как-то в разговоре с коллегами по работе я произнесла:

— Сохрани язык — сбережешь голову...

Павел Петрович тут же спросил:

— Ты, Оленька, не с Чусовой? Из Новой Утки?

Близко... То-то, я смотрю, речь у тебя оттуда... Знаю я эту реку, плавал. Неожиданная вся. Народ там интересный. Богатая река! На Чусовой у пришедшего Тимофея Аленина в вотчине Строгановых сын родился — Ермак...

Только после, сопоставив факты, я поняла, что уже тогда Павел Петрович обдумывал свой сказ «Ермаковы лебеди».

— Много я оттуда записей вывез, да потерял, жаль...

— «Людам речистым — дороги чисты, бессловесным — проходы тесны», — говорю я. — Слыхали?

— Эта побасенка не с Чусовой. Она фиксирует. А с Чусовой убеждают, учат: «Для того узко горло дано, чтобы слово не скоро выходило», «Козла бойся спереди, коня — сзади, а злого человека — со всех сторон», — эти с Чусовой!

В углу, где работал отдел художественной литературы, которым заведовал тогда писатель И. Панов, всегда было шумно. Собирались писатели и критики, спорили о формах и жанрах художественного произведения, и каждое слово, доносившееся оттуда, было для меня откровением, а писатели казались людьми особенными, отмеченными перстом божьим. Однажды я спросила:

— Они, наверное, знают все? — и не поняла лукавого прищуря глаза Павла Петровича.

С ним было просто. Я не стеснялась без конца спрашивать:

— Что нужно знать, чтобы писать?

— Жизнь, — отвечал он коротко.

Ему первому я поведала свою задумку повести «Варвара Потехина» и испугалась — таким озабоченным стало лицо Павла Петровича.

— Классовая борьба в деревне — это у нас совсем почти не показано в литературе, — говорил он. — Писать лучше и не начинать, если сил в себе не видишь... Работала бы ты учителем. С комплексными учебниками скоро ведь расправятся...

С комплексными учебниками действительно скоро расправились — учебно-методический сектор был ликвидирован. Мы с Павлом Петровичем расстались надолго. Только в 1936 году, зайдя в издательство, я вновь увидела Бажова.

— Ну, читал твою «Варвару»! — закричал он навстречу.

К этому времени я уже прочитала первые его книги и знала, что пишет он так же страстно, как исполняет любую работу.

— И как, Павел Петрович?

— Ничего, будет жить «Варвара». Остроту классово-борьбы в деревне поярче бы... Не забывай — литература должна быть партийной. А то этак... захотела и запела, как воробышек... прочирикала — и все. А литература — это классовое орудие!

Каждый уходил от Бажова с чувством невольного обогащения. Вот так впервые я услышала от него простую истину о партийности искусства. И одно это перевернуло все мои представления о задачах литературы.

С началом войны моя связь с писательской средой оборвалась. Меня забыли. Так думала я. Какова же была радость, когда в июле сорок первого года я получаю вдруг приветливое письмо! Привожу его полностью:

«Оленька, что-то ты совсем замолчала? Бедствие-то большое, теряться не следует. Ты там, в народе, много узнаешь. Пиши, что видишь. Для «Уральского современника» пиши. Я опять в издательское дело пошел: выбирать стыдно. А ты все в школе? Сколько учеников на фронт проводила? Пишут ли?

П. Бажов».

Рассказ «В колхозе «Победа», только что написанный, я повезла в Свердловск сама. Тогда я работала уже в ремесленном училище замполитом. Со мною в город направили двух воспитанников с массой заданий.

В издательстве Бажова не было. Оставив для него рукопись, я вернулась в сквер, к условленной с воспитанниками скамейке. Мои парнишки пришли довольно потрепанными — какие-то хулиганы пытались сорвать с них знаки отличия. Лицо одного ученика было в крови, у другого так гневно сверкали на веснушчатом лице глаза, что я решила задержать ребят в сквере, боясь новой схватки. Начала снимать кровь с подпущенного носа паренька, как вдруг услышала удивленный возглас:

— Да ведь это Оленька!

К нам подходил Павел Петрович. Ребята знали о нем из моих рассказов, вскочили в радостной растерянности.

Павел Петрович сел на скамью, и завязалась чудная беседа. Он узнал о попытке сорвать знаки отличия у ремесленников и, выслушав уверения ребят, что эта попытка была непременно со стороны «диверсантов», сделал вид, что верит этому. Серьезно и долго думал. Затем сказал неожиданное:

— Они там совсем извратили понятие отечества! Что для них наши эмблемы труда и родины!

Долго, с истинным интересом, расспрашивал он ребят, кем они будут, по призванию ли выбрали профессии. Один из них пылко отозвался:

— Сейчас с призванием считаться не приходится!

Павел Петрович посветлел. Бросил взгляд на меня, очевидно поняв, что я тоже изменила профессию не по призванию. Поднимаясь, сказал:

— Вот тебе, товарищ замполит, и карты в руки. От жизни не спасешься. Изучай да пиши!

Мой опус «В колхозе «Победа» Бажов назвал очерком. Вскоре я получила «Уральский современник» № 5, где он был напечатан. Рукой Бажова написана сопроводительная записка:

«А ведь это, кажется, увидено! Только песня «Если пестер в поле свищет» не народная. А жаль».

Подписи не было.

В конце 1943 года Павел Петрович помог мне переехать в Свердловск, поставив условием работу оргсекретарем в Союзе писателей. Работать с Павлом Петровичем, под его руководством, собирать день за днем его опыт, учиться у него было очень заманчиво.

Ежедневно мы встречались в Союзе, вели переписку с писателями, живущими в районах, хлопотали об улучшениях писательских пайков, звонили о табаке для курящих, о бирках на получение обуви и одежды, разрешали какие-то конфликты с издательством, организовывали бригады для выступлений в госпиталях, в колхозах, в цехах.

Вскоре меня избрали секретарем партийной организации. Когда я отчаивалась, что не справлюсь, Павел Петрович меня учил:

— Ты не забывай, что писатели народ тонкокожий. Каждый носит себя как целое предприятие. Оно так и есть: сейчас каждый именно то, о чем он пишет. Вот и сумей к каждому отдельно подойти... О секциях не забывай. Много людей писать пытаются. Порыться нужно: может, новых писателей найдем!

Самым трудным для нас были «литературные четверги», на которых обсуждались свежие, только из-под пера, произведения. Трудным потому, что писатель никогда не может сказать, готово ли его произведение, и всегда неохотно выносит его на суд коллектива. Охотнее обсуждались поэты.

Павел Петрович присутствовал почти на каждом обсуждении, внимательно слушал любое мнение, а когда обсуждение уходило в сторону, с большим тактом, одним-двумя наводящими вопросами, направлял его. Часто указывал на необходимость опять-таки партийного отношения к литературе, требовал глубокого анализа произведения. Первый, бывало, увидит и серьезные пробелы в творчестве того или иного товарища.

Помню, на «четверге» показали работу одного литературного кружка, которым руководил А. Ладейщиков. В массе серого, однотонного материала мелькнули яркие по форме и изобразительным средствам стихи одного начинающего. Мы ликовали — пришел новый поэт! Наши восторги разбил трезвый голос Павла Петровича:

— Форма-то хороша. А какво содержание?

Мы вновь бросились читать уже знакомые стихи литкружковца.

Да, поэт не понял, что делается в стране, не увидел великого подвига народа в дни войны.

Немногословно, но всегда веско и убедительно направлял наши мысли Павел Петрович.

Помню еще один «четверг». В тот день к нам приехал Алексей Александрович Сурков. Герой обсуждения, узнав о приезде маститого поэта, отказался выносить свое произведение на коллектив.

Как мы и ожидали, Алексей Александрович вечером пришел в Союз. Члены правления, зная, что со мной находится рукопись повести «Разрешите войти!», начали упрашивать меня прочитать из нее хотя бы главку.

— Надо спасать положение!

— Сурков один из руководителей Союза писателей!

— Что подумают в Москве, если «четверг» сорвется?! — шептали мне.

— Но ведь у меня еще заготовки, сырье!.. — сопротивлялась я, как могла.

— Ну и что? Ну, поругают... Кого из нас не ругают?

Я рискнула. Сурков не заметил подмены. Во время чтения главы в комнату вошел Павел Петрович. Зная его непримиримость ко всему показному, я испугалась. Видимо, он сразу понял, что произошло.

Ох, и досталось же мне на обсуждении! Кто-то из товарищей твердил, что я вывожу ремесленников излишне красивенькими, когда они-де хулиганят, бьют окна, крадут и пр.

Павел Петрович неожиданно взял повесть под защиту, упрекнул товарищей за то, что они не видят подвижнической жизни ремесленников, заменяющих отцов у станка и, значит, служащих делу победы и мира, долго и интересно говорил о необходимости обобщения явлений и опять-таки о партийном подходе к ним.

Когда расходились, он с улыбкой спросил:

— Обсудилась, Оленька? Вот так оно и бывает: нос вытащишь — хвост увянет!

До сих пор не могу понять, почему с того вечера, потеряв в меня веру или, наоборот, уверовав в меня, Павел Петрович начал твердить:

— Не сочиняй! Писатель должен проблему ставить... Собирай фольклор, обрабатывай его!

О фольклоре Бажов говорил всегда с любовью, уверяя, что он несет в себе наибольшую художественную ценность, много сведений о народе и крае и веками не утрачивает своей актуальности.

— Но ведь в фольклоре меньше возможностей писателю развернуться, — как-то возразили ему.

— Эва, развернуться! Уж шире народа не развернешься! Я люблю фольклор за добро. Чаще всего там все кончается добром...

В 1947 году, будучи в Москве, я получила телеграмму от Павла Петровича о выезде на пленум Союза писателей, с просьбой забронировать для него номер

в гостинице. Телеграмма пришла поздно. Я успела позвонить в Союз писателей и сразу побежала на Казанский вокзал, к поезду.

На квартире сестры, где я жила, нас ожидало большое женское общество — Л. Н. Сейфуллина, М. И. Глясер (секретарь В. И. Ленина), Е. К. Минина. Первые минуты знакомства, как всегда, сковали всех. Но принужденность скоро прошла.

Это была интересная встреча.

Зашел разговор о гражданской войне. М. И. Глясер, узнав, что Павел Петрович был участником партизанского движения в Сибири и освобождал от колчаковцев Усть-Каменогорск, требовала подробностей. Ее интересовала Алтайская коммуна, первая коммуна, созданная в стране; колчаковцы разбили ее, зверски замучили руководителей.

— Владимир Ильич многого ждал от этой коммуны. Материал огромный. Писать о ней нужно, Павел Петрович!

— Материал большой. Знаю я его. В нем ценно то, что уже тогда, в восемнадцатом году, Владимир Ильич пытался стереть грани между городом и деревней. Большая проблема! — Неожиданно Павел Петрович обратился ко мне: — Берись-ка, Оленька!

— Что вы! Сумею ли я большую проблему поставить?

— Ну, учись пока... а материал не выпускай: интересная штука!

Удивительно многогранны были познания этого человека!

Через несколько дней он повел нас, уральцев, Татьяничеву и меня, в гости к Шагинян.

Мариэтта Сергеевна вывезла с Урала большую коллекцию камней, образцов руд и минералов. Говорили о горнозаводском деле. Людмила Константиновна читала свои стихи.

Павел Петрович неожиданно горячо воскликнул:

— Раньше умалчивали о простых людях в культурном творчестве! Вот «неопалимая куделька». Хорошо. Пишут, что прясть начали асбест во Франции, при Наполеоне. А Демидов из Невьянска за сто лет до Наполеона Петру Первому полотно из каменной кудельки послал. Так-то вот...

Не прошло и года, как мы читали новый чудесный сказ Павла Петровича «Шелковая горка», из чего можно заключить, что он глубоко изучал историографию вопросов, которые затрагивал.

...Любить свое искусство, воспитывать в себе живое чувство современности, глубже изучать и освещать жизнь и не переставая идти вперед — неперенные условия писательского мастерства, как заветы, оставил нам незабываемый Павел Петрович!

Свердловск, 1960



БОРИС МИХАЙЛОВ



ДРУГ И НАСТАВНИК

Русский город Пермь, расположенный на склонах Западного Урала, когда-то слыл «воротами в Сибирь». Его так прозывали не зря. Политических ссыльных в ту пору везли по широководной Каме на судах до Перми, гнали версту до начала Сибирского тракта, перековывали в кандалы и вели шагать в дальние глуховья, на поселения вечные. Слава незавидная!

Известному советскому писателю Павлу Петровичу Бажову свой жизненный путь приходилось начинать именно там. Образование он получил в Перми — в духовной семинарии. Однако заводской мальчик из Сысерти мечтал не о духовном сане, а об университете. Но мечты мечтами, а судьба решилась по-иному. Позднее он узнает, что в стенах той же семинарии учились, например, писатель Мамин-Сибиряк, изобретатель радио Попов...

Нашел свою дорогу и Павел Бажов. Дорога эта началась от берегов полноводной Камы, много давшей будущему сказителю. Задумчиво шумели волны широкой реки. Меж учеников иногда шел спор: Кама впа-

дает в Волгу или Волга в Каму? Ни та, ни другая, пожалуй, не уступали друг другу в широте и красоте...

Павла Петровича Бажова я считаю одним из первых моих больших друзей. И — учителей. В 1934 году мы встретились в Перми, позднее нас свела общая работа в Свердловске. В последнее десятилетие мы с ним были руководителями отделений Союза писателей на Урале: он — в Свердловске, я — в Перми. Часто переписывались, проводили совместные областные конференции отделений, в книгах вели творческую переключку, ища художественную правду.

Павел Петрович поддерживал меня в организационной и творческой работе.

— Я в поэзии не знаток, — говорил он мне, но удивительно метко подмечал недостатки стихотворений. Видел и все лучшее в стихах, прежде всего близкое народному творчеству, живой действительности.

В моем книжном шкафу самые разные издания книг Павла Петровича. Красочные, богато иллюстрированные, тяжеловесные — «Малахитовая шкатулка» Госиздата, вышедшая в Москве в 1948 году, «Малахитовая шкатулка», вышедшая в 1949 году в Свердловске, тут и «Ключ-камень» и «Серебряное копытце». Восхищаются ими знакомые. А я прежде всего дорожу скромно изданной, еще очень небольшой книгой — той именно «Малахитовой шкатулкой», которая впервые появилась на родном Урале в 1939 году. Автор, тепло назвав меня другом, подарил мне ее со своей надписью.

Берегу я и другие книги с его автографами. Берегу письма.

В письме от декабря 1940 года Павел Петрович пишет про организационную канитель по обмену писательских билетов. И жалуется, кроме того, на молодежную газету нашей области — попросили сказ, да замолчали: «...как видно, товарищ Бычков (литературный сотрудник газеты, запросивший у него работу. — Б. М.) испугался размера и даже не ответил, на что, впрочем, не обижаюсь, так как в письме так и ставился вопрос: отсутствие ответа — знак неприемлемости. Ну, будьте здоровы...»

А сам очень — и справедливо! — обиделся. Тогда он еще не был лауреатом. Трудно ему было отстаивать стиль своих сказов. Шел он всегда против шаблона.

И некоторые редакторы смотрели на него осторожно, ждали — пусть-де сперва другие оценят...

Вот еще некоторые страницы его писем ко мне, писем главным образом последних годов его горячей жизни.

Февраль 1944 года. Бажов благодарит за справку об издании его «Живинки в деле». Предполагает приехать к нам в Пермь сам, да сомневается:

«Тут меня недавно приглашали, но после поездки в Тагил боюсь. Как видно, шестьдесят шестой год не просто календарная дата, а что-то более существенное.

Поездка была как будто вполне хорошо организована и обставлена, а все-таки оказался больным и вынужден был до срока вернуться домой! Понял это как сигнал — пора сидеть на месте. К тому же еще целый ворох забот и хлопот...»

Прочитав мои стихи, пишет, и хвалит, и сразу подробно критикует их. Почувствовав фальшь в одном слове, разбирает его досконально:

«Очень тронут и обрадован стойкостью непроходимо лирического настроения, хотя в отрывке мне кое-что не понравилось. Глагол «щебетал» кажется неприемлемым в отношении родника, и особенно хотелось бы подменить «ракиты». Не наше это слово, не уральское, а средне- или даже южнорусское. У нас тальник, талика, кривдотал, чернотал. Но дело, конечно, не в этом. Важно, что лирика по-прежнему владеет. И пусть владеет. Слово можно всякое найти, а вот эту лирическую теплоту и мягкость ни из одного института не выносили, будь он самый сверкающий именами и возможностями.

Ну, будь здоров и непроходимо лиричен. Привет жене и ребятам от меня и моей семьи.

П. Бажов»

Идут суровые дни Отечественной войны. В свой сборник «У Камы» я, видимо, включаю некоторые стихи торопливо. Работая всю жизнь в областной газете «Звезда», я, конечно, и в стихах не только лирик, но и газетчик. Стремился я быть оперативным и сейчас. А Павел Петрович ни на миг не велит забывать, что ты художник:

«Хотел бы поговорить о стихах, хотя, как известно, всегда очень упорно (при своем мягком характере) и последовательно (тоже не из присущих мне качеств) стараюсь не говорить на эту тему.

Из общего лирического тона слишком броско высеиваются «Наш ответ», «Будем зорче», «Уральская комсомольская», «О винтовке». Это не гармонирует с заголовком раздела, для которого найдены другого порядка слова. Понятно, почему иногда газетная прямота заголовков оставляется, но это все-таки кажется ошибкой. Как ни трудно, а надо найти для любого стиха заголовок, свойственный певцу «Ласковой Ирени».

«Земля под Солнцем», «Опаленные дни» — подходит, а «Будем зорче» — никак. Не очень пришелся по душе и общий заголовок книжки «У Камы». Этот паршивый предложиска всегда лезет куда не надо. По опыту знаю. Также есть и у меня на самом ответственном месте это самое «У-ка» («У караулки на Думной горе»). Хотелось бы тут видеть что-нибудь беспредложное, но, конечно, с Камой. Это правильно. Она должна здесь быть, т. к. большая часть или, вернее, все с ней плотно связано.

Больше мне понравилась поэма «В лесном краю». Может быть, тут сказывается моя личная особенность — в первую очередь ценить всегда по свежести материала. Чувствуется, что поэт не просто «представлял себе», а долго и внимательно наблюдал, обобщал, отбирал. В результате и получается:

Сел на серый полшалок
Белый иней по краям... и т. д.

Читаешь и веришь, что все это так, что это не выдумка, а настоящая жизнь, поэтически осмысленная и выраженная отобранным словом. Иной раз тут путаются, конечно, «золотые чьи-то косы, глаз опасных синица», но этого стилистического рода образы встречаются изредка. Кроме того, на мой взгляд, лучше бы дать в концовке перспективу, а не только заканчивать словами, призывом «бить сосну в корявый бок и вести шискосок»... Вообще же поэма мне понравилась на особицу. Рад выходу книжки, желаю дальнейшей творческой удачи. Не посетуй на замечания! Как

закоренелый прозаик, не понимаю, может быть, того, что увидят другие, кто занимается стихом вплотную».

И это пишет так называемый «не знаток» поэзии! Все основательно разобрал. Читай и волнуйся, запомни-най!

Название книжки, заголовки стихов — все должно гармонировать с общим тоном поэтических строк.

Читая письмо, я поначалу еще хотел как-то возражать, говорить, что время не ждет, подгоняет, но, подумав, убедился, что прав старый сказитель, большой ценитель слова.

В мае 1946 года Бажов пишет:

«Милый Борис Николаевич!

Письмо датировано концом апреля, а отвечаю на него в последних числах мая. Это и есть показатель моей работы. То, что говорят: угруз, и головы не видно. Какое уж тут творчество, когда с текущими делами не умеешь справиться. Писательски теперь почти не работаю, если не считать, что иной раз к какому-нибудь случаю сказ для газеты напишешь, но он ведь газетный и останется. Переделать его в более ценный не можешь, т. к. нет достаточно свободного времени.

С писательской группой у нас примерно так же, как и в Перми. Приезжие давно отшвартовались, а свои доморощенные тоже большим расположением и повседневной заботой о себе похвалиться не могут. Скорей наоборот. Завидуют челябинцам и пермякам, а те опять нам. Так круг и получается, а в нем старинное: там хорошо, где нас нет.

С большим напряжением выпустили все-таки две большие книги: «Свердловск» (свыше 40 уч.-изд. листов) и «Н. Тагил» (около 20 уч.-изд. листов). Это чуть ли не весь годовой итог, считая по прозе. Стихам посчастливилось: К. Мурзиди выпустил свой «Горный щит» и «Детям», Е. Хоринская — книжечку стихов для детей, Е. Ружанский — «Дружок». Альманах у нас не выходит уже больше года. Теперь пытаемся преобразовать его в журнал более легкого типа, т. е., в сущности, это будет книгой, а не журналом. Так как без мечты жить скучно, то планируем выпуск настоящего журнала, задачей которого ставится прежде всего сплочение всех литературных сил Урала, но пока это вроде

степного марева в июльский день: кажется близким и радостным, а будет ли — неизвестно».

«Теперь страдаю из-за «Каменного цветка», — пишет он о кинофильме, созданном по его сказу. — Меня по этому поводу тянут в разные места, и создается неловкое положение, будто я полностью повинен и в этой картине, когда на заглавных титрах очень отчетливо обозначен весь ее коллектив. Это, конечно, страдание не страшное, когда тебя хвалят, но все-таки, во-первых, чувствуешь себя фальшиво, а во-вторых, и самое главное, — время уходит, Борис, а его и так осталось не много.

Человек устроен все-таки довольно нескладно. Сколько его ни учи, все дураком смотрит. Так это и есть. Пишу вот эти строки, а у самого мысль: неплохо бы нынешним летом побывать в Перми, Челябинске, Златоусте и т. д., вплоть до Кемерово, куда недавно уехал один очень уважаемый мною работник. Из мечтаний, понятно, ничего не выйдет. Ты это знаешь, и прогнать их не можешь. Видимо, так веселее жить.

Ну, желаю всего лучшего и в первую очередь творческой полноты, вопреки даже издательским возможностям.

С приветом П. Бажов.

24 мая 1946 г.»

Мы, жители Перми, всегда завидовали свердловским товарищам по перу. У них работа кипит, у них во главе Бажов!

У нас не выходит вовремя альманах «Прикамье», у них, кажется, альманах «Уральский современник» уже скоро выйдет — ждем его в конце 1946 года. Ждем, оказывается, напрасно. Павел Петрович снова сокрушается по этому поводу:

«Десятый номер альманаха держали в производстве свыше двух лет, а теперь сама наша редакционная группа решила от него отказаться, как от безнадежно устаревшего. Разумеется, виним в этом издательство...»

И мы, читая письмо, видим в нем не только протестное сообщение о литературной жизни в Свердловске,

но и прежде всего упрек нам,— выходит, что и нас стыдит Павел Петрович.

«Только говоря так о препятствиях,— пишет он,— не следует замалчивать и свои недуги. Теперь это легко прикрывается — нас не печатают, а если бы печатали в полную силу, то явственно обозначилось бы другое: мало, и не о том, и не так пишем. Единственно, кто работает с напором, так это Мурзиди и Рябинин. По-разному, но дают оба много...»

«Пишет Н. Попова,— сообщает он,— много работают Хазанович и Ликстанов, однако с уклоном для газеты... Маркова пишет мелочь, Рождественская сидит над большой вещью, но пока ее не показывает. Остальные творческой активностью похвалиться не могут».

За всех волновался, помнил, переживал. О себе, однако, и говорить не хотел:

«Про себя и говорить не хочется. Совсем оскудел: в полгода сказишко наковыряю — только. Совсем плохо вижу, а это сильно мешает, да и боковые дела порядком берут...»

В следующем большом письме через год радуется моей книжке «Заря над лесом», поздравляет. На себя снова жалуется и снова очень неутешительно. Горькие строки. Вот они:

«Живу, если можно так сказать, вторым планом: по сказу поставили вон балет, идет кой-что в кукольном театре, а нового почти ничего не пишу. Плохо с глазами. Настолько плохо, что приходится тратить часы на то, что можно сделать в несколько минут. Мне ведь по роду моей работы необходимо больше, чем другим, рыться в первоисточниках, которые представляют в лучшем случае выцветшие рукописи прошлого столетия, в худшем свои карандашные записи, сделанные тоже довольно давно и притом с сокращениями кустарного порядка — как пришлось. Пытался перейти на диктовку и чтение другими глазами, но из этого ничего не выходит. Это не просто удлиняет процесс, а прямо сбивает с основной мысли. Не зная, что тебе надо, читающий иногда выпячивает то, что тебе в данном случае даже вредно. Насадит тебе в голову столько заноз, что ты потеряешь место той, которая тебя занимала. Так вот и живу, делая в год очень ограниченное число

нового. Старое пока идет хорошо: издали в «Советском писателе» большим тиражом, готовят в Профиздате небольшой сборник, в ГИХЛе с обильными иллюстрациями В. С. Баюскина, в Челябинске, в Свердловске запланировали на будущий год 25 листов, переводят и отдельными сказами, и полностью, сборниками. Материально пожаловаться не на что, но тем обиднее сознавать себя каким-то конченным, когда есть порох в пороховнице, да и продолжает поступать без оскудения. Впрочем, будет об этом: печаль не помогает в поисках выхода, а он должен быть. Где-то вон начали поиски оптического прибора, который бы смог удлинить зрячий срок».

И силы уже терялись, а он не хотел сдаваться.

«Попишем еще, а Вам советую отбиваться от части мелочей в текущей работе. Здоровьишко-то ведь неважное, а эта мелочь больше берет, чем дает отдачи. И нет надобности писать большие рецензии и проводить длительные беседы там, где ясна просто малограмотность. Зачем в данных исторических условиях трудный писательский путь через «Университеты» А. М. Горького, если каждому открыт путь через обыкновенные? Особенно это надо внушать начинающим поэтам, которые, поймав в 18 лет (в эту пору все поэты) два-три счастливых образа, склонны с этим багажом выступать уж как поэты всерьез. Это в нашей-то стране, которая по общей культуре населения выше всех стран мира! Пора брать ставку на выращивание поэтов, у которых природное дарование и склонности были бы усилены, расширены и углублены высоким образованием».

В 1948 году, после окончания большой писательской конференции, Павел Петрович волновался:

«Среди начинающих двойное преобладание поэтов над прозаиками, что меня, закостенелого прозаика, прямо огорчает. По этому поводу я даже напоминал, что наши классики поэты не чуждались «презренной прозой» говорить, а наши еще вовсе не классики почему-то не хотят спускаться с высот, не дают ни «Капитанской дочки», ни «Князя Серебряного», вообще ничего, кроме стихов.

Это ведь, Борис Николаевич, вопрос для поэтов современности. Мурзиди у нас пока один пошел на это,

выпустив роман «У Орлиной горы». Других примеров не видно, а зря».

Вернувшись из поездки по Уралу в том же году, Павел Петрович продолжал сокрушаться:

«В литературной организации Южного Урала положение трудное. Там совсем нет пехоты — нет прозы. Армия без пехоты — не армия...»

Он много говорил об этом, призывал развивать все жанры литературы, писать ясно и просто.

Сам большой мастер слова, Бажов до конца своих дней не переставал требовать многого от себя и от всех друзей по работе. Учил нас любви к нашей великой Родине, к ее народу — трудолюбцу, новатору, творцу.

Невольно приходят на память слова Бажова: «Работа — она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется».

Эти слова прежде всего применимы к самому Павлу Петровичу.

Пермь, 1960—1975



ЕЛЕНА ХОРИНСКАЯ



ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК

В столе писателя хранится пакет. В пакете кусочек красного шелка. Писатель часто доставал его и с ласковой улыбкой смотрел на этот алый треугольник, полыхающий цветом знамен и отсветом пионерских костров... На конверте надпись, тщательно выведенная чьей-то детской рукой: «Почетному пионеру второго отряда 1-й железнодорожной школы Павлу Петровичу Бажову».

Однажды писатель, вернувшись с пионерского сбора, весело сказал жене Валентине Александровне: — Вот и я, Валянушка, стал пионером!

Пионерский галстук... С волнением завязывали его юные ленинцы. С волнением принимал его старый писатель. Большого и верного друга видели в нем ребята.

...Маленькая свердловская школьница Наташа Ш. тяжело заболела, и ее увезли в Москву. Девочка писала стихи. Последнее, что успела она написать за свою короткую жизнь, — стихотворение, посвященное Павлу Петровичу Бажову:

На дворе пурга в окно стучится,
В комнате уютно и темно.
Мне сегодня что-то вдруг не спится,

Ночь уж на дворе стоит давно.
Начинает мама тихо сказы
О Хозяйке, что живет в горе.
Вижу я Данилушку — и сразу
Ящерики мелькнули на заре...
Вижу я, как девочка Татьяна
На шкатулку новую глядит,
Как горы Хозяйка Северьяна
Заковала в древний малахит...
И от этих сказов стало снова
На душе так чисто и светло...
В дальний домик дедушки Бажова,
На Урал, меня перенесло!

Не одна маленькая Наташа обращалась к писателю в трудную минуту. Много детских писем, адресованных писателю, приносила ежедневно почта. Среди них оказывалось множество стихотворений. Трудно назвать писателя, которому посвящалось столько стихов. Их писали и просто читатели, и дети, и профессиональные поэты. Из уральских поэтов того поколения, пожалуй, нет ни одного, у кого не было бы стихов, посвященных Бажову. В одной только газете «Литературный Урал», которую мы впервые выпустили в 1944 году, к шестидесятипятилетию Бажова, опубликованы стихи К. Мурзиди, Е. Ружанского, И. Садофьева, Юрия Верховского...

А уж о детях и говорить нечего: щедро дарили они свои первые строки любимому писателю.

«Бажову написано так много стихов, а сам он стихи не любил», — может сказать кто-то. Это неправда. Павел Петрович был строг и не любил только плохие стихи. В таких случаях он отказывался читать, ссылаясь на то, что не разбирается в стихах. На самом деле он был тонким, настоящим ценителем поэзии. Через всю жизнь пронес он любовь к Пушкину. Стихи Некрасова в детстве он читал «от корки до корки» на память, чем очаровал в свое время заезжего гостя — Смородинцева, который помог сысертскому парнишке поступить в екатеринбургское училище.

А вот дневниковая запись 1945 года, тоже полностью опровергающая равнодушие Павла Петровича к поэзии. После напряженного дня и затяжного обсуждения двух начинающих прозаиков пришлось обсуждать молодого поэта по его особой просьбе. И несмотря

на поздний час, на усталость, Павел Петрович ожил, загорелся. И потом записал:

«Этот парень всем понравился. Может быть, тут оказывали действие и молодой басок, и матросская форма. Не знаю, как это будет, когда прочитаешь глазами, но в чтении автора мне тоже очень понравилось. Конечно, в творчестве 19-летнего есть и мировые вопросы, и героика, и лирика, и, надо сказать, что все сделано по-хорошему».

Ну, и, наконец, самое главное то, что Павел Петрович в молодости сам писал стихи. Очень жаль, что они почти не сохранились. Но одно стихотворение, которое хочется привести, жена писателя Валентина Александровна хранила как зеницу ока. Это ей, тогда невесте, Вале Иваницкой, посвящены эти строки.

.
...В даль потемневшую жадно глядели,
Ярко надежды горели в сердцах,
Думы грядой непослушной летели...
Чудилось, будто то жизни невзгоды
На нас ополчились угрюмой толпой,
К светлому храму добра и свободы
Путь заграждая собой.
Об руку смело идем мы вперед,
Крепкую веру храня.
Рано иль поздно, а все же взойдет
Русского счастья заря.
Если же нам суждено не дойти,
Оба погибнем на честном пути.

Осень 1935 года. Тогдашний ответственный секретарь Свердловского отделения СП Иван Степанович Панов однажды сказал мне:

— Мы решили взять шефство над школой. Вам с Павлом Петровичем Бажовым поручается побывать предварительно в школе, договориться, как и что, узнать, в чем они нуждаются. В общем, вводим вас в шефскую комиссию.

Тут же мы договорились о дне встречи с Бажовым, с которым я тогда еще не была знакома.

Пришла я точно к назначенному часу, но оказалось, что Павел Петрович уже меня ждет. Позже я узнала, что он вообще отличается необычайной аккуратностью. Сколько раз потом приходилось заставлять его

в пустой комнате, пришедшего первым на какое-нибудь собрание!

Итак, наше знакомство началось с того, что мы вместе отправились в подшефную школу на углу улицы Декабристов и Восьмого марта (здесь сейчас вырос огромный многоэтажный дом). Это была небольшая начальная школа, которой заведовала тогда О. Н. Пермякова. Навстречу нам выбежали ребята. Павел Петрович разговаривал и шутил с ними. В учительской завязалась оживленная беседа о школьных делах. И сразу стало ясно, какой опытный и наблюдательный педагог Павел Петрович. Нам не раз приходилось убеждаться в этом.

Он разговаривал с детьми серьезно, с уважением, как со взрослыми, и это особенно подкупало маленьких собеседников.

В доме Бажовых часто звучал детский смех, раздавались веселые ребячьи голоса. Сначала подрастали дети и племянники, потом и у детей, и у племянников появились свои дети, и в доме стало еще многочисленнее. Одно ребячье поколение сменилось другим. Но оба поколения были одинаково общительны, и в доме ежедневно бывало великое множество детей. Попадая в этот дом, все дети становились своими. Когда эту беспокойную компанию усаживали за стол, получалось, как говорят, полное застолье.

Мне очень ярко вспоминается Павел Петрович именно в таком шумном окружении.

...Весна 1950 года. Первомай. Последний праздник, проведенный вместе. День выдался чудесный, совсем летний. В открытые окна врывается из сада запах свежей листвы. В доме гости и, как всегда, много детей. Веселой стайкой носятся они по всему дому и саду, напоминая озорных воробышек. Хозяин был особенно оживленным, шутил, смеялся,— он вполне доволен своими шумными гостями. Да что говорить о праздниках, когда Павел Петрович утверждал, что ему при детях и работаете лучше! Съедутся, бывало, все дочери с внуками, в доме дым коромыслом, шум, беготня, ни о какой работе, кажется, и речи не может быть, а Павел Петрович довольнешенек, давно, говорит, так хорошо не работалось.

С особой нежностью говорит Павел Петрович о внуке Никите:

— У нас вон появился новый внук, так он больше все спит. Покушает — и спать. Хорошо ведет себя. Тоже старается поскорей вырасти. Если и дальше будет вести себя так же, то и не заметишь, как вырастет.

Бажов был добрым и строгим воспитателем, этого же требовал и от нас. Особенно предостерегал он от захваливания ребят, от превращения их в «вундеркиндов».

Образцом доброго и требовательного отношения к молодежи являются письма самого писателя.

«Милый юноша! — пишет Павел Петрович Виктору П. из города Ревды. — Письмо получил и со стихами ознакомился. Не буду разводить дипломатических речей, скажу прямо — стихи мне не понравились. В них чувствуются и ум, и свежесть, но все это становится прямо смешным из-за нескладной и неумелой формы. Обычно стихи или рассказы посылают в редакции журналов, издательств, газет, но Ваши еще никуда посылать не советую. Это не более как упражнения предварительного порядка. Даже консультировать такие нельзя. Надо просто рекомендовать учиться и учиться!

...Не сбивайте себя и тем, что некоторые из наших величайших поэтов выступали совсем мальчиками. Ставить себя в одну меру с гениями, во-первых, нельзя, а во-вторых, они воспитывались в другой обстановке и обучались не в общей школе, а в одиночку, что, разумеется, одаренному мальчику давало больше возможностей. Если, например, Лермонтов совсем еще мальчиком написал стихотворение «По небу полуночи...», то не следует забывать, что в это время он уже владел тремя языками, чего при общей учебе не достигнешь и кончивши высшую школу.

Пушкина мы справедливо называем нашим национальным гением, но нельзя забывать и того, что он был образованнейшим человеком своего времени, умевшим отзываться на вопросы современности почти во всех ее областях. Отсюда один вывод — учиться. Без образования, приобретенного в школе или в жизни, не может быть писателя».

А вот что говорил Бажов по поводу другого молодого литератора:

«...Видно, что автор не только обдумывает и следит за формой, но немало знает. Показалось даже, что это уже один из тех литераторов, которых давно ждет Советская страна, представитель нового поколения, по-другому вооруженного знаниями. Он уже одолевает культуру не по «дальтон-плану, бригадным методом», а по-настоящему, читая и думая. К литературе идет не в букете юных дарований с шестиклассным образованием, а самостоятельно. В учебе он выбрал себе чеховскую специальность — медицину, но это не мешает ему тонко чувствовать вопросы поэзии».

Павел Петрович всегда подчеркивал, какое большое значение для человека имеют прочные знания. Обращаясь к ребятам по радио, он говорил:

— Образование помогает нам на всех участках работы, делает нас сильнее. Эту вот сторону дела вы и должны усвоить в первую очередь.

Вы учитесь в разных школах, в разных классах, но все должны помнить одно: чем основательней вы будете учиться, тем сильнее станете в любой работе, какую придется делать в жизни».

Бережно хранят нижнесергинские пионеры письмо Павла Петровича, заканчивающееся следующими словами:

«...Желаю вам успехов, и прежде всего, конечно, в учебе. Что ни говори, а для людей вашего возраста самое важное: «Учиться, учиться и учиться». Эти слова Владимира Ильича Ленина нельзя забывать ни на один миг, и надо, чтоб это было видно в табелях. Будьте здоровы, веселы и по-хорошему готовьтесь к жизни.

П. Бажов».

Об этом же неоднократно говорит Павел Петрович и со своим внуком Володей. Тепло и задушевно звучит его голос, и выплывает из строчек знакомая бажовская улыбка.

«Милый Вовик!

Письмо твое получили. Хорошо, что у вас переложили печь и стало тепло, еще лучше, что перестал бо-

леть гриппом, приятно, что растет передний зуб. Все это хорошо, но ты забыл написать, как у тебя дела с таблицей умножения. Ее ведь все-таки надо одолеть, и незачем откладывать на будущий год. Выучить ее так, чтобы от зубов отскакивала, и на всю жизнь спокойно».

В другом письме к Володе, от 26 марта 1946 года, Павел Петрович снова возвращается к этой теме:

«...Не забудь написать и о таблице умножения. Она ведь в твои годы самая главная крепость, которую нужно взять. По порядку ты ее знаешь, теперь надо одолеть вразбивку.

Когда я был учителем, то заметил, что больше всего путаются в таких местах таблицы:

$$3 \times 9 = 27 \text{ и } 4 \times 7 = 28$$

$$6 \times 8 = 48 \text{ и } 7 \times 7 = 49$$

$$6 \times 9 = 54 \text{ и } 7 \times 8 = 56$$

С трудом тоже одолеваются $6 \times 7 = 42$ и $7 \times 9 = 63$

Советую тебе написать все это большими цифрами на бумажке, чтоб всегда было перед глазами, пока окончательно не выучишь таблицу. Пишешь ты для своего возраста чистенько, читаешь хуже. Надо и в этом не отставать от других, а для этого следует читать каждый день хоть понемножку.

У нас в доме все здоровы. Вместо мальчика Валерика теперь с тетей Анютой живет девочка Тома.

Во дворе тоже по-старому. Петух орет, куры кудахчут, Зона бока на солнышке греет, Ральф скачет. Даже Слива перед весной веселее бродит.

Ну, будь здоров, пиши поскорее ответ.

Твой дедушка».

Володя — старший внук Бажова, тот самый, который на его шестидесятипятилетии, на самом незабываемом и веселом юбилее, встречал опоздавших гостей радостным возгласом:

— А нам корову подарили!

Когда умер дедушка, Володе было уже тринадцать лет, и он отлично его помнит. Вот что вспоминает он, рассказывая о нем теперешним школьникам:

— Каким я помню дедушку? Он был среднего роста, с белой красивой бородой и живыми, добрыми глазами, в которых, казалось, никогда не угасал задорный огонек. Был он всегда очень просто одет. В руке неизменная трубка. Он покорял ребят своей простотой. Разговаривал он с ними солидно, не спеша, словно перед ним были равные ему собеседники. Умел терпеливо выслушивать ребят, считался с их мнением. «А как ты думаешь?» Или: «А как бы ты поступил!», «А как бы ты посоветовал?» Спросит он, бывало, и взглянет в глаза, да так, что сразу все, что на душе есть, увидит.

Я отчетливо помню летний день 1947 года, когда дедушка выезжал в творческую командировку в Сысерть. Он взял с собой и меня на Тальков камень.

На всю жизнь запомнилась мне сказочная красота Талькова камня и горного озера. Может быть, эта поездка сыграла большую роль в моей дальнейшей судьбе. По окончании техникума в Туле я приехал работать на Урал.

Павел Петрович много работал: обычно дневные часы уходили у него на общественную работу и депутатские дела, поэтому работать над сказами ему приходилось ночью, когда ничто не отвлекало, и тогда до рассвета в его окне горел огонек. Большинство сказов Павел Петрович написал за своей старой конторкой, простой бамбуковой ручкой, из простенькой чернильницы-непроливайки.

Вечерами дедушка любил работать во дворе и в огороде, а когда наступали сумерки, помню его сидящим в саду с трубкой. Он долго о чем-то думал.

Дедушка очень любил театр. При всей своей занятости он находил время, чтобы сходить со мной в детский театр. Помню, с какой радостью шагал я вместе с дедушкой и бабушкой в Свердловский театр юного зрителя. Бывали мы позже и в Московском кукольном театре. Мы видели там «Золотой Волос» и «Синюшкин колодец», созданные по сказам. После представления дедушка встречался с артистами и долго с ними беседовал.

Дедушка прививал нам любовь к книгам. Когда он ездил в Москву, на сессию Верховного Совета, он обязательно привозил новые книги.

Дедушка был чутким и внимательным не только к взрослым людям, но и к детям. Мне запомнился такой случай. Однажды я нашел небольшой медный шарик. Мне самому шарик очень понравился. И тогда я решил подарить его дедушке. Я пришел в кабинет и вручил ему подарок. Дедушка отнесся к этому очень серьезно. Он поблагодарил меня, бережно положил шарик в свой рабочий стол и обещал хранить. Дедушка выполнил свое обещание — этот шарик до сих пор хранится в его столе.

Вспоминается мне и день, когда дедушку пригласили в гости ребята нашей 65-й школы. Допоздна затянулась эта встреча. Потом ребята, шумные и довольные, провожали нас большой гурьбой. Был зимний вечер, выпал глубокий снег, было темно, и дедушке трудно было идти. Ребята заботливо поддерживали его под руку и старались помочь, особенно когда встречались сугробы, бежали вперед, показывая дорогу.

В 1946 году мы с мамой уехали в Тулу. Но и тогда дедушка оставался в курсе всех моих ребячьих дел. В своих письмах он интересовался, как я учусь, давал мне очень нужные советы. И в то же время его слова не были нравоучением взрослого младшему. В них была искренняя теплота и забота настоящего друга и учителя.

Не только в своих чудесных сказах, но и во всех письмах и разговорах с детьми П. П. Бажов воспитывает в них любовь к родине, к своему краю, стремление его изучать. Горячо откликается он во всех случаях, когда ребята начинают заниматься сбором фольклора.

Выступая как-то по радио, Павел Петрович говорил ребятам:

«Милые мои радиослушатели!

Некоторые из вас, наверное, слышали, что дедушка Бажов сказы пишет. Знаете и эти сказы. Кто читал, кто слышал по радио, а кто и видел в кинокартине «Каменный цветок». Не думайте только, что все собрано. Нет, это лишь небольшое начало. Таких сказов по нашему краю можно собрать в десятки, а может быть, и в сотни раз больше. И делать это не очень трудно, но требуется большое терпение, и надо не скупиться на выбрасывание того, что собрано.

Тут видите, что может получиться. Вот, например, заинтересовались вы, почему одна из близких к Свердловску гор называется Хрустальной. Спросили у одного — говорит: «Не знаю», спросили у другого — «Не знаю», у третьего — «Не знаю», четвертый коротенько скажет: «Хрусталь тут добывают». Но ведь этого мало. Это не сказ. Сказ начинается там, где появится какая-нибудь выдумка, похожая на живое. Но ведь выдумка бывает разная: одна занимательная, другая — нет. Записывать же все-таки надо и самую неинтересную, потому что она может подсказать рассказчику то, о чем он забыл. Поэтому если кто-нибудь на ваш вопрос о Хрустальной горе ответит, что там сундуки зарыты, это обязательно надо записать. И если этот рассказчик не сумеет ответить, то надо других спросить, что за сундуки, кем зарыты, кто и как их охраняет, можно ли их достать. На эти вопросы тоже будут разные ответы, в них непременно встретится многое, что тоже потребует разъяснения. Так вот, ниточка за ниточкой, и начнет разматываться интересный клубок сказа.

Конечно, надо заранее подумать и о том, у кого спрашивать. Не просто у старых людей, которые давно тут живут, а у тех из старожилов, которым приходилось работать на Хрустальной.

Так и во всех других случаях. И можно с уверенностью сказать, что таким способом можно найти много интереснейших новых сказов об Урале и его богатствах».

О важности работы школьников над фольклором Павел Петрович говорит в статье «Самое дорогое», написанной по поводу постановки драмколлективом свердловского Дворца пионеров «Малахитовой шкатулки»:

«Эта вот сторона дела — внимательное отношение учащихся к фольклору, их инициативность — на мой взгляд, и кажется той ценностью, которая охватывает и взрослых и требует к себе самого внимательного отношения».

П. П. Бажов всегда с большим вниманием относился к воспитанию подрастающего поколения, следил за литературой, вел оживленные беседы с педагогами. Подробно и обстоятельно отвечал Павел Петрович на письма, давал хорошие, вдумчивые советы. Часто

письма его являлись настоящим руководством по работе над фольклором по изучению Урала. Недаром Павла Петровича называли «живым справочником». Богатейшие знания и чудесная память его давали возможность указать в письмах на ценный материал, дать подробный перечень трудов по тому или другому вопросу. Какую помощь оказывали такие письма, можно судить хотя бы по ответу одного из многочисленных корреспондентов Бажова — московского педагога Л. И. Апарникова:

«Дорогой Павел Петрович!

Самое большое спасибо Вам за обстоятельное письмо. Вы на меня не очень гневайтесь, что я сделал содержание его известным своим учащимся. Если бы Вы знали и видели, какой резонанс это вызвало! Перечисленные Вами фамилии и труды по исследованию Урала тщательно выписаны, произведены кропотливые розыски в библиотеках, в том числе и в Ленинской. Многие сейчас систематически читают Мамина-Сибиряка, Носилова, Колотовкина, Казанцева и др.

...К Вам самая горячая и убедительная просьба — когда будете в Москве, обязательно загляните в нашу школу. Побудете с нами часок и убедитесь в нашем искреннем интересе к Вам, Вашему творчеству, а через Вас и ко всему Уралу.

Большое Вам еще раз спасибо!»

Исключительная аккуратность Павла Петровича, о которой уже говорилось, целиком и полностью относится к его переписке. И особенно ярко проявляется она, когда дело касается детей.

Весной 1950 года ребята восьмой школы Свердловска обратились к Павлу Петровичу с коротким деловым письмом:

«Любимый Павел Петрович!

Мы, ученики 3-го класса школы № 8, читали и изучали Ваши сказы. Они нам очень понравились, и мы решили 19 марта, в воскресенье, провести конференцию по Вашим произведениям.

Просим Вас послушать наши выступления и указать наши ошибки. Начало конференции в 11 часов

дня. Школа находится по улице Куйбышева, 111. Трамвай кольцевой или 3-й, остановка Куйбышева, по направлению к Шарташскому базару».

Дальше следуют подписи председателя отряда и звеньевых.

Это письмо датировано 16 марта. А 18 марта Павел Петрович, несмотря на сильное недомогание и дела, отвечает пионерам следующей телеграммой, адресованной председателю отряда Светлане Ермак:

«Прошу передать отряду большую благодарность за внимание к моему творчеству. Очень жаль, что болезнь не дает мне возможности принять участие в вашей конференции.

П. Бажов».

Множество своих книг Павел Петрович рассылал в дальние и ближние школы. Попросят, бывало, ребята сказы — и летит куда-нибудь в таежную школу «Огневушка-поскакушка» или «Серебряное копытце», а то и вся книга «Малахитовая шкатулка». Происходило это обычно так. Пишут, например, девочки из Златоуста:

«Узнав, что Вы написали книгу «Зеленая кобылка», мы захотели ее прочитать. Но ни в библиотеке, ни в магазинах ее нет. Мы обращаемся к Вам с большой просьбой: если можно, то пришлите нам, пожалуйста, Вашу книгу «Зеленая кобылка».

«Вот, мои юные читательницы,— отвечает Павел Петрович,— посылаю Вам свою книгу «Зеленая кобылка», о которой вы спрашивали. Думаю только, что вам она не подойдет, т. к. в ней рассказывается о жизни мальчиков в старое время. Поэтому условимся так: если вам не покажется интересным рассказ — передайте его какому-нибудь пионерскому отряду в школу мальчиков.

И еще такой уговор. Всякий, кто прочитает книжку, должен мне ответить на вопрос: кто из трех мальчиков больше понравился и почему? На этом и конец уговору.

Желаю вам как можно лучше учиться, чтоб потом полнее работать на славу нашей великой Родины».

Огромное значение придавал П. П. Бажов пионерской работе. Часто и подолгу разговаривал он с пионерскими работниками, а со многими из них у него

возникла трогательная дружба. Подчеркивал значение пионерской работы Павел Петрович и в беседах с самими пионерами. Девочкам свердловской школы № 13, например, он говорил:

— Желаю вам как можно лучше учиться, расти веселыми, здоровыми, сильными и так образцово вести пионерскую работу, чтоб она была хорошо заметна не только в своем классе, но и во всей школе.

Хороший наказ. И невольно вспоминается, как в сказе «Синюшкин колодец» бабка Лукерья наставляет своего внука Илью:

«Ходи веселенько, работай крутенько и на соломке нехудо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станешь, так и все у тебя ладно пойдет, гладко покатится. И белый день взвеселит, и темна ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует».

В каждом письме, в каждой беседе виден чуткий педагог, любящий и внимательный воспитатель.

— Дорогой Павел Петрович, над чем вы сейчас работаете? — часто спрашивали писателя дети.

— На ваш вопрос о моих планах могу сказать, что продолжаю работать над новыми сказами. Более подробно говорить о своих намерениях не очень люблю... Наобещать и не сделать, по-моему, хуже всего. А вы как думаете?

Свердловские школьники хорошо знали Бажова. Они радостно здоровались с ним на улицах, и он приветливо отвечал им. Его приглашали в школы, детские дома, на пионерские сборы и костры. Павел Петрович старался никогда не отказывать детям.

Особенно памятны были встречи во Дворце пионеров. Этот поистине чудесный Дворец неразрывно связан с именем Бажова. Никогда не забудут юные свердловчане, как в комнату, со стен которой смотрят на них знакомые герои бажовских сказов, неторопливой походкой входил сам автор и начинал душевную беседу.

Выше уже упоминалось о выступлении Павла Петровича в газете по поводу постановки ребятами Дворца пионеров «Малахитовой шкатулки». Но нельзя не вспомнить и о том, как сам Павел Петрович вместе с режиссером-постановщиком Л. К. Диковским

внимательно работал над инсценировкой сказа, глубоко вникал во всю сложную жизнь большого детского коллектива, тепло относился к юным артистам.

Павла Петровича радует, что «хорошо, с большим подъемом, не жалея времени, сил и запасов своей творческой копилки, работали с коллективом непосредственный его руководитель Л. К. Диковский, художник Б. А. Шишкин и некоторые другие работники Дворца пионеров», что «крепко поддержал работу кружковцев обком ВЛКСМ».

Так, при горячем участии самого писателя, в 1939 году создавался в свердловском Дворце пионеров первый, незабываемый спектакль «Малахитовой шкатулки».

...Нет в живых любимого уральского сказочника, нет многих участников первого спектакля. Не вернулся с фронта талантливый исполнитель роли Турчанинова Юра Ярков, геройски погиб танкист Юрий Бельтиков, исполнявший роль Степана. В кавалерийском рейде по тылам противника погиб Ким Ефремов... Но «Малахитовая шкатулка», поставленная на сцене пионерского Дворца с легкой руки самого автора, продолжает жить. Спектакль выпускался снова в победном 1945 году, затем в 1953-м. Три поколения юных артистов с волнением работали над знакомыми образами.

Тысячи детей навсегда сохранят в памяти чудесные елки во Дворце пионеров, устроенные по сказам Бажова... Входят ребята во Дворец и вдруг попадают в сказочное царство Хозяйки Медной горы, где все горит и сверкает яркими огнями. Многие до сих пор бережно хранят свои пригласительные билеты, на которых написано:

«Медной горы Хозяйка приглашает тебя на елку».

Павел Петрович любил эти затейные елки и ежегодно бывал на них. Бурным восторгом встречали его ребята, где бы он ни появлялся. Это была настоящая, большая дружба с любимым писателем.

Целые альбомы рисунков присылали дети Павлу Петровичу в дни семидесятилетнего юбилея. Вот тщательно оформленный альбом воспитанников Нижнеисетского детского дома. Здесь собраны иллюстрации к любимым сказам. На обороте каждого рисунка трогательная надпись: «Павлу Петровичу от ученика 3-го

класса Дюндина Коли», «Павлу Петровичу от воспитанника Н.-Исетского детского дома Васильева Виктора»...

А сколько писем-треугольничков написано на вырванных из тетрадей листочках! Здесь и восторженные отзывы о сказах, и приглашения, и деловые просьбы...

«Здравствуйте, дорогой, многоуважаемый Павел Петрович! С первой строки можете догадаться, что это Вам пишет совсем Вам незнакомый и неизвестный мальчишка-читатель, который очень любит читать Ваши сказы. Меня зовут Левой. Я живу в Каменск-Уральске...»

С самым сокровенным обращались к Бажову дети. Вот письмо девочки Риты, написавшей о своем горе:

«Родной наш Павел Петрович!

Я обращаюсь к Вам за помощью, прошу Вас нам помочь. У нас папа уехал на фронт в 1941 году и был ранен в обе ноги и взят в плен. После окончания войны он не вернулся. Мы живем в городе Полевском. Семья наша пять человек. Мне 13 лет, Кларе 8 лет, Эдику 6 лет, Стасику 5 лет и бабушке 67 лет. Мама у нас умерла в 1946 году от туберкулеза. Я училась в пятом классе, в 46-м году оставила учение, помогала бабушке ухаживать за больной мамой. Во время войны мы получали пособие, а сейчас нет. Положение у нас очень тяжелое.

Павел Петрович, помогите нам найти папу.

Мargarита».

Бажов сделал все возможное, чтобы помочь девочке.

Стал наш Павел Петрович знаменитым писателем, орденосцем, лауреатом Государственной премии, депутатом Верховного Совета. В любое время шли к нему люди с разными делами и нуждами. И всегда все дела, связанные со школами, детскими садиками, он старился устроить в первую очередь. Павел Петрович вникал в ребячьи нужды, даже когда другим они казались незначительными.

Обратился, например, однажды к Бажову директор Полевского Дома пионеров. Нужно сказать, что и

вопрос-то был несложный, а вышло так, что разрешить его никак не могли. Речь шла о простом мулине для вышивания, которое нужно было ребятам до зарезу для подготовки к празднику. И Павел Петрович занимается этим самым мулине, причем не один раз пришлось ему вмешаться, прежде чем ребята получили то, что им было нужно.

Вот перед нами запись, сделанная самим Павлом Петровичем Бажовым в парткоме строительства Краснокамска:

«Высовывается голова. Вернее, головенка. Внимательно всматривается в сторону секретаря парткома. Потом дверь на несколько секунд закрывается. Можно догадаться — мысли собрать, окончательно решить вопрос. Вновь открывается дверь, и на этот раз уже полностью. Входит в комнату девчурка лет одиннадцати-двенадцати. Сделав несколько быстрых шагов, девочка издали спрашивает:

— К вам можно?

Получив утвердительный кивок головы, девочка добавляет:

— Только мы делегацией, ничего? Маленькие у меня все... Можно их позвать?

Опять утвердительный кивок, и девчурка поспешно выходит из комнаты. Через минуту входит группа пионеров и октябрят. Их человек семь... Сидящий напротив мальчуган, застенчиво улыбаясь от огромности своих планов, говорит: «Нам бы хоть маленькую будку форпоста, подлиннее и поуже, чтоб в одном конце сцену сделать!»

В записных книжках писателя сохранилось много таких записей о его встречах и разговорах с детьми.

На Урале горячо любили Павла Петровича Бажова, любили, как говорят, все от мала до велика. Его с гордостью называли «наш Бажов», к нему было какое-то особенное отношение — нежное и бережное.

Помнится такой случай.

Как-то поздно вечером Павел Петрович вышел из облисполкома и решил пройтись пешком, — из-за своей удивительной скромности он редко пользовался машиной. К нему подошли два паренька:

— Здравствуйте, Павел Петрович! Что же вы так поздно пешком ходите? Давайте мы вас проводим.

Несмотря на протесты писателя, пареньки проводили его и, прощаясь, озабоченно наказывали:

— Больше уж вы ночью пешком не ходите — вдруг кто пообидит...

Но есть вещи, от которых нельзя уберечь...

Никогда не забудется этот пасмурный декабрьский день. Накануне мы получили из Москвы телеграмму о смерти Павла Петровича. Было очень трудно поверить в это...

Тяжко было войти в знакомый дом на улице Чапаева.

К дому подходили дети, множество детей самого разного возраста. Было холодно. Мела поземка. А они молча стояли у крыльца и ждали...

А когда наступила весна и солнечные лучи проникли в тенистый сад, сюда снова явились дети. Они пришли, чтобы унести отсюда какой-нибудь маленький кустик, отводок от дерева, посаженного руками писателя, пересадить в свой школьный сад, бережно растить и холить на память о Павле Петровиче Бажове.

Шумят ветвями молодые бажовские деревца, посаженные свердловскими пионерами. Подрастают и ребята, хощая молодая поросль.

Свердловск, 1952—1960



КОНСТАНТИН МУРЗИДИ



ПЕРВЫЕ СЛОВА

Трудно писать о Бажове. Мало еще времени отделяет нас от него. Он стоит почти рядом с нами, живыми, и это мешает видеть его лучше. Пока можно сказать немного. Пусть это будут первые слова.

Лето 1936 года. Солнечный день. Мы сидим в скверике против Свердловского государственного издательства, которое помещалось тогда в Банковском переулке. В руках у Павла Петровича свежий номер «Литературного альманаха». В нем помещен первый его сказ «Дорогое имячко».

Не помню, о чем мы говорили. Придумывать не хочу. Ясно представляю одно: солнце, ласковая улыбка в седой бороде, то особое настроение, когда человек сознает, что сделал новый шаг в своей жизни, и рад этому.

Сорок третий год. Вечер. Засиделись в издательстве. В комнате постепенно темнело. Сидим, не зажигая огня, разговариваем о «Малахитовой шкатулке».

— Вот что скажу,— начал Павел Петрович таким тоном, будто собирался сделать признание,— я не писатель, я фольклорист...

Это было не ново. Павел Петрович не раз делал подобные «признания», которые говорили прежде всего о его скромности.

Все понимали, что Бажов ошибался в оценке своей работы, и не соглашались с ним.

С годами Павел Петрович реже заговаривал о том, что он — всего лишь собиратель фольклора. Но из того же чувства скромности о себе как о писателе говорил прежде всего в связи с уральской стариной. Это, конечно, несправедливо. Лучшие сказы «Малахитовой шкатулки» написаны с позиций современности, с позиций молодого советского века. Этого невозможно было бы сделать, если бы писатель не находился в самой гуще жизни, не был передовым человеком.

Теплое чувство долго не покидало человека, поговорившего с Бажовым. К нему, к писателю, к государственному деятелю, депутату Верховного Совета СССР, люди приходили не только в дни официальных приемов. Они встречались с ним ежедневно, рассказывали ему о своих до чрезвычайности разнообразных делах, просили помощи и совета. Иногда просто рассказывали о своей жизни, уверенные в том, что нашли отзывчивого и душевного собеседника. А тот, кто жил вдалеке от Свердловска и не мог встретиться лично, а хотел бы сообщить любимому писателю о себе, писал ему письма.

Одно из таких писем, полученных Павлом Петровичем в декабре 1949 года, представляет собой замечательный человеческий документ. На нескольких страницах развернута, как говорится, «своя история». Одна ленинградская работница рассказала в письме о том, что с детских лет (это было еще до революции) она воспитывалась у чужих людей. Не всегда это оказывались добрые люди. Девочка немало настрадалась, пока не попала наконец в хорошую рабочую семью. Когда на Урале началась гражданская война, девочка потеряла эту приютившую ее семью... Прошли многие

годы. Все это время она старалась найти людей, участливо отнесшихся к ней в детстве. И вот теперь с чувством веры в счастливый исход обращалась она к человеку, который может ей помочь, потому что хорошо знает ее родной край, людей этого края.

Такое письмо нельзя было читать без волнения. Пряча его в конверт, Павел Петрович задумался, улыбнулся, сказал:

— Вот как оно бывает...

По-своему были интересны и многие другие письма. Почта Бажова была разнообразна — от жалобы до стихотворения. Да, Бажову, отличному мастеру прозы, посылали стихи не так уж редко, ибо с полным основанием видели в авторе «Малахитовой шкатулки» прежде всего поэта.

Однажды Павла Петровича пригласили на собрание композиторов, посвященное освоению темы Урала в музыке. Композиторы познакомили Павла Петровича с новыми своими произведениями, которые были навеяны образами его сказов. Им всем не терпелось узнать, что скажет уважаемый гость.

А Павел Петрович, сидя у стола и забирая в кулак седую свою бороду, раздумывал над тем, с чего начать.

Каждый день приходилось встречаться ему с многими людьми. И все это были люди разнообразных профессий, очень несхожие друг с другом, но по-своему интересные. Различие их труда приводило к особенностям речи, к определенному строю образов, близких им. И всякий раз надо уловить эти особенности. Тогда-то и найдутся слова, ясные и простые.

После короткого раздумья Павел Петрович заговорил о музыке уральского леса, о том, что каждое дерево в этом лесу «звучит по-своему» и надо учиться различать их звучание. И начался настоящий разговор об искусстве, об индивидуальности художника в любом жанре.

Закончил Павел Петрович замечательным рассказом об одном старом гранильщике уральских камней-самоцветов. Было у гранильщика три сына. Он обучал их своему мастерству, давал им «урок» на каждый день и по вечерам проверял работу. Проверял по-особенному. Старик заставлял сыновей собирать огранен-

ные ими камешки в один «ворошок», а потом сам разбирает его на три кучки — какая огранка кому принадлежит: старшему, среднему или младшему сыну. И никогда не ошибался ни в одном камешке.

Из своего рассказа Павел Петрович не сделал никакого вывода — вывод напрашивался сам: работай так, чтобы работа твоя была «на отличку». Таким образом, этот мудрый рассказ был не столько о метком глазе старого гранильщика, сколько о мастерстве его сыновей. Композиторам было над чем задуматься. И не только композиторам...

Мудрым и светлым человеком был Павел Петрович Бажов. Мудрые и светлые страницы оставил он нам. По-особенному раскрыли мы теперь эти страницы, по-особенному взглянули на его портрет. Вопреки печальному раздумью, стоит перед нами живой Бажов. Мастер. Певец мастеров.

Павел Петрович был поэтом людей вдохновенного труда. Он жил для них, он отдал им силу своего таланта. Точным, искусным резцом создал он образ труженика-уральца. Это было прекрасным делом его жизни.

Люди, влюбленные в труд, проходят по страницам «Малахитовой шкатулки», сильные этой своей любовью, молодые, неутомимые в поисках, истинные умельцы. Они вызваны к жизни мастерством большого поэта, и суждена им долгая жизнь. Они будут волновать и радовать нас, пока мы живы. Они останутся в народной памяти. И за каждым из этих поэтических образов возникает образ самого Павла Петровича — самобытного мастера.

Он возникнет перед нашим взором,
Улыбнется, близко подойдет,
Добрый, задушевным разговором
С первого же слова увлечет.
Увлечет, задуматься заставит,
В человека, в мастера влюблен,
Незаметно в чем-нибудь поправит,
Мудростью народною силен.
Старший друг, заботливый советчик,
Много в жизни сделал он для нас,
И его любимое словечко —
«Хорошо» — мы слышим и сейчас.



АННА КАРАВАЕВА



СТРАНИЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Весной 1938 года один знакомый критик, вернувшись из командировки в Москву, показал мне привезенную им верстку книжки Павла Петровича Бажова, которая называлась «Уральские сказы». Имя Павла Петровича мне было известно и раньше, однако эта книга раскрыла мне его творческую личность с новой стороны. У меня появилось такое чувство, будто я прикоснулась к совершенно свежему, новому пласту художественной фантазии и осмысления мира прошлого.

Сам Бажов очень точно определил истоки своих сказов — знаменитой книги, которая вскоре стала известна широчайшим массам советских читателей под названием «Малахитовая шкатулка». Вот что он написал в своем авторском предисловии: «...сказы Хмелинина можно рассматривать как своего рода историко-бытовые документы. В них не только отразилась полностью тяжелая жизнь старого горняка, но и его наивное понимание «земельных чудес», и его мечта о других условиях жизни, каких — сказитель и сам не знал, не мог представить себе, но только не тех, в ка-

ких проходила его жизнь... Заводские служащие, «практикованные техники» или «люди с хорошим почерком и бойким счетом», не могли, конечно, оценить сказы по достоинству, а те, что «стояли повыше» и были чуть грамотнее, относились пренебрежительно к «каким-то сказам старичонки караульного». Этим важным людям было невдомек, что неграмотный «старичонка караульный с редкой глубиной прочувствовал и понял жизнь горнозаводского рабочего и, как подлинный художник, сумел передать ее в образах, где уральская фантастика переплелась с исторической правдой».

Если бы даже и не было сказано этих авторских слов, читатель не смог бы ошибиться в том, что перед ним явление в литературе новое, яркое, много и волнительно говорящее уму и сердцу. Это были, конечно, творчески переработанные взыскательным художником народные сказания, фольклор — и какой!.. Только в советской литературе мог найти себе дорогу этот новый, горнозаводский фольклор. Писатель с замечательным чутьем и очень верно оценил духовное убожество и глухоту «важных людей», которые жили многие годы окруженные этими несметными богатствами слова и народной мечты — и будто не видели, не слышали их. Да что «важные люди» старых уральских заводов!.. Русская дореволюционная фольклористика разрабатывала главным образом крестьянский фольклор, в котором, по мнению исследователей, сосредоточивалось все, что было сильного, меткого и красочного в русском языке. Нас, молодых филологов, в свое время тоже учили, что «цвет языка» — это крестьянские сказы, песни, пословицы, загадки. Учили также, что завод и фабрика якобы создали только частушку с ее бойким, «рубленным» ритмом и «бедной городской темой». А о том, что за многие годы накоплены драгоценные россыпи, целая толща сказаний, созданных рабочими, разговора никогда не возникало.

От горнозаводских сказов Бажова на меня словно пахнуло, кроме новизны, и ароматом детства. Я родилась и выросла на Урале, в городе Перми, и в детстве, на уст отца, моих дядей и теток, слышала бывальщины (как называл их мой отец) о разных печальных, а то и страшных случаях из жизни рабочих строгановских

рудников и шуваловских заводов — в нашем крае потомки графов Строгановых и Шуваловых владели заводами, землями и лесами. Слышанное от отца было очень любопытно, но ум подростка не в силах был осознать общественное значение и смысл бывальщин, хранившихся, например, в памяти моего отца и других родичей, которые помнили эти бывальщины, как говорится, по наследству. Читая бажовские сказы, я все шире и ярче понимала патриотическую заслугу писателя: да, все это богатство народной поэзии, чудесных обобщений жизненного опыта, страстной мечты о лучшей жизни бытовало в гуще народа, долгие годы не оцененное, не замеченное, не отобранное исследователями. Но пришел Павел Петрович Бажов, открыл золотым ключом ворота этой многим неведомой страны горнозаводских сказов — и новый мир образов, полный живых, горячих мечтаний, красочной фантазии и смысла, открылся перед читателем.

Именно такое чувство испытывала я, читая книгу П. П. Бажова, которая сразу полюбилась мне чрезвычайно.

Первым моим побуждением было как можно скорее и шире рассказать всем об этом замечательном и свежем явлении советской литературы. После моей статьи в «Литературной газете» мне, как и ряду других писателей, связанных с работой Областной комиссии СП СССР, естественно, захотелось лично познакомиться с Павлом Петровичем и, как выразился кто-то, «показать Бажова Москве». Да и интерес к творчеству Бажова в писательских кругах и среди читателей все возрастал. В 1939 году в Свердловском областном издательстве вышла «Малахитовая шкатулка» — сборник старых уральских сказов из жизни и быта горнорабочих. Появилась статья в «Правде», а в Москве книги еще не было.

Я написала Павлу Петровичу, прося выслать мне «Малахитовую шкатулку». Прошло некоторое время — в Москву приехал писатель А. Ф. Савчук.

— Получили от Павла Петровича «Малахитовую шкатулку»? — спросил он меня.

— А разве он уже послал ее мне?

— Да, конечно. Я сам видел! Павел Петрович послал ее в адрес Союза писателей СССР.

— Но где же она?! Почему же я ее не получила?

Начались поиски «Малахитовой шкатулки». Кто-то видел книгу, кто-то смотрел, кто-то вслух цитировал сказы... а в общем книга пропала,— проще говоря, ее «зачитали» поклонники. Я была бесконечно огорчена, снова написала Павлу Петровичу, и вскоре книга была у меня. Появилась она и в Москве. Вызвав Павла Петровича в Москву, мы хотели, понятно, как можно более впечатляюще ознакомить аудиторию с его творчеством. Пригласили из числа знаменитых наших чтецов Е. Д. Турчанинову и Д. Н. Орлова. Узнав, что Евдокия Дмитриевна Турчанинова, одна из любимых мной артисток Малого театра, живо откликнулась на приглашение Союза писателей прочесть по своему выбору некоторые сказы, я позвонила ей, выразила нашу общую признательность и тут же спросила, понравились ли ей бажовские сказы. Она отозвалась о сказках с горячей похвалой:

— Это золотая проза! А Бажов Павел Петрович — это просто чудесник какой-то, чародей!

До вызова Союзом писателей Павла Петровича в Москву я ни разу не видела его. Он мне представлялся, конечно, пожилым, но почему-то высоким и коренастым человеком. А я увидела старика с седой прозрачной бородой, худощавого, даже хрупкого на вид, роста ниже среднего. У него был тихий голос, задумчивый взгляд светлых глаз, мягкая, грустноватая улыбка. Но немного спустя мне уже показалось, что именно так и должен выглядеть человек, который, почти полвека назад услышав сказы старика Хмелинина, «дедушки Слышко», донес их разум и нетленную красоту до наших дней.

Во всем облике Павла Петровича читался мудрый и многоцветный опыт большой жизни, который оставляет в душе старого человека сложный переплав чувств, мыслей, стремлений, несбывшейся и сбывшейся мечты.

В ожидании вечера у нас, в Центральном Доме литераторов, мы, несколько писателей-москвичей, окружив Павла Петровича, начали было его расспрашивать о том, как писалась «Малахитовая шкатулка». Он выслушал все вопросы, обращенные к нему, и, слегка помыв плечами, застенчиво и мягко улыбнулся.

— Рассказать? Да ведь я уже все рассказал... в предисловии-то к моей книжке все есть, нового ничего не скажу.

Впоследствии я не раз замечала в характере Павла Петровича эту скупую на слова скромность — он не любил говорить о себе. Он как бы считал возможным рассказать только какой-то необходимый минимум о своей работе, а все остальное предоставлял воображению собеседника, особенно если беседовал с литератором. Однажды мне довелось слышать его интервью корреспонденту одной из центральных наших газет. Корреспондент, совсем юноша, очевидно, воображал, что писатели приблизительно все одинаковы, и задавал автору «Малахитовой шкатулки» вопросы такого характера и в таком количестве, как уже привык задавать всем. Павел Петрович отвечал ему в своей манере — ясно и скупое. Юноша придумывал все новые вопросы. Павел Петрович терпеливо повторял уже сказанное. Юноша настаивал, а Павел Петрович мягко, но решительно отводил все попытки корреспондента навязать ему то, что он не хотел и не считал нужным развивать в беседе.

— Ну, Павел Петрович,— сказал кто-то, также наблюдавший эту сценку,— молодой человек ушел огорченный: не получилось у него «богатого интервью» с вами!

— Ему еще учиться надо, люди-то ведь разные,— коротко, но твердо ответил Бажов.

Также не любил он, что называется, ходить душа нараспашку или слишком открыто и шумно выражать свои чувства. Вернусь в связи с этим к вечеру, когда Павла Петровича впервые увидели в Москве. Вечер прошел тепло и сердечно, наши знаменитые чтецы прекрасно прочли несколько сказов (к сожалению, уже не помню, что именно читали), и все мы от души поздравили Павла Петровича с успехом. Каждому, кто приглядывался к нему, нетрудно было себе представить, что, конечно, Бажов с волнением ехал в Москву, что вечер и дружеский прием в Союзе советских писателей растрогали его. После вечера я спросила его, как понравилась ему эта дружеская встреча, он ответил кратко:

— Хорошо.

Потом, разгладив прозрачную седую бороду и улыбнувшись светлыми грустными глазами, он повторил:

— Все было хорошо.

После мне довелось два-три раза встречаться с Павлом Петровичем в Москве. Уже большая, заслуженная слава окружала его имя. «Малахитовая шкатулка» стала одной из любимейших книг советского читателя. А Павел Петрович был все тот же: черная толстовочка, подпоясанная ремешком, неспешная походка, мягкая улыбка — и та же собранность природы, глубокой и сосредоточенной.

Особенно почувствовала я эту черту бажовского характера в годы Великой Отечественной войны. В начале октября 1941 года я приехала в Свердловск как корреспондент «Правды», для освещения в печати патриотического труда нашего тыла. Каждый советский человек помнит, как напряжены были все силы души в те грозные дни, когда наша родина обратилась в страну — военный лагерь. В одной из приемных Свердловского обкома ВКП(б) среди группы ожидающих приема, большинство которых были в военной форме, я вдруг увидела знакомую черную толстовку, седую бороду и задумчиво-спокойный взгляд светлых глаз.

— Павел Петрович! Как я рада вас видеть!

Сразу вспомнился творческий вечер Павла Петровича в верхней гостиной нашего Дома писателей, вспомнилась наша бесценная мирная жизнь. Однако распространяться об этих чувствах было некогда. Павел Петрович задал только несколько вопросов о московской жизни, о Союзе писателей, поинтересовался, кто из московских писателей ушел на фронт. Потом рассказал, что пришел в обком посоветоваться, как вести работу в Свердловском отделении и вообще как «сохранить силы людей».

— Сохранить силы? Чьи?

— Ну... творческие силы тех писателей, которые уже начали прибывать сюда.

Далее он сказал, что предвидит многие трудности бытового и материального порядка, которые, конечно, мешают творческой работе.

— Кто подтверже духом, кто помнит всегда, что страна-то наша теперь военный лагерь, тот все перенесет достойно. А на другого посмотришь — он уже сдал... Жалко и досадно за такого: талантлив, умен, а вот избалован — успехами ли, слишком ли размеренной, уютной жизнью, бог его знает... Словом, тяжело ему очень. А талант лежащим камнем, без работы художественного воображения, пребывать не может и не должен. В дни испытаний, напротив, талант должен развернуться по-боевому. Вот и хочется по возможности создать писателям условия для творческой работы в военное время: жилплощадь, снабжение, пайки там и все прочее...

— Вижу, Павел Петрович, вам будет жалко, если из-за трудностей военного времени не будут созданы новые произведения?

— Конечно, конечно! — взволнованно и быстро сказал Павел Петрович. — Ведь что для литературы пропало, то и для народа пропало.

Не это ли хозяйское чувство к литературе и убеждение, что каждое настоящее произведение входит в арсенал духовной жизни народа, не эта ли хозяйская забота и любовь к мирному созиданию заставляли Бажова в те грозные годы, не считаясь ни со временем, ни со слабым своим здоровьем, помогать товарищам по литературе личными хлопотами в разнообразнейших делах писательской жизни? К осени 1941 года, как известно, в Свердловск съехалось много деятелей советской литературы, искусства, науки. Всех этих людей надо было разместить, создать хотя бы скромные, но все же нормальные условия для работы, а это было уже не так легко. Помощь Павла Петровича во всех случаях такого рода была просто неоценима; да ведь и то сказать — он в городе всех знал, и его все знали. Бывало, позвонишь к нему или, увидясь лично, просишь помочь, отправиться вместе к кому-нибудь из местных властей. Он никогда не отказывался. Однажды (помню, был мороз с метелью) мне стало совестно, что мы, люди несколько более молодые, беспокоим старого, болезненного человека. Помню, Павел Петрович шел по улице, то и дело надвигая шапку на глаза, снег бил ему в лицо, он сбрасывал его рукой с заиндеветшей бороды и шагал не останавливаясь.

— Ох, не сердитесь, Павел Петрович, вытащили мы вас в такую ужасную погоду!

— При чем тут погода, если необходимое дело надо выполнить! — отвечал Павел Петрович и еще решительнее пошел вперед.

Однако решительность его всегда выражалась по-своему, по-бажовски. В то суровое время множество приезжих людей часто вынуждены были «осаждать» свердловских руководителей своими просьбами, и, как правило, самыми насущными. Случалось, иной руководитель учреждения иногда, или по занятости, или не разобравшись в вопросе, показывал желание отложить дело, советовал «побывать завтра». Вот здесь-то и проявлялась решительность Павла Петровича. Приподнявшись с места, он неторопливо пересаживался поближе к руководителю, которому так хотелось, чтобы мы «побывали завтра», и произносил несколько фраз, простых, спокойных, но таких веских, что начальник быстро менял тон. Кто не вспоминал в ту минуту, что к нему в кабинет пришел не со своей личной, а с общественной просьбой любимой народом уральский чародей слова, создатель горнозаводских сказов, старый коммунист, человек громадного жизненного опыта, правдивый, принципиальный! И всегда оказывалось, что поворот в переговорах по данному вопросу, предложенный Бажовым, самый правильный и целесообразный.

— Ну... во-от,— сказал он однажды, после одной из таких деловых бесед, лукаво помаргивая светлыми грустноватыми глазами,— иногда и стариков полезно в компанию прихватить, дело скорее продвинется.

Однажды я сказала полшутя:

— С вашим терпением, Павел Петрович, чего не одолеешь!

Но он ответил серьезно:

— А без терпения людей и не поймешь.

Действительно, мне и не случалось видеть, чтобы Бажов кого-то не понимал или становился в тупик, не зная, как отнестись и как раскрыть смысл какого-то явления. Конечно, его старались как можно меньше беспокоить, а потом, когда и трудная жизнь военного времени все же вошла в какую-то норму, каждый разумный человек уже считал невозможным тревожить

Павла Петровича — «поберечь надо старика». А он неустанно работал, создал ряд новых чудесных сказов, таких, например, жемчужин, как сказ «Живинка в деле», — неустанно всматривался, изучал в большом и малом черты бытия грозного, неповторимого времени.

Вспоминается один вечер, когда эта черта бажовского характера и — хочется сказать — творческого слуха особенно ярко мне запомнилась. Было это в Ревде, куда мы ездили, кажется, зимой 1942 года; это был один из многочисленных в то время литературных вечеров. Помню, как мы шли с Павлом Петровичем к Ревденскому заводу, где еще сохранились здания демидовских времен. Был лунный морозный вечер. Мы постояли против здания бывшей демидовской конторы — длинного, приземистого корпуса с узкими окнами.

— Здесь толщина стен больше метра, — заметил Павел Петрович и усмехнулся. — Строили Демидовы свои заводские здания тяжело, прочно, будто крепости, уж по крайней мере лет на пятьсот... думали, что их царство никогда не кончится!

Мы побывали в некоторых цехах, поговорили с рабочими, инженерами, а в одном из цехов нас пригласили побеседовать с ревдинскими стахановцами во время перерыва ночной смены. Павел Петрович внимательно слушал, что рассказывали рабочие о своем труде «гвардейцев тыла», как в то время всюду любили говорить на Урале. Одним из последних стал рассказывать старый рабочий, уже далеко за шестьдесят, и, как тут же выяснилось, персональный пенсионер. «Сердце не выдержало в грозный час дома сидеть», — и он вернулся в свой горячий цех. Павел Петрович смотрел на старого металлиста, особенно уважительно и ласково расспрашивал его, и тот отвечал ему с таким же уважением и любовью. Наконец Павел Петрович мягко, наклонившись к рассказчику, спросил:

— А вот скажите... просто как старик старику... теперь, когда вы вернулись на завод, о чем вы чаще всего думаете?

Старый металлист помолчал, улыбнулся.

— Часто я думаю: а хорошо, что я детей своих переспорил. Дети у меня хорошие, работающие, два сына

и две дочери, но рассуждали они обо мне, прямо сказать, неправильно.

И старик рассказал, как дети настойчиво внушали своему отцу-пенсионеру, что «отныне жить ему на покое», ни о чем не заботиться,— дело его «стариковское», его будущее уже во всем «решено и подписано», то есть ни в каких событиях он-де больше участвовать не может, и, следовательно, ему остается только отдыхать. Но, вернувшись в родной цех, в напряженную жизнь завода военной эпохи, старый рабочий почувствовал в себе прилив новых сил, а священная тревога за родину и страстное стремление отдать свой труд и многолетний опыт на борьбу за ее победу над врагом утвердили в нем сознание, что он не только участвует в событиях, но и решает их.

— Теперь каждый человек, кто честно и горячо работает, от самого молоденького ремесленника до старого кадровика, вот как я, все решают дело победы, Павел Петрович!

— Именно так... решают! Весь советский народ, от ремесленника до академика, единодушно решает... Этакую силу не сломишь!

И Павел Петрович, поглаживая бороду, оглядел собеседников медленным и просветленным взором, будто призывая их вдуматься в слова старого металлиста. Мне казалось, что хотя Бажов не повторял больше этой мысли, люди почувствовали ее и то настроение просветленной, уверенной гордости за родину, за народ, с которой мысль была выражена.

Вообще не в натуре Бажова было резко подчеркивать, настаивать, нажимать. Мне часто думалось, что он, что называется, брал людей за душу именно вот этой присущей ему мягкой сдержанностью выражения. Она как бы внушала тем, кто общался с ним: «Я верю, что вы, как разумные и честные люди, понимаете сами, как важно поступить именно так». Всякая непродуманность, ненужная резкость, торопливость, привнесение в общественную работу чего-то случайного, постороннего, неделового глубоко огорчали его.

Помнится, как однажды зимой возвращались мы вместе с Павлом Петровичем с одного довольно шумного писательского собрания. Он выглядел усталым и

недовольным. Я спросила, не собрание ли этому причиной.

— Да,— ответил он, утомленно покашливая. — Вот ведь некоторые наши товарищи уж, кажется, и видели, и знают много, а — какая забывчивость! — выступают иногда и судят о предмете, будто у нас сейчас не война, а спокойное, мирное время. В перерыве я указал было на это обстоятельство одному такому товарищу, а он мне в ответ: «Если, говорит, что-нибудь меня раздражает, никакие времена и обстоятельства меня уж не остановят... и пока, говорит, я не разряжу своего раздражения или возмущения, до тех пор я не могу успокоиться». Далее я его спрашиваю: «А не приходит вам в голову при этом простая мысль — правы ли вы, не желая сдерживать раздражения ваше?» А он: «Эх, говорит, Павел Петрович, вы как художник должны понимать, что страсти в человеке с терпением не уживаются. Тут, говорит, нечего меня учить». — «А не желаете ли,— говорю я ему,— все-таки поучиться?» Он спрашивает: «У кого же именно?» Я: «У наших снайперов на фронте». Он уже иронически: «Извините, Павел Петрович, не вижу связи». Я: «Связь мне вполне ясна. У снайпера страстная, непримиримая ненависть к врагу уживается с самым непоколебимым терпением. Снайпер, случается, часами, днями выслеживает врага, не обнаруживая себя ни движением, ни даже вздохом, борется с врагом поначалу своим точнейшим расчетом, выдержкой, хладнокровием, терпением... и наконец «снимает» вражеского снайпера своим воинским искусством и ненавистью».

— Что же ответил на все это ваш оппонент?

Павел Петрович тихонько усмехнулся.

— Согласился. Только спросил: «А если, говорит, я возмущен недостатками нашей работы, так, значит, я должен сначала хладнокровно всмотреться в эти отрицательные явления, а потом по-снайперски бить?..» Так мы с ним и договорились: изучи сначала причины недостатков, продумай способы борьбы с ними — и наваливайся на них, искореняй!

Павел Петрович с решительно-веселым видом рубанул ладонью по воздуху и засмеялся милым стариновским смешком с хрипотцой и лукавинкой. Очень похоже было, что пока он пересказывал свой раз-

говор, настроение его улучшилось. Помолчав, он добавил:

— Бывает, поддастся человек минуте... Но если настоящий, совестливый художник, он скоро осознает, что был неправ.

Потому-то, наверно, Бажов и не назвал имени своего оппонента. Вообще Павел Петрович не любил «суетонок о соседях», как однажды он выразился полуплутя-полусерьезно. Когда он точно знал, что кого-то действительно есть за что похвалить и поддержать, он делал это с явным удовольствием. С ласковой улыбкой поглядывая на выступающих по этому поводу и неторопливо поглаживая серебряную бороду, он кивал в знак своего глубокого удовлетворения и согласия.

При своем слабом здоровье Бажов был совершенно лишен какого-либо брюзжания по отношению к молодым здоровым людям, особенно к детям.

Вспоминается мне забавный случай на одном из литературных вечеров где-то под Свердловском, в заводском клубе.

Среди взрослых и молодежи сновали ребятишки младшего школьного возраста. Вечер для них был слишком серьезен, и они, насытив свое любопытство разглядыванием членов президиума, довольно скоро обратились к своим делам. Четверо мальчишек, заметив, что строгая билетерша куда-то исчезла, увлеклись игрой. Двое из них заняли два крайних стула и третьем, а двое в четвертом ряду и, поочередно подбрасывая вверх меховой мячик, сшитый из двух кусочков рыжей и белой овчины, приговаривали: «Заяц, лиса... заяц... лиса...» Ребята так увлеклись своей игрой, что их шепоток и смех разносились по всему залу. На них возмущенно шикали. Они затихали на минуту и снова принимались за свое. Павел Петрович читал с трибуны один из новых своих рассказов — «Тараканье мыло». Его тихий голос то и дело заглушался громким шепотом разыгравшихся ребят: «Лиса... заяц...» Рассердившись наконец на этих неугомонных нарушителей порядка, я спустилась в зал, подошла к ребятам и приказала им следовать за собой. В клубном фойе я принялась стыдить их: хотя они и школьники младших классов, но уже должны пони-

мать, как бессовестно с их стороны мешать Павлу Петровичу, и т. д.

Ребята присмирели, а один, самый маленький, с курчавым каштановым хохолком на макушке, виновато посмотрел смышленными карими глазами и обезоружил меня следующими словами:

— Тетя, да ведь мы совсем маленько и поиграли-то... Вот я десять раз лисой был, а зайцем всего четыре... А лисой быть часто никому неохота, плохо!

— А чем же это плохо? — спросил спокойный голос, и мы увидели Павла Петровича, вставшего за колонной. Улыбаясь, он смотрел на ребят, и взгляд его выражал живой интерес. — Чем же плохо, что ты всего четыре раза был зайцем?

— Уж как это плохо! — горячо сказал мальчик. — Если белый мех кверху, значит, я в зайцы выхожу, если рыжий, значит, я лисой становлюсь. А если часто лисой бываешь, значит, зайца она съела... значит, ты вроде съеденный. Понятно?

— Вполне, — улыбнулся Павел Петрович. — Кому охота быть съеденным... Ну, а если ты чаще бываешь зайцем, то, значит, ты живой?

— Да! Значит, я убежал от лисы!

— Понятно-о! — раздумчиво протянул Павел Петрович. И вдруг нежно, будто про себя, усмехнувшись, произнес: — Когда я мальчишкой был, мы, помню, похоже, как и вы, играли...

И он, казалось, растроганный этим неожиданным воспоминанием, рассказал по просьбе ребят несколько случаев из своего далекого детства. Подошли и еще какие-то ребята, и все сгрудились около старого чародея уральских сказов и слушали его, взволнованные, зачарованные, как полвека назад слушал и он сам, покоренный чудесными сказами дедушки Хмелинина. Как я досадовала потом на себя, что, заслушавшись вместе с ребятами, не записала, что называется, по горячему следу этих нескольких новелл о детских играх, этих прелестных экспромтов, полных красок, юмора и светлой радости детства.

— Радость-то человеку всегда нужна, как воздух и пища, даже и в трудное военное время, — сказал Бажов по другому поводу.

Было это в начале зимы 1941 года. После литературного вечера в клубе Уралмашзавода мы не торопясь шли по улице заводского городка — Павел Петрович, фольклорист В. А. Попов и я. В. А. Попов завел разговор об уральском песенном фольклоре, который ему хотелось собрать.

— Что ж, песни ведь никуда не делись, — произнес Павел Петрович, — как жили в народе, так и живут. Да вот... стойте, стойте...

Он прислушался и довольно усмехнулся, указывая на ярко освещенные окна в первом этаже одного из больших каменных домов. В открытые форточки окон слышалось веселое хоровое пение.

— «Чарочку» поют, — пояснил Павел Петрович и, обращаясь к фольклористу, добавил: — Вот вам старинная уральская песня. Застольная, на свадьбах поют.

И мне эта песня была с детства знакома, но сейчас было неприятно слышать ее, как неприятен был и веселый шум, доносившийся на улицу. В душе еще были свежи впечатления нашей московской жизни в грозное лето и осень сорок первого года — бомбежки, бессонные ночи, строгий и напряженный строй жизни. После всего этого свадебное веселье (за тюлевыми занавесками все было отчетливо видно), эта застольная песня, веселый шум за столом показались мне в первую минуту даже чем-то несовместимым с переживаемым временем. Со свойственной ему чуткостью Павел Петрович сразу заметил это настроение, но не удивляясь спросил:

— Выходит, значит, если война, так молодые люди и жениться не смей?.. Ага, вы так не думаете? Очень хорошо. Значит, вы за... тихую свадьбу... посидеть за столом, вчерашнего пирога поесть... — и отправляйтесь, гости, восвояси?.. Нет, вы так тоже не думаете?.. Значит, свадьба как свадьба. Мы ведь не знаем, — может быть, жениху-то скоро на фронт идти. Будет воину о чем вспоминать... и он еще злее — ведь от счастья его враг оторвал! — будет бить, громить врага. А может, жених и невеста оба на Уралмаше работают, эти двое из сотен тысяч наших тружеников. Счастье-то ведь человеку всегда дорого, радость-то человеку всегда нужна, как воздух и пища. У этих двух моло-

доженю работа теперь еще скорее пойдет, а для государства очень важно — они ведь какие-то части наших боевых машин делают...

Мы уже далеко отошли от дома, где была свадьба, а Павел Петрович продолжал говорить о ней:

— Свадьба — быт, конечно, однако не только быт. Мне, старику, вот именно теперь особенно приятно видеть, что люди справляют свадьбы, что молодежь танцует... во всем этом чувствуется уверенность в будущем. Или вот была недавно у меня встреча со студентами — какие славные ребята, сколько планов на будущее!.. И заметьте, все эти планы полны уверенности в великолепном будущем нашего Советского государства, которое обязательно победит в этой страшной, невиданной войне.

Конечно, у каждого из нас нашлось немало живых примеров этой уверенности в будущей нашей победе, уверенности, что ярко и конкретно выразалась в жизненных планах множества простых советских людей.

Павел Петрович вдруг приостановился, посмотрел на небо и как будто вне связи с разговором сказал:

— Эх, звезды-то... что зерна золотые...

Потом надвинул шапку поглубже и зашагал опять, как бы думая вслух:

— Великое дело — уверенность, сознание своей исторической правоты! Какую силу дает оно для жизни, силу неистощимую! Нам, старикам, конечно, трудно, а то и просто нереально далеко в будущее заглядывать... а вот насчет победы нашей и возвращения мирной жизни я загадал точно: доживу! Трудно пока, а все равно время на нас работает, и каждый день приближает нас к победе, к миру, обязательно приближает!

Эту мысль, что каждый день приближает нас к победе, к миру, что трудовой подвиг народа в тылу и беззаветная храбрость наших воинов на фронте, вся эта могучая сила миллионов, вдохновляемая великим учением нашей партии, является вернейшей основой победы советской державы, — эту мысль Бажов, как подлинный писатель-патриот, проводил во всех своих выступлениях, которые мне довелось слышать. И что еще было приятно: каждый раз эта мысль подкреплялась живыми и неповторимыми примерами трудо-

вых подвигов народа в разных областях жизни Урала, которую Бажов знал глубоко и чувствовал всем сердцем.

В его высказываниях никогда не замечалось высокой температуры пафоса и торжественности, да ко всему внешнему облику его это едва ли бы подошло. Все в нем — голос, взгляд, жесты — было сдержанно, негромко, скупое. Может быть, поэтому некоторые считали его уже «уставшим от жизни», суховатым, даже скрытным человеком, не желая, очевидно, присмотреться к особенностям бажовского характера. Все, что он делал и говорил, было всегда удивительно органично его природе, его опыту и взглядам на жизнь. Никогда не замечала я, чтобы Бажов высказал случайное мнение или вынес решение, от которого потом самому пришлось бы отрещиваться. Он предпочитал помолчать, если не знал данного вопроса, и с осторожностью, взвешивая каждую подробность, подходил к разбору сложного дела. Всего важнее для него, как он выразился однажды, была «большевистская принципиальность и польза для дела». В его возрасте иногда и нелегко было вмешиваться в писательские дела, и тем более — в столкновение разного рода «материальных» интересов. Естественно, его старались оберегать, не загружать лишними обязанностями: «Бажов у нас один». Но если ему случалось услышать спор по идейно-творческим вопросам, он не мог долго оставаться в положении наблюдателя. Хочется привести один из таких случаев.

Наверное, все жившие первые годы войны в Свердловске помнят часы обедов в разных «ответственных» столовых. Там, как в клубе, встречались все: академики, писатели, композиторы, художники, актеры. Обслуживали обедающих невероятно медленно, и потому время ожидания посетители скрашивали разговорами. Однажды, войдя в зал и ища глазами свободное место, я увидела Павла Петровича. Сидя перед пустым еще прибором, он разговаривал о чем-то с несколькими незнакомыми мне посетителями. Двое из собеседников, еще молодые, были (как потом оказалось) художники, один — художественный критик, двое — композиторы, люди уже за сорок, а шестой собеседник — один из маститых наших музыкальных деятелей.

лей. Последний в разговоре, правда, участвовал вяло, только временами вставляя короткие замечания, и явно не поддерживал высказываний художественного критика. Самый молодой из всех, критик, похоже, очень нервный, с таким видом, будто обижался на всех, что-то запальчиво доказывал, обращаясь чаще всего в сторону Павла Петровича. Бажов отвечал ему, спокойно поглаживая серебряную бородку и как бы с сожалением поглядывая на сердито-возбужденное лицо молодого человека.

Поблизости за столиком освободилось место, которое я и поспешила занять, очень заинтересованная разговором. Художественный критик, как уже скоро стало понятно, утверждал, что во всех областях искусства «имеют одинаковое право и значение решительно все направления — от кубизма, экспрессионизма и т. д. и до реализма», что каждое «имеет свою ценность и смысл» и что «самое плодотворное положение в искусстве», по его мнению, заключается в следующем: пусть-де все направления спорят между собой, пусть каждое по-своему доказывает «свой смысл и красоту», и вот в этой-де «драке» и «рождается истина» и т. д. Критик приводил разные примеры, но всякий раз Бажов своими жизненно яркими и художественно убедительными примерами спокойно разъяснял ему несостоятельность его путаных рассуждений.

В спор уже начали вмешиваться и ближайшие соседи. Все мы так дружно поддерживали Бажова, что незадачливый «защитник всех направлений», как он сам себя называл, наконец обиженно воскликнул, обращаясь к Павлу Петровичу:

— Целое наступление на меня, чтобы сделать удовольствие Бажову! Вы можете торжествовать, Павел Петрович!

— Вот уж к чему не стремлюсь, да и незачем это мне,— спокойно ответил Павел Петрович.

— Но вас же так рьяно поддерживают.

— Не меня, а социалистический реализм, который для всех нас, работников советского искусства, является ведущим творческим методом.

Тогда критик стал доказывать, что социалистический реализм он-де «включает в свою концепцию в порядке всеобщего равноправия» и т. д. Но Бажов

все с тем же неистощимым спокойствием глубокого убеждения снова переборол его:

— Вы хотите любить все — и ничего в особенности. Проще говоря, вы ничего всерьез не любите. В искусстве, как и в жизни, так думать и действовать нельзя. А где же тогда борьба в искусстве за все новое, передовое, где конфликты?

— Да, конфликт действительно главная пружина действия, — недовольно согласился критик.

— Ну вот, сами видите, — усмехнулся Павел Петрович, — без пружины машина не пойдет.

Когда, не поддержанный никем, критик ушел во свояси, я спросила Павла Петровича:

— Давно знакомы вы с этим молодым, но старомодным эгоцентристом?

— Первый раз в жизни вижу. Просто вместе очутились за столом... ну, и я даже при спокойном моем характере не мог равнодушно слушать эту формалистско-эгоцентрическую ересь.

Когда в начале весны сорок третьего года я поехала в Москву, встретиться, поговорить напоследок с Павлом Петровичем не пришлось: он был болен. Конечно, я знала, что буду еще встречаться с ним в Москве, но в тот день как-то очень тянуло сердечно сказать ему, как много значило, особенно в трудное военное время, встречать всегда в Павле Петровиче старшего товарища, умного, отзывчивого, богатого разносторонним опытом жизни, всегда по-партийному принципиального, чутко понимающего творческую жизнь, идейно-художественную природу таланта каждого писателя. Хотелось за все это сказать сердечное спасибо, пожать руку нашему уральскому волшебнику поэтического слова и прекрасному человеку.

Весной сорок четвертого года в Союзе писателей была первая после начала Великой Отечественной войны конференция, созванная Комиссией по работе с русскими писателями республик, краев и областей. Павел Петрович делал доклад о работе Свердловского отделения СП. Выглядел Бажов бодро, новая черная толстовочка ловко сидела на его небольшой фигуре, гладко

причесанные седые волосы над высоким лбом приятно серебрились. Слушая его доклад, как обычно, деловой, самокритичный, я вдруг вспомнила высказывание одного из художников, которому Литературный музей СССР заказал портрет Бажова. Художник, недавно познакомившийся с Павлом Петровичем, рассказывал мне о своих впечатлениях: «Какая чудесная «натура» Павел Петрович! Эти серебряные волосы и борода, этот чистый, просторный лоб, в котором так и читаются мудрость и полет фантазии!»

После доклада Бажова ко мне подошел поэт-дальневосточник Петр Комаров. Он радостно улыбался:

— Знаете, Анна Александровна, оказывается, Павел Петрович читал мои стихи... я этого никак не ожидал, честное слово!.. Я думал, прозаики поэтов не читают, так я и Павлу Петровичу сказал. А он засмеялся. «По поводу такого мнения, говорит, сделали скидку на вашу молодость». Потом, кроме добрых слов, он сделал ряд верных и тонких замечаний, которых, пожалуй, я даже от поэтов не слышал. Я слушал Павла Петровича и думал: «Широкая, светлая душа у этого человека!»

В тот же день я поблагодарила Павла Петровича за его душевную беседу с поэтом-дальневосточником. Петр Комаров, кстати, на конференции определенно проходил «в именинники» — его стихи обсуждались особенно оживленно, как создания подлинно поэтического и свежего таланта. Внимание Бажова к этим дальневосточным стихам было мне приятно еще и по другой причине: талантливый поэт уже давно болел туберкулезом, и, как часто бывает с больными, моральная поддержка и похвала исключительно взбадривали его.

Павел Петрович, выслушав это, понимающе кивнул, а потом произнес с доброй и многозначительной улыбкой:

— Талантлив парень, талантлив по-настоящему. Было бы только здоровье, а победа у него впереди.

Наш чудодей как напоролил: прошло не много лет, и стихи поэта-дальневосточника Петра Комарова были удостоены Государственной премии.

Довелось мне еще несколько раз встречаться с Бажовым, когда он приезжал на сессии Верховного Со-

вета СССР. В перерывах между заседаниями Верховного Совета он непременно заходил в Союз писателей — и всегда по поводу важных и насущных вопросов для писателей Свердловской области. Не помню случая, когда бы Бажов не знал, кто из писателей-уральцев над чем работает и какие произведения скоро выйдут в свет. В один из приездов Павла Петровича в Москву, в конце сороковых годов, все беседовавшие с ним в тот день обратили внимание на его болезненный вид и странный, мутный взгляд. Он устало щурился, прикрывая глаза рукой. На вопросы, что с ним, почему он так дурно выглядит, Павел Петрович отвечал нехотя:

— Да ничего особенного. Нездоровится немного... ну, и глаза что-то...

Это «что-то», как потом выяснилось, была болезнь сетчатки, грозившая зрению тяжелыми последствиями. Однако сам Павел Петрович относился к своей болезни без особого беспокойства.

— Павел Петрович, дорогой, да вам надо лечь в глазную больницу, ведь в Москве у нас есть замечательные офтальмологи, — говорили ему.

— В больницу только попади, время так мимо тебя и побежит, — отшучивался он. — Нам, старикам, и такого зрения хватит.

На своем юбилейном вечере в Центральном Доме литераторов Павел Петрович был оживлен и будто весь светился сердечной радостью: его, лауреата, автора чудесной «Малахитовой шкатулки», государственного деятеля, собралась поздравить литературная общественность, писатели, родные, друзья, литературная молодежь. Помню, как понравилась всем заключительная речь юбиляра: только в словах благодарности всем пришедшим на его праздник Бажов сказал очень скупое о себе, а в основном он говорил о советской литературе, о неиссякаемой силе ее идей, о жизненной правде ее образов, о благородных и ответственных перед народом задачах передового художника, неутомимого борца за мир во всем мире, советского писателя.

— Крепок еще старик! — говорили в тот вечер, и уж конечно никому не пришло в голову, что эта встреча писателя с собратьями по перу и с читате-

лями одна из последних. Уж таков этот неписанный закон литературной жизни: человек цветущей творческой силы представляется нам и физически крепким.

Известие о тяжелой болезни Павла Петровича поразило меня. Несколько раз я хотела пройти из поликлиники в больничную палату к нашему Бажову, но посетить Павла Петровича так и не удалось. Врачи явно неодобрительно смотрели на посещения больного: «Павел Петрович слаб, очень просим не беспокоить его». Много, наверно, дружеских, теплых приветов передавали Бажову в те дни. Однажды во время лечебной процедуры я услышала разговор двух медицинских сестер, которые с искренней печалью говорили о Павле Петровиче, что он «очень-очень плох».

Прошло два-три дня, и мы простились с Павлом Петровичем навсегда.

Воспоминания о большом художнике слова, чья жизнь и творчество были так органично слиты с бытием советского народа, всегда для меня связаны не только с чувством печали об ушедшем, но и с чувством горечи и недовольства: общаясь с человеком при жизни, мы все-таки мало и бегло откладываем в памяти, многое помнится неточно, бледно, а то и просто теряется. Однако самое главное остается: душевное уважение и любовь к творческой личности писателя, к патриотическому труду его жизни для блага нашей великой родины и советского народа.

Москва, 1952—1960—1978



ВИКТОР СТАРИКОВ



ВСТРЕЧИ СКВОЗЬ ГОДЫ

Бажов... Кто не знает у нас этого имени! Необычайно широк круг его читателей и почитателей — от детей до стариков, от рабочих до ученых.

Каждый находит в его сказах что-то особое для себя. Дети — тот необходимый мир, где побеждает добро, взрослые — опыт мудрости, любви, трудолюбия, старики — воспоминания о молодости, ученые — яркие этнографические картины, свет, оживляющий сухую историю пусть одного края — Урала, но зато громадного, малоизученного и до настоящих дней.

Литературоведы писали, продолжают писать о творчестве Баждова, тема эта неисчерпаема. Мне же хочется вспомнить этого удивительного писателя и человека, первооткрывателя уральской «коренной тайности», с которым посчастливилось познакомиться еще в конце тридцатых годов, даже работать некоторое время вместе и — не могу сказать — дружить, ибо этот род человеческих взаимоотношений требует все-таки равновеликости души и таланта, — но быть в добрых отношениях, до какой-то степени доверительных и теплых.

Загадочна была непохожестью на другие эта книга. Загадочен был и автор ее.

Книга называлась «Малахитовая шкатулка».

На обложке ее стояло имя автора — Павел Петрович Бажов.

На фоне суровой прозы тех давних лет, с преобладанием индустриального направления, без особой лирики, без разлета душевных чувств, вдруг книга уральских поэтических сказов, где действуют, словно извлеченные из прошлого, змеи, ящерицы, таинственная Хозяйка Медной горы, другие сказочные существа, вступающие в добрые отношения с мастеровыми людьми.

В ту пору я еще только-только приобщался к литературной жизни Свердловска в небольшой писательской организации, в которой Павел Петрович на первый взгляд не выделялся какой-либо активной деятельностью. Он обладал редкой особенностью с первого знакомства запоминать имя и отчество человека. Так было и со мной. При каждой встрече он неизменно говорил:

— Здравствуйте, Виктор Александрович.

Этим все наши отношения и ограничивались в ту пору.

В первых числах ноября 1939 года рабочий Нижний Тагил провожал в последний путь своего рано умершего писателя А. П. Бондина, запечатлевшего жизнь трудового Урала, выходца из рабочих, замеченного в свое время А. М. Горьким. Через зал городского Дома пионеров проходили железнодорожники, с которыми много лет проработал слесарем А. П. Бондин, рудокопы знаменитой горы Высокой, металлурги, старатели ближайших приисков, дети, множество детей, городская интеллигенция.

Павла Петровича я увидел в уголке зала, чуть в сторонке от родственников покойного. Он сидел, опершись руками на палочку, внимательно всматриваясь в лица проходивших людей. Приметив меня, поднялся навстречу.

— Хорошо, что вы тут оказались. Давайте вместе встанем в почетный караул. На панихиде скажите не-

сколько слов от имени журналистов. Вы же на Урале «Известия» представляете.

Он встал в изголовье А. П. Бондина, сумрачный, с влажными глазами. Горе его было истинно глубоким.

Многолетняя дружба связывала этих двух самых старших по возрасту уральских писателей.

Хоронили А. П. Бондина в городском саду на берегу большого заводского пруда старого, еще демидовских времен, металлургического завода. После поминок мы с Павлом Петровичем возвращались в гостиницу.

— Заходите, коли желание будет,— предложил Павел Петрович.— Выпьем чайку, скоротаем вместе время до поезда.

Я воспользовался приглашением.

— Вот ведь штука-то какая,— говорил тихим голосом, «приокивая», Павел Петрович, осторожно разливая чай изящными руками.— Жил человек, книги писал хорошие. Глаз у него был зоркий, и наблюдать жизнь, как рекомендуют ныне всем молодым литераторам, ему не приходилось, он в самой гуще ее варился. И смотрите-ко, сколько народу собралось попрощаться! Хотели выразить писателю свою благодарность и уважение.— Он вздохнул, пошевелил рукой бороду, словно успокаивая ее, добавил: — У меня одним близким человеком стало меньше. Это грустно. Особенно в моем возрасте. Вроде оттого и жизнь беднее становится...

...Наш поезд в Свердловск уходил поздно — около грех часов ночи. Я собирался попросить в горьком партии машину, чтобы добраться до вокзала, но Павел Петрович решительно этому воспротивился:

— Не такая крайность, чтобы машину одалживать. Пройдемся пешочком.

Мы шли на вокзал через темный, спящий город. Длинная неосвещенная улица, застроенная одноэтажными и двухэтажными домишками, деревянный гнилой тротуар. Кое-где в нем не хватало досок. Идти надо было, соблюдая крайнюю осторожность, дабы не поткнуться, не провалиться ногой в щель. Павлу Петровичу в ту пору шел шестьдесят первый год.

Однако шагал он хоть неторопливо, но уверенно, постукивая палочкой.

Потом, уже в Свердловске, мне много раз случилось провожать Павла Петровича после излишне затянувшихся собраний с Пушкинской улицы, где помещалось в ту пору отделение Союза писателей. Такие поздние, почти часовые прогулки были интересны. Павел Петрович, не очень словоохотливый на собраниях, в многолюдье, был зато разговорчивым попутчиком.

Тогда, в ту ночь на улице ночного Тагила, а потом в поезде Павел Петрович говорил, помнится, больше всего о Бондине. Вспоминал свою первую встречу с ним еще в 1923 году в литературном кружке «Мартен» при редакции «Крестьянской газеты». Алексей Петрович с первого появления резко выделился из среды околосредовой и богемствующей публики тех лет своей рабочей твердостью и определенностью взглядов на задачи литературы. Он пришел в кружок с произведениями, крепко связанными с жизнью рабочих людей.

С той поры и начались дружеские отношения двух Петровичей, как их шутливо называли в писательской среде. Бондин при наездах в Свердловск бывал неизменным гостем у Бажовых. Павел Петрович редактировал его книги. По духу, настроениям он был Бажову наиболее близким человеком, и с годами эта близость все укреплялась.

А сейчас, в поезде, с горечью и болью Павел Петрович говорил о преждевременной смерти Бондина, ставшей большой и невозполнимой утратой.

Я решил отвлечь Павла Петровича и перевести разговор на «Малахитовую шкатулку». Может быть, не совсем ловко я заговорил о том, что сейчас вот все писатели заняты отображением огромных социальных сдвигов, происходящих в стране, грандиозных наращиваний производственных мощностей, коренной перестройки всего уклада деревенской жизни, а вы, мол, Павел Петрович, погрузились не просто в прошлое, а еще и расцвели его волшебным, сказочным вымыслом. Для этого ведь смелость нужна — требовании сейчас совсем другие.

— Не всякий свою тропку в жизни сразу находит,— медленно заговорил Павел Петрович глухова-

тым голосом. — Вот и я тому пример... — Он помолчал. — Выдалась такая невеселая полоса в моей жизни, когда я оказался не у дел. Ну, и взялся всякие давние задумки обрабатывать. Так и получилась эта книжка. Как говорится, велению сердца подчинился... Вы вот окиньте взглядом нашу нынешнюю литературную продукцию. Души-то в ней маловато за редким исключением. Вот разве Бондин, он не забывал, что рабочий — это прежде всего человек... И характер человеческий всегда на работе сказывается. Каков разум, каково сознание, такова и работа... А ведь многие писатели нынче живописуют муравьиную бездумность производства. «Даешь», «выполним», «нажмем» — и вся забота... Да и то сказать — время такое. Некогда сосредоточиваться. А у меня по стечению обстоятельств времени оказалось предостаточно... Правду говорят — нет худа без добра. И, признаюсь вам, начал я сказки писать как бы для того, чтобы боль свою потушить... Думал: никому это не нужно, сам себе сказки рассказываю, все равно без своей работы жить не могу. А что сказки интерес вызвали, это меня самого удивило. Я, признаться, и не надеялся, что их опубликуют. Думал, может, пойдут они в народе вроде побасенок, а кто их сочинил, важно ли? И так ладно... Вы Бакалейникова, заведующего музыкальной частью нашего драматического театра, знаете? Хорошо знаете? Вальс «Грусть» помните? А ведь это его музыка, Николая Романовича. Чуть ли не с русско-японской войны она звучит. Война четырнадцатого года прошла, революция, гражданская война. Такие события! А музыка эта звучит...

В Свердловске, когда прощались на вокзале, Павел Петрович сказал:

— Выберется вечерок свободный — милости прошу на стакан чаю. Будем рады вас видеть.

Помнится, что под какими-то предложениями я дважды или трижды решился воспользоваться приглашением, ощутив особую атмосферу доброты и гостеприимства, которые были свойственны дому Бажова. Тогда я почувствовал характерную черту Павла Петровича: он никак не подчеркивал нашей возрастной разницы (а ведь был вдвое старше меня: ему — шестьдесят, мне — тридцать) и своего литературного

превосходства. Отношения складывались как бы на равных.

Изредка мы виделись на писательских собраниях и вечерах, обменивались двумя-тремя фразами и расходились.

Однажды раздался телефонный звонок, и я услышал глуховатый голос Павла Петровича:

— Извините, что, может, от дел отрываю. Приезжает Александр Серафимович Серафимович. Надо его встретить, а я транспортных средств не могу раздобыть. Не поможете?.. Да и присоединяйтесь, представительнее получится встреча. А то вроде писателей, кроме меня, в Свердловске нет.

Мог ли я отказаться от возможности познакомиться с автором «Железного потока»? Я отложил все срочные и несрочные газетные дела и к назначенному часу был у дома Бажовых на улице Чапаева. Павел Петрович уже стоял на высоком крыльце. Мы приехали на вокзал как раз к приходу московского поезда.

Высокий человек в длинном пальто спустился со ступенек вагона и уверенно пошел навстречу Бажову.

— Увидел вас — сразу решил, что вы и есть Бажов Павел Петрович, — сказал Серафимович, улыбаясь и оглядывая Павла Петровича с высоты своего роста. — Словесный портрет мне в Москве ваши знакомые нарисовали. Спасибо, что встретили. — И долго держал руку Павла Петровича, всматриваясь в его лицо.

Было это в начале 1941 года. В ту пору Серафимович приближался к восьмидесятилетнему возрасту. Но стариком его никак нельзя было назвать, просто человек преклонных лет. Держался он прямо, совершенно не сутулясь, выглядел бодро. В живости его движений было что-то от казачества. В речи — медлительной, неторопливой — интеллигентская мягкость.

В номер гостиницы был подан завтрак. Как полагается, мы выпили за приезд. Потом за здоровье Павла Петровича. Серафимович произнес маленький тост.

— Книжица ваша весьма основательная, Павел Петрович, — говорил он. — И судьба у нее будет самая

добрая. Уж поверьте старому писателю и читателю. От истоков русского языка, русской народности идете. Глубокие у вас корни, на хорошей почве укоренились.

Надо было видеть, с какой предупредительностью Серафимович относился к Бажову, ухаживая за ним на правах старшего. Павел Петрович улыбочиво похмыкивал, все поглаживая бороду, проводя рукою снизу до шеи.

— Не перехвалите, Александр Серафимович. Все-таки это ведь всего-то сказочки.

— Ан нет, дорогуша. Такие сказочки романа стоят!

Заговорили о том, что нужно посмотреть Серафимовичу на Урале.

— Каким временем располагаете и что вас интересует? — спросил Павел Петрович. — В каком направлении поехать? На север — это наша черная и цветная металлургия: Нижний Тагил, Кировград, Красноуральск... На юг — мои места: Сысерть, Полевское. На запад — очень рекомендую — Первоуральск: там рядом стоят старый трубный завод и новый — молодец молодцом. Контрасты старого и нового поразительные. На восток — Каменск-Уральский — алюминщики. Это близкие поездки, а уж ежели подалее...

— Павел Петрович, это сколько времени надо! — притворно испугался Серафимович и рассмеялся. — Век с Урала не выбраться!

— Таков Урал. Что ни место — встреча старого с новым.

Серафимович тогда побывал в Ревде, где встретился с рабочими медеплавильного завода, на старом метизно-металлургическом заводе. Несколько его литературных встреч со студентами, с рабочими на Уралмашзаводе, Верх-Исетском прошли с добрым успехом. Павел Петрович представлял автора «Железного потока» на этих вечерах с читателями.

22 июня 1941 года. Воскресенье — первый день войны.

Писатели вечером собрались в своей маленькой комнате в Доме работников искусств, где над голо-

вами парил искусно сделанный из дерева разных пород отважный Буревестник.

Павел Петрович сидел во главе большого овального стола. Лицо сумрачное. Он, активный участник гражданской войны, конечно же больше других понимал, какие испытания предстоят советскому народу, принявшему сегодня первый удар гитлеровского фашизма. Таким сумрачным мне видеть Бажова не приходилось. Помнится, из писателей были тогда А. Савчук, К. Мурзиди, И. Панов, Н. Попова, Н. Куштум, А. Исетский, К. Реут. Почти все писатели немногочисленной в ту пору свердловской организации. Некоторые из нас только что вернулись с заводских митингов, успели написать о них в «Уральский рабочий». Кое-кто побывал в военкомате. И. Панову и Н. Куштуму вручили повестки о призыве в армию. Им завидовали: они уже определились. А остальные еще на распутье.

— Всем свое место найдется,— сказал Павел Петрович. — Война эта не на полгода.

И обвел всех внимательным взглядом, словно предвидя самое горькое. Да, так оно случилось. Из присутствующих пятеро с войны не пришли.

От газеты «Известия» я вскоре уехал военным корреспондентом в действующую армию.

Наша следующая встреча состоялась с Павлом Петровичем через год.

На расстоянии четче и определеннее складывалось отношение к писателю Бажову. Я думал о том, что сформировало талант Бажова, каким путями жизнь привела его в конце концов к той «живинке в деле», которая поставила его книги в ряд ценнейших произведений советской литературы.

Когда он был совсем мальчиком, отец и мать, собрав последние крохи, отвезли его учиться. Десять лет пробыл он сначала в Екатеринбургском духовном училище, затем в Пермской духовной семинарии — в тех самых учебных заведениях, о которых Д. Н. Мамин-Сибиряк сохранил тягостные воспоминания. В пору детства Павла Петровича это была единственная возможность для детей из рабочей среды пробиться к об-

разованию. Что говорить, «бурсацкая» жизнь была такова, что о святости и истинном веровании не могло быть и речи. По крайней мере у большинства учащихся. Но там была строгая дисциплина, приучающая подростков к усидчивости, к четкому распорядку дня. Кроме того, Бажов изучил там досконально историю, латинский, греческий и, конечно, русский языки.

Восемнадцать лет Павел Петрович учительствовал, преподавал русский язык — в Екатеринбурге и Камышлове.

В это время, я думаю, шла предварительная шлифовка языка, проникновение в его тайны, бесконечная и такая необходимая для писателя практика словесности.

В короткие летние месяцы, когда наступали каникулы, Бажов, как он сам говорил, «скитался по Уралу», слушая народные побаски и записывая их. Шесть толстых тетрадей — вот результат «скитаний». Тетради, к сожалению, пропали, но записи все же сыграли свою громадную роль.

Из «копилки» народного говора, — Бажов справедливо называл в этом смысле «копилкой» Урал, куда приезжали вольно или невольно люди со всех концов России и куда «складывали» особенности своих речений, — многое закрепилось в памяти молодого учителя и, несомненно, пригодилось потом.

...Грянул 1917-й год. Бажов сразу включился в бурные события. Превосходное знание истории и народного быта помогло созреть революционному сознанию писателя. В 1918 году, почти сорокалетним, он вступил в партию большевиков и до конца своей жизни оставался ее верным сыном.

Когда началась гражданская война, Бажов пошел добровольно на фронт, участвовал в боевых операциях на Урале и в Сибири.

В это же время обнаружилось — и не могло не обнаружиться! — что самое сильное его оружие — слово.

Сразу же после гражданской войны Павел Петрович начал урывками писать. Вначале это были историко-документальные книги, посвященные Уралу. () каждой из них можно говорить и говорить. Однако сам Бажов остро ощущал, что это не совсем то, не

главное его дело. Художник, живший в его душе, талант толкали испробовать еще и еще одну «жилу».

1936 год был годом, когда писатель нащупал свой верный путь: он начал работать над сказами. Ему шел пятьдесят седьмой год.

В 1939 году — к тому времени ему было шестьдесят! — вышла неожиданная «Малахитовая шкатулка». Сказы сразу нашли путь к читательским сердцам. Они вводили в мир трудовой поэзии, открывали огромный пласт жизни. Читатель после произведений Мамина-Сибиряка заново открывал и узнавал Урал.

И какой!

Сложен и не так прост был путь писателя к признанию. Какое-то время считали, что сказы Бажова — это только фольклорные записи. Чрезвычайная скромность писателя не позволяла ему говорить о своем творчестве как оригинальном, каким оно было на самом деле. Ревнителю унифицированной речи вообще разводили руками, ибо обилию укоренившихся областных слов, рабочих терминов было просторно в сказках. Но прошло время, и все стало на свои места.

В июле 1942 года я приехал из армии на побывку в Свердловск. Город, в котором я прожил семь довоенных лет, поразил меня в первую очередь многолюдием. Никогда не бывало такой плотной толпы на центральных улицах, не бывали такими переполненными трамваи, кинотеатры, театральные залы, филармония. В городе гостили сразу два театра — МХАТ и Центральный театр Красной Армии. Сюда были эвакуированы газета «Труд», Госполитиздат, Московская 1-я образцовая типография. Приехало много москвичей, ленинградцев, украинцев. Появились десятки новых заводов на базе перевезенных предприятий из центра страны на Урал. Расширились вдвое-втрое коренные уральские заводы. Непонятно было, как и где разместилась вся эта масса людей.

В писательской организации стало не менее пятидесяти литераторов, приехавших сюда с семьями, главным образом москвичей, за ними шли ленинградцы, потом киевляне.

Несколько дней спустя после приезда в Свердловск я позвонил Павлу Петровичу.

Услышал знакомый тихий голос. Он поздравил с приездом, добавил:

— Буду рад вас видеть.

Вечером я отправился на знакомую улицу, в знакомый домик с высоким крылечком под козырьком.

Павел Петрович показался мне похудевшим, запали щеки. Поседела борода и вроде даже поредела. Лицо бледноватое, усталое.

— Трудно приходится, Павел Петрович? — не удержался я от вопроса.

— Не стоит об этом говорить, — сразу отвел этот разговор Павел Петрович. — Тягости у всех одинаковые... — И тут же, не удержавшись, добавил: — Да вот беда — на немогущего старика взвалили руководство писательской организацией. Ну, и не справляюсь... Чувствую, что не справляюсь. А не освобождают... Ну, да и не будем об этом толковать. Расскажите-ка, что повидали.

Мы сидели в тесной комнатке, выходящей окнами в сад, служившей Павлу Петровичу кабинетом и спальней. Сердце мое дрогнуло, когда Валентина Александровна внесла на подносе знакомый дымчатый графинчик и рюмочки. На тарелках немудреная закуска тех лет: отварные картофелины, луковица, редька, капуста. Несколько тоненьких ломтиков темного хлеба.

— Редкой стала эта жидкость, — добродушно сказал Павел Петрович, наполняя рюмки. — Да хотелось нас по-русски чаркой встретить. Беседа под нее бойчее получается.

Я только что побывал в тылу врага, у партизан Ленинградской области, был переполнен впечатлениями народной войны, встречами в боевых делах с народными мстителями и приехал в Свердловск с тем, чтобы, написав книжку, вернуться в армию.

О партизанском крае Ленинградской области я и рассказывал в тот вечер Павлу Петровичу.

Искреннее его внимание подогревало. Я рассказывал и рассказывал, не замечая времени. Опомнился что-то во втором часу ночи.

— Хорошо бы вам с нашими писателями встретиться,—сделал практический вывод Павел Петрович.— Вы свидетель весьма важного. Подвиг народа—это вы хорошо увидели, в живых и подлинных подробностях. Расскажите на встрече так, как сегодня рассказывали.

На мой вопрос о литературных делах самого Павла Петровича он, качнув головой, неохотно сказал:

— Что об этом толковать... Обдумываются мои сказы медленно, пишутся еще медленнее. Толкают меня со всех сторон, торопят, да проку от такой толкотни маловато.

Углубляться дальше в свои творческие дела он не стал.

Моя встреча с писателями вскоре состоялась. Писательские собрания проходили тогда в особняке Дома партийного просвещения на площади 1905 года. Наш дом на Пушкинской улице был занят под госпиталь. Собралось много писателей. Сидели в зале Ф. В. Гладков, А. А. Караваева, О. И. Маркова, Н. Н. Ляшко, Д. Д. Осин, Е. А. Пермьяк, Л. И. Скорино со своим мужем, писателем В. М. Важдаяевым, Ю. Я. Хазанович и другие. Вечер вел Павел Петрович. Благодаря ему он не носил официального характера, а превратился в хорошую беседу. Задавали много вопросов, расспрашивали.

В те месяцы, что я прожил в Свердловске, я часто видел Павла Петровича. Ежедневно он приходил в Дом печати, где помещалось отделение Союза писателей, отдавая свое время и силы тьме-тьмущей текущих дел. Я поражался порой терпимости Павла Петровича, когда ему приходилось заниматься и никчемными делами, улаживать зачастую вздорные конфликты не в меру заносчивых людей, считавших себя в чем-то обойденными, чем-то обиженными. С силами самого старшего по возрасту писателя не очень-то считались. Ему шел шестьдесят пятый год, он уже сильно начинал прибалывать. Однако всю тяжесть забот о писательском быте возложили именно на него, всю жизнь трудно сводившего концы с концами в своей большой семье, совершенно беспомощного в практической жизни человека.

Большинство писателей переносили в Свердловске трудности той поры с достойным уважением спокойствием, перестроив свою жизнь, весь быт на военный лад. Они стали в ту пору писателями-публицистами, отражая в очерках, статьях трудовой подвиг народа. Выступали перед ранеными в госпиталях. Выезжали на заводы Нижнего Тагила, Первоуральска, к горнякам Егоршина, к алюминщикам Каменск-Уральского, на север Урала, в колхозы и совхозы.

Возвращаясь из поездок (ездили обычно небольшими бригадами), писатели делились на собраниях своими впечатлениями.

Все это сложное и хлопотливое дело надо было направить, организовать. Этим и занимался Павел Петрович.

Мне довелось тем же летом 1942 года поехать в Нижний Тагил вместе с Бажовым и Гладковым.

Коллективу Уралвагонзавода, выполнявшему большие военные задания, вручали знамя Государственного Комитета Обороны. Павла Петровича и Федора Васильевича пригласили принять участие в общезаводском торжественном митинге.

Втроем мы прожили несколько дней в маленьком номере гостиницы «Северный Урал» в центре старого Нижнего Тагила. Распорядок дня установился такой: утра — в цехи Новотагильского металлургического завода, Уралвагонзавода, к горнякам горы Высокой; вечером — встречи с читателями в библиотеках, красных уголках, общежитиях. Возвращались в гостиницу поздно, порядком вымотанные. Федор Васильевич возил с собой два чайника: маленький — для заварки, большой — для кипятка. Я спускался в ресторан и там запарился кипятком. Чаепитие со скромным ужином, сахаром вприкуску продолжалось долго.

Оба писателя, такие не похожие в творчестве, душевно были близки. Федор Васильевич, человек трудного характера, способный раздражаться на весь вечер из-за мелочи, резко нетерпимый в спорах, в этом был полной противоположностью Павлу Петровичу. Но оба были приверженцами русской классической литературы, особенно ее народного направления, отдавая

дань восхищения таким знатокам и кудесникам народной речи, как Мельников-Печерский, Лесков. И, конечно, в Нижнем Тагиле они не могли не говорить о Мамине-Сибиряке. Даже собирались поехать на родину писателя, в недалекий поселок Висимо-Шайтанск. Но что-то помешало осуществить это намерение.

— Мамина не оценили в должной мере современники,— говорил Федор Васильевич. — Да и мы не очень жалуем. До сих пор не выпустили полного собрания сочинений. А в них — целая эпоха России. Он был художником яркого письма, знатоком русской речи, видевшим всю остроту социальных противоречий.

Замечу кстати, что когда после войны в 1953 году Государственное издательство художественной литературы начало выпускать восьмитомное собрание сочинений Мамина-Сибиряка, Федор Васильевич написал к нему яркое предисловие, в котором выразил свое неподдельное восхищение этим большим русским художником слова.

Павел Петрович подходил с другого бока.

— Наши литературоведы,— говорил он,— с одной только стороны рассматривают его творчество. — И, тихонько посмеиваясь, добавлял: — Все ищут в его произведениях, что Дмитрий Наркисович понял и чего не понял. Не заметил, например, приближения революции, забывая, в какие годы он писал свои главные романы, не принимая во внимание исторические условия. А главное — о его художественной неповторимости, художественной ценности произведений — забывают сказать. С косинкой глазок у них. Уж больно их социология заедает...

А когда Федор Васильевич заговаривал о бажовских сказках, Павел Петрович тушевался:

— Старое ворошу, старое. Это ведь легче — в старом-то разобраться. Виднее, что к чему становилось, что к чему прилаживалось. С горки-то оно виднее. — И тут же хитро переводил разговор на самого Федора Васильевича: — Вот вы на острие времени живете... Это посложнее, чем шевелить старое.

— Не скажите. Смотря как его шевельнуть.

В марте 1943 года я опять уехал на фронт. В Свердловск вернулся только через пять лет.

Небольшая писательская организация в войну понесла ощутимые потери. Погибли на фронтах писатели И. Панов, А. Савчук, поэты Владислав Занадворов, Константин Реут.

Но организация выросла, появились новые писатели, в литературу входило и совсем молодое поколение прозаиков и поэтов. В эти годы набрал силы поэтический голос Константина Мурзиди, хорошо работал И. Ликстанов, получивший Государственную премию за книгу «Малышок», с хорошими книгами выступали О. Маркова, Н. Попова. Во главе писательской организации по-прежнему стоял Павел Петрович.

Он нес сразу три нагрузки, хотя по объему работы и по его силам сверхдостаточно было и одной из них: ответственный секретарь Свердловского отделения Союза писателей, редактор альманаха «Уральский современник», депутат Верховного Совета СССР. К этому добавлялась и партийная нагрузка — член пленума обкома партии. А он в это время приближался уже к семидесятилетнему возрасту.

— Побольше организация стала, — сказал в первую встречу Павел Петрович, обеспокоенный творческими делами, — а все же силенок маловато. Нужно бы нам альманах почаще выпускать, но дело хлопотное, ведется на общественных началах, вот и не успеваем. Рукописи надо читать, а это для меня затруднительно по причине прогрессирующей слепоты.

Он предложил мне занять должность заместителя редактора альманаха на общественных началах, ибо никакими штатами альманах не располагал. С того времени встречи с Павлом Петровичем стали частыми. Мы решили постепенно приблизить альманах по регулярности выхода к журналу, а пока выпускать его хотя бы четыре раза в год. Материала для этого было достаточно.

Наша работа строилась так. Я приезжал к Павлу Петровичу домой, на улицу Чапаева, обычно в вечерние часы. Рассказывал подробно содержание принятых рукописей, прочитывал отдельные куски, таким же образом шел отбор стихотворений. Павел Петрович внимательно следил, чтобы альманах возможно шире вещал многостороннюю жизнь Урала, был бы не

только литературно-художественным изданием, но и общественно-политическим, злободневным.

Такая подготовка каждого номера занимала не менее пяти вечеров. Как редактор Павел Петрович был внимательным и терпеливым. Никогда не позволял себе в чей-либо адрес резких замечаний. Для него не было писателей больших или маленьких. Уважительно относился ко всем. Я не знаю человека, обиженного Павлом Петровичем. Но были писатели, о которых он говорил с нотками нежности в голосе. К числу таких относился поэт Николай Куштур, о котором однажды Павел Петрович отозвался краткой и точной формулой, что у него хоть не такой уж большой, но свой, на особинку, голос.

Послушав чьи-нибудь стихи, Павел Петрович советовал:

— Покажите их Николаю Алексеевичу. Он стихи хорошо понимает.

Николай Куштур был человеком неисчерпаемой доброты. Свердловск издавна студенческий город, готовивший для тяжелой промышленности самых разнообразных специалистов. Молодости поэзия обычно очень близка. Она-то и давала нам приток поэтов. Через душу Николая Куштума проходили тысячи поэтических строк. Он, как старатель, среди больших груд песка отыскивал блеснувшие зернышки. Студенты-поэты, получив инженерные дипломы, уезжали в ближние, а чаще дальние, вплоть до самых отдаленных восточных краев, места работы и, конечно, быстро забывали свои «грехи молодости». Случалось, что, прожив годы деловыми людьми, порой достигнув высокого положения в промышленности, они заезжали в город своей студенческой молодости и старались непременно повидаться с Куштуром. Можно было увидеть такую сцену: сидит в своем уголке кафе Николай Куштур и беседует с полуседым, в годах, человеком.

Павел Петрович, усмехаясь по-доброму, говорил:

— Отвадил человека от поэзии, а не обидел. Видите, и сейчас к нему тянутся. И на это талант нужен.

Таким талантом терпимости обладал и сам Павел Петрович. Авторы отвергнутых рукописей никогда не обижались на Бажова — так он умел объяснить чело-

веку по-отечески, добро, что в нем самое ценное. Не всегда это было литературное призвание.

Бажов говорил:

— Смотрите, как отлично вы чувствуете шахту. Художественного описания у вас не получилось, но по-человечески вы очень болеете за свое дело. Это сразу видно. Вот в этом направлении и разрабатывайте вашу жилу, здесь ваш талант — в вашей маркшейдерской работе. Не тратьте попусту жизнь на бесплодное занятие — писание плохих романов. Делайте главное дело, к которому у вас явный талант. Усовершенствуйте работу в шахте, будьте в этом смелы, неуступчивы. И вы добьетесь признания там, на шахте. А в литературе — что ж, вы написали хорошую докладную записку, а не повесть. И в ней сразу видно, какой вы умный, талантливый инженер, какой вы дальновидный организатор. А художник — это дело иное. Оно не всем дано. И зачем же рядиться не в свои одежды, когда есть костюмы, которые делают вас не смешным, а красивым человеком. Вот в эту точку и бейте. Здесь, на этом пласте, ваш успех и ценность... Трудно? А ведь и в настоящей литературе трудно. Трудно везде, если хочешь хоть немного улучшить жизнь. Вот вы потратили много времени и сил, написали о непорядках на шахте. Допустим, мы возьмем и издадим вашу работу. Но она никого не убедит и ничему не поможет. Все останется как было. А если бы вы эти же силы и упорство употребили для борьбы с неполадками там, на месте своей работы, результаты были бы, несомненно, иные. Пользы больше было бы.

Много времени отнимали у Бажова депутатские обязанности. В переписке с избирателями Бажов был чрезвычайно щепетилен, не оставляя ни одного письма, ни одной просьбы без ответа. Один вечер в неделю он отводил встречам с избирателями в помещении облисполкома. Перед тем как отправиться туда, он заходил в Союз писателей. Мы к этому часу обычно собирались в своей комнате. Павел Петрович просил кого-нибудь сходить в кафе и разменять ему порублевую бумажку на пятирублевки.

— Случается, — объяснил он однажды, — обращаются с просьбами о мелкой помощи. Приедет быв-

ший солдат хлопотать о пенсии по военной инвалидности, а денег на обратную дорогу нет или же беда какая с человеком случилась, тоже выехать не может. Ну, и поможешь человеку. Всякое бывает.

После окончания приема Павел Петрович непременно заходил в Союз — решать всякие неотложные дела. Мы шутя просили показать, сколько же у него осталось от разменной сотни.

— Будет вам, ребята, — улыбался Павел Петрович. — Осталось, кое-что осталось...

Мы спускались в нижний зал кафе и занимали столик. Обычно присутствовали Николай Куштур, Константин Мурзиди, Константин Боголюбов, Ольга Маркова, Александр Исетский. Павлу Петровичу нравились эти вечера за столом, в обществе свердловских писателей. Он, даже будучи больным, тяготился своим домашним одиночеством, тянулся к людям. За разговорами незаметно пролетали два-три часа. Павел Петрович был душой таких вечеров. Позже кто-то из писателей провожал Павла Петровича до крыльца его дома. Он мог вызвать машину из гаража облисполкома, но никогда, даже в самую скверную погоду, этим правом не пользовался. Вечера эти вошли у нас в те годы в традицию. С каким нежным, благодарным чувством вспоминаешь о них!

Была и еще одна традиция. Небольшая группа писателей получала билеты на гостевую трибуну в годовщину Октября и в Майские праздники. На трибуне среди почетных гостей всегда выделялся сказочной необычностью Павел Петрович. Фотографы, кинооператоры наводили на него свои объективы.

После окончания праздничного шествия мы отправлялись на улицу Чапаева поздравить всех Бажовых с праздником. Дверь открывала юная Ридочка, всем обликом похожая на отца. В коридоре встречала всегда приветливая, с доброй улыбкой, не покидавшей ее лица, Валентина Александровна. Мы усаживались в тесной комнатке Павла Петровича, и на столе появлялись домашние пироги — обязательные, с рыбой, капустой, домашние грибки, домашние разносолы.

Столько было ласки, настоящей приязни, улыбок... Казалось, что этот дом не покидает счастье, что живут в нем самые доброжелательные на свете люди.

Над своими рукописями Павел Петрович работал чаще всего ночью. Днем он всегда читал. Опираясь коленом на стул, он низко склонялся над книгой, водя сильной лупой по строчкам. Всякий раз он спешил поделиться каким-нибудь открытием, обычно из истории Урала. Радовался он и чему-либо словно заново прочитанному.

Однажды, лукаво засмеявшись, он спросил:

— Вы у Пушкина «Царя Никиту» читали?

— Не помню что-то, Павел Петрович,— не без смущения признался я.

— И не вспомните. Этого в общедоступные собрания сочинений не включают.— Он показал небольшой синий томик.— Только в академических... Коли не знаете, прочитайте-ка.— И протянул мне книгу.

Я стал читать вслух, и по мере моего чтения лицо его как бы светлело от хитрого удовольствия.

Он начал смеяться, и мне приходилось прерывать чтение. Смеялся он с таким удовольствием, что даже вынимал платок и протирал глаза.

— Чувствуете, с каким озорством написано? А ведь это от народа идет. Так парни где-нибудь летним пестерком такие вот небылицы сочиняли—от радости жизни, от ощущения полноты ее, здоровья, силы.

В конце сороковых годов Г. К. Жуков получил новое назначение—командующим Уральским военным округом,—и поселился в Свердловске. Он как-то сразу сблизился с Павлом Петровичем, потянулся и нему. Мы быстро привыкли, что на общегородских собраниях, на всяких торжественных заседаниях, в дни работы городских и областных партийных конференций Г. К. Жуков и П. П. Бажов сидели в президиуме рядом. И место за столом ими словно было предусмотрено постоянное—самое крайнее от трибуны

для выступающих. Сидя за столом, невысокого роста Г. К. Жуков казался очень большим и широким. П. П. Бажов рядом с ним выглядел как-то ниже ростом, но удивительно красивым, со своей выразительной бородой, сократовским лбом. Они оба были красивыми, большой, человечески значительной красотой. Они наклонялись друг к другу, о чем-то перешептывались, улыбались. В перерывах выходили вместе и опять усаживались рядом в укромном уголке, о чем-то переговариваясь, до той минуты, пока звонок не приглашал занять места в президиуме.

При очередных выборах в Верховный Совет СССР П. П. Бажов совершал тяжелую в зимнюю непогоду, продолжительную поездку по дальним избирательным участкам своего большого Красноуфимского округа.

Однажды, дня два спустя после его возвращения из Красноуфимска, я пришел навестить Павла Петровича, чувствовавшего себя не совсем здоровым, кстати и решить всякие неотложные дела.

Мы только выпили по первой чашке чая, когда в дверь заглянула Валентина Александровна.

— Георгий Константинович к тебе,— сказала она.

Павел Петрович, просияв всем лицом, поспешно направился, мягко ступая ногами, обутыми в валенки, в небольшую переднюю, где Георгий Константинович уже снимал с себя маршальскую шинель.

— Еду мимо,— заговорил он густым голосом,— вижу — окна светятся. Ну, и осмелился на огонек заглянуть, осведомиться, как себя чувствуете после поездки. Не помешал?

Войдя в комнату, он окинул взглядом стол, прищурился и сказал по-домашнему:

— Доброе дело... Может, и рюмочка найдется с морозу.

Выпил как-то очень вкусно, даже причмокнул. И стал расспрашивать Павла Петровича, как прошли его встречи с избирателями. В свою очередь и Павел Петрович поинтересовался впечатлениями Г. К. Жукова от поездки.

— С военными людьми привык общаться,— медленно заговорил Г. К. Жуков,— а тут вплотную с рабочими, колхозниками.

И не передать, как хорошо все получалось. На каждом собрании обязательно встречались бывшие солдаты, с которыми на разных фронтах вместе бывали. — Он помолчал. — Много инвалидов, много... А солдатских вдов... Войной пахнуло, народным горем, будто вчера все это было. Знал, что большие потери мы понесли. Но это разумом, а вот сердцем сейчас особенно как-то почувствовал. Но какие люди! Каким прекрасным языком говорят!

Жуков не вдавался в особые подробности поездки. Умолчал он и о том поистине народном празднике, каким стали его встречи для всех избирателей. Они происходили в разгар зимы. Выдалась она в том году на Урале особенно суровой, напоминая военную зиму 1941 года. Известны были маршруты поездки Г. К. Жукова по округу. Жители сел и деревень с утра выходили на заснеженные узкие дороги и ждали проезда маршала. Вереницы людей! Плечом к плечу. В Домах культуры, сельских клубах, часто нетопленных, школах избиратели собирались с утра, занимая места поближе к сцене, хотя порой встречи происходили вечером. Так выражалась любовь народа к своему замечательному полководцу.

— Мы с вами, Павел Петрович, люди пожилые, — говорил Жуков, — нам как-то виднее все самое хорошее в народе.

— Вы-то еще молоды, если со мной счет вести, — улыбнулся Павел Петрович.

— В такой-то поре мы с вами почти одногодки, — возразил Жуков. — Обоим нам многое пришлось повидать, многому поучиться... Добрые мысли нахожу и в ваших сказах. Ведь я вашу сказочку порой возьму и на ночь почитаю. Прочту одну и глаза закрою.

— Неужто ко сну преклоняет? — засмеялся Бажов.

— К хорошему...

Я не могу в точности передать всего разговора, полного полунамеков, понятных обоим и непонятных мне, улыбок, острых искорок смеха. Несколько раз Георгий Константинович ласково накрывал своей большой ладонью маленькую руку Бажова.

Г. К. Жуков пробыл у Бажовых недолго и, помилев, что больше не может задерживаться, со всеми распрощался.

Павел Петрович после его ухода не мог сразу вернуться к прерванному разговору. Задумался, вздохнул.

— Эпическая фигура... — только и сказал он.

...Это самое тяжелое в моих воспоминаниях о Павле Петровиче.

Свердловский вокзал. На перроне Павел Петрович, неизменная его спутница Валентина Александровна. Нас, провожающих, не много — К. Мурзиди, Ю. Хазанович и я. Холодно. Ветер несет по перрону легкую снежную пыль. Павел Петрович стоит возле дверей своего вагона. Лицо под низко надвинутой на глаза шапкой грустное. Говорим о каких-то пустяках, пытаемся шутить.

Мы начинаем прощаться. Павел Петрович со всеми целуется, поднимается на первую ступеньку, задерживается, оборачивается к нам и вдруг чуть слышно, только для троих, говорит:

— Ребята! Ведь я в Москву еду умирать, — и поднимается в вагон.

Его лицо появляется в широком окне. Оно словно врезано в рамку. Словно портрет.

Поезд трогается. Павел Петрович не отходит от окна, смотрит на нас.

Мы идем рядом с вагоном, медленно набирающим скорость, машем руками. Павел Петрович ответно поднимает руку. Последний жест!

Простились...

Потом пришел тот вьюжный и пронзительно морозный декабрьский поздний вечер, когда из хвостового вагона мы выносили гроб с Павлом Петровичем, потом были похороны, всенародные проводы уральцев писателя к месту его последнего упокоения.

Снова я в доме Павла Петровича. Поминки... Народу не много. Члены семьи, родственники, несколько свердловских писателей, представители Союза писателей из Москвы — В. Кожевников, М. Котов, П. Нилин. Еще трудно осознать, что хозяина этого дома нет в живых. Но вот громче становятся голоса за поминальным столом, завязываются разговоры на литературные темы.

Кто-то вызывает Валентину Александровну. Она быстро возвращается и говорит:

— Георгий Константинович приехал.

Входит неторопливо Г. К. Жуков. Ему освобождают место рядом с Валентиной Александровной. Он выпивает поминальную рюмку, берет руку Валентины Александровны и почтительно целует ее.

— Понимаю ваше горе, Валентина Александровна,— тихо говорит он.— Но мужайтесь, у всякого свой час.

Валентина Александровна, стойко державшаяся этот долгий, трудный день, вечер, ухаживая за теми, кто пришел на поминки, только сейчас заплакала...

Москва, 1976



БОРИС РЯБЕНИН



ПО СЛЕДАМ ЛЕГЕНДЫ

Помню, как обрадовал меня летом 1939 года неожиданный телефонный звонок: Павел Петрович приглашал меня, тогда еще совсем молодого литератора, сопровождать его в поездке на свою родину — в Полевский район.

— Вдвоем-то веселее, — пояснил он свое предложение. — И тебе польза: Полевское повидаешь.

Полевский район — родина уральского рабочего фольклора, родина изумительных по яркости формы и глубине содержания устных рабочих сказов, ставших ныне бажовскими сказами, по имени того, кто придал этим самоцветам устного народного творчества ювелирную огранку, собрал их, философски осмыслил, ввел в мир большой литературы, и вполне понятно, что я ответил немедленным согласием.

Своими глазами посмотреть на места, описанные в «Малахитовой шкатулке», увидеть и понять почву, на которой она выросла, да еще проделав это путешествие в сопровождении самого автора сказов, — право, для этого стоило отложить любые срочные дела!

Павел Петрович ехал в знакомые места после долголетнего перерыва. Еще не были написаны сказы «Ермаковы лебеди», «Веселухин ложок», «Не та цапля» и многие другие. Всем им суждено появиться после этой поездки.

И вот мы в поезде. Павел Петрович приумолк, все чаще поглядывает на окно, наконец негромко произносит:

— Сысертская дача пошла.

Смотрю по направлению его взгляда, но никаких особых признаков Сысертской дачи не вижу. Все тот же пейзаж, почти не изменяющийся от самого Свердловска: лес, перелески — колки, кое-где небольшие лесные пашни, время от времени неглубокие зеленые лощины. Однако спокойно-уверенный тон моего спутника не оставляет сомнений. А вскоре и названия разъездов подтверждают, что действительно «пошла» Сысертская дача.

На соседнем сиденье, за нашей спиной, двое пассажиров, по виду колхозники, оживленно рассуждают о золотом самородке, найденном недавно в здешних местах. Павел Петрович уже давно с интересом прислушивается к их беседе, неторопливо покуривая папиросу.

— Ведь уж все кругом ископано было, перешеек маленький остался. Тут и накопались... Только лопатой ковырнули — и готово!

Павел Петрович, не выдержав, оборачивается:

— Велика ли находка?

— Тринадцать семьсот.

— Славно. Где нашли?

— В Косом Броду.

— А вы сами-то откуда будете? — поинтересовался он после непродолжительной паузы.

— Из Полевского, — ответил один из беседующих.

— Из Полевского? — оживился Павел Петрович. —

Ну что, как он? Изменился?

— Да есть кое-что. Криолит, завод большой. Гумишки, говорят, разрабатывать опять хотят. Домов новых понастроили, стадион. Церква-то знали, где стояла?

— Знал.

— Ну, так тут, около этого места, стадион нынче...

Павел Петрович докурил папиросу, молчит и задумчиво щиплет бороду.

Станция Мраморская. Недалеко от железнодорожной линии высится серое каменное здание фабричного типа — мраморный завод. Когда проезжаем мимо него, Павел Петрович припоминает вслух:

— Старый заводик. Лет двести, не меньше. Самый тихий завод, какой знаю. Бывало, даже страшновато становилось: идешь по поселку — тихо, никого не видно... все на заводе. А работа тихая: шир-шир по плите пилой... Придешь на завод, а там сам тешет, сама вертит, ребята ширкают. Работали целыми семьями. Двести лет камень тешут... А жили бедно, даже собак не держали, кроме попа мраморского — тот здорового волкодава кормил.

Видно было, что воспоминания переполняют его. С волнением и живым интересом всматривался он в каждую деталь, сравнивая с тем, что было раньше, попутно приводя в разговоре любопытнейшие, характерные подробности из старого горнозаводского быта и вообще из истории Урала, по-своему осмысляя многие мелочи, которые прошли бы незамеченными для другого глаза.

На станции Сысерть вышел, походил по перрону и, возвратившись, сообщил, что станция, пожалуй, не изменилась.

Езда не дальняя, от Свердловска до Полевского по прямой не более шестидесяти километров, но Павла Петровича раздражало нетерпение.

— Вот они, Гумёшки, смотрите! — спешит показать он в окно.

Поезд медленно подтягивается к остановке. За окном видны обширные заброшенные выработки. Там и сям торчат трехногие буровые вышки. За ними, у подножия невысокой облысевшей горы, поселок. По другую сторону железнодорожного полотна дымит большой, обнесенный забором завод.

Выходим из вагона. Павел Петрович на ходу осматривается и вполголоса бормочет:

— Изменилось, изменилось... Неузнаваемо стало...

О своем приезде Павел Петрович никого не предупредил. Нас никто не ждал, не встречал. Наняли возницу с лошадью, погрузили в телегу чемоданы, сели

сами, и незатейливый экипаж загремел по нескончаемой, вытянувшейся в ниточку главной улице поселка.

Примерно на половине пути седоусый возница обернулся:

— Вы у нас бывали? Я как бы видал вас...

— Бывал,— отозвался Павел Петрович. — Давненько уж.

— Я и не говорю, что вчера. Не вчера родился.

— Да и я не вчера,— с юмористической серьезностью заметил Павел Петрович. — Вижу по усам, с кем имею дело.

Когда телега остановилась около Дома приезжих, Павел Петрович вежливо осведомился, как фамилия возчика. Тот в свою очередь тоже спросил и, услышав в ответ: «Бажов», сразу оживился:

— Стойте-ко! Василий Семеныч?

— Павел Петрович.

— Как же! Петра-то Васильевича хорошо знал! Батюшку вашего! Это шкатулка, значит... изумрудная?

— Малахитовая,— с улыбкой поправил Павел Петрович.

— Да, да!

Распростились как самые лучшие друзья.

В Доме приезжих не оказалось ни одной свободной койки. Подвода уже уехала.

— Куда же мы теперь денемся? Лето, положим, не замерзнем,— шутливо-серьезно рассуждал Павел Петрович. — Ну, ничего, тут у меня один адресок есть на примете. Пойдем искать.

На главной улице поселка жил бывший ученик Бажова, Николай Дмитриевич Бессонов, к тому времени сам преподаватель средней школы. Остановились у него.

Встреча была сердечной.

— Павел Петрович! Сколько времени не видались! Борода-то — что же это? — совсем седая стала!

— Седая, Коля, седая... Да борода-то — полбеда. Вот слова захлестывает...

— Бывает!

— Бывает, конечно. Но когда часто, так начинает на размышления наводить: не пора ли с полукона бить? Что у нас так говорят,— пояснил Павел Петрович и тут же внес поправку: — Говорили.

— Давненько у вас не был. С женой последний раз приезжал. Сколько же прошло? — принялся он подсчитывать. — Девчонка младшая еще в чемоданчике была... Сейчас ей четырнадцать лет. Значит, годков пятнадцать прошло! Да и у тебя, гляди-ко, Николай Дмитрич, голова-то седая стает...

— Седая, Павел Петрович. За сорок ведь уже стукнуло.

— Ребят-то много ли?

— Четверых рощу.

— Вот это хорошо.

Пока жена Николая Дмитриевича хлопотала у садовара, гости в сопровождении хозяина дома отправились на прогулку. Выйдя переулком на зады поселка, перешли по мостику речку и поднялись на гору Думную — ту, что видели еще от станции.

Гора увенчана памятником. Это — в память расстрелянных здесь во время гражданской войны коммунистов. На мраморном пьедестале строгая фигура рабочего с винтовкой за плечом и с молотком в руках. Статуя отлита на Каслинском заводе, известном своими художественными изделиями из чугуна.

Гора невысока, пологая и без единого кустика. Там и сям из-под сухой, тощей, выгоревшей на солнце травы высовываются острые ребра камней. Говорят, она исстари всегда была такой лысой. Но именно потому, что она открыта со всех сторон, с нее широкий вид на окрестности.

Павел Петрович сел на обломок каменной глыбы, словно извергнутой сюда подземным катаклизмом, и тотчас запалил неизменную папиросу. Легкий ветерок обвеивает его лицо, шевелит седую бороду, раздувая синий дымок и рождая необыкновенную ясность мысли. Не так же ли сиживал здесь когда-то дедушка Слышко — Василий Алексеевич Хмелинин, по прозвищу «Стаканчик», неутомимый рассказчик, впервые заронивший в душу юного Бажова глубокую любовь к родному слову, пробудивший в нем неистребимый, на всю жизнь, интерес к многотумной, красочной народной побывальщине — легенде?

У подножия Думной струится речка Полевая. На противоположном берегу ее огороды. За огородами вплотную придвинулись первые дома поселка. Ярки-

ми белыми пятнами сразу бросаются в глаза две недавно отстроенные каменные школы-десятилетки и россыпь новых домов, образующих целый поселок на окраине старого. Дальше, немного отступя от домов, начинается лес, и за ним, заслоня горизонт, встает сглаженная и как бы прижатая немного посредине Азов-гора. На вершине ее чуть видна триангуляционная вышка.

Левее поселка лежит пруд. Он тих и спокоен. По другую сторону поселка виден завод. Он плавает в облаках дыма. Правее местность понижается к речке, и на берегу, у пруда, стоит темно-красное, кирпичное, как видно, здание, приземистое, с непропорционально большой железной трубой, а за ним — уже совсем далеко — едва можно рассмотреть высокие трубы еще какого-то завода; самого завода не видно — он скрыт холмами.

Солнце уже село, но видимость еще была хорошей. Сильный полевой бинокль переходил из рук в руки. Наш гостеприимный и предупредительный хозяин охотно дает пояснения.

— Это Криолит, — говорит он, показывая рукой на окутанный дымом завод. — А вон то, низенькое-то здание с железной трубой, — Штанговая электростанция.

— Штанговую помню, — роняет Павел Петрович.

— А то, трубы-то, — Северский завод..

— Не узнать Гумёшки, — произносит Павел Петрович после некоторого раздумья и тут же деловито осведомляется: — На Думной разведки не было?

— Не было.

— А надо бы. Пожалуй, и нашли бы.

Помолчали.

— А далеки в Северском живы?

— Живы.

«Далеки» — это несколько параллельных улочек в поселке Северского завода. Оказалось, что есть здесь «поганый уголок» (западная окраина Полевского), «штаны» (две сходящиеся вместе улицы), «дьяконский рукав» (одно из покосных угодий) и еще много колоритных названий, оставшихся от прошлого.

Для любого приезжего человека они только занятное созвучие слов, для Павла Петровича — частицы его жизни, и не только его, крупицы еще не написанной

истории поселка, истории всего этого богато наделенного природой, с необычайно колоритным прошлым, края, почти осязаемые, живые вехи минувшей эпохи. И потому он с удовольствием вслушивается в эти названия, мысленно повторяет их про себя, как бы стараясь по-новому воспринять их.

Спускаемся с Думной. Из-под ног сыплются мелкие камешки. Павел Петрович, поскользнувшись, взмахивает руками, ища опоры для потерявшего равновесие тела. Но решительно и как бы даже с обидой отталкивает протянутую ему руку:

— Ну-ко, ну-ко, не мешай!

— Да я сам хотел поддержаться!

— А, это можно! — И подхватил дружески под руку.

Спустившись с другой стороны горы и пройдя немного вдоль речки, вышли на плотину. У подножия ее огромная выемка с остатками каких-то строений. Здесь стоял Полевской медеплавильный завод, тот самый, который фигурирует во многих бажовских сказах, положивший начало и поселку и вообще горному делу в здешних местах. От него сохранилось только несколько фундаментов, сваи, крохотный каменный корпус да будка сторожа на плотине с вырезанной из железа цаплей — знаком бывшего Сысертского горного округа.

— Ты эту цаплю сними, — говорит Павел Петрович, дотрагиваясь пальцем до моего фотоаппарата. — О ней будет особый разговор. Про нее народ даже песню сложил. Какую? А вот: «Горько, горько нам, ребята, под железной цаплей жить...»

— Ну вот, Павел Петрович, — замечает Николай Дмитриевич, — а еще жаловался, что слова захлестывает... Что-то не видно!

— Не каждый же раз, — добродушно улыбается Павел Петрович. — Бывает, что и ладно получается.

Так и подмывает спросить, какой «особый разговор» связан с железной цаплей, которая торчит на длинном шесте как память о давно минувшем, помятая и почерневшая, но не хочется нарушать течение мыслей Павла Петровича.

— Давно ли десятилеткой по плотине-то бегал... — задумчиво говорит он, наблюдая за купающимися в пруду ребяташками.

Внезапно на площади становится шумно — повалил народ из кинотеатра. Доносится пронзительный мальчишеский голос:

— Первый сеанс отпустили!

Павел Петрович чуть заметно улыбается:

— «Отпустили»... Хорошо!

Грохочет телега по деревянному настилу плотины, заглушая ритмичный шум падающей воды, — вероятно, так же стучала она пятьдесят, сто лет назад, — и тотчас доносится фыркание мотора проносающейся по улице автомашины. На зеркальной глади воды чернеет точка — рыбак в лодке.

Добротный каменный дом смотрится окнами в пруд.

— Тут у нас детясли, — поясняет Николай Дмитриевич.

— Господский дом, — как эхо, отзывается Павел Петрович, весь во власти воспоминаний.

Мимо кинотеатра, мимо бывшего «господского дома», отданного теперь самому юному поколению полвчан, мы идем домой, где уже ждет кипящий самовар, душистый, свежей заварки, чай с молоком — поуральски! — и горка румяных, подогретых в печке уральских картофельных шанег, а паче того ждут четверо наследников Николая Дмитриевича, сгорающих от нетерпения посмотреть на «дедушку Бажова».

Кабинет секретаря райкома. Подоконники завалены образцами руд и минералов. В небольшом полированном ящичке под стеклом хранится бронзированный слепок с самородка, о котором мы слышали в вагоне, — плоский, вытянутый и гладко обкатанный, похожий на неестественно громадный желтый боб.

Наш приезд совпал с большой работой по составлению материалов о естественных ресурсах района, проводившейся по заданию обкома партии и облисполкома. Материалы предназначались для отправки в Москву. Секретарь райкома с увлечением занимался этим делом. Копался в архивах, изучал историю своего района, ездил на вновь открытые горные разработки и даже просто по геологическим шурфам, стараясь собрать как можно более полные сведения.

— Вот недавно графит нашли, асбест, — принялся

показывать он, развертывая бумажные свертки. — Качеством еще не очень высоки, но и поиски-то были самые поверхностные. Копнуть — так, может, и не то найдется. — И он стал перечислять, какие богатства надеются разведать в ближайшем будущем.

Павел Петрович внимательно слушает, кивает головой, а сам нет-нет и задержится внимательным взглядом на собеседнике, незаметно словно прощупывая его.

Войдя в кабинет, он вначале опустился в предложенное ему глубокое мягкое кресло, но затем поднялся и пересел на стул, а спустя еще минуту встал и подвинулся к столу; одной рукой оперся о край его, а другой, поставленной на локоть, повертывал перед глазами то, что подавал ему секретарь, и так, стоя, оставался в течение всей беседы.

Иногда, переспросив, он что-то заносил в книжечку, которую вынимал из нагрудного кармана и тут же прятал. Порой задумывался на пять — десять секунд и опять спрашивал. Казалось, он искал что-то известное ему одному. Попутно высказывал свои соображения — где, когда, на его взгляд, возможны еще залегания того или иного ископаемого. Не забылись родные места!

Характерно, что сбор так называемого материала начался незаметно, как бы сам собой, точно тут не было писателя, создателя широко известной «Малахитовой шкатулки», а сам Бажов приехал совсем по другому делу, не имеющему никакого касательства к литературе.

Беседа закончена. Теперь у Павла Петровича одно желание — поскорее отправиться в объезд по району.

— В Косом Броду, в Полднейвой побывайте, — наказывал на прощанье секретарь. — Там старички много кое-чего сумеют рассказать. Помнят, не забыли. На Гумёшки съездите, Криолит посмотрите. Многое, пожалуй, теперь и не узнаете... А на Азов тоже поедете?

— Ну как же, — опять согласно кивает Павел Петрович, — непременно надо съездить.

Вот и машина подкатила к крыльцу. Едем!

С чего начать? Решили — с Азова.

Азов от Полевского недалеко, километров пять-шесть. Но проехать напрямик трудно, почти невозможно — лес, чащоба, болота. Пришлось в обход, че-

рез Зюзельский рудник, расположенный у самой подошвы Азов-горы.

Дорога на Зюзельку вымощена камнем. Местность болотистая, покрытая чахлам лесочком.

Зюзелька — деревянный поселок, выросший в расчищенной от леса низине. Новые жилые дома обычного типа, какие можно встретить в наше время в любом молодом поселке, возникшем на еще вчера необжитом месте. Новое здание рудоуправления, столовая, клуб. Свежеобструганное дерево не успело потемнеть на солнце. Новые копры шахт. Одна — действующая — шахта расположена в черте поселка. Под эстакадой грузятся рудой автомашины (железной дороги на Зюзельку тогда не было, ее построили в годы Великой Отечественной войны). Другая шахта — Капитальная — в отдалении, у леса. Она достраивалась и вскоре должна была вступить в эксплуатацию. Огромный, обнесенный изгородью, пустырь между шахтами провалился в подземные выработки, образовав глубокую впадину, наподобие кратера вулкана, — это как напоминание о труде прошлых поколений горняков.

До того, как был заложен тут рудник, по речкам Железянке и Зюзельке разрабатывался богатейший золотой прииск. Места были глухие — тайга, кругом топи, ни дорог, ни тропинок. Отыщет старатель богатую жилу, приметит местность, «знаки», какие надо, оставит. Назавтра пришел — ни примет, ни «знаков»... Сколько угодно ищи — не найдешь. Будто в колодец все провалилось! Так и звали эти богатые, но «заколдованные» места Синюшкин колодец.

А почему «Синюшкин»?

Там, где залегают медные руды, в сырую погоду обычно появляется синеватый туман. Вязкий, тяжелый, медленно стелется он по поверхности земли. Отсюда, надо полагать, и родилось это прозвище «Синюшкин». Отсюда возник сказ Бажова «Синюшкин колодец», а еще раньше был написан им очерк «Под знаком синего тумана», рисующий тяжелую, безрадостную долю рабочих медной промышленности дореволюционного Урала.

Ко времени описываемой поездки работа над сказом «Синюшкин колодец» была уже закончена, и он должен был вот-вот появиться в печати, но Павел Пе-

трович все продолжал очень живо интересоваться Зюзелькой, прошлое которой послужило первоосновой для создания одного из лучших его произведений. Он начал расспрашивать о Зюзельке еще в машине шофера, однако подробную беседу о современном состоянии рудника отложил до возвращения с Азова. Азов манил его.

Постепенный подъем на гору начался почти сразу же за последними строениями Зюзельки. Едва заметная полевая дорожка виляет из стороны в сторону. Следуя ее капризным поворотам, наш газик то спускается в неглубокие лощины, то продирается сквозь кусты, то лезет круто в гору. Скоро не стало и этой дорожки. Машина идет прямо по лесу, оставляя за собой глубокие колеи примятой травы.

А трава высока, колеса целиком утопают в ней; местами она поднимается выше бортов. Воздух насыщен ароматом цветов и жужжанием слепней.

Чем дальше, тем круче подъем. На пути часто попадаются огромные прелые колоды, целые стволы поваленных бурей деревьев толщиной в два обхвата. Вот пень, в дупле которого могут свободно стоять два человека. Павел Петрович охотно принимает предложение сняться в дупле и позирует, улыбаясь, надвинув кепку глубже на глаза, чтобы не слепило солнце. Весело шутит: «Вроде как леший!»

Все глуше, дичее лес, хотя проехали мы не так уж много. Каков же был он лет двести — четыреста назад, когда первые отряды русских храбрецов пробирались ставшей теперь почти мифической Азовской тропой мимо этих гор в далекую, манящую Сибирь?

Наш водитель ловко объезжает все препятствия. Он, видимо, твердо решил взобраться на вершину Азова не иначе как на автомобиле! Павел Петрович восклицает:

— На Азов — и вдруг на машине?! Удивительно! До чего же времена меняются!

Стоп! Впереди меж стволов деревьев проглянуло что-то темное, каменное, громадное. Близка вершина — шихан. Дальше возможно только пешком.

Вылезает из машины, и тут Павел Петрович обнаруживает, что всю дорогу держал на согнутой руке драповое пальто, захваченное из дому «на всякий слу-

чай» (у него хронический бронхит, и жена наказывала беречь себя).

— Никакой догадки не стало! — сердится он сам на себя, освобождая затекшую руку и кладя пальто на сиденье.

Поставив машину в тень, лезем по тропинке куда-то вверх. Камни, шишки катятся из-под ног. Низко нависли ветви, стегают по лицу, приходится раздвигать их руками. Мелькнула и исчезла в траве змея — не то уж, не то гадюка.

Влезли. Наконец-то! Ровная площадка, много тени — кусты, деревья. Под березами избушка с дерновой крышей. В избушке ведро с водой. Напились. Вода прохладная, вкусная — ключевая.

Метрах в пяти от избушки дымит костер. Огонь едва виден в клубах сизого дыма, выбивающегося из-под дерновины, наброшенной на поленья. Две лошади стоят, прядут лениво ушами, щурясь от едкого дыма. Людей — ни души.

Но это еще не вершина. Площадка упирается в скалы. На самой высокой из них триангуляционная вышка. Это ее мы видели с Думной горы. Там самая высокая точка Азова.

Берем последнее препятствие. Павел Петрович — замыкающим.

Вышка служит геодезическим знаком и одновременно наблюдательным пунктом лесоохраны. На ее площадке дежурный охраны зорко посматривает по сторонам. Второй дежурный бродит где-то в лесу, собирает на обед грибы и ягоды. Это их избушка и кони.

Ну вот мы и наверху. Сколько здесь воздуха и света! Какая высота! Глубоко в зеленой долине белеют домики Полевского. Окрестные холмы с величавой высоты Азова кажутся едва заметными возвышенностями. Плывут облака. Даль подернута дымкой.

— Жаль, — говорит наш проводник, служащий Зюсельского рудоуправления. — В ясную погоду отсюда Свердловск видно.

Идем полюбоваться на скалы «Ворота». Представьте себе две огромные каменные глыбы, поставленные на попа, одна против другой. Между ними узкий проход, метра в три шириной. Это своеобразный перевал

через Азов. Темная окраска камней — в тени они кажутся почти черными — контрастирует с изумрудно-яркой, залитой солнцем зеленью травы и кустов. Место волшебное, чарующее.

— Не здесь ли девка Азовка гостей принимала? — шутит Павел Петрович. — Эй, где ты? Откликнись! Покажись!

По некоторым из легенд, здесь, на Азове, скрывались в старину разбойники, или «вольные люди». Ну, а где разбойники, там и клады. Охраняет эти клады девка Азовка. Она невиданной красоты и неслыханно большого роста. Живет она в горе и заманивает к себе неосторожных путников. Если же кто вздумает сам проникнуть в гору, девка Азовка «в гору не пускает, ветер пускает. От ветра свеча гаснет и дышать тяжело...».

В других легендах говорится о том, что когда-то жили в здешних местах «стары люди» — неведомый народ, населявший в глубокой древности Урал. Жили безбедно, занимались рыбной ловлей да охотничьим промыслом, а богатство свое — золото самородное, хризолиты — вовсе и за богатство не считали. Но вот пришли в эти края чужие, злые люди. Узнали про богатство «старых людей» — стали требовать, чтобы те отдали его им, стали притеснять, обижать их. Видят «стары люди», что не будет им покоя, собрали все золото да камни драгоценные в пещере на Азов-горе, сами туда же забрались, обрушили все выходы из пещеры и завалили там себя вместе со своими сокровищами. От всего народа остался только один человек — девка Азовка. Она и стережет клад...

Устные предания, передаваемые от отца к сыну, от сына к внуку, упорно сходятся на том, что раньше на Азове были пещеры. Сейчас на Азове никаких пещер нет, нельзя установить даже, где были входы в них, если они были вообще...

Как бы то ни было, но неоспоримо одно — Азов-гора всегда занимала видное место в устном народном творчестве Урала, и это, очевидно, имело свои корни.

В старину через Азов шла тропа в Сибирь. Во времена Грозного этот путь связывал Сибирь с Уфой. По этой тропе двигалась камско-чусовская вольница. Эта

же тропа служила для пересылки воевод, снаряжения, воинского пополнения. Несомненно, характерный и видимый издали профиль Азова был приметным пунктом — маяком — на этом историческом пути через завоеванные, но не освоенные еще земли, покрытые дремучими лесами и таившие на каждом шагу много опасностей. Весьма вероятно, что некоторые из удалцов находили временный приют на Азове. Все это породило новые сказания и легенды о горе. Можно предположить, что первыми смельчаками землепроходцами было принесено и это название — Азов, более характерное для южных земель России, нежели для Урала.

Естественно, что такой вдумчивый и тонкий художник, как Бажов, посвятивший всю свою жизнь собиранию народных дум, не мог пройти равнодушно мимо темы Азов-горы. На материале преданий об Азове построен один из самых первых его сказов — «Дорогое имячко».

Помню, как ликовал Павел Петрович, когда на Азове действительно обнаружались интересные находки. Случилось это месяц спустя после нашей поездки в Полевское.

— Слышал? — говорил торжествуяще Павел Петрович по телефону. — Нашли ведь! Не зря, стало быть, толковали о «старых людях» да о кладах, зарытых в горе. Не зря!

И немедленно вновь поехал в Полевское, чтобы самолично убедиться в достоверности фактов, сообщения о которых вскоре пришли и в газеты.

А нашли вот что.

После выхода в свет «Малахитовой шкатулки» интерес к Азов-горе резко повысился. Ее стали часто посещать экскурсии школьников и взрослых, большие группы туристов приезжали издали, чтобы увидеть эту сказочную гору. Однажды на Азов поднялась большая компания полевской молодежи. Вдруг видят — среди камней, в тени под корнями сосны, поваленной ветром, что-то блеснуло. Заинтересовались, стали копать и близко, у самой поверхности, нашли клад медных вещей — всего тридцать шесть предметов, — жертвенные изображения каких-то диковинных клювастых

птиц, относящихся к бронзовому веку. Ребята даже потеряли их песком, чтобы убедиться, не золото ли. Хотели и отчистить позеленевшие предметы. «Ну, тут нашелся умный человек, сказал, что зелень не надо оттирать»,—удовлетворенно потом рассказывал Павел Петрович, для которого все это было нечто большее, чем обычное археологическое открытие.

Позднее было найдено еще четыре предмета, в том числе копье весом около полутора килограммов. Медь литая. Для прошлых насельцев края все эти вещи, несомненно, являлись даже большим сокровищем, нежели золото.

Находки вызвали громадный интерес в ученом мире. Все они представляли исключительную научную ценность и были отправлены в Центральный исторический музей, в Москву.

По заключению археологов, здесь было мансийское стойбище тысячелетней давности, еще до разделения племен на манси и ханте.

Так самым блистательным образом подтвердилась мысль, которую Бажов не раз высказывал: в основе подавляющего большинства легенд лежит научно доказуемый, но неизвестный нам исторический факт.

...Жаль покидать Азов. Мысли невольно переносятся к тем временам, когда у подножия этих величественных скалистых вершин пробирались на восток вооруженные караваны. Сколько требовалось мужества и решимости, чтобы идти в глубь неведомых земель!

Спускаемся вниз, снова садимся в машину. Мотор не включен, но автомобиль легко скользит, придерживаясь проложенной на переднем пути колеи. Но... что это? Колея исчезла. Некоторое время шофер рулит наудачу, затем резко тормозит.

— Куда? — спрашивает он проводника.

Тот долго осматривается по сторонам и не очень уверенно указывает направление.

Через пять минут уперлись в болото. Взяли правее — болото. Объехали влево — опять болото.

— Вот она, девка Азовка-то, завела да бросила! — шутит Павел Петрович.

После подъема на Азов-гору он сдержан, молчалив более обычного...

Через четверть часа мы въезжали в Зюзельку. Совсем близехонько и плутали-то!

У маленького домика, на дверях которого значится табличка:

1-й ГОРНОСПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
2-й ОПЕРАТИВНЫЙ ПУНКТ ПРИ
ЗЮЗЕЛЬСКОМ РУДОУПРАВЛЕНИИ.

выстроилась шеренга людей в брезентовых комбинезонах. На бойцах-горноспасателях круглые упругие каски, за спиной блестящие кислородные приборы — респираторы; гофрированная трубка респиратора подведена ко рту для дыхания, на голове лампочка-фонарик.

Командир отряда, высокий, мужественного вида человек, по национальности татарин, внимательно проверяет исправность снаряжения каждого бойца. Предстоит тренировочный спуск в шахту. Этого не было на старом Зюзельском руднике. Да, пожалуй, и на всех старых рудниках Урала.

Павел Петрович следит за горноспасателями долгим, внимательным взглядом, пока они не скрываются из виду.

Пока мы поднимались на Азов, в Зюзельском успели подготовиться к встрече. В клубе полным-полно народу — как раз кончилась смена. Все ждут Бажова.

На сцене цветы; над сценой, на большом кумачовом полотнище, четкая надпись: «Привет нашему знатному земляку, писателю сказов народных, Павлу Петровичу Бажову!»

Появление Павла Петровича было встречено продолжительными аплодисментами. Он растроган, смущен этим приемом. Особенно смутила его надпись на полотнище.

— Ну, право... ну что это?.. Нет, верно, зачем? — бормочет он, усаживаясь в президиуме.

Девочка-татарка поднесла дорогому гостю букет полсвых цветов — успели сбегать и нарвать! Сказала приветствие сначала по-татарски, потом по-русски. Павел Петрович слушал, поднявшись с места, склонив голову немного вбок и глядя куда-то перед собой.

Приняв цветы, он сказал:

— В альманахе «Уральский современник» скоро будет напечатана сказка «Синюшкин колодец». Это будет мой ответ зюзельским пионерам.

Дальше началось то, чем обычно всегда тяготился Павел Петрович: каждый выступающий считал своим неременным долгом сказать похвалу в адрес Бажова.

— Это при живом-то человеке?! — возмущался он в перерыве.

Популярность Бажова была исключительно велика. Его знали хорошо в лицо во многих городах и рабочих поселках края. Очень часто незнакомые люди здоровались с ним на улице.

Нетрудно понять, в чем был секрет этой популярности: писатель Бажов был близок к народу, все его творчество являлось выражением дум и чаяний народных, концентрировало в себе народную мудрость. Этому способствовало и большое личное обаяние Бажова, его приветливость, которую ощущал всякий, кому хоть раз удалось встретиться с ним.

Особенно близок был он той части уральских рабочих, которая помнила прошлое. Он сумел показать это прошлое так, как до него не показывал никто.

Павел Петрович относился к таким встречам с народом в высшей степени серьезно, дорожил ими. Стараясь, как говорится, «не ударить лицом в грязь», к встрече с полевичанами, например, он пытался что-то записывать на бумажке — готовил конспект для выступления. Но потом бросил. «Все равно не вижу, говорю, что на язык придет», «Приходило» как раз то, что нужно, хотя сам Бажов ставил себя как оратора очень низко. Память у него была поразительная, а знания поистине всеобъемлющие, энциклопедические, особенно же по уральской истории. Но, пожалуй, самым редкостным качеством было то, что когда ему приходилось говорить перед аудиторией, он в каждом отдельном случае умел найти для выражения своих мыслей очень доходчивую, а подчас и неожиданную форму. Таким было и его выступление в Зюзельке.

Он заговорил о... мечте. Поначалу речь казалась несколько отвлеченной, но как-то незаметно она перешла на вещи близкие, понятные каждому. Павел Петрович говорил:

— Мечта у человека существует с давних времен.

А мечта — она ведь далеко уведет, если за нее бороться! Ленин говорил: «Надо мечтать!» Но раньше каждый мечтал в одиночку, потому и толку не получалось. Вот, к примеру, я сейчас ехал и видел — занимаются горноспасатели. Хорошо. А раньше это увидел бы? Не увидел. Случилось несчастье в шахте — пропадай. Теперь совсем не то. А ведь это тоже мечта, чтобы труд был безопасным. Мечтали о разном, а все сходились в одной точке — в вопросе о счастье народа. Отражение такой мечты есть в каждом сказе, легенде. В одной из легенд об Азов-горе говорится о том, что есть такое имячко, перед которым откроются все сокровища, скрытые до поры до времени. И не только сокровища земных недр, а и сокровища человеческой души. А это важнее. Теперь мы знаем такое имячко — партия, коммунист. Большевицкая партия организовала народ на борьбу и привела к Великой Октябрьской социалистической революции, которая дала народу счастье. Партия научила нас и мечтать так, чтобы мечта становилась явью, сбывалась. И чтобы каждому от этого становилось лучше...

Следующий день посвящался осмотру Криолитового завода («Криолита», как все говорят здесь) и Гумёшкам. С нами поехал старый знакомец Павла Петровича — Дмитрий Александрович Валов, местный уроженец, потомственный рабочий, в те годы председатель Полевского райисполкома, человек еще сравнительно молодой, беспокойный, ищущий и, как все полевчане, влюбленный в свой край.

Машина не успела остановиться у заводоуправления, как на ступенях появились представители администрации, парторг, один из членов завюма. С ожиданием и явной симпатией они смотрели на подходившего к ним невысокого, уже в больших годах человека, с тем характерным, запоминающимся обликом, который так «шел» Бажову: кепка, сапоги, черная одежда, лицо библейского мудреца, неспешная, как бы чуть натруженная походка.

В коридоре заводоуправления было необычно оживленно. Служащие выходили из боковых помещений и нарочно старались попасться навстречу редкому гостю, глядявая ему в лицо.

В кабинете директора новое знакомство. Явился вызванный секретарем парткома один из местных ста-

рожилов. Без излишних околичностей спросил, зорко поглядывая на приезжих:

— Чем могу служить?

— Познакомься,— сказал директор. — Это товарищ Бажов.

— И я Бажов.

Оба Бажовы и оба полевские.

— Может, родня? — поинтересовался парторг.

Сейчас же между Бажовыми завязался оживленный разговор, в течение которого вспоминались Савельичи, Ивановичи, Васильевичи, после чего Бажов-местный объявил:

— Нет, я другого колена.

Разговор продолжался с той же деловитой обстоятельностью, которой положено быть между двумя пожилыми людьми, и после этого, но теперь уже на ту основную тему, которая так влекла Бажова-писателя,— прошлое Урала, жизнь и быт людей, мастерство незаметных тружеников. Секретарь парткома знал, кого пригласить для беседы.

Затем в сопровождении Валова и одного из инженеров заводууправления отправились по цехам.

Путешествие по заводу утомило его. «Ноги у меня устали»,— пожаловался он. Мне показалось даже, что он облегченно вздохнул, когда мы наконец покинули территорию цехов и распростились с провожатым, который так усердствовал в разъяснении технологического процесса, так сыпал формулами, что, пожалуй, хватил через край.

Но усталость как рукой сняло, когда мы вышли на Гумёшки, на те самые Гумёшки, поэтизации которых отдал столько сил и таланта сказочник Бажов. Завод занимает часть этого знаменитого урочища, прозванного в старину Медной горой, и потому-то Павел Петрович повторяет в сотый раз:

— И это — Гумёшки?! Неузнаваемо изменились...

Сразу от завода местность на большом протяжении изрыта, всклокочена так, что не узнать, какой она была первоначально. Может, и впрямь была гора? Но сейчас никакой горы нет. Даже наоборот — центр урочища занимает громадная выработка, в которой свободно поместится Криолитовый завод со всеми цехами. Один край выработки зарос сорной травой, другой,

противоположный, служит местом свалки огарков с Криолита. На дне образовалось глубокое озеро. Вода в нем изумрудно-зеленая — ну точь-в-точь малахит!

Несколько отступая от этой основной выемки, в разных местах видны буровые разведочные вышки. От ближайшей из них доносится металлическое звяканье — идет бурение.

Около озера сохранились остатки заброшенной шахты: полузасыпанный землей и мусором ствол со следами деревянного крепления (в сруб, как колодец), развалившийся тяговый барабан-ворот для подъема из шахты. Эти любопытные образцы техники прошлого — жаль, что нельзя поместить их в музей! — живое напоминание о минувшей жизни и славе Гумёшек.

...И вот новое рождение Гумёшек. В день нашего посещения на выработках встретились комиссия из инженеров, геологов, приехавших из Свердловска и Москвы, и группа старейших жителей Полевского. Встретились, чтобы решить судьбу Гумёшек.

Ведь не выработано богатство Гумёшек. Разведочное бурение показало, что руда лежит здесь, дожидается, когда ее отправят в раскаленные желудки ватержакетов и отражательных печей. Взято лишь то, что было наиболее доступно, легко взять. Лежит медь под Северским прудом, — может быть, когда-нибудь придется его спустить.

Богатейшей шахтой на Гумёшках была старейшая — Георгиевская. Ее и искали с помощью стариков. Долго ходили от одной заброшенной шахты к другой, спорили, судили-рядили.

Это новое оживление на Гумёшках безмерно радовало Павла Петровича. Он тоже походил со стариками, тоже подавал советы, где лучше искать, откуда начинать откачку старых шахт, и, глядя на него в эту минуту, трудно было решить: кто это — работник пера или многоопытный, искушенный во всех тайнах земных «кладовушек» горщик, добытчик уральских недр?

Поразительна была зоркость глаза Павла Петровича. Кажется, весь погружен в рассматривание старой «листвяной» крепи. В это время неподалеку, на отвале, взметнулся густой, жирный, черный столб сажи, дыма. Немедленно следует реплика:

— А ведь это техническое хулиганство — столько выпускать в воздух! Что они, не видят?!

Изменения, которые обнаружил Бажов на Гумёшках, нашли свое отражение первоначально в небольшой записи «На том же месте», а затем в очерке того же названия, в образе «советского старичка» пенсионера и — противопоставление ему — «безвредного старичка» прошлого. Короткая, по существу почти хроникерская, зарисовка эта замечательна тем, что очень скупыми, лаконичными штрихами (что характерно для всей творческой манеры Бажова) убедительно изображено огромное расстояние между тем, что было когда-то, и тем, что стало теперь, и изображено «через человека».

На следующий день с утра отправились на Северский завод.

Сейчас, в дни, когда пишутся эти строки, бывшая «Северка» вполне современное предприятие. В годы, последовавшие за победоносным окончанием Великой Отечественной войны, в Северске пущены цехи белой жести, оборудованные по последнему слову техники. А тогда, в 1939 году, многое еще дышало стариной.

В кузнечном цехе нам показали бездействующий паровой молот (ныне он, кажется, убран, а жаль!), похожий на перевернутую римскую цифру V. На этой неуклюжей для современного глаза машине виртуозно работали крепостные мастера.

О замечательных мастерах прошлого поведал Бажов в сказах «Живинка в деле», «Иванко Крылатко».

После обхода завода в конторе, в помещении парткома, состоялась продолжительная беседа Бажова со старейшими северскими рабочими. Насколько мне удалось заметить, Павел Петрович особенно интересовался теми сведениями, которые мог услышать из уст очевидцев, а не в пересказе. Не знаю, собирался ли Павел Петрович писать что-либо в будущем специально о Северском заводе, так как в его опубликованных работах Северскому заводу уделяется сравнительно немного внимания, но тогда он увез из Северска большой материал.

Когда возвращались обратно, шофер неожиданно сказал:

— Ну, теперь поедем трость искать,— и свернул с дороги в лес.

Оказывается, он не забыл, что Павел Петрович все хотел вырезать вересковую трость «потолще», да никак не попадался подходящий вереск.

Через четверть часа в руках у нашего патриарха была свежесрубленная «трость». Подавая ее, шофер сказал:

— Вот вам, Павел Петрович. Прямая и толстая, какую вы хотели. Жидка, кажется, только? Гнется?

— Спасибо, спасибо...

— Смотрите. Можно еще вырубить.

— Что вы, хватит мне! Спасибо.

Павел Петрович был тронут подарком, а больше того — вниманием.

— Палка из родных лесов,— повторял он, потрясая ею с довольным видом. — А что? Вы знаете, какое это дерево? Кремень! Когда высохнет, так затвердеет — никакой нож не возьмет!

Точно так же радовался он, к тому времени депутат Верховного Совета СССР, подарку рабочих Артинского косного завода — набору иглол, производство которых было освоено коллективом завода. Иголки самых разнообразных размеров и форм,— кажется, их было двести штук или что-то около того,— были аккуратно наколоты на два складывающихся в виде книжечки листика чертежной бумаги. Павел Петрович любил показывать этот на первый взгляд не заключающий в себе ничего особенного подарок, непременно сопровождая комментариями:

— Ведь вот знали, что подарить! И размерами невелико, а приятно. Поглядишь — и сразу представишь, чем люди занимаются... Кажется, иголка, чего в ней? А не простое дело!

В каждой вещи он умел находить что-то свое, особенное, делающее ее не похожей на другие,— видел ту самую точную деталь, до которой доискивался всю жизнь.

Заглянули на Церковник — есть такое урочище в окрестностях Полевского. С нами Николай Дмитриевич, за проводника — Валов.

Валов весьма интересная личность. В партии с юношеских лет, активный участник гражданской войны на

Урале, партизан и сын партизана. Одна нога ломана — падал в детстве в шахту. На боку стреляная рана — память о белых. Его водили на расстрел колчаковцы, грозились убить кулаки в период ликвидации кулачества, а он жив, бодр и надеется прожить еще сто лет.

Валов невысок, коренаст, как говорится, «неладно скроен, да крепко сшит». Он полон планов, и когда говорит, трудно отличить, где личное, а где общественное. Поначалу кажется — вроде личное, а на поверку опять выходит — общественное...

— Скоро в отпуск пойду, — говорит он, с вождедением предвкушая рыбную ловлю и охоту, и тут же добавляет: — Берильевую руду найду. Один человек свести хотел. Эх, лес, душа моя! Если в лесу раза три не переночую, будто и лета не видал!

— Про плавиковый шпат не забудь, — напоминает Павел Петрович.

Валов утвердительно кивает головой.

Это Дмитрий Александрович, когда обнаружили находки на Азове, немедленно послал туда одного из работников райисполкома, и тот нашел еще четыре предмета. Валовым же были сделаны сообщения для печати. Он позаботился и о том, чтобы ни одна из найденных вещей не была утеряна и вообще не пропала для науки. Ребята, нашедшие чудские украшения, вначале не придали им никакого значения, зато сразу оценил их Валов.

Между Бажовым и председателем рика бесконечные разговоры, масса волнующих обоих тем, общие интересы.

Но сегодня Валову не повезло. Хвалился, что знает все окрестности Полевского, в том числе и дорогу на Церковник, как свои пять пальцев, а заехали поглубже в лес — сбился, потерял ориентиры и никак не может их найти. Он смущен, озабочен, с загорелого лица льет пот в три ручья. Валов сидит позади шофера и, рискуя ежеминутно вывалиться из машины, всем корпусом переваливаясь через борт, зычно, слегка хрипловатым голосом, командует, указывая рукой:

— Давай туда! Сейчас Туранова гора откроется, там недалеко!

Проходит полчаса. Дороги почти никакой, проехали

уже не одну, а пять гор, а Церковник как сгинул. Валов не унывает:

— Как раз Туранову гору-то с другой стороны охватили!

Через десять минут:

— Кажись, последняя горюшка...

Еще через четверть часа:

— По средней дороге угадали!..

На Церковник, однако, никак не угадаем. Николай Дмитриевич нетерпеливо ерзает на сиденье, с досадой поглядывая на Валова. Павел Петрович прячет улыбку в усах и бороде.

Наконец машина останавливается. Впереди завал, проезд закрыт. С обеих сторон возвышается сплошная зеленая стена молодого осинника, ольхи, березы; над головой щебечут птицы; блестит роса на листве. Валов выскакивает из машины.

— Дай оглядеться. Ключ должен быть... — Потом решительно бросает: — Пошел на розыски. Кричать буду — значит ехать надо!

Уходит, долго не возвращается.

— Сколько лет здесь не бывал, — произносит Павел Петрович. — А помню — все избегано было...

— Забыл Валов, — с сердцем говорит Николай Дмитриевич.

— А я не забыл, — невинно замечает Павел Петрович.

— А именно?

— А я и не знал.

У него отличное настроение, и он часто шутит, оставаясь серьезным, в то время как другие покатываются со смеху. Неудача Валова и вызванная этим задержка не огорчает, а веселит его.

Издали доносится крик:

— Нашел ключ-от! Напился-а-а!

...Вот наконец Церковник. Небольшое лесное озерко, заросшее осокой и рогозом. На воде плавают кувшинки, в воздухе шуршат стрекозы, перепархивают бабочки. Неподалеку скалистое нагромождение каменных глыб — точно ощеренная пасть сказочного дракона. Цепляясь корнями за трещины в камнях, тянутся вверх стройные малые сосны.

Озеро искусственное. Образовалось на месте выра-

ботки — мыли золото. По свидетельству старожилов, все, кто работал здесь, должны были отчислять сорок процентов от добычи на постройку церкви. Церковь не построили, деньги, конечно, исчезли. Прииск заглох. Так и осталось как память об этом жульничестве название «Церковник»...

К вечеру, на закате солнца, мы в деревне Полднейвой.

К нашему приезду в сельсовете собрались сплошь старатели — кто в прошлом, кто в настоящем. В подавляющем большинстве люди в годах, с бородами. Уселись с достоинством вокруг стола, сдвинулись поплотнее и выжидающе умолкли, поглядывая на Павла Петровича: с какого-де краю беседу начинать?

Разговор начался с хризолитов. Близ Полднейвой находились хризолитовые прииски, едва ли не единственные на Урале. Один из старателей, возрастом старше других, принялся рассказывать:

— Кралче¹ добывали. Запрещали хризолит-то искать. А все равно робили. Ночью робили, а днем в горах скрывались. Лесники нагонят, кричат: «Вон они!» — и давай дуть! Изобьют до крови. Телеги, снасть изрубят. Почитай, все село пересидело в тюрьме за хризолит.

— О долгой груде расскажи,— подсказывают сидящие.

— Что за долгая груда? — настораживается Павел Петрович.

Он сидит в центре живописной группы — хоть пиши маслом коллективный портрет! Знакомая книжечка-блокнот выложена на стол и раскрыта на чистой странице. Рядом карандаш.

— «Долгая груда», — объясняет рассказчик, — это тридцать четыре человека решили друг за друга держаться, робить вместе, открыто, никого не бояться, — артелью. А нарядчики — с ружьями. Стреляли, одного ранили. Народ разбежался. Нарядчиков много, человек восемнадцать. Ну, цельная война у нас с ними получилась. Народ тоже стал постреливать ночами в избу, где нарядчики жили... Они тут же и жили. Загораживались они железными листами. Ну, простреливали. Этим и выжили их.

¹ Кралче — украдкой, тайком (уральское).

Он умолкает, ожидая, когда карандаш перестанет двигаться по бумаге.

— Что за нарядчики?

— От Хомутова. Государство ему место сдавало, а он платил ничтожно, и никто ему сдавать добытое не хотел. Ну, нарядчиков и держал. Чтобы, значит, кто не сдает, на его земле не робил.

— Кому же сдавали?

— Известно, частные скупщики во много раз больше платили.

— А сколько все-таки?

— С голубиное яйцо рублей за двести шло.

— А как на сорта делились?

— Четыре сорта было. Хризолит первый сорт — крупный, чистый, зеленый. Второй сорт — мельче. Третий — зеленый, с трещинами. Четвертый — желтый.

— А сейчас, считаете, можно работать? Есть еще хризолиты-то, не все выбрали?

— Можно, можно работать! И зиму и лето! — зашумели, заволновались вокруг, кивая согласно головами.

— Ну, зиму, правда, нельзя, — поправил рассказчик. — А можно работать, можно.

Народу в сельсовете все прибывает. Около дверей столпилась молодежь. Пришли две молоденькие учительницы местной школы и, вытягиваясь через плечи других, стараются рассмотреть Бажова.

Стемнело. Посредине стола поставили лампу-«молнию». Неловкость, какая обычно бывает при встрече с незнакомыми людьми, незаметно прошла. Старики поддакивали один другому, вставляли свои замечания, поправляли, если кто-нибудь говорил не так.

Павел Петрович сидел, облокотившись на стул и опустив глаза на раскрытый блокнот, лишь время от времени, когда задавал очередной вопрос, вскидывал глаза на собеседника. Со стороны могло показаться, что он слушает плохо и не то погружен в свои мысли, не то дремлет. Но стоило замолчать очередному рассказчику, как немедленно следовал новый вопрос:

— На Иткуле теперь работают?

Или:

— А на Омутнинке как?

И сейчас же вставлял сам:

— Ну, это один пропой был, а не работа.

Из этих реплик чувствовалось, как хорошо знает Павел Петрович тему беседы, здешние места. И это еще более оживляло разговор.

— Помногу намывали?

— Всяко бывало. Иной раз на лапти только и заработаешь. Ну, фартнет — так сразу сапоги с набором.

— Пили, поди?

— Не без этого. Известно, в старо-то время все богатство промеж пальцев шло. Найдет старатель золотину, дружок¹ вина принесет и поставит посреде майдана. Пей кто хошь! Дескать, на мою жизнь хватит. Ну и пропьет все. А потом, почитай, нагишом снова мыть идет.

— Тоскливо было подолгу в лесу жить?

— А это кому как. Есть у нас тут одно место, низменное такое. В лесу. Ничего место, сырое маленько только, — логотинка, словом. Сдавна Веселым Логом зовут...

— Веселым? Это почему?

Полуопущенные веки поднялись, за ними блеснул огонек любопытства и пытливости, карандаш в маленькой, по-женски округленной руке настороженно замер, готовый неторопливо вновь двинуться по бумаге.

Следует пространное и довольно запутанное объяснение, почему лог назвали веселым, «веселухиным»², упоминаются какие-то немцы, приезжавшие в эти места и ни с чем уехавшие обратно, озорная девица, по-своидившая будто бы всех с ума, и т. д., но Павел Петрович быстро уловил суть и не спеша набрасывает ее на бумаге.

— А вот кто бы рассказал, как золото искали? — спрашивает он. — По каким приметам?

Тут случилось неожиданное. Беседа на минуту прервалась, произошла короткая заминка. Видимо, у ста-

¹ Здесь «дружок» — в смысле пара ведер (уральское).

² Позднее написанный, сказ «Веселухин ложок» связан с Златоустом. Не знаю, оказался ли там свой «Веселый лог» или какие-либо другие соображения заставили Павла Петровича перенести место действия на Южный Урал, но что впервые о «Веселухином ложке» Павел Петрович услышал в Полднeвой, тому я свидетель.

риков где-то в глубине сознания все еще жило, по старой памяти, опасение, привитое веками подневольной, тяжелой доли, как бы не выдать своей тайны, своих испытанных, выработанных поколениями горщиков и известных лишь сравнительно узкому кругу людей приемов поиска благородного металла, своих немудрых, но крайне существенных «примет».

Однако они тут же вспомнили, что время теперь не то и человек, приехавший к ним, не тот, какие езжи-вали прежде, «при старом режиме», что таиться не к чему, даже более того — нехорошо, и беседа возобновилась с прежней готовностью и заинтересованностью с обеих сторон.

— Приметы всякие. Главное дело — попутный лог найти...

— Какой-какой лог? — недослышав, переспрашивает Павел Петрович.

— Попутный. Это который с юга на север или с запада на восток идет, тот и попутный. Если его нет, и искать нечего. А есть — копай смело.

В книжечке рядом со словами «долгая груда», «веселый ложок» появляется новая запись: «Попутный лог». Туда же заносятся отдельные выражения, неожиданные словообразования и связанные со старательским делом, незнакомые в других местах термины, которыми обильно уснащена речь беседчиков.

Вот откуда брал Бажов яркие, самобытные слова-самоцветы, нередко заменяющие собой целое понятие, фразу, вбирающие в себя не только деловое, так сказать, служебное назначение слова, но и образ. Так, вошли в его литературный обиход выражения «мелкая жужелка»¹, «золотинка», «таракан» (не насекомое таракан, а мелкий самородок золота, весом на восемь — десять граммов, действительно похожий формой и размерами на крупного черного таракана!) — каждое включающее целое понятие. Так, слетали с его языка при разговоре яркие, образные «чемоданчики», «с полукона бить» и т. д. и т. п. Своеобразие, оригинальность изобразительных средств писателя Бажова проявлялись на каждом шагу — и в обыденной жизни, и в творчестве.

¹ Небольшие самородки, весом в несколько граммов.

Но вообще записывал он мало. Случалось, что за всю беседу или за целый день нескончаемых разговоров, встреч, передвижений в машине, пешком и на лошади отберет всего одно-два слова (бывало — и ни одного), но зато уж это действительно слова-«золотинки». Даже не руда, отмытая от пустой породы, а уж сам металл — золото, драгоценность. Так он, по его собственному признанию, искал «двойной переклад» — определение особо прочной крепи в шахте.

После такой напряженной, продолжительной и очень строгой в отборе черновой работы получается емкость слова необычная. Труд в высшей степени кропотливый, но... «Медленнее-то писать лучше», — не раз говаривал Павел Петрович. Так говорить о труде литератора мог только человек истинно талантливый и беспощадно строгий к себе.

Ряд понятий, слов, услышанных в тот вечер в Полдневой, вошел в постоянную лексику сказов, а также в пояснения, которыми сопровождал тексты своих произведений П. П. Бажов.

— А платину не мыли? — снова спрашивает он, шаг за шагом расширяя рамки беседы.

— Ну, как не мыли! Мыли. Сперва долго не знали, что за платина такая. Старики сказывали — из ружей вместо дроби стреляли. Тяжелая, тяжелее свинца, летит хорошо

Чего только не хранит богатая уральская земля! Платина, золото, драгоценные камни, никель, кобальт, циркон, молибден, даже алмаз...

...Беседа со старателями затянулась почти до полуночи.

Не хочется, а пора ехать.

Косой Брод — старинное золотоискательское сельцо на восточном склоне Уральского хребта, родной брат деревни Полдневой. Избы крепкие, пятистенные, из столетнего леса. Все ложбинки, все русла высохших речек вокруг ископаны, перешарены руками старателей. Это здесь был найден не так давно четырнадцатикилограммовый самородок, о котором мы слышали уже в поезде и слепок которого хранился в кабинете секретаря райкома партии.

Мы сидим в правлении артели и беседуем с колхозным бригадиром.

— Лебеди у нас тут были,— говорит Павел Петрович,— на воротах. Не помните?

— Нет, что-то не припомню,— морщит лоб молодой, молодцеватый бригадир.— Да я вам сейчас стариков представлю, они все должны знать.— И, обернувшись к присутствующему тут же мальчугану, наряженному, невзирая на теплое время года, в треух и стеганую кофту, командует: — Беги-ко к Михайлу Степанычу! Пусть в правление сейчас же идет. Скажи: человек ждет. Будет гаму-то! — вновь поворачиваясь к гостю, продолжает он.— Недослышит немного, кричит! А старик памятный, все знает.

Минут через десять появляется Михайло Степаныч. Высокий, немного сутулый. Несмотря на преклонные годы, не седой. Длинноносый, усатый, с небольшой бородкой. В солдатской мятой фуражке и в галошах, надетых поверх шерстяных носков. Выглядит не то испуганным чуть-чуть, не то недовольным.

— Лебедей-то куда девали? — громко спрашивает, подсев к нему, Павел Петрович.

— Каких лебедей? — Старик прикладывает руку ковшиком к уху.

— На воротах-то сидели!

— Я не по тому делу...

— Ты не разобрался еще,— пытается разъяснить непонятливому или прикидывающемуся непонятливым старику бригадир.— Ты расскажи. Ты должен знать. Лебеди-то на воротах наклеплены были, топором вытесаны.

— Вот где-то здесь, на въезде,— помогает Павел Петрович.— Дом небольшой, резьба интересная.

Нет, не помнит Михайло Степаныч о лебедях.

Пришел другой старик — полная противоположность первому. Бритое лицо, бритая голова, коротко подстриженные рыжеватые усы. На ногах резиновые сапоги. Говорит медленно и деловито, скупко расходуя слова и строго глядя в лицо собеседнику.

Опять начинается о лебедях.

— Не помню я, Иван Степаныч,— как бы оправдываясь, говорит первый старик второму.

— А я скажу — вспомнишь. Криуля стояла в виде гуся на воротах, на крыше... забыл?

Но так и не вспомнили ни тот, ни другой, за исключением того, что «была криуля на манер гуся», а что за «криуля», к чему, не знали. Не вспомнили и про то, куда исчезли деревянные лебеди.

— Жаль, — откровенно разочарованно говорит Павел Петрович. — Хороший сказ я о них знаю. Хотел кое-какие детали в памяти восстановить.

Старики виновато поглядывают на него. Озабочен бригадир.

— Вы его спросите, как он на богомолье ходил, — понижая голос, советует бригадир. — Он тогда сразу разговорится.

Действительно, напоминание о богомолье оживило разговор.

Пока продолжался рассказ о богомолье, в правление пришел, опираясь на железную трость, еще один старик, самый старейший из трех, лет восьмидесяти, если не больше. Лохматый, седой, с бесцветными, словно вылинявшими, глазами. Сильно увеличивающие очки надеты криво на кончик носа. Молча сел к столу, сложил обе руки на трость, поставленную между колен, и, опустив глаза на свои натруженные, морщинистые руки, погрузился в себя.

Второму и третьему старикам, в сущности, говорить почти не пришлось — глухой говорил теперь уже не останавливаясь. Те двое только качали молча головами, соглашаясь с первым, да подталкивали время от времени.

— Расскажи, как робыл, — направлял беседу бригадир.

— Везде я переробыл. На золоте... На железном заводе пять лет. Горновой камень¹ добывал. И на конях робыл. У Белкина коней гонял. День-от бегал за лошадью за пятнадцать копеек. А работа, известно, не в бабки играть. Пока валят бадью, успеи отгрести. Валят без останову. Два года под бадьями стоял. Опосля в Кунгуре мыл, в воде золото видимо прямо! По фунту, по два добывали в день. Мелкой жужелки бессчетно. Богато золото!

¹ Тальк.

— Как «видимо»? — спрашивает Павел Петрович.

— Вода обмывает, золото-то и видать.

— Фартнуло, значит?

— Не-е... Припечатывали ведь.

— Ну да, прилипало!

— Не-е...

— Не случилось, значит?

Глухой хитро смеется:

— Калишко, какой-то старичонко был, ему сдавали по пять рублей. Пять рублей лучше, чем рупь восемьдесят!

— Ясно, лучше! — соглашается Павел Петрович серьезно, но в тоне голоса чувствуется улыбка.

— Теперь государству золото идет, — продолжает тем временем глухой, уже не слушая никого. — Оттого и государство сильнее стало. А раньше чужестранны много у нас вывозили.

— Какие чужестранны?

— Барон Бревер у нас тут был, — поясняет бритый старик, делая знак глухому замолчать. — Усатиком звали. У него усы во были, — показал он, разведя руками шире плеч. — В Германию золото отправлял. На конях гонять любил. Сам в полосатых штанах, с хлыстом, а на голове фуражка с долгим козырем. Раз на лошади гнал, она речку перепрыгнуть побоялась, он ее и застрелил. А потом, видно, жалко стало, что сгоряча застрелил, памятник ей поставил. Плиту на Мраморе делали.

— Тебе, поди, годов семьдесят? — неожиданно спросил первый старик, всматриваясь в Бажова.

— Близко к тому.

— Сколь и мне, значит?

— Не хватает маленько.

— Грамоте, поди, шибко обучен?

— Знаю маленько.

Глухой помолчал, пожевал губами и сказал как бы в раздумье:

— Нынче можно учиться-то, не то что раньше... Три зимы я только учился, дробы не учил, простые задачи нам давали. Раньше по закону божию нас донимали. Вот про Иисуса Христа. Его учили. Знаешь про Иисуса-то Христа?

— Знаю, знаю!

— Его и учили, житие.

А о лебедях, которые так интересовали гостя, больше ни слова, как ни старались Павел Петрович и бригадир натолкнуть стариков на эту тему. И все же главного Павел Петрович достиг — старики подтвердили, что деревянные лебеди на одной из изб в Косом Броду были, память не обманывала его.

Только значительно позднее я понял, для чего нужны были Павлу Петровичу эти лебеди. «Криули» на воротах позволили ему довести до успешного конца работу над сказом «Ермаковы лебеди», посвященным замечательному русскому землепроходцу. Они являлись важным звеном в цепи догадок и умозаключений автора, на которых строился сказ. Этот знак был необходим Бажову как вещественное доказательство, подтверждающее основную мысль сказа — об уральском происхождении Ермака. По свидетельству Черепановской летописи, Ермак был родом с берегов Камы. Бажов успешно развил этот тезис, подтвердив и укрепив его состоятельностью, и лебедям как родовому знаку отводилось здесь не последнее место. Павел Петрович помнил об этих лебедях с отроческих лет, но, не доверяя себе, хотел самолично еще раз, уже в зрелом возрасте, убедиться, что такой знак существовал. Подозреваю, что исключительно из-за лебедей он поехал в Косой Брод, ради них беседовал со стариками.

Тут уместно сказать вообще о той добросовестности, с какой Бажов собирал материалы, насколько тщательно, придирчиво выверял каждую деталь, прежде чем пустить ее «в дело», а тем более построить на ней какую-то важную догадку. Вся поездка в Полевское тому пример. Только достоверно изученное, проверенное не раз и не два отбиралось в книжку-памятушку, да и то не все шло потом в огранку, попадало в «Малахитовую шкатулку». Ничего сомнительного, легковесного не принималось ни под каким видом.

Бажов стоял всегда за строго научное освещение истории Урала, будь то труд исследователя-историка или повесть, роман, рассказ. Эту линию он неукоснительно проводил и в своем творчестве, не допуская никаких отклонений, поблажек себе как художнику, имеющему право на домысел и выдумку.

...Прощаемся со стариками. Они поднялись со своих мест, проводили нас за ворота и долго смотрели нам вслед.

От Косого Брода уже рукой подать до Мраморского завода, который мы видели из окна вагона в начале нашего путешествия. По пути заехали в пионерский лагерь.

Мраморский завод. Он действительно тих. Стоит около леса, единственное здание рядом — контора завода. Рабочий же поселок находится в нескольких километрах за лесом.

В старину завод готовил изделия для императорских дворцов — плиты, вазы, столы, камины. Прославился художественностью и чистотой своей работы. В советское время перешел исключительно на выработку мраморных изоляционных плит и ступеней. Занятие, возможно, более прозаическое, но едва ли не менее важное, если учесть огромную потребность нашей быстро электрифицирующейся страны в мраморных плитах для распределительных щитов, а также в ступенях для вновь возводимых многоэтажных зданий. Завод полностью механизирован.

— А змеевика что-то у вас не видно? — спросил Павел Петрович, когда мы вышли из дверей завода.

— Не работаем его, — несколько смущенно ответил сопровождавший нас техрук.

— А зря. У вас же целая гора его. Твердоватей, конечно, мрамора, зато расцветка хорошая, лучше, чем изрядно надоевший серый мрамор.

В четырех километрах от завода мраморный карьер. На полпути к нему поселок Мраморский.

Сразу за поселком, на дороге, начали попадаться куски мрамора. Местами целые блоки лежат в стороне.

— Вишь, рассыпали! — говорит Павел Петрович.

Хорошенькое «рассыпали»! Кубометр мрамора — это три тонны. А есть блоки по несколько кубометров.

А вот и каменоломни. На наших глазах гусеничный трактор, зацепив тросом, легко тащит блок на поверхность с двадцатиметровой глубины. Отжил свой век ледовский вороток!

Мраморщики и мраморный завод нашли свое место в очерке Бажова «У старого рудника», упоминаются

в ряде сказов. Мраморное дело неоднократно привлекало пристальное внимание писателя.

Вот и сейчас Павел Петрович долго стоял на краю выработки, сосредоточенно наблюдая, как глыба, влекомая тросом, упрямо выползала наверх, потом оглянулся, ища, кому выразить свое одобрение, и сказал назидательно, как бы продолжая начатый разговор:

— Буровит сколько... красота! А было — страшно вспомнить.

— Протрясло, парень, бронхит-то, — говорил Павел Петрович вечером на квартире у Бессоновых. — Жена в тревоге была, а выходит, на пользу пошла поездка!

Действительно, несмотря на наши ежедневные разъезды, утомительные, пожалуй, и для молодого, он ничуть не чувствует себя разбитым. Только, когда возвращались домой, сказал:

— Целый день все сидел, а ноги устали. Теперь два часа курить буду!

— Стоя у стола?

— Обязательно.

И вот теперь попил чайку, запалил папиросу — трубку тогда он, кажется, еще не курил — и благодушествует в своей излюбленной позе — стоя у стола в полусогнутом, неудобном, казалось бы, положении, опираясь локтями на угол столешницы. На предложение сесть, чтобы дать роздых ногам, категорически отвечает:

— Ни-ни. Так лучше — привык. У меня для этого дома подушечка есть. Под локти. Всегда так отдыхаю.

После поездки на «мрамор», в Косой Брод, разговор, естественно, вертится около камней, золота и прочего.

— Аптекарские весы у тебя, золото, видно, принимаешь! — шутит Павел Петрович, кивая на лабораторные весы, стоящие за стеклом в книжном шкафу. — А все-таки недоволен я, — говорит он, вспоминая посещение мраморного завода, — что ни одной станции метро из змеевика нет. Не умеем еще мы, уральцы, свои богатства показывать.

Он долго критически рассматривает на столе письменный прибор довольно неуклюжей работы и наконец выносит суровый приговор:

— Мрамора не жалеют... и искусство тоже.

— Ученики делали,— вступился Николай Дмитриевич. — В юбилей мне подарили.

— Ну, тогда ничего. Мне раз также вот один дед подарок преподнес. Целую плиту вырубил да письменный прибор и сгрозил. Полпуда весом. Подарок от чистого сердца!

Он заразительно смеется, смеется, как ребенок, которому очень понравилось что-то. Затем закашлялся, на глазах выступили слезы,— бронхит все-таки напоминает о себе. Прокашлявшись, продолжает:

— Большой мастер был на выдумки старик! Баню из горного камня вздумал сделать. Гладенькая банька вышла. А как водой дадут, так стены и потекли. А он хвалится: «Ничего не заведется в таком жару!» В другой раз опять сапоги изобрел с подошвой, которая не носится. Стелька железная. Ходил только в церковь. Ясно, износу не было! А он гордился...

Наш хозяин отчаянный фотолобитель. Ящики письменного стола доверху забиты фотографиями. Тут и гора Азов, и другие окрестности Полевского, сам поселок, собственные ребятишки во всех видах. Многие фотографии будят в Павле Петровиче воспоминания.

— Совершенно забыл Глубочинский пруд,— говорит он, поднеся близко к глазам снимок с какого-то лесного озера и долго рассматривая его. — А ведь вот какой-то кусок жизни!

— Можно закрутить? — спрашивает Николай Дмитриевич, показывая головой на шкаф с патефонными пластинками. Там их без малого семьдесят штук.

— Давай,— соглашается Павел Петрович.

Время далеко за полночь. Николай Дмитриевич включает радиоприемник. В эфире сильные атмосферные разряды. Репродуктор трещит, грохочет, отдельные разряды порой сливаются в один сплошной гул. «Как пятитонка», — замечает Павел Петрович.

Несмотря на эти помехи, два друга долго вечеруют около приемника. Выслушав последние московские известия, настроились на какую-то далекую станцию, передающую музыку, покуривают и неторопливо перебрасываются словами, вспоминая о тех временах, когда оба были в одной школе, один — учителем, другой — учеником.

Наша последняя поездка — на Марков камень.

Долго думали, на чем ехать — на лошади или на автомобиле. На лошади — долго, на машине, говорят, не проехать. Набрались храбрости и поехали на автомобиле.

С каждым километром верный газик уносит нас все дальше в глубь леса. Глушь невообразимая. Все это территория бывшего Сысертского горного округа.

Дорога разветвляется. Куда ехать? Взгляд наугад влево.

А вот на очередном разветвлении пути впереди возник столб с дощечкой. На дощечке надпись:

НА МАРК. КАМ.

Ага! Значит, все в порядке, едем правильно. Опять столб с надписью:

ЗАПОВЕДНИК

Лес в заповеднике захламлен невероятно. Когда-то тут пронесся лесной пожар. Обгорелые деревья лежат по сию пору, черные, безжизненные, медленно зарастающие травой, — над ними успели подняться молодые. Материал для нового пожара преотличный. Об этом не мешало бы подумать кому следует. А то не без иронии звучит следующая надпись на очередном столбе:

ПОМНИ! ОГОНЬ — ЭТО СТИХИЯ.
ВУДЬ С НИМ ОСТОРОЖЕН!

— Столб с воззванием поставили, а вот прибрать лес не соберутся! — ворчит Павел Петрович.

Его хозяйский глаз примечает всякий непорядок.

Проехали длинную стлань через ручей. Говорят, что это один из истоков Чусовой. Трудно поверить. Ручей мал, тих, шириной в один метр, глубиной того меньше.

Еще несколько километров — и машина вкатывается на большую вырубку. Стоят добротные, новенькие бараки. Один, два, три, четыре... Ого, целый

городок! Вот тебе и «таинственная» старина! Ехали-ехали — и приехали в совершенно очевидную современность... А где же Марков камень?

Здесь Марков камень. В сотне метров в лесу. Только не так уж глухо теперь около него, как в те времена, когда складывался устный сказ о Марке Береговике. Вырос у подножия камня город лесорубов, новая жизнь пришла и обосновалась накрепко, как приходит она везде.

Стало понятно, почему на глухой дороге к Маркову камню стоят указатели и сама дорога по возможности поддерживается в пригодном для проезда состоянии. Здесь лесозаготовки.

По тропинке поднимаемся к камню. Его еще не видно из-за леса.

В самом начале подъема на сосне прибита новенькая, желтая дощечка с суровым внушением:

НА ВЫШКУ
ХОД СТРОГО ВОСПРЕЩЕН!

Это еще почему? Столько ехать — и вдруг «воспрещен»... Нет уж, как хотите, а мы поднимемся!

Гранитным клыком выдался над лесом Марков камень. На плоской вершине его, прикрепленная стальными тросами, чтобы не снесло в сильный ветер, новенькая, светло-желтая пожарная вышка. На вышку ведет высоченная лестница, срубленная из целых бревен и упирающаяся нижним концом в два дерева.

Взбираемся по лестнице. Павел Петрович следует позади, деловитый, спокойный, как всегда. Высоко. Спирает дыхание.

На верхних перилах кто-то из работников пожарной охраны очень остроумно, сколь и просто, устроил солнечные часы. Вертикально вбит гвоздь. Вокруг гвоздя обведена карандашом окружность, разбитая на деления. Каждое деление соответствует получасу. Гвоздь отбрасывает тень, которая по мере движения солнца по небосводу перемещается по окружности. Вот и вся механика. А удобно. Не так ли вел наблюдения за временем, скрываясь здесь, и Марк Береговик?

Русская смекалка — ее встречаешь на каждом

шагу. Не она ли, по сути, является основным героем бажовских сказов?

Здесь, на камне, до недавнего времени существовала надпись: «Марк Петрович Турчанинов». Не подумайте, что отсюда пошло название камня. Нет, пошло оно от полевого рабочего Марка по прозвищу Береговик, который укрывался здесь вместе с любимой женой от турчаниновского произвола. А уж потом, когда стали звать камень Марковым, появилась на нем эта надпись. Даже тут жадный заводовладелец хотел обокрасть своего крепостного!

Да не вышло. В устных рабочих сказах сохранилась подлинная история вольнолюбивого Марка Береговика, в глухую пору крепостничества защитившего свое человеческое достоинство, поднявшего свой голос протеста против рабства. Как напоминание об этой не напрасно прожитой жизни, стоит, высоко взметнув свою непокорную голову, камень, носящий имя человека. И как памятник человеку-бойцу, символ стремления к счастью, неодолимой воли к свободе будет восприниматься всегда сказ Бажова «Марков камень».

В последний раз поднялись на гору Думную.

Посвежело. На Думной гуляет ветер, раздувает полы пальто Павла Петровича, который не отрываясь медленно обводит взглядом горизонт.

Думная... Откуда такое название?

По преданиям, в пору строительства Полевого медеплавильного завода на горе было сходбище рабочих, бунтовавших против каторжных условий труда, против господского произвола.

По другим сказаниям, на горе сидел три дня и три ночи, «думу думал», «батюшка Омельян Иваныч» — Пугачев, еще два века назад потрясший устои крепостнической России.

А если забраться еще дальше в глубь веков, то, как повествуют легенды, совещались на горе и «старые люди»...

— Вот тут, — нарушая молчание, говорит Павел Петрович, — дедушка Слышко и рассказывал нам, ребятам, свои истории... О чем рассказывали в старину?

Грамота была недоступна крепостному человеку. И мысли свои показывать было нельзя. Вот и прятали их — и мысли, и мечты, и желания — в устных сказах-легендах, которые передавали один другому. В сказах же объяснялось многое, что казалось тогда непонятным. К примеру, откуда такое скопление руды и малахита в Гумёшках, кто оставил там ямы-копани. В сказах бедный человек одерживал верх над богатым. В сказах же, уж коли приходилось невмоготу, он уходил «за камень», за Урал. И было это отзвуком действительности: беглые, примкнув к вольнице, шли в Сибирь. Сказывать сказы находились особые мастера. Мне выпало счастье слышать такого мастера — дедушку Слышко...

И Павел Петрович опять погружается в раздумье. Сегодня он прощается с родными местами — с Полевским, с Зюзелькой, с Азовом, снова и снова перебирая в памяти впечатления последней недели, шестидневную поездку на машине...

— Слышко говорил, — продолжает он, — пещера под Думной. Завалена. Мне ее увидеть не довелось. А вот как медь на Полевском плавил, помню. Мы, ребята, медную пену собирали. Когда медь плавят, ткнут березовой жердью, брызги на крышу выбрасывало. Считалось, что таким образом медь от примеси очищается. Хорошо. Мы эти застывшие брызги собирали — разменный знак для игры в бабки. Крупная, с бекасинник, — пять бабок. Редкая белая — десять бабок. А в народе эту медную пену пили как лекарство. От желудка там или еще от чего. Кажется, предел невежества? А вот теперь оказывается, что это была не медь, а сопутствующий ей висмут. Висмут же применяется в медицине как лечебное средство. И как раз при болезнях желудка. Не так уж глупо получается.

Напоминаю о цапле, которую мы рассматривали в первый вечер своего пребывания в Полевском.

— Цапля? Это тоже деталь. Каждый владелец завода старался себя перед другими поинтереснее выказать. Ну, и фабричный знак. У Яковлевых был старый соболь, у Демидовых — медведь. А здешний-то, Турчанинов, вот цаплю придумал. Дескать, птица и не так чтобы слишком большая, а летает высоко... Знай-де наших, хоть мы и победнее других. Против

других-то Турчанинов был пожиже маленько. Это у них в крови было — гнаться за чем-нибудь таким, чтобы хоть чем-то быть на отличку...

Павел Петрович стукнул палкой о замшелый камень, лежавший у его ног, последил за тем, как камень, шурша, катился вниз по склону, и продолжал:

— Ну, а если глубже копнуть, то можно сказать еще и другое. Всякая геральдика всегда была в особом ходу за границей. Значит, подражали. Тянулись за всем иноземным. Отсюда и погоня за титулами, особенно за заграничными. Один в ранге «сухопутного капитана», хотя никаким капитаном никогда не был, другой «князь Сан-Дonato»... Тоже итальянский вельможа выискался! Или Злоказов, бывший владелец Полевского сернокислотного завода, получил, купил, правильнее сказать, звание баронета Англии. Русский купчина, Англию в глаза не видал — и вдруг баронет Англии! Так и жили — гнались за всем иностранным, иностранному подражали. Отсюда и знак — цапля. Это они знали. А свое ни во что не ставили. Взять к примеру Демидовых. Первые-то Демидовы хоть крепостниками были, а крупные деятели. Дело знали. Последние же даже по-русски говорить не умели, все по заграницам жили. А Россия что им? Денежный мешок, источник существования. Им одно было важно — была бы мощна потолще. Вот так-то... А это уж самое последнее дело — за чужим гнаться, перед каждой чужестранной дрянью благоговеть, а свое в грязь топтать. Самое последнее дело.

Заключительные слова Павел Петрович произнес тоном сурового осуждения, желая, видимо, подчеркнуть тот важный смысл, который был заложен в них. Он помолчал и добавил:

— Теперь все это уже предмет истории. И хорошо. Всех из кона вышибли. Но пример поучительный. Поучительный для тех, кто свою цаплю хотел бы выше всех воткнуть. А такие охотники еще не перевелись. Думают: если я золотым мешком владею, могу весь мир переиначить по-своему, всех под свой кулак... Но — переведутся. Переведутся.

Красные полосы прорезались на голубом фоне неба. На этом фоне четко рисуется фигура человека, си-

дящего на открытом выступе скалы, проткнувшем гору. Солнце село, но какая-то прозрачность, какой-то спокойный, тихий свет разлиты вокруг. Близок час отъезда.

До свидания, Полевское, до свидания, Думная, Азов, Зюзелька, Косой Брод, Полдневая, до свидания! Побывав здесь, увидев вас воочию, полюбишь весь Урал за щедрую его землю — «золотое дно», как говорили в старину, а еще больше — за людей, которых взрастила эта земля, и в том числе мастера самобытной, неповторимой огранки слова Павла Петровича Бажова.

В беседах с литературной молодежью Павел Петрович всегда подчеркивал важность, необходимость для писателя много ездить, смотреть, впитывать в себя, вдумываться в увиденное, советовал больше читать. Сам он читал необыкновенно много, несмотря на скверное зрение, ухудшавшееся год от года. Как-то встретились на улице, в руках у Павла Петровича томик — только что из магазина. На вопрос, что или, вернее, кто это, ответил: «Чосер. Стихи. — И добавил, как бы оправдываясь: — Надо». Это «надо» прозвучало так: писатель обязан все знать.

Встречаясь со знакомыми на улице, на собрании, в театре, на традиционный вопрос: «Как живете?» — Павел Петрович частенько отвечал:

— Живой еще.

Эти два слова стали у него в последние годы жизни привычной формулой ответа на приветствие.

Здоровье его к тому времени значительно пошатнулось, начали одолевать старческие болезни. Он понимал, что срок жизни истекает, и, по-видимому, не раз думал об этом.

Принимал это с той спокойной, трезвой рассудительностью, которая так характерна была для всего образа действий Бажова, для склада его мышления.

Мучило лишь сознание, что многое еще остается нереализованным, голова была переполнена планами, для выполнения которых требовались годы и годы... Пришло подлинное мастерство, достигаемое усилиями целой жизни, но кончались силы.

Очень редко это прорывалось наружу.

Как-то показывал «вечный» календарь, привезенный ему дочерью из Москвы, — никелированную, изящно сделанную вещицу. Перевертываешь — и автоматически, с легким стуком, выскакивает число на завтрашний день. Повертел, любуясь, в руках (хорошая, чистая работа, да если еще с выдумкой, всегда нравилась ему), затем сказал:

— Занятная штучка. Плохо, что заставляет задумываться. — И, видя недоуменный взгляд, опрокидывая «штучку», подсказал: — Щелк... Непонятно?

— И день прошел?

— Вот именно. Только тебе-то что! У тебя еще много впереди. А вот мне... — И не договорил.

«Живой еще...»

Сейчас эти слова приобрели звучание почти символическое.

Живой и будет живой. Силой своего таланта Бажов перешагнул обычные границы жизни и смерти.

Свердловск, 1960—1977



А. С. БОНДИНА



ПЕРВЫЕ НАЧИНАТЕЛИ

Много хорошего слышала я о Павле Петровиче Бажове от моего покойного мужа — Алексея Петровича Бондина.

Они познакомились еще в двадцатых годах, в пору становления советской литературы на Урале.

Жили мы в Тагиле, но муж часто бывал в Свердловске и встречался с Бажовым на литературных собраниях.

В Павле Петровиче он сразу почуял своего единомышленника — они одинаково понимали роль и задачи советской литературы.

Помню, в каком возбуждении приехал домой муж после обсуждения в свердловской литературной организации его повести «Связчики».

— Навалились, понимаешь ли, на меня, ругают за то, что мои персонажи, рабочие, говорят «областным» языком... И вдруг встает Бажов: «Алексей Петрович Бондин сам потомственный рабочий. Ему ли не знать, как говорят уральские рабочие? Что возражать против местных слов? Он не без разбору ими пользуется, отбирает наиболее красочные, емкие. Название повести превосходно! «Связчики» — слово уральское, наше...

Оно понятно всем — корень понятен. И это название сразу определяет взаимоотношения главных героев. Достоинство вещи в том, что автор осветил явления и факты революционного сознания. Бондин на верном пути. Давайте не будем сбивать его с толку!»

Муж с волнением продолжал:

— Понимаешь, почему мне дороги эти слова? Уверенность дали мне, направление. Теперь меня уж не свернешь с него.

...Бажов не ограничился одним выступлением в защиту Бондина. Он взял на себя труд отредактировать первое издание романа «Лога». Надо сказать, что чрезвычайно тактично и бережно отнесся он к этому делу.

Павел Петрович Бажов, высоко ценя самобытность автора, любя народный язык, не зачеркнул без согласия Бондина ни одного слова. Целыми часами, целыми днями сидели два Петровича, склонившись над рукописью...

— Уж лучше пусть потом упрекают, что недостаточно правил рукопись, чем сознавать, что обесцветил ее,— не один раз говорил Бажов автору.

Чем дальше, тем теснее сближались Бажов и Бондин.

Был такой случай.

С юбилея, который состоялся в день шестидесятилетия Бажова, муж приехал разгоряченный, рассерженный.

— Юбилей-то прошел хорошо, народу собралось много... Душевные речи, адреса и все такое... Артисты сказы читали... Все хорошо было. Я дважды чокнулся с юбиляром и даже сказал ему: «Все знают Урал железный да медный. Пусть теперь узнают Урал литературный!» Поцеловались, растрогались оба...

— Так чем же ты недоволен?

— Бе-зо-бра-зие! В президиум поступило предложение: обратиться с просьбой к правительству о награждении Бажова орденом Ленина. А председатель не огласил записку... хоть я и настаивал. Нет, этого дела оставить нельзя!

И Бондин тут же написал в Правление Союза советских писателей. Через полтора месяца пришел ответ. Письмо это хранится в архиве Бондина. Правление сообщало, что, так как «Малахитовая шкатул-

ка» еще не вышла из печати, вопрос о награждении ставить преждевременно.

— Это правда,— сказал муж, окончив чтение письма. — Как я не подумал об этом? Ведь в какое неудобное положение поставили бы мы Петровича, огласив записку... Но я уверен, что рано или поздно он эту высокую награду получит!

...И вот наконец вышла в свет долгожданная «Малахитовая шкатулка».

Показывая мне подаренную Бажовым книгу, муж, весь сияя, сказал:

— Видишь, и мы не лыком шиты, не по-банному крыты! Нас считают периферийными писателями. А попробуй-ка втисни Бажова в периферийные рамки!.. Не выйдет это!

Любуясь книгой, муж продолжал:

— Павел Петрович подарил мне ее, как говорится, горяченькую: при мне получил в издательстве авторские экземпляры. Погляди автограф: «Старому другу Алексею Петровичу Бондину без дальнейших слов!» И правда, какие еще нужны тут слова?

Павла Петровича я увидела впервые в самую тяжелую пору моей жизни — у гроба мужа.

Ошеломленная страшным, внезапным ударом, я плохо воспринимала окружающее. Не дошло до меня, что Бажов приехал на похороны, не услышала, когда он вошел в комнату... Вдруг рядом со мной чей-то тихий, полный печали голос произнес:

— Эх, Петрович, Петрович, а я думал — ты меня похоронишь...

Оглянувшись, я увидела невысокого, коренастого человека с пушистой седеющей бородой. Светлые глаза проникновенно, с каким-то глубоким сочувствием, с каким-то желанием пробудить во мне силу, глядели на меня.

— Вот при каких обстоятельствах, Александра Самойловна, пришлось нам познакомиться...

Пожимая руку, он продолжал смотреть своими горящими глазами. Я точно читала в них и скорбь по ушедшему другу, соратнику в литературных боях, и призыв: «Будь мужественна!»

Говно через год состоялся вечер, посвященный памяти А. П. Бондина. В Тагил снова приехал Павел Петрович Бажов.

Вновь вижу возникшую в памяти картину.

Медленным, по-стариковски тяжелым шагом поднялся на трибуну Павел Петрович, обвел взглядом затихший зал.

Не было у него ни конспекта, никаких бумажек не было. Перед ним лежали книги Бондина — «Лога», «Моя школа», «В лесу», «Ольга Ермолаева».

Он брал то одну, то другую книгу, неспешно искал нужную ему страницу, продолжая свой доклад о жизни и творчестве покойного писателя... Впрочем, слово «доклад» здесь неуместно. Это был душевный рассказ о Бондине и созданных им книгах.

Я навеки запомнила этот вечер еще и потому, что Бажов решительно и твердо сказал то, что вдребезги разбивало ложное мнение, составившееся у критиков о Бондине:

— Алексей Петрович Бондин не подражатель и не продолжатель Мамина-Сибиряка, как это частенько утверждают наши критики. Бондин писатель самобытный. С марксистских позиций он показывает жизнь уральских рабочих. В этом его заслуга... Бондина еще не оценили в полной мере, но его оценят со временем.

Шли годы. Изредка я встречалась с Павлом Петровичем. Меня трогало, что среди кипучей его жизни, среди массы общественных дел он сохранил теплоту, прочную память о моем муже.

В 1948 году я пришла к нему, чтобы вручить трехтомник произведений А. П. Бондина.

Бажов долго перелистывал книги. Казалось, он глубоко задумался. Потом, взвесив все три тома на ладони, проговорил:

— Веские книги... во всех смыслах веские. Добрую память оставил по себе Петрович... Рано умер. Сколько бы он еще мог написать...

Задумавшись, взял трубку, выбил пепел, наполнил ее табаком, закурил. Я удивленно взглянула на него. Он лукаво улыбнулся.

— Врачи говорят: «Бросьте курить!» Я бросил папиросы, взялся за трубку. Поздно мне бросать курить...

Не зная, что сказать на это, я отвела взгляд, увидела груды распечатанных писем на столе. Рядом лежала рукопись.

Проследив за моим взглядом, Бажов сказал с горечью, которую не могла скрыть шутливая улыбка:

— Вот и глаза подводят, отказываются служить. Очки не помогают. Личного секретаря завел себе... Это моя жена.

Больно мне было слышать это. И Бажов, тонкий, деликатный человек, понял. Уже другим, бодрым тоном он сказал:

— Вы помните, как у нас Петрович ночевал?

С юмором он стал рассказывать о встречах Петровичей.

Вдруг глаза Павла Петровича засветились новой мыслью.

— Знаете что? Попробую-ка я добиться, чтобы включили в план приложений к «Огоньку» рассказы Петровича! Если выйдет, постараюсь в предисловии воздать ему должное.

И Бажов не забыл своего обещания. Вышел сборничек «Избранных рассказов» Бондина с предисловием Бажова.

Нижний Тагил, 1960



ЕВГЕНИЙ БАГРЕЕВ



БОЛЬШОЙ ДРУГ ГАЗЕТЫ

... Поезд шел из Москвы на восток. 1939 год. Я ехал в незнакомый мне край — на Урал, имея путевку ЦК партии с рекомендацией на работу в печати. По дороге в Свердловск жадно всматривался в горные пейзажи, в краски золотой осени. И меня одолевали мысли: какой он, Урал? Что ожидает меня?

Вот и Свердловск. Редакция газеты «Уральский рабочий». Расспрашиваю Леонида Петровича Неверова, исполнявшего обязанности секретаря редакции:

— Какие особенности в экономике края? Что представляет собой культура? Чем интересен быт уральцев?

— Про экономику, — сказал Неверов, — ты все узнаешь в «Уральской энциклопедии». А о культуре, быте и людях почерпнешь сведения в книге «Малахитовая шкатулка». Она недавно издана, но в магазине ее нет — расхватали. Даю тебе свою.

После работы, вечером, я увлекся книгой и читал ее почти до самого утра. Так состоялась заочная встреча с Павлом Петровичем. Вскоре я познакомился с ним. Белобородый, в длинной рубашке, перехваченной в поясе, тихий, приятный голос, лицо, выражаю-

щее внутреннее благородство,— это первое впечатление прочно отложилось в памяти.

В грозные годы, когда над Родиной нависла смертельная опасность, нас связала тесная дружба, которая помогла нам в совместной работе.

Трудно выразить словами переживания Павла Петровича в первые дни войны — переживания коммуниста, бывшего бойца Красной Армии, партизана в колчаковском тылу. Тяжелые раздумья: «Чем и как помочь борьбе с фашизмом?» — не покидали его.

— Писатели, те, которые остались в тылу, выступают со статьями, очерками, стихами на злободневные темы. Это их действенное оружие. А мое перо приучено к сказам. Но кому теперь нужны сказы, построенные на материале прошлого? Не та сила!

Разумеется, давать какой-либо совет я не мог, да и стеснялся. Беседа переключалась на другие темы — о событиях на фронте, восстановлении эвакуированных в Свердловск заводов, о газетных новостях. И каково же было мое изумление, когда однажды писатель пришел в редакцию в хорошем расположении духа и, положив на стол рукопись, сказал:

— Вроде бы получилось что-то нужное газете. Почитайте. Писал на скорую руку, потому не отшлифовано... В спешке-то всякое бывает.

Быстро и с увлечением прочитал я новый сказ, поблагодарил Павла Петровича и пообещал:

— Будет срочно опубликован¹.

Сбереженный мною оригинал сказа, напечатанный на пишущей машинке, называется «Главный вор», с подзаголовком «Из рассказов дегтярского горняка» (Дегтярка — рабочий поселок, ныне город Дегтярск, в зоне медного рудника). Под авторской подписью поставлена дата: 19 августа 1941 г. В «Уральском рабочем» сказ «Про главного вора» опубликован 21 августа.

Используя исторические были, автор нарисовал сатирический образ продувной бестии и хапуги

¹ С начала войны редактор «Уральского рабочего» Иван Степанович Пустовалов был утвержден секретарем обкома партии по пропаганде. Обязанности редактора исполнял я примерно до середины октября 1941 года, а потом газету редактировал до конца 1945 года Лев Степанович Шаумян. После его отъезда в Москву я был утвержден редактором.

Бревера, типичного представителя тех «немецких начальников», которые под покровительством царизма проникали на Урал и прибирали к своим рукам его богатства. Главный вор, говорится в сказе, «больше всех захватил. Ему гороблагодатские заводы достались, да еще царица (Анна Иоанновна. — Е. Б.) поставила его главным над всеми заводами. Он и давай хапать, что только углядит».

Сказ, обращенный в прошлое, вызывал у читателей аналогию: не так ли ведут себя фашистские разбойники, грабящие захваченные ими советские города? Произведение Бажова, несомненно, воспитывало ненависть к врагу, советский патриотизм.

14 апреля 1942 года газета опубликовала очерк «Крылатая страна», в котором Бажов вспоминает о слышанной им были: на Златоустовском заводе молодой парень выгравировал на стали двух коньков с крыльями, что страшно поразило немца-мастера, не способного понять творчества русского рабочего. Наша страна, заключает автор, мечтавшая в прошлом о крыльях, имеет теперь непобедимую армию «крылатых коней». Статья предварила чудесный сказ «Иванко-Крылатко».

С той поры все больше крепло содружество газеты с П. П. Бажовым. После сказа «Про главного вора» написаны «Иванко-Крылатко», «Провальное место», «Заграничная барыня», «Хрустальный лак», «Тараканье мыло», «Веселухин лужок». Эти произведения составили сборник «Сказы о немцах», вышедший отдельным изданием в 1943 году. «Уральский рабочий» напечатал 27 ноября 1943 года теплую рецензию о нем А. С. Ладейщикова. Сборник пользовался огромной популярностью в тылу и на фронте, о чем свидетельствует подборка читательских писем, помещенная в областной газете 28 января 1944 года, и письма автору от солдат.

В газете продолжалась публикация новых произведений из цикла «Сказы о немцах» — «Чугунная бабушка», «Алмазная спичка» и другие. Каждый раз, когда в оттиске сверстанной полосы газеты был бажовский сказ, работники редакции, радостно потирая руки, говорили:

— Спасибо Бажову!

— Выручил старик!

— Ударная сила газеты удвоена!

Сказы с сюжетом из исторического прошлого, перекликающиеся с современностью, метко били по фашистским захватчикам, озверевшим филистерам и собственникам.

Павел Петрович хорошо понимал, что мы воюем не с немецким народом, а с фашистскими нацистами. В беседах со мною он много раз выражал кипевшее в нем негодование злодеяниями фашистов.

Бажов — интернационалист и патриот — прекрасно знал, какую моральную силу имеет чувство советской национальной гордости. К воспитанию этого чувства были направлены, по существу, все сказы, в том числе и послевоенного времени. Например, сказ «Шелковая горка», обнародованный в «Уральском рабочем» в день 30-летия Великого Октября. Речь шла здесь о замечательном открытии — изготовлении «каменной кудели» (из асбеста), которая «в огне не горит». Крепостная Марфуша делала кружева на 80 лет раньше итальянской Елены! Сказ Бажова явился очень крепкой поддержкой линии газеты, публиковавшей серию материалов о достижениях отечественной науки и техники.

Много радостей принесла народу осень 1943 года. Враг проиграл битву на Курской дуге и откатывался все дальше и дальше на запад. В освобожденных районах начались восстановительные работы, в которых участвовали уральцы. Все это воодушевляло Бажова, и он решил написать и опубликовать сказ, содержание которого, по его признанию, «приберегалось для изложения на бумаге под конец жизни». Павел Петрович принес в редакцию сказ «Живинка в деле».

Когда сказ оказался в руках редактора Л. С. Шаумяна, он своим восхищением заразил работников редакции:

— Читай! Это чистейшее золото! Как мудро высечена философская мысль, что любой труд — творчество! А какой симпатичный Тимоха, углежог-профессор!

Сказ был опубликован 27 октября 1943 года. При встрече с писателями Л. С. Шаумян расспрашивал:

— Вы читали «Живинку в деле»? Нет? Ну, знаете,

вы многое потеряли. Поизносились глаза у Бажова, а видит жизнь с завидной зоркостью! Прочтите!

И тут же давал посетителю номер газеты со сказом.

Сам Павел Петрович считал это свое произведение коронным. Его содержание архисовременно. Герой сказа Тимоха Малоручко, «парень со смекалкой», любую тяжелую работу выполнял с охотой, непрерывно менял профессии. Наконец поступил в ученики к мастеру-углежогу дедушке Нефеду и «застрял в углежогах» навсегда. Почему же так случилось? Нелегкая и грязная работа оказалась своего рода искусством, которое надо познать с любовью к делу, найти в нем живинку. Перемену в поведении Тимохи дедушка Нефед объяснил так:

«— Ты книзу глядел, на то, значит, что сделано; а как кверху поглядел, как лучше делать надо, тут живинка тебя и подцепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и человека за собой тянет».

Редакция газеты, зная, что Бажов обычно готовит сказ к той или иной исторической дате, терпеливо ждала, когда он позвонит по телефону и скажет тихим голосом: «Закончил... Напечатал». А звонил он за несколько дней до даты. Ему хорошо было известно, что содержание сказа должен изучить и иллюстрировать рисунками редакционный художник Геннадий Ляхин, затем рисунки идут в цинкографию для изготовления клише, а оригинал сказа — в типографию для набора. Все это займет время.

Некоторые сказы зарождались в стенах редакции «Уральского рабочего». Газета напечатала много материалов о героике труда рабочих, которые не жалели сил для укрепления военного могущества страны. Павел Петрович зашел как-то к редактору газеты. Завязалась оживленная беседа, Лев Степанович, азартно жестикулируя, с юношеским задором говорил:

— Меня, Павел Петрович, очень заинтересовала одна личность на Верх-Исетском заводе. Удивительный человек! Представьте себе, показывает пример во всем. Буквально во всем! И в труде, и в отношении с людьми, и в быту.

— А кто он? — перебивает Бажов.

— Прокатчик Оборин. С какой стороны ни посмотри на него, обязательно увидишь только доброе. Настоящий коммунист! Весной мы печатали его портрет — лучший прокатчик в городе. А недавно снова поместили снимок, он занесен в городскую книгу Почета. Вот о ком надо писать поэму. Достоин!

— Да, Лев Степанович, на ВИЗе люди проходят хорошую школу, — сказал в раздумье Бажов.

Покопавшись в своем архиве, я нашел оригинал сказа «Круговой фонарь», напечатанный на машинке. На первой странице красным карандашом сделана пометка «Оборин». Сказ опубликован в «Уральском рабочем» 7 ноября 1944 года с некоторой стилистической правкой, сделанной самим автором (в редакции действовал запрет: к бажовскому тексту не прикасаться, удалять только заблудившиеся запятые).

Сказ «прямого боя» (так его охарактеризовал Бажов) заканчивается обобщенной характеристикой героя, которого «недавно в книгу Почета записывали», и далее делается заключение:

— «Так и сяк поворачивали, а на одно вышло... Одним словом, круговой фонарь. Только как он в партии состоит, так по-другому его похвалили:

— С какой стороны ни поверни — все коммунист».

В годы войны Бажов с особым напряжением духовных сил работал над сказами о Владимире Ильиче: «Солнечный камень», «Богатырева рукавица», «Орлиное перо».

В 1944 году произошли два больших события в жизни П. П. Бажова: награждение орденом Ленина и шестидесятипятилетие со дня рождения.

«Уральский рабочий» отметил юбилей многими материалами, а друзья-писатели порадовали выпуском однодневной газеты «Литературный Урал», вышедшей в день рождения писателя — 28 января.

При встречах с Павлом Петровичем я, как и другие знающие его люди, испытывал неубывающую жажду общения. Беседы с ним доставляли наслаждение. Сколько дел пришлось ему вершить! Руководство писательской организацией, выступления перед ранеными воинами в госпиталях, заботы о писателях, находившихся в эвакуации, и своя творческая работа — все это требовало затраты огромных сил. И удивительно,

что он никогда не впадал в уныние и не жаловался никому.

Недавно я получил письмо от бывшего секретаря Свердловского обкома партии Ивана Степановича Пустовалова, ныне персонального пенсионера, живущего в Москве. «Нашего незабвенного Павла Петровича Бажова,— свидетельствует Иван Степанович Пустовалов,— обком партии загружал больше, чем следовало бы. К сожалению, такое положение тогда было совершенно неизбежным, оно диктовалось неумолимыми законами и требованиями военного времени».

Жизнерадостность не покидала писателя.

Маленькая деталь. Прихожу к Павлу Петровичу по какому-то делу. Побеседовали. Встав из-за стола, он подошел к книжной полке и подал мне вещьцу в яркой, цветной обложке, говоря:

— Из Ирана прислали. По иллюстрациям догадался, что это «Малахитовая шкатулка». Конечно, порадовался.

Улыбнувшись, добавил:

— Посмотрите, на кого тут похож мой Данила! Изобразили по-своему, с обликом восточного человека. Ну, это не беда.

* * *

Поучительна история сказа «Не та цапля». В летнее утро, придя в редакцию, я сразу стал читать «Правду», начав с передовой, посвященной техническому прогрессу. Передовая увлекла меня. И вот возникла мысль: хорошо бы заинтересовать Бажова новой темой. Звоню ему домой:

— Павел Петрович! Очень прошу вас написать сказ о техническом прогрессе.

— Как-как?

— О том, какое значение сейчас имеет технический прогресс в развитии уральской промышленности.

— Вопрос, конечно, важный. Но вы ведь знаете, что это не по моей части. Пишу о том, что хорошо знаю. Не могу...

— Павел Петрович! Газету очень волнует этот вопрос. Прошу вас прочитать сегодняшнюю «Правду»...

— Ну, хорошо. Почитаю. Но сказа не обещаю.

Проходит некоторое время, и Павел Петрович появляется в редакции.

— Настукал. Посмотрите, может быть, годится для газеты.

Слово «настукал», которое он часто употреблял, означало напечатал на машинке.

Присел в кресло и, немного помедлив, добавил с добродушной улыбкой, как бы поверяя строгую тайну:

— Прихожу в обком партии. Секретарь обкома Шестаков пристал да пристал: «Поедем на Уралмаш, посмотрим шагающий экскаватор». Поехали. Рассматриваю части той машины, ее ноги, длинную стрелу, и сразу возникает образ цапли. А у нас в Сысерти прежде была заводская марка — изображение цапли. Вот откуда и пошли мысли о сказе «Не та цапля».

Историческую достоверность сказа подтверждает информация «Цапля из сказа Бажова», опубликованная 18 апреля 1973 года в «Уральском рабочем». Она сопровождается снимком слитка из красной меди с изображением цапли. Как сообщает газета, слиток был найден в г. Серове во время ремонта дома, где когда-то жил директор Надеждинского завода барон Е. А. Таубе. Обоснованно предполагается, что слиток, изготовленный примерно в 1912—1913 годах, попал в Богословское акционерное общество, в которое входил Надеждинский завод (ныне имени А. Серова) в качестве своеобразного сувенира из Сысертского округа, что подтверждают знаки на нем: «Акц. О. С. Г. О.» (Акционерное общество Сысертского горного округа).

* * *

Едва ли будет отступлением от истины заключение, что «Уральский рабочий» оказывал влияние на творчество Бажова. Своими «заказами» газета способствовала созданию сочинений, в которых далекое прошлое теснее связывалось с настоящим.

П. П. Бажов в свою очередь воздействовал на газету. Благодаря публикации сказов зримо возрастала роль печати. Важно подчеркнуть, что мы, журналисты, учились у Павла Петровича искусству владеть

словом, беседовать (именно беседовать, а не дидактически поучать и требовать «понимания задачи») с читателями. Учились раскрывать душу человека в своих очерках и зарисовках. И еще учились видеть за фактами и событиями движение истории, социальный прогресс, направляемый партией.

«Долговекий мастер», как удачно назвал П. П. Бажова Е. А. Пермяк, был, попросту говоря, своим человеком в редакции. Частенько я видел в редакции такую идиллическую картину: на старомодном диване с высокой спинкой сидят П. П. Бажов и А. С. Серафимович или П. П. Бажов и А. С. Новиков-Прибой, мирно течет беседа, тихая и спокойная. Павел Петрович дымит любимой трубкой и больше слушает, чем сам говорит.

* * *

Питая глубокое уважение к газете, Павел Петрович внимательно просматривал ее страницы и критически относился к иным публикациям. Если что не нравилось ему, высказывал мнение откровенно и прямо. Давал советы, но очень тактично. Однажды возник интересный диалог с ним. Идем мы из Дома печати в обком партии.

— Буду заседать,— говорю я,— а ведь мне сегодня надо написать передовую статью.

Павел Петрович не выразил никакого сочувствия, промолчал. А через минуту, слегка покашляв, шутиливо спрашивает:

— Не на международную ли тему?

— Нет, на внутреннюю. Весна приближается, посевная кампания не за горами.

— Передовую об этом вы мигом напишете.

Я несколько смутился, не понимая, к чему клонит речь Павел Петрович. Стараясь не обидеть меня и тщательно подбирая выражения, он продолжил:

— Откровенно говоря, читаю передовые «Уральского рабочего». Есть, конечно, добрые. А чаще бывают... тяжеловатые, сложные фразы накручены так, что торчат колючей проволокой, за которой упрятана мысль. Верно я заметил?

— Верно.

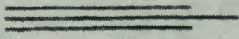
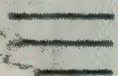


Павел Бажов в годы учения.




П. П. Бажов с красногвардейцами. 1918 г.

Газета «Окопная правда», которую редактировал П. П. Бажов.

ОКОПНАЯ 
ПРАВДА  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ

Издание Политического Отдела 1-й Уральской Дивизии.

Сентябрь 1918 г.  Адрес редакции: Ст. Алапаевск. **№ 4**

Ленин—вождь возставших пролетариев России указал
путь борьбы и победы мировому пролетариату.
Ненависть всего капиталистического мира сосредоточена
на нашем вожде.
Они решили убить из за угла нашего вождя, чтобы
убить революцию рабочих и крестьян.



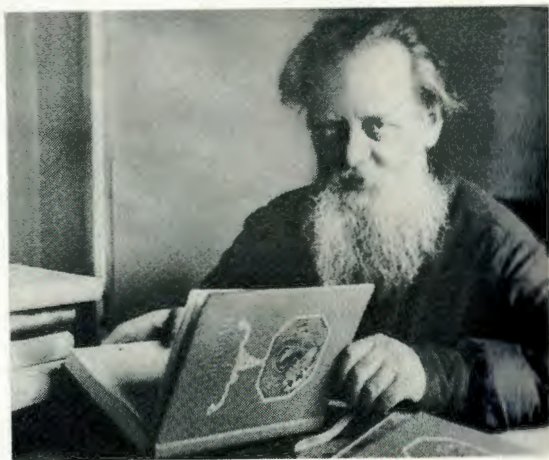
П. П. Бажов в редакции «Крестьянской газеты». 1924 г.



Обложка первой книги
П. Бажова. 1924 г.



Павел Бажов и его жена Валентина Александровна с детьми: в верхнем ряду — Елена и Ольга, в нижнем ряду — Алексей и Ариадна.



П. П. Бажов с выставочными экземплярами книги «Малахитовая шкатулка». 1939 г.



П. П. Бажов с писателями С. В. Михалковым и К. М. Симоновым. 1939 г.



**П. П. Бажов с писателями А. С. Серафимовичем и
А. М. Климовым. 1941 г.**



Павел Бажов и Мариэтта Шагинян. 1943 г.



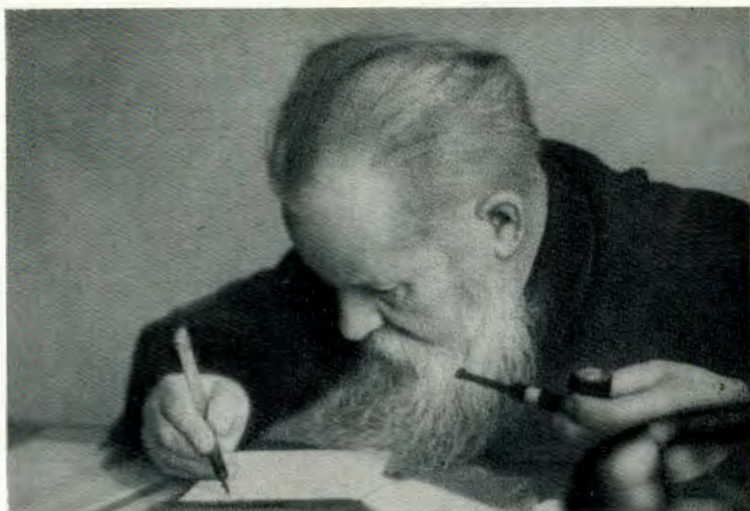
П. П. Бажов с женой Валентиной Александровной и дочерью Ариадной. 1946 г.



Л. И. Скорино и П. П. Бажов. 1948 г.



П. П. Бажов и Б. Н. Полевой. 1950 г.



За работой. 1948 г.

Автограф концовки сказа П. Бажова «Живинка в деле».

А сам ~~написал~~ ругаются-то своим рывком.
 Люди; поплыви, сиф. Вот Малафу и кричала
 Малоружан. В шуртку, конюшо, а таа мушка
 воем на дуброа славе по зиводу тей.
 Как дробуно Черяд даяр, так Малоружан
 урэм в первак ота. Мотж ели отделим &
 бараат соннеи. Пряз скажет, мастер в
 слави дри. тей.
 Это то вилка-правучки тсейше в дриид
 мессит жыют. Моти койраи шилинш, она
 в свои дриид-шуча, такко за руки че
 шадийсь. Поиннаш, ~~копоти~~ что пачкоу лон-
 че гондети руки черотайив вине обид.
 П. Бажов

Свердловск.
 Ул. Гиппелев, 11
 23/10/48.



слева направо: Е. Ф. Трутнева, П. П. Бажов, П. Ф. Нилин,
Л. К. Татьяничева, Б. Н. Михайлов, И. И. Ликстанов. 1948 г.



На первой конференции сторонников мира в Москве. Слева направо: П. П. Бажов, В. В. Данилевский, Ф. В. Гладков. 1949 г.



Маршал Советского Союза-Г. К. Жуков и П. П. Бажов.



Депутаты Верховного Совета СССР (слева направо): Шалва Дадзиани, Павел Бажов, Николай Тихонов, Якуб Колас, Александр Фадеев, Александр Корнейчук и Леонид Леонов. 1950 г.



Раздумье. 1950 г.

— Запомнил одну передовую: «Мобилизовать все силы на уборку урожая». Все в ней есть, не затронуты только вопросы международного положения...

И Павел Петрович спрятал улыбку в бороду. А я с горечью подумал: «Какая чушь — «мобилизовать все силы». Значит, надо вывести на поля стариков, женщин, детей — всех поголовно, сосредоточить тут всю технику, лошадей, транспорт. А кто же будет ухаживать за коровами, отвозить зерно на заготовительный пункт?!»

Ссылаясь на опыт областной «Крестьянской газеты», благожелательный критик добавил:

— У нас прежде проще было. Дали заголовок «О картошке» и повели с крестьянином душевную беседу. Подбодрили его. Порадовали урожаем и доходами от картошки.

Когда газета допускала ошибку, критик-друг становился на принципиальную позицию.

Строгая бажовская принципиальность отчетливо выражена в его статье «По поводу одной рецензии». Впервые она опубликована в книге «П. П. Бажов. Публицистика. Письма. Дневники», вероятно, по копии. А ее оригинал с автографом Бажова и датой «30/XI 46» оказался в моем архиве. Статья Павла Петровича острополемична и прочно аргументирована. В ней дана резкая критическая оценка рецензии на сборник «Золото», помещенной в газете 15 ноября 1946 года. Сборник выпущен местным издательством к 200-летию добычи золота на Урале. Статья Павла Петровича примечательна тем, что раскрывает его типичные черты: доскональное знание истории Уральского края, правдивость и честность в оценке литературных и иных явлений.

Суждения Бажова сохраняют свою актуальность и в наши дни. Цитирую по оригиналу его статьи:

«Литературная критика в нашей стране призвана помочь литераторам разобраться в сложных явлениях жизни, освоить происходящие общественные процессы, своевременно указать на ошибки, направить на путь, учитывая особенности, способности автора и накопленный им опыт. Но сделать это может лишь авторитетная и принципиальная критика, которая в слу-

чае надобности может смело признать и свои ошибки».

Мудрые слова...

Вернусь к празднованию 200-летия уральской золотопромышленности. Этому событию газета посвятила страницу в номере от 18 ноября 1945 года. В ней помещены статьи директора треста «Уралзолото» и председателя обкома профсоюза рабочих добычи золота и платины. В день выхода газеты Павел Петрович сделал в дневнике длинную запись, в которой сказано: «...Нашел обе статьи жалкими, даже позорными для такой большой даты, как двухсотлетие Уральского (по-моему, русского) золота». Мнение убедительно обосновано. Разбирая статью директора треста, Бажов обращает внимание на такое «философское обобщение» по поводу тяжелых условий труда горняка при капитализме: «И эту тяжесть мог вынести на своих плечах только народ, в котором сочетались и терпение, и выносливость, и глубокая смекалка». В этой фразе он увидел журналистским взглядом «нейтрализующую прибавку редакции», которая вызвала у него решительное возражение:

«...Качества нашего народа сведены к терпению и выносливости, когда каждый из нас с гордостью повторяет высказывание В. И. Ленина: «Европа беднее нас талантливыми людьми...» В истории золотопромышленности это сказалось с особой отчетливостью». Павел Петрович критично оценивает помещенные на странице очерки «В Березовске» и «Мать-жила», считая их невыразительными, с содержанием, заключенным «в очень непрезентабельную оправу».

Справедлива и поучительна критика Бажовым двух материалов в «Уральском рабочем», помещенных 30 июля 1946 года. Первый из них — маленький фельетон «Последний трюк».

Бажов записывает в дневнике в тот же день, 30 июля 1946 года: «Фельетон написан бойко, с выдумкой и темпераментно. Но вот читаешь, и тебя не оставляет мысль, зачем так длительно писать о том, что можно выразить коротенькой заметкой». В прошлом фельетонист вынужден был так писать, чтобы «цензор не имел права запретить» и чтобы путем намеков и инсказаний довести до читателя сокровенный смысл,

подтекст фельетона. «Остроумное игрословие» было другой его особенностью, но второстепенной.

Совсем иными стали задачи фельетона в советское время. «У нас,— пишет Бажов,— жанр фельетона, на мой взгляд, может держаться лишь на исключительном остроумии, начитанности и большом мастерстве... Наша система позволяет о любом отрицательном явлении сказать полным голосом»¹.

Второй объект критики Бажова — очерк «Уралмашевская закалка», скучное повествование о технологии. Бажов записал: «Очерк не дочитал. Начинается тем, что сломался резец. Из разговора, который дальше приводится «для живости», узнаешь, что резец из победита. А дальше и читать не надо. Все ясно и без длинного авторского оформления. Так и скажи коротко, просто, что либо изобрели какую-то новую закалку резцов, либо нашли лучшие пути их использования».

Неудачный очерк послужил Павлу Петровичу поводом для размышлений. Он ставит вопрос: почему героика будней в изображении журналистов и литераторов получается неувлекательной? И отвечает подробно. Часто переносятся в литературу обветшалые приемы: показ пейзажа «для настроения», описание внешнего облика героя, какого роста, широк в плечах или нет, с облысевшим лбом или с взбитым чубом, а затем поверхностный разговор о работе. «За всем этим внешним вовсе не видишь ни человека, ни его дела», — подчеркивает писатель. А в заключение делает вывод, что люди — везде люди: и в быту, и на войне, и на производстве... все живут, волнуются, борются². Это и должно изображаться полноценно.

Мне приходилось многократно встречаться с Павлом Петровичем на партийных собраниях в Свердловском отделении Союза писателей, на партийных конференциях, в обкоме КПСС, членом которого он являлся. Сюда он приходил для решения общественных

¹ П. П. Бажов. Публицистика. Письма. Дневники. Свердловское кн. изд.-во. 1955, стр. 247.

² Там же, стр. 248.

вопросов, утверждения важных мероприятий, намеченных писателями-коммунистами, а также с докладом о работе отделения Союза. И каждый раз оставлял о себе впечатление как о человеке, выражаясь его словами, «партийном изнутри».

...С невыразимой болью я подписывал, будучи редактором, номера «Уральского рабочего» с 3-го по 13 декабря 1950 года, в которых печатались соболзнования-отклики на смерть писателя П. П. Бажова.

Незабываемый образ...

Коммунист, честно пронесший через десятилетия высокое звание члена ленинской партии.

Человек покоряющей душевной красоты.

Писатель — чародей слова.

Таким живет в моей памяти Павел Петрович.

Свердловск, 1976



ИВАН ТЮФЯКОВ



ЧЕРТЫ ДУШЕВНОЙ ПОЛНОТЫ

Каждая беседа с Павлом Петровичем производила на меня неизгладимое впечатление, и, снимая писателя, я стремился запечатлеть как можно ярче его облик, передать душевную красоту этого человека.

Впервые фотографировал Бажова я в январе 1939 года: только что вышла из печати «Малахитовая шкатулка», и отмечалось шестидесятилетие ее создателя. С того дня в моем архиве множились снимки Бажова. Расскажу о наиболее памятных.

В марте 1939 года в Свердловск приехали поэты Сергей Михалков и Константин Симонов. На лацканах их пиджаков поблескивали ордена. В момент беседы с Павлом Петровичем я их и сфотографировал. А через два года, 28 марта 1941 года, свердловчане встречали одного из зачинателей советской литературы — Александра Серафимовича Серафимовича. Он выступал перед рабочими, встречался со студентами, а 2 апреля беседовал с П. П. Бажовым.

Началась Отечественная война. Я ушел на фронт. В письмах жены иногда получал приветы от Бажова. При встречах с ней он каждый раз спрашивал:

— Как Ванюша? Кланяйся ему.

Летом 1943 года на фронте мне вручили увесистую бандероль. Жена прислала несколько номеров газеты «Уральский рабочий» и сборник рассказов военного времени, изданный в Свердловске. В сборнике были напечатаны и новые сказы П. П. Бажова. В часы затишья я читал солдатам своего подразделения статьи из этого сборника и сказы Бажова.

В 1945 году, после демобилизации из армии, вновь вернулся к своей профессии. Через год, в январе, Павел Петрович был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. По заданию редакции «Уральского рабочего» я отправился к нему домой. То была наша первая послевоенная встреча. До этого я в доме Бажовых никогда не бывал. Павел Петрович встретил меня с большим радушием. Одет он был просто, по-домашнему. В его рабочем кабинете вдоль стен стояли длинные, высокие книжные шкафы, доверху набитые книгами. Поразил меня небольшой стол — он был весь завален письмами. На столе пишущая машинка и старинная лампа с зеленым абажуром. Повсюду образцы руд и минералов. Сначала мы душевно поговорили, а затем я стал снимать. Сфотографировал Павла Петровича за письменным столом, с внуками Аликом и Володей, гостившими в то время у деда. Потом попросил Павла Петровича надеть пиджак и приколоть орден и медаль.

— Не надо, ну для чего это? — запротестовал он. — Снимайте в таком виде, как есть.

Но потом уступил моим просьбам. Я помог ему приколоть орден Ленина и медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Чувствовалось, что в парадной форме ему явно не по себе. Вначале снял Бажова крупным планом, потом сделал портрет в полурост и намеревался продолжить съемку в других позах, как вдруг Павел Петрович повернулся в сторону.

— Ладно уж, хватит, все меня да меня. Давай лучше сфотографируемся вместе.

Я установил фотоаппарат на штатив, и с помощью автоспуска мы сфотографировались вдвоем. Теперь эта уникальная для меня фотография, как бесценная реликвия, висит над моим письменным столом.

Это был единственный случай, когда Бажов фотографировался с наградами. В послевоенные годы мне еще много раз приходилось снимать Павла Петровича среди молодежи и школьников, с писателями и журналистами, на различных совещаниях, дома, в кругу семьи.

Я стал чаще появляться в доме Бажовых. Павел Петрович не возражал. 6 февраля 1950 года я решил навестить его. Как оказалось, он хворал и только что поднялся с постели, стал ходить по дому. Встретил он меня в коридоре, в накинутом на плечи темно-синем суконном халате, вид у него еще был неважным.

— Ванюша, прежде чем прийти, ты бы позвонил,— сказал он укоризненно.

— Павел Петрович,— ответил я,— если позвоню, то могу ведь услышать о вашей занятости. А раз уж пришел, то, думаю, не откажете вы мне, и дело мы с вами сделаем.

— Это, пожалуй, верно,— улыбнулся Бажов.

Мы прошли в его рабочий кабинет. Облокотившись на специальную маленькую подушку на письменном столе, положив руку на руку, Павел Петрович тихо посасывал трубку, неторопливо вел беседу, иногда выпуская изо рта кольца дыма. Его большие, открытые и умные глаза пронизательно смотрели на меня. Это была его любимая поза при беседах с посетителями. На прощание Павел Петрович подарил мне книгу «Малахитовая шкатулка» с автографом. На титульном листе книги написал:

«Ивану Николаевичу Тюфякову на добрую память
в многочисленных встречах при фотоаппарате.

П. Бажов».

6 февраля 1950 г.

— Я люблю тебя за то,—вручая книгу, сказал он,— что ты ненадоедлив, не заставляешь позировать.

До сих пор отчетливо слышу его тихий, мягкий, немного глуховатый голос. Вижу его неторопливую походку. Своей внешностью он как бы сам напоминал сказочного героя. Фотографировать Павла Петровича было легко. Был он хорош именно в своей, типично бажовской позе. Во всем его внешнем облике была сама простота. Когда же приходилось фотографировать его с детьми, то в эти мгновения он как бы весь светился изнутри.

* * *

В конце сороковых годов Уральским военным округом командовал прославленный полководец, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Мне очень хотелось сфотографировать его вместе с П. П. Бажовым. Наконец такая возможность представилась.

20 февраля 1950 года в здании Свердловской филармонии проходила городская партийная конференция. В президиум конференции избрали Жукова и Бажова. В перерыве я пригласил Жукова и Бажова в отдельную комнату. При мне были фотографии, принесенные для Бажова, и пока они их рассматривали, я сделал несколько снимков. Через два дня, на торжественном заседании в честь дня Советской Армии, я вручил Г. К. Жукову фотографии, снятые на партийной конференции.

— Эти фотографии,—сказал Жуков,—будут для меня хорошей памятью о встречах с Павлом Петровичем.

* * *

В феврале 1950 года Бажов был вновь выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. В первых числах марта ему предстояла поездка в город Ревду, на встречу с избирателями. Я договорился с Павлом Петровичем, что буду сопровождать его в этой поездке. 8 марта мы отправились в путь. По дороге сделали остановку в Первоуральском горком

КПСС. Здесь нам сообщили, что на участке между Первоуральском и Ревдой ночью прошел сильный снегопад, дорогу замело и на «Победе» не проехать. Пришлось пересесть на машину-вездеход. Встреча с избирателями состоялась в клубе метизно-металлургического завода. На второй день мы возвращались домой. Погода выдалась на редкость чудесная, теплая. Обильно выпавший снег искрился под лучами весеннего солнца. Трасса дороги по московскому тракту проходит среди холмов, по отрогам Уральских гор, покрытых лесами, с бесконечными зигзагами, крутыми подъемами и спусками. Зимние пейзажи Среднего Урала сменялись, как в калейдоскопе. Не доезжая до Свердловска, у речки Каменки, сделали остановку. Все вышли из машины полюбоваться: на опушке леса, у самой дороги, природа-художник создала необыкновенно красивые нагромождения камней-валунов, высоко возвышающихся над дорогой.

Павел Петрович был в белых фетровых валенках с галошами, длинном драповом пальто с черным каракулевым воротником. На голове пыжиковая шапка-ушанка. Его белая борода от легкого дуновения развевалась по ветру. Было такое впечатление, будто из чащи леса на дорогу вышел сам дед-мороз.

* * *

4 июня 1950 года я сопровождал писателя Бориса Полевого в колхоз «Яровой колос» Белоярского района. Борис Полевой приехал в нашу область по заданию газеты «Правда». На обратном пути в Свердловск и спросил Бориса Николаевича, был ли он у Бажова.

— Был,—ответил Полевой,—но, честно говоря, состоялся лишь официальный разговор, а вот душевной беседы у нас с Павлом Петровичем Бажовым как-то не получилось.

Я предложил договориться о повторной встрече.

— Я был бы очень рад,—сказал Борис Николаевич.

На второй день с утра мы были в доме на улице Чинаева. День выдался погожий, и все, и хозяева, и гости, отправились в сад. Каждое дерево, каждый куст здесь были посажены руками Павла Петровича.

В тени деревьев, под ветвями яблонь и рябин, на скамеечках, много часов шла задушевная беседа. Тут же в саду, за самодельным деревянным столом гостеприимная хозяйка дома Валентина Александровна Бажова угощала нас сочными уральскими пельменями.

А еще через месяц в этом же саду мне довелось быть свидетелем необычного события. П. П. Бажов позировал скульптору М. П. Крамскому. Когда работа над бюстом была закончена, Павел Петрович пошутил:

— Вот и у меня появился двойник. Теперь всех корреспондентов буду направлять к нему.

В первых числах октября 1950 года я получил приглашение из журнала «Советский Союз» стать фотокорреспондентом по Уралу. В редакции журнала как раз готовился к публикации фоторассказ о П. П. Бажове, и первым заданием для меня было участие в подготовке этого очерка. Павел Петрович в те дни уже тяжело болел, и это была моя последняя встреча с ним.

Свердловск, 1975



О Л Е Г Ш У М К О В



САМОЦВЕТ

Я не знаю, каждый ли народ имеет своего мудрого сказочника, но твердо верю — он нужен. Людям нельзя без сказки. Сказка смягчает сердца и рождает стремление к прекрасному и удивительному.

У советского народа есть свой добрый волшебник. Это автор «Малахитовой шкатулки» Павел Петрович Бажов.

Мне выпало счастье знать Павла Петровича, встречаться с ним.

В 1937 году я окончил институт в родном городе Свердловске и, получив звание инженера по обогащению руд, приехал работать в горнорудный поселок Тетюхе, Приморского края.

Скучая по родным местам, я выписал газету «Уральский рабочий», издаваемую в Свердловске, и из нее узнавал, что делается на Урале.

Однажды я прочитал, что в Уральском издательстве вышла книга сказов П. Бажова «Малахитовая шкатулка». Вскоре мне удалось ее приобрести.

Здесь надо сказать, что в студенческие годы я писал стихи и даже немного печатался в газетах.

А несколько моих стихотворений были напечатаны в областном журнале «Штурм», чем я немало гордился.

Считаясь начинающим поэтом, я усердно посещал писательские собрания в уютном особняке на улице Пушкинской, выступал на литературных вечерах. И конечно же знал всех уральских писателей. Слышал и про Бажова, мне даже однажды показали его. Но что я узнал о нем тогда? Что он автор книги «Уральские были», пишет что-то по истории, собирает горнозаводский фольклор. Запомнилась его внешность: небольшой рост, борода и внимательные, сосредоточенные глаза. Да еще почему-то широкий солдатский ремень, которым он подпоясывал строгую черную гимнастерку.

Я начал читать «Малахитовую шкатулку». Какой поистине родниковой свежестью повеяло на меня от этих на вид таких безыскусных сказов! Все было такое знакомое, уральское, родное...

Малахит «шелкового сорта», лазоревка, королек с витком, зелененькие хризолиты, топазики, эвклазики — с детства знакомые названия. И наконец, один из красивейших самоцветов — изумруд. Когда-то он назывался смарагд. Это о нем писал великий римский натуралист Плиний-старший: «Третье достоинство между драгоценными камнями после алмаза и жемчуга присвоается смарагдам по многим причинам. Нет цвета, который был бы приятнее для глаз. Ибо мы с удовольствием смотрим также на зеленую траву и листовие древесное, на смарагды тем охотнее, что в сравнении никакая вещь зеленее не зеленеет... Блеск свой они распространяют далеко и как бы окрашивают около себя воздух, они не переменяются ни на солнце, ни в тени, ни при светильниках и всегда превосходны, всегда блестящи и, судя по толщине их, имеют беспрепятственную прозрачность».

И это, и многое другое вспомнилось мне. Ведь я вырос в семье горного техника, и любовь к камню, к уральским самоцветам, сопровождала меня с детства.

Что еще интересно: читая сказы Бажова, я заметил, что любимые минералы автора и его героев все зеленого цвета. Почему?

Потому ли, что зеленый цвет — символ весны и юности, свежести и жизни, радости и надежды? Или

потому, что, как пишет академик Александр Евгеньевич Ферсман: «Славу русских камней составляют зеленые камни. Нет другой страны в мире, где были бы столь разнообразны камни зеленых тонов. Ими по праву гордится наша Родина. Так много у нас зеленых камней, что их трудно пересчитать?»

Большинство этих камней встречается на Урале. И прекраснейший из них — изумруд. «Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце», — писал о нем А. Куприн.

Вероятно, сыграло роль и то, и другое, а нежность зеленого цвета больше всего подходила к радостному тону сказов Бажова о его простых героях — уральских умельцах.

«Малахитовая шкатулка» заставила о многом задуматься. Прежде всего мой родной Урал, который, как мне казалось, я знал, приоткрылся мне с совершенно неожиданной стороны. И я начал понимать, в чем заключается истинная поэзия и как далеки от нее те красоты, которыми я обильно уснащал свои стихи, думая, что это хорошо.

Впрочем, стихов к тому времени я уже не писал. Я работал на обогатительной фабрике, любил свою профессию, и она занимала все время, все мои интересы.

Чтение книги Бажова только лишний раз убедило меня в той простой истине, что не всякие рифмованные строчки — это стихи и не всякие стихи — поэзия.

А все же писать иногда хотелось. Что же, подумал я, если не вышло со стихами, попробую свои силы в прозе. Вопрос, о чем писать, решил сразу. Конечно же о Приморье. Дальний Восток тогда у всех вызывал повышенный интерес.

И я стал писать небольшие рассказы, в одну-две страницы. С экзотикой и выдумкой. Выходившая в Свердловске комсомольская газета «На смену» охотно печатала их под рубрикой «Рассказы о далеком крае». Это меня окрыляло.

Теперь мне ясно, что единственным достоинством моих скороспелых опусов был, может быть, лаконизм. Тогда же я думал иначе и решил получить отзыв (разумеется, положительный) у кого-либо из настоящих

писателей. К кому обратиться? Ну конечно же к Бажову. Кстати и познакомлюсь с ним.

Все складывалось как нельзя лучше. Ранней осенью 1940 года я приехал в Свердловск в отпуск. Через несколько дней отправился в отделение Союза писателей, в знакомый особняк на Пушкинской улице.

Павел Петрович бегло перелистал мою рукопись и сказал просто:

— Это хорошо, что вы пишете так кратко. Я охотно почитаю. Заходите через неделю вечером. Часиков этак в семь. Ко мне домой — Чапаева, одиннадцать.

В назначенный день и час я был на улице Чапаева. Вот и рубленый одноэтажный дом с белым каменным фундаментом, широкими трехстворчатыми окнами, с деревянным крыльцом, обнесенным резными перилами.

Дверь открыл сам Павел Петрович. Он был по-домашнему — в валенках, в широкой серой блузе, которые тогда называли толстовками.

— Проходите, проходите! Калоши можно снять в передней, — сказал он, пожимая мне руку.

Мы прошли в небольшую комнату — нечто среднее между гостиной и кабинетом. Везде книги, рукописи, черные чугунные статуэтки каслинского литья. Минералов я не увидел или, может быть, не заметил.

Он вынул из стола мою рукопись. Развернул.

— Прочитал. Язык хороший. Писать можете, но... Скажите, для чего вы их написали?

Этого вопроса я не ожидал и, смутившись, забормотал, что я хотел передать свои мысли и чувства читателям, ознакомить их с Приморьем.

Бажов молча выслушал меня. Потом положил руку мне на колено, посмотрел в глаза и твердо сказал:

— Вы не обижайтесь, но... не было у вас этих чувств, да и мыслей, извините, маловато. Значит, и читателю передавать нечего. Выдумали вы свои чувства. Конечно, писателю без выдумки нельзя. Только идти она должна от чего-то живого, с теплинкой. А этого у вас нет.

Он помолчал.

— Не сердитесь. — И, поймав мое протестующее движение, уточнил: — Я понимаю, что приятно мало слушать такие слова. Однако имею достохвальную привычку говорить правду. Давайте разберемся...

Павел Петрович не торопясь разобрал все мои рассказы. Говорил он очень деликатно, доброжелательно, но с каждой минутой я все больше и больше понимал, как бесконечно плохо то, что я написал. И мне становилось стыдно и за свои писания, и за то, что оторвал от дела занятого человека, настоящего писателя. Да еще ожидал похвалы!

Все же у меня хватило выдержки выслушать все. Поблагодарил. Извинился за то, что отнял время. Потом вспомнил... и полез в карман.

— Вот, Павел Петрович, принес вам несколько образцов наших минералов. Так сказать, с отрогов Сихотэ-Алинского хребта...

Он оживился.

— Нуте-ка, покажите...

Уже по одному тому, как он брал принесенные мною образцы, было видно, что он знает и любит минералы и для него они не просто частицы «неживой природы». Он брал камень левой рукой, пальцы оказывались где-то внизу, кристалл как бы висел в воздухе и медленно поворачивался, открывая все свои грани, свой неповторимый цвет и блеск.

Павел Петрович безошибочно определил:

— Это медный колчедан... Очень крупный кристалл, я таких еще не видал. А это железный колчедан, сейчас говорят чаще — пирит, так ведь?.. Прекрасные образцы кальцита, а вот и кристаллики хрусталя. Это, конечно, свинцовый блеск, а черные столбики... наверное, цинк?.. Ну, разумеется, цинковая обманка, очень коварный минерал... А вот это что? Такого темноватого цвета, с шелковинкой, я что-то не встречал.

— Это геденбергит, соединение кварца, окиси кальция, железа и марганца, — пояснил я.

— Геденбергит, говорите? Слышал такое название, но вижу впервые. Наверное, после полировки будет хорош... Приморье интересный край, — говорил он. — Жаль, что не пришлось побывать. Что ж, может быть, вы найдете там свою тему — жизнь подскажет, только не торопите ее... А писать — пишите, набивайте руку.

Хорошая мысль, как самоцвет, требует огранки, а это надо уметь делать...

Принесенные мною образчики минералов лежали на столе, скромно посверкивали. Мы оба смотрели на них.

— Да, минералы, камушки... — задумчиво говорил Павел Петрович. — Многие люди связывают с ними всю свою жизнь, свою судьбу. И минералы — это не только самоцветы, это руды, металлы... — Тут Павел Петрович улыбнулся и добавил несколько смущенно: — Впрочем, что ж я это говорю вам, горному инженеру?

— Горный инженер, — говорил он, — раньше умел делать все. Он искал руды, добывал их, выплавлял металлы. А теперь все усложнилось. Появилась узкая специализация. Вот вы по диплому горный инженер, а специальность ваша называется обогатитель. Это звучит, согласитесь, несколько странно... Повторите-ка, пожалуйста, что такое обогащение руд?

— Обогащение руд — это отделение полезных минералов от пустой породы, — сказал я.

Павел Петрович на несколько мгновений задумался. Но вот лицо его озарилось какой-то детской радостью, и он заинтересованно сказал:

— А ведь ваша профессия сродни писательской. Да, да... Писатель тоже все время выискивает в жизни кристаллики мыслей, чувств, интересных событий. Это и есть полезные минералы. Из них он выплавляет чудесные вещи — художественные произведения, над которыми плачут и смеются люди. А все ненужное, пустую породу, вон!.. Мыслишка вроде немудрящая, но вдумайтесь в нее, вдумайтесь...

Накрапывал мелкий, надоедливый октябрьский дождь. Я шагал домой по гранитным плитам тротуара...

Вот прошел еще один день моей жизни, подаривший мне знакомство с прекрасным человеком, подумал я. Впрочем, Павел Петрович только «притворяется» писателем. На самом деле он добрый волшебник, горный дедушка — хранитель горных богатств и щедрый даритель радости...

И еще. Странное дело. Ведь в тот вечер Павел Петрович ясно дал мне понять, что никакой я пока не

писатель. Так почему же у меня, обидчивого по натуре, так легко и радостно на душе? Тогда я не мог понять этого, да и, признаться, не пытался анализировать свои чувства. А теперь, через много лет, думаю, что это было от соприкосновения с истинной поэзией, которая всегда чужда ограниченному и мелким чувствам.

Это была наша единственная встреча, наш единственный разговор. Больше мне не приходилось видеть Павла Петровича.

Что ж было дальше?

Быстро пролетел отпуск на родине, и вот я снова в Приморье, в маленьком горнорудном Тетюхе. И занимаюсь тем, что умею делать,—обогащаю руду, отделяю полезные минералы от пустой породы. Рассказы «О далеком крае» перестал писать. Понял, что это «не то». Больше стал вдумываться в происходящее, запоминать. Кое-что записывал, как думалось, «для себя».

Потом война. Да, здесь над нами не кружили вражеские самолеты, мы не знали, что такое бомбежки, затемнения, не слышали даже выстрелов. Но мы давали свинец и цинк. Металлы для победы. И были свои трудности. Не хватало всего. Людей, которые уходили на фронт. Не хватало материалов и реагентов. И не только потому, что они в первую очередь шли для фронтовых нужд, но и потому, что некоторые из них мы раньше получали из тех мест, где теперь хозяйничали фашисты. И приходилось экономить, изыскивать заменители, выкручиваться, изобретать.

В этой напряженной работе, в повседневных заботах такими далекими и ненужными казались все литературные дела и замыслы. До этого ли сейчас? Да, это было так... И все же...

Во время войны, в дни тягчайших испытаний, в душе каждого резко возрастает чувство родины. Вспоминаются места, где ты родился, рос, родные и близкие люди, учителя, не только школьные или институтские, но и все хорошие люди, которые встречались тебе в жизни.

И, вспоминая родной Урал я часто вспоминал и Павла Петровича. Словно он сидел рядом со мной и,

положив руку на колено, говорил своим чуть глуховатым голосом:

«...может быть, вы найдете там свою тему — жизнь подскажет, только не торопите ее...»

Жизнь подскажет... Сейчас жизнь не только подсказывала, но властно велела все силы ума, сердца отдать главному — победе над врагом. Каждому на своем месте. Вот недавно мы внедрили на фабрике медную флотацию (флотация — это метод обогащения руд цветных металлов).

Когда цель достигнута, все кажется просто. А сколько было мучений, тяжелой, кропотливой работы, удач и разочарований... Но, должно быть, таково свойство человеческой памяти, что запоминается больше хорошее.

Мы стояли с начальником фабрики на мостике над флотационными машинами и смотрели на них, содержащая медный минерал халькопирит, золотистого цвета пена тяжело переваливалась через борта камер. Сквозь окна цеха пробивались солнечные лучи, они падали на пену, и она сверкала, сияла, и казалось, что в желоб льется чистое золото. Нет чище и выше радости, чем радость творческого труда.

И вот тогда я подумал, что все эти перипетии с получением медного концентрата, вплоть до зрелища золотой пены, все это, наверное, и есть те интересные события, те кристаллики мыслей и чувств, о которых говорил мне Павел Петрович в тот памятный сентябрьский вечер в родном Свердловске. Более того — может быть, это и есть подступ к своей, не выдуманной, а пережитой и выстраданной теме?..

Над страной шумел ветер скоростей. Скоростное резание металлов, скоростные плавки, скоростные проходки горных выработок, скоростное строительство. Разве этот ветер мог миновать нас?

На фабрике полным ходом шла реконструкция, выбрасывалось старое, изношенное оборудование, ставились новые машины, расширялись цехи: возникла дерзкая мысль перевести на скоростной режим основной технологический процесс обогащения руд — ввести скоростную флотацию.

Эта идея захватила меня целиком и на многие годы. Она была действительно дерзкой и смелой. Хотя

бы потому, что начинать приходилось на пустом месте. Никакого, как говорится, прецедента не было. Никто еще не обогащал, не флотировал руду скоростным методом, ибо его просто не было, этого метода. Сейчас, через много лет, я счастлив сознанием того, что вместе с другими молодыми инженерами и рабочими нам удалось создать такой метод скоростной флотации.

Хотя мне хотелось писать художественную прозу, я несколько не жалею, что много лет приходилось изъясняться на языке докладных записок и инженерной аргументации. Если газета учит краткости, оперативности, то техническая проза приучает ясно мыслить, безжалостно отсекает все лишнее, затемняющее основной смысл, основную идею.

И вспоминались слова Павла Петровича:

«А писать — пишете, набивайте руку. Хорошая мысль, как самоцвет, требует огранки, а это надо уметь делать...»

Все же хотелось писать не только технические статьи. Думалось: как инженер я нашел свою скоростную тему, почему же она не может стать и моей литературной, писательской темой? Ведь внедрение нового, скоростные методы, — это сейчас самое важное: здесь возникают острейшие конфликты времени, а через них можно показать и людей, высказать свои заветные мысли...

Но после таких здравых рассуждений я начал писать... сказки.

Вначале это было просто подражание Бажову — первая ступень влияния учителя, ступень облегченная и, пожалуй, неизбежная. К тому же полюбил Приморье, которое стало моей второй родиной. Полюбил его чудесную природу, интересную историю. Все это в сочетании с богатым фольклором малых народностей — удэгейцев, нанайцев, нивхов — давало пищу для полёта фантазии, для выдумки.

Еще вот что: когда я писал сказки, то отдыхал от повседневных производственных дел и забот, чтобы потом с новой энергией взяться за них.

Прошло еще немало времени, прежде чем я пришел к своей главной теме. Это была тема творческого труда инженеров и рабочих по моей любимой

прикладной науке — флотации. А все же первой моей книжечкой была «Сопка тяжелого камня» с подзаголовком «Сказки и легенды».

Только отдав дань сказочному аспекту жизни, я написал книжку, которая называлась «Повесть о живой и мертвой воде», адресовав ее юным читателям.

Еще через несколько лет вышла книга под названием «Горный хрусталь». В ней мне хотелось рассказать и о чудесном мире минералов, и о людях, связавших свою жизнь с этими горными цветами.

Я писал о первом русском горном инженере Михаиле Васильевиче Ломоносове, об академике Александре Евгеньевиче Ферсмани, о моем учителе, профессоре Спиридоне Ивановиче Митрофанове, о поэте и геологе Владиславе Занадворове, погибшем под Сталинградом, о Павле Петровиче Бажове и о других людях. Мне хотелось рассказать об их делах и труде на благо той части планеты, которую мы все с детства называем простым и звонким именем — Родина!

И если мне хоть в небольшой степени удалось передать прекрасное чувство любви к своему делу, а следовательно, любви к людям, этому я в значительной мере обязан тому, кто, несмотря на краткость нашего знакомства, был моим литературным и жизненным учителем всю жизнь — Павлу Петровичу Бажову.

Это он много лет назад, прочитав мои слабенькиеopusy, нашел в них что-то заслуживающее поддержки. И поддержал, и напутствовал добрым словом и мудрым советом. Ненавязчиво, но решительно. И всегда Павел Петрович был для меня Учителем с большой буквы. Был и остается.

Давно я не был в Свердловске, но знаю, что в этом городе моей юности стоит памятник мудрому сказочнику, памятник из родного уральского камня.

Я люблю вспоминать Павла Петровича. Это был человек редкой душевной красоты. Да разве и мог быть иным тот, кто написал «Живинку в деле», «Чугунную бабушку» и другие сказы о высоте и счастье творческого труда, о достоинстве человека.

Встречи наши продолжаются. Каждый раз, когда я снова перечитываю сказы Бажова, это новая встреча с Павлом Петровичем.

Я беру с полки книгу, на обложке которой изображены сосны и синие уральские горы, раскрываю ее и читаю строки из сказа «Живинка в деле»:

«Старик посмеивается:

— Теперь, брат, никуда не уйдешь: поймала тебя живинка, до смерти не отпустит.

Тимоха и сам дивился — почему раньше такого с ним никогда не случалось?

— А потому, — объясняет дедушко Нефед, — что ты книзу глядел на то, что сделано; а как кверху поглядел — как лучше делать надо, тут живинка тебя и зацепила. Она, понимаешь, во всяком деле есть, впереди мастерства бежит и за собою тянет. Так-то, друг!..»

Пусть же у каждого из нас всегда будет своя живинка в деле!

Владивосток, 1974



ИВАН ДЕРГАЧЕВ



ДЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЕ

В 1940 году мне пришлось участвовать в подготовке и проведении городского вечера памяти В. Маяковского. Вечер проходил в Большом зале филармонии. Среди организаторов был и Союз писателей. Докладчиком утвердили меня. П. П. Бажов открывал вечер кратким вступительным словом.

Зал был полон. В президиуме собрания, очень многочисленном, занял место и Павел Петрович. Подавшись вперед, он говорил глуховатым голосом, в котором были интонации задушевного раздумья. Только иногда, выделяя в цепочке слов особенно нужные, он подымал голос, который становился крепче, и тогда скупые взмахи руки становились внушающе категоричными. А затем, произнеся свое знаменитое бажовское: «Ну, хорошо...», он снова переходил к нащупывающим истину размышлениям. Разумеется, были в его речи и мысли, ставшие к тому времени хрестоматийными: о преданности поэта делу революции, об особой страстности его поэзии, всегда стремящейся вмешаться в жизнь, о сознательном служении народу.

Но главной была одна, сквозная мысль о том, что в настоящем искусстве нет противоречия между слу-

жением злобе дня, вмешательством в будни действительности и созданием произведений, продолжающих жить за пределами своего времени. Это происходит в том случае, когда, казалось бы, незначительный факт освещается самой историей. Бажов привел в пример стихотворение, написанное в Свердловске, — о вселении литейщика Ивана Козырева в новую квартиру. Он цитировал Маяковского: «Поэт настоящий вздувает заранее из искры неясной ясное знание». Я не помню подлинных слов писателя, но смысл их, тогда новый для меня, запомнился. Приведенные слова были для него как бы поэтической мыслью о том, что поэт делает видимым и ясным нечто недоступное простому взору. Надо уметь увидеть именно ту искру, продолжает он, которая даст пламя, обнаружить золотое зерно, не спутав его с блеском слюды-обманки. Маяковский умел отделять семена от плевел.

С тех пор как-то повелось, что оказывались мы с Павлом Петровичем вместе во всяких юбилейных областных комитетах, вместе готовили и проводили научные литературоведческие конференции, работали в Ученом совете Литературного музея Мамина-Сибиряка. Все это помогало мне широко открыть для себя литературную образованность Бажова, понять его взгляды на историю нашей литературы, уяснить понимание им современности писателей прошлого.

Весной 1941 года в области началась подготовка к столетию со дня смерти М. Ю. Лермонтова. Бажов был председателем комитета, очень представительного. Входил в него и секретарь обкома Е. Ф. Колышев.

Открывая заседание оргкомитета, Бажов подчеркнул, что говорить о значении Лермонтова незачем, всем ясно, какой сильный и душевный ум создавал поэзию, которая не увядает. Он полушутя сказал, что хотел бы договориться сразу: на заседаниях будем говорить не о Лермонтове, а о самих себе, о том, что делать, как знакомить с его творчеством, кто готовит лекции, где они будут читаться, какие постановки осуществят театры, каковы программы филармонии, что возьмут на себя школы и другие учебные заведения. И, надо сказать, такое начало определило дальнейшую работу. Когда рассматривали планы облоно,

культотдела Совета профсоюзов, областного отдела искусств, от Бажова было трудно отделаться общими формулировками: «Думаем», «Предполагаем»... Он добивался: кто именно готовит текст инструктивного доклада, когда он будет готов, кто его печатает, кто и кому разошлет экземпляры этого доклада? Если речь шла о театральных постановках, он хотел, чтобы в плане был записан не только спектакль, но и режиссер, отвечающий за постановку. Это была хорошая школа деловитости, умения организовать процесс культурного развития, образец требовательности и ответственности.

План этот, бережно сохраненный Бажовым в архиве, не был приведен в исполнение. Война вошла в наши дома. Но буквально за несколько дней до этого мне пришлось советоваться с Павлом Петровичем об основных идеях доклада на общегородском вечере, который предполагалось провести в сентябре, когда будут работать учебные заведения.

Мне казалось, что от меня требуется рассказать о подвиге Лермонтова, сумевшего в условиях реакции поднять, как знамя, смелую, свободную мысль, и я тщательно выискивал строки стихов, которые прямо перекликались бы с нами, людьми, совершившими революцию. И конечно же я старался объяснить, как и почему дворянин выступал против своего дворянского государства. Это казалось важным, научным и точным.

Бажов был человеком в высшей степени деликатным. Я не слышал от него прямого и резкого осуждения сделанного другим, если оно, это сделанное, было рождено добрым желанием. Писать обычно начинал осторожно, как будто для себя, выяснять: а как вот на это посмотреть? а неужели вот об этом-то не будет? а что те, кто слушает, вынесут из этого? И мало-помалу выяснилось, что не о том и не так надо говорить на лермонтовском вечере. Пожалуй, по-настоящему я понял значение советов Бажова позднее. А сводились они к следующему: нам интересен весь опыт поэта, нечестно по отношению к нему, к его делу, к его жизни, к его творчеству, одно принимать, а другое отвергать. В самой сложности порывов и дерзаний, в самом смятении мыслей и чувств,

в самой напряженности полярных понятий надо видеть порыв к человечности и дерзание опередить время. Надо понимать и поэта, и историю, и это понимание подлинно обогащает нас.

Он и позднее отвергал понимание современности классиков как их способности снабжать нас готовыми формулами и лозунгами, звучащими актуально.

Наиболее часто мы встречались в связи с нашим общим интересом к Мамину-Сибиряку. В 1941 году только что открытый философский факультет Уральского университета и Свердловское отделение Союза писателей провели первую научную конференцию, посвященную творчеству этого писателя-уральца.

Я считал, что полупризнание Мамина-Сибиряка, которого издают и читают, хотя литературоведы не находят верных слов о его месте в русской литературе, в результате конференции должно смениться полным признанием. В таком духе я и сформулировал задачу конференции. А в ответ услышал: «Дорогой товарищ, с кем вы хотите спорить? С теми дореволюционными критиками, которые повинны в признании писателя сквозь зубы? Кто не признавал? Те, против которых воевал В. И. Ленин. Так надо ли с ними спорить, когда сама история смела их? Не в том дело. Чего доказывать, что Мамин-Сибиряк тоже хороший писатель. Надо показать, в чем же его открытия, какая жизнь говорила о себе в его произведениях, понять, в чем же его сила. Будем таких докладов ждать».

Открывал конференцию ректор университета Н. И. Попов. П. П. Бажов сказал, что выступит в прениях. Так он и сделал. Его выступление опубликовано¹. В выступлении Бажов поддержал работу профессора Пермского пединститута Е. А. Боголюбова, действительно открывшего новые материалы, введя впервые обширную переписку, и вел острую полемику с А. С. Ладейщиковым, доклад которого «Положительный герой в творчестве Мамина-Сибиряка» ориентировал на поиски такого героя среди персонажей-интеллигентов.

Уже в последний день конференции пришло ответственное письмо М. М. Пришвина участникам кон-

¹ П. П. Бажов. Публицистика. Письма. Дневники. Свердловск, 1955. Здесь оно неточно датировано 1947 годом.

ференции. Была в этом письме мысль о том, что у Мамина особенно развито чувство Родины, что он обладал особым качеством — «домовитостью». Вот об этой «домовитости» и повел речь Павел Петрович в небольшом застолье участников встречи. Было это наверху в знаменитом некогда Доме литературы в Свердловске, своим существованием обязанным Борису Горбатову. Сидели за овальным столом комнаты Союза писателей, под деревянным буреvestником, распластавшим крылья. Февральский вечер мягко лег на незашторенные окна. Было уютно. Радостно, что все прошло хорошо. Услышали много интересного. Газета «Уральский рабочий» на первой полосе ежедневно сообщала о ходе конференции. На докладах присутствовало много слушателей. Был доволен и весел Павел Петрович.

Здесь пришлось услышать от него много интересных замечаний о Мамине. Больше, чем сказал он в выступлении. Что-то задело его в приветствии Пришвина, которого он очень ценил.

«Да-а, домовитая провинция», — повторил он одно из выражений Пришвина. Пожалуй, это больше к самому Пришвину подходит. У него чувство Родины какое-то домашнее, мягкое, будто хозяин все осматривает и в порядок приводит. И провинция тоже чувствуется. Ну, не столичный взгляд. У Мамина все-таки не то. Чувство родины есть, как же, «Родина — наша вторая мать», хорошо сказано, — привел он слова писателя, процитированные Е. А. Боголюбовым. Мамин остро чувствовал, чем живет Урал, знал его историю, экономику, хозяйство, технику, которой пользовались люди, самих людей, с которыми он уважительно считается всегда. И знал он их своеглазно, а не по книжкам. И природу тоже. Вот рассказывает писатель, как барка «отуривается», так понимаешь, что глазом схвачено и слова такие, как об этом потом где-нибудь бурлак посмышленее рассказывает. Ну конечно, слова, верно, почищены. Без добавлений, как говорят. Так вот, у Мамина, видно, не просто «домовитая» провинция выглядывает, а наш Урал, рабочий, заставляет по-хозяйски ко всему подойти. В «Трех концах» обо всем сказал, обо всем подумал, и возмущение бесхозяйственностью, тем, что мастеровых не ценят, не счи-

таются с ними, откуда это? Да от самих рабочих. Правда, детали рабочего быта Мамин избегает рисовать. Больше о том, что на глазах у всех проходит: сенокос, улица, рассказы друг о друге. Это оттого, что писал он сочно и ярко только о том, что увидел, узнал хорошо, а не знает, так промолчит.

А. Савчук, сидевший рядом, заметил: «Демократизм у него уральский». Бажов согласился, только добавил: все дело в том, чьи интересы понимает и в защиту чего идет.

К разговорам о Мамине возвратиться пришлось только через пять лет. Открылся Литературный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка. П. П. Бажов стал председателем ученого совета. В него входили Л. С. Шептаев, ныне профессор, критики А. С. Ладейщиков и К. В. Боголюбов, первые на Урале в тридцатые годы предпринявшие пятитомное издание сочинений писателя, я и директор музея П. Я. Погадаев. Собирались часто. Бажов считал музей своим детищем, заботился о нем, вникал во все дела. Совет обычными своими делами занимался: экспозиционные планы, вопросы комплектования фондов, массовая работа. На последнюю особенно обращал внимание Бажов. «Как же иначе, для того музей и существует, чтобы приблизить писателя к читателям, показать его, человека, гражданина, опыт его, жизненный. Не для себя же мы все это делаем». Радовался, когда удавалось найти какой-нибудь новый документ. После заседания обычно расходились не сразу, и тек свободный разговор, припядаясь прядка к прядке, разговор поучительный, да и Павла Петровича раскрывающий полнее.

Как-то Л. С. Шептаев обратил внимание на имена маминских персонажей: они прочно связаны с характером. Трудно другое имя герою дать. Павел Петрович согласился — и тут же из своего опыта:

— Другой раз имя и завязывает все. Иду раз на углу Ленина и Толмачева, слышу — стрелочница какой-то женщине кричит: «Жабрейха!» Вроде и забыл, а потом, как легло название «Жабреев ходок», вспомнил. А уж потом и ниточка от имени разматываться стала. Ну конечно, это не об общей идее. Она-то была. Впрочем, может, только кажется, что имя помогло события не то припомнить, не то сочинить.

Заговорили об очерке Мамина-Сибиряка «Город Екатеринбург». Принес один старожил книгу, изданную в 1889 году, с этим очерком. Стали листать. В очерке приведено много устных преданий городских, анекдотов. В связи с рассказом Мамина о Рязановых, крупных золотопромышленниках, Бажов, посмеиваясь, передал нам еще одну легенду. Аника Рязанов был богат страшный. Из кержаков, ну, да деньги ему подсказали, что в единоверии удобнее. Он и построил церковь. Малахов ему проект выполнял. Хорошая архитектура. Только смотрел он на эту церковь как на собственную и заставлял по-своему делать. А надо сказать, что из другого согласия староверского на противоположном берегу Исети купец Толстиков жил и построил свою церковь, тоже единоверческую, конечно. Так Аника Рязанов протодьякона своей церкви заставлял к обычной анафеме, которую полагалось произносить, добавлять еще: «И Яшке Толстикову тоже анафема». Деталь эта занимала Бажова как яркий штрих своеобразного быта горного города, не похожего на другие города России. А то еще речь зашла о раскольниках-старообрядцах у Мамина-Сибиряка. Помню, К. В. Боголюбов заметил, что они у Мамина не походят на тех, что у Мельникова-Печерского. Какую интересную маленькую и насыщенную бажовскую лекцию выслушали мы тут. Это была оценка роли старообрядцев в развитии горного дела на Урале. Это была глубокая оценка нравственных исканий народа, потребности в них как утопической мечте, о праведном царстве. И как хорошо знал Павел Петрович изнаночную сторону жизни старообрядческих общин: лицемерие, изворотливость, купецкую хватку.

В 1947 году состоялась вторая научная конференция, посвященная Мамину-Сибиряку, организованная музеем. Как и прежде, Бажов был председателем оргкомитета, вникал в детали организации, подписывал приглашения, интересовался, что можно ждать от докладчиков.

Конференцию открыл председатель исполкома горсовета Жихарев. Затем с большим словом выступил Павел Петрович.

Он начал с напоминания, что прошло тридцать пять лет со дня смерти и трагического фарса, разыг-

ранного у постели умирающего Мамина. Шел поток адресов и приветственных телеграмм, выразивших запоздалое признание. Но писатель мог уже только сказать: «Я очень устал». Произнеся эти человечески трогательные слова, сказанные в ответ на приветствия, Бажов как-то склонил голову, а потом посмотрел в зал и выдержал паузу, заставив прочувствовать трагическую неуместность чествования. Отсюда шел переход к признательному читателю наших дней, к огромным тиражам книг Мамина-Сибиряка сегодня. Не забыл отметить заслуги литературоведов, участие Е. А. Боголюбова в подготовке и издании собрания сочинений Мамина-Сибиряка, пропагандистскую работу музея. «Все это хорошо,— сказал он,— но это, товарищи, мне кажется, не все».

П. Бажов интересно, по-новому развивал мысли о теснейшей связи творчества Мамина-Сибиряка с уральской действительностью. Надо было бы исследовать, что в творчестве художника отразилось шире, чем занесено в «показной истории», изучить художественное восприятие им своей современности. Мы узнаем у Мамина об историческом прошлом Урала больше, чем накопила сведений об этом наука. Вот, например, Екатеринбург. Истории нашего города, надо сказать, мы до сих пор не знаем. А это был единственный город, являющийся центром русской металлургии, первой промышленной базой нашего государства. У Мамина это отражено. Он хорошо понимал это, когда всячески и несправедливо бранил Пермь, называл ее городом Моховым, а Екатеринбург Узлом. Почему же? Было у него ощущение громадного значения города горного Урала для страны, для развития народа, как организатора рабочего труда.

Сетовал Бажов и на то, что молодежь мало изучает такого прекрасного писателя, а его писательский опыт очень современен: «Я по стариковской привычке, по закону контраста, обращаюсь к молодежи»,— сказал он. Еще раз проявил беспокойство о судьбе наследия Мамина-Сибиряка Бажов уже очень больной. Летом 1950 года В. Кожевников написал ему письмо как руководителю Свердловской писательской организации с вопросом, как думают уральцы отметить столетие со дня рождения Мамина-Сибиряка, что Бажов реко-

мендовал бы провести в Москве. Павел Петрович попросил меня зайти. Разговор был самый короткий. Исхудавшее лицо, запавшие глаза говорили о том, что болезнь развивается. Он показал письмо В. Кожевникова и попросил меня и К. В. Боголюбова разработать план юбилейных мероприятий и подготовить ответ.

В сентябре собрался расширенный совет музея, с участием москвичей. План был утвержден. Через Валентину Александровну Павел Петрович узнавал, как прошли заседания, но сам в них не участвовал.

Еще накануне печальных месяцев болезни я был у Павла Петровича в его квартире, когда шел неторопливый и очень длинный разговор. Прошли уже слухи, что не очень хорошо себя чувствует Бажов, и я пытался уйти, посидев немного, но писатель настойчиво останавливал мои попытки закончить затянувшийся визит. А вызван был он двумя обстоятельствами. Только что вышла очень интересная книжка Павла Петровича «Дальнее — близкое», и я написал на нее рецензию для «Уральского рабочего». Понимая необычность ситуации, я все же очень хотел предварительно показать ее Бажову. Второе же, что привело меня в уютный дом на улице Чапаева, был день рождения Павла Петровича. Он отмечал его традиционно 28 января, хотя и родился на день раньше. Вот накануне я и пришел, поздравил его и подарил первое издание «Полтавы» Пушкина. Книжечка, изданная в 1829 году, была в хорошей сохранности. Он явно был растроган, любовно поглаживал переплет, осторожно и мягко переворачивал страницы. Я был рад, что доставил удовольствие. Я знал, что Павел Петрович не был библиофилом в обычном смысле слова. Он не собирал раритеты, не гонялся за редкими изданиями ради того, что они редкие. Книги служили ему. Он признавал в них деятельных помощников, необходимых подсказчиков в строении души человека, ну, а писатели тем более.

«Полтава» вызвала у него воспоминания о детстве, и он, посмеиваясь, стал цитировать большие куски поэмы, напомнив, как он выучил наизусть чуть не все стихотворения Пушкина. Закрыв книжку, он сказал: «Какая легкость и какой труд за этим, какая широта и понимание...»

И потом пошел разговор о дальнем и близком, как и следовало, коль скоро ближайшим поводом для встречи оказалась книжка с этим названием. Говорили не о рецензии, которую он выслушал и сказал: «Вам виднее со стороны», шла беседа, перебрасываясь от истории, от прошлого Сысертских заводов, от каких-то примечательных событий городских и жизни до-революционной бурсы, от Смородинцева, от фольклора и воспитания подростка в рабочей среде, к современности, к письмам Е. Пермяка, к замыслам литературным, к делам писательской организации. И все же оказалось, что разговор шел о рецензии. После этого разговора многое стало яснее в книге, и тот текст рецензии, который появился в газете,— результат этого интересного и полезного разговора. Из всех его звеньев запомнились некоторые...

...Стоял он в обычной тогда позе: одним коленом опираясь на стул, поставленный боком, и наклоняясь над письменным столом, он поддерживал корпус локтями, поставленными на столешницу. В руках была незажженная трубка, которую он изредка посасывал. Голос у него был глухим, дышал он напряженно... Говорил он много и охотно, хотя по-прежнему умел терпеливо выслушивать собеседника.

Очень естественно из «дальнего» выплыли вопросы воспитания заводских ребятишек. Павел Петрович горючил: «Ребятня была как ребятня. Бабки там, городки, игры разные, рыбалка, ну, в лес ходили тоже. Но в чем дело? Жили они не в стороне от взрослых. Знали, чем те живут. Где кто работает? Хорошее ли начальство? Как к «барам» относятся? Острое словцо и их адрес запомнят. Прозвище. Вот социальное самочувствие и складывается. К труду тоже причастны. Вместе с взрослыми по домашности. И от взрослых поощрение: совсем уж большой стал, помощник. Все вместе подготавливало решение, с кем быть, на чьей стороне. А там и «политика», на подготовленную почву слово падало».

Перекинулся разговор на фольклорный репертуар, детства знакомый рабочим подросткам, и, естественно, о его месте в художественной мастерской писателя. Когда я попытался слишком прямо отделить рабочий фольклор от традиционного, он заметил:

— Живут люди среди людей. И пришлые есть. Родственники в деревнях находятся: где-то замуж выдали туда, а то там невесту высватали. Ну, и фольклор, он вместе с людьми бродит.

Когда я указал на Хозяйку Медной горы, образа которой не найти ни в каком фольклоре, кроме горняцкого, он покачал головой.

— Так-то оно так. Хозяйка — это из рабочего фольклора. Ну, а если разобраться, в ней что соединилось? Из фольклора разбойного — жена атамана приветлива к своим, губит чужих, из рассказов о «старых людях» — люди, которые «в землю ушли», и из кладовисательского приметы разные. Песня тоже помогала. Народ себя помнит, прошлое в памяти держит не для того, чтобы держать, а в подходящее время и вытаскивает, приспособливает к новому.

Я спросил, не думает ли он расширить «Дальнее — близкое», написать о детстве шире, размашистей, полнее.

Павел Петрович поискал что-то на столе, нашел, взял конверт, не спеша развернул письмо и сказал:

— Пишут мне, чтобы я роман листов на двадцать написал. Знает меня товарищ, давненько знакомы, а этакое советует. Ведь если ювелир хорошо свое делает, получается у него, то никому в ум не придет заставить его дом строить: у тебя, товарищ, выйдет. Нет, если силы еще будут, то несколько рассказов о детстве, вроде «Крашеного панка», «Егоршиного случая», хотелось бы написать, чтобы они вместе общую картину детства рабочего подростка представили. Все-таки у нас есть о детстве дворянском, разночинном, а о рабочем нет.

Я напомнил о «Моей школе» А. П. Бондина.

— Там много деталей, позволяющих увидеть «школу», которую проходит уральский заводской пи-ренек. Но накладывается это на особую судьбу. Да и то, что добрые начала жизни, откладывающиеся в характере, многие обойдены, тоже позволяет по бондинской дорожке пройти и не повторить ее.

В книжке «Дальнее — близкое» много говорится об Алчеевском и его роли в судьбе Егорши, под именем которого автор рассказывает о себе. Естественно, что речь шла о нем, о прототипе Алчеевского. Мне и

раньше Павел Петрович как-то рассказывал о Смородинцеве, который помог ему определиться в духовное училище. На этот раз о Смородинцеве вспомнили в связи с его статьей о Невьянских заводах, напечатанной в «Екатеринбургской неделе». Я ее прочитал, занимаясь Маминым-Сибиряком и другими писателями-уральцами. Мне попался также среди рукописей Мамина-Сибиряка план повести о семинарии, частично осуществленный в «Худородных». В этом плане среди группы семинаристов, «свободных россиян», находился и Смородинцев, учившийся вместе с Маминым.

Фамилия этого человека повела беседу разными дорожками. То, что Мамин отнес Смородинцева к «свободным россиянам», очень заинтересовало Бажова. В этой связи он размышлял:

— Что за мировоззрение было у Смородинцева, сказать трудно. И демократичен он, мужикам помогал в их бедах. С простыми людьми хлеб-соль водил. Со старообрядцами тоже. Знал, видимо, много, а большее недоступным для него оказалось.

Его занятия историей Невьянских заводов вызвали мысли другого порядка: о большом количестве провинциальных культурных сил, которые много делали для истории края, об элементах дилетантизма в их работах, одновременно о внимательном использовании устных рассказов, легенд, преданий. Создавался вариант истории, который был ближе к народной.

Отсюда мы перешли к истории Екатеринбурга. Эту тему Бажов мог длить сколько угодно. У него была удивительная любовь к городу, в котором он жил, какое-то горделивое любование его прошлым, хозяйские заботы о будущем.

Беседа эта закончилась тем, что подарил мне Павел Петрович «Дальнее — близкое» с надписью, отражающей последнюю тему последнего большого разговора с ним: дарилась эта книга «на добрую память, а может быть, и в виде закваски на освещение истории города».

Свердловск, 1974



ЛЕВ КАССИЛЬ



«ДОРОГОЕ ИМЯЧКО»

Еще до встречи с ним, никогда не видя его портретов, я представлял себе автора «Малахитовой шкатулки» именно таким, каким он на самом деле и оказался. Это не так часто бывает. Много раз в жизни при знакомстве с автором заинтересовавшей меня книги я должен был некоторое время преодолевать те представления о его внешности, которые в силу каких-то особенностей его произведений рисовались в моем воображении.

Но Павел Петрович Бажов,—с ним я впервые встретился поздней осенью 1941 года — даже и по облику своему оказался именно таким, каким я его представлял себе. Небольшой и, несмотря на преклонный уже возраст, прямой. Несколько приземистый, прочно стоящий на своей уральской, воспетой им земле и даже, как мне всегда казалось, словно бы глубоко вросший в нее, бородатый, с ясно и глубоко светящимся взором из-под дремучих бровей. Он сам будто вышел из своей знаменитой книги, из недр легендарной горы. Таким рисовался мне и дедушка Слышко, сказы которого о старом Урале дивно отгранил и бе-

режно передал нам мудрый уральский волшебник писатель.

...Шел самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Казалось бы, что всем было уже не до сказок. Суровая действительность обернулась ко всем нам наиболее жестокой своей стороной. Недобрые вести приходили с фронта. Фанфароны из фашистских штабов хвастались, что уже видят через свои бинокли Кремль. Сибирские и уральские дивизии спешили на выручку. Чуть ли не с ходу вступая в бой, они своими свежими богатырскими силами сдерживали бешеный натиск гитлеровских полчищ, заслоня грудью столицу Советского Союза от страшной опасности. Да, казалось, не до старых сказок дедушки Слышко было тут... Все наши мысли устремлялись к тем, кто творил новую героическую легенду, со сказочным упорством оберегая уже близкие подступы к Москве. К ним, доблестно стоявшим на карауле у столицы и отбивавшим непрерывные атаки танковых орд, а не к «караулке на Думной горе», где впервые подслушал своим чутким ухом уральские сказы Бажов, обращались наши мысли. Но, направляясь в Свердловск, где мне предстояло временно работать в организованном тогда филиале Всесоюзного радиокомитета на Урале, я еще раз перечитал в вагоне «Малахитовую шкатулку». Хотя речь в этой изумительной книжке шла о делах давно минувших, все же, как мне казалось, через нее, словно через волшебное «глядельце», виделись суровые и неповторимые по своеобразию характеры тех народных умельцев, потомки которых помогали теперь защищать землю под Москвой, а на своей родной земле искусно ковать оружие для Советской Армии.

Да и в самом Павле Петровиче Бажове, как я это хорошо ощутил с первой же минуты знакомства с ним, было много такого, что помогало нам, впервые попавшим на Урал в те трудные дни, почувствовать истинную поэзию этих славных мест и заглянуть в души местных жителей, сперва кажущихся не очень-то приметливыми, суровых на вид, скупых на слово, но золотых в работе. Строгая уверенность в своей силе и правоте ощущалась во всей, как говорят, «выходке» этих людей.

Каким-то особым, влиятельным спокойствием веяло и от некрупной на вид фигуры Павла Петровича Бажова, несколько смахивавшего на всеведущего сказочного гнома, поднявшегося из недр земли, чтобы рассказать о кладах, хранителем которых он издавна служит. Бажов говорил очень тихим, глуховатым голосом, медленно и обдумчиво выбирая слова, с легким, характерным для уральского говора, чуть вопрошающим «оканьем». И чувствовалось, что за каждым словом простирается хорошо взвешенная, проверенная на огромном жизненном опыте мысль. Непоколебимого и мудрого спокойствия был исполнен взгляд его. В нем было много влекущего к себе света, который так мне запомнился в глазах Романа Роллана, Циолковского, Джамбула,— в глаза их я тоже имел счастье смотреть в своей жизни. И вдруг где-то из-под самых бровей, весело шевельнувшись, на вас светила такая лукавая и озорная хитринка, что невольно делалось веселее на душе... При Павле Петровиче Бажове неудобно было суетиться, произносить трескучие фразы. Сейчас же человек, который попробовал бы быть слишком расторопным и речистым при Бажове, натолкнулся бы на смешливый, быстро колющий и снова прячущийся под мохнатые брови, умный, все понимающий взгляд. Сам Павел Петрович очень бережно обращался с такими словами, как «революция», «партия», «народ». Но произносил их с особой настойчивой твердостью, за которой вставал истинный партиец, коммунист.

Он был исконным уральцем и очень любил свой край, своих земляков. Он мне говорил:

— Народ у нас, конечно, тяжеловат. На первый взгляд, может быть, вам покажется трудным. Верно, пока к вам не пригляделись наши, будут держаться нелюдимыми. Исторически сложился такой характер. Жизнь такая была. Особые условия. Рубеж между Европой и Азией, между вольницей и каторгой. Но уж если вас тут полюбят, то уж знайте — это навсегда. Уралец не кинется к вам на шею с первой встречи. У нас тут сначала к людям присматриваются. Попробуют их в деле, проверят в дружбе. Но уж если пришелся человек, то будьте уверены, в беде не бросят, никогда в жизни не оставят. Уральца понять надо. Любовь у уральца добыть нелегко, но зато любовь

уральская прочная, не на один вечер за бутылочкой. Серьезная любовь. Надолго.

Ему очень хотелось, чтобы мы, писатели из Москвы, по-настоящему бы поняли величие уральского края, скрытую красоту души уральцев. Он очень радовался, когда я рассказывал ему о своих наблюдениях, делился с ним впечатлениями своими после посещения уральских заводов или казарм, где перед отправкой на фронт жили воины-уральцы.

— Очень хорошо подметили. Совершенно точно подметили,— говорил он, довольный, по-новому, подброму, или, как сказано у него в книге, весь «удобрившись», поглядывая на меня. — Уральцев понять надо. Верно, немного скрытный народ. Но вы осторожноенько копните — так такие клады, такие сокровища обнаружите!..

Перед самым возвращением в Москву, в январе 1942 года, я прочел по радио, а затем напечатал в газете рассказ «Улица Ленина». Рассказ был построен в форме сюжетного пояснения, которое выслушивает от старого уральского мастера, встретившегося на главной улице Свердловска, заезжий человек. Я старался всячески передать характерные особенности речи старых уральцев и через образ одного из них показать некоторые черты так называемого уральского характера.

— А что? Получилось у вас,— сказал мне на другой же день после напечатания рассказа Павел Петрович. — Подхватили. Хорошо услышали. Становитесь, вижу, уральцем.

— Да ведь я же, Павел Петрович, у вас у самого многое прочел или подслушал,— признался я, отчасти смущенный этой, как мне показалось, незаслуженной похвалой. — Это же я вам всем обязан. Вы мне помогли к уральцам в душу заглянуть. Да и обороты некоторые, не скрываю, я у вас перенял.

— А что ж тут такого? — добродушно возразил Бажов. — Я ведь не сам слова придумывал, у своих, у уральцев, их подслушал. И пользуйтесь себе на здоровье! Ведь тут важно, чтобы из чужой книжки страницы не шелестели, чтобы человек своими глазами жизнь разглядел. А слова разве мои? Не мои они и не ваши. Им народ хозяин. Надо только

повнимательнее отбирать, вырезать из массива языкового то, что особенно светит, играет, звучит. Ну, и, конечно, чтобы слово время отражало. Язык на месте не стоит. Надо все время к нему прислушиваться. А то отстанут слова от жизни.

Сам Павел Петрович в жизни никогда не стремился щегольнуть знанием народного языка, поиграть редкими, неведомыми словечками. Он говорил очень просто, без книжных оборотов, не впадая в интеллигентское гладкоречье, но и обходясь без орнаментальных выкрутасов. Человек чрезвычайно начитанный, впитавший в себя лучшие традиции передовой русской литературы, великолепно знавший ее, он сочетал в себе подлинно народную мудрость с тонким, взыскательным вкусом большого художника, отлично ощущавшего новые времена. Как верно чувствовал он Чехова, и Короленко, и Маяковского, и Гладкова...

Когда я еще во время войны, побывав уже на фронте и на флоте, опять попадал в Свердловск, я всегда спешил встретиться с этим изумительным человеком, колдуном литературы, хранителем неповторимых кладов, таящихся в народной речи. И он заставлял меня подолгу рассказывать о наших морях, о пехотинцах и летчиках — обо всем, что тогда заносилось спешно в блокнот фронтового корреспондента или записывалось впрок, для будущей литературной работы. Однажды он был очень смущен, хотя и не мог спрятать в бороде радостной улыбки, когда я рассказал ему, что в библиотеке гвардейского миноносца, отличившегося во время конвоирования каравана заокеанских судов за Полярным кругом, я увидел зачитанный до того, что пришлось его подклеивать, экземпляр «Малахитовой шкатулки». И во время похода молодые моряки попросили меня рассказать об уральском кудеснике.

— Нашли про кого рассказывать, — глухо, в бороду, произнес Павел Петрович. — Охота вам была... Но, впрочем, — и опять лукаво блеснули на меня эти светящиеся глаза из-под бровей, — впрочем, кто знает... Ведь недаром солдаты в походах всегда друг другу сказки сказывали. Без сказки трудно людям. Иной раз и ложка в рот нейдет без присказки. Вы это, помоему, должны хорошо понимать. Вот ведь вы тоже,

когда вас в старое время гимназическое начальство допекало, «Швамбранию» себе придумали. Конечно, действительность вас, все ваши ребячьи утопии, на свой лад повернула. Но ведь и вы, и те, для кого вы книжку свою писали, сказку вашу не забыли. Вот и я иной раз позволяю себе думать: шут ее знает, эту «Шкатулку» мою... Конечно, патроны в нее не уложишь, но ведь дедушка Слышко кое-что в жизни соображал. И намекал он на вещи серьезные, дельные, без которых и воевать трудно. Ведь у нас люди не просто так стреляют, а знают, за что они воюют, что обороняют. А народ в сказках своих как раз, как мне думается, и раскрывает по-своему, поэтически, то, что иной раз другими словами и не выразишь.

Впоследствии я встретился в Москве с Павлом Петровичем на столетнем юбилее И. А. Крылова. Наши места оказались случайно рядом, в партере Большого театра. И, слушая пересыпанный строками из басен доклад о не обесцвеченном, не стертом годами творчестве великого баснописца, Павел Петрович вдруг наклонился ко мне и тихо сказал:

— Через сколько лет, а разит! И не в бровь, а в глаз. А? Вот она, броневойная меткость, какая у слова может быть... А ведь басня — она та же сказка, только нагляднее прицел, да и бьет скорострельно, влёт! Верно ведь?

Я перебираю сегодня в памяти каждую встречу с Павлом Петровичем Бажовым, общественные поручения и писательские дела, которыми нам приходилось заниматься вместе на Урале, совместные выступления перед молодыми слушателями на вечерах, где он председательствовал, его добрую, дедовскую заботу о наших детях, эвакуированных на Урал. И снова слышу его негромкую, слегка замедленную речь, речь мудреца и чудесника, несравненного умельца и самоцветного художника. И радуюсь, что судьба давала мне возможность хоть и не часто, хоть и ненадолго, но все же не раз встречаться с этим чудесным человеком. «Дорогое имячко» его всегда звучит одним из первых в моей благодарной памяти, когда я думаю о самых лучших, самых ярких и больших людях, встречавшихся мне в жизни.

Москва, 1960



НИНА ПОПОВА



НАШ БАЖОВ

Зима 1941 года. Урал уже стал той «кузницей», которая безотказно дает фронту оружие и боеприпасы. Свердловск напрягается в могучем трудовом усилии.

Ранний вечер. За прудом только что погас багровый косматый закат. Смолк разноголосый хор заводских гудков — началась вечерняя смена.

Мороз. На обнаженном небе все яснее проступает лунный диск.

Небольшая группа писателей идет по обледенелому тротуару. Среди них Павел Петрович — в меховой нагольной борчатке, в ушанке, в валенках. Он идет молча, опустив голову, и кажется усталым, ослабевшим.

Когда вспоминаешь тот вечер, всплывают в памяти синеватые сугробы... пар, струящийся из двери хлебного, гудящего, как улей, магазина... плакат, уже неразличимый в сумерках, но хорошо знакомый каждому («Что ты сделал для фронта?»).

Мы вошли в здание школы, где разместился госпиталь, надели белые халаты и прошли в читальню.

К нам обратилось множество молодых лиц. Блеск глаз, неяркий, но живой румянец, коротко остриженные волосы — все это придавало им выражение детской чистоты, простодушия. Радость возвращения к жизни озаряла их. В то же время эти молодые лица были одухотворены сознанием исполненного долга.

Я взглянула на Бажова — и не узнала его. Ни следа утомления на лице, в осанке! Светлые глаза необыкновенно ярко лучились.

Отчески-сердечным голосом Павел Петрович начал:

— Вас, дорогие товарищи, судьба занесла на Урал...

Тишина стояла такая, что негромкий голос Бажова слышался отчетливо. Душевно, по-родственному говорил он о нашем крае, так, как может говорить только человек, «дотошно» знающий Урал.

Потом он рассказал несколько историй о прошлом, о «хитростях» старых мастеров (случай, что легли в основу «Сказов о немцах»). Здоровый, жизнерадостный смех порой заглушал его голос. И он сам смеялся, как смеется дед, радуясь веселью внуков...

Но вот кончилась наша программа. Бажова окружили выздоравливающие. Он пожимал им руки и уже серьезно, значительно говорил:

— Ну, доброго здоровья!.. Доброго здоровья!

Нас попросили пройти в палаты к тяжелораненым.

Я видела, как Бажов открыл дверь и переступил порог. Под внешней сдержанностью его угадывалось волнение. В мягких движениях, в наклоне головы видна была заботливая осторожность.

На обратном пути кто-то из нас заговорил о том мучительном чувстве неловкости, которое испытывал он перед тяжелоранеными.

— Дурная интеллигентщина это! — непривычно резко отозвался Павел Петрович. — У человека, готового к подвигу, не должно быть неловкости перед тем, кто уже совершил подвиг. А каждый из нас должен быть внутренне готов к подвигу... не к ратному, так к трудовому!

— Но, понимаете, Павел Петрович, неловко читать свои вещички.

— «Вещички!» — рассердился Бажов. — Это совсем никуда не годится... Это неуважение к собственному труду!

И он ускорил шаги, замолчал.

Ярко светил месяц. Виден был и белый пар дыхания, точно Павел Петрович курил быстрыми, глубокими затяжками. Мех на ушанке заиндевел. Заиндевела, засеребрилась борода...

На «росстани» — на перекрестке — остановились.

— Не обижайтесь на старика, — мягко сказал Павел Петрович. — Если и «сворчу» когда, — это от желания помочь... Ну, доброго здоровья...

В конце 1947 года, собирая материалы для очерка о юных камнерезах, я пришла в ремесленно-художественное училище.

Сразу же поразило обилие работ на темы бажовских сказов: Каменный цветок, Медной горы Хозяйка, Ермаковы лебеди, Огневушка... А какие замыслы были у ребят! Один задумал шкатулку с мозаикой: старик обучает Данилушку, Хозяйка в гроте, Хозяйка и Данила, Данила и каменный цветок. Крышка была задумана как вершина горы, на которой, прихотливо изогнувшись, лежит ящерица.

Видела я эскиз ларца. На крышке дикий козел «Серебряное копытце», на стенках в обрамлении из ярко-зеленой яшмы уральский пейзаж, дед и Даренка, Даренка и Муренка.

Оказалось, что ребята не только с увлечением читают сказы Бажова, но и обсуждают их. Бажов им особенно дорог тем, что он воспел творческий труд, искусство, уходящее корнями в народные массы. И вот какими мыслями поделились со мною молодые камнерезы:

— Прочтешь такие сказы, как «Хрупкая веточка», «Каменный цветок», «Чугунная бабушка», и тебе станет ясно, что художник должен учиться у жизни. Данилушка еще с детства изучал натуру, все разглядывал, какого цвета бабочка, какой формы листок... И чашу свою решил делать под дурман-цветку. И Митя делал каменные ягоды тоже с натуры... и Торокин — чугунную бабушку. Бажов прямо сказал: «Учись у жизни, чтобы в твоей работе живым потянуло».

Говорили ребята о требовательности художника к себе, о «живинке», о том, что «работа — штука долго-векая»...

Молодой камнерез Володя высказал общее чувство в стихах:

Вечерний костер
И старую вышку,
И Думную гору,
И дедушку Слышко

Представил я сразу...
За ясное слово,
За чудные сказы
Спасибо Бажову.

Приволье, раздолье —
Родной наш Урал!
Твои камнерезы,
Твои мастера

Такое своими
Руками творили,
Что мертвые камни
У них говорили!

Огнем загорались
Цветные каменья,
И сказы рождались
Нам в поученье.

Он трогает словом
И сердце и разум.
— Спасибо Бажову
За чудные сказы!

Откровенно говоря, мне сразу же захотелось показать Павлу Петровичу это стихотворение, в котором так много настоящего чувства.

Приближался юбилей Бажова. Я решила: когда соберемся к нему утром, до официального чествования прочту стихотворение вслух и расскажу о том, как сказы вдохновляют молодых камнерезов.

Но сделать это не удалось. Товарищи поручили мне зачитать юбиляру адрес от нашей Свердловской литературной организации. Это, естественно, взволновало. Когда же волнение улеглось, комнаты были полны и дорогой юбиляр окружен тесным кольцом поздравителей.

Только через месяц я показала Павлу Петровичу Володино стихотворение.

Как сейчас вижу: Павел Петрович, только что поднявшийся после болезни, в темно-синем суконном халате, сидит, облокотившись на ручки кресла. Пронизанный солнцем морозный узор на стекле служит фоном для его — благородных очертаний — головы. Под зимним солнцем особенно сказочно серебрится седина. Слабый розовый отсвет топящейся печки трепещет на складках халата.

— Конечно, чувство есть в этом стишке, — сказал задумчиво Бажов, — чувство есть... Да вот уменья-то маловато...

И неожиданно добавил:

— А вы, поди, его расхвалили?

Я виновато молчу.

— Если Володя пишет стихи, как почти все молодые люди пишут, чтобы излить чувство, — умеренная похвала не беда... А вот если он думает о том, где бы напечатать, надо оценивать со всей строгостью. С первых шагов надо воспитывать чувство ответственности.

— Нет, Павел Петрович, он не стремится напечатать... Но уж коли зашел разговор, неужели вы считаете, что начинающего нельзя похвалить?

— Почему нельзя? Скидок только не надо делать. Помимо всего, скидки еще и обидны. Все равно что на бедность подавать... Вот это хорошо, вот это дурно, и вот почему дурно — четко надо объяснить, чтобы человек понял. А то бывает: похвалит рецензент слабое произведение, автор доволен... ему невдомек, что его неправильно ориентировали... он и дальше будет писать «по вдохновению», не приложит настоящего труда. Неправильное представление создается у человека о литературном труде... Это страшная вещь.

Павел Петрович подошел к печке, наклонился, поворошил кочергой дрова. В печке затрещало, ярче разгорелось пламя. Освещенное снизу лицо Павла Петровича показалось мне суровым.

— Снисходительность сильно вредит... Тот, кто хочет стать писателем, пусть уяснит себе, что вступает на трудный путь. Он должен научиться работать так, как требовал Горький.

Он помолчал. Уселся в кресло.

— Внушать надо: до тех пор работай над производением, пока сам себе не скажешь: «Я сделал все, что мог». Вы сами знаете, с какими сопроводительными иной раз приходят произведения: «Посылаю вам свои стихи, хотя они и недоработаны». Такому человеку сразу надо говорить: «Коли ты сознаешь, что плохо поработал, недоработал, зачем предлагаешь для печати?»

— Бывает, Павел Петрович, что человек сделал все, что мог, но чувствует, что произведение не получилось.

— Это особь статья. Я говорю о тех, которые просят «доделать» за них. И ведь бывают такие «добряки»: возьмет да и доработает! И вы раньше этим грешили... А это — порча. Пусть человек учится ходить на своих ногах, на подпорках далеко не уйдешь... Впрочем, это теперь все реже — народ у нас самолюбивый, не любит чужими трудами пользоваться... Но еще встречаются...

Бажов снова прочел Володино стихотворение.

— Не избежал малец красотостей — «цветные каменья»... «загорались огнем»... Предостерегать надо начинающих от ложных красотостей, от экзотики. Нет, ты вдохновись тем, что тебя окружает! Уралмаш, свет в деревне... это ли не поэзия?.. Яблони на Урале... Помочь начинающему срифмовать — это еще не дело, вот научить его взять верный ракурс — посерьезнее дело! Если он будет описывать черты коммунизма, он и слова будет отбирать другие — невольно! — архаические лохмотья ему не потребуются...

Разговаривали мы в тот день долго, но это все, что я записала, придя домой. Остальное позабылось... Впрочем, не позабылось, а как-то переработалось, усвоилось... В этом смысле влияние Павла Петровича на нас, современников, очень велико.

У Бажова был особый дар — одним замечанием, одним метким словом дать толчок мысли, так сказать, ключ к пониманию.

Помню, я написала неудачный рассказ. Обсуждали его долго, разбирали тщательно, говорили целых пять

часов. В небольшой нашей комнате папиросный дым плавал слоями, и лампа-буревестник светила тускло. Так же тускло и туманно было и на душе автора. Нарастал протест против отдельных высказываний... Но вот выступил Павел Петрович. Он не стал повторять суровых обвинений, он просто сказал:

— Неудача потому, что героем взят блажененький!

И автор навсегда извлек урок: надо очень вдумчиво выбирать основного героя. Героем произведения, как правило, должен быть передовой, целеустремленный человек, который может выразить мировоззрение, мысли и чувства автора.

Однажды Бажов спросил, имея в виду одну мою работу:

— Вот сравнение Таисьи с шестипалым кулаком... Вы сознательно это сделали?

Я объяснила как умела.

— Тезису «мелкособственническая психика — уродство» это сравнение придало особую четкость,— продолжал Бажов,— и меня интересовало: что возникло прежде — мысль или образ? Наш брат, чтобы освоить мысль, всегда стремится перевести ее в образ. Искусство как азбука с картинками: под буквой «А» — арбуз, под буквой «Д» — дом...

Бажов выразил сожаление, что нет новых интересных монографий по психологии творчества.

— Теперь, когда столько стахановцев, новаторов, когда творчество стало массовым, такие исследования крайне нужны... и еще более нужны будут в будущем.

О чем бы он ни говорил, мысли его всегда были устремлены в будущее. Часто он упоминал слова А. А. Жданова о том, что писатель должен освещать как бы прожектором завтрашний день, и слова А. М. Горького о третьей действительности — действительности завтрашнего дня.

Есть воспоминания мучительные, пронизывающие сердце, но бесконечно дорогие.

Вспоминается, как (много лет тому назад) Павел Петрович вошел в комнату нашего литературного отделения необычной, шаркающей походкой.

За несколько дней перед этим он похоронил сына Алешу, погибшего трагической смертью.

Тяжело было смотреть на осунувшееся лицо, постариковски отвисшие щеки. Какие утешительные слова можно было сказать ему в ту минуту?

Бажов подошел к моему столу (я тогда заведовала литературной консультацией). Он поздоровался, как обычно. Достал из портфеля рукопись одного начинающего автора. Сказал:

— Вызвать бы этого человека... Рецензией не обойдешься, поговорить с ним надо. Тут, видите ли...

И он заговорил о рукописи.

От моего стола Павел Петрович перешел к столу секретаря отделения. И снова я услышала деловой разговор.

Бажов мужественно нес свое горе: не только не навязывал его другим, но даже с достоинством и сердечной деликатностью отводил разговоры.

Эта высокая черта, которую А. М. Горький определил как «великодушные молчания», была всегда присуща Бажову.

В последние свои дни он стойко скрывал страдания от всех, кто навещал его, ухаживал за ним.

И только один-единственный раз вырвались у него слова:

— Устал я...

Павел Петрович прислал телеграмму! Согласен баллотироваться! Эта весть облетела город за несколько дней до другой, страшной вести о его смерти.

То, что смертельно больной человек дал согласие баллотироваться в депутаты Совета, удивило только тех, кто мало знал Бажова. Все мы, близко знавшие его, понимали: иначе и не мог поступить наш Павел Петрович!

За последние годы он часто болел, но, едва поднявшись с постели, без промедления приступал к своим многочисленным обязанностям.

На собрания всегда являлся одним из первых. Ни дурная погода, ни слабость не могли удержать Павла

Петровича дома, если он знал, что его ждут. Иногда он надолго прерывал свою литературную работу, чтобы выполнить общественную. Общественное давно стало для него личным, стоящим на первом плане.

Его телеграмму «Согласен баллотироваться» все поняли так: «Хочу жить и работать для народа».

Наш Бажов перед смертью дал нам последний урок, последний пример гражданской доблести.

Свердловск, 1952



Л. СКОРИНО



НА УРАЛЕ, В ДНИ ВОЙНЫ

ОСЕНЬ В СВЕРДЛОВСКЕ

Горькая военная осень 1941 года, уход из Москвы 16 октября, когда к самой столице подкатились фашистские полчища — были взяты Наро-Фоминск, Можайск, Истра... Долгий путь на восток, бомбежки с воздуха, бесконечные остановки на глухих полустанках и разлуки, разлуки... Дом, брошенный позади, — вернемся ли? Близкие люди, которых разметало по военным дорогам, — свидимся ли?.. А главное — неотступная мысль: «Что с Москвой?»

И в дорожные эти тяжкие дни внезапно открылся нам Урал с его темно-зелеными горами, холодными голубыми озерами, рослыми сосновыми лесами, с его яркими закатами, ветреным небом, где несутся беспокойные облака, — открылся во всей своей сильной, мужественной красоте. Было в уральской земле что-то бесконечно русское, родное... Но не утишавшее душу, как спокойные, чуть грустные пейзажи средней полосы России, а иное — суровое, напористое: устоим, выдержим, все одолеем...

Вспомнились сказы «Малахитовой шкатулки»,

прочитанные еще в Москве в такие недавние и одновременно уже такие далекие мирные дни. Пришло ясное ощущение: сказы эти могли возникнуть только здесь, в этом могучем горном крае.

Шли недели и месяцы в эвакуации, трудные, полные забот и тревог. Но Москва устояла, враг был разбит у самых ее стен, и это вселяло уверенность в приближении решающей победы над фашизмом. И, может, потому сказы Бажова, мужественные и добрые, полные веры в несокрушимую силу трудового человека, все больше и больше в сознании моем сливались с этим трудным и героическим временем, с надеждами и решимостью моих современников.

Встреча с Павлом Петровичем Бажовым произошла в середине 1942 года. До этого я успела уже поколесить вдоль Уральского хребта. Первое время жила в Красноуфимске, куда эвакуировался Гослитиздат, и с писательской агитбригадой во время посевной объездила почти весь район; затем попала в Кыштым — город на озерах, где в госпитале, тяжело больной, лежал мой муж. И только летом 1942 года оказалась в Свердловске.

Здесь к тому времени из хозяев города — свердловчан — и приезжих — москвичей, киевлян, ленинградцев — сложился большой дружный писательский коллектив. Численный состав его достигал немалой цифры — свыше шестидесяти человек. Находились тут Федор Гладков, Ольга Форш, Мариэтта Шагинян, Анна Караваева, Николай Ляшко, Илья Садофьев, Борис Ромашов, Виктор Финк, Агния Барто, Оксана Иваненко, Вера Звягинцева, Евгений Пермяк и последний из символистов — старик Юрий Верховский.

Во главе свердловской организации стояли Бажов и Караваева. Они-то вместе с писательской «старой гвардией» и задали тон — боевой, рабочий, деятельный.

Одолевали Павла Петровича в эту пору неотложные хозяйственные заботы: эвакуированных писателей, их семьи надо было разместить, накормить, а часто и одеть-обуть — ведь уходили люди с обжитых мест, в спешке бросая вещи в опустевшем доме. Были здесь старики и женщины, дети, пережившие уже целый военный год, полный тревог, лишений. Семьи пи-

сательские нуждались в помощи, и П. Бажов, который и сам в эти годы жил трудно и голодно, чувствовал себя ответственным за доверенных ему людей, за самое их существование.

Огромной заслугой Павла Петровича было то, что он вместе с Анной Караваевой упорно сплывал писательский коллектив, не давал людям разбредаться по углам, оставаться наедине со своими личными бедами и горестями. Оттого-то их, эти беды, легче было претерпевать, что жила свердловская организация в трудном военном 1942 году активной общественной жизнью.

Писатели разъезжали с агитационными выступлениями по всему заводскому Уралу, шефствовали над госпиталями, ремесленными училищами, работали в местных газетах и в центральной прессе, принимали участие в уборочной и посевной кампаниях. И каждый чувствовал: нет, течение жизни не прервалось, в суровых условиях военного времени продолжалось ее молчаливое, глубинное развитие. И все стремились не уступать войне ни пяди обычного нашего советского существования, упрямо отвоевывали у нее право на творчество, на новые дела и свершения.

— Нельзя, чтобы духовная жизнь угасала,— сказал как-то Бажов на собрании, шутливо о важном. — Интеллигенция на то и создана, чтобы поддерживать огонек...

Сам Бажов принадлежал к коренной русской интеллигенции из демократических слоев, какая в старину убежденно сидела по «медвежьим углам», щедро отдавая свои знания народу, а после Октября 1917 года пошла за большевиками и подняла огромные пласты революционной работы.

Годы Павла Петровича перевалили уже за шестой десяток, негустая борода давно побелела, а лицо покрыли глубокие морщины. Не был Бажов ни высок, ни представительен,—небольшого роста, но плечистый и крепкий, обладал он какой-то особой, благородной силой, которая не позволяла о нем сказать «старик». И невольно о Бажове думалось как о красивом человеке. Красивым был большой, выпуклый лоб, умные, полные энергии глаза, руки, выразительные и

спокойные, уверенные руки мастера, знающего свое дело. И самое главное — в каждом движении Павла Петровича, в словах и поступках проявлялась его внутренняя сущность. Бажов был коммунист, и это все определяло в его облике: требовательно добрый к людям, человек ясных и четких убеждений, верный высоким нашим идеалам без позы, без громких слов, прочно, навсегда. Таким он раскрывался нам и в частной своей жизни и в общественной деятельности.

Именно такой человек и мог сплотить людей с различными судьбами в дружный, стойкий коллектив.

Позднее Анна Караваева хорошо сказала:

— Тут, казалось бы, по литературной традиции, эталонного цветущего бодряка надо во главе организации ставить. А Павел Петрович на привычного героя совсем не походил. Немолод, и тихость его... Многословия не любил, голос негромкий, всегда незаметен он как-то оставался, а дело двигалось, и душевное тепло от него людям шло... Как огонь в доме — вот с чем сравнить хочется... Всех вокруг себя собрал...

И правда, свердловская организация была по-настоящему творческим коллективом, который не отделял себя от большой, героической жизни страны.

Незадолго до моего приезда в Свердловск состоялось здесь большое писательское собрание, в котором приняла участие и городская интеллигенция, собрание, посвященное героическому Ленинграду. В течение весенних месяцев 1942 года на Урал прибывали жители осажденного города, которых постепенно перебрасывали оттуда по Ледовой дороге и самолетами. Истощенных блокадников ленинградцев немедленно направляли в больницы и санатории, где они получали усиленное питание и медицинский уход. Многих это просто-напросто спасло от смерти.

«Ленинградский вечер» был большим общественным событием. Председательствовала на нем по праву Ольга Форш. Писатели-ленинградцы рассказали о том, что пережили вместе с городом в блокадные месяцы.

Беспощадно жестокими были их простые повествования, жестокой — реальность деталей, неумолимой — простота смерти. Но сильнее всего — мужество чело-

века. Вечер оставил неизгладимое впечатление у всех, кто на нем присутствовал. Позднее Павел Петрович не раз обращался в своих размышлениях к ленинградской эпопее. Он говорил нам:

— Напрасно повторяют, что русский человек терпелив. Не в этом суть дела. А в мужестве, в трезвом понимании процессов жизни. На крутых поворотах истории видишь — другого выхода нет, через огонь, через смерть пройти надо. Вот без нытья и трусости и берешься за трудную задачу. Потому-то сломить наших людей зверствами нельзя. Да и силы свои ощутили за годы революции. Ленинградская блокада — это же Данте, исторический катаклизм. А человек остался человеком, и еще советским.

В писательской организации во время войны заведено было систематически встречаться для обсуждения новых произведений, напечатанных и здесь, в Свердловске, и в центральной прессе.

7 сентября 1942 года состоялось шумное собрание, обсуждали новинку — только что напечатанную в «Правде» пьесу А. Корнейчука «Фронт». Пьеса всех задела за живое. Разговоров вокруг нее было много. Одни ею восхищались за остроту, за смелость критики, другие отрицали начисто, утверждая, что это голая публицистика.

На собрание пришло много народу. И, конечно, снова разгорелись споры. Особенно интересным было выступление Мариэтты Шагинян. Она в это время работала над книгой очерков «Урал в обороне» и много ездила по заводам и колхозам горного края, изучая жизнь тыла.

Маленькая, очень крепкая, невероятно энергичная, в сапожках и каком-то «авиаторском» кожаном шлеме на голове, «Мариэтта» — так все ее называли за глаза — была самым подвижным и увлекающимся человеком среди писателей. Ее интерес к жизни невольно раздражал окружающих, несмотря на все крайности суждений, в какие она неизменно впадала.

М. Шагинян сразу начала разговор с главного — с сопоставления пьесы с жизнью. И, как всегда, немедля же пошла в атаку:

— Есть кое у кого эстетский подход к «Фронту» Корнейчука. Говорят даже, что пьеса не удалась. Это

неправильное отношение к произведению талантливого драматурга. «Фронт» — огромное событие в моей профессиональной жизни. Мы должны писать честно, а это значит — смело выйти на большую дорогу нашей жизни, философски, социально, исторически понять происходящее... Работать старыми методами — значит идти к поражению... Я об этом буду писать, кричать буду...

Павел Петрович на обсуждение пьесы пришел с запозданием, очень усталый, его задержали где-то в городских организациях бытовые дела Союза писателей. Он застал лишь последние выступления, прослушал Мариэтту Шагинян, но сам не выступал.

После собрания довольно шумной толпой пошли провожать Павла Петровича, хотя он и пытался потихоньку ускользнуть, — ведь устал за день, и не до разговоров ему было. А нам еще хотелось договорить, доспорить... Теперь уже разбирали художественные достоинства пьесы. Павел Петрович шел обычным своим быстрым шагом, но на лице резко обозначались морщины, исчез смешливый огонек в глазах. Слушал нас П. Бажов молча, в разговор не вступал.

Рывками, по-уральски, дул сильный ветер, подталкивал в спины, завихрялся у крыш, на перекрестках. Стемнело. Улица Ленина широкой полосой уходила вперед, загорались огни в окнах, и нам, «приезжим», путникам в дороге, невольно виделись родные города, погруженные во мрак затемнения. Павел Петрович, искоса взглянув на меня, словно понял эти невысказанные мысли и мою грустную зависть. Он заговорил, как бы размышляя вслух, о Мариэтте Сергеевне и ее выступлении, а по сути — о писательском труде:

— А ведь права Шагинян... Не без перехлеста у нее, конечно, но права... В том, что мы пишем, частенько главного-то и не хватает: фонарики слабенькие подвешены, очень не высококонько, и освещают пустоту.

Пишут вот о производстве. День поработают на заводе, два, — несерьезно это. Очерки потом читать обидно. Я и сам съездил к Янкину, просидел недельку. Посмотрел его в шахте, в бане, дома. Написал очерки,

не доволен им: ни человека, ни темы. Надо было найти типичное в Янкиных. Найти нечто такое, от чего люди захотели бы стать Янкиными. Фонарик оказался слаб. А то рассказал, что два перфоратора вместо одного — вроде фокуса. А в самом-то деле тут величайшая закономерность. Философски все надо было осмыслить. Получилась пустота, образ висит в воздухе.

У Шагинян высоко горящий фонарик. Из всех нас она наиболее важное дело делает. Философски осмыслить свое время стремится... А это ценно...

Мы подошли к пруду, находящемуся в центре города, старинному, еще екатеринбургских времен. Пруд темным зеркалом лежал в окаймлении уличных огней. В дальнем краю виднелась узкая светлая полоска, оставшаяся от бурного, ветреного уральского заката. Павел Петрович здесь решительно распрощался, свернул в какую-то улочку и словно растворился во внезапно надвинувшейся осенней темноте.

Мы еще долго стояли у балюстрады, смотрели на молчаливый пруд, в котором темнота обрела и плотность, и глубину. Где-то вдалеке глухо отбивали часы. Казалось, пробуждается к жизни старый горнозаводский Екатеринбург...

«ТАЙНЫЕ СКАЗЫ» ГОРНОРУДНОГО КРАЯ

Павел Петрович, хотя, как коренной уралец, человек отнюдь не говорливый, всегда был очень интересен в беседе — богатством жизненных наблюдений, тонкими и неожиданными замечаниями о людях и событиях, своими размышлениями об искусстве. Скажет мало, а думать заставляет о многом.

Речь у Бажова по-народному живописная, афористичная, всегда пересыпана примерами, выхваченными из жизни. И преподносились они не без лукавства: ну-ка, сумеет ли слушающий сделать верный вывод? Ведь русский человек любит испытать собеседника.

Скажу прямо: совершила я сразу же стратегическую ошибку — рассказала П. Бажову о том, что задумала написать о нем книгу, — и потом про себя ча-

стенку жалела, что рано открылась. Павел Петрович поначалу даже было замкнулся, стал говорить скупее, сдержаннее, старательно обходя себя в своих рассказах об Урале. Русский интеллигент старой закалки, он считал недопустимым как-либо влиять на меня, своего будущего биографа. А между тем ему по душе пришла идея книги, где речь пошла бы об Урале, о его истории, о его людях. И хотя Павел Петрович сам был типичным человеком горнозаводского края, но вот себя-то он и исключил из своих рассказов. Пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать материалы по его биографии, выходящие за пределы анкеты. Зато о горняцком Урале — старом и новом — рассказывал Бажов охотно и с любовью.

Как-то в конце рабочего дня, когда уже затихал шумный Дом печати — здесь помещались и газета «Уральский рабочий», и местное издательство, и типография, и отделение Союза писателей, — осенью 1942 года, начались мои беседы с Павлом Петровичем. Беседы об Урале, о «тайных сказах» горнорудного края, об уральских мастерах.

Мы находили в издательстве пустую комнату. Я усаживала Павла Петровича на почетное место — за редакторский стол, не без хитрости, отрезая своему «герою» путь к бегству, сама примащивалась с краю, раскладывала бумаги... Павел Петрович смотрел на эти приготовления сквозь дымок самокрутки, про себя посмеивался, но вместе с тем и одобрял: серьезно, видать, задумано, рабочая хватка есть...

А чтобы я не взялась за дело с налету, без достаточной подготовки, — очень этого не любил Бажов, — он деликатно, как это ему вообще было присуще, время от времени советовал мне познакомиться с необходимыми материалами. Так, назвал он «Горный журнал», который выходил в XIX веке, «Исторический и географический словарь» Чупина, «Летописи» Василия Вячеславовича Шишонко и многое другое.

Первая беседа началась с вопроса:

— Как возник замысел «Малахитовой шкатулки»?

На это Павел Петрович отвечал охотно.

— В тысяча девятьсот тридцать четвертом году, —

рассказывал он,— Свердловское издательство затеяло выпустить сборник дооктябрьского фольклора на Урале. И у них оказалось, что рабочего-то фольклора нет. Меня возмутило это. Записанного нет, но в памяти, в головах... На Урале по-северному не умеют рассказывать, народ-то по всему складу своему другой, но к нему надо прислушаться.

И по-иному записи вести следует... Мы чаще всего привычное ищем. А тут приходится по крупицам собирать — кусочки преданий, черточки, детали. Надо различать и говорить о фольклоре *устоявшемся и творимом*.

Уральский фольклор не имел законченной формы, сохранялся чаще всего в виде рабочих семейных преданий.

Кладоискательские «тайные сказы» были старательскими. Богатство скрыто в земле. Как же к нему добраться? Находка драгоценного металла или камня и есть клад. Как открыть его тайну, как найти? Возникла легенда о страшилищах, которые дорогу к кладам преграждают, стерегут земные богатства.

А бывало и так — где-нибудь объявится «Аликаев камень». Пойдут догадки: почему он так назван? Видно, связано это с каким-то Аликаем. Кто он? Что тут произошло, у этого камня, чье имя к нему прилепилось? Или вот в Алапаевске есть камень Мигунчик, а в Верхотурье Кликун-камень. Плоская возвышенность отдает звук. И всяк по-своему это объясняет. Один выдумает, другой добавит — получается цельная картина. Объяснения могут быть разными. Но при расспросах неизбежно начнется совпадение ответов, рассказчики сходятся, возникает завязь предания. А в основе — стремление объяснить непонятные явления природы, восстановить забытые страницы истории.

Возникали семейные предания о мастерах. Опытный медеплавильщик становился персонажем легендарным — ведь от него, от его работы, зависела оплата других профессий. На Урале рабочие особые. Здесь не было кустарного разделения труда. Труд концентрировался вокруг печи. Она объединяла углежогов, плавильщиков металла, возчиков и т. д. От умелой работы мастера у печи зависел заработок всех остальных

ных. Опытный рабочий, реальный человек, приобрел после смерти, а то и при жизни черты легендарные.

У меня еще не записано ни одного факта о доменщиках. А о них прямо на глазах создается легенда. О каком-нибудь Василии Ивановиче тебе рассказывают: «Дело он знал тонко. Запьет — сидит дома. Что делать, без него работа не ладится, бегут за ним. А он выглянет в окно, посмотрит на дым и полный рецепт скажет: «Два короба песку да смеси столько-то, угля ли там, еще чего...» И все правильно. По дыму определял».

В подобных преданиях сохранялось восхищение перед тонкостью ремесленных навыков.

А вот задумайтесь хотя бы: «мороженое железо» в Невьянске — одних чеканок тридцать сортов. Был, скажем, жильник, а тут появился прожилник, какого не было. Сложное мастерство. Смотреть, не зная дела, — увидишь простой, непритязательный узор, «серёдыш». Но, чтобы подобрать его, надо тонко знать состав чеканок.

Да, в каждом ремесле своя особенная черта имеется.

Екатеринбургская грань была ведь кем-то придумана. А ведь мастера были связаны традиционными образцами византийской и немецкой грани. Нашелся же смелый человек, по-своему сделал, пошел своим особым путем. Вот таких мастеров рабочее предание и превращает в легендарные существа.

И Павел Петрович заключил советом: если хочешь понять уральские сказы, нужно изучить историю края. Вместе с уральскими горнозаводскими людьми следует разбираться в тонкостях их дела. А для этого не лишне поездить и понаблюдать, как они трудятся и как живут. Понимать надо их мастерство, в деталях его изучить.

— В тридцать два года я женился, а до этого двенадцать лет ничем не был связан, много ездил. Каждое лето, во время вакаций, «шарашился» по Уралу. Ездил и на юг года два-три. Побывал на Кавказе, Украине. Сознаюсь — не понравилось. Красив Урал и дороже других мест. Одни горные озера изумительной красоты чего стоят! Ездил я, рыбачил, охотился. Смотрел, как люди живут.

Тут я опять поторопилась, напрямик задала вопрос: — Что же такое сказы «Малахитовой шкатулки» — обработка или оригинальное творчество?

Бажов помолчал. Он не торопился определять свое место в литературе. Сказы «Малахитовой шкатулки» всеми корнями уходили в уральскую почву. Быт, психология, устное творчество горнозаводского рабочего — такова их основа. И художнику казалось, что, назвав свои сказы литературой, он отрывается от этой жизненной почвы. А вместе с тем *таких* сказов в народе не существовало, они были созданы им самим. Сложность этого сплава реального и поэтического начал остро ощущалась писателем. Как объяснить это, да и надо ли объяснять — он еще колебался. Проще попросту назвать — уральские сказы. Так ведь оно и есть — уральские...

Павел Петрович ответил уклончиво:

— Записей сказов не было. Записывал в молодости уральские побаски. В «Малахитовой шкатулке» собралось то, что слышал в детстве от стариков. Наиболее яркое сохранилось в памяти.

— Кто же такой дедушка Слышко? — спросила и Павла Петровича, хотя хорошо знала, что это прозвище реально существовавшего старого горно-рибачего, старателя Василия Александровича Хмелинина.

— Это фигура реальная, типическая и символическая, — ответил Павел Петрович. — Немало таких стариков встречалось. Проработал двадцать пять лет у печи, изробился. А заводовладелец обязан всему заводскому населению дать «пропитал». Вот и определили таких старых прокатчиков, горняков в лесообработчики, в лесную сторожку, сторожем железных и прочих магазинов. Такой дедко Слышко — это знающий, выдавший виды человек. Теперь у него есть досуг. Строгает лучину, плетет лапти, попутно выполняет легкую заводскую должность. Живет, как правило, не только на природе, но и обязательно среди людей: все слышит и все видит, обо всем думает, мыслит. Это довольно распространенный тип на природе. Всегда такой дедушка Слышко знает что-нибудь занятное, может порассказать о старине.

— Какие сказы услышаны вами у дедушки Слышко? — спросила я осторожно. — Ведь в «Малахитовой шкатулке» сказы разных типов.

— Он рассказывал старательские сказы, — ответил Павел Петрович, — сказов о камнерезах Хмелинин не знал.

А ведь лучшие сказы «Малахитовой шкатулки» — это как раз сказы о камнерезах... Вот и ответ! Мне только это и хотелось знать...

— Что из вашей книги можно прямо отнести к «тайным сказам»?

Тут Павел Петрович уже почувствовал направленность моих вопросов и, хотя и поколебавшись, правдиво назвал мне «Дорогое имячко», «Приказчиковы подошвы», охарактеризовав этот сказ как заводскую сатиру...

— Ну, и «Хозяйка Медной горы»... — добавил он.

— Но не в таком же точно виде?

Он нехотя согласился:

— Не в таком...

— А кто такие «стары люди», которые упоминаются в вашем сказе «Дорогое имячко»?

— Это первоначельники, те, кто жил до башкирорусской колонизации края. По найденным остаткам это могли быть манси и ханты до их разделения.

— Откуда возникли образы девки Азовки и Полоза?

— О девке Азовке рассказывают по всему Уралу. Старица — в Тагиле, Горная матка, а то и Горный старик. Это хранители земных недр. Образ этот имеет в фольклоре признаки чаще звукового характера, чем зрительного. Подвывания Азовки передают рудничные звуки — завывания, поддувания и прочее.

— А Полоз?

— Упоминания о Полозе имеются у Сабанеева в книге «Горные озера Урала». Сабанеев считает, что Полоз существует. Писали о Полозе и позднее, в «Уральском рабочем» за тысяча девятьсот двадцать седьмой — двадцать восьмой год.

— Откуда взялся сказочный образ Огненные уши?

— Образ кошки возник в горных сказках опять-таки в связи с природными явлениями. Сернистый

огонек появляется там, где выходит сернистый газ. Он походит на болотный огонек. Но тот стоит свечкой, прямой, тонкий. А сернистый огонек имеет широкое основание и потому напоминает ушко.

В беседах и в письмах Павел Петрович потом не раз возвращался к вопросу о фольклорных истоках своих сказов, придавая им, истокам, огромное значение. Позднее он уже не скрывал того, что «Малахитовая шкатулка» явление литературы, а отнюдь не запись и не обработка сказов. К обработкам он относился отрицательно. Именно поэтому он неодобрительно отзывался о книге «Тайные сказы Урала». Делал одну лишь оговорку:

— Включили туда нетронутыми «гранильные сказы». Это подлинные записи. Они выходили отдельно в тысяча девятьсот тридцать седьмом или тридцать восьмом году. Имеют автора-собираателя. Это единственные в книге подлинно рабочие сказы, записанные в точных выражениях.

В комсомольской свердловской газете «На смену» в тысяча девятьсот сороковом или в начале сорок первого года тоже печатались рабочие сказы. Молодой поэт Тельканов занялся их собиранием, но в другой манере, чем я. Опубликовал он двенадцать коротеньких сказов — просто записал, что рассказывают старики. Побывал Тельканов на Березовском руднике, куда меня давно тянет. Говорил со снохой мастера Кондратия Зверева. Очень интересно. Это то сырье, из которого можно любой сказ делать.

Позднее, уже весной 1943 года, 23 марта, когда мне снова удалось захватить Павла Петровича в свободную минуту, я спросила его, как зарождается замысел сказа. Он, лукаво прищурившись, ответил:

— Да ведь я пишу по готовому материалу. Записываю сказы...

Я думала уже отступить, больше не спрашивать, как вдруг Павел Петрович рассказал, как будто совсем о другом:

— Ездил на Березовский завод. Были интересные встречи иного порядка, но не сказовые. И вот осталась от этой поездки заноза. Это старейший уральский золотой рудник. А кладоискательские фантастические рассказы не собраны. Надо бы тут по-

сидеть, пожить, поговорить с «дедушкой Слышко», в штанах или юбке — все равно. Доворошить до настоящего материала.

Вот родилось здесь слово «шевелит». Не понимаете? Запишите — «шиилитовая руда». Березовский рудник перешевеливается до основания. Что валилось в отвалы как ненужное, теперь оказалось ценнейшим материалом.

Помолчал и снова лукаво добавил:

— Теперь еще надо дедушку Слышко найти...

«СВОЕГЛАЗНОЕ ЗНАНИЕ»

В среду, последнюю среду сентября, — а она пришла на 30-е число, — состоялось обсуждение новой книги Анны Караваевой — «Богатыри уральской стали», которую писательница заканчивала осенью 1942 года.

Собрались на этот раз в Доме партпросвещения — красивом двухэтажном особнячке, где решено было отныне проводить всю клубную работу Союза писателей. А деловая издательская жизнь продолжала кипеть в Доме печати.

Уютный небольшой зал быстро заполнился. Всех тянуло на люди, туда, где думали о литературе, жили ею.

Анна Караваева пришла на собрание запыхавшись, румяная от осеннего ветра, — ей пришлось пешком возвращаться с Уралмаша.

— Туда уехала, а оттуда нет трамвая...

Жила она, как и все в эти дни, трудно; с нею в эвакуации была большая семья — дочери и старики. Однако Караваева, этакая дородная цветущая женщина, из тех, кого в старину называли «вальжжными», всегда была бодрой, живой и неизменно доброжелательной к окружающим. Общественные обязанности несла охотно, выполняла их дельно, с хорошей практической сметкой. Творчески она, как и Мариэтта Шагинян, работала много. В центральной прессе постоянно появлялись ее очерки о жизни оборонного тыла. Повести о сталеварах возникли в результате корреспондентской работы по заданиям «Правды».

Читала Караваева из новой книги лишь фрагменты — «Огни» и «Семья». Отрывки оказались объединены не очень-то выигрышно, явно наспех, — цельного впечатления не получалось. Однако в каждом куске был заключен такой подлинно жизненный, горячий материал, словно спешно вытащили раскаленную заготовку, которая еще ждет обработки, но уже чувствуешь силу этого куска металла, предугадываешь его будущую жизнь.

Обсуждение, как обычно, было бурным. Спорили и с автором, и друг с другом. Павел Петрович сидел в сторонке, помалкивал, до поры не вмешиваясь в ход дискуссии, хотя выступавшие частенько со своими речами обращались именно к нему, как бы ища поддержки, а не к Анне Караваевой, которая с разгоревшимся лицом, обмахиваясь собственной рукописью, внимательно слушала критические замечания. Но если одни из них были справедливы, то другие принять автор не соглашался. Некоторые из выступавших сочли недочетом повестей то, что уральские сталевары предстают людьми интеллектуальными, «слишком образованно говорят».

— Мне представляется, — сказал один из выступавших литературоведов, знаток древней русской литературы, — что действующие лица, Олейников например, поданы иконописно, положительные герои без сучка и задоринки. В стиле восемнадцатого века... Правы те, кто отмечали книжность и литературность языка Олейникова. Он говорит языком интеллигента — длинная монологическая фраза, которая ему не к лицу.

В поддержку героев Караваевой выступил Николай Ляшко.

— Как члена «Кузницы», старого металлиста, — заявил задиристый Ляшко, — меня привело в восторг, что Анна Александровна без всякой сермяжности нищет о рабочих. Святой человек Ван-Гог протестовал против забвения людей труда. Сильные картины можно создать, если знаешь и уважаешь своих героев, любишь их труд.

Все ждали, что скажет Павел Петрович, человек, знавший и старый и новый Урал, многие десятилетия, как журналист и газетчик, как партийный работ-

ник, наблюдавший изменения в жизни этого края. Бажов не торопился выступать, посасывая трубочку, слушал и, казалось, думал что-то свое. Но и он взял слово.

— Частенько норовим мы жизнь по старинке видеть. Душа-то у старого Урала новая, и люди меняются. Анна Александровна хочет в них взглядеться,— и правильно, надо. Тут и перебор известный может получиться, но верно главное: свежий взгляд, непредубежденный, так, чтобы привычное не заслоняло жизни.

Автор большую задачу решает,— значит, большой с него и спрос. Много профессий в повестях Анны Александровны — токаря, лекальщики, сталевары. Специфику каждого надо охватить. В вагоне — главка «Огни» — писательница как у себя дома, здесь свет и тени. А вот у кузнеца есть точки неизученные... А ведь только подлинно жизненная деталь делает повествование достоверным. В этом у автора есть просчет...

Не только на обсуждении повестей А. Караваевой Бажов касался вопроса о роли детали в искусстве, но и во время многих других выступлений на писательских собраниях, и просто в беседах с нами.

Забегая вперед, скажу, что как-то в ноябре 1942 года, на очередной писательской встрече в этом же зале Дома партпросвещения, слушали мой доклад о современной новелле. Речь зашла о художественной функции детали; я довольно полемически доказывала, что в предвоенной новелле деталь начала вытеснять характер. Павел Петрович по своему обыкновению молча слушал разгоревшиеся споры, а затем сказал докладчику:

— А как же с Чеховым быть? У него — возьмите почти любой рассказ — найдете их множество: художник исключительно детали выписывает, а о характере, казалось бы, и не заботится. Например, гвардейский поручик покупает ноты. Вот и все, сценка... Груда деталей, а за ними раскрывается характер. Очевидно, все дело в умении пользоваться деталью при создании образа. Как думаете?

И позднее не раз Павел Петрович возвращался к этому вопросу. В своих письмах ко мне, размышляя о чеховской детали, он говорит:

«Меня больше всего поражало чеховское умение сгустить типическое до одной клички. Протоиерей Змиежалов, дьячок Вонмигласов, акцизник Почечуев, корреспондент Оптимахов — все это для людей нашего поколения уже портреты. Знаешь, что это сделано. Для корреспондента нарочито придумана фамилия — сплав из латинского слова *optime* и русского махать, для акцизника подобрана из старого медицинского учебника, где геморрой называется почечуем (у литературоведов и бухгалтеров начинается раньше, чем у представителей других профессий). Фамилии Змиежалов и Вонмигласов откровенно шаржированы, но когда ты знаешь о «жале змия» в соответствующем «духовном» контексте и когда ты слышал уныло-ленивую голосянку «вонми гласу моленья моего», тебе кажется это шаржирование тем сгустком обобщения, дальше которого идти невозможно.

А чеховское искусство дать характеристику одной фразой!

— Барышня робко замерсикала и вышла.

— Александр Иванович Египетский! Один костюм сто рублей стоит.

Ведь ты видишь и эту барышню, и этого египетского болванчика вплоть до его манеры носить свой костюм, такой впечатляющий для уездного фельдшера.

И вместе с тем какое чувство меры. Помещик Египетский! Как будто вовсе похоже на правду, и в то же время смешно».

Так писал Павел Петрович 20 сентября 1944 года.

Жизненной точности деталей, глубинной, смысловой, а не украшательской, поверхностной их живости П. Бажов всегда придавал огромное значение. В письме ко мне от 10 июня 1946 года, говоря о жанре исторического романа, он с осуждением отмечает, что некоторые из авторов, не вникая в истинную суть изображаемых событий, небрежны и даже легкомысленны в обращении с бытовой деталью.

«Они вон «гуляющих людей» представляют по Ча-

пыгину, вроде бродяг,—иронически писал П. Бажов,— а ведь это совсем не похоже. Если брать параллели из позднейшего времени, так выйдет примерно, что «гулящие» равнялись почетным или личным гражданам: они не принадлежали к привилегированному сословию, но и не были так зависимы, как податные или раньше крепостные, еще раньше— холопы, смерды, чернь. В сущности, термином «гулящие люди» обозначались ремесленники, имевшие право свободного передвижения по стране. Они отличались от вольных, то есть отпущенных холопей, как и от бродяг и нищих. Вы думаете,— многие в возрасте 30—40 лет знают это?

Или еще пример. В пьесе Вл. Соловьева «Великий государь» монах-обличитель выходит с четвероконечным крестом на груди, тем самым «латынским крыжем», который в то время был ненавистен московскому населению не менее, чем свастика советскому человеку. Появись такой наглый крыженосец на улицах Москвы времен Грозного, такого бы разорвали на куски, а тут ничего — к царю допустили! И ведь пьеса предварительно прошла не одну контрольную инстанцию, видят ее десятки тысяч зрителей, а деталь остается неизменной. Даже когда скажешь об этом, отнесутся с явной прохладцей: пустое, кто это знает!»

У меня сохранилась и записка, которую Павел Петрович написал еще тогда, в Свердловске 1942 года, в связи с запросом Гослитиздата о возможности повторить иллюстрации первого московского издания «Малахитовой шкатулки». П. Бажов подверг критике эти рисунки именно с точки зрения реальности деталей. Он писал:

«Людмила Ивановна,

тут еще зав производственным отделом Гослита просил вложить иллюстрации московского издания, которые, на мой взгляд, наиболее удались.

Считаю такими, кроме фронтисписа, иллюстрации к сказам: «Золотой волос», «Огневушка-поскакушка», «Ключ-камень», «Малахитовая шкатулка», «Сочневы камешки».

Иллюстрация к «Хозяйке горы» прекрасна, но

требует иной трактовки приказчика. Он не охотно-рядец, зазывающий покупателей, а полноправный заместитель владельца, дворянин, бывший офицер гвардии. И он зарастает с ног, а не погружается в тину.

В иллюстрации к сказу «Кошачьи уши», мне кажется, надо по-иному дать руку с топором: готовясь к обороне, топор держат ближе к концу топорница.

П. Бажов».

Остальные иллюстрации мне меньше нравятся.

«Хозяйка горы» вышла страшнее, а не привлекательнее, пара в сказе «Синюшкин колодец» слишком пейзажиста, а в «Серебряном копытце» дан домашний козел, а не разновидность серны.

П. Б.»

В разговоре Бажов снова осудил одну из деталей за неверность социальной характеристики: художник спутал купеческого приказчика с горнозаводским управителем; другую отбросил за бытовую ее неточность: героиня одета как «подмосковная дачница», топор, совсем не по ситуации, держит, словно «собирается табак крошить»,—Павел Петрович с улыбкой добавил: «А она девка работающая, знает, когда и как надо топор держать». И, наконец, третий рисунок отверг за путаницу, так сказать, зоологическую, за то, что серну в рисунке легкомысленно домашним козлом подменили.

Требовательность Павла Петровича к художественной детали была велика и непреклонна. Никому, ни «старшим», ни «молодым», не прощал он незнания или небрежности, легкого, поверхностного обращения с деталью. Добивался от каждого причастного к литературе поистине богатырского труда, чтобы потом не обнаруживались в произведении «точечки неизученные».

И еще одно любимое выражение было у П. Бажова — «своеглазное знание».

Как-то в разговоре сказал он:

— Главное — своеглазное знание, о прошлом ли речь идет, о настоящем... Помните, у меня в очерке «На старом руднике» случай с «мраморным домом», который на поверку старой хибарой оказался? Это очень важно для всего моего творчества. Или разгово-

воры, слышанные в детстве о Медной горе, и первая с нею встреча в реальности: противоречие между тем, что увидел и как себе представлял. Часто ведь в жизни это не совпадает... Вот и нужно своеглазное знание...

И, как бы отвечая на какие-то глубинные свои мысли, Павел Петрович заметил:

— За жизнью теперь скачи — не утонишься. Изменения во всем — в истории, в быту, в сознании. Новому человеку не доверяют, сомневаются, а он уже существует. Не изучено явление — легче сказать, что ничего не изменилось. Но мне за эту работу поздно браться. Старый быт уральский у меня перед глазами. Вот и нерентабельно на новое переключаться. В шестьдесят лет с лишком еще не исчерпал старые запасы.

Когда пишешь о том, что не до корня изучил, — походишь на десятки других писателей. Лучше ли, похуже ли, но в том же ряду. А в старом материале я хозяин. Я все это имел возможность видеть, изучать. В этом и мое преимущество, но и моя обязанность. Я должен обо всем, что видел, изучил, рассказать.

«ГОВОРИТ УРАЛ!»

Летом 1942 года в писательской организации возникла идея издать к 25-й годовщине Октября юбилейный литературно-художественный сборник. В его редколлегию вошли П. Бажов, А. Караваева, К. Мурзиди, К. Рождественская — от Свердловского издательства — и я. Редактором и составителем сборника меня назначили 10 августа. Материалы для него надо было еще заказывать, организовывать — времени оставалось в обрез. В местном издательстве раздавались скептические голоса; говорили о том, что дело неминуемо провалится, что сроки не реальны, что у «приезжих» «чемоданные настроения», а «местных» «не раскachaешь»... и т. д., и т. п. Но все эти мрачные предвещения не оправдались. Писатели дружно и энергично взялись за дело. И когда ровно через месяц, 10 сентября, нас с Караваевой вызвали в обком, проверить, как идет подготовка сборника (кто-то из издательских «скептиков», страхуя себя, нарисовал в об-

коме пессимистическую картину полного провала), мы смогли выложить на стол реальные рукописи — они уже начали поступать.

Секретарем Свердловского обкома по агитации и пропаганде был в этот период М. М. Розенталь, возглавлявший до войны журнал «Литературный критик». Затея со сборником была ему и самому дорога, как бы переносила в атмосферу еще довоенного московского журнального мира. И М. М. Розенталь и Анна Караваева, бывшая долгие годы главным редактором журнала «Молодая гвардия», понимали, что выпустить сборник хотя и трудно, но можно. Они оба встали на сторону оптимистов. Решение совещания гласило: «Сборнику быть!» Скептики оказались посрамлены. Вскоре вместо запланированных двадцати авторских листов в руках редколлегии оказалось вдвое больше материалов. Мы могли отбирать лучшее, отсеивать слабое.

Бажов оказался душой всего дела. Он никогда прямо не вмешивался в работу по сборнику, не ограничивал ничьей инициативы, не указывал и ничего не требовал. Но все время как-то очень явственно ощущалась его поддержка: в нужную минуту подсказывал он правильное решение или предостерегал от опрометчивых действий. И делал это незаметно, на ходу, бросив две-три фразы, смягчив их шуткой или заострив лукавой подковыркой.

К Павлу Петровичу хотелось пойти и посоветоваться, подумать вслух над новыми именами или новыми разделами, высказать свои сомнения или взвизриться в планах и проектах. Ему можно было рассказать все начистоту, как оно есть в самом деле, худо ли, хорошо ли, не дипломатничая, не осторожничая. Доверие к нему рождалось само собой...

Напряженная работа над юбилейным сборником для меня совпала с устройством бытовых дел. Муж мой, писатель Важдаев, находившийся в школе лейтенантов в Кыштыме, тяжело заболел, был «комисгован», то есть снят с военного учета. Операцию буквально в последнюю минуту сделал ему замечательный кыштымский хирург Степан Дементьевич Нарбутовских. Теперь Важдаев поправлялся, его даже собирались выписать из госпиталя, а это означало, что

нужны будут крыша над головой, теплая одежда и питание...

Моя мать оставалась в Красноуфимске, где еще находился Гослитиздат; ее надо было забрать оттуда, но куда? Я жила прямо в издательстве, спала ночью на том столе, на котором работала.

Город был переполнен эвакуированными с Украины, из Москвы и Ленинграда, вселиться куда-либо по ордеру было уже почти невозможно. Дело усложнялось и тем, что обратиться за помощью к П. П. Бажову было неловко, и это я оставляла на самый крайний случай. Так возникла мысль при поддержке издательства организовать общежитие в Доме печати, где было много пустующих комнат.

В огромном помещении «клуба рабкоров», на четвертом этаже, уже разместилось одно общежитие — здесь жили рабочие московской Первой Образцовой типографии вместе со своими семьями. Общежитие походило на огромный табор. Семьи отделялись здесь друг от друга условно — столом, шкафом, простыней. Считалось, что эти четыре стула, служащие кроватью, — квартира одной семьи, а те — другой. Жили, однако, дружно. Из общежития никто не захотел уезжать, когда уже в 1943 попробовали их расселять, — начался отлив эвакуированных из Свердловска, и рабочим предлагали квартиры в городе. Но они решительно отказались покинуть «клуб рабкоров» и так и прожили в нем сплоченным коллективом вплоть до возвращения в Москву.

Наше общежитие, которое в шутку называли «колхоз «Бедлам» или колхоз «Бедность не порок»», было маленьким. Входили в него моя семья, огизовская корректорша и заведующая производством Первой Образцовой Е. А. Фильцер с десятилетним сынишкой Славиком. Вскоре, однако, «колхоз» стал штаб-квартирой всей работы по сборнику «Говорит Урал!». Двери сюда не закрывались — утром и вечером шли авторы. Здесь заказывались и отвергались материалы, обсуждались и редактировались принятые произведения. Сюда люди тянулись и по делу, и на огонек. Дом печати худо-бедно, но отапливался, в «колхозе» всегда было сравнительно тепло, непрерывно горел электрический свет. Его не выключали — ведь в ниж-

нем этаже работали ротационные машины и лино-
типы. А раз был свет, была и горячая вода, которой
щедро угощали посетителей «колхоза». Более того:
тут подавали великолепное блюдо — салат из мелко
нашинкованной сырой капусты, тертой с солью. Союз
писателей организованно закупил в сельском районе
вагон овощей. «Колхоз «Бедлам»» участвовал в его
разгрузке, и все сделали солидные заготовки — кар-
тошка и капуста горою были свалены в одном из уг-
лов нашего общежития. И немало народу заглядывало
к нам в надежде полакомиться капустным салатом,
а то и просто капустными листками — ведь все стра-
дали от отсутствия витаминов. А в «колхозе» не скряж-
ничали и делились всем, что имели сами.

Частым гостем был в «колхозе» Павел Петрович.
Заходил он ненадолго, всегда по делу. И каждое его
посещение давало новый толчок сборнику: то Бажов
подсказывал автора, которого забыли, а его следует
привлечь, то советовал, как подправить рукопись, —
читал же он все отобранные нами материалы, то кратко
одобрял планы составителя или, наоборот, обстоя-
тельно их критиковал и отвергал.

Как всегда, во всяком коллективном начинании не
обходилось без столкновения мнений, без крайностей
и невыполнимых затей. «Пуристы» предложили, на-
пример, составить сборник только из произведений
писателей «с именем». При этом от участия в нем
оказались бы отстраненными многие местные авторы,
которые, не имея всесоюзной известности, легко по-
пали бы в категорию «недоклассиков», как шутил Ев-
гений Пермяк. Это повело бы к расколу в органи-
зации, редколлегия превратилась бы в литератур-
ное судилище. Павел Петрович по этому поводу
сказал:

— Отбирать надо просто: написал хорошо — напе-
чатали. А остальное предоставим потомкам...

Каждый раз, как возникал новый величественный
и неосуществимый проект немислимо прекрасного
сборника, Павел Петрович очень спокойно из области
воздушных замков переводил все на реальную почву.
Но если в замысле было хоть какое-либо рациональ-
ное зерно, Бажов уже не отступался, и поддержка его
была обеспечена.

Задумано было книгой «Говорит Урал!» рассказать фронту о том, как живет тыл в тяжкие дни военной страды.

— Факты, конкретность сегодняшнего быта — лучшая наша агитация, — сказал Бажов.

— Пусть знают, — пылко воскликнула Анна Караваева, — что мы вместе! Все делим — трудности, мысли, чувства... Тем, кто на линии огня, кто занят страшной, кровавой работой, важно знать, что жизнь не остановилась в тылу.

И эту задачу писательский коллектив с честью выполнил. Мариэтта Шагинян и Анна Караваева выступили с очерками о людях Урала. Федор Гладков дал в сборник небольшую повесть о донорах. Нина Попова рассказала о простой житейской стойкости наших женщин в тяжкие военные дни. Николай Ляшко написал о детях, берущихся за взрослые дела. Свердловчанин Борис Рябинин — о домашней хозяйке, о том, как в годину войны пришла она на завод и стала к станку.

Бажов дал в сборник новый сказ — «Железковы покрывки». Остряки шутили потом, когда уже вышел «Говорит Урал!»: потомки все вырежут, останется лист-полтора — и то одни железковы покрывки.

Немало в книге «Говорит Урал!» было стихов. Илья Садофьев и Константин Мурзиди, Агния Барто и Людмила Татьяничева, Юрий Верховский и Белла Дижур, и многие другие поэты — уральцы и «приезжие», — каждый по-своему, в своей творческой манере, выражали общее страстное ожидание победы, рассказывали о боли, жившей во всех сердцах, о глубокой любви к страдающей Родине.

Произведения нашего сборника, написанные в разных жанрах, разными людьми, с разной степенью художественности, отразили, однако, все вместе дух времени и живые его черты — в быту, в характерах людей. С обложки книги на зрителя повернулось и глядело жерло мощной пушки, оваянной красным флагом, готовой к наступлению. Этот рисунок художника В. Таубера хорошо выражал единое настроение, лейтмотив сборника.

«Говорит Урал!» собрали и отредактировали к середине октября 1942 года. До праздников оставалось

дней семнадцать, но работники Первой Образцовой типографии пообещали выпустить книгу «молнией».

И вот 6 ноября 1942 года «Говорит Урал!» вышел в свет. На столе издательства лежала большая, толстая книга, еще хранившая тепло рабочих рук, еще пахнувшая типографской краской. Просто книга — в обычное, далекое мирное время, а сейчас почти чудо — настоящая книга. Ведь с начала войны выходили лишь тоненькие брошюрки, и печатали их на грубой газетной бумаге. А тут книга, и хорошо оформленная, даже с иллюстрациями: в последнюю минуту нашлись у Свердловгиза отпечатанные до войны красочные уральские пейзажи, предназначавшиеся для какого-то другого, еще «мирного» издания.

Поглядеть на «Говорит Урал!» забегали самые разные люди — не только из Союза писателей, авторы или «болельщики», нет, приходили из типографии, из корректорской, из редакции «Уральского рабочего», из других издательств (их много было в эвакуации), приходили курьеры и уборщицы Дома печати. Всем хотелось поддержать книгу в руках, полистать ее. Говорились обычные, незначительные слова, не похвала, а констатация факта: «Вышла наконец», «Сделали все-таки», «Какая большая! Есть что почитать...» Но за всем этим возникала одна и та же невысказанная мысль: «Значит, жизнь налаживается!»

Пришел Павел Петрович, постоял, посмотрел, как люди держат в руках наш «Говорит Урал!», молча ушел. В шумной толчее, царившей в маленькой издательской комнате, никто, по сути, не заметил ни появления, ни ухода Бажова. Но запомнилось его лицо — задумчивое и усталое, на котором еще не ослабло душевное напряжение, лицо старого рабочего, только лишь закончившего свое трудное дело и стоящего у печи или у станка, вытирая руки «концами».

В радостной суматохе, в атмосфере праздничности мы между тем и не замечали, что рабочий день неуклонно шел к концу. И только когда за окнами по-прежнему стало темнеть, спохватились, что за сборником никто не приезжает. Бросились звонить в «Союзпечать» и услышали ответ, что о выходе сборника там ничего не знали, да если бы и знали, то вывезти сегодня не могут — нет транспорта. А мы мечтали, что

«Говорит Урал!» попадет на праздничный вечер в оперный театр, где собирался цвет области — рабочие-тысячники, знатные колхозники, партактив...

Что делать? Хотели броситься за советом, а по чести — за помощью, к Павлу Петровичу, но посоветились: уж очень он не любил недодуманных дел и преждевременных «победных реляций». Всегда над ними посмеивался, был беспощаден к бахвальству и шумихе. А мы явно попали впросак, не позаботились проверить, занимается ли кто-либо «Союзпечатью». Собрались в «колхозе» участники и «болельщики» сборника. Из авторов случайно оказался Б. Рябинин, которому не терпелось подержать в руках свою повесть, и он к вечеру забежал в Дом печати. Посоветались, подсчитали людей и решили взмолиться к «Союзпечати», чтобы «Говорит Урал!» сегодня же взяли в киоск оперного театра, а доставку сборника мы обеспечим сами. Нам охотно пошли навстречу и дали наряд в киоск на тысячу экземпляров.

«Доставка» — пышно сказано, а означало просто-напросто, что нам надо перенести «Говорит Урал!» на руках, потому что и у нас не было никакого транспорта. Хорошо еще, что театр находился неподалеку от Дома печати.

За дипломатическими переговорами, за деловым оформлением передачи сборника из типографии в «Союзпечать» время шло с невероятной быстротой. Рабочий день кончался, надо было спешить: разойдутся люди — ведь праздник, все спешат по домам, никого не созовешь, какая уж тут будет «доставка»! И «колхозники» пошли по Дому печати, объясняя, что произошло, и зовя людей нам помочь. Откликнулись рабочие из типографии, корректоры, техреды, — словом, все, кто не ушел еще домой. Уламывать никого не пришлось. Носильщиками стали, конечно, и сами «колхозники», и «приколхозный актив» (была и такая градация), и даже авторы, среди них Борис Рябинин.

Около «большого общежития», того, что размещалось в «клубе рабкоров», всегда было много мальчишек — детей рабочих из Первой образцовой типографии. Проникнувшись важностью задачи, они тоже примкнули к нашему отряду добровольных носильщиков.

Совсем уже стемнело, когда мы небольшими группами, нагруженные книгами, вышли на улицу.

Появление наше в фойе театра произвело большое впечатление на всех. Киоскер нас уже ждал, контролеры были предупреждены — пропуском служили книги. В праздничную, принаряженную толпу переносчики «Говорит Урал!» врезались веселым диссонансом: были мы в обычной и довольно потрепанной уже одежде, но румяные с холода, возбужденные своей удачей, шумные, тащили груды книг. Новость прошла по коридорам театра, и люди стали сбегаться. Образовались мгновенно очереди — никогда они мне не доставляли такого удовольствия и даже радости. «Говорит Урал!» расхватывали с жадностью. Уже прозвучали звонки, возвещавшие начало праздничного вечера, а люди не уходили из коридора, осаждая киоск. Вся тысяча экземпляров была расхватаана буквально на наших глазах.

Слушая отчет о событиях этого вечера, Павел Петрович смеялся, но и явно был растроган.

— Учитесь, — сказал он. — Всякое дело доводки требует. Да, видно, неспроста родилось присловье: «Оптимисты побеждают»...

Думается мне, однако, что именно с этого времени Павел Петрович признал своего «исследователя» и стал ему открываться...

РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЛОВЕ

Еще зимой 1942 года, 17 декабря, когда я донимала Павла Петровича разными вопросами для будущей книги, заговорили о языке сказов.

Слово, меткое, яркое, причудливое русское слово, всегда было для Павла Петровича не мертвой, устоявшейся формой, а живым, развивающимся организмом. Он чувствовал запах слова, увлекался игрой его красок, его звучанием. Он искал корни слова в быту, в истории края. Слово было для него не только обозначением явлений, оно открывало Бажову целые пласты жизни. И потому его возмущал примитивизм в обращении со словом, в понимании его художественных функций.

— Когда я оформил первый сказ — «Дорогое имячко», возражали мне, говорили, что в стилистику, в «пи-

саховщину», ударился. Упреки эти кое в чем были справедливы. Позже я отошел от чрезмерного увлечения языковым колоритом. Оставил только производственную стилистику. А все эти «тожно», «пошто»... все выбросил. Или вот — «навеливать невесту»... Надобности нет хранить слово или речение, когда за ним нет образа. А всяким там причудам языка можно умиляться, можно играть словом, но это пустое, в конце концов...

Слово мы часто берем однолинейно — только как обозначение понятия. А ведь в нем все есть: и звук, и краска, и образ. У меня в сказах найдете слово «в чиковку». Что оно означает? Звуковое здесь уловлено — «чик в чик», то есть так же размеренно и точно, как движение маятника. И означает потому — точь-в-точь, как раз, впору, в меру. А вот другое словцо: «жикнуть» — рассечь воздух резким ударом прута, жгута, сабли, отчего, естественно, возникает особый свистящий звук. И рядом «жичка» — веточка, вица, прутик, все, чем можно жикнуть. Все эти слова не литературного плана, но законные при сказовой манере письма. Но вот обыгрывать фонетическую неграмотность не могу и не хочу. Недостойно делать предметом балагурства язык моего отца и моей матери. Горбунов мог умиляться — «чичас» и прочее того же рода. Он смотрел и слушал со стороны. Но нас эти Ваньки и Таньки тешить не могут. Не выношу Горбунова, даже в самых невинных его вещах. Лесков тоже злоупотребляет фонетическими неправильностями, но все же нет у него этого горбуновского ёрничества.

Огромное значение Павел Петрович придавал исторической основе, породившей то или иное слово, закономерностям развития и движения языковой стихии. Об этом говорил он в беседе 30 января 1943 года.

— Художник ищет и отбирает слова по своему, по сути узкому, плану, а в народном языке идет более широкий отбор, откладываются подлинно ценные слова. Здесь отбор, произведенный родом, а там — личностью, автором.

— Хорошие слова в сказе «Медной горы Хозяйка», — с удовольствием говорит Павел Петрович и поясняет: — Много рабочей терминологии. Может, и

перегружают... но жалко расстаться, отбросить... «Обальчик», «королек», «кёнихи» — зерна. Или вот «виток» — так называли пластинчатую медь, тонкими нитями...

Часто народ осмысляет чужеродное слово, дает ему народный перевод, свое понимание. Вот, например, как своеобразно преломлялась немецкая горнозаводская терминология в живой речи уральского населения. «Стенбухарь» — рабочий размельченную породу бросает в сетку, просеивает. Звуковое оформление слова «бухарь» — тот, кто бухает, швыряет со стуком. Или «карнахарь». Это осмысление немецкого слова «гармахер» — горный мастер. Русские рабочие на Урале с бородами, а немцы бритые, карнали свою харю. Осмысление не без сатирической оценки.

О работе над словом Павел Петрович всегда говорил охотно, как бы размышляя вслух, а чаще явно стремясь передать своему собеседнику собственное, уважительное отношение к родному языку. Дело это важное и совсем не простое — отбор слова, умение слово верно применить к делу, поставить на нужное место в художественном произведении. Работать над обогащением своей речи писатель должен упорно, ежедневно и ежечасно, считал Бажов. И охотно делился собственным опытом. Об этом и зашел разговор 23 марта 1943 года.

— Слова записываю, — рассказывал он о себе, — но не те, что особенно редкие, а такие, которые могут понадобиться, да их в нужную минуту никак не найдешь. Вот, например, простой парень — простота, можно сказать. Существуют целые семьи слов. Начнешь их перебирать — все уже обыграно. И не можешь найти нужного слова, не заезженного, но простого по смыслу, которое полно бы выражало твою мысль. Иной раз случайно наткнешься на новые возможности русского словообразования. Перечитывал я как-то «Бурю» Шекспира. Произведение не русское. И переводчик тоже не ахти как перевел. Но встретилось мне слово «миляга». А ведь можно сказать «протяга». Вот ответ и найден. Нужное слово нашлось.

Павел Петрович никогда не уставал любоваться гибкостью, многообразием русской фразы, емкостью и сочностью слова.

— К словарю обращаюсь редко,— говорит он,— лишь в случаях затруднений. В словарях слово неподвижно. Слушаю его в повседневной речи, ищу в книгах, в действии, в жизни. Интересуют меня слова известные, но забытые в литературном языке. Я их очень ценю и подбираю. Записываю на карточках и время от времени проглядываю.

Простое слово «хвост», а как богато различительными определениями! Хвосты-то разные бывают. У волка — полено, у лисы — труба, у белки — пушняк, у зайца — репеек, у глухаря — сноп, у ласточки — вилка. Народ приметлив. И увидеть умеет, и в слове выразить, да еще и философски осмыслить. Говорят ведь: «Лошадка быстра, а от своего хвоста не уйдет». И хвост тут, глядишь, пригодился.

С улыбкой, а о серьезном умеет рабочий человек сказать. «Не пей, кума, дарового вина — дороже купленного обойдется». Или: «Плохо положено, страхом не огорожено». Ну как не записать, само просится!

Иной раз записываю слова, которые и не пригодятся в работе. В Пермь ездил — несколько удмуртских слов меня заинтересовали, а их явно в литературе нельзя использовать. Грубоватые слова, но выразительные: «падыш» — кобель, «куча» — сука. Иногда очень жалеешь, что слова такого грубого тона нельзя в литературе применять, взять в дело. Они-то самые сочные... Так вот, из всей поездки в Пермь я и привез «падыш» да «куча». Потом, правда, добавил из пермских записей: «полазистый»; «чутьистая»... Я их использовал в сказе «Хрустальный лак». Напомнили они мне и другие деления: верхнее чутье, нижнее... Слово только тронь — оно и заиграет разными гранями...

Но не только слово-образ, слово — реальная деталь заботили Павла Петровича. Он думал и о его звучании, о ритме и мелодии фразы.

Одно мимолетное замечание художника весьма для него характерно. Оно было сделано 29 марта 1943 года, в разговоре с писателями-свердловчанами, которые собрались по каким-то общественным делам в отделении Союза. Зашла речь о трудностях работы над стилем произведения. Павел Петрович убежденно сказал:

— Фразу надо разбивать. — И повторил: — Надо разбивать фразу. Правда, тогда связки мучают. В длинной фразе они второстепенны, незаметны. А если разбить, сразу начинаются «но», «и», «однако», «оттого, что» и прочее... Воевать надо с подсобными словами, воевать.

В беседе со мной 24 мая 1943 года Павел Петрович заметил, что его сказы по своей тональности, по самому строю речи значительно разнятся. Они, считал Бажов, распадаются на три группы: первая — сказы «детского тона», тут Павел Петрович для примера назвал «Огневушку-поскакушку»; затем «взрослого тона» — ну, хотя бы «Каменный цветок», и, наконец, «исторические рассказы» — такие, как «Марков камень».

И действительно, разная тональность сказов, их мелодия были продиктованы различными творческими задачами, поставленными художником: содержание требовало каждый раз своего особого звукового решения, своего особого звучания.

Огромное значение Бажов придавал обогащению словарного запаса художника, расширению границ личных словесных накоплений. Он считал, что писатель обязан всю жизнь работать над языком, неустанно заботясь о речевом разнообразии.

— Вначале, когда приступал к сказам, — говорил Бажов, — было легко: целое поле свободных слов. А чем дальше, тем труднее. Оглядываешься ведь на уже написанное. Нельзя же повторять одно и то же. Целый ряд рабочих слов выбрасывает из моего обихода каждый новый сказ. К ним уже не вернешься.

Трудность в стилистике. Надо для каждого старого понятия найти подходящее выражение, ясное и теперь. Мысль бывает правильная, а выходит не так, как надо. Ведь надо верно передать, как бы тогда, в прошлом, люди сказали, как бы тогда подумали. Ищу слово мучительно долго. Вот приведу вам пример. В сказе «Таяткино зеркальце» надо было сказать о надежной крепи в шахте. Старый технический словарь и другие словари подсказывают просто — «крепь». Хорошее народное слово. Но это ведь первое слово. Надо еще поискать. Сколько русских слов перебрал! И вдруг на-

шлось: говорится не только «крепь», но и «переклад». А «надежная крепь» — «укрепить двойным перекладом». Это уж сразу почувствуется, что прочно. С удовольствием поставил в сказе «крепить двойным перекладом». Горжусь: нашел.

Только простоты этой, естественности языка очень трудно достичь. — И лукаво добавил: — Легко, когда сказители говорят, а тем, кто свои вещи записывает, тем трудно...

К этому времени я уже проделала большую подготовительную работу для книги и, в частности, основательно изучила бажовские сказы со стороны языка и стиля. Наблюдений и выписок накопилось многое множество.

Я сказала между прочим Павлу Петровичу, что в его сказках бросается в глаза обилие уменьшительных слов. Бажов явно был этим доволен. Он живо откликнулся на мое невинное замечание и сказал:

— Уменьшительные слова присущи сказителям, вот таким дедушкам Слышко, знающим, много пережившим заводским старикам. В этих словах отражается народное философское осмысление жизни. Говорит так человек, который судит о ней с точки зрения своего богатого жизненного опыта. Он обо всем раздумывает, все способен верно оценить, все рассудит здраво. Философия его основана на твердой уверенности, что дети будут жить лучше него. О золотых горах прошлого меньше всего думали. Мечтали о золотых горах будущего.

Уменьшительные мне самому очень нравятся. Мягкость тона придают... День пройден, всегда его с улыбкой вспоминаешь.

Невольно себя ловлю на пристрастии к уменьшительным. «Девчонка» — пренебрежительный оттенок. Иное — «девчушка», «девчоночка добренька»... Это стариковское, в зрелом возрасте не так говорят... Уменьшительные слова тоньше, добрее... В одном, не напечатанном еще сказе: «Была маленько косоротенька, изъян небольшой, а женихи убегают». Я считаю — хорошо...

И Павел Петрович смеется, доволен, добавляет:

— Пачечку сказочных слов пересмотрю: записы-

вал слова, а повело к теме... Вот в записях у меня найдете «петушиное перо» — о забияке говорится... Из этих слов образ рождается... Дальше у меня стоит: «С петушьим пером родился: по всякому пустяку в драчишку лез, а силенкой не богат. Его и колотили порядком, а парню все нейметя. Ко всякому лезет: я-де никому уступать не желаю. Тут вот его стукнули по загривку, да столь навесно, что сразу свалился».

Как видите, образ, заключенный в слове, сам развернулся, обрел движение...

Да, большая сила в народном слове... А знаем ли мы по-настоящему свой родной язык? Стоит над этим и призадуматься...

«РОЖДЕНИЕ СОНЕТА»

Вечером 14 января 1943 года к нам в «колхоз» пришли поэт Юрий Никандрович Верховский, последний из символистов, и литературовед, профессор И. Эйгес. Жили они оба в эту вторую военную зиму тяжело: каждый наг, голоден и сир. У Верховского беспомощная старуха жена и болезненная дочь. Обе не работали, и карточка в столовую была одна на всю семью. Дров нет. Дома холод, свет выключают с 10.30. Старик невыносимо страдал от тьмы, она не давала ему работать. У Эйгеса не лучше. Его вселили в крохотную комнатку к какой-то старухе и ее дочке. Хозяйка требовала у него полторы тысячи: надо было привезти дрова. Он отчаянно бился, чтобы достать эти деньги. Но как это осуществить, когда никакого заработка нет и пока не предвидится? Верховскому помогало Свердловское издательство, здесь печатали книжку новых стихов, дали денег (не так уж много, но все же...). Помогал и Литфонд. На Эйгеса же все беспричинно ополчились. Особенно возмущались тем, что он уехал из Туринска, хотя там ему давали 500 граммов хлеба и кило свинины в виде пайка. Но ведь не единым хлебом жив человек! Эйгес готов был хоть пешком добираться в Свердловск, потому что здесь кипела литературная жизнь, чего в Туринске и в помине не было. А ему необходимы были споры и беседы о литературе больше, чем кило свинины.

Оба старика отощали, усохли, но были полны творческой энергии, интереса к жизни.

Гости ожидались в девять часов вечера и явились точно в назначенное время. Литературный повод этого «раута» — Юрий Никандрович Верховский хотел читать нам написанные им новые сонеты.

По этому поводу Павел Петрович где-то на бегу в Союзе писателей сказал полувсерьез, полушутливо: «А что же, и старикам внимание нужно, а вы думаете, об одних молодых должна быть забота? А нам-то, может, нужнее, времени меньше осталось... Да вот формы-то все официальные, казенные...» Словом, подбросил незаметно идею эдакого домашнего гостеванья, как оно бывало в старые мирные времена. Павел Петрович был подлинно душевен и внимателен к старым писателям, оказавшимся в Свердловске в дни войны, и делал все что мог, чтобы облегчить их участь. Ближе были ему, конечно, и Федор Гладков, и Анна Караваева, и Новиков-Прибой — те, кто шел в литературу из гущи трудовой жизни. К Юрию Никандровичу Верховскому, по моим наблюдениям, Бажов относился с каким-то доброжелательным интересом, понимая и принимая поэта во всем его своеобразии, в той его внутренней ясности и даже детскости, которая порой проступала в облике этого большого задумчивого человека. Сам Павел Петрович был человеком иного склада — каким-то очень прочным, что ли, веселым и внутренне стойким, мужественным. Присущ ему был живой интерес к людям, совсем на него не похожим, но в кого он неизменно внимательно вглядывался, ища подлинную основу совсем разных человеческих характеров и всегда находя любопытную «особинку»

— Старые люди — народ особый, — посмеиваясь, говорил Павел Петрович, — к нам умелый подход нужен. Иной раз не поленишься, приглядишься к человеку — он неожиданными гранями и засверкает. Вот художник Парамонов Александр Никитич. Мы с ним давние приятели. Годов двадцать тому назад он рисовал мой первый портрет. Если заметили, тот, что висит в столовой. Тогда у меня была еще настоящая борода, хотя и побуревшая. Художник именно этой расцветкой интересовался, и вот осталась память.

Он глубокий старик, но прекрасный и быстрый рисовальщик. Как-то рисовал он меня в течение одного часа. Ворчал, что этого мало, что так нельзя, но, по моему, у него вышел самый занятный портрет из всех других. Старик интересен и тем, что знает Урал не из окна вагона и не в радиусе пригородов Свердловска, а гораздо шире и глубже, так как жил здесь довольно долго... Словом, советую не пренебрегать стариками.

Так Павел Петрович поддержал идею «литературного раута», и она пустила в «колхозе» корни, расцвела буйным цветом. Решили «назло Гитлеру» — любимое присловье в «колхозе» — принять гостей как следует.

Предполагалось выдать роскошное по тем временам угощение. Первым блюдом намечался гороховый суп, сваренный на мясных костях. Происхождение супа было чисто литературное: кости, положенные в его основу, В. Важдаев получил на городском мясокомбинате, где выступал перед рабочими со своими антифашистскими сказками. Они выходили плакатами (рисовали Кукрыниксы, Алякринский, Каневский, Цигаль, Таубер). В конце 1942 года еще в Красноуфимске «Сказки старые, да на новый лад» были выпущены Гослитиздатом отдельной книжкой. После госпиталя автор, входя в состав писательских агитбригад, деятельно выступал и в цехах заводов, и на городских собраниях, и в школах. Подчас литературное признание принимало и материальные формы.

После супа намечено было подать салат из мелко шинкованной сырой капусты, тертой с солью.

И, наконец, все должен был завершить горячий хорошо заваренный чай... с хлебом и кусочком сахара!

Но в дружной колхозной жизни возникали и трудности. Ко всем нам ходили люди — и на огонек, и по делам. Разграничить «своих» и «чужих» гостей было трудно, так как в Доме печати все знали друг друга. И тогда возник «колхозный» закон: стол, стоявший в центре общежития, был разделен на части, и посетители, сами того не зная, бросали жребий. За той частью стола они садились, того гостем и делались. Забавно было видеть, как иной раз гость топтал-

ся у стола, выбирая местечко, где бы сесть, или пере-саживался под непонятное хихиканье и фырганье «колхозников».

Но тут был званый вечер. И потому стол выдвинули на середину комнаты, «колхозники» незаметно разбрелись и расселись по своим углам. А мы, словно в театральной постановке, заняли места на авансцене.

Гости наши явились принаряженные и торжественные.

Юрий Никандрович незадолго до этого сломал руку. Он часто падал на улице — и оттого, что было по-зимнему скользко, и оттого, что стар был и очень слаб. Он пришел, держа руку на перевязи. На голове черная меховая шапка, напоминавшая монашескую. Пальто старинное, черное, до пят.

Лицо у него тургеневское, с белой широкой бородой, чисто русское, красивое, чудесные голубые глаза, которые еще очень молоды, но скрыты под густыми седыми бровями. Седые длинные волосы. Когда смеется или задумывает сказать что-либо с хитрецей и даже подковыркой, по-русски, вокруг глаз собираются лукавые морщинки, глаза прищуривает, светлые, смешливые и совсем дугообразной формы. В лице доброта и простодушие спокойное, народное. Юрий Никандрович рассказал, что французский литературовед, специалист по русской литературе Андре Мазон написал как-то о нем, Верховском: «Parfait type de la beauté russe».

Великолепным было у наших гостей несоответствие между их голодным, нищим видом и возвышенным строем мыслей. Вечер начался непринужденной беседой, гости говорили о дактилической рифме, о формфикс сонета и прочей стиховой специфике. Умные, тонкие, знающие. Затем перешли к роскошно сервированному столу — две настоящих тарелки, на всех ложки. На столе дымилась эмалированная кастрюля, полная костей и гороховой похлебки.

Затем мы перешли в «гостиную», на большой «колхозный» диван, и Юрий Никандрович прочел свои сонеты, три чудесных оды и, наконец, маленькое лирическое стихотворение о коптилке.

«Колхозники», словно в доброй театральной мизан-

сцене, держались на заднем плане, занимаясь своими делами — кто прилег в собственном углу с книжкой в руках, кто чинил одежду, кто тихонько прибирался на своем пяточке. Хотя по закону общежития условно считалось, что в комнате никого нет, «колхозники» внимательно слушали чеканные стихи Юрия Верховского. И восхитило их и взволновало не только искусство старого поэта, но его молодая душа, полная боли и мужества своего времени. «Сонеты гнева» — так назвал их Ю. Верховский. Это, по сути, был лирический дневник, каждая страница которого говорила о нестерпимо страстном желании сидевшего перед нами дряхлого, немощного человека защитить родной народ от страданий. Всю страсть свою он вложил в сонеты, написанные им зимой 1942 года. Были они несколько старомодны по языку, по самой манере мыслить, но полны ясной и чистой лиричности.

Плотина прорвалась — и пруд ушел.
Остался ручеек,— полоской тонкой
Сочится скромно и струей незвонкой
Чуть орошает углубленный дол.

Так вдалеке от грозных бед и зол
Остался я, но не иду сторонкой,—
Нет, не стесненный ветхих лет заслонкой,
Свой ясный путь и я в свой час обрел,—

говорил нам глуховатым голосом старый поэт, сравнивая себя с одним из миллионов ручейков народных, сливающих воедино все переживания и чувства свои во «взрывающий заслоны единый, цельный всенародный гнев» (сонет «Гнев»).

Он говорил о голосах, которые к нему доносятся из «летучих станов» партизан или «прямо с места боя летят через горы, доли и леса». Он задумчиво вслушивался в тончайшие движения души героев-воинов и радостно ощущал свое с ними духовное единство. Далеко от Урала поле брани:

Тут будней трудовая простота,
И не вещают строгие уста
Слов выпрених, но и отсюда слышит

Раскрывшийся в едином чувстве слух,
Как цельный и непоборимый дух,
И здесь, и там равно живет и дышит.

(«Голоса»)

Казалось, Юрий Верховский не читает стихи, а размышляет вслух или даже скорее про себя, так подчас был приглушен его голос, но мысли поэта как бы сами облекались в чеканные ритмы, в певучие строфы, и стих внезапно начинал у него молодо звенеть. «Вот сказки старые на новый лад Старуха Жизнь бормочет вечерами», — глуховато начинает поэт, но голос его крепнет, набирает силы, когда он со страстной верой говорит о близящейся Октябрьской годовщине. Праздник для нас должен принести горе врагу.

А тонкий воздух грудь вдыхает туже;
Старуха шепчет: я того же жду,
Почище, чем в двенадцатом году.

Волнение охватило меня, невольные слезы подступили к горлу. Серебряный, звонкий, вновь молодой голос поэта выпевал наши мысли и чувства, в нем напряженно звучала общая наша жажда победить. И я благодарно подумала о Бажове: знаем ли мы самих себя или тех, кто нас окружает? А ведь Бажов как бы и незаметно, но настойчиво учил меня этому великому искусству познания...

Взволнованные аплодисменты раздались из всех углов общежития. Условно отсутствовавшие «колхозники» снова вступили на авансцену. Всех глубоко растрогал старый поэт, ясная душа которого так полно открылась нам в его стихах. Он обрадовался, как юноша, глаза его молодо сверкали из-под седых бровей.

Чтение стихов закончилось, и гостям был подан настоящий чай с небольшими ломтиками хлеба (ведь хозяева его выделили из своего пайка) и даже кусочком сахара. Разговор стал общим: речь зашла о Седьмой симфонии Шостаковича, которая только что была исполнена в Свердловске и всех растрожила. О ней думали, спорили, но все сходились на общем безоговорочном признании этой симфонии произведением выдающимся — воплощением духа времени. Один из своих сонетов Ю. Верховский посвятил этому волнующему событию в духовной жизни города. Поэт увидел в симфонии Шостаковича выражение того, как «...и высокий, напряженный час победные даны порыву крылья».

И. Эйгес увлеченно рассказывал о своей работе над творчеством В. Г. Короленко, которую он в это время, несмотря на все свои бедствия, заканчивал. От классиков перешли к современникам. И тут оба наши гостя дружно заговорили о «Малахитовой шкатулке».

— Тонкость социального анализа — вот что главное у Бажова, — уверял И. Эйгес. — Художник обнажает самую суть экономических отношений людей. Как и Короленко, — они ведь писатели, по сути, одной духовной формации, — Бажов видит социальность чело- века и то, как определяет она внутренний мир его ге- роев. А фантастика — это преувеличение, гротеск, взгляд в телескоп, когда неощутимое материализу- ется.

Ю. Верховский задумался, прихмурил брови и затем сказал, что, на его взгляд, важнее у Ба- жова:

— Магия превращения простой, бытовой речи уральского рабочего в высокое искусство. А музыка слова? Ведь фраза у Бажова поет... «Малахитовая шкатулка» явление неповторимое, она могла по- явиться только здесь, на Урале, и только в наше время.

Я задумываю сонет о «Малахитовой шкатулке». Но нет в нем еще стержня... Мыслей много, а все празброд, собрать их нужно в фокус... Форма сонета требует ясности...

И снова «колхозники» выступили на авансцену. Заговорили взволнованно, дружно поддержали этот замысел поэта.

Время было за полночь, когда гости поднялись уходить. Еще долго разговаривали стоя в дверях, а за- тем в коридоре «Уральского рабочего». Снизу глухо доносился рокот ротационных машин. Здание слегка подрагало в часы, когда печаталась газета.

Уже в коридоре Юрий Никандрович рассказал: в разговоре с французским поэтом Шарлем Вильдра- ком он спросил как-то:

— А кого из старых поэтов вы знаете?

Вильдрак ответил:

— Из старых... м... м... Верлена.

Надевая пальто, Ю. Верховский лукаво прищурил

глаза, собрав множество морщинок, доверительно сказал мне:

— Раньше, знаете, все житейски неотложное отодвигало сонеты. А теперь я не откладываю. Начинает вертеться сонет — я его пишу. Вот задумал о «Малахитовой шкатулке»... Будет, обязательно будет. Теперь так надо, правда?

В темном, холодном коридоре мы, прощаясь, стояли еще долго, хвалили сонеты Юрия Никандровича за их напряженный лиризм, внутреннюю силу, за то, что они целиком в нашем времени. Ю. Верховский, счастливый, блестя глазами, поднял руку и воскликнул:

— Не хочу стареть!

Сонет действительно был написан. Он датирован Ю. Верховским 23—24 мая 1943 года.

Клинок уральский — восхищенье глаз;
В лазурном поле мчится конь крылатый,
Почтен неценнимою оплатой
Строй красоты, не знающий прикрас.

Таков же, мастер, твой волшебный сказ,
Связуя вязью тонкой и богатой
Торжественно-тревожный век двадцатый
И быль веков, обворожая нас.

Да будет это творческое слово,
Грядущему являя мир былого,
Оружьем столь же мощным на века,

Как эта сталь и как душа народа,
Как с ней одноименная свобода—
Крылатый конь уральского клинка.

АНКЕТА

19 января 1943 года я решила все-таки поговорить с моим упрямым «героем» о нем самом. Ухватила его прямо в Союзе писателей и непреклонно стала ему задавать вопросы. Павел Петрович, уважая чужую работу, сдался и позволил себя интервьюировать.

— Когда вы и где родились?

— Родился в тысяча восемьсот семьдесят девятом году, двадцать восьмого января. Завод Сысерть, Еки-

теринбургского округа. В тысяча восемьсот семьдесят девятом, а не в тысяча семьсот семьдесят девятом,— лукаво подчеркнул Павел Петрович и усмехнулся в бороду.

— Как звали ваших отца и мать?

— Петр Васильевич Бажов. Августа Степановна, в девках Осинцева.

«Вот откуда и псевдоним Осинцев»,— сообщила я.

— Как имя и отчество вашей бабушки?

— Какой? Которая имела влияние на сказы?

— Да.

— Авдотья Петровна, в девках Насонова. Дед Василий Александрович Бажов, из плавильных мастеров. Жил еще при Александре Третьем.

— А что значит ваша фамилия — Бажов?

— «Бажить» — самое ходовое северное слово. Означает — ворожить, но не угадывать, а предвещать, накликать. «Не бажи, себе не наворожи». И еще «бажать»: южное слово — нежить, ласкать, воспитывать и... баловать. Фамилия распространенная. Бажовых на Полевском заводе много. Конференцию Бажовых можно созвать. Молодежь перекроила — «Бажев». Дескать, так важнее.

— Когда вы напишете продолжение «Зеленой кобылки», повесть «Красные панки»?

Павел Петрович лукаво усмехнулся.

— При солнышке. А сейчас невозможно: когда мерзнут руки, голова не работает.

— Переписывались ли вы с Максимом Горьким?

— Написал я очерк «Потерянная полоса». Москвичи, обкорнав его, послали Горькому в Сорренто. Горький прошелся по очерку красным и синим карандашом, чернилами. Прислал коротенькую записочку: «Таких чудес не бывает».

А о чудесах у меня оговорка была в первой части очерка, которую выбросили.

Спустя некоторое время получил заказ от Горького — написать о колхозе «Гигант». Написал, но не послал, так как начались колебания по поводу этого колхоза и такого типа колхозов вообще. Это ведь был шгиб, гигантомания.

— Когда началась ваша литературная деятельность?

— Печататься я начал после Октябрьской револю-

ции. В камышловские «Известия» писал фельетоны, был обозревателем.

В восемнадцатом году на Урале разгорелась гражданская война, пошла вооруженная борьба. Состоял я тогда в «особой советской роте полка Красных орлов». Это был зародыш политотдела—полк в соединении с депутатами Камышловского Совета. Сделали меня заведующим информационным отделом Двадцать девятой дивизии и редактором дивизионной газеты «Окопная правда». Так началась моя газетная работа. Правда, писать было некогда. Я оказался не только редактором, но и секретарем, и выпускающим газетой—все в одном лице. Жили, однако, солидно—в двух вагонах газета ездил. Выходила, правда, не регулярно. Выпустили мы пятьдесят номеров на Уральском фронте. В сотрудниках были красноармейцы. Писали подчас отчаянные стихозы. И все же в их заметках, очерках было главное—жизненная правда.

Получил я однажды рукопись, называлась она «В карасинке». Написано химическим карандашом, на клочках бумаги, бесхитростно и даже безграмотно,—не забудьте: тогда еще «ять» существовало. Ни абзацев, ни знаков препинания, и матерок есть. Но все рассказывалось так искренне, что не останешься равнодушным. «Да ведь это разобрать надо,—подумал я,—расставить знаки...» Подвалом напечатал—не убавил, не прибавил, только в грамматике порядок навел.

Хороший получился подвал. Рассказывается случай, как бежали наши из плена. Вошли в город белогвардейцы, загнали всех в Нобелевский керосиновый склад. Переживания тех, кто сидел «в карасинке», ждал смерти, и как радовались, когда оттуда вырвались. А рассказано живыми, свежими словами. Иной раз Эолова арфа превосходит и труды композиторов...

И уж без моих просьб Павел Петрович с охотой принялся рассказывать о литературной обстановке на Урале в послереволюционные годы. Воспоминания ему явно доставляли удовольствие своей пестротой и причудливым своеобразием деталей быта, времени. Рассказывал он шутливо, подчеркивая юмористическую сторону происходящего.

— Выходили на Урале разные журналы: «Колос» — появилось десять номеров. «Рост» — сюда почти не писал. «Штурм». А еще был журнал «Товарищ Терентий». Это название имеет свою историю. Художника Парамонова, человека по тем временам совершенно аполитичного, послали зарисовать типичного уральского рабочего. Он и зарисовал у какой-то маленькой мастерской привычное — мастера в фартуке, с сигаркой, в шапчонке. Нарисовал, а спросить забыл, как его звали, фамилию, отчество... «Товарищ Терентий» — и все. Редактору понравилось. Отсюда и пошло название... Портрет мастерового на обложку дали.

Интересный получился еженедельный журнал. Даже формалисты наши провинциальные в него проникнуть пытались.

В Свердловске в это время было издательство «Уралкнига», — жаль, архивов его не сохранилось. Возмнило себя не хуже столичного. Решило издавать «Джунгли» Р. Киплинга, сочинения Жюль Верна и иные подобные книги. Возникла известная неловкость. А Урал где же?

Я сидел в это время в «Крестьянской газете», в отделе писем. Пришли ко мне:

«Ты напиши-ка что-нибудь об Урале».

«Не шуточно дело».

«Да что-нибудь».

«О Сысертских заводах могу».

Согрешил книгой «Уральские были», впервые со мной случилось. Показалось удивительно легко. Над словом не думал. Запас слов был. Писал так, как у нас говорят. Когда пишешь на материнском и отцовском языке да о том, что сам видел, — легко работать. Встает картина. Календарных дат не надо. Сблизить понятия, сопоставить. Книга эта меня и погубила, отсюда все и пошло.

Тут Павел Петрович прищурился, засмеялся в бороду — ему нравилось подтрунивать над «исследователем», избравшим, как он выражался, «ненадежный объект». Поэтому озорно и рисовал он образ этакого наивного простака, «задумавшего стать писателем».

И удачи его якобы объяснялись лишь «нехваткой своих, уральских кадров». Они, эти удачи, и забав-

ляли, и удивляли рассказчика — вот ведь что в жизни бывает!

— В журнале «Товарищ Терентий» впервые подвалами печатались «Уральские были». Книжку эту уральцы подняли. Чуть не Маминым-Сибиряком автора объявили. Рецензию с портретом дали в «Уральском рабочем» в двадцать четвертом или двадцать пятом году. Бороду на портрете так обыграли, что получился я вроде какого-то жульверновского злодея или беглого каторжника. Словом, персонаж!

С той поры и началась канитель: «Бажов, напиши книжку о кампании взаимопомощи», «напиши о том, что советская власть дала крестьянству» и т. д.

И, задумавшись над тем, что вспомнилось, помолчав, Павел Петрович уже серьезно, без шутки, не для собеседника, а для самого себя, сказал:

— Нет, не был я еще писателем. Всякий желающий писать — желает. А я не хотел... Откликался на задания...

Но вот книгу «За советскую правду» — эту я написал по чести, по совести, очень ее желал. Рисовалась она мне как кинолента жизненных положений. Таких книг тридцать две штуки было у меня намечено. Хотел рассказать о том, что пережито в годы борьбы за советскую власть. Вот хоть бы Алтай в двадцатом году — как бились за прииск Аджар. Сколько крови потрачено. Но сидим в степной дыре, а резонанс в Америке — держать, держать... Или вот еще: горцы Кавказа ходят в газырях, с кинжалами, пояса с серебряной насечкой, а Орловка поднята выше кавказских горных аулов — народ здесь в зипунах, овчинах, перепоясаны кашемировыми кистями. Называются эти бабы и мужики «полк горных орлов». Партизанский отряд. Это жители селений по Бухтарме-реке.

Да, пиши, не отрывая пера...

ЕЩЕ О ЧЕХОВЕ

Часто и с большой любовью обращался в своих беседах Павел Петрович к размышлениям о творчестве А. П. Чехова. Он видел в нем подлинного мастера, знавшего свое время в большом и малом, во всех до-

талях быта... Бажов не уставал восхищаться зоркостью художнического глаза Чехова, точностью его слова, за которым открывались огромные пласты жизни современников.

— Вот у кого учиться слову! — говорил Павел Петрович, когда мы собрались как-то в Союзе писателей весной 1943 года. — Надо представить только, в каком окружении, и когда он писал, и для кого... Вспомните хотя бы рассказ «Брожение умов». Двое обывателей смотрят, куда полетит стая скворцов. Сядут в саду протоиерея или пролетят дальше? Прохожие тоже принялись глазеть, судят да рьят: в чем дело, что случилось, может быть, пожар?.. И вот волнение в городе... В этой безобидной, смешной сценке — трагедия пустого быта.

А те, с кого началось «брожение умов», не поняли, что они-то всему виной. И обратите внимание: носят они поразительные фамилии — Оптимахов и Почечуев. Почечуй — геморрой. А Оптимахов? Смещение русского с латынью, размах, удаль русская... Оптимахов!

Бажов наслаждался чеховским мастерством, веселой выдумкой и сам включался в игру, продолжал ее, уже на свой лад видоизменяя меткие и забавные фамилии чеховских героев, их реплики, открывая все новые возможности характеристик, исчерпывающе сжатых в одно слово.

У Лескова тоже это есть — граф Кисельвроде (Нессельроде)! Но не воспринимается как правда. Нарочно это, игра... А Оптимахов и Почечуев — правда. Невозможно даже это объяснить...

Не помню, кто из его воспоминателей передавал, что Чехов утверждал: «Меня будут читать семь лет, не больше». Недоумевали: почему семь лет? Но если не буквально это понимать, жизнь показала, что Чехов в известной мере был прав.

Помните, была полоса... «Степь», «Мужики», «Палата номер шесть»... А теперь читают «мелочи» Чехова! В них искристый быт. За яркой деталью стоит целая жизнь. И эти ранние рассказы не только не умирают, но и не умрут. «Мелочи», которые он писал игриючи, запечатлели свое время — так густа, насыщена в них жизнь.

Лескова я тоже люблю. И люблю вот за что: попытка у него — ведь он как-никак предшественник Чехова, — попытка использовать русское слово. Но вот перечудачил. Хотя есть у него и замечательные вещи.

Позднее Павел Петрович не раз возвращался к этой теме. Он много думал и говорил о мастерстве Чехова-художника и ставил его на первое место среди русских писателей-классиков. 15 апреля 1943 года у нас опять зашел разговор о Чехове.

— Прочел я его впервые в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет, — говорил Павел Петрович. — Это были «Пестрые рассказы», когда они только лишь вышли отдельной книгой. В «Осколках» я их не имел возможности читать. Воспринял попервоначалу как «смешные»: «Винт», «Канитель»... Потом читал Чехова все, что попадало мне в руки.

Когда Чехов стал писать такие рассказы, как «Степь», «Мужики», я не знаю, я демокритовской, видно, складки, — мне это меньше понравилось. И драмы чеховские, их психологизм не так сильно действовали, как его «мелочи». Всегда меня поражало его скупословие. Ведь одним лишь словом Чехов выражает все, одно слово — и человек обрисован. «А у нас Пересолиха! А мы Пересолиху по зубам!»

У Лескова поражает его выдумка, обыгрывание слов. Мельников-Печерский тоже хорош, хотя и неровен. У него пахнет Русью. Сюжет обычно простенький. Хорошо там, где художник этот выступает как отобрадитель жизни. А все же мельче он Чехова, рядом не поставишь.

У Бунина деталь тоже изумительна, но как-то чувствуется, что человек ее искал и вот нашел. Часто у него поражающая деталь. А у Чехова спокойно, тонко, а ни прибавить, ни изменить: естественная деталь.

К размышлениям о Чехове Павел Петрович возвращался и тогда, когда я уже уехала в Москву, — говорил о нем в своих письмах:

«...Чехов для меня фигура несоизмеримая, почти стихийная. Порой кажется, что он многое делал по интуиции. Присел вот к столу на часок, на два — и написал «Шуточку», заключив в этой капле сложной

ший вопрос человеческих взаимоотношений. Ведь у Куприна, даже у Бунина все-таки можно узнать, как это делалось, а у Чехова, особенно до его «хмурого периода», никаких концов не видно. Что это? Высшая степень искусства или то, что зовется наитием? Отвергаете такой термин? Ну, Ваше дело, а оно все-таки у Чехова было. Кажется, что многое у него отливалось в совершеннейшие формы без предварительной кропотливой формовочной работы и не требовало последующей чеканки...

Так что Вы не шутите около этого имени. Мне вон не нравится даже издание писем А. П. Чехова. Там много блеску, немало всяких литературоведческих ключей и отмычек, но это все же как-то приземляет его, придает ему черты мастера высшего разряда, а мне это не хочется. Для меня он несоизмерим, несравним, почти стихия.

ЛАУРЕАТ

20 марта 1943 года по радио объявили, что Павел Петрович получил за «Малахитовую шкатулку» звание лауреата. Вместе с ним звания лауреатов были удостоены такие писатели, как Алексей Толстой — за трилогию «Хождение по мукам», Ванда Василевская — за повесть «Радуга», Леонид Соболев — за сборник рассказов «Морская душа»; в поэзии — Максим Рыльский, Михаил Исаковский, Маргарита Алигер — за поэму «Зоя».

Кинохроника — московская и свердловская группы — соединенными усилиями целый день 24 марта снимали Павла Петровича, уральского лауреата. По холодному, полутемному коридору верхнего этажа Дома печати, где помещалась редакция областной газеты «Уральский рабочий», протянулись толстые серые шланги кинооператоров. В большом кабинете Льва Степановича Шаумяна, тогдашнего редактора газеты, полно народу. Все это были рослые, дюжие кинооператоры и осветители. Тесно и шумно. На треножниках стояли огромные осветительные аппараты, похожие на уэллсовских марсиан. За громадным письменным столом сидел маленький, усталый, совершенно измучен-

ный Павел Петрович и перелистывал страницы «Малахитовой шкатулки».

В комнате тропическая жара. Капли пота выступили на лицах даже у бывалых операторов...

— Устали, Павел Петрович. Утомили мы вас?

— Ничего,— ответил Бажов, утешая,— зато за всю зиму отогреваюсь.

Наконец завершили съемку. Когда операторы занялись уборкой аппаратуры, Павел Петрович быстро, скромненько собрал «вещички» и заспешил к двери. Маленький, в черном пальто, сапогах, меховой рыжей шапке-ушанке, круглой и всегда сидящей слегка набок.

Я догнала Павла Петровича в «предбанничке» — приемной главного редактора — и уговорила отсидеться и остыть, прежде чем выйти в коридор, промерзший за долгую военную зиму, продуваемый всеми сквозняками.

И пока сторожила Павла Петровича, мы с ним переговорили о разном. Как и для многих, кто давно уже полюбил эту удивительную книгу, для меня премия «Малахитовой шкатулке» представлялась само собой разумеющейся и справедливой наградой. Но сам Павел Петрович был явно ошеломлен происшедшим. Поэтому беседа наша то замирала, то вновь возобновлялась.

— Как вы понимаете концовку сказа «Медной горы Хозяйка»? Пессимистическая или оптимистическая она? — спросил меня неожиданно Бажов.

Я подумала, затем сказала, что внешне она пессимистическая — Хозяйка никому не приносит счастья. Но, по сути дела, если рассматривать сказ в целом, — оптимистическая, так как тут символ творческой неудовлетворенности, вечных исканий. А ведь в этом-то и заключается истинное счастье.

Павел Петрович улыбнулся, довольный:

— И я так думаю. Роман с недрами земли. В поисках каменной Галатеи.

Помолчал и уже серьезно, без улыбки, добавил:

— Камень хорошо отшлифованный возьмите — радонит, нефрит, яшму. День посмотрите — все остальное поймете...

Я заметила, что форма рабочего тайного сказа очень гибкая и ёмкая, она позволяет соединять быт с высокой философией.

— Вот что меня всегда удивляло,— сказал задумчиво Павел Петрович,— в крестьянских сказах нет ничего о труде. Они касаются крестьянского быта, а не крестьянского производства. Могли бы ведь возникнуть сказки о зерне, о травах,— вот родилась же у горнорабочих сказка о мастерстве...

Воспользовавшись случаем, я задала очередной вопрос из своей анкеты — о том, как работает Павел Петрович над сказами.

— Какой метод работы? — сказал он. — По существу, никакого. Интуитивное чувство скорее... Стремление брать на заметку, в запас, многое. А будет ли приложено к делу когда-нибудь или нет, посмотрим... Веду и записи, а многое просто запоминается. Скажем, сижу в Зайкове на партийной конференции. Тысяча девятьсот двадцать седьмой или двадцать восьмой год. Говорят, говорят, уже повторяться стали... Надоело, душно, лето... Вышел покурить. Держит речь секретарь райисполкома. На воздухе хорошо... Рядом помещение столовой. Несколько женщин готовят ужин для конференции. Сюда смутно, но доносится, что говорят в помещении. Женщины нет-нет да прислушаются. Заведующая столовой вдруг говорит: «Заишлокал секретарь, сейчас кончат». И действительно, под конец речи секретарь с подъемом повторял: «Еще решительнее повести борьбу, еще сильнее ударить...» и т. д. После этой сценки видал и слышал я много всякого, слова эти никогда не употреблял в своих очерках, а вот они остались в памяти.

Веду карточки. Правда, анархически это делается. Записываю живые детали быта, поразившие меня слова. Вот, например, записано два слова — «кардинально» и «капитально». Один оратор сказал: «Этот вопрос надо решить кардинально и капитально». Поди ж ты как торжественно!

Нет, это у меня не метод. Ну, сказался и опыт журналиста. Привычка, если хотите. Ведь я писал фельетоны типа былей, вроде «Потерянной полосы». Печатался очерк в журнале «Индустрия социализма».

Чем интересен? Это была попытка профработников издавать литературно-художественный журнал. Толку, конечно, не получилось.

А в очерке в чем суть? Поиски, первая попытка перехода из реального в фантастический план.

Записи на карточках веду лет двадцать. Есть люди, которые имеют горы карточек, а у меня мало их. И все это записывается беспорядочно, бессистемно, про запас.

Заговорили мы о Театре Красной Армии, который находился в эвакуации здесь же, в Свердловске. Я смотрела у них пьесу А. Гладкова «Давным-давно». Бажов оживился, заулыбался и сказал, что пьеса ему нравится, он считает ее одной из лучших пьес последнего времени.

— Она не огероивает людей, люди здесь простые, даже обыденные. Кутузов, например, хороший старик. Помните, как он сказал: «А девкой был бы краше!» Драматург слово чувствует. Нет теперь у людей тяги к приподнятости, не хотят они на котурны громоздиться. Хочется им веселого, хоть сколько-нибудь радости получить.

Вот подумайте только — Ибсен, Гауптман психологические пьесы писали, учили... В мое время какой успех имели!. А сейчас вот умерли... А Скриб — поди ж ты! — живет... «Стакан воды» — пожалуйста! Интересно, занимательно, а среди веселого смеха вдруг мысль хорошая подчеркнута. Блеснет она, казалось бы, среди пустяков, а вот ведь — доходит, запоминается. Помните: «Если большая держава хочет поглотить маленькую, то дело последней худо. Если две большие державы хотят поглотить маленькую, то дело ее совсем неплохо и даже завидно — она сама может превратиться в большую». В пьесе «Давным-давно» хорошо то, что она веселая, а доносит до зрителя большие идеи любви к родине, героического, действенного патриотизма.

Павел Петрович сказал, что сам работает сейчас над пьесой. Но только ему, видно, не сговориться с режиссерами: они все требуют от него действия и действия.

— А я так думаю: слово — тоже действие...

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Писательская организация решила отпраздновать премию Бажова, чествовать уральского сказочника. С этим совпал и юбилей Маризетты Шагинян — сорокалетие ее литературной деятельности. Хотели даже устроить «банкет», обратились в областные организации. Но там сочли недостаточным повод для расходования остродефицитных продуктов и потому ограничились тем, что Бажову и Шагинян выдали по солидной продуктовой «посылке». «Банкет» не состоялся. Но стенную газету мы все же выпустили — веселую, боевую, с хорошим текстом и дружескими шаржами, посвященную обоим юбилярам.

Много было шуток в этой газете. В тяжелые годы войны людей отличало стремление смехом одолевать беды, своим жизнелюбием противостоять врагу. Недаром Павел Петрович не раз говаривал, что таково национальное свойство русского характера. Испокон веков для русского человека ясна была истина, что «посильна беда со смехом, невмочь со слезами».

В нашей газете были шуточные приветствия, — например, «Тост», написанный поэтом Е. Ружанским:

Товарищи, подыдем тост
(Он будет искренен и прост),
Чтоб долго жил и был здоров
Уральский сказочник Бажов.

Была и юмористическая «зарубежная» хроника, написанная Евгением Пермяком. В этот период ожидание открытия второго фронта уже сменилось уверенностью, что наши «доблестные союзники» отнюдь не торопятся и поэтому к ним начали относиться иронически. Но все еще думалось — авось раскачаются... В быту, в частных беседах над ними посмеивались и подтрунивали. Этот насмешливый, но еще добродушный дух проявился и в стенгазетной «хронике».

Появились в нашей стенгазете и традиционные для тех дней боевые предложения — собрать деньги на танк и назвать его «Малахитовая шкатулка».

Павел Петрович, конечно, поддержал саму идею сбора писательской организацией средств на танк и, конечно, категорически отклонил предложение о таком наименовании его, какое было внесено Евг. Пермяком.

Откликнулась на чествование Бажова очень душевно и старая писательская гвардия. В нашей стенной газете с маленькой поэтической новеллой выступил Николай Ляшко.

Особенно грустным и героически-мужественным было одно приветствие, полученное в эти дни Павлом Петровичем. В Свердловске, смертельно больной, доживал свои последние дни переводчик «Интернационала» А. Я. Коц. Он прислал Бажову следующее трогательное и прочувствованное письмо:

«Дорогой Павел Петрович!

Крайне сожалею что, прикованный тяжелой болезнью к постели в больнице, я не могу лично позжать Вам руку и от души приветствовать Вас, как лауреата Государственной премии по искусству и литературе.

Закрываю на минуту глаза, чтобы лучше представить себе знакомый Ваш образ патриархального типа, как бы сошедший с картины Васнецова, но насколько, однако, преображенный событиями нашей великой эпохи! Сколько под этим внешним благообразием скрыто взрывчатого материала! Какая неистребимая ненависть к врагу в дни грозной опасности, нависшей над страной! Какая еще неизбывная энергия к творчеству на пользу Родины!

От души желаю Вам долго здравствовать и так творить!

1/IV—1943 г.

А. Коц
Областная Свердловская больница»

Старая писательская гвардия радовалась успеху одного из представителей своего поколения. Они видели в Павле Петровиче Бажове человека, верного заветам русской демократической интеллигенции, одного из тех, кто всем сердцем принял Октябрьскую революцию и предан ей был до конца.

В середине июля 1943 года свердловская делегация писателей отправлялась в Пермь, на межобластную литературную конференцию. Здесь должны были встретиться три города — Свердловск, Пермь, Челябинск.

Отъезд наш оказался поспешным. Билеты мы получили часа за полтора до отправления поезда. Рассчитывать на хорошие места нельзя было; все, что смогли для нас сделать,— это начать посадку с нас, чтобы мы могли разместиться все вместе. «Колхозники» и тут оказались дружными и организованными. Мы прорвались вперед и заняли для Павла Петровича нижнюю полку. Целый отсек вагона заполнила свердловская делегация.

Шумно и весело устраивались на ночь. Постелей, конечно, никаких не полагалось. Вагон был жесткий. Подстелили куртки, пальто, кто что захватил. Электричества не было, горели где-то две-три свечки, вставленные в пустые бутылки. Павел Петрович не ложился, сидел у окошка, за которым уже побежал холмистый лесной пейзаж, и глядел в ночную синеву.

Красный огонек самокрутки, которой попыхивает Бажов, разгоревшись, выхватывает из черноты то прищуренный глаз, то красивый, ясный его лоб, то обрисует размытый силуэт лица, сильные плечи, обтянутые неизменной темно-синей гимнастеркой, в какой ходить всегда и сподручнее, и привычнее Павлу Петровичу.

Молчим. В других отсеках вагона звучат голоса: наши делегаты все еще переживают события последних дней, предотъездные волнения, еще идут какие-то незаконченные споры. Но постепенно разговоры и смех редуют, начинают стихать, вагон потряхивает, покачивает, за окном бегут темные силуэты деревьев. Едем... едем...

И тут Павел Петрович задумчиво спрашивает:

— Как полагаете, быть ли сказ?

Голос его звучит глуховато, словно издали, из того ночного, синего Урала там, за окном,— колдовского горного Урала, сказочного озерного края. Несмотря на усталую разморенность, я быстро отвечаю:

— Быль обязательно, но и сказочное тоже...

Огонек самокрутки разгорается, вьется легкий дымок.

— Верно,— говорит Бажов,— это рассказ с элементами фантастического, неправдоподобного. Побывальщина—иное, там нет фантастики. Прошлое подкрашено чуть-чуть. А сказ—это всего лишь недостоверное свидетельство. Апокрифы—вот вам сказ. Правда, греческое название брать ни к чему—оно подчеркивает религиозный и церковный характер повествования. А в сказе его нет и не должно быть.

Удобна форма сказа, подходяща... Возьмите вот Ермака. Все, что говорится о нем у меня в сказе «Ермаковы лебеди», я и от горщиков слышал, и в печатном виде видел. Но все это исторически недостоверно. Не имею права рассказывать об этом как о фактах, а вот в форме сказа говорить можно.

Сказ—неписаная история, изустно передаваемая в народе от поколения к поколению. Тут и документальности нет, и фантастика подмешивается. Но все же в основе быль... Надо знать свой край и как люди жили, о чем думали...

Павел Петрович, я догадывалась, начал разговор неспроста. Он знал, что я еду на конференцию с докладом о нем, и осторожно, стараясь меня не обидеть, направлял мое внимание на основу своих сказов—на историю края. Уже в наших беседах он говорил мне, что дело совсем не в личности автора, а в той жизненной почве, на которой только и могли возникнуть сказы «Малахитовой шкатулки». Я помалкивала. У меня уже сложилась своя концепция, и хотя был риск разойтись с Павлом Петровичем на конференции—он тоже выступал, и, главное, после меня, с докладом «Работа по собиранию уральского рабочего фольклора»,—я не уступала, считая «Малахитовую шкатулку» явлением современной литературы. Но слушать Павла Петровича, когда он говорил о труде и философии среды, из которой сам вышел, было увлекательно и полезно.

Я сказала, что больше всего мне по душе оптимизм героев «Малахитовой шкатулки». Не хныкающие, не несчастненькие люди, а боевой, крепкий, веселый русский народ.

Павел Петрович, явно довольный, продолжил разговор:

— Уралыцы — пионеры края. Существует предвзятое мнение, что уральское население состоит только из ссыльных. Нет, Урал населен людьми, которые пришли в новые места своей волей: воля могла быть полной или полуполной. Именно эти люди, которые пришли на новые места, создавали фольклор.

Мне много их пришлось наблюдать в Западной Сибири, где недавно происходило то же самое, что у нас на Урале двести лет назад, — заселение края. Новые поселенцы — сильные люди: человек «слабых кровей», он не поедет. А это все люди «ищущие», с выдумкой, в тяжелых условиях борьбы с природой они не теряли ни своей выдумки, ни бодрости духа.

Был как-то я за Тавдой. Там только лишь налаживалась железнодорожная ветка, глухой край. Ездил, конечно, по заданию газеты. Заблудились в поселках. В Самоходах оказались. Глухомань. Единственный самовар у бабушки Шпунтихи. Нашлись яички, и сметана, и маслице. Бабка обрадовалась — приезжие люди. Угощала на совесть...

Шпунтиха со своим кланом с Украины. Все скулят: то, другое плохо. Комара много. Необжитое место, низкое. Коров некуда выпустить. Страсти!..

Я спросил:

«На кой дьявол сюда поехали?»

И тот же самый собеседник, который жаловался, ныл, преобразился:

«Лес ведь, речка, земля хорошая!..»

Ходоки на разведку ходили. Они-то и соблазнились лесом. Когда приехали на место, лес пришлось рубить, жечь. Но не бегут. Жалуются, а продолжают борьбу. Да, наши люди любят языком почесать. Если бы была настоящая унылость, человек сложил бы руки... Уныния нет там, где работают. А злость в работе и суровость характера содействуют успеху. Все выдержат, не согнутя...

— Рабочий в своей массе благороден, — говорит Башов. — Он подымал государство, основал нашу промышленность. Он-то создавал и новый фольклор.

В первую полосу освоения Урала пригнали сюда людей босых, рваных. Но эти люди заложили здесь могучую — даже по тем временам — промышленность, укрепили государство. Забывать об этом нельзя.

А фольклор рабочий был фальсифицирован, подменен купечкой удалью, плясовыми. По четырнадцать часов поработаешь с восьмилетнего возраста — не запляшешь. Я полемизирую с теми, кто эти плясовые выдает за народный фольклор.

Прочтите Писемского — мнение о рабочих сороковых годов прошлого столетия, — он откровенно, даже упрощенно говорит то, что другие вуалируют: рабочие, по его мысли, спившиеся крестьяне, развратившиеся на фабриках. Отсюда рабочий фольклор — ухарский. Считали, что рабочие могут дать только частушки и больше ничего. Неверно это. Ухарские песенки охотнорядские молодцы составляли, а не настоящие рабочие.

Когда я писал «Малахитовую шкатулку», и не думал, что это у меня полемический задор: просто хотел, чтобы заговорил сам рабочий. Мое мнение, взгляды — это мнение уральского рабочего. Но он не мог его сформулировать, вот в чем разница.

Нет, документации исторической не верю. Писалось ведь с других классовых позиций. А народная аргументация хранится в сказах, в побасенках, в рассказах рабочих о самих себе — это и является второй историей.

Полоса яркого света упала в окно, выхватила из темноты лицо Бажова, умное лицо русского трудового человека, многое в жизни повидавшего, спокойно-доброжелательного, дельного...

Поезд проскочил мимо какой-то небольшой станции, и снова за окном неслись черные облака и деревья, и лесистые сопки начинали уже уступать свое место равнине. Сильный, несокрушимый и сказочно прекрасный Урал жил, дышал совсем рядом. Все было в нем, все, что довелось повидать, — и свинцовое зимнее небо Нижнего Тагила, освещенное снизу огненными всполохами домен, и мачтовый сосновый лес Кыштыма, города, где в закатной золотой воде озер отражалась темная сопка, и весенний разлив Уфы под

Красноуфимском, и дикие заросли шиповника по берегам. А сколько еще неувиденного, неузнанного...

Душа горного края открылась нам в дни войны, нам, невольным скитальцам, во встречах с уральскими людьми, в общих делах и в книге причудливых сказов «Малахитовой шкатулки».

— Мои сказы,— говорил Бажов,— голос того человека, что не дошел до нас, дошел он через меня. Мне хотелось быть голосом своего класса, уральского рабочего класса.

«УРАЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ»

Перьмь встречала свердловскую делегацию торжественно.

В окно вагона мы увидели, как по перрону плотной группкой, с озабоченными лицами, пробежали организаторы конференции, спеша к мягкому вагону. Выйти мы не могли, так как при посадке входили первыми, а теперь, естественно, оказались последними и должны были переждать всех тех, кто после нас набился в этот жесткий, не купированный, наипростейший вагон.

Мы увидели в то же окно, как с растерянными лицами организаторы, теперь уже смятенной рысцой, но столь же плотно сбившись воедино, бежали обратно вдоль поезда, с испугом и надеждой вглядываясь в лица, появившиеся в окнах, стараясь нас угадать среди множества прибывших людей.

И тут мы начали стучать в окна, стараясь привлечь к себе внимание. Нас увидели, к нам начали пробиваться, смеясь, рассказывали о пережитом испуге, что не приедем, что крупнейшая делегация будет отсутствовать. Но вот мы прибыли, теперь все пойдет на лад. Об этой конференции — подумать только: летом 1943 года — с удивлением заговорили за рубежом союзники: значит, какая уверенность в победе, если собирают в тылу научную конференцию...

Я вижу, как быстрыми шагами сосредоточенно идет к выходу Павел Петрович Бажов. Он оглядывается, в глазах его лукавство,— он и тронут таким приемом, и смущен, и, только встретившись со мной глазами, позволяет себе такую характерную бажовскую лукавую улыбку, но тут же делается серьезен,—

чтобы не обидеть хозяев, прибавляет шагу и как-то незаметно растворяется в толпе встречающих.

Выходим на площадь. Она оказывается уставленной легковыми машинами, которые были собраны со всего города. Машины домчали всю делегацию до гостиницы, где мы должны были жить в дни конференции.

Во главе Оргбюро по созыву межуральской научной конференции стояла группа видных пермских и эвакуированных сюда ленинградских литературоведов: профессора Е. А. Боголюбов, К. Н. Державин — сын академика Державина, С. С. Мокульский, С. С. Данилов, доцент В. А. Будрин были душой всего дела. Работали они дружно, весело, с увлечением. Конференцию организовали в Перми со столичным блеском, чему много способствовало и внимание к ней горкома и обкома. Партийные работники, несмотря на свою невероятную загруженность, на тягостные заботы военного времени, неустанно посещали заседания конференции, с живым интересом принимали в ней участие. Зал ежедневно переполняла интеллигенция города — и коренные обитатели Перми, и «приезжие», эвакуированные из разных городов наших, и находившихся под угрозой захвата, и оккупированных гитлеровцами. Среди собравшихся находился Василий Каменский, соратник Маяковского; говорят, в ту пору был в Перми и композитор Сергей Прокофьев. Где-то в этой аудитории мелькали и иностранные корреспонденты, их можно было легко заметить — лица не были подсушены и заострены недоеданием, а в глубине глаз пряталось несколько недоверчивое удивление. Но зал был занят своей собственной жизнью. Конференция стала для города праздником.

Когда я вышла на трибуну перед этим залом, увидела радостно-напряженные лица, у меня прямо сжало сердце от нежности ко всем этим людям, с которыми меня так неразрывно объединяла любовь к родной культуре, родной земле, и я даже не смогла сразу найти слова, чтобы начать свой доклад.

Слушали внимательно, а в конце заседания произошло нечто совсем неожиданное. После выступления самого Павла Петровича — он говорил о важности собрания уральского рабочего фольклора, — наградили

его дружными, горячими аплодисментами, наступила какая-то пауза, недолгая тишина, зал вдруг зашумел, заволновался. Кто-то что-то выкрикнул, кто-то встал и спросил... Наступило какое-то смятение в президиуме, там о чем-то быстро переговаривались. А зал уже скандировал: «Ба-жо-ва! Ба-жо-ва».

И вот на подмостках перед столом президиума снова появляется Бажов, он молча, серьезно смотрит в зал. Ему что-то говорят устроители. Но мне не слышно, хотя я и сижу уже в первом ряду,— все поглощает ровный, упрямый гул зала. За столом президиума подымается Стефан Стефанович Мокульский. Он известный театровед, знаток западноевропейской драматургии и театра. Очень похож на католического прелата из Ватикана: крупный римский нос, наголо бритая голова, широко распахнутые глаза, полные вдохновенной страсти проповедничества. Мокульский кому-то делает знак, и в глубине зала встает человек. Все замолкают. Голосом этого человека зал спрашивает Бажова:

— Ответьте нам прямо: вы — фольклор или литература?

И только теперь я понимаю, что произошло: столкнулись две точки зрения на творчество Бажова — моя и самого Павла Петровича. И я знаю «моего героя», знаю, что будет... Ответ: «Фольклор» — зачеркивает мою работу. А согласие со мной чревато для писателя опасностями: «Уходит в прошлое», «Отрыв от современности», «Не созвучен» — все это уже мелькало и мелькает там и сям в статьях и рецензиях, которые и горячо хвалят «Малахитовую шкатулку», но и где-то под занавес ласково бросают: «Вот если бы о сегодняшнем дне...» Мне хочется предупредить, сказать ему: «Да не обо мне речь, отобьюсь... Держитесь своего, раз нужно...» Но как скажешь. Нас разделяет пространство, которое уже как-то начинает наполняться людьми, они с боков просачиваются все ближе, чтобы услышать, что скажет Бажов.

Он стоит на авансцене, серьезный, молчаливый, в темной гимнастерке, подпоясанной кожаным ремнем, спокойно смотрит в зал и размышляет, взвешивает...

Воцаряется тишина, все ждут.

— Литература,— говорит Бажов.

Зал взрывается веселыми восклицаниями, все окружают Бажова, говорят, спрашивают...

— Ну и зачем вы так? Напрямик взяли и выложили... — сказала я ему позднее, в перерыве между заседаниями...

— Сложное явление, а надо все же его определить. Мне самому любопытно, если хотите знать... Но это и не ваше «туфу» (творчество плюс фольклор), — поддразнивал меня П. Бажов, — туф, как известно, материал ненадежный. Но и на «фуфу» (фольклор — и только фольклор) опираться нельзя. А вот «фут» (фольклор плюс творчество), пожалуй, ко мне подойдет.

И, посмеиваясь, мой «герой» уходил от меня, как всегда любил это делать, в гущу людскую, где его уже расспрашивали и сами рассказывали.

В Перми в эвакуации находился Ленинградский оперный театр. Весь его творческий коллектив, его актеры, как и вообще интеллигенция города, естественно, с интересом посещали заседания конференции.

И вот однажды нам объявили, что ленинградцы решили в честь делегатов дать праздничный концерт.

Принаряженные, веселые, мы входим в сияющий огнями городской театр.

В зале пустуют два места. Это заметно потому, что все ряды заполнены до отказа. Зал кого-то спокойно и терпеливо ожидает. Однако время идет и идет, это становится уже заметным, недоумевая, начинаем переглядываться, переговариваться: что случилось, почему не начинают, кого ждут?

И тут я замечаю, что из артистической ложи, где сидят почетные гости, а также организаторы конференции, мне делают какие-то знаки.

Понять их, эти странные сигналы, я сначала не могла. Но затем догадалась, что, показывая на пустые места и размахивая рукой у подбородка, меня знаками спрашивают:

«Где борода? Где борода?»

А сам Павел Петрович тем временем, и не подозревая, что — так знаменит, что это его все ждут, не начи-

нают без него концерта, спокойно выступал по радио, а затем не торопясь шел к театру.

Театр ждал его 45 минут.

Едва Бажов вошел в зал, уже зная, что произошло, взволнованный, страшно смущаясь и стараясь сделать как бы еще меньше, чем он был,—едва он поспешно и неловко протискался к своему месту и сел, как в зале потух свет.

На авансцене перед занавесом появился зав. литчастью ленинградского театра, который торжественно объявил собравшимся, что в зале присутствуют делегации, представители на конференции от трех уральских городов. Затем он отчитался перед делегатами в работе, проделанной театром на Урале. А заключая свою взволнованную, пафосную речь, предложил залу нас чествовать. Раздались громкие аплодисменты, мы должны были встать. Но не встали, в смущении делая вид, что мы—это не мы. И тогда зал стал кричать: «Бажова! Бажова!»

Деваться было некуда, сидеть и делать вид, что не на тебя устремлены все взоры, невозможно. И Павел Петрович мужественно встал.

Зал раскололся от рукоплесканий. Держали Бажова минут пять—семь, это была настоящая народная орация.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

Как все изменилось к осени 1943 года! Словно сильным штормовым ветром повеяло над нашей землей. Фронты двинулись на запад. Ежедневные сводки сообщали о новых и новых победах. Всех это радостно волновало. Строили стратегические планы, старались предугадать дальнейший ход военных операций. На улицах, в столовых, на работе люди только и говорили, что о наступлении, о наших освобожденных городах и селах.

Однажды, запыхавшись, прибежал в «колхоз» литературовед И. Эйгес. С порога он закричал:

— Подумайте! Мы приближаемся к «Запискам охотника» — Щигры взяли!

А в день, когда фашистов выбили из Харькова, еще до того, как об этом объявили по радио, весть о победе

разнеслась по всему Свердловску. Нам позвонила одна из сотрудниц местного издательства и дрожащим голосом спросила, что мы знаем о взятии Харькова, Сталино и Макеевки. Мы ничего не знали. Бросились к соседям, в редакцию «Уральского рабочего», — там не знали ничего тоже. Звонили в ТАСС, на радио, в обком — нигде никаких сведений о Харькове еще не было. А город кипел...

Юрий Верховский пришел к нам сказать, что ему звонили из Камышлова, — и там уже пронеслась та же весть.

Наконец в последних известиях новость о Харькове подтвердилась.

Откуда же взялся слух? Говорят, что утром эту радостную весть передали по телеграфу и работники почты, взволновавшись, высунулись из своих окошечек и рассказали о взятии Харькова посетителям, оказавшимся в этот момент в помещении, а те разнесли новость по городу. Как страстно всем хотелось, чтобы фашистов гнали все дальше и дальше с нашей земли...

В 1943 году начали разъезжаться эвакуированные коллективы, люди возвращались в родные города. В конце мая уехал последний эшелон Московского университета. Заканчивалась реэвакуация Театра Красной Армии. К лету в Свердловске оставался один только спектакль — «Давным-давно». Готовились дать два прощальных представления — и затем... в Москву.

Уезжала со всем своим кланом Мариэтта Шагинян, как всегда кипучая, полная творческих замыслов. «Колхозники» провожали ее на вокзал. Мы в ту пору в Свердловской писательской организации были самыми молодыми и, естественно, принимали участие во всех отъездах, или «весенне-осенних перевозках», как их шутя называли. Да, это была веселая «нагрузка» — провожать друзей по домам. Помогли Мариэтте Сергеевне погрузиться, устроиться в вагоне. Сначала в суете и толчее посадки говорить было некогда. Но вот хлопоты пришли к концу, и настали недолгие минуты перед отправлением поезда.

Сидели в переполненном купе, говорили вразброд о несущественных мелочах.

В какую-то из случайных пауз Мариэтта Сергеевна сказала:

— Распрощались мы с Павлом Петровичем... Вы ему привет еще и с дороги передайте. Не понимаем мы его, глыба это, сплав многих элементов — исторических, быта уральского, философских, мировоззренческих, если хотите. В горных недрах так порода образуется... Время нужно, чтобы понять такое явление, как «Малахитовая шкатулка». Далекая, казалось бы, история, а целиком в нашей эпохе... Диалектика!.. А как полно выразил Бажов свой край, всё — говор, обычаи, душевные качества уральского горнорабочего. И природу Урала... Создал образы земли: руда, золотоносные жилы, «верховое золото», малахит — все ожило, заговорило. Настоящего художника по этому-то и узнаешь. Уезжаю и увожу с собой Урал, весь он в бажовской книге... Нет, ничего еще мы в глыбище этой, в Бажове, не понимаем. Я о нем писать буду обязательно. За высокую литературу воевать нужно. Сама о нем напишу...

Мариэтте Сергеевне как воздух нужна полемика, необходим противник. Она вызывала нас на спор и сердилась оттого, что никто не возражал ей, что некого было ниспровергать, утверждая свое... Но спорить уже некогда, поезд вот-вот отойдет.

На другой день после отъезда Шагинян встретились мы прямо на улице с Павлом Петровичем. Я бежала в столовую. Он шел в Свердловское отделение Союза писателей. Выглядел очень плохо — совсем серое лицо, морщины резко пролегли на щеках и под глазами. Пожаловался, что скверно себя чувствует, впору хоть в больницу лечиться.

Слова Павла Петровича были так неожиданны и непривычны — никогда еще от него не слышали мы ничего похожего на признание в усталости, — я как-то не нашлась, что сказать... Видно, и у него сказывалась душевная и физическая измотанность за два напряженнейших военных года. И все же не обошлось у Павла Петровича без шутки, посмеялся над самим собой, своими немощами: по чину и званию, мол, полагается охать да кряхтеть — дело стариковское...

Я передала ему слова Мариэтты Сергеевны, ее про-

щальный привет. Бажов выслушал внимательно и серьезно сказал:

— Разъезжаются люди, и какие... даровитые, образованнейшие... Вот закрепить бы их за Уралом, условия создать, интересной работой соблазнить бы... А то что ж — всё Москве... И ведь уже прижились здесь многие, огляделись, полюбили наш край...

Несмотря на обычную бажовскую деятельную веселость и энергию, встреча эта породила смутную тревогу. Впервые я заметила, какое худое лицо у Павла Петровича, какое тяжкое утомление залегло в каждой черточке, в глубине глаз. Не тогда ли ощутил впервые Бажов начало смертельного недуга? Годы войны уже наложили свою страшную мету на этого удивительного художника. Но ни он, ни окружающие еще ничего не знали. И только неясное предчувствие на мгновение сжало сердце.

Я обернулась вслед Бажову. Он своим быстрым шагом уходил от меня вверх по широкой солнечной улице Ленина. Словно почувствовав, что я гляжу, Павел Петрович не останавливаясь бросил взгляд через плечо. И улыбнулся — какой-то доброй, смущенной и успокаивающей улыбкой: «Все образуется...» Он любил это смешное толстовское выражение...

Как часто бывает тут, на Урале, в секунды все внезапно резко изменилось: откуда-то из-за угла вырвался резкий, холодный ветер, стремительно понеслись темные тучи, сразу стало дождливо и пасмурно. Бажов прибавил шагу и скрылся в дверях Дома печати. А я пошла своей дорогой.

Такой тревожной потом и вспоминалась эта встреча...

В сентябре 1943 года настал черед уезжать и нам.

Грустно было расставаться с Уралом, с писательским коллективом, с бодрым и дружным «колхозом» — со всем, что стало уже родным и дорогим сердцу. Настал вечер, когда мы пошли в гостеприимный дом Бажовых — прощаться с Павлом Петровичем и его семейными.

Над городом буйствовал яркий уральский закат. Казалось, что кто-то поспешно сдирает с пламенеющего неба темную, тяжелую завесу туч. Над крышами

домов все играло бесчисленными оттенками и тонами красного. Многоэтажные здания засверкали перламутрово-багряной чешуей окон. Затем небо внезапно ярко вспыхнуло огнем, и сразу стало темнеть.

Чем дальше мы уходили от центра, от широких и шумных его магистралей, застроенных высокими, новыми домами, тем становилось темнее и тише. Старый Екатеринбург нехотя, по-стариковски ворча, отступал перед натиском современного Свердловска. Там и сям виднелись еще одноэтажные деревянные домишки с палисадничками, заборами, собачьими будками, где покладистые, сонные псы должны были играть роль свирепых сторожей. Однако мы уже не обманывались — мы знали душу старого Урала. Она была новой, молодой, несмотря на старые одежды быта, несмотря на эти деревянные дома, которые казались еще старожилам и привычнее, и проще. Но все уже внутри сдвинулось с места, менялось прямо на глазах.

В одном из старинных, рубленых домов жил и Павел Петрович. Дом давно потемнел, крылечко покрылось, маленький садик вокруг был добрым и трогательным, но каким-то ненастоящим, словно по кусочкам перенесенным из далеких воспоминаний: кусочек огорода, скамеечка, два куста сирени, немного травки. Все вместе напоминало уголок старого горнозаводского поселка с его укладом жизни, с его бытом. Впечатление это крепло, когда посетители входили в темноватую прихожую, а затем попадали в просторные, чистые комнаты, где во всем заметна была женская заботливая рука. Все здесь казалось давно знакомым, обжитым и приветливым. И словно только что вымытые, свежие полы, и блестящие фикусы в углу у окна, и кружевные занавески, и старая, прочная мебель — все лишь самое необходимое, то, что для жизни, а не для украшения, и, наконец, стенные дедовские часы, которые, кряхтя и вздыхая, напоминали о движении времени.

Навстречу нам вышла Валентина Александровна Бажова, жена Павла Петровича. Спокойная, немногословная, домовитая уральская женщина. Говорит она на том чистом, певучем русском языке, который сохранился, пожалуй, лишь в глубине страны. Слушаешь ее — и похоже, что где-то в лесной гущине не-

торопливо пробивается прозрачный родник. Глаза у Валентины Александровны живые, карие, волосы черные, без седины, и выглядит она рядом с Бажовым совсем молодой, а ведь прожили они вместе уже большую, трудную жизнь.

В доме Бажовых нам с мужем рады. Павел Петрович одет по-домашнему, в старом, тщательно заштопанном вязаном свитере. Он усаживает нас около своего письменного стола. Сбоку на стене подвешена большая открытая книжная полка. На ней труды по истории Урала, словари, различные уральские сборники и альманахи. На столе беспорядок: здесь грудой лежат газеты, журналы, рукописи. Среди них затерло электрическую лампочку. Она на тонкой медной ножке, с маленьким зеленым абажуром, на который надевается сверху еще и самодельный, из плотной бумаги.

Лежит на виду рукопись — шла работа над новым сказом. На простом тетрадном листке в клетку Павел Петрович пишет неторопливо, тут же перечеркивая и переделывая, своим старинным, узорчатым почерком. Буквы короткие и круглые, с завитушками, и читать этот почерк трудно...

Разговор у нас деловой. Я прошу разрешения «добирать материал», то есть ставить в письмах вопросы, которые мне нужны будут для книги, и главное — получать ответы. Павел Петрович обещает писать честно, «по пунктам»... «Хождение по канату», — шутливо говорит он. Но Бажов человек слова, раз обещал — сделает. Так начинается наша многолетняя переписка. Приготовлены в подарок книги — первое издание «Уральских былей», первое издание «Зеленой кобылки», подписанное шутливым псевдонимом «Егорша Колдунков», и новый сборник сказов «Ключ-камень», который Павел Петрович дарит нам «на добрую память об Урале и его людях».

Валентина Александровна изредка вставляет в разговор одно-два слова, тихо выходит и входит, хлопоча по хозяйству, готовясь угостить нас чаем. На стол ставятся, как в обычное время, и хлеб, и сахар, но вежливые гости военных лет крепко помнят, что все это из пайка, который делится в доме Бажовых на большую семью, и поэтому не набрасываются ни еду, а дегустируют ее чисто символически. Но зато

горячий и крепкий чай — перед ним устоять невозможно. В комнате холодновато, уральские ветры насквозь продувают старый бажовский дом.

Пора уходить. Хозяева хотя по-уральски сдержанны и скупы на внешнее выражение своих чувств, все же явно опечалены. Павел Петрович, как обычно, шутит, отвечать мне на письма обещает, но не скрывает, что я, по его мнению, поступила весьма опрометчиво, хоть и «мыслящая женщина»: избрала «ненадежный объект исследований» и еще хлебну с ним горя. Валентина Александровна просто-напросто обняла и расцеловала меня. «Бойся не гостя сидящего, а гостя стоящего», — говорит Важдаев. На пороге жмем руки, прощаемся и выходим в темноту улицы.

Уже наступила ночь, ветреная осенняя уральская ночь. Мы идем по улице, ставшей какой-то незнакомой и тревожной. И только позади стоит маленький, темный, бревенчатый дом Бажовых, и уже далеко-далеко светятся его добрые окна.

Москва, 1960—1976



ГРИГОРИЙ ШУМИЛОВ



БЕСЕДЫ С ПИСАТЕЛЕМ

В сороковых годах мне приходилось много встречаться с Павлом Петровичем. Особенно частыми наши встречи были во время Великой Отечественной войны, когда я, работая в Свердловском обкоме партии, занимался вопросами печати, а Павел Петрович возглавлял писательскую организацию.

С продуктами тогда дело обстояло плоховато, и Павел Петрович нередко обедал в обкомовской столовой. И как-то само собой установилось, что он поднимался к нам, на шестой этаж, в сектор печати.

Павел Петрович обычно никогда не садился, а опершись на чей-нибудь стол локтем, стоял, склонившись, держа в руках трубку или покручивая прядь бороды. В этой излюбленной позе Бажов мог находиться часами, выпрямляясь иногда лишь затем, чтобы набить и зажечь потухшую трубку.

На стене у нас висела крупномасштабная карта, на которой отмечались по сводкам Совинформбюро изме-

нения линии фронта. И разговор обычно начинался с оценки хода военных действий, а потом уже беседовали о всякой всячине.

По натуре своей Павел Петрович был человеком мягким и уравновешенным. Спокойное, задумчивое выражение лица, глаза, обычно полуприкрытые веками, седая борода патриарха, небольшие, изящные руки,— все это в сочетании со слабым, глуховатым голосом придавало его облику какую-то особую мудрую простоту, так притягивавшую к нему.

Конечно, Павел Петрович бывал и возбужденным, и, случалось, волновался и сердился, поводов для этого находилось тогда предостаточно. Но я не помню, чтобы он был резок или в раздражении повысил голос, на кого-нибудь накричал.

Бажов не цеплялся за мелкие просчеты и недостатки своих товарищей, отметал в сторону все несущественное, наносное, случайное. Критиковал он мягко, доброжелательно, стремился прежде всего разглядеть суть ошибки и научить, как ее исправить. Но в крупных вопросах Павел Петрович был непримирим, проявляя партийную принципиальность.

Дважды я наблюдал Бажова в состоянии сильного волнения.

Первый раз — в середине ноября 1942 года, на юбилейной сессии Академии Наук СССР, посвященной двадцатипятилетию Советского государства. Во время перерыва между заседаниями в фойе Свердловского Дома офицеров прогуливались и негромко разговаривали наши академики, и среди них особенно запомнилась колоритная фигура О. Ю. Шмидта. Павел Петрович, помню, был в своей неизменной темной куртке, голубым блокнотом в руке. Лицо писателя светилось гордой радостью, вся его небольшая плотная фигура как-то выпрямилась, стала выше.

— Знаешь, в такие редкие в жизни дни,— сказал он мне,— всегда как-то глубже проникаешь в нашу отечественную историю и еще больше веришь в силу и непокоримость нашего народа, родившего и выпестовавшего вот этих мудрых своих сынов.

Несколько дней спустя, такой же возбужденный и радостный, потирая руки мягкими, округлыми движениями, стоял Павел Петрович у нашей карты, прослеживая стремительное продвижение мощных фланговых группировок советских войск, окружающих армию фельдмаршала Паулюса под Сталинградом.

— Теперь дело должно пойти похлеще. Подучились кое-чему,— заметил Бажов.

Зимой 1941 года, когда гитлеровские полчища рвались к Москве, к нам в Свердловск из столицы и из других западных городов эвакуировалось огромное количество предприятий и людей. Все, что можно приспособить и использовать для размещения заводов и под жилье, было использовано. Свердловчане были уплотнены до предела.

Сюда же, в Свердловск, эвакуировали президиум Академии наук СССР, некоторые институты, большую группу московских писателей, а также художников и скульпторов, возглавляемых С. Д. Меркуровым.

Павел Петрович принял самое деятельное участие в размещении, устройстве с питанием своих собратьев по перу, заботился он также и о художниках.

В тех чрезвычайных, напряженных условиях дело это было очень хлопотное и тяжелое, все приходилось, как говорится, брать с бою, и Павел Петрович на время почти забросил творческую работу.

Примерно в конце ноября он зашел к нам и поделился очередной заботой:

— Был сейчас у Н насчет помещения для художников и скульпторов. Пока ничего не выходит.

А дело состояло в следующем.

Какой-то «мудрец» эвакуировал из Московского зоопарка в Свердловск слона и носорога. Что делать? Ведь для них обязательно нужно теплое помещение, причем такое, чтобы удобно было ввести огромных животных. Дело это совершенно не терпело никаких отлагательств, жители тропиков замерзали на станционных путях в холодных вагонах.

И вот решили разместить их в большей части по-

мещения, отведенного эвакуированным художникам и скульпторам под творческую мастерскую. С. Д. Меркуров, человек прямой и экспансивный, не стеснявшийся выражать свои чувства крепкими словесами, протестовал, но безрезультатно — иного выхода пока не было.

— Понимаешь, в чем тут штука-то, — говорил мне Павел Петрович. — Нельзя человека надолго лишать любимого дела: он либо захиреет, либо какие-нибудь номера начнет выкидывать. — Помолчал, пыхнул трубкой и продолжал: — Ну, скажем, художник еще так сяк, где-нибудь приткнется со своим мольбертом, а куда деваться скульптору с его глиной и иными материалами или глыбой камня? Надо им все-таки помочь как-то!

Кризис разрешился неожиданно. Носорог, а за ним и слон не вынесли уральского климата и погибли, о чем и не преминул немедленно уведомить нас кто-то из живописцев.

Художники и скульпторы получили свое помещение.

Вспоминается и другой случай.

Шел 1942 год, трудный год, полный горя, тягот и лишений. Многие свердловчане недоедали, а то и просто голодали. Старались изыскать продовольствие, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить питание. Но и тут находились бессовестные ловкачи, стремившиеся использовать народную беду для личной выгоды.

Как-то в очередной заход к нам Павел Петрович рассказал об одном таком типе, явившемся к нему за содействием в издании брошюры о высоких пищевых качествах... лопухов. Да, да, лопухов!

— Мужчина в теле, физиономия вполне наукообразная, — рассказывал Павел Петрович. — Жалуется на издательство. Вот, говорит, обращался в Свердловгиз насчет издания своего исследования о лопухах, а они не берут, не наш, дескать, профиль, и договор отказались заключить.

Я заинтересовался рукописью. Ничего, пухленькая, денежная, пожалуй, с фунт весу будет, и лопухи в ней разделаны, как говорится, под орех: тут и разме-

ры, и вес лопухов в молодом и зрелом возрасте, и расчеты возможного валового сбора лопухов по области, и таблицы, свидетельствующие о высоком содержании в них белков, углеводов, кислот и всяких витаминов, и даже составлены рецепты, как из лопуха можно приготовить супы, каши, солянки, запеканки и другие блюда. Словом, научная и практическая часть «труда» разработана безукоризненно. Выходило, что за лопухи надо ухватиться обеими руками.

Ну, меня все-таки сомнение взяло,— продолжал, усмехнувшись, Бажов. — Вспомнил, в голодные годы во время гражданской войны ели лебеду, кору некоторых деревьев, а лопухи все-таки никто не ел, с детства знаю их как злостный огородный сорняк. Помню, как-то из баловства пожевал лист лопуха — горький, словно хина. Даже козы от него отворачивались. Как, думаю, так?

Спрашиваю этого мордастенького «первооткрывателя»: «Ну, а сами-то вы лопухи употребляете и в каком больше виде?» Тот не моргнув глазом отвечает: «Запеканку, говорит, стряпаем».

«И не горькая?»

«Да нет, есть вполне можно».

Шире, дале, разговорились. Оказывается, живет он в пригороде, коровку имеет, кур десятка полтора, огородик соток так на семь. Стало понятно, какую он запеканку стряпает. Эх, думаю, дрянной ты человечиско, хоть раз бы тебя досыта накормить «чистой культурой» этого самого лопуха!

«А корова-то ваша тоже на лопухах живет?» — опять спрашиваю.

«Нет, что вы, сеном кормим».

Отказал ему я в содействии. На том и расстались.

Помолчал Павел Петрович, пососал пустую трубку и, доставая кисет, заключил:

— Это же в своем роде хищник, только более омерзительный. Подождите, он и до вас еще добьется.

И действительно, спустя несколько дней «лопушник» явился к нам, но успеха не имел.

В разгар войны, когда происходило спешное формирование Уральского добровольческого танкового корпуса, зашла речь об уральском типе, об уральском характере.

— О каком-то особом уральском типе человека, с какими-то резко выраженными особенностями во внешнем облике и своеобразными, присущими только ему чертами характера, по-моему, говорить не приходится,— заметил Павел Петрович.

Коренной житель Урала, считал Бажов, существенно не отличается от жителя, скажем, средней полосы России. Значит, уралец — это русский тип, русский характер.

Но все же одни черты, свойственные русскому человеку, у нашего уральца более ярко выражены, чем, скажем, у ярославца или же владимирца, а другие менее. И даже есть кое-какая внешняя отличка.

— Взять тот же внешний облик,— продолжал далее Бажов. — У нас, на Урале, вы довольно часто можете встретить людей, мало похожих по их виду на русских. Мне, например, даже на Северном Урале, в районе Ивделя, где живут манси, не раз приходилось встречать типичных южан, совершенно смуглых людей, как говорят, жгучих брюнетов. А в одном старом уральском заводском поселке я видел целый выводок ребят с «классическим профилем». И это обычно коренные жители, потомственные уральцы.

Объяснение тут простое, заключается оно, по мнению Павла Петровича, в особенностях заселения Урала.

Сюда испокон веков и добровольно, и по принуждению прибывали люди со всех концов страны. Тут и «еретики» — староверы из центральных губерний, и мастеровщина, вывезенная отовсюду заводчиками-крепостниками, и бежавшие от своих помещиков-живодеров крестьяне, и всякие искатели счастья, устремившиеся сюда во время золотых и платиновых «лихорадок», и ссыльные, и даже военнопленные. Словом, «разноплеменный» народ. Да возьмите тот же Висим! Так красочно описанные Маминым-Сибиряком три конца — «кержацкий», «тульский» и «хохлацкий», составляющие население этого наиболее типичного горнозаводского поселка Урала, и сейчас можно разглядеть опытным, внимательным взглядом.

— Весь этот пришлый элемент,— продолжал свои размышления Павел Петрович,— роднился и между собой, и в иных случаях с исконными жителями Урала; происходило, как говорят биологи, непрерывное обновление кровей, вырабатывался под влиянием природных и социальных условий наиболее жизнеспособный, физически сильный, выносливый, хорошо приспособленный к местным суровым условиям тип русского человека — уральца.

Что касается характера уральца, то его наиболее яркие черты, такие, как настойчивость и упорство в достижении цели, высокое чувство товарищества и взаимной выручки, вырабатывались тоже под влиянием местных условий. Некоторая же замкнутость, молчаливость, переходящая иногда в угрюмость, проистекают не от влияния уральской природы — она у нас замечательно красивая, — а скорее от тех тяжелых социальных условий, в которые был поставлен уральский трудовой человек в дореволюционное время. Свое влияние тут оказывал и характер работы наших земляков: рудокопы и шахтеры, лесорубы и сплавщики, углежоги, доменщики, листопрокатчики, кричные мастера. Все эти и другие весьма трудные и опасные профессии не очень-то располагали к веселым разговорам.

Сейчас эти черты постепенно смягчаются, работать-то куда легче стало, — заключил свои размышления Бажов.

Павел Петрович был человеком больших знаний и высокой культуры. Но он никогда не позволял себе даже полунамеком подчеркнуть свое превосходство перед любым собеседником. Эта скромность, стремление не выказывать себя, оставаться в тени, где-то на втором плане, была одной из его характерных черт.

По выработавшейся привычке профессионального журналиста он больше слушал других, чем говорил сам, иногда при этом поддакивал, иногда вставлял реплику. Но и от вопросов, обращенных к нему во время бесед, не уклонялся, отвечал обстоятельно и по возможности определенно.

Как-то в конце войны, во время очередной после-

обеденной передышки, зашла речь о мифах. И тут Павел Петрович, увлекшись, рассказал нам несколько мифов, обнаружив превосходное знание и греческой, и нашей древнерусской мифологии.

— Поэтичность и увлекательность многих древних мифов просто удивительны,— говорил он.— Но вы, вероятно, заметили, что в большинстве мифов фигурируют или боги, или же герои отнюдь не из народа. И, однако, какое огромное воздействие они оказывали на народ... А нам пора бы уже создавать свои мифы, свои сказания о трудовом человеке, о народе — творце всего сущего, о героях-борцах за народное счастье. Ведь подвиги древних, деяния богов бледнеют перед героизмом и самопожертвованием советских людей, проявленными в этой войне. Тут для нашего брата писателя богатейшие залежи даже не руды, а чистых драгоценностей.

Как депутат Верховного Совета СССР Павел Петрович еженедельно в одной из комнат облисполкома принимал избирателей. Иногда после приема заходил к нам, усталый, с набрякшими веками и чаще всего сумрачный.

— Я у вас тут маленько отдышусь.

Разговор в таких случаях не клеился. Бажов большей частью отмалчивался, курил трубку за трубкой, приняв свою любимую позу. Чувствовалось, что он чем-то недоволен, что-то его угнетает.

Но однажды глухим своим голосом высказал наболевшее:

— Народ у нас чудесной души, многотерпеливый, кремневый. Вот второй год уже принимаю избирателей, нижу — сутяжники совсем редко подвертываются. Люди приходят к депутату чаще всего из-за крайней нужды или просто поделиться своим непоправимым горем: может, на сердце легче станет. После войны горя-то у народа хоть отбавляй. Все это понятно, и никуда от этого не уйдешь.

Мучает другое — ограниченность наших материальных средств. И рад бы всей душой человеку помочь, и знаешь, что пока нет никакой возможности.

Особенно донимают жилищные дела. Строить-то

стали много, а все же потребуются годы, чтобы хоть сколько-нибудь заметно утолить квартирные нужды людей. И тем возмутительнее, когда некоторые наши товарищи, вместо того чтобы как следует, терпеливо объяснить человеку, душевно поговорить с ним, отмахиваются от него бумажками. А разве бумажка может заменить живое, идейное слово!

Если вы перелистаете комплект газеты «Уральский рабочий» за сороковые годы, то увидите, что некоторые сказы Павла Петровича впервые опубликованы в праздничных номерах газеты. Сказы эти написаны были, как говорят, «по заказу». Дело происходило так.

Обычно за месяц-полтора до Октябрьской годовщины, праздника Первого мая или другой знаменательной даты календаря нашей великой революции, во время одной из послеобеденных передышек, кто-нибудь из присутствовавших закидывал удочку: «А ты, Павел Петрович, к празднику-то чем-нибудь порадуешь читателей?»

Павел Петрович сделает сперва несколько затяжек, а потом уже ответит, что, мол, ничего определенного обещать не может. Ни разу за все те годы мы не услышали от него: «Да, будет».

Мы превосходно понимали, почему Павел Петрович уклонялся от положительного ответа: литературное творчество процесс весьма сложный, и мало ли какие могут быть «закавыки». Но мы хорошо знали и другое: у Павла Петровича, несомненно, есть уже заготовки, и журналист-большевик в нем свое возьмет.

И действительно, обычно за несколько дней до праздника Павел Петрович приносил в редакцию свой новый сказ. Так появились «Богатыревы рукавицы», «Широкое плечо» и ряд других сказов.

Павла Петровича трудно было вытащить куда-нибудь на юг, прельстить красотами крымских или кавказских курортов. Он любил свой Урал, своеобразную

красоту его природы и стремился летние месяцы проводить в родных местах.

Вспоминается такой случай. Однажды летом пили чай в бажовском саду. Один из нас посоветовал Павлу Петровичу «облагородить» сад: вырубить рябину, черемуху, березы, ели и посадить вместо них привитые яблони, вишни, груши.

— Ведь чепуховину городишь,— ответил беззлобно Бажов. — Как же я буду их рубить, если мы с Валюшей своими руками их посадили! Да и зачем мне это «благородное»? Родное-то всегда дороже «благородного».

Особенно болезненно относился Павел Петрович к фактам небрежного, варварского отношения к природе. Не раз он возмущался тем, что в Чусовую, красивейшую уральскую реку, спускаются отработанные заводские воды.

— Какую красоту губим и сколько убытку терпим! — говорил он.

В Нижних Сергах он, против своего обыкновения, прочитал целую нотацию руководителям металлургического завода, корил их за то, что во время войны они спустили в реку Сергу какую-то отраву и погубили рыбу и в самой реке, и в Михайловском пруду, куда река впадает.

В разговоре про екатеринбургских золотопромышленников кто-то сказал, что имели они свои теплицы и землянику зимой выращивали.

— Не только землянику, один даже ананасы вывездил,— заметил Павел Петрович. — Но это уже было причудой, причудой барина. А мы не ананасы, конечно, а зимние овощи должны производить в массовом масштабе для народа. Возможности у нас огромные. Возьмем, к примеру, какую уйму горячей воды спускают в Верх-Исетский пруд и в Исетское водохранилище Свердловская электростанция и СУГРЭС. И водоемы портим, и толку никакого.

А если по-хозяйски к делу подойти, то ведь тут можно построить крупнейшие тепличные хозяйства и круглый год выращивать в них всякую овощь, и очень

дешевую, потому что одна из самых главных статей расхода — отопление теплиц — будет даровой. А сколько таких возможностей есть в других районах области...

В 1946 году Павел Петрович Бажов был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР по Красноуфимскому избирательному округу Свердловской области. В первой половине февраля мне было поручено сопровождать Павла Петровича в его поездке для встречи с избирателями. Мы побывали тогда в Полевском, Ревде, Нижних Сергах, Бисерти.

Время в поездке обычно распределялось так, что вечерами, а часто и днем Павел Петрович выступал на собраниях избирателей, а в остальное время ездил на предприятия и в обычной, будничной обстановке беседовал с трудящимися.

На своей родине, в городе Полевском, Павел Петрович пробыл несколько дней. Встречен он был земляками особенно тепло. Многие его лично знали, все выступающие на общегородском собрании поддерживали и одобряли его кандидатуру. Один из бажовских сверстников назвал Павла Петровича попросту Пашей и расцеловал его.

В Полевском Бажов побывал на криолитовом и Северском заводах.

Северский завод в это время осваивал производство белой жести. Павел Петрович заинтересовался технологией изготовления жести. Он обратил внимание на то, что при окончательной обработке жести употребляется значительное количество отрубей.

— А нельзя ли заменить отруби чем-нибудь другим? — заметил он. — Знаете, сколько бы мы смогли сэкономить ценнейшего корма для скота...

После возвращения с Северского завода в город Полевской Павел Петрович пригласил к себе в гости группу стариков, с которыми он, по его словам, «в детстве в бабки играл». Все они состояли уже на пенсии. А размеры пенсии тогда были еще небольшие, и старики жили, по выражению одного из них, «не ахти как». Но в разговоре с Бажовым никто на материальные трудности не жаловался, все держали себя с до-

стоинством, ели не торопясь, водки выпили в меру, но достаточно для того, чтобы «расшуметься», вспоминая старые годы.

Бажов с большим добросердечием угощал друзей детства. Старики остались довольны приемом.

— Сразу видно, своя кость,— заключил один из них.

Город Ревда, куда мы переехали из Полевского, один из значительных на Урале центров цветной металлургии. Здесь на городском собрании избирателей Павел Петрович произнес очень интересную речь.

— Недавно избиратели спросили меня: что такое советская демократия? В ответ я привел пример из практики уральских гранильщиков, работу которых мне приходилось нередко наблюдать. При огранке изумруда требуется найти так называемую «теплую грань». Получить такой образец у гранильщиков считается большим искусством. Мастер должен добиться, чтобы каждая грань была на строго одинаковом расстоянии от так называемого «куста» — угла преломления лучей.

Этот пример,— продолжал Бажов,— мне кажется глубоко символичным. В нашей стране солнце Советской конституции, как в драгоценном изумруде, находится на одинаковом расстоянии от каждого советского гражданина, одинаково тепло и ярко светит каждому из нас. Если тебе действительно дороги интересы Родины, интересы народа, трудись честно, развивай свои способности и отдавай их на общее благо. И народ не забудет твоего труда, оценит его по достоинству.

Меня, уральского сказочника,— говорил Павел Петрович,— народ выдвинул кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Значит, видимо, народ считает, что там, в высшем органе советской власти, при решении больших государственных дел нужны люди всех отраслей труда.

На другой день в клубе горняков состоялась встреча Бажова с рабочими крупнейшего на Урале Дегтярского медного рудника. После собрания силами художественной самодеятельности клуба была поставлена инсценировка знаменитого бажовского сказа «Каменный цветок».

Павел Петрович с большим вниманием смотрел инсценировку и даже прослезился, когда после спектакля все участники постановки со сцены приветствовали его.

В Бисерти, выступая перед избирателями, Бажов подчеркнул нерушимость единства и братской дружбы советских народов.

Бисерть была последним пунктом нашей поездки. На другой день мы вернулись домой.

Свердловск, 1960—1976



ФЕДОР ГЛАДКОВ



О ПАВЛЕ ПЕТРОВИЧЕ БАЖОВЕ

Мое общение с Павлом Петровичем началось осенью незабываемого 1941 года. Редакция «Известий» поручила мне проследить работу эвакуированных заводов и дать ряд очерков о героических подвигах людей на этих заводах, о новаторском творчестве мастеров оружия, о перестройке местных заводов на массовое производство вооружения. Свердловск в те дни был уже густо загроможден и заводами, и главками, и учебными заведениями, прибывшими из областей и республик европейской части Союза; казалось, что вся страна втиснулась в этот широкий город на холмах, с просторным небом и лиловыми горными и лесными далями. А заводы все еще прибывали, и люди труда массами вливались в чудовищно перенаселенный город. Все сколько-нибудь вместительные здания были отведены под эвакуированные предприятия и госпитали, а окрестные стародавние и новые заводы уплотнялись и сливались с московскими, ленинградскими, украинскими заводами. И все же некоторые улицы были завалены машинами, станками и кучами больших и малых металлических деталей. Быстро

возводились новые кирпичные коробки и расширялись старые корпуса.

Очень тяжело было со снабжением, с питанием, с жильем.

В октябре в Свердловск прибыла группа писателей из Москвы и Ленинграда. Часть из них на время приютились в Доме печати, часть кое-как рассосались по углам и частным квартирам, а кое-кому посчастливилось закрепиться в гостинице и у знакомых.

Местное отделение Союза советских писателей сразу стало многолюдным и, к чести его, с первых же дней развернуло работу по организации литераторов и интеллигенции для общественно-политической работы под руководством обкома партии. Совместно с работниками Академии наук проводились общегородские антифашистские собрания, писатели разъезжали по заводам области, постоянно посещали госпитали, сотрудничали в газетах. Небольшая комната в Доме печати была с утра до ночи полна людьми. В соседних комнатах помещалось областное издательство, где главным редактором был Павел Петрович Бажов. Он же состоял председателем Свердловского отделения Союза писателей.

Познакомился я с ним вскоре после моего приезда в Свердловск. Его «Малахитовую шкатулку» я читал и перечитывал в первом же издании и наслаждался чудесной поэзией исконного русского языка и народной мудростью, которой дышала каждая легенда этой книги. Это была действительно волшебная шкатулка, сделанная искусным умельцем, полная ослепительных драгоценностей, созданных самобытным художником. Эта книга дорога для меня тем, что в ней удивительно чутко и проникновенно воплощена глубокая, большая душа народа — могучего работника, великого труженика, которого не сломило вековое рабство, который нес в себе негасимую правду и творческую красоту. Не всякому народу выпадали на долю такие неимоверные испытания, какие за свою долгую историю пережил русский народ. И этот «терпением изумляющий народ» не только терпел, но и восставал против поработителей. Вот почему и язык его богат, щедр и прекрасен, а песни и сказания полны глубокого раздумия, эпического величия и задушевного лиризма.

Портретов Павла Петровича я до встречи с ним не видел и представлял его себе таким коренастым уральцем, могучим патриархом. Но когда я вошел в его рабочий кабинет, навстречу мне поднялся сутуленький старичок с длинной серебряной бородой, с очень живыми, пронизательными глазами, в которых трепетала умная лукавинка. На столе у него лежал большой обломок малахита, похожий на застывший слиток темно-зеленой глазури.

Встреча была короткой и деловой: нужно было с помощью Павла Петровича принять кое-какие меры по устройению быта писателей. Когда я заговорил о «Малахитовой шкатулке» и особенно о «Каменном цветке» как о сказах глубоко идейного содержания и большой художественной значимости, он забеспокоился и как будто испугался:

— Ну что там такое?.. Досужая фантазия... Стоит ли говорить об этом?

Его скромность была непритворной. Он, как видно, предпочитал молчать и слушать или только отвечать на вопросы. Но, наблюдая за мной как за новым человеком, он вдруг встрепнулся, и в глазах его залучились искорки: он следил за моим взглядом, который и не мог оторвать от глыбы первозданного малахита.

— Это не диковинка,— охотно пояснил он.— Такого добра у нас на Урале много. А чего на Урале нет? Все есть. Пустые клетки в таблице Менделеева заполняются здесь в последние годы неуклонно. Скуп наш Урал только на изумруды, но я думаю, что если добраться до его кладовых да пошарить посмелее, и изумрудов найдут вдосталь. Теперь ведь металлурги и геохимики смотрят на драгоценные камни не как на редкостные дары природы, из которых когда-то наши гранильщики создавали волшебные сказки, а как на необходимые ингредиенты при изготовлении высококачественной стали и твердых сплавов.

И он очень увлекательно стал рассказывать о богатствах и красотах Урала, о том, что подлинной истории Урала еще нет, что недра его по-настоящему не вскрыты, а хищники грабили то, что лежало на поверхности. Но рабочий народ—рудознатцы и умельцы—даже в рабстве были настоящими художниками своего дела, талантливыми трудолюбцами, которые

создавали легенды своими исследованиями, открытиями и трудовыми подвигами. Истинным обладателем сокровищ Урала, их хранителем и диводеем всегда был рабочий народ, а не Демидовы и Харитоновы, не герои Мамина-Сибиряка. От этих хищников не осталось и воспоминания, а природные уральцы-мастера принесли в революцию и доблесть борцов за советскую власть, и неисчерпаемые богатства своего трудового опыта. И в дни Отечественной войны с фашизмом они в первых рядах строителей оружия.

Павел Петрович гордился Уралом и уральцами, беззаветно любил свой край, превосходно знал и его географию, и его ископаемые, и его своеобразных людей — искусных работников на своей удивительной земле, прошедших через страшные испытания, но закаливших свою суровую волю в борьбе. История Урала — одна из самых ярких и героических в истории нашей родины.

С этой же первой встречи Павел Петрович произвел на меня впечатление очень скромного и застенчивого человека, углубленного в себя и таящего большое богатство мыслей, которые никогда не будут высказаны. Обычно это свойство всех подвижников идеи, людей совестливых и чистых душой. Как человек очень простой, задушевный, Павел Петрович никого не поучал, ни с кем не спорил, никому не навязывал своих мыслей, но все чувствовали его мудрый авторитет. Говорил он мало, а слушали его очень внимательно, с огромным интересом, потому что речь его отличалась умом и своеобразием, всегда в ней было что-то новое и свежее.

Целыми днями я находился на заводах. В Дом печати заходил главным образом для того, чтобы передать в Москву по прямому проводу или телефону очерк о героях оборонного труда. С Павлом Петровичем встречался изредка, и он казался мне очень одиноким и замкнутым, как будто избегающим людей.

Но когда нахлынули московские писатели, надо было в перенаселенном Свердловске искать комнаты и углы, чтобы не оставить людей на улице. Около Павла Петровича сплотилось активное ядро москвичей, и сразу же заработала партгруппа. Все чувствовали себя около него бодро, радостно, словно его доброта и обал-

ние, скромность и спокойная уравновешенность исцеляли всякие душевные ранения и заставляли забывать неизбежные в эти тяжелые дни неприятности. И как-то меньше замечались те немногие люди, которые заняты были своими личными, потребительскими интересами. Очень скоро это руководящее ядро вошло в контакт с Академией наук, и писатели вместе с учеными стали во главе многочисленной интеллигенции.

Иногда мы с Павлом Петровичем выходили вместе из Дома печати и в разговорах незаметно отмеривали шагами очень длинный путь до его домика на улице Чапаева. О литературе и литераторах говорить он избегал, но словоохотливо говорил об Урале, о Свердловске, о городах и заводах как о чем-то близком его сердцу, чем он живет с дней своей юности. Он до мелочей знал свой край, а о прошлом его рассказывал, словно поэму творил, и рассказы его похожи были на легенды из «Малахитовой шкатулки». Переходим мы, например, плотину пруда вдоль каменной стены, за которой раздавался грохот и гул завода, а внизу шумела вода,—и Павел Петрович с гордостью указывал на груды камней по бокам плотины:

— Не инженеры, не гидротехники возводили эту плотину, а самые простые люди, подневольные труженники. И вот стоит она уже больше двух веков, словно монолит. Умельцы были, с гениальной сметкой. На этом месте, за стеной, первый литейный завод был построен еще при Петре. Эти же люди, изобретатели, и ставили здесь двигатели на воде. Отсюда, с Исети и Тагила, пошли замечательные мастера — не иноземцы, а русские творцы. Богатырское было племя. Вот и потомки их достойный народ. Каждое предприятие — ударный отряд, все хранят замечательные традиции своих отцов и дедов. И не Демидовы оставили по себе славу, а их крепостные рабочие: они опережали время на столетие.

Каждый квартал города на нашем пути, где уже не осталось и камня на камне от прошлого, оживал в различных воспоминаниях Павла Петровича как героическая легенда. И не заводы, не мастерские за крепостными стенами, не рабский труд вставляли в моем воображении, а люди, талантливые, пытливые, с мятежной творческой мыслью, сильные, безмерно терпеливые,

с нестигаемой волей. И в рабстве, в цепях, под шпицрутенами, они были свободны и могучи в своей любви к творческому труду. Мне кажется, что если бы Павел Петрович отважился написать историческую эпопею за эти два века, это была бы настоящая библия Урала. И я почему-то был уверен, что этой мечтой он жил постоянно.

Его дом и крепкие надворные постройки казались вековыми, а уютные тесные комнатки располагали к размышлению.

Я любил погостить у него, отдохнуть от суеты, от злободневных забот и хлопот и слушать его глухой добродушный голос.

— Чтобы постигнуть наших людей, надо глубоко изучить их прошлое. Много, очень много забыто и забывается. Я все думаю, как необходимо создать энциклопедию, в которой ближайшее и руководящее участие приняла бы Академия наук. Когда-то этот труд был начат одним из скромных людей в прошлом веке, но труд его умер вместе с ним: можно ли одному человеку, да еще занятому чиновничьими обязанностями, справиться с этой грандиозной задачей? Но подвиг его достоин удивления. А таких людей в прошлом было немало. Взять, например, одного попика. Замечательный математик, известный своими трудами за границей, пожертвовал своей карьерой ученого ради изучения своего края, ради служения народу и пошел в попы, чтобы непосредственно работать на родной почве. Ну, и сгорел, конечно, на своем ложном пути. История культуры Урала — богатая история. Надо вскрыть, установить многое, что заложено в былые времена и что сейчас осуществляется и в геологии, и в геохимии, и в литейном деле. Хотелось бы побеседовать с академиками.

Он любил повторять кстати и к слову:

— Чем велик и прекрасен человек? Одухотворенным трудом. В чем его бессмертие? В животворном преобразовании природы. Вне труда нет и человек!

Помню один из вечеров, которые регулярно устраивались писательской организацией. Выступал профессор Данилевский с лекцией об уральских техниках самоучках. Павел Петрович слушал с самозабвенным вниманием. Видно было, что он волновался: теребил

свою бороду, глаза его блестели, и время от времени он одобрительно кивал головой, невнятно вставляя какие-то замечания. После лекции он не выступал, хотя Данилевский просил его поделиться своими знаниями. Но он только отмахнулся и сказал:

— Я просил бы только сохранить память о тех людях, о которых говорил профессор Данилевский. Исследование это — огромная его заслуга. Но те несколько имен, которые остались в истории техники, — это имена людей, случайно уцелевшие в архивах. А таких людей было немало, и о них можно говорить ежедневно в течение целого года. Эти имена, пусть легендарные, долго держались в памяти стариков и передавались с уважением и гордостью из поколения в поколение. Их опыт, открытия и изобретения как продукт народного творчества шли на потребу новым поколениям. Не сейчас, может быть, потом кое-что соберу, приготовлю и поговорю о них. Я кое-что знаю о таких людях от стариков.

Время было грозное, ответственное. Каждый день требовал от людей напряженной работы. Хоть Павел Петрович и жил у себя в родном углу, но ему с семьей было не менее трудно, чем эвакуированным писателям. И в эти тяжкие дни он всегда был бодр, уравновешен, дружески участлив, и умная лукавинка не угасала в его добрых глазах. Мне кажется, что он был очень доверчив к людям и без колебаний делал для них все, что мог.

Не мне судить о том, как он воспитывал молодых свердловских писателей, как деликатно руководил ими, но я знаю, как глубоко они любили его и говорили о нем с трогательной нежностью:

— Для каждого из нас, молодых и начинающих писателей, Павел Петрович отец родной. Для каждого он умеет найти самое проникновенное слово, и каждого он видит насквозь. Если у парня есть способности, он готов возиться с ним дни и ночи. И никогда не ударит больно, а самую суровую оценку выскажет так, что будто по душе ласково погладит.

В улыбке Павла Петровича всегда светила мудрость прозорливости много пережившего человека, который хорошо знает людей и который уже ничему не удивляется. Ни разу я не видел его в гневе, в возбуж-

дени и подавленным и угнетенным, а было много поводов и причин волноваться и возмущаться. Его знающая улыбочка мерцала ласково и ободряюще.

Но лишения, неустроенность быта товарищей больно беспокоили его. Улыбка таяла в глазах, и в них застывала укоряющая строгость.

— Вот Ольга Форш, заслуженная писательница, старая женщина. Ютится черт знает где, на ногах какие-то ошметки, а сейчас зима, морозы... Или Шагинян... Хоть они и не унывают, героически переносят испытания, но это тем больше тревожит меня. Надо немедленно идти в обком.

И он, сам ослабевший и больной, собирал партгруппу, активистов, ходил с делегацией в обком. И когда эти вопросы разрешались благополучно, он как будто молодец и не мог сдержать своей радости. Но и в эти минуты он скромненько и застенчиво отмалчивался, старался стусеваться, словно все дела и хлопоты проводились без его участия...

Как-то в комнате, где обычно собирались писатели и часто взволнованно и тревожно обсуждали известия с фронта, кто-то из уставших от тяжелых лишений людей стал жаловаться на судьбу и на неудачи на фронте:

— А эти звери прут... прут, как орда дьяволов. Мы одни, а союзнички рады, что мы истекаем кровью...

Павел Петрович, в теплом пальто внакидку, всматриваясь исподлобья, сказал очень спокойно и тихо своим глуховатым голосом:

— Вы, очевидно, не знаете русского народа. Гитлеровцы будут разгромлены, что бы они ни предпринимали.

И эти просто, с неотразимой уверенностью сказанные слова как будто оглушили всех, и сразу стало легко и вольготно. Кое-кто даже облегченно вздохнул. А Павел Петрович не оглядываясь вышел из комнаты.

Однажды весной несколько писателей приехали в Ревду для встречи с рабочими и инженерами. В машине мы сидели бок о бок с Павлом Петровичем. В этих местах он, кажется, знал каждую возвышенность, каждую долину, каждый камень, каждое дерево. Дорога была изумительна по красоте. Она напоминала мне и Прибайкалье, и предгорья Кавказа. Горные склоны

были покрыты дремучим лесом, и из темной его глубины, из густой чащобы стволов, плыла таинственная тишина. И всюду — и внизу, и между стволами деревьев — громоздились в диком хаосе огромные обвалы скал и камней, словно горы эти разрушались страшными землетрясениями. А в долине ярко горела на солнце молодая весенняя трава, и воздух переливался радужной игрой и опьянял хмельными запахами сосен, цветов и земли. Павел Петрович сидел молча и жадно смотрел на эти первобытные, немного жуткие в своей загадочности нагромождения и лесные дебри, и лицо его в серебристой бороде, с застывшей улыбкой в глазах странно мерцало, как будто он слышал и видел то, что скрыто было от других. И я подумал, что свои сказки и легенды он подслушал в этих вот дебрях и древних развалинах скал и гостевал у Хозяйки гор — в ее чудесных пещерах, украшенных причудливыми друзьями драгоценных кристаллов. Он остановил машину у головокружительной свалки огромных глыб, похожей на руины какого-то древнего замка, легко прыгнул на землю и, махнув мне рукою, споро начал подниматься на руины.

Я пошутил:

— Что вещает вам Хозяйка гор, Павел Петрович?

Он очень серьезно и задумчиво ответил:

— Природа Урала имеет свой богатый и красочный язык. Это язык нашей, русской Илиады.

Он стоял на этих седых монолитах долго, прислушивался к таинственной тишине и, вероятно, видел то, чего не видели мы.

И сейчас, когда пишутся эти строки, мне думается, что могила Павла Петровича Бажова должна быть не на обычном кладбище Свердловска, а там, у подножия этих гигантских руин, полных чудесных видений, и надгробием была бы малахитовая глыба с такой примерно надписью:

«Под этим малахитом лежит Павел Петрович Бажов — певец тружеников-умельцев, в душе которых веками горел животворный огонь и которые преобразовали Урал в неувыдающий Каменный цветок».



В. ДАНИЛЕВСКИЙ

НАШИ МАРШРУТЫ

Первая Всесоюзная конференция сторонников мира закончилась. Павлу Петровичу необходимо было немного задержаться в Москве, а я спешил в Ленинград. Мы договорились, что через несколько дней встретимся на берегах Невы.

Во всех письмах за последние годы Павел Петрович неизменно выражал желание побывать в городе Ленина. Много раз мы договаривались об этой встрече.

Еще на исходе 1947 года Павел Петрович писал мне: «Хотелось бы повидаться с Вами и посмотреть на нынешний Ленинград... откладывать не приходится все по той же причине нарастания годовых ступеней». Письмо заканчивалось обещанием: «Итак, надеюсь, что новый год принесет мне встречу с Вами в Ленинграде».

Прошел еще год. При каждой из наших встреч в Москве назначались новые сроки для поездки Бажова в Ленинград, а она все откладывалась. Вот почему и на этот раз у меня не было окончательной уверенности в том, что ничто не помешает включить в число наших маршрутов еще один — ленинградский.

Совместных маршрутов у нас было много. Где только не пришлось нам побывать вместе!

Начались наши маршруты в 1942 году поездкой в родные места Павла Петровича. Побывали мы в Полевском, где он начал свой жизненный путь. Поднимались на Думную гору, у подножия которой стремительно течет Полевая, на чьих берегах проходила юность писателя, овеянная его теплыми словами о дедушке Слышко — хранителе тайных сказов уральских рабочих. Взирались мы на Азов-гору, с которой так хорошо видны величавые просторы Среднего Урала, его горные цепи, бегущие грядками с холодного севера на далекий юг.

Как-то особенно легко дышалось здесь, на шестисотметровой высоте. Веял ветер, необычайно легкий, неповторимый, о котором и понятия не имеет тот, кто не побывал на горных вершинах Урала.

Остановившись на отмеченной триангуляционным знаком самой высокой точке Азов-горы, творец бессмертных уральских сказов говорил о древней и новой славе Урала. И казалось, не с нами говорит, а со всем родным Уралом, со всей нашей необъятной страной.

Простой и скромный, в своей неизменной темно-синей куртке и легких сапогах, поглаживая бороду, Бажов стоял под жарким июльским солнцем на командной высоте древнего Каменного пояса, превращенного в мощный арсенал Страны Советов.

А там, внизу, виднелись огромные корпуса заводов, раскинувшиеся на обновленной земле, дождавшейся того часа, о котором мечтал вещей человек Соликамский, говоривший:

«Будет и в нашей стороне такое времечко, когда ни купцов, ни царя даже званья не останется».

Побывали мы тогда и на Гумёшках, где, по преданию, скрывалась Хозяйка Медной горы. Не забыли заглянуть на Зюзельку. А потом через Косой брод отправились в обратный путь. Посидели здесь у Чусовой, поглядели по пути на старательские шурфы. И везде видели созидательный труд советского человека, изумительным певцом которого был Бажов.

Много и других наших маршрутов навсегда сохранится в моей памяти. В их числе неоднократные поездки в Нижний Тагил, где когда-то творцы хрустального лика посрамили немца Двоефедю и где теперь новые

люди — люди советские, далеко превзойдя сказочных богатырей, творили великие дела.

Побывали мы на знаменитой железорудной горе Высокой и на Красном камне, поглядели на берега, с которых начал свой легендарный путь в Сибирь Ермак с его мужественной дружиной.

Миновав Черноисточенский завод, съездили на Уральский главный хребет — в Висимо-Шайтанский завод, на родину Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Везде Павел Петрович встречался и беседовал с сотнями людей. К нему приходили прославленные рабочие и мастера, инженеры и директора заводов.

Часто мы видели у себя в гостинице оживленные лица ребят, пришедших, чтобы пригласить Бажова в свою школу. Постоянно приходили начинающие писатели. Очень много было встреч с партийными работниками, с которыми Павел Петрович особенно любил беседовать.

Для всех он находил доходчивое слово, всем охотно помогал, радуясь встречам с людьми, общению с народом.

После каждой такой поездки я возвращался все более обогащенным и тем, что видел в чудесных уральских местах, и тем, что слышал от друга, хорошо знавшего Урал и его людей.

Вот почему по возвращении из Москвы я ждал теперь с таким нетерпением Бажова, чтобы начать наш новый маршрут.

И как ни знаю я Ленинград, как ни много в нем у меня своих любимых уголков, я думал, поджидая Павла Петровича, о том, что этот новый маршрут, лучше всех известный мне, обогатит меня, как и все прежние, пройденные вместе с Бажовым.

Через три дня после моего возвращения из Москвы я уже встречал на Московском вокзале в Ленинграде Павла Петровича с Валентиной Александровной, верной спутницей всей его жизни.

Глядя на него, выходящего из вагона «Красной стрелы», я невольно вспомнил о том, как недавно он писал мне:

«Аппетит к работе не погас, а возможности сильно ослабели... Нарастание идет быстрее, чем можно было

ожидать. Годовые ступени, оказывается, в моей лестнице неровные».

Выйдя из здания Московского вокзала, Павел Петрович остановился и задумчиво сказал:

— А ведь занятно, вроде как по первопутку! Где только не довелось побывать, даже в старом Петербурге, а Ленинграда так и не видал.

Когда мы уселись в машину, я попросил шофера ехать быстрее, чтобы гости могли позавтракать и отдохнуть с дороги.

— А нельзя ли помедленнее,— заметил, усмехнувшись, Бажов.— Куда нам спешить? Поехать бы к Финляндскому вокзалу.

Несмотря на то что ему уже пошел восьмой десяток, Павел Петрович оставался жизнерадостным, деятельным, неутомимым, всегда стремящимся вперед.

— Ну что ж! К Финляндскому так к Финляндскому.

По Невскому и Литейному проспектам, через Литейный мост мы приехали на площадь, где запечатлен на вечные времена образ Ленина.

Долго стоял здесь Бажов, глядя на величественную фигуру вождя.

Затем, по требованию Павла Петровича, мы были в Музее Ленина и осматривали исторический броневик, на котором изображен у Финляндского вокзала Ленин, произносящий свою первую речь по возвращении в Россию...

От дома, где помещался когда-то штаб революции, а теперь находится Музей С. М. Кирова, мы направились к набережной, где Большая Невка отделяется от Невы.

Перед нами высился пришвартованный к стенке легендарный крейсер «Аврора».

Павел Петрович подошел к часовому, стоявшему на набережной, и со своей теплой, чуть лукавой улыбкой спросил:

— А с часовым разговаривать можно?

Нахимовец сперва подтянулся и деловито посмотрел на нас, а потом молодость взяла свое. Глядя на Павла Петровича, он по-детски улыбнулся и сказал:

— Разговаривать нельзя.

Потом,— видно, уж очень его заинтересовал Бажов,— добавил:

— А спросить можно!

И тут же с мальчишеской хитрецей заявил:

— А я знаю, о чем вы меня спросите! О пушке?

Павел Петрович посмотрел на него из-под бровей, прикрывавших глаза, в которых играли веселые искорки.

— Правильно. Военный человек все должен знать. А часовой уж особенно...

На следующий день мы были в Зимнем дворце и осматривали Малахитовый зал.

Пострадавший от гитлеровских бомбардировок, этот зал непосредственно связан с одним из лучших сказов Бажова.

За окнами легко серебрились синие просторы величавой Невы. На противоположном берегу видны были прикипшие к земле бастионы Петропавловской крепости, в казематах которой царское правительство тщетно пыталось задуть революционную мысль.

А здесь, перед нами, во всем его великолепии было это единственное в своем роде творение крепостных мастеров. Здесь все говорило об изумительном искусстве тех, кого воспевал в своих сказах Бажов.

Легко возвышались у продольных стен малахитовые колонны, парами поддерживавшие лепной потолок. Посредине боковых стен расположились выложенные малахитом камини, глядя друг на друга через весь зал. Огромные зеркала, установленные над каминными, как бы раздвигали перспективу, отражая малахитовые колонны и пилястры, заменившие их у боковых стен.

Искусство творцов зала замечательно проявилось в том, как они здесь сумели все подчинить малахиту.

Они отодвинули как бы на второй план пышные капители и базы колонн и пилястров, изготовленные из литой золоченой бронзы. Также на второй план отходили и золоченая лепка потолка и покрытая золотом затейливая резьба, в изобилии обрамлявшая шесть высоких двустворчатых дверей, отделанных бронзой с золотом.

Как полотно великого мастера не может быть заслонено самой пышной и затейливой рамой, окружающей его, так и здесь весь этот блеск, все это золото лишь подчеркивало неповторимое великолепие един-

ственного в мире камня, встречающегося только на далеком Урале, в царстве Хозяйки Медной горы.

Мимо нас шли отдельные посетители, проходили гурьбой экскурсанты, которыми всегда полон Эрмитаж. Внимательно осматривая малахитовый зал с его богатствами, все они поглядывали на Павла Петровича, углубившегося в свои думы.

На всем окружающем его здесь была видна рука творцов, которым он посвятил свое проникновенное слово.

В отблесках малахитовых колонн и пилястров, казалось, видны лица горных мастеров из его сказов, постигших самое душу камня и умевших раскрывать его чары так, что они продолжают волновать и в наши дни.

Огромная малахитовая ваза, стоявшая в простенке между окон, вызывала совершенством своих форм и подбором рисунка малахита мысль о бессонных ночах Данилы, мастерство которого было столь совершенным, что считалось народом вынесенным из чудесных подземных садов.

Павел Петрович остановился у стола с малахитовой столешницей. В ее полированной поверхности отражался, усиливая природную игру камня, своеобразный рисунок стоявшей на столе шкатулки.

Сентябрь в Ленинграде обычно хорош. На этот раз он был великолепен. За две недели пребывания Бажовых не пришлось увидеть даже малое облако.

— Самый солнечный город, оказывается,— не раз шутовливо говорил Павел Петрович, усаживаясь в машину.

Две недели с утра до поздней ночи мы колесили по Ленинграду и его пригородам.

До Зеленогорска — по северному побережью и до Лебяжьего — по южному побережью Финского залива, пожалуй, не осталось сколько-нибудь примечательных мест, в которых не побывали бы мы в те дни.

Павел Петрович хотел увидеть буквально все, чем богат и славен Ленинград и его окрестности.

Мы совершили много поездок в заводские районы. Неоднократно проезжали через площадь, в центре

которой возвышается величественная фигура Сергея Мироновича Кирова.

Внимание Павла Петровича привлекал поистине новый город, выросший за годы советской власти на старой питерской окраине, носящий теперь имя С. М. Кирова.

Шедшие на очередную смену рабочие Кировского завода не раз встречали Бажова у огромного портала, украшающего вход на этот завод-гигант.

На Выборгской стороне много раз видали его рабочие идущим вдоль Большой Невки.

И везде Бажов находил слово, идущее к самому сердцу людей созидания, людей труда.

В Белом зале Дома писателей состоялась его встреча с ленинградцами. Зал был переполнен. Послушать и повидать творца уральских сказов пришли писатели и ученые. Особенно порадовало Бажова то, что в зале он увидел и ленинградских рабочих.

В своем вступительном слове я сказал о том, что очень хотелось бы видеть поставленный рядом с малахитовой шкатулкой хрустальный ларец, заполненный сказами о мастерстве сынов питерского рабочего класса, которыми всегда был славен город Ленина.

— Хрустальный ларец — это очень хорошо, — сказал Бажов.

И тут же добавил, обращаясь к аудитории:

— А заполнять этот ларец придется вам!

Теплое его слово затем слушали затаив дыхание ленинградские ребята во Дворце пионеров. Выступление Бажова закончилось здесь тем, что вся аудитория, оставив свои места, побежала к писателю. Каждому хотелось, чтобы именно к нему было обращено хоть несколько слов творца «Малахитовой шкатулки». Десятки его книг были протянуты с просьбой сделать надпись об этом дне.

Много было и других встреч и бесед. Каждая из них оставила незабываемое впечатление у всех, кто видел и слушал Бажова.

Ленинград, 1952



ЮРИЙ ХАЗАНОВИЧ



«КЛЮЧ-КАМЕНЬ»

В «Малахитовой шкатулке» Павла Петровича Бажова есть сказ о чудесном и редком камне, обладающем необычайными свойствами, который землю отворит и сделает людей счастливыми. Достанется этот камень только тому, кто поведет народ к счастью.

Когда перечитываешь этот замечательный сказ, приходит мысль, что его автор сам обладал таким волшебным камешком — ключом к сердцам миллионов людей.

Таким ключом Павлу Петровичу служила его сыновья любовь к своему народу, его поистине народная простота. Люди, не знавшие Бажова, никогда не видевшие его, читая «Малахитовую шкатулку», безошибочно угадывают автора — сердечного, мудрого и простого русского человека. Именно таким и был Павел Петрович и в творчестве, и в жизни.

Вот он, чуть запыхавшись, входит в Союз писателей, ставит в угол постоянную свою спутницу — веревочную, почти невесомую палочку с черным шелковым шнурком, снимает плоскую кепку, приглаживает

седые волосы на облысевшей красивой голове и, чуть исподлобья, близоруко всматриваясь в лица поднимающихся навстречу ему людей, здоровается со всеми за руку:

— Ну, здравствуйте!

Разговор смолкает, быть может, на мгновение, но Павел Петрович, быстро поймав нить, включается, и спустя минуту беседа уже искрится тонким юмором, сверкает меткими, образными выражениями и звонко льется, прерываемая перекатами смеха.

С Павлом Петровичем было одинаково легко и рабочему, и ученому, и пионеру. Он ни к кому не приспособливался, всегда оставался самим собой — внимательным, вдумчивым и простым человеком с глубокой, открытой и ясной душой.

Многие годы Павел Петрович возглавлял Свердловскую писательскую организацию. Руководитель он был особенный. Вряд ли кто-нибудь сможет вспомнить случай, когда бы Павел Петрович приказывал, командовал, в административном жару повышал голос. Все это было чуждо ему.

— Вот что, товарищи, — говорил он, — надо, по-моему, сделать так-то...

И пожелание Бажова, высказанное спокойным, тихим голосом, было для нас неоспоримым.

Однажды общественные организации города обратились к Союзу с просьбой составить один политический документ. Бывший в то время оргсекретарь, наш, свердловский писатель, прислал мне пакет с материалами для этого документа и письмо. На страничке рукописного текста оргсекретарь в категорической форме предлагал мне написать прозаическую часть документа, связаться с К. Мурзиди, который должен дать стихи, затем, совместно отредактировав документ, сдать его такого-то числа.

Письмо заканчивалось словами: «Это распоряжение Павла Петровича, в доказательство чего он прилагает сюда свою руку».

А ниже знакомым округлым и нестройным почерком была сделана приписка: «Только не распоряжение, а просьба. П. Бажов».

На письме дата — 23 октября 1943 года. Я сохранил

это письмо не только ради строки, написанной рукою Павла Петровича, но ещё и потому, что строка эта лишний раз раскрывала характер Бажова.

Популярность Бажова была огромна. Идти с ним по улице и разговаривать было почти невозможно: он беспрерывно кланялся, отвечая на приветствия встречаемых. Зрение его ухудшалось с каждым годом, и, поздоровавшись с кем-нибудь, он тихо спрашивал:

— А это кто?

Ребятишки, хорошо знавшие дедушку Бажова не только по портретам, но и по бесчисленным встречам во Дворце пионеров и в школах, завидя его на улице, останавливались, восторженно шепча друг другу: «Бажов!» — и салютовали ему.

Павел Петрович, улыбаясь, кивал им приветливо и, проходя мимо, прикладывал пальцы к козырьку. А ребята долго еще стояли на месте, провожая взглядом любимого писателя...

В годы войны со мною был такой случай. В комнате на окраине Свердловска, где я жил, было постоянно холодно. Мне посоветовали обратиться к печнику, «профессору» по этим делам.

Это был, как говорят на Урале, «могучий» старик, богатырского роста и сложения. Я заговорил с ним о немилосердной уральской зиме, о ненасытной жадности печи и о том, что все мои надежды на его мастерство. А он, бросив пренебрежительный взгляд на печь, с нескрываемым сожалением рассказал мне, что раньше он работал на мартенах Верх-Исетского завода и «этим делом» стал заниматься совсем недавно, по старости.

Деловито осматривая печь, он недовольно ворчал, кряхтел, прищелкивал языком.

— Дорого, шибко дорого станет вам ремонт,— как будто сочувственно проговорил печник, опускаясь на табурет у стола.

Он открыл алюминиевую табакерку с крупным зеленоватым самосадам, достал из кармана книжечку папиросной бумаги, молча, не спеша принялся вертеть папироску.

Вдруг глаза его сузились и потеплели, губы разжались, широкая, добродушная улыбка осветила суровое лицо.

— Павел Петрович! — проговорил печник так, словно встретил старого доброго знакомого. Он отложил папиросу и обеими руками потянулся к лежавшей на столе книге в красочной обложке. Это была книга Бажова «Ключ-камень».

Раскрыв ее и увидев на титульном листе дарственную надпись, печник надел очки и начал читать про себя, шевеля губами.

— Вот как! — сказал он значительно.

— Читали? — спросил я.

— Как же! — немного удивленно отозвался он. — Кто ж Бажова-то нашего не читал!

И, листая страницы, он заговорил о Бажове — сыне горнорабочего со старого уральского завода в Сысерти, о Бажове — народном учителе, участнике гражданской войны и коммунисте, большом писателе и человеке.

— Нелегкая жизнь ему пришлось, Павлу Петровичу-то, — задумчиво сказал печник. — Ведь я годами старше его, а он против меня вовсе старик...

— Вы из тех же мест, из Сысерти? — спросил я.

— Нет. С малолетства в Екатеринбурге. Отец тоже по печному делу работал. — Он угадал причину моего вопроса и улыбнулся. — Своего писателя как же не знать!

Затем печник засыпал меня вопросами о доме Бажова, о его семье, о нем самом.

— Так, говорите, работает Павел Петрович?

— Много работает. Скоро выйдет его новая книга — «Сказы о немцах».

— Случись бы что с его печью, была бы причина заглянуть к нему, побеседовать, — помолчав, заговорил печник. — Правду сказать, сысертские да полевские как приезжают в город — обязательно в гости к Бажову. Тянутся к нему люди. Понимает он душу рабочего человека... А без причины все-таки неловко идти: работы у него много, важной работы, а года уже большие, отнимать время жаль...

Так мы сидели и разговаривали. Печник, казалось, забыл о цели своего прихода. Совершенно невольно и

напомнил ему об этом, когда стал потирать озябшие руки.

— Да, температура у тебя тут неподходящая,— проговорил он совсем по-свойски, перейдя на «ты». — Это не дело, брат...

Он взглянул на печь, потом на меня, вспомнил, видимо, свои слова в начале знакомства, свои раздумья о цене.

— Ну, вот что,— сказал он, решительно поднимаясь.— Заговорились мы с тобой, а пора и за дело браться. Старое ведро найдешь в своем хозяйстве?

— Мы еще не договорились... — напомнил я.

— Да что там рядиться! — Печник махнул рукой, весело усмехнулся и не задумываясь назвал неслышанно низкую плату...

Много раз, сидя за письменным столом, я ловил себя на мысли: «А что скажет Павел Петрович, когда прочтет то, что я написал?»

Такие мысли, несомненно, знакомы всем, кто работал и жил рядом с Бажовым. Он был строгим критиком, и мы с волнением несли свои произведения на его суд. Он внимательно следил за работой каждого из нас, всегда знал, кто чем занят, советовал, выслушивал, ободрял.

Павел Петрович помогал многим молодым литераторам.

Помнится, однажды перед собранием мы встретились в читальном зале Дома работников искусств. Речь зашла о помощи молодым, и тогда я впервые услышал мнение Павла Петровича на этот счет.

— Часто ведь бывает так,— говорил он,— к мастеру-гранильщику приходит молодой человек: учи, дескать, гранильному делу! Ну, мастер выкладывает ему начистоту все, что знает, учит его, не считаясь со временем. Время-то проходит, а из ученика толку не получается, не чувствует он камня, не понимает его. У него, может, призвание к другому, из него, может, вышел бы первоклассный токарь, а ему захотелось и гранильщики. И что же? Себя обворовал, у старика

мастера время отнял напрасно. А надо бы человека своевременно направить, подсказать...

Павел Петрович считал: если ясно видно, что человек не способен к литературной работе, что у него ничего не получается и вряд ли когда-либо получится, то такому человеку нужно посоветовать попробовать свои силы на другом деле — это будет для него лучшей помощью.

Об одном свердловском литераторе Павел Петрович как-то сказал с искренней горечью:

— Критикуем его, тянем, а он, вполне возможно, был бы хорошим слесарем...

Людям одаренным Павел Петрович помогал с охотой, следил за судьбой и работой этих людей. Некоторые произведения свердловских авторов он перечитывал по два-три раза, делая замечания и проверяя, как учел их автор. Иные авторы, зная о слабом зрении Павла Петровича, приходили к нему домой и читали свои произведения вслух.

Бажов, член партии с 1918 года, был не только старейшим коммунистом в партийной организации Союза писателей, но и самым исправным, образцово дисциплинированным ее членом. Когда вопрос касался партийной дисциплины, он не давал себе ни малейшей скидки ни на возраст, ни на плохое состояние здоровья. Бывало, знаешь, что Павел Петрович нездоров, и догадываешься, что он, помня о собрании, может прийти, несмотря ни на что. Учитывая характер Бажова, звонишь домой, чтобы Павла Петровича не выпускали. Домашние довольны: оказывается, они «воевали» с ним, но пока безуспешно. Огромная занятость творческими, государственными и общественными делами никогда не мешала Павлу Петровичу быть исполнительным и точным. Никто не вспомнит случая, чтобы Павел Петрович когда-нибудь опоздал на собрание. Напротив, он неизменно являлся на пятнадцать — двадцать минут раньше.

У нас постоянно не хватает времени, мы постоянно спешим и постоянно что-нибудь не успеваем, куда-то опаздываем, чего-то не доделываем. Павлу Петровичу это было чуждо.

Когда ему случалось уезжать в командировку, он платил членские взносы за месяц вперед, чтобы не оказаться должником.

Долгое время Бажов находился на профсоюзном учете в Свердловгизе, затем перешел в Союз писателей. Профорг Союза не справлялся со своими обязанностями, и Павел Петрович нередко напоминал ему о сборе членских взносов. Несколько раз я слышал, как Павел Петрович сетовал на профорга, иногда в шуточной форме, иногда и серьезно:

— Пока в Свердловгизе на учете состоял, был передовым человеком. А тут стал злостным неплательщиком...

Мягкий, спокойный человек, к которому вполне применимы выражения: «Воды не замутит», «Громкого слова не скажет», Павел Петрович в решении принципиальных вопросов был непреклонен, непримирим, даже горяч.

...В годы войны редактор газеты «Уральский рабочий» Л. С. Шаумян как-то рассказал Павлу Петровичу о верхисетском прокатчике Василии Оборине. Рабочие говорили об Оборине так: «С какой стороны ни поверни — все коммунист!» Вскоре мы прочитали эти слова в новом сказе Бажова «Круговой фонарь». Конечно, не случайно так живо тронула Павла Петровича эта тема, не случайно вызвала в нем такой отклик. «С какой стороны ни поверни — все коммунист!» — эти слова целиком применимы и к самому Павлу Петровичу.

Вот еще один эпизод, как нельзя лучше раскрывающий характер Бажова.

Накануне его семидесятилетия Свердловский радиокomitee задумал осуществить передачу, в которой должен был принять участие и юбиляр.

Но Павел Петрович плохо чувствовал себя, не выходил из дома и сказал, что не сможет подготовить выступление.

Стараясь найти выход из положения, руководители радиокomitee предложили Павлу Петровичу, чтобы кто-нибудь из писателей набросал текст его выступления. Он согласился и назвал меня и К. Мурзиди.

Мы знали, что Павел Петрович не любит шпаргалок, что написанное нами будет служить для него лишь отправной точкой. Однако, очутившись перед чистым листом бумаги, мы поняли, насколько были легкомысленны, согласившись писать за Бажова!

Целый день ушел у нас на сочинение полутора страничек машинописного текста. Вечером того же дня радиокомитет должен был записать выступление на магнитофон.

Мы приехали к Бажовым вместе со звукооператором и режиссером. Пока радисты устанавливали в столовой аппаратуру и разматывали длинные провода, Мурзиди и я прошли в кабинет к Павлу Петровичу.

Вооружившись своими сильными очками, он внимательно и неторопливо прочитал наше сочинение и поблагодарил нас. У нас отлегло от сердца.

Звукооператор поставил на письменном столе перед Павлом Петровичем алюминиевый бочоночек микрофона и спросил, можно ли начинать.

— Начинайте,— сказал Павел Петрович и снял очки.

Было видно, что он волнуется — потирает руки, часто приглаживает мягкие седые волосы.

Аппарат включили, Бажов, глядя перед собой и по-прежнему взволнованно потирая руки, начал говорить. Но слова как-то не клеились у него, он быстро сбился и закашлялся.

Мне показалось, что он смущается нас, и я спросил, не оставить ли его одного. Павел Петрович благодарно кивнул головой. Мы вышли в столовую, где вокруг стола, на котором сверкал своими никелированными частями магнитофон, стояла вся семья Бажовых, включая маленького Никитку, застывшего с какой-то игрушкой в руке.

Диски аппарата бесшумно завертелись, и в тишине раздался знакомый глуховатый голос Павла Петровича.

Мурзиди и я слушали его с особенным и понятным вниманием, стараясь не пропустить ни слова.

Из всего, что сказал Бажов, лишь одна короткая фраза, в которой мы называли имена знатных землевладельцев, осталась почти без изменений. Больше

ничего похожего на то, что мы сочинили, нам услышать не довелось.

Это было содержательное, умное и, как всегда, самобытное бажовское выступление:

Несколько слов хочется сказать о языке Бажова. Стиль его сказов поражает и пленяет читателя своей метафоричностью, яркой выразительностью, подлинно народной образностью.

Такой же была и обычная речь Павла Петровича. Вот несколько примеров.

Как-то в одной из организаций слушался отчет Свердловского отделения Союза писателей. Руководителей Союза упрекали в недостаточном росте писательской организации.

В заключение выступил Павел Петрович. Он признал упреки справедливыми, признал вину руководства Союза, но заметил, что некоторые организации недостаточно внимательны к работе Союза и его членов. «А скворушко не залетит в домик, если дырочка не обращена к солнцу», — закончил Бажов.

Однажды мы разговорились с Павлом Петровичем об одном старом уральском враче. Большая часть его жизни, трудной и честной, прошла при царизме, прошла безрадостно и бесславно. Только при советской власти, когда врач был уже стар, он получил полное признание, благополучие и славу.

Павел Петрович задумчиво и горестно сказал:

— Получила белка ведро орехов, а у нее и зубов-то нет...

На вечере в Филармонии, посвященном семидесятилетию Бажова, отвечая на многочисленные приветствия, Павел Петрович между прочим сказал:

— Последнее время меня очень хвалят. Я так думаю на этот счет. Когда тебя хвалят, это не беда. Если ты голову поднимешь после этого, тоже не беда. Но если ты руки опустишь, это уж вовсе беда...

Павел Петрович был большой жизнелюб. Да и могли быть иным человек, воспевавший созидательный труд, сам великий труженик, любивший всем сердцем людей труда, творцов жизни и посвятивший себя служению этим людям!

Но сознание старости временами, видимо, удручало Павла Петровича. Однажды, когда мы шли по улице Карла Либкнехта, он показал палкой на белый дом с железным навесом над парадным входом:

— Шумный был домишко. Здесь собирались студенты, приезжавшие на летние вакации. Весело бывало. А в живых никого уже нет...

Нетрудно было угадать печальный ход его мыслей. Вдруг Павел Петрович спросил:

— Стихотворение Исаковского «Про Степана и про смерть» знаете?

Я не знал этого стихотворения. Постукивая палочкой, Павел Петрович негромко прочел:

К Степановой хате весной, перед вечером,
Подкралася смерть неприметной тропой.
— Степан Алексеич! Раздумывать нечего...
Степан Алексеич! Пришла за тобой.

Одышка мешала ему. Он помолчал и добавил:

— Смерть приходила к старику, а он придумывал одно дело за другим и отсрочки требовал. Одним словом, обманул ее старик... Очень хорошее стихотворение...

Такие рассуждения не часто можно было услышать от Бажова. До решительного приступа болезни он был бодр, много работал, в разговоре шутил остроумно и весело.

Когда состояние здоровья Павла Петровича стало заметно ухудшаться, я несколько раз слышал от него мечтательное:

— Еще бы годочков пять...

Вскоре болезнь неумолимо приковала его к постели, он лежал в больнице в Москве. А в это время проходили выборы в местные Советы, и писатели вторично выдвинули кандидатуру Павла Петровича Бажова в городской Совет.

Из Свердловска запросили Бажова о согласии баллотироваться. Павел Петрович тотчас прислал свое согласие. Но это было не признаком полноты жизненных сил — силы быстро покидали его, — а выражением безграничной любви к жизни, страстного желания не покидать ее.

Почти вслед за письмом от Бажова в Свердловск пришло тяжелое известие о кончине Павла Петровича.

Счастливо сочеталась любовь к Бажову — писателю и человеку. Особенно ярко проявлялась эта народная любовь в юбилейные дни, когда люди в одиночку и целыми делегациями шли поздравить своего писателя, несли ему слова сердечного привета, цветы и подарки. Тесный бажовский дом распахивал двери, радушно принимая дорогих гостей.

Много теплых, прочувствованных строк посвятили в такие дни свердловские писатели и поэты своему старшему другу.

К шестидесятипятилетию Павла Петровича в Свердловском отделении Союза выпускали специальный номер стенной газеты, редактором ее была критик Л. И. Скорино. Все писатели получили приглашение участвовать в этой газете.

Я написал сказ «Ключ-камень», который построил на материале бажовского сказа того же названия, немного изменив сюжет. Однако сдать его в редколлекцию, не выяснив, как отнесся к нему Павел Петрович, я не решался.

Набравшись смелости, я прочел сказ в присутствии Павла Петровича, Н. Ляшко и И. Садофьева. Вместо оценки Павел Петрович попросил меня перепечатать сказ и подарить ему, что я и выполнил на другой день.

Вот этот сказ:

«КЛЮЧ-КАМЕНЬ»

(П. П. Бажову)

К этому ремеслу приверженности мало. Даже в наше-то время трудно мастера по этим делам сыскать, чтоб с полным пониманием был. Потому — ремесло это мученское, старательное.

Старатели есть — кто по камешкам по всяким, кто по золоту. Понятно, без умения не разберешь, какого сорту да весу, какой воды.

С золотом-то куда проще. Золото, правда, слабого человека сгубить может, а про камни-то разговоры говорят: какой камень здоровье хранит, какой сон оберегает либо там тоску отводит. Это все, по моим мыслям, от безделья рукоделье, при пустой беседе язык почесать — и больше ничего.

Только один сказ о камешках перенял.

Есть, сказывают, в нашей земле камень-одинец: другого такого нет. Тяжелее золота, тверже самого дорогого камня. Небывалой воды, чудодейственной силы камень. Заключен в том камне ключ к человеческому сердцу, и счастье человеческое в нем.

Искрится он живым, ярким светом, и если свет этот в душу человека проникнет, всю жизнь будет человеку радостно и светло.

Неизвестно только, в котором месте находится камень, и сам-то в руку не придет, искать надо.

Тут, на земле уральской, был большой рудник. Золото и дорогие камни тут выбирали. При казенном положении работы вели. Начальство в чинах да ясных пуговках, палачи при полной форме по барабану народ на работу гоняли, под барабан сквозь строй водили, прутьями захлестывали.

И вот промеж этой муки мотался паренек — Счастливого глазок. Это прозвище ему такое придумали за большой талант на камни.

Никто не подметит, а он выхватит из земли камешок самый ловкий, вовсе дорогой... И начальству отдаст. Не потому, что парень без сноровки, а потому — не дорожил он теми пустыми камнями. От них одним житье, другим каторга.

Решился парень камень сыскать, от которого, сказывали деды, всем счастье поровну будет. Может, и еще кто за тем камнем охотился, да мало таких. Люди все больше о своем собственном счастье хлопочут.

И потянулись годочки. Много лет прошло. Полная перемена жизни настала.

А Счастливого глазок всю землю уральскую исходил вдоль и поперек. Состарился старатель, оброс белехонькой бородой, но только глаз его остался молодым, счастливым, а сила душевная окрепла.

По золоту ходил, ступал по драгоценным камням, а богатства не нажил, и мысли о том не имел. Только и нажил, что шкатулочку махонькую, зеленую, малахитовую.

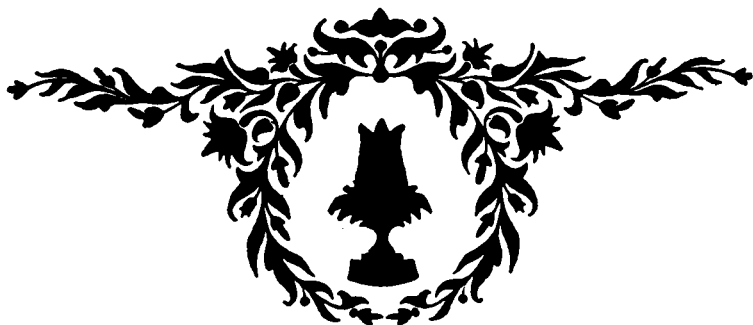
В один ясный денек пришел старатель к человеку, что пуще всех об человеческом счастье беспокоится, и поставил на краешек стола свою шкатулку. А вокруг стола ходоки от племен да народов разных сидят.

Оглядел человек шкатулку быстрым, всевидящим глазом и достал со дна ее камешок. И ровно солнце заглянуло в комнату, посветлело все кругом, засверкало, заискрилось, и люди никак помолодели.

Поднял человек над головой тот чудесный камень, чтобы миру всему было видно, и говорит:

— Вот он, ключ-камень — живое, народное, правдивое слово! Вот оно, богатство нашей земли!

Свердловск, 1952



МИХАИЛ БАТИН

●

«ОСТАВИТЬ ЛЮДЯМ ДОБРОЕ»

Август 1939 года мне памятен. Я только что прочитал «Малахитовую шкатулку». О писателе мне почти ничего не было известно. Правда, в начале года я познакомился со статьями К. Боголюбова и К. Рождественской об этой книге сказов, взял ее на заметку — прочитать! Книга оказалась необычной, не сравнимой ни с чем из прочитанного прежде. Подумалось: о ней и писать следует как-то иначе... Но как? Этого я не знал. Потом, как это часто бывает, очередные, совершенно «неотложные» дела и заботы постепенно приглушили праздничное настроение, возбужденное волшебной «Шкатулкой» в 1939 году.

Кстати сказать, она сразу же была воспринята мною как книга писательская, а отнюдь не фольклорная. И в образе рассказчика Слышко я увидел давно известный литературный прием. И позднее, когда мне довелось впервые встретить Павла Петровича Бажова, я узнал в нем именно автора сказов, автора-рассказчика.

Осенью 1943 года группа свердловских писателей приехала в Нижний Тагил, где в ту пору я работал. Была задумана коллективная книга об этом замеча-

тельном городе. П. Бажов выступил с докладом о том, в чем суть народного понимания истории Урала, об опыте работы над знаменитыми «Былями горы Высокой».

Я смотрел на Павла Петровича, слушал его, оценивал сказанное. Мысли Бажова были близки мне. Но я не подошел к писателю. Время было такое, что теперь уже действительно неотложные дела заставляли меня, как и других, жить бегом, чтобы не упустить чего-то необходимого.

Следующая встреча с Бажовым состоялась в новых условиях, уже после войны. Разговорились на одном из пленумов областного комитета партии,— разговорились непринужденно и просто, будто давным-давно знакомые люди. А затем встречи продолжались — по разным поводам, от общественных до сугубо личных.

... Служебный кабинет партийного работника. Дело, которое привело Бажова сюда, уже решено, но он не уходит. По-видимому, старому писателю интересно, важно посмотреть, с чем идут люди в партийный комитет.

Пришла актриса одного из областных театров. Я назвал посетительнице Павла Петровича.

— Очень хорошо,— сказала она,— что Павел Петрович здесь. Он же депутат Верховного Совета.

Слова о Верховном Совете не удивили. Может, и действительно в самые высокие органы власти придется обратиться. Случалось и так, что в областной комитет приходили письма просителей или жалобщиков — самого неожиданного содержания. К примеру, такое: живем-де с подругой в одной комнате, подруга выходит замуж за бесквартирного жениха, а райисполком никому из нас жилплощадь не дает; просим помочь... :

Трудно жилось после войны людям. Необходимо было помогать и в таких делах, которые казались незначительными только для поверхностного взгляда.

...И вот актриса живо, взволнованно поведала об утеснениях, которым она подвергалась со стороны администратора. Естественно, мне захотелось тут же помочь человеку. Позвонил куда следует, попросил вникнуть в дело, разобраться в нем. Дал понять, что сочувствую обиженной.

Когда посетительница ушла, Павел Петрович, пососав трубку, глуховатым своим голосом неторопливо заговорил, как будто рассказывая о том, что он увидел в этом человеке:

— Талантливая... Художник! Настоящая актриса! Таких беречь да холить надо. — Он с удовольствием причмокнул трубочкой. — Кусочек спектакля... Образ-то, образ администратора — это же сатира... Яркая, острая! Кое-кого знакомых сразу узнаешь... Хорошо...

Он заглянул в пустую трубку, поскреб ее краешек ногтем.

— Ну, за полное соответствие оригиналу не поручусь. Она играла только одну сторону — обидчика. Ту, что задела ее...

Так потом и оказалось: яркий образ администратора, созданный артисткой, «полного соответствия оригиналу» не имел...

Помню еще одно посещение П. П. Бажова. Стоял он, опершись локтями о стол, трубочку пустую потягивал — курить ему было нельзя, — поглядывал из-под опущенных век, слушал, помалкивал.

Только что закончился разговор, касавшийся церковных дел. Старый писатель задумчиво промолвил:

— Живут... Да не так уж и мало их. Это понять надо. Вот, к примеру, монах... По-плакатному смотреть — несообразность какая-то. Дикость. А ведь русский человек. Только горбатый. Артамонов-то Никита емкий образ. По-горьковски емкий. У Никиты горб в душе не только ведь от горба на спине. Старая русская жизнь горб ему натерла. А вот отчего порой горб у наших людей бывает, тут думать надо. Мало над человеком думаем.

После паузы заговорил снова:

— Вот, скажем, неблагозвучное имя. Вроде пустяк. А ведь и оно может человека горбатым сделать. Попы мастера были на это. Назовут кухаркина сына Псоем каким-нибудь или Пигасием. А сверстники еще с детства задразнят. Вот у слабенького уже горбик в душе. Маленький, а горбик... Имена людям давать надо красивые, звучные. Но простые, скромные. Нарциссы — это ведь тоже плохой.

Руководил Бажов местной писательской организацией мягко, проникновенно, мудро. Как-то сообщил ему я:

— Литератор один в обком приходил. Жаловался. Обокрал-де его собрат по перу. Сюжет украл. В трамвае, говорит, было рассказано, а потом появилось в сочинении «сбрата».

Посмотрел он усталыми глазами из-под тяжелых век, потом совсем опустил их, подумал. И, должно быть, рассердился. Заговорил отрывисто, с паузами, легонько постукивая концами пальцев по столу:

— Несерьезно это. Чехова-то попробуй обокрасть! Да он сам... не то что давал — рассыпал перед людьми. Бери! Богатая душа — она щедрая. А тут заведется идея — одна, одно зернышко... возьмет кто — у самого ничего не останется. Вот и прячут... в лохмотья. И разговоры эти о воровстве — от нищеты душевной. Кому тут сочувствовать? Писатель-то учитель! А коли ты духом нищ, что же лезешь в учителя? Хоть уж не признавался бы в убожестве своем!

Потом успокоился. Заговорил не то будто про себя, не то разъясняя собеседнику:

— Цепляются за сюжетные ходы да повороты. А дело-то в характере. В него вникнуть надо. Тут ходы да повороты сами откроются. Да какие! Характера нет — и образа нет. И литературы нет. Ход-поворот — его и украсть можно. Или просто услышать от кого. Потом к Ивану Петровичу или Петру Иванычу прийти. Ну, нитки все равно видно будет. Вот и получается — не та литература. А характер — его в жизни увидеть надо. Да понять. Ход-поворот — это тоже, конечно, из жизни. Только это второе, а может, десятое...

Усмехнулся чему-то своему. После паузы как-то затрудненно, нехотя сказал:

— Ну, в нашем деле воры тоже бывают. Даже на грабителей больше смахивают. Вспоминать неохота. При случае в другой раз расскажу.

Такой случай подвернулся не скоро. Был декабрь 1949 года. Я зашел проведать Павла Петровича, показать ему одну книжку, которая и повела к давно обещанному рассказу. Вот он.

— О фольклорных «собирателях» речь пойдет. Только особого типа — разбойного, что ли.

В 1937 году я был исключен из партии. Так уж получилось. В 1938-м меня восстановили.

Вот ко мне, исключенному, в эту самую комнату, явился один из таких «собирателей». Окололитературный «кавалер», из бойких. Он знал, что я продолжаю писать сказы. Ну, явился и с ходу да с полной откровенностью, без всяких недомолвок, высказался в том смысле, что мне, Бажову, он, дескать, готов помочь материально — готов купить уже написанные мною произведения. Понимаете, на корню, так сказать, хотел закупить.

Посмотрел я ему в глаза. Светлые, ясные, чистые. Ну, без мутнинки.

Ответил ему как можно спокойнее... Что, мол, помирать не собираюсь. И печататься буду — обязательно.

...Заговорили о том, как изображать в рассказе, повести, романе исторических лиц.

Павел Петрович усмехнулся — скупое, почти суровое:

— Смелость, говорят, нужна, чтобы историю писать. Ну, уж если о смелости речь, то... Для современности больше смелости надо. Хотя бы то взять: свидетелей-то, живых, сколько? Весь народ судья. Ладно еще, если только скажут: увидел неточно, понял не так, главное не то... Всяко ведь бывает. Только лучше бы не смелостью все это называть. А то получается, вроде бы заранее провраться готов — и боишься: уличат. Не смелость, а ответственность перед народным делом — вот главное, по мне. Забота о чем нужна? Чтобы дело твоё к народному хорошо прикладывалось. Помогало бы народному. А, скажем, так: хорошо устроен художник — ну, талант большой, ум ясный, прозорливый, чувства чистые, ясные, благородные. Да с народной думкой в ладу. Такой и передом пойти может. Запросто...

Смелость... Вот выпустил в свет писатель роман, о Грозном... Труд, конечно. Уважения всяческого как будто достойно. А помните картинки по истории российской — во всех школах были раньше-то? С тех картин писатель сюжетцы вроде бы брал. Может, помните такую: царь Иван снимает с кибардинского коня Марию Темрюковну. Ну, не в русских это обычаях. Да и не в характере Грозного. А в романе перенесено. В другом месте романа царь Иван

ручки целует царице Анастасии. Польский обычай, а не Русь шестнадцатого века.

Сочинение по картинкам... Историю — ее изучать надо. Не по картинкам. По документам, по архивам. Тогда и смелость будет. Напишешь — и хоть на спор с кем угодно. Правда есть, уверен в ней — ну, и смелость будет. Значит, ответственно сделал — это главное.

Разговор этот интересен и в другом плане. Семидесятилетний писатель внимательно следил за текущей художественной литературой, во всяком случае исторической. Он знал не только трехтомный роман В. Костылева, но и две книги из трилогии Е. Федорова «Каменный пояс» и повесть того же писателя «Кыштымский зверь», опубликованную, кстати сказать, не в 1953 году, как указано в «Краткой литературной энциклопедии», а при жизни Бажова. И о каждом из произведений у него были свои, часто критические, суждения, опровергнуть которые невозможно.

Много я расспрашивал Павла Петровича о том, как родился замысел того или иного его сказа. Однажды писатель сообщил, что в числе источников сказа «Синюшкин колодец» был приисковый анекдот о Гавриле и тумане.

Шел молодой горщик Гаврило лесом. С прииска в завод. В одном ложочке увидел девицу. «Роман» разыгрался молниеносно. Комизм положения основывался на том, что девицы-то настоящей совсем и не было. Над низинкой туман стоял — очертания человека принял. А то ли сумерки были, то ли Гаврило выпил до этого. Ну, и решил — девица!

Вскоре (было это летом 1949 года) я написал первую свою статью о творчестве Бажова. Попросил Павла Петровича послушать написанное.

Писатель принял меня в своем кабинете, дома. Внимательно слушал. Случилось так, что в рукописи анекдот был назван неточно — «О Гавриле и туче». Павел Петрович прервал чтение:

— Не о туче, товарищ дорогой. О тумане! Туча-то — жо-он она где. Попробуй-ко дотянись до нее... А туман тут, на земле. Вся суть в этом.

Помолчал, потом тихонько и убежденно добавил:

— Народ — он реалист. И выдумщик тоже великий.

Только любая фантазия у него от земли. Об землю-то обопрешься — выше взлетишь...

...Беседовали как-то вдвоем в его кабинете. По радио начали передавать песню Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы...», тогда совсем еще новую. Разговор оборвался. Склонившись головой на руку, Павел Петрович внимательно слушал. А когда прозвучали слова:

Но если ты скажешь мне снова,
Я снова все это пройду,—

старый писатель медленно поднял и чуть откинул голову. Лицо его стало необычно суровым. Что-то глубоко свое, личное переполняло Бажова. Я с волнением следил за ним.

Кончилась песня. Писатель в раздумье повторил:

Не нужно мне солнце чужое...
Чужая земля не нужна...

А потом, как будто объясняя то, что я видел, заметил:

— Хороших песен у нас много. Ну, а эта — особая. Такую только с поднятой головой петь.

В 1950 году писатель готовил для печати сборник своих ранних произведений, названный им по первой книге — «Уральские были», — тоже включенной в готовящееся издание. Летом Павел Петрович попросил меня прочитать рукопись и высказать свои замечания. При чтении очерков из первой книги Бажова привлек мое внимание рассказ о «подкованной девке». Ранее он встречался мне в путевом очерке Д. Н. Мамина-Сибиряка «Зверство», написанном в конце восьмидесятых годов прошлого века. Я сказал Бажову об этом. После некоторого раздумья писатель с удивлением заметил:

— Был уверен, что событие произошло в Сысерти в годы моего детства, но теперь сомневаюсь. Может, прочитанное у Мамина впоследствии осозналось как бывшее в родном поселке. Но могло быть и повторение эпизода. В принципе же вполне может быть оправданным использование разными писателями одного и того же факта, явления, даже образа, как не раз бывало в истории литературы, причем в творчестве и образ-

цовых писателей. Дело ведь не столько в самом факте, а в том, как он увиден, как понят,— заметил П. П. Бажов. — Один и тот же факт люди, бывает, видят по-разному. Мировые образы у писателей — они тем и интересны. Дон-Жуанов-то сколько в литературе? А Фаусты? Их ведь неисчислимо! Писатель же по запросам жизни работает. Значит, время разное — тоже учитывать надо. Мне вот с Василием Алексеевичем Хмелининым сходно увидеть вовсе не трудно было. Его слушал — его глазами и видел. Мальчонка же был. Потом уж двоиться начало, помалу и до развилки дошло. Так это уж когда получилось? Пожалуй, и сам не скажу.

Обговорили, как же быть с этим куском рукописи. Мне представлялось возможным сопроводить эпизод пояснениями. Сослаться на слова Д. Н. Мамина-Сибиряка, что такую же историю ему приходилось слышать в нескольких вариантах и что достоверность рассказа требует подтверждения. Такая ссылка вполне уместна. Можно, наконец, просто изъять названный отрывок. Все это я и сказал.

Сборник вышел из печати в 1951 году (уже после смерти писателя) без упомянутого эпизода. Но приведенный разговор с П. Бажовым свидетельствует, что в принципе он не отрицал возможности или целесообразности оправданных сущностью дела писательских заимствований из литературных источников. Размышления писателя, переданные мною, помогают понять и оценить литературные реминисценции, встречающиеся в некоторых его сказах.

16 и 23 августа 1950 года мне удалось беседовать с Бажовым по многим вопросам литературного творчества. Беседы велись под запись. Правку стенограмм пытались мы провести вместе. Но оказалось это делом медленным и для Павла Петровича утомительным. Писатель попросил меня отредактировать записи и потом прочитать ему. Так и сделали. Получилось значительно быстрее.

27 августа я принес Бажову для подписи окончательный — сверенный и выправленный — текст бесед в машинописи. Павел Петрович казался очень утомленным. Листы переключал медленно, как будто были они тяжелыми. Отдельные места перечитывал.

Я наблюдал за его работой. Писатель задержался взглядом на записи, касавшейся партийности литературы.

— Тут я плохо вас «допросил», Павел Петрович. Придирчивее бы надо. Важнейший же вопрос!

— Важнейший — это правильно. Дело-то ведь идет о самой глубине сущности человека.

Он помолчал. Сидел с опущенными веками — не то думал, не то просто отдыхал. Наконец заговорил очень тихо:

— О душе моей речь идет. О морали моей. Партийная позиция писателя — это дело его гражданской... Бажов остановился, подыскивая слово.

— Гражданской честности? — подсказал я.

— Лучше сказать — гражданской порядочности. Какой же ты советский писатель, если без внутренней партийности? Что ты можешь сказать нашему гражданину? Он же партийный. С детства. Значит, твоя партийная убежденность большой глубины и силы быть должна. Здесь вот слово «должна» к месту.

Он пошарил лупой по листу.

— Тут вы слова Маяковского привели: «Я хочу так, чтобы мне велели». Он ведь об этой самой морали и говорил. «Я хочу...» — понимаете? Сам хочу. Это главное. И все мы хотим. Ну, может, и есть писатели, которые не хотят. Тоже, конечно, граждане... только, знаете, тогда слово «товарищ» не совсем подходит.

Беседы в августе 1950 года оказались последним и притом — как по объему, так и по содержанию — весьма значительным высказыванием П. П. Бажова.

* * *

Размышляя о ценности человеческой жизни, Павел Петрович вспоминал такой эпизод:

— Встретил я как-то на Кавказе старика одного. Лет за сто ему было. Спрашиваю: «Как же ты достиг такого долголетия?» — «А я, говорит, всю жизнь в горах провел да брынзу ел». Так стоило ли жить сто лет, если только и было, что горы да брынза, да только для себя? Что-то доброе ведь и людям оставить надо на память.

Людам Бажов оставил многое — на добрую память о себе.

Был он глубоко национален в том, что и как делал, как думал. И неизменно казался мне всепонимающим, добрым мудрецом. Коснется человека тихим словом — и раскроет самые глубокие побуждения, желания, страсти. А мера оценки людей была у него простая и верная — народная.

Всеми делами, словом своим, которое было и делом его, Бажов утверждал важнейшую истину: без проникновения в общественный смысл события, без проникновения в человека народным глазом, народным разумением — художника нет.

В мудрости знаменитого советского сказочника жила мудрость народа. Жила и живет.

Свердловск, 1960—1975



АЛЕКСЕЙ СУРКОВ



УРАЛЬСКИЙ ВОЛШЕБНИК

Скитания литератора-газетчика сводили меня на дорогах жизни со многими замечательными людьми нашего времени. Но в этой веренице знакомств выделяются особенные, навсегда запавшие в душу.

Такой была моя встреча с чудесным уральским писателем Павлом Петровичем Бажовым.

Шел военный 1944 год. Впервые за дни войны маршрут моей командировки лежал не к фронту, а в глубокий тыл. Редакция поручила мне объехать крупные заводы Свердловской области и рассказать фронтовикам со страниц нашей газеты о героическом труде уральцев.

Я помню, как еще до войны радостным удивлением поразила меня «Малахитовая шкатулка» П. П. Бажова, и естественно, что, попав на родину автора книги, и стремился повидаться с ним.

Уже первое наше свидание дало мне возможность почувствовать своеобразную и яркую личность этого писателя. Самая внешность Павла Петровича, его пристальные, умные, чуть усталые глаза, строй речи, интонация глуховатого, тихого голоса — все это перене-

сило собеседника в мир образов «Малахитовой шка-тулки». В то время Павлу Петровичу исполнилось шестьдесят пять лет. Прожитые трудные годы слегка ссутулили его плечи. Он жаловался на то, что здо-ровье его подводит. И все-таки Бажов показался мне гораздо моложе молодых тогдашних свердловских ли-тераторов. За недолгое свое пребывание в городе я встречал Павла Петровича на всевозможных собра-ниях и совещаниях, из которых многие, казалось, не имели никакого отношения к его профессии литератора. Невысокого роста, в синей, военного покроя блузе, ко-торая наполовину прикрывалась окладистой бородой сказочника, он сидел всегда как бы в тени, внима-тельно вглядываясь и вслушиваясь во все, что проис-ходит около него. Круг его интересов был чрезвычайно широк. И столь же широка была его поистине энцикло-педическая осведомленность о делах его родной области.

Вспоминается незабываемый вечер, который мне привелось провести с Павлом Петровичем у него дома.

Судя по всему, Павел Петрович не отличался слово-охотливостью. Но присутствие свежего человека из иной, хотя и родственной ему, среды произвольно увело его в стихию воспоминаний о прожитом. Беседа наша затянулась почти до утра. В сущности, Павел Петрович за эти часы рассказал мне историю своей долгой, полной радости и горестей жизни. Но от врож-денного такта, который обычно присущ большим и ум-ным людям, личная его судьба все время лишь уга-дывалась где-то на третьем и четвертом плане событий. Первый план занимали те, с которыми судьба сводила рассказчика на бесчисленных перепутьях его жизни. За эти часы я с головой погрузился в новый для меня мир жизни уральских умельцев, мастеров на все руки, каслинских литейщиков, беспокойных искателей, «чу-даков», в мир уральских и алтайских партизан граж-данской войны, победителей Колчака и прочих «прави-телей» и атаманов.

Глубокое знание людей и прирожденная любовь к ним в сочетании с тонким природным юмором де-лали фигуры тех, о ком рассказывал П. П. Бажов, почти физически ощутимыми для собеседника. И чем крупнее было событие или личность, тем ярче, образ-

нее делалась его речь, а каждый эпизод превращался в ненаписанную чудесную новеллу, блестящую многоцветными переливами неповторимо своеобразной уральской речи.

С особенным воодушевлением, или, точнее сказать, с глубоким поэтическим вдохновением, говорил Павел Петрович о «каменных дел мастерах»— гранильщиках и камнерезах. Он брал со стола и полок полированные куски малахита, яшмы, артистически выточенные каменные поделки и вводил меня в мир самых сокровенных тайнств камнерезного мастерства, не передаваемого словами умения угадывать за грубой внешностью необработанного камня скрытую в нем красоту узора и расцветки. И чем дальше длилась беседа, тем глубже раскрывался передо мной мир поэтических образов «Малахитовой шкатулки»— восторженного гимна ищущему, неуспокоенному мастерству русского рабочего человека.

Из этой же беседы мне стало ясно, почему волшебный фон бажовских сказов, сконцентрированность сказовой манеры повествования никогда не заслоняли реального, глубоко жизненного характера героев и не лишали достоверности бытовой и социальной среды, в которой эти герои жили и действовали. В волшебный мир старых уральских сказок Бажов погружал живых русских людей, и они своей реальной, земной силой побеждали условность сказки, как земная любовь простой русской девушки победила волшебную силу Хозяйки Медной горы.

Сказы Бажова, в какие бы волшебные одежды ни были облечены их герои и к какой бы старине ни было отнесено их существование, вызваны к жизни присутствием их автору глубоко современным, острым и молодым ощущением нашей жизни.

Не случайно ведь «Малахитовая шкатулка», воспевающая беспокойную пытливость рабочего человека, неиссякаемую жажду мастера к совершенствованию мастерства, высокую поэзию труда русского человека, появилась тогда, когда в нашей действительности строящегося социализма труд превратился в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства.



МИХАИЛ КИТАЙНИК



ИСТОКИ ЧУДЕСНОГО

В последний год Великой Отечественной войны я руководил в Уральском государственном университете имени А. М. Горького (г. Свердловск) студенческим кружком по собиранию и изучению горнозаводского фольклора. Цель работы была ясна, но мы плохо представляли себе, в каких районах лучше всего искать и как записывать этот фольклор. Естественно было обратиться за помощью к автору «Малахитовой шкатулки». Ведь именно он открыл советской литературе устную поэзию фабрик и заводов.

Особенно вспомнилась первая встреча с писателем. Это было в 1945 году, в дни 25-летнего юбилея Уральского государственного университета. Павел Петрович рассказал молодым филологам о том, как создавалась «Малахитовая шкатулка». В то время уже многие студенты воспринимали эту книгу в ряду классических произведений русской литературы и хотели знать о ней как можно больше.

Выступление Бажова на филологическом факультете продолжалось около двух часов. Но писатель будто бы специально задался целью подальше

«запрятать» «следы» собственного творчества и представить в качестве «основного творца» «Малахитовой шкатулки» горнорабочих Урала. Все ждали от него ответа на вопрос о том, как становятся под его пером произведениями высокого искусства порой простые устные рассказы, поверья, а он захватывающе рассказывал о тех, кто открыл минеральные богатства края, создавал удивительной красоты вещи из металла и камня, творил новый поэтический эпос. Как живые вставали перед слушателями образы рудознатцев, старателей, доменщиков, камнерезов, рабочих — рассказчиков и песенников.

Павел Петрович говорил, что некоторые критики и фольклористы не верили в существование полевого сказителя Василия Алексеевича Хмелинина, думали, что он его выдумал, что это художественный тип. Давало себя знать влияние старых фольклористов, которые не верили, что среди рабочих были мастера художественного сказа. А Бажов в своей жизни встречал мастеровых, знавших не меньше преданий и сказов, чем Хмелинин, и рассказывавших не хуже, чем он. Многие Бажов услышал от старых рабочих уже в тридцатых годах, бывая в Полевском, Сысерти, в Златоусте и других местах.

Павел Петрович обратил особое внимание нас, молодых филологов, на такие горнозаводские центры, как Полевской и Сысертский заводы, Тагил, Березовск, Невьянск и группу южно-уральских горных заводов. Здесь уже в XVIII веке формировались постоянные кадры уральских рабочих и складывался их самобытный фольклор. По его мнению эти районы должны стать объектом самого пристального внимания фольклористов. Именно здесь сложились предания и сказы рабочих, составляющие, может быть, самую интересную страницу в истории устного творчества русского народа. Приступая к собиранию и изучению горнозаводского фольклора дореволюционной поры, необходимо начать с преданий, легенд, поверий, побасок, составляющих как бы историческую память Урала.

Образцом удачной «поисковой» работы собирателя Бажов считал сборник сибиряка А. Мисюрева «Легенды и были», который содержал произведения устной прозы алтайских горнорабочих. И Бажов посоветовал

молодым филологам Урала составить такой сборник, он принес бы большую пользу и писателям, и фольклористам, и историкам.

Бажов раскрыл перед нами смысл, силу и красоту фольклора русских рабочих. Его выступление носило боевой характер. Сказочник полемизировал с теми, кто отрицал идейно-эстетическую ценность рабочего фольклора или же подменял его «творчеством» деклассированных элементов. Полемизировал он и с буржуазно-дворянской историографией, исключавшей из исторического процесса его основную движущую силу — народ.

Бажов опасался, что руководимые мною кружковцы станут собирать рабочий фольклор по сложившейся методе, «по старинке». А таким путем нельзя передать дух молодой фабрично-заводской поэзии. Об этом и шел у нас разговор в один из январских вечеров 1946 года на улице Чапаева, № 11 (в Свердловске), в скромном и уютном деревянном домике сказочника.

Я принес Павлу Петровичу свою статью об уральском фольклоре. В ней осуждалась публикация фольклорных материалов, которые представляли старые варианты общеизвестного в народной поэзии. Я опирался в ней на мысли статьи Бажова «О путях к чудесному».

Бажов подробнейшим образом разобрал мою статью и, насупившись, сказал:

— Вы вот ищете у меня поддержку, а сами ведь не брезгуете вариантами. И студентам небось говорите: «Записывайте все, что слышите, а потом разберемся». — И уж совсем иронически: — Так вы и в Тагил за вариантами собираетесь? Но ведь они совсем нечитабельны!

Я начал доказывать Бажову, что иные варианты действительно являются художественными произведениями фольклора, что нужно только их тщательно отбирать. И напомнил ему о чудесных сказках уральца Ломтева, записанных и опубликованных известным филологом и этнографом Д. Зелениным в сборнике «Великорусские сказки Пермской губернии». Ведь это именно варианты общерусских сказок.

Мои добрые слова о сказителях только, как говорят, подлили масла в огонь. Бажов решил высказаться

сполна. Тогда-то я впервые уяснил причину глубоких разногласий писателя с фольклористами, его удивительно оригинальный взгляд на устное поэтическое творчество.

Бажова вовсе не смущало восторженное отношение к народным сказителям русских классиков. В этом вопросе он исходил исключительно из собственного жизненного и художественного опыта. Как это ни парадоксально, Бажов припомнил только факты порчи фольклора сказителями. В тот памятный январский вечер 1946 года он набрасывал по личным впечатлениям довольно мрачную картину их «творчества». Один из сказителей, что встретился ему на пути, бесталанно рассказывал сказку «Худо, да не дюже», другой вносил в унаследованную от народа сказку об Иване-царевиче отсебятину, третий хотя и хвастал, что «знает сколь хошь» и «иную сказку и в ночь не уложить», выдавал за старинное народное повествование свой пересказ «Князя Серебряного» А. К. Толстого и т. д.

Бажов решил освободить меня от «канатов и ниток всяких школ». Особенно от пристрастия к сказителям, которые, по его словам, сделали фольклор «своей специальностью и, по сути, заслонили тех, которые гоже знают немало, но из других областей».

Сказители, по мнению Бажова, могли бы принести пользу, если бы избавились от усвоенных навыков передавать слушателям «варианты общеизвестного» в нашем фольклоре и воссоздавали в живом слове «что-нибудь свое из опыта жизни». Не пересказ известных фольклорных и литературных произведений, а «то, что еще не встречалось и составляет подлинное народное творчество».

Бажов все вопросы народной поэзии рассматривал прежде всего с писательской точки зрения, в интересах современного литературного движения.

Но в полной мере его отношение к миру народной поэзии открылось нам, когда мы готовили к печати сборник «Уральский фольклор» (1949). Студенческие экспедиции дали большой материал советского фольклора и крестьянской устной поэзии, а из дореволюционного рабочего фольклора — частушки и предания.

Познакомившись с рукописью нашего сборника, Бажов, к нашему удивлению, обнаружил в нем ряд

малоизвестных литературных песен, которые не получили в народной среде особых текстуальных изменений. Их пришлось снять. По совету Бажова пришлось снять и некоторые частушки. Они показались писателю «однодневками стенгазетчиков», где утрачены юмор, лиризм, живая разговорная интонация всякой подлинной народной частушки.

После выхода «Уральского фольклора» из печати я встретился с Бажовым и спросил его: «А как читается наш сборник?» Павел Петрович высоко оценил советские пословицы и поговорки. Отрадно было услышать от него такие слова: «Хороши в сборнике советские пословицы и поговорки. Они сохраняют красоту и меткость народного слова». Отметил он и ряд удачных песен.

В беседах Бажова о фольклоре в полную силу открывались его высокая духовность и любовь к народу. А нас, фольклористов, он учил понимать «истоки чудесного», таящиеся в «глубинных лабораториях народного творчества».

Москва, 1952—1973



БОРИС ПОЛЕВОЙ



СЕКРЕТ ВЕЧНОСТИ

Я познакомился с Павлом Петровичем Бажовым в разгар Великой Отчественной войны. И произошло это далеко от его родного края, на фронте, в Польше, где поэт Урала никогда не бывал.

Случилось так, что перед войной не привелось мне прочесть «Малахитовую шкатулку». Конечно, знал о ней, слышал много хорошего, но просто книга как-то не попала в руки. И вот когда Советская Армия, наступая, образовала на Висле маленькое предместное укрепление, выросшее впоследствии в знаменитый Сандомирский плацдарм, мы с корреспондентом «Комсомольской правды» Сергеем Крушинским переправились ночью к нашим солдатам, державшим этот крохотный кусочек земли. Он был так мал, что простреливался вдоль и поперек не только из минометов, но даже и из автоматов. Огонь, который обрушивал на него неприятель, был такой густой, что пули выкосили перед брустверами окопов траву.

Этот клочок земли за рекой в ту пору держал единственный батальон, прикрытый огнем артиллерии

с того берега. Но горстка обстрелянных, опытных солдат так крепко вцепилась в землю, так глубоко пустила в ней корни, что противник, хотя и сознавал, чем ему это угрожает, так и не смог отбросить батальон обратно.

Мы переправились через реку под покровом густого тумана на понтоне, доставившем пополнение и боеприпасы. Капитан, руководивший обороной «пятачка», — маленький, загорелый, осипший человек с худым, нервным, но чисто выбритым лицом, — непрерывно курил, всякий раз зажигая новую папиросу от той, что была докурена. По тягучему выговору с упором на «о» мы угадали: коренной уралец. И не ошиблись.

— Из-под самой из-под Магнитной горы, — подтвердил он.

В эти часы Висла как бы дремала, затянутая слоистым туманом. Было необыкновенно, до жути, тихо, и лишь лягушки надрывались в плавнях на той стороне да изредка в небе гудели самолеты: наши шли на Берлин. Зато звездная синева непрерывно мерцала, как бы сотрясаемая огнем осветительных ракет — желтоватых, наших, и белых, немецких.

Разведя подкрепления по стрелковым ячейкам, эвакуировав на обратных понтонах раненых, отправив на тот берег боевое донесение, капитан вернулся в блиндаж — тесную земляную нору, вырытую в откосе берега. Мы уже улеглись на свежей, душистой яровой соломе, но сон не шел. Сквозь дрему увидел я, как этот маленький военный, который вот уже около пяти суток нес непосильную тяжесть, руководя горсткой солдат, человек, которому по логике полагалось бы в редкие минуты отдыха свалиться и спать каменным сном, тихо прополз мимо нас в глубь блиндажа, засветил карбидную лампочку, вытащил из подсумка какую-то книжку с оторванным переплетом и стал читать. Да, именно читать страницу за страницей, спокойно, сосредоточенно, будто сидел он за освещенным столиком в тихом библиотечном зале, а не лежал на соломе в земляной норе, где его в любое мгновение мог похоронить снаряд и недалеко от входа в которую, как нам говорили, в тихую ночь можно было слышать немецкую речь.

Это было так странно, что, отогнав дрему, мы из своего угла молча наблюдали за ним. И мы увидели, как по мере чтения напряженное лицо отходило, преждевременные морщины разглаживались и само оно точно бы молодело. Капитан читал с час, потом оторвал глаза от страниц, задумался о чем-то своем и, вероятно, очень далеко от беспокойных его фронтовых дел. Вздохнул. Убрал книгу в полевую сумку и прилег на соломе. Но заснуть ему так и не удалось. Противник внезапно обрушил на плацдарм огневой удар, такой тяжелый, что земля заходила, бревна накатника зашевелились над головами и привыкшие ко всему окопные мышцы прямо по нас бросились к выходу, будто листья, подхваченные ветром. Наши пушки ответили из-за реки. Завязалась огневая дуэль. Разрывы оборвали телефонные провода. Лишившись связи с ротами, командир бросился в траншеи организовывать контратаку...

Плацдарм удержали. Но самого капитана утром принесли на шинели. Он был убит наповал. Осколок оставил едва заметную ранку на его лбу.

Густой туман все еще висел над рекой, но заря уже подмешивала в его седину розовые тона, когда мы возвращались обратно. На том же понтоне отправляли тело капитана, завернутое в плащ-палатку. Другой капитан, принявший командование батальоном, вручил мне для передачи в полк его ордена, партбилет и полевую сумку. Сумка так и осталась незастегнутой. Из нее торчал угол книги, и мне захотелось узнать, что же так внимательно читал этот воин ночью, в последние часы своей жизни.

Томик был затрепанный, закапанный стеарином. Переплета и титульного листа не было, не хватало многих страниц. Начал читать с той, что уцелела. Рассказывалось о парне, который пошел в горы искать покос, встретил странную девушку, опознал в ней чародейку Малахитницу, приобщившую его потом к горным тайнам. Необычная это была книжка: все удивляло в ней с первых же строк: и язык, сочный, густой, и необычность действующих лиц, и какое-то своеобразное и в то же время ненарочитое переплетение двух миров — реального и сказочного, и, наконец, своя осо-

бая, ни на кого не похожая, простая и пленительная именно этой своей простотой манера письма.

К концу сказа я уже, разумеется, разгадал, что это знаменитая «Малахитовая шкатулка» Бажова, понял, почему с таким увлечением, уносясь мыслями на свой далекий Урал, читал ночью офицер, и еще понял, что передо мной какое-то необычное по форме произведение искусства, свежее, новое, сильное, необыкновенно самобытное.

Все уцелевшие в книге сказы были прочтены залпом, один за другим. Потом истрепанный томик пошел по рукам моих товарищей — военных корреспондентов. Многие из них были знакомы с книгой и перечитывали ее вновь. Томик без переплета, унаследованный от погибшего офицера, служил по вечерам предметом литературных споров, далеких от военных дел. Эти споры уводили нас из мира войны в мир труда, о котором совершенно по-новому, по-своему рассказывал писатель-чародей, от прикосновения пера которого самые обычные трудовые дела превращались в поэтические сказки.

В самом деле, в нашей стране, где тогда уже было введено обязательное семилетнее образование, где даже старики ликвидировали свою неграмотность и через газеты, книги, радио приобщались к сокровищам современной культуры, народное литературное творчество, бывшее обычно изустным, естественно, должно было приобретать какие-то новые формы. Среди современных бабушек есть такие, что когда-то носили пионерские галстуки. Было бы смешно, если бы они, развлекая внуков, начинали бы свои с ними беседы традиционной присказкой: в некотором царстве, в некотором государстве жил-был и т. д.

Да и само понятие народности творчества коренным образом изменилось. Почему, скажем, частушки, сочиненные в каком-нибудь районе дояркой, избачом или учителем и потом записанные уже из третьих рук собирателем фольклора, идут под рубрикой «народное творчество», а скажем, прекрасные песни М. В. Исаковского, вроде «Катюши», которые распевает весь народ, под эту рубрику не подходят?

Словом, споров на эту тему было много, и все дружно сходились на том, что Бажов совершил своего

рода открытие, показав, как преобразуется народное творчество в нашем, советском мире, как, не теряя своих природных форм, бесконечно разнообразных и ярких, оно наполняется новым содержанием и может приобретать законченность и отточенность мастерского художественного произведения. Писатель смело переступил круг традиционных сказочных тем, которые народное творчество уже переросло, и ввел в большую семью персонажей русской сказки уральских умельцев, простых тружеников, не колдовскими чарами, а своей смекалкой разрушающих все преграды, творящих не божеские и не бесовские, а человеческие чудеса.

Писатель не удовольствовался сделанным им открытием. Он сам был великолепным умельцем. Он сам, показывая «живинку в деле», переплавлял богатейшие руды народных преданий, поговорок, столетиями бытовавших по Уралу, в свои сказы. Оставаясь народным сказителем, он был и передовым литератором-коммунистом, и поэтому сказы его, такие пленительные, непосредственные по форме, в то же время так глубоки и богаты современным содержанием в лучшем смысле этих слов. И, наверное, поэтому с одинаковым интересом читают их и школьник, делающий в жизни первые самостоятельные шаги, и пенсионер, подводящий итоги жизни. Каждый находит в них свое, близкое, нужное, дорогое ему, соответствующее духовным запросам возраста...

После того, как впервые, еще там, на Висле, был прочтен сборник бажовских сказов, я не раз перечитывал их. И чем больше раздумывал я о сказах, тем прочнее сливался образ сказителя с образами его героев. Вопреки всему, что было известно об авторе, он представлялся мне даже в виде деда Слышко, этого живого носителя трудовой поэзии уральских заводов. Он рисовался таким уральским богатырем, в характере и облике которого запечатлены черты наиболее полюбившихся персонажей его произведений. Сказы воспринимались как нечто целое, и автор их, подобно лирическому герою, сам вплетался в это свое многообразное повествование...

И вот серенький, прохладный, неприветливый вечер поздней уральской весны. Мы с женой и наши

друзья идем по свердловской окраине, где молодые, высокие, плечистые здания причудливо соседствуют с бодрыми, прочными деревянными домиками. Из-за глухих заборов доносится горький запах цветущей черемухи. Там, впереди, в уже сереющей полумгле — домик, где живет этот мудрый уралец, вобравший в себя весь сказочный мир своего удивительного края, где столетиями в невероятных условиях, все побеждая, опрокидывая все преграды, расцветали таланты русского мастерового человека. И я, в силу профессии повидавший на своем веку немало интересных людей, признаюсь спутникам, что сейчас вот, на пороге бажовского домика, волнуюсь, как волновался когда-то в юности перед экзаменом по любимому предмету.

Вместо могучего, плечистого бородача в полутьме прихожей встречает нас сутуловатый старичок с реденькой бородкой, в поношенной уютной домашней куртке, с трубкой, привычно зажатой сложенными в горсть прокуренными пальцами. Из мягкой рамки шелковистых седин смотрит круглое, такое русское лицо. Писатель глядит на гостей чуть исподлобья, из-под приспущенных бровей, но взгляд доброжелательный, ласковый. Когда он улыбается незаметной под усами улыбкой, к глазам сбегаются живые, веселые морщинки, и от них лицо как-то вдруг свежеет.

Писатель ведет нас в кабинет, который почему-то хочется назвать лабораторией, а точнее — мастерской. В самом деле, комната, наполовину занятая книжными шкафами, воспринимается именно как лаборатория. Все в ней связано с неутомимой деятельностью старого уральского литературного мастера: и сборники его сказов, изданные на всех европейских и многих восточных языках, и книги по истории края, и коллекция минералов, образцы руд, в разное время преподнесенные Бажову рабочими, инженерами — почитателями его таланта, и чернильница, искусно сделанная специально для него камнерезами из черного камня — змеевика, и даже стулья, на которых мы сидим. Да, и стулья. Как свидетельствуют любовно награвированные планочки, прикрепленные к спинкам, это подарок писателю ко дню его семидесятилетия от рабочих местного деревообделочного завода.

Самое любопытное в комнате — письменный стол. Он весь точно бы топорщится ворохами рукописей, писем, образцами малахита, друзами каких-то кристаллов, весь засыпан табаком и трубочным пеплом. Среди всего этого беспорядка, в котором все-таки угадывается свой особенный порядок, пишущая машинка, и в ней белеет лист с недописанной строкой. Перед машинкой кожаная залосненная подушечка. Все это вырисовывается в узком круге света, отбрасываемого козырьком конторской лампы, сделанной на манер старинного картуза.

— ...Последнее время у Павла Петровича со зрением плохо. Больше на машинке стучит, чем пишет. И сидеть ему трудно, стоя стучит. Обопрется локтями о подушечку и стучит, — поясняет супруга писателя, темноволосая женщина, удивительно моложавая и жизнедеятельная.

— Эх ты, Валюня, точно экскурсию водишь, — усмехается Павел Петрович, посасывая свою трубочку, которая курится у него потихоньку, с этаким уютным хрипеньем, распространяя запах простого, незлого табака, которым, как кажется, пропитан и он сам, и рукописи на столе, и вся эта комната, где он живет и работает, и даже цветы на окнах.

Усаживаемся, и после обычных, так сказать, пристрелочных фраз завязывается неторопливая беседа, спокойная, вместибельная. Заметив, очевидно, некоторую связанность гостей, Павел Петрович сам ведет ее. Покуривая, он задает вопросы, и сразу становится ясно, как широк круг общественных интересов этого человека, как кипуча, полна деятельности его жизнь и с какой снайперской точностью он умеет в массе окружающих его явлений брать на прицел главное, животрепещущее.

Он старается вызнать самое интересное в моих зарубежных поездках. Но из всех сторон зарубежной жизни его особенно занимает, как там, «в заграничах», воспринимают трудящиеся опыт нашей революции, как люди ведут борьбу за мир и особенно — как наши успехи помогают людям стран народной демократии.

— Им легче. Мы дорожку протоптали, — говорил Павел Петрович, тая под усами ласковую негаснущую улыбку. — Я вот тут как-то с одним избирателем на

приеме серьезный разговор имел. Рабочий, матерый уралец, а вот на именинах у зятя перебрал лишнего, прогулял смену, ну, и выставили его, голубчика, с завода. Он ко мне: «Павел Петрович, потолкуй с директором, пусть хоть в сторожа, да в родной цех». А я ему: «Как я буду за тебя толковать, когда тебя правильно уволили? Стыдно тебе, ты учитель, а вон до чего нализываешься». Он мне: «Какой я, Павел Петрович, учитель, токарь я и в грамоте не силен». А я ему говорю: «Нет, говорю, брат, ты учитель, ты, говорю, всем рабочим из народных демократий учитель...» Разве нет? Разве не у нашего рабочего класса люди жизнь-то новую строить учатся? И ведь понял он, этот самый почтенный прогульщик, дошло до него, заплакал даже. «Стыдно, говорит, мне, Павел Петров, вот как стыдно. Пронял ты меня этим учителем аж до печенок...» Тут вот, где вы, на стуле сидел. Большой, могутный — и плачет

— Ну, а дальше как?

— Дальше-то? — Павел Петрович посасывает трубочку, хитро посматривает из-под серых своих бровок, и кажется в эту минуту, что перед нами не писатель, а тот самый дед Слышко со старого сысертского завода. — Дальше-то что же? Дал он мне слово, что больше такого греха с ним не случится. Ну, я в партком позвонил. Вернули... Он ко мне потом на прием приходил, этакий благостный, в новой тройке, бритый, будто прямо из бани. «Очень, говорит, ты меня, Павел Петров, тогда за душу тронул учителем-то. Вовсе и пить-то бросил — ну ее, водку, все одно всю не выпьешь...»

Павел Петрович задумчиво перебирает на столе пачку свежих, частично даже еще и невскрытых конвертов.

— Сегодняшний урожай. Видите — восемь писем, в каждом чья-нибудь забота или печаль. Много пишут. Кабы вон не Валюня, — он кивнул на жену, — да не дочка, захлебнулся бы я в этих письмах... Помогают разбирать и ответы писать. Всея семьей так вот и депутатствую.

Заговорили об Урале, о поездке, которую мы с женой предполагали тогда совершить по заводам, рудникам, новостройкам, золотым приискам. Как только об этом пошла речь, хозяин сразу точно бы изнутри

осветился, трубочка засипела отрывистой, веселые морщины, собравшиеся в уголках глаз, так уж больше и не разбегались.

Об Урале он мог рассказывать сколько угодно и, как говорили люди, близко его знавшие, никогда не повторялся. Бесконечные истории, любопытные случаи, происшествия, старые и новые, жили в его голове. Иногда это были уже готовые, сложившиеся новеллы, так и просившиеся на бумагу, но будто еще созревающие в нем.

Особенно почему-то запомнился его рассказ об Уралмашзаводе, где в те дни опробовали механизмы шагания впоследствии всемирно знаменитого, а тогда еще только рождавшегося экскаватора-гиганта.

— ...По сравнению с этой машиной я почувствовал себя букашкой, муравьишкой. А вот не гнело это, не унижало. Наоборот, гордость, знаете: вот, мол, мы, маленькие, слабенькие люди, выдумали эту машину, отлили, обточили ее огромные члены, сложили их и сейчас вдохнем в них жизнь... Царь-машина!

Голос задрожал, в нем почувствовалась влага. Бажов отвернулся и с помощью какой-то необыкновенной, тоже подаренной ему кем-то из бесчисленных почитателей зажигалки слишком долго и слишком тщательно раскуривал свою и без того горевшую трубочку, под озабоченными взглядами встревожившейся жены.

На комодѣ стояла уже повыгоревшая фотография в старинной проволочной рамке. Молодой белокурый мужчина с шелковистыми усиками и пушистой бородкой снят со стройной черноокой девушкой с волевым, умным лицом.

— Это мы с Валюней после свадьбы. Видите, какая она у меня была. Все у нас пополам, и горе, и радость. И как я ей только не надоед, удивляюсь,— говорит он, краем глаза лукаво косясь на жену...

На этот раз мы много поездили по Уралу, но, конечно, не увидели и малой доли того, что хотелось и стоило посмотреть. И все же вернулись в Свердловск полные впечатлений, смущенные, даже как-то подавленные величием виденного. Как договорились, расставаясь с Бажовым, снова, теперь уже днем, пришли на знакомую улицу Чапаева. С утра своенравная ураль-

ская весна вдруг светло заулыбалась, солнце сияло в хрустальной голубизне небес, а из-за глухих заборов тянуло уже не горечью черемух, а еще робким ароматом зацветавшей сирени.

Бажовы, уже привыкшие к нашествиям малознакомых, а то и вовсе незнакомых людей, постоянно навещавших их дом, встретили нас как старых друзей. В маленьком садике на скамейке, в пронзенной солнцем, трепещущей тени раскидистой березы, собственноручно посаженной когда-то в давние годы Павлом Петровичем, он потребовал от нас полный отчет об уральских впечатлениях. Внимательно слушал, защитив глаза от солнца козырьком надвинутой на нос кепки, прятал в усах довольную улыбку, выспрашивал подробности, причем все время выяснялось, что все, о чем мы рассказывали, ему уже знакомо: и события, и люди, и их дела, и их мечты, которые нам казались порой поражающе новыми.

Говорили о Краснотурьинске — этом социалистическом городе, возникающем прямо в тайге, как-то сразу, без пригородов, без окраин. Город действительно необыкновенный. Шоссе вьется меж лесистых сопок; поворот, еще поворот — и вдруг на берегу большого, как потом оказалось — искусственного, озера возникают, как в сказке, вполне современные проспекты с многоэтажными домами, с широкими тротуарами и газонами, с многолетними березами, выстроившимися вдоль них, набережная, сбегаящая к озеру балюстрадами террас, просторные, на столичный лад, магазины, школы, клуб. Я сказал, что хочу написать в «Правду» об этом самом молодом городе, которому тогда еще едва насчитывалось пять лет.

— Напишите, напишите, только не забудьте при этом, что изобретатель радио Попов-то Александр Степанович там родился, на старотурьинском руднике, в самом этом «новом» городе, «насчитывающем всего пять лет»... И рудничный музей там еще до революции был знаменитый, один умный человек там его собрал... Город-то он по бумагам молодой, это справедливо, но слава у него старая... Нам иванами, не помнящими родства, быть не положено.

Дослушав наши рассказы, он сказал моей жене, учительнице по профессии:

— Так довольны? То-то, будете ребятам в классах о нашем Урале рассказывать. Больше, больше о нас говорите. Урал — всей страны гордость. Он ведь всегда такой был, только до поры до времени дремал, скованный, как богатырь в цепях. Революция его расковала, вон на какой простор его вывела. И ваше это, учительское дело во всех концах земли интерес в ребятах к Уралу будить. Чтобы загорались мечтой сюда ехать, богатства неисчерпаемые для народа добывать. Нет такого второго места на земле, как наш Урал.

Потом обратился ко мне и, слегка покачивая в такт речи трубкой, зажатой в прокуренный кулачок маленькой руки, спросил:

— Вот вы, всесветный бродяга, много по белу свету мыкаетесь, как наш Урал по сравнению со всякими там заграницами выглядит?

Я сказал. Бажов серьезно кивнул головой:

— Ну вот, видите! Когда вы в Европы-то ездите, это экскурсия в наш вчерашний, а то и в позавчерашний день, в прошлое, которое у нас уж и старикам по ночам не снится... А вот поездка сюда — это в завтрашний день. Да, да. А как еще досадно мало написано об Урале, о его людях! Мало и серо... Не раскрыт еще он по-настоящему литературой.

Сам он считал это главным делом своей жизни, и думается, что никто до него не писал об уральских тружениках так тепло, так задушевно, так мудро, как он.

А потом, незадолго до того, как болезнь уложила его в постель, он с женой посетил нас в Москве. Он подарил нам однотомник своих сказов, прекрасно изданный на Урале. Как мастер, довольный своими изделиями, он прикинул на руке увесистую книгу:

— Не велика, а? Не грузновата?

В нем самом было что-то от этих славных уральских умельцев, мастерство которых он так воспел.

— А сколько еще ненаписанного... Вот сон стал плохой. Лежу по ночам, и они приходят ко мне, все эти не описанные мной люди... Вижу их, слышу их, знаю их судьбы... Эх, мне бы еще годков... — Он не договорил, вышел на балкон, стал возиться со своей трубочкой...

После смерти Павла Петровича я снова перечитал подаренный им том. Еще выше, еще прекрасней под-

нялся из его сказов обобщенный образ уральского труженика, великого умельца, поэта своей профессии, мастерство которого покоряет все и вся. И мне вдруг вспомнилось, как читал эти сказы смертельно усталый офицер при свете коптилки, в блиндаже, вырубленном саперами в прибрежном откосе польской реки, читал после долгого боя, в последнюю ночь своей жизни.

И подумалось: человек, создавший этот новый сказочный цикл, выведший в свет большую семью новых сказочных героев, сам будет вечен, как вечно истинное мастерство.

Москва, 1952—1976



ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВ

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ

В трубке неторопливо звучит глуховатый голос:

— Приезжайте, пожалуйста, приезжайте!.. Жду.

Узнав в редакции газеты «Уральский рабочий» номер телефона писателя П. П. Бажова, я позвонил, но, откровенно говоря, не особенно рассчитывал на прием. И вдруг — «приезжайте». Минут пять объяснял, как доехать и узнать его дом.

...Идя на встречу с Павлом Петровичем, я был настроен на сказочный лад. Вспоминал «Малахитовую шкатулку». Думал: с кем из его героев можно сравнить Бажова? Мне он представлялся сказочным персонажем, владеющим «тайной силой», высшим существом, повелевающим недрами и стихиями, вроде всеильного сибирского Горного Батюшки (из легенд, записанных А. А. Мисюрёвым).

...Дверь открыл Павел Петрович. Невысокого роста. Сутуловат. Большая лысоватая голова. Доброжелательный взгляд блестящих серых глаз.

— Бажов.

Поздоровался, сжав ладонь тонкими, изящными пальцами. Выразил сожаление, что я сильно промок

под проливным дождем. Словно он взаправду был мудрым кудесником, а силы и хляби небесные, вдруг выйдя из его повиновения, сыграли злую шутку с его гостем.

Неширокая, длинная, темноватая прихожая. По сторонам белые высокие закрытые двери. Справа старинная деревянная вешалка для одежды и обуви. Снимаю фуражку, плащ. С них ручейками стекает вода.

Как недавно демобилизованный по тяжелому ранению, был я в военной форме — гимнастерке с четырьмя нашивками за ранения и контузию и с медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

Сразу за вешалкой — дверь в кабинет. Длинная, темноватая — из-за дождя — комната. Павел Петрович гостеприимным жестом предложил сесть на стул. И сам сел за письменный стол, в деревянное, с подлокотниками кресло. Пододвинул несколько пачек разных сортов, на выбор, папирос — «Уральских», «Казбек» и других. Улыбнувшись, сказал:

— Закурим для разбега!..

Пожалев, что я не курю, Павел Петрович сворачивает толстую, в палец, самокрутку и, вздохнув, как мне показалось, явно сочувственно, закуривает. И я опять смотрю на его одухотворенные, нежные руки и пальцы, которые как-то совсем не вяжутся с его мужиковатой бородой.

Курит, глубоко затягиваясь. Дым крепкого самосада пускает в сторону от меня и даже рукой помахивает, отгоняя дым.

Внимательный, пронизывающий взгляд из-под густых нависших бровей. Глаза в сетке глубоких морщин. Под глазами мешки тяжело больного человека. Кажется, что ему немало труда стоит поднять веки, открыть глаза. Но если уж откроет, насквозь проглянет светлым взглядом. Все увидит сквозь горы, сквозь толщу земли и «пустую породу»: и след Великого Полоза — золотые жилы в кварце, и искры самоцветов, и причудливые изгибы узоров малахита и яшмы...

Рабочий кабинет. Справа, по бокам от печи, два книжных шкафа. В правом, ближе к окну, политическая и справочная литература, двадцатитомная дореволюционная Большая энциклопедия, книги по исто-

рии России и Урала. В шкафу слева, за его спиной, художественная литература. Чехов, Мамин-Сибиряк...

Письменный стол, по краям стопки книг и журналов с закладками, газеты. Мраморный чернильный прибор. Настольные часы. Старинная оригинальная металлическая электролампа с наклоняемым абажуром. Кристаллы горного хрусталя — неокрашенного и дымчатого раухтопаза. Отполированные куски малахита и «пейзажной» яшмы. Медный колчедан и пирит. Серый полевской мрамор... Большая раковина — пепельница. Очки с толстыми, выпуклыми стеклами. Четырехугольная лупа для чтения.

Между окнами с белыми тюлевыми занавесками, в простенке, — большой портрет П. П. Бажова с дарственными надписями, поднесенный писателю к шестидесятилетию. Здесь же, чуть левее и пониже, черная тарелка громкоговорителя «Рекорд». Между окнами маленький столик, на нем небольшая пишущая машинка с заложенным листом бумаги. У левой стены старинная кровать из гнутых железных прутьев.

— А теперь расскажите о себе. Где родились и откуда родом ваши родители? — спрашивает Павел Петрович.

— Родился в Камышлове в декабре 1923 года. Отец был командиром роты частей особого назначения, а комбатом был Пульников...

— С Пульниковым я знаком и отца вашего мог видеть...

— Мама родилась в Екатеринбурге, а ее родители — из Сысерти. Числились крестьянами, но земли не имели. Дед скорняжничал...

— Обычная история для Сысертского горного округа. Там заводским крестьянам, прикрепленным к заводам, земли не давали для пахоты... Так мы, стало быть, с вами земляки по вашим старикам — по Сысерти и по Камышлову...

— Вскоре родители переехали в Каменск-Уральский. Здесь мы жили до самой смерти отца (1930 год), а затем переехали в Свердловск. Учился в школе. С 3 июня 1942 года курсант Свердловского пехотного училища. В сентябре уже воевал в Сталинграде, в 62-й

армии генерала В. И. Чуйкова. Затем бои на Северном Донце, под Запорожьем, Кривым Рогом, Новым Бугом... Прошел от Волги до Южного Буга... Лежа в бакинском эвакогоспитале после третьего, тяжелого ранения, по памяти исписал три тетрадки фронтовых пословиц, поговорок и песен, которые и представляю на ваш суд.

И я стал на память читать и напевать, лишь изредка заглядывая в тетрадь. Вначале песни безымянных авторов — солдат, связанные со Сталинградской битвой. Спел я и госпитальный «Беленький халатик».

Павла Петровича особенно заинтересовали фронтовые рассказы о «катюше».

— Где вы впервые увидели «катюшу»? — спросил Бажов.

— Вечером 27 сентября 1942 года — перед переправой через Волгу в горящий Сталинград...

— Почему она «катюшей» названа, а не как-нибудь иначе?

— Никто не знает почему, — ответил я. — Впрочем, на разных фронтах и в разное время ее по-разному называли. Например, осенью 1941 года на Южном фронте гвардейские минометы называли «машками». Об этом мне как-то рассказывал майор-артиллерист. Другие говорили, что гвардейские минометы названы-де по имени жены генерала Костикова, изобретателя «катюши». Но это не более чем предположение. Скорее всего «катюша» названа так из-за популярной в народе песни Блантера:

Выходила на берег Катюша...

Говорят, — продолжал я, — что осенью сорок первого года где-то на Западном фронте при попытке форсирования гитлеровцами реки гвардейские минометы вышли на берег и дали такой сокрушительный залп, что фашисты побежали. Здесь бойцы любовно и называли это грозное оружие «катюшами», отсюда меткое название пошло по всем фронтам Великой Отечественной...

«Катюша» интересовала Бажова, видимо, не случайно. Вероятно, он видел в ней сюжет для сказа. Фронтной фольклор, в том числе и о «катюше», Бажов

хорошо знал. Чувствовалось, что ему уже неоднократно доводилось беседовать о фольклоре с фронтовиками в госпиталях. А в госпиталях Павел Петрович частенько бывал в годы войны.

Наклонив голову, задумавшись, Бажов сказал:

— Хорошо, что вы сразу же, по свежей памяти, еще в госпитале, записали фронтовой фольклор. Сбор его нужно продолжить, беседа с бывшими фронтовиками. Далее надлежит разобраться в собранном материале и подумать, что можно из него сделать. Чем вы, демобилизовавшись, собираетесь заниматься?

— Пока работаю военруком в ремесленном училище № 18. Думаю поступать в университет, на факультет журналистики или на исторический...

— Я тоже в молодости мечтал и готовился поступить в Томский университет, но из этого ничего не вышло... И не по моей вине. А сейчас перед вами все дороги открыты. Какая история вас интересует?

— Больше — русская, XVIII век, преимущественно история Урала в эпоху Петра I и его преемников..

— А что вы читали об этом времени?

— «Екатеринбург — Свердловск» и «В долматовской вотчине» Н. Поповой, «Молотобойцы» В. Яна, «Демидовы» Е. Федорова, «Урал медный», «Народы Северного Урала», «Светлое озеро» и другие книги из «Уральской библиотеки занимательного краеведения». Но особенно мне понравились книги Александра Бармина «Рудознатцы», а также «Охота за камнями» и «Сокровища Каменного пояса». Читал также Мамина-Сибиряка и Решетникова. Читал эти книги перед войной еще школьником...

— Для школьника немало. Вы прочли почти все доступное, что было опубликовано. Со всеми этими писателями я хорошо знаком...

Павел Петрович разъяснял, что недостаточно обладать даже богатым материалом, например, фольклорными записями или другими сведениями и фактами. Недостаточно иметь способности, талант. Нужно много, очень много и упорно работать. Без этого книгу не напишешь. Следует засесть сначала за историческую литературу, познакомиться со сборниками документальных материалов. Затем в архиве изучить еще не известные историкам и писателям новые материалы.

Особое внимание необходимо обратить не столько на официальные описания и инструкции, составленные по указанию Геннина и Татищева, сколько на поиски первичной, так сказать, документации — отчетов о труде работных людей (в то время почти поголовно «неписанных»). Необходимо показать непосредственных творческих исполнителей: рудоискателей, кузнецов, литейщиков, углежогов — рядовых работных людей, подмастерьев и мастеров, некогда знаменитых, но которые в «запись» — в официальные чиновничьи документы — «не попали».

Бажов поинтересовался:

— Кто вам из героев прочитанных книг особенно запомнился?

— Особенно понравился капитан Татищев, запомнились жестокие и деловые первые Демидовы, Никита и его сын Акинфий, заинтересовал Невьянский завод и его таинственная «падающая» башня...

Я рассказал Павлу Петровичу, что еще до войны читал «Малахитовую шкатулку» и раза два смотрел инсценировку его сказов в нашем Дворце пионеров.

— И еще была у меня встреча с вашим сказом в конце 1943 года на Третьем Украинском фронте, в районе Большой Белозерки, недалеко от Мелитополя. Один из бойцов нашего взвода управления минометного полка, кажется, Окатиев, подавая мне «Правду», сказал: «Читай, Федоров, здесь про Урал написано».

В газете был сказ «Живинка в деле». Прочел, и вспомнился такой далекий отсюда, с Украины, и такой близкий и родной Урал. Газета ходила по рукам. Ее прочел весь взвод. И наш старшина Клопот после этого чтения стал частенько приговаривать: «А ну, хлопцы, с «живинкой в деле» натяните «нитку» — телефонную линию от НП до огневой позиции минометов полка».

Павел Петрович, склонив голову, слушал с видимым удовольствием о том, что его «живинка в деле» и на фронте помогала солдатам бить врага.

Вдруг, словно решившись, Павел Петрович с застенчивой гордостью достает из шкафа книгу и, нежно, как любимое дитя, держа в руках, бережно подает ее мне.

На обложке иллюстрация: Танюша, дочь Степана, сидит, наклонившись, перед большой малахитовой шкатулкой — любитесь, надела на себя драгоценный, из самоцветных камней, наголовник и примеривает бусы, серьги, кольца и прочий «женский прибор».

Новое издание «Шкатулки»! На английском языке. Печаталось одновременно в Лондоне, Нью-Йорке и Мельбурне в 1944 году.

— Гляжу на страницы и не понимаю, так как «аглицкому» не обучен, стало быть, вроде и не совсем моей стала эта книга...

И улыбнулся с некоторым задором, как дедушка Слышко. Мол, «*знай наших! Тонко, да звонко...*»

— Читали ли вы,— спросил Бажов,— «Амурские сказки» Нагишкина?

— Не читал.

— Непременно прочтите. Прелестная книжечка. К тому же Нагишкин не только писатель хороший, но и художник хороший. Счастливый! Он сам оформил свою книгу. А кто лучше может проиллюстрировать свою книгу, чем сам автор! И какой художник лучше поймет замысел книги, чем сам автор, если к тому же он сам художник. А я вот ни рисовать, ни стихов писать, ни петь не могу, к великому сожалению. Хотя я все эти виды искусства люблю, но совершенно в них беспомощен.

— Павел Петрович, кто вам нравится из художников-иллюстраторов «Малахитовой шкатулки»?

— Лучше всего, наиболее выразительно и наиболее близко, подошел к моему замыслу художник Кузнецов. Но он, к сожалению, успел проиллюстрировать только одно московское издание 1942 года, в «Советском писателе». Умер во время войны. Хороши рисунки Баюскина, а из наших местных художников — свердловчанина Александра Антоновича Кудрина, первого иллюстратора книги,— он интересен преимущественно как бытовик.

Побеседовав со мною, Павел Петрович пригласил пить чай. Через прихожую прошли в столовую — проходную светлую комнату в два окна.

За большим столом у поющего горячего самовара чаевничают женщины. Подвижная, энергичная черноволосая (мелькнула мысль: «Вот с кого Бажов писал

Хозяйку Медной горы!»), в светлом платье Валентина Александровна, ее старшая сестра Наталья Александровна, домработница и приходящая помогать ей старушка.

Павел Петрович радушно угощал меня. То и дело брал мою чашку, подливал из самовара кипятку, наливал чаю («Какой любите? Крепкий?») и, подкладывая на блюде пирожки и булочки, приговаривал:

— Кушайте, кушайте! Все это свое, домашнее.

...Этот день, 24 июня 1945 года, для меня памятен вдвойне. Начиная с двенадцати часов радиорепродукторы доносили из столицы грома маршей сводного оркестра под управлением генерала Чернецкого. По брусчатке Красной площади церемониальным маршем проходили сводные полки фронтов во главе с командующими. Под грозную дробь барабанов советские чудобогатыри бросали к подножью Ленинского Мавзолея фашистские штандарты... В Москве шел Парад Победы.

Свердловск, 1945—1976



АНДРЕЙ МЕШАВКИН



МАНЧАЖСКАЯ СТРАНИЦА

Мечта давнишняя. После той первой — очень уже далекой — поездки в 1924 году в только что образованный Манчажский район Павел Петрович Бажов все собирался побывать здесь вторично. Его привлекало своеобразие природы юго-запада области — вековые леса, причудливые высокие горы, хранящие нетронутые кладовые природных богатств, говорливые реки и речушки. Главное же — тянуло к людям с их самобытным укладом жизни, сохранившим легенды и предания старины. Но сколько ни пытался, так и не удалось ему выбраться, а война с фашистской Германией еще дальше отодвинула задуманное.

Но вот в январе 1946 года обстоятельство сложилось так, что ехать в Манчаж надо непременно: жители здешнего края выдвинули Павла Петровича кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.

Мне посчастливилось быть свидетелем встреч Павла Петровича с жителями нашего, тогда Манчажского, района, сохранить блокнот с бегло записанными беседами, его выступлением при встрече с избирателями.

...Позади Красноуфимск. Дорога петляет по берегу Уфы и ее стариц. Северный ветер сеет в речную прорубь колючий снег, сбивает его в лепехи и хлещет о зеркальный, с синеватым отливом, край.

— Надо попоить лошадей. — Рослый, плечистый конюх Манчажского райкома партии Сташка Алиев отдает вожжи «уполномоченному», как он называет всех приезжающих в район, а сам с помятой бадейкой идет за водой.

«Уполномоченный» засмотрелся на опоясавшие город причудливые горы. Лошади, почуяв, что вожжи ослаблены, устремились к проруби, опрокинули кошевку на краслину.

— Так я и знал, — легко поставив полозья на место, подосадовал ямщик, — если уполномоченный плохо понимает деревню, сеять не может, конями управлять не умеет, то лошадь такого человека швыряет в снег, пешком гулять заставит. Верно говорю?

— Не сеял, правда, — согласился «уполномоченный» и стал выколачивать пепел из трубки.

Долго ехали молча. Сташка не мог понять: как это так — живет человек, уже бороду отпустил, а сеять не умеет? И какой-то очень уж задумчивый, неторопливо роняет слова, подгоняет одно к другому. Видно, о чем-то большом думает...

Где-то у развилки дороги Павел Петрович, окинув взглядом широко раскинувшуюся равнину, сказал как бы про себя:

— Там, у Красноуфимска, горная цепь, а тут степь, да и только.

Алиев возразил:

— Нет, степь там, Башкир-сторона. Тут — горы. Эта Сайдакай-гора, та Рахманкул, Амин опять гора есть, Сызга-гора, Мокрой кряж. У нас Бардым такая гора — шапка на землю валится, как на вершину поглядишь.

Когда Сташка начал рассказывать о Бардыме, Павел Петрович стал внимательно прислушиваться, уточнять что-то особо заинтересовавшее, вставлял одно-другое замечание.

Заметив, с каким вниманием слушает Павел Петрович, Сташка охотно рассказывал о родной деревне, словно он и не покидал ее:

— Радио у нас. Москва разговаривает. Марийцам всякую новость сообщают. Концерт слушаем. Ребя-тишки с русскими рядом учатся. Тракторист, комбай-нер — все свои.

Пара добрых райкомовских лошадей, хотя и пы-лила январская поземка, шла без рывков, ходко. В село приехали, когда там только что засветились в домах огоньки.

Вечер. Видно, пуще разгулялась метель: хлопает ставень у окна, неровно горит свет. Сижу, обдумываю, как рассказать читателям газеты о завтрашней встрече с кандидатом в депутаты Павлом Петровичем Бажо-вым. Хотелось бы записать все точно. Спрос будет с меня, редактора районной газеты.

И вдруг на пороге появляется Сташка Алиев. Как всегда, простуженно, хрипловато говорит:

— Скорей айда, Бажов приказал... Всякого уполномо-ченного возил, а такого — нет, без портфеля, все памятью берет. Ступай в гостиницу живо.

«Гостиница» находилась в одном здании с райко-мом. Там стояли неуклюжий, топорной работы, стол, пара табуреток, две довоенной поделки койки. Павел Петрович поздоровался.

— Хорошо, что захватили газету, — сказал он глу-ховато и как-то просто, словно давно мы знакомы. — Посмотрим, как вы краеведением занимаетесь.

— Хвалиться нечем, Павел Петрович. Да и, правду сказать, сегодня посевная, завтра хлебозаготовки, зи-мовка скотины, корма... Да и «площадь» у нас пока маловата.

Наверняка, подумалось, станет сейчас «пытать», как сказал Сташка, и бранить за неумение делать газету, за плохое оформление. Павел Петрович не спеша ли-стает страницу за страницей нашу районную газету «Голос колхозника» и обдумывает «приговор» мне, ес редактору.

В «гостинице» никого, кроме нас двоих. Движок в МТС все еще работает неровно, свет то ярко падает на стены комнаты, то совсем ослабеваает. Павел Петро-вич замечает:

— Плоховато живем. А все война навредила. Вам, судя по гимнастерке, пришлось повоевать? Не оши-баюсь?

— Нет.

— Где прошли?

— С Чуйковым. Сталинград — Берлин. А демобилизовался из Веймара, точнее — из Бухенвальда. Василий Иванович самолично нас проводил, наказов сколько понадавал!

— Волевой, сказывают, человек.

— Дерзкий очень, решительный. Встречал на фронте и после войны.

— Выходит, повидали неметчину? Как там у них?

— Хорошо и плохо.

— Так и надо полагать. Теперь, после горького похмеля, бывшие немецкие солдаты и внукам, и правнукам своим закажут ходить на Русь с оружием. Хорошо, как и в гражданскую, воевали уральцы, да и тыловики наши не оставались в долгу перед Родиной: пушки, танки эшелонами шли с Урала на запад.

Посмотрев подшивку газеты, Павел Петрович посоветовал с какой-то особой заботой:

— Все ясно — хлеб, животноводство, соревнование. Без этого нельзя. Краеведением не занимаетесь. А тут ведь только находчивости побольше: показывайте, как было и как стало. Когда газета приучает людей знать и любить свой край, они работают лучше, добрее, умнее становятся.

Встал, походил возле стола, спросил:

— А сами вы интересуетесь историей ваших сел и деревень? Учились где?

— Доморощенный.

— Из селькоров? Знаю я вашего брата по «Крестьянской газете». Бывало, кулаки с обрызгом стоят под окном, а они пишут и пишут.

— И мне иногда увесистые кулаки подносили, но не смог расстаться с газетой. Где самоуком, где как, подбирался к журналистике. Ваша газета хорошо помогала. Письма такие задушевные получал, храню их и сейчас.

— У нас так и было заведено: ни одного письма селькоровского не оставлять без ответа. Выходит, мы с вами старые знакомые.

— Так, должно быть. Я же следил за вашими материалами. Даже воспользовался ими...

Павла Петровича заинтересовало мое признание. Он пытливо посмотрел на меня.

— Не удивляйтесь,— сказал я.— За псевдонимом «Деревенский», если не ошибаюсь, вы ведь скрывались?— Бажов утвердительно кивнул.— Нравились мне ваши зарисовки, очерки и псевдоним тоже. Взял и стал подписывать свои заметки в районной газете, а потом и в «Колхозном пути», вашей наследнице, «Деревенский»...

— Ладно. Дело прошлое. Тяжбы не станем заводить. Ну, а район хорошо знаете?

— Еще до войны пешком обошел весь, знаю кое-что. В каждой деревне знакомые есть.

Павел Петрович внимательно посмотрел на меня,— должно быть, хотел убедиться, верно ли говорю,— потом продолжил свою мысль:

— Похвально, что походили по селам, к людям присмотрелись. Так вот и надо через прошлое показывать настоящее, через старожилов прежде всего, знатоков своего дела, кои крепко корнями вросли в землю. Потолковал я сегодня по дороге из Красноуфимска с конюхом райкомовским — клад-человек, оказывается, бардымский по роду. Бывал я в Верхнем Бардыме, знаю. В командировку ездил в сущий тогда Кереметь-стан. А что, если мы съездим с вами туда? Соберем ветеранов, потолкуем. Как смотрите на такую командировку?

— Вполне положительно. Я сталинградец, готов хоть сейчас.

— Да, сейчас,— Павел Петрович задумался,— вы вот вернулись, готовы поехать. А другие уж не вернуться. Панов, наш, уральский писатель, под Сталинградом погиб. Вы не помните его?

— Как же, помню, Павел Петрович! До войны я за всеми уральскими писателями следил, а с «Урманом» ходил даже на колхозные тока. Больше того — мы же с Иваном Степановичем, можно сказать, были однополчанами, в одной 221-й уральской дивизии воевали.

— Да что вы говорите...

— Сперва мы были под Саратовом, а как фашисты полезли на Сталинград — нас туда. Вот там, под Котлубанью, я и встретился с Иваном Степановичем в политотделе в последний раз.

Павел Петрович, отодвинув подшивку газеты, стал расспрашивать о Панове. Я рассказал, что еще на Урале, где формировалась дивизия, нас с Иваном Степановичем начальник политотдела майор Петр Яковлевич Савченко решил оставить при политотделе, в резерве редакции дивизионной газеты, но Панов не захотел, сказал, что пойдет в роту, притрется к солдатам-уральцам, поближе узнает их и потом напишет книгу о войне.

Павел Петрович опять поднялся, начал снова ходить вокруг стола.

— Да, таким он, оказывается, и остался, Панов, настойчивым, коль задумает что. Уралец, известно. Жаль, очень жаль человека, писателя. Не написал, не доделал задуманного... Но тут уж ничего не изменишь... Так как же, поедем в Бардым?

— Поедем! — снова с готовностью сказал я.

— А что вы знаете о нем?

— Каким был, каким стал. Хотите, я вас познакомлю с некоторыми фактами из истории деревни?

— Тут надо бы на костылек какой опереться.

Я сходил в редакцию, которая находилась в одном здании с райкомом партии, принес записки, сделанные в Красноуфимском краеведческом музее.

...Я не спеша читал выписки из подворной описи Красноуфимского уезда за 1891 год. Павел Петрович время от времени останавливался:

— Так сколько было в Бардыме безлошадных?

— Одиннадцать процентов.

— Грамотных?

— Один процент. Не имелось ни одной грамотной марийки.

— Надо отдать должное работникам земства, — про себя заметил Павел Петрович, — учет вели добросовестно. Даже цены на рожь и овес записывали, урожайность определяли... О марийцах что еще есть в музее?

— Так, пустяки. Рассказано, как невест покупали да какую одежду носили...

— Разве это неинтересно, товарищ редактор? Какой вы нелюбопытный народ! Так что же сказано?

Я прочитал выписку из «Хозяйственного описания Пермской губернии» о сватании невест.

Послушав, Павел Петрович сказал:

— Это же клад, а вы схоронили его в столе. Надо вынести напоказ, рассказать в газете народу: вот как было, а теперь вот как стало... Нет, надо ехать в Бардым.

На другой день мы с писателем пошли в Манчажскую школу. Как только поднялись на второй этаж, в классах стали приоткрываться двери.

— Бажов приехал!

— Писатель у нас в школе!

И тут прозвенел звонок — большая перемена. Павел Петрович побеседовал сначала с учителями, узнал, что и с учебниками в этот первый послевоенный учебный год плохо, и с тетрадями туго, многие учителя материально обеспечены плоховато. Высказали просьбы, чтобы депутат помог.

— Верю, мои дорогие, трудностей у вас много. Но я ведь еще не депутат, а только приехал на встречу с избирателями. Так что все будет зависеть от них. Может, скажут — неподходящая кандидатура.

— Да что вы, Павел Петрович! Мы вот уже уполномочили Софью Александровну Потейкину агитировать на встрече за вас. Так что будем надеяться на помощь.

— Обещать я не мастер, хотя и знаю, какую ношу вы несете на своих плечах, сам когда-то учительствовал. Ну, уж если доведется быть вашим депутатом, замолвлю о ваших школьных нуждах. И то сказать надо — обходить пока придется наделанные войной ухабы, которые нельзя перешагнуть.

Потом Бажов беседовал с учениками. Кто-то из тех, что побойчей, спросил:

— А как писателем можно стать?

Последовал короткий, ясный ответ:

— Надо хорошо учиться.

И еще вопрос:

— А что такое талант?

— Это когда писатель не жалеет штанов. Ну, и талант — это как раз и есть учеба, повседневная, настойчивая.

— Живинка в каком деле обязательна?

— Во всяком. Без нее можно стать Илюшей Обломовым. Надеюсь, знакомы вы с таким типом по урокам литературы?

— Знакомы! А можно звать Обломовым за двойку?

— Зачем же звать! Пусть лучше учится, а вы обща помогайте. Не бурсаки же вы, и школа у нас советская, оскорблять никого не полагается.

Ответив на вопросы, Павел Петрович по памяти прочитал сказ «Тараканье мыло».

Долго школа жила под впечатлением от встречи с Бажовым. Впоследствии от коллектива учителей и учащихся в Манчажский районный Совет поступило заявление. Они просили присвоить школе имя писателя. С той поры и стала она называться школой имени П. П. Бажова.

...Старенький, довоенный Дом культуры не мог вместить всех желающих увидеть своего кандидата, писателя, чьи произведения многим из них были уже знакомы по газете «Уральский рабочий». Те, кому посчастливилось протиснуться хотя бы к стенке в помещении, перешептывались:

— А какой простецкий... Прямо будто нашенский старичок...

Речи, речи. Все тепло отзываются о творчестве Павла Петровича, называют героев его произведений, говорят, что они помогают понимать многое в жизни.

Директор единственного в районе Натальинского завода Томашевский в своем выступлении заметил, что многие мастера-стеклодувы, начитавшись бажовских сказов, сами стали откапывать свою главную жилу, на досуге выдумывают и делают такие вещи из стекла — фантазия, да и только. То в графине, изготовленном ими, окажется Хозяйка Медной горы, то Полоз разноцветьем вьется.

— Спасибо вам, Павел Петрович, за чудесные ваши сказы, — поблагодарил в заключение писателя директор. — Приезжайте к нам на завод, будем очень рады, покажем рабочую живинку в деле.

— И вам спасибо, — сказал писатель, — спасибо за добрые ваши слова, за то, что не в помеху мои сказки. Не мешало бы побывать у вас на заводе да встретиться с вашими мастерами-выдумщиками, поучиться у них кое-чему. Только тепер нет такой возможности, как-нибудь в другой раз.

Избиратель, председатель колхоза «Интернационал» Николай Степанович Бахтияров в своем выступлении

сказал, что советская власть дала марийцам равное право со всеми гражданами. Теперь каждому открыта дорога к знаниям. Народ стал грамотный, ему подавай хороший клуб, хорошую библиотеку. А они пока тесноваты.

— Хотелось бы, чтобы вы, Павел Петрович, помогли нам разрешить эти вопросы,— сказал Бахтияров. — Приезжайте к нам, посмотрите, какие интересные люди живут у нас в Юве. Старину вам покажем, новое тоже не скроем. Наши избиратели знают вас по книгам, но им бы хотелось встретиться лично с вами...

На трибуне учительница Софья Александровна Пойкина.

— Ваши сказы, Павел Петрович,— певуче говорит она,— у нас в районе читают во всех селах и деревнях. Подите и загляните в любой дом, занесенный сегодня снегом, и там вы встретите людей, склонившихся над сказами. И ведь что удивительно: колхозники не только читают об умельцах, о мастерах, но и сами стараются работать с живинкой в деле, как тот ваш Тимоха-углежог, как Данила-мастер.

Сказы ваши взяты из самой жизни, учат людей быть сильными и смелыми, смекалистыми и находчивыми, добрыми и духовно богатыми. Спасибо вам, спасибо от всех наших избирателей, от каждого жителя нашего села и района. Уж если и у нас будут какие нужды и потребности, не откажитесь, замолвите слово, Павел Петрович. Мы уверены, что ваше слово в высшем органе государственной власти будет весомым. А жизнь-то нашу вы хорошо знаете. Будьте уверены: в день выборов мы отдадим за вас свои голоса, станете вы нашим депутатом в Верховном Совете, нашим полномочным представителем в Москве.

— Слово предоставляется кандидату, — объявляет председательствующий, — товарищу Бажову...

Тут уж начались такие аплодисменты, каких еще не слышал районный Дом культуры. Павел Петрович поднялся, смущенно роняет какие-то слова. Он начинает свое выступление за столом, да так, словно ведет задушевную беседу за чашкой чая.

— Неловко получается, товарищи,— говорит уже при наступившей тишине,— мне же доверие оказываете, выдвигаете кандидатом в депутаты Верховного Совета

и меня же хвалите. Будто не я, а вы мне обязаны... Если бы речь шла об академике или доярке, которые своими силами, знаниями и умением обогащают Родину... А я ведь только записываю то, что создано народом...

Но тут писателя-кандидата кто-то перебивает:

— Нет, дорогой Павел Петрович, правильно высказались ораторы, хороший вы человек, большой и нужный для нас всех писатель.

Бажов опять руку прикладывает к сердцу.

— Товарищи, люди добрые, надо еще проверить, каким я буду вашим слугой на деле. Еще раз говорю, что я всего-навсего неисправимый сказочник, а вы вон какое наговорили обо мне. Правда, сказка сказке рознь. Если она взята из жизни и помогает становиться лучше, то это хорошо. Пишу я и, наверное, еще буду писать так, чтобы слово служило народу, другого намерения у меня нет.

Все присутствующие опять долго и горячо аплодировали писателю, а когда зал притих, Павел Петрович стал говорить о том, какую ношу вынесли на своих плечах уральцы в годы войны, как много сделали они для победы над фашистами.

— Партия, Советская власть и народ — хозяин страны, — вот где заложена наша победа над врагом. Пока существует их союз, — а он будет существовать всегда, — никому нас не одолеть, мы будем продвигаться вперед все уверенней.

Волнуясь, Павел Петрович поклонился под шумные аплодисменты присутствующих в зале избирателей.

Когда стали расходиться, Павел Петрович сказал председателю райисполкома В. В. Смирнову:

— Шутки шутками, Виктор Васильевич, но не все мне у вас нравится. Библиотека в хиленьком помещении ютится. Подумать бы не мешало о новом для нее здании. А по весне побольше бы надо деревьев посадить.

От намерения посетить Верхний Бардым Павел Петрович не отказался. Об этом заранее сообщили секретарю партийной организации тамошнего колхоза «Увий» Татьяне Ивановне Лавровой. Народу к нашему приезду

в дом Лавровой набралось столько, что с трудом удалось пробиться через сенцы. Столы в горнице уже были приготовлены, в печи в больших чугунках через край выплескивалась бурлящая вода. Сразу же появились пельмени.

— Уральское кушанье,— берясь за вилку, заметил свердловский гость, склоняясь к приехавшему сюда же В. В. Смирнову. — А вот селянку уже забыли. В столовой который раз встретишь — не то, пюре да и только. Настоящая селянка готовится в глиняной латке с глазурью, с поджаренной, хрупкой корочкой, на густом молоке, с яйцом и топленым маслом...

Павел Петрович вспомнил, как он еще в 1924 году посетил Верхний Бардым и что застал в ту пору.

— Русские жили тогда неважно, а марийцам вовсе туго пришлось. Во многих оконцах вместо разбитых стекол доски были. А грамотных, как то подтверждает статистика, в наследство от царя достался один процент. Безлошадников было немало. Прямо сказать, тревожное положение.

— То правда,— словно по уговору подтвердили старики, окружавшие Бажова за столом.

Начались рассказы о истории деревни.

— Первой мари, которой пришел,— вороша память, сказал старик Васюк,— поселился там, на Лысой горе. А тут, где теперь живем, лес сквозь был. Большой сосна, лиственнь высокой. Мамонт кость нашли — зуб как утюг. Живет мари, шайтан ночам стучит: моя дорогам укуди. Ушел ключ-речка. Тут теперь мой дом, весь живет деревня Бардым Верхний.

Павел Петрович достал блокнотик, сказал:

— На память нельзя стало надеяться, а может для какой-нибудь надобности пригодиться. Надо бы маленько написать о вашем крае. Давно появилась такая дума.

Он еще и еще расспрашивал стариков. Появилась еще легенда:

— Бежит маленькая речка Бардымка меж высоких, упирающихся в небо гор. Бежит, не замерзая зимой, торопится в глубокую Уфу, не мутясь. Умоется человек той родниковой водой, и сразу впятеро прибавится силы в руках. А идти на речку надо рано и взять воду в пригоршни как раз в то время, когда на востоке

только-только появится алая полоска зари. Прежде времени прикоснешься к воде — замутится, запоздаешь — закачаются берега, не зачерпнешь. Многие ходили на речку, но уловить момент появления зари так и не удалось, потому что зрение у марийцев было затемнено трахомой и горькими слезами от нужды. Так и жили в нужде да беде.

Рассказы стариков Павел Петрович слушал с огромным вниманием, забыл даже о пельменях.

Тем временем невысокий старик с взъерошенной шапкой волос распутывал бисер уже следующей легенды:

— Счастье во двор придет к тому, говорили марийцы, кто в Ага-Пайрам — в день праздника — у березы священной, что стоит в Васильевом логу, принесет жертву — гуся, поросенка, жеребенка. А чтобы счастье было полным, никто не должен рубить дерева у Пайки Кореи. Кто срубит там хоть веточку, Кереметь, злой дух, унесет у того одежду и обречет через год после тяжелых мук на смерть. Конечно, женщина-марийка не в счет: коварная, она может испортить все дело, накликать Кереметя, заманить его для беды. Потому в жертвоприношении участвовали только мужчины.

Подумав, старик добавил:

— То ли мулла у нас в Верхнем Бардыме был не самый мудрый из мудрых, то ли береза стояла не на том месте — как раз за ответвлением Кереметьевского лога, — жертвы не доходили по назначению: посевы на крутых и высоких бардымских горах часто выбивал град, скот по весне падал.

Павел Петрович опять взялся за блокнот, записал что-то и спросил у председателя колхоза Петрованова:

— А теперь как? ·

— Теперь не то. Неграмотного у нас, особенно из молодых, не сыщете — не старайтесь. Этот стал трактористом, тот машинистом, третий комбайном управляет. Радио без малого в каждом доме. Но народ недоволен: то давай, это вези, а где сегодня возьмешь? Мириться приходится. Да ведь скоро, должно, по-другому пойдет дело, уже налаживается мирная жизнь.

Павел Петрович поинтересовался: а как же, мол, с обычаями? Татьяна Ивановна, хорошо зная их, поведала:

— Не все легко дается. Есть еще люди суеверные. Но все же дело продвигается. Возьмем хотя бы свадьбу. Марийская невеста знала раньше одно — подготовить пестрядиное, с монистами, платье, фартук, шлык и нагрудник с монетами и бисером. На это уходила вся молодость. Она не имела права высказывать свое желание. Жених увозил ее к себе в дом, но это была еще не свадьба: ее не назначали до тех пор, пока жених не заработает достаточно, чтобы пригласить на свадебные торжества всю деревню. От этой традиции сохранилось сегодня одно — свадьба действительно стала праздником всей деревни. Улыбками, песнями, национальной музыкой обрамляется дорога молодоженов в счастливую семейную жизнь...

Над Бардымкой уже давно поднялся месяц, а в доме Татьяны Ивановны продолжалась душевная беседа о старой и новой жизни. Прощаясь с хозяевами, Павел Петрович пожалел:

— Напрасно я не побывал у вас пораньше. Ведь какую книжку можно было бы написать!.. Ну, да я подумаю и побываю еще у вас. Уж очень самобытного много.

Позднее, когда Павел Петрович стал депутатом Верховного Совета, я попросил его прислать какой-нибудь сказ для напечатания в районной газете «Голос колхозника». Он не замедлил с ответом.

«Уважаемый товарищ Мешавкин! — писал он. — У меня ведь нет подходящих к размеру районной газеты вещей, всякий сказ, разумеется, можно сократить, но тогда он становится неинтересным. Мелочи быта как раз и составляют то, что занимает читателя. Подобрал вам самый коротенький из последних, что уже печатались в других изданиях [то был сказ «Васина гора»]. Если подойдет, поместите. При надобности сокращайте по вашему усмотрению и вообще не стесняйтесь».

Сказ, разумеется, был напечатан полностью. Избиратели, просьбу которых мы и выполнили, не только охотно прочли его, но и запомнили, что «главная гора — работа. Коли ее пугаться не станешь, то все ладно будет». (В машинописный текст он собственноручно внес ряд на первый взгляд незначительных, но суще-

ственных поправок — уже после публикации сказа в «Уральском рабочем».)

Уехав из Манчажа, Павел Петрович не забывал и о связи с избирателями. В своем письме ко мне он писал:

«...У меня к вам просьба. Организуйте, пожалуйста, высылку вашей газеты по моему адресу, как это делают в других районах. Таким путем я был бы все-таки в курсе жизни Манчажского района.

Вторая просьба вот о чем. У меня по моей работе нет постоянного места: то дома, то на Пушкинской, то в облизполкоме. Это затрудняет тех, кто приезжает с заявлениями. Решил поэтому перейти на определенное время и место приема и прошу объявить к сведению граждан вашего района, что депутат такой-то принимает заявителей при объезде округа в исполкомах районных и сельсоветах, а в городе в здании исполкома областного Совета, комната № 7. Письменные заявления можно посылать по домашнему адресу — Свердловск, Чапаева, 11».

Тут уже Бажов выступал не как «простой сказочник», а как слуга народа, заботливый и скрупулезный, внимательный и точный во всем, взявший на себя большую заботу об избирателях, их нуждах и запросах.

После опубликования обращения Павла Петровича в газете председатель Манчажского райисполкома В. В. Смирнов пригласил к себе в кабинет заведующих отделами и сказал им:

— Вот, товарищи, у кого вам надо учиться аккуратности и тактичности в работе, а вместе с вами и мне.

Избиратели в свою очередь, приходя в районный или сельские Советы, все чаще стали требовать, чтобы избранники «по примеру главного депутата Бажова» выслушивали их внимательно.

Павел Петрович никогда не упускал случая при встречах с манчажцами разузнать о делах в районе. Он сожалел, что из-за занятости литературными делами и слабости здоровья не может объезжать округ и встречаться на месте с избирателями, помогать решать им неотложные вопросы.

Находясь однажды в Свердловске, я узнал, что литераторы Урала собрались на конференцию. Захотелось и мне послушать их творческую дискуссию. Выступают один, другой ораторы, от московской делегации приветствует конференцию Павел Нилин. Сделав неловкий жест, он смахнул с трибуны стакан с водой.

— Не бойтесь, товарищи,— сидя за столом президиума, пошутил Павел Петрович,— посуду бьют к успеху...

Во время перерыва я постарался встретиться с Павлом Петровичем, он поинтересовался:

— Как дела в вашем Кереметьстане?

— К лучшему. Фермы механизированные построены, все электрифицировано, техника появилась новая, люди...

— Очень жаль, что не придется побывать у вас, а как бы хотелось... — Подумав, добавил: — Побольше занимайтесь краеведением, рассказывайте в газете о интересных и дотошных людях.

В Манчаже, в Бардыме и других наших селах и деревнях и сегодня, спустя тридцать лет, любят и читают книги Павла Петровича.

Манчаж, 1975



АЛЕКСАНДР НЕЙШТАДТ



ПАВЕЛ БАЖОВ — ДЕПУТАТ

Седьмую комнату в здании облисполкома знали многие жители нашей области. В ней по четвергам от 12 до 3 часов дня, как гласила надпись на двери, принимал депутат Верховного Совета СССР Павел Петрович Бажов.

На прием к депутату Верховного Совета приходило множество людей. Являясь избранником обширного округа, охватывающего несколько городов и районов нашей области, Павел Петрович завязал крепкие связи со своими избирателями. О том, как найти и где найти своего депутата, знал весь его округ. Полевчане — в газете «За большевистские темпы», артинцы — в «Ленинском пути», сажинцы — в «Колхозном пути», манчажцы — в «Голосе колхозника», ревдинцы, сергинцы, бисертцы читали в своих газетах о днях и часах, месте приема депутата.

Во все редакции этих газет не забыл обратиться Павел Петрович с просьбой поместить коротенькую информацию о депутатском приеме.

— У меня ведь, знаете, — говорил Павел Петрович, — по своей основной работе писателя время и место не

нормированы, из-за этого выходят иногда недоразумения. Приезжают люди из района, чтобы поговорить о своих нуждах, а я в это время в отъезде, да и в самом Свердловске меня не всегда легко найти. Чтобы устранить это, в дальнейшем решил перейти на определенные часы приема. Вот и попросил объявить к сведению граждан районов, где и когда депутат принимает при поездках по избирательному округу, а также место и время приема в городе Свердловске. Вторая моя просьба была к редакторам — высылать по этому же адресу газеты, чтобы я был в курсе всех событий в моем округе.

Несмотря на слабое здоровье, Павел Петрович вел депутатские приемы аккуратно, быстро реагировал на просьбы избирателей, решал их оперативно, стараясь детально разобраться в каждом поднятом вопросе, в каждой жалобе. Помнится, как в один из четвергов в той же седьмой комнате облисполкома (где я тоже бывал как депутат областного Совета) Павел Петрович, низко склонившись над бумагой, писал депутатское письмо об улучшении водоснабжения в старой части города Ревды. А спустя два или три месяца он с удовлетворением рассказывал о том, что исполком Ревдинского горсовета сообщил: в старой части города построены дополнительные шахтные колодцы.

Избиратели писали и являлись на прием не только в здание облисполкома и не только в определенные часы. Много посетителей приходило на квартиру к депутату, еще больше поступало сюда писем.

Помню, на квартире Бажова я встретил председателя одного из колхозов Ачитского района, т. Тернова. Застал их в жаркой беседе по поводу электрификации колхозов, постройки гидроэлектростанций. Павел Петрович говорил о том, что электрификация колхозов находится в центре внимания областных организаций, что это программа партии, завет Ленина, но и здесь надо проявлять исключительную настойчивость, иначе некоторые вопросы могут решаться медленно.

— Жители вашего колхоза, Александр Порфирьевич, довольны тем, что село получило свет, а производство — ток, это очень хорошо. А вот прислали мне письмо из села Краснояр. Колхозники рвутся к электричеству, а область мало им помогает, они и недо-

вольны, справедливо жалуются... Жители села вложили немало труда в электрификацию: приняли участие в строительстве гидростанции, своими силами провели электролинию до села, сами сделали внутреннюю проводку в квартиры. Свет, однако, горел в Краснояре лишь полтора месяца, а дальше в пользовании электроэнергией отказали. Оказывается, не хватает воды в пруду, к тому же какие-то неправильности в проводке линии. Может быть, все это так, но жители Краснояра не видят никаких попыток к изменению и улучшению дела. Бездействие тем обиднее для красноярцев, что линия на Краснояр стоит забытой и ненужной, вроде памятника о проведенной кампании.

По настоянию депутата Бажова облисполком послал на место специалиста. Через три недели депутат получил от заместителя председателя облисполкома положительный ответ и незамедлительно сообщил своим избирателям эту радостную весточку.

Горячее участие депутата в этом деле принесло благодатные результаты, жители села Краснояр свет получили.

* * *

Настойчивость — характерная черта в депутатской работе П. П. Бажова. Если задерживается разрешение вопроса — напомнить, и не раз, считал Павел Петрович своей неременной обязанностью. Об этом свидетельствуют его письма директорам заводов, в партийные, советские и профсоюзные организации, непосредственно руководителям области. В них проявляется глубокая забота об избирателях — о назначении пенсий, предоставлении квартир, об отводе земельных участков для строительства, о переходе на другую работу. В своих письмах Бажов нередко поднимает крупные проблемные вопросы — о развитии заводов, о решении экономических задач области.

Вот артинцы обращаются к нему с просьбой помочь в разработке недр района, в которых, по их мнению, имеются полезные ископаемые, и П. П. Бажов связывается с геологическими учреждениями, выясняет возможности. Вот красноуфимцы выдвигают вопрос о по-

стройке новой железнодорожной линии для связи с близлежащими сельскохозяйственными районами Свердловской области и вывода железной дороги на восток, минуя загруженный Свердловский узел. П. П. Бажов входит с предложениями в управление железной дороги и плановые органы. К нему обращаются сажинцы и просят помочь в строительстве школы, которую им обещает область не один уже год, несколько районных центров просят его помочь им составить проекты планировки поселков, отпустить дополнительные средства на благоустройство, и П. П. Бажов считает своим долгом войти с необходимыми предложениями в областные отделы и непосредственно в руководящие органы.

Вот одно из его заявлений в облисполком: «Ко мне, как депутату Верховного Совета СССР, поступают просьбы, по которым приходится обращаться за содействием в отделы облисполкома, но бывают вопросы, по которым необходимо непосредственное распоряжение облисполкома. Злоупотреблять этим не предполагаю, но в отдельных случаях буду обращаться, рассчитывая на авторитетную поддержку». И дальше Павел Петрович рассказывает о заявлении школьных работников Сажинского района:

«На строительство средней школы в Сажино отпущено 750 тысяч рублей. Сажинцам надо спешно организовать подвозку стройматериалов, а у них нет ни автомашины, ни горючего. Родители и коллектив предложили обратиться за содействием ко мне. Решить такой вопрос через облоно, мне кажется, невозможно, поэтому и обращаюсь непосредственно в облисполком с ходатайством помочь сажинцам в приобретении грузовой машины и отпуске им горючего.

Понимаю, что снабжение районов средствами передвижения проводится в плановом порядке, но здесь прошу учесть особенность Сажинского района. Он — новый и несравненно меньше снабжен, чем смежные с ним Артинский, Манчажский, не говоря уже о Красноуфимском. Дополнительная грузовая машина для такого района очень бы много значила».

На этот вопрос, как и следовало ожидать, поступил благожелательный отклик — Сажинский райисполком

получил грузовые автомашины и бензин, строительство школы было завершено, и помню, как на одном из заседаний облисполкома сажинцы с гордостью говорили о дополнительном вкладе в дело народного образования Сажинского района.

Внимательно выслушать просьбу, вдумчиво обсудить ее, принять решение по-государственному, по-партийному и отвечающее интересам просителя — таков был стиль работы депутата Бажова.

— Иногда читаю заявления и возмущаюсь, — говорил Павел Петрович, — как некоторые наши районные работники не обладают чувством партийности при решении вопросов. А ведь любое дело любого человека надо рассматривать только с этих позиций.

Однажды П. П. Бажов получает заявление от двух рабочих завода сельскохозяйственного оборудования. Они жалуются на неправильное увольнение. Но Бажов глубже вникает в это дело, он усмотрел в нем нарушение партийных норм и немедленно пишет об этом секретарю Артинского райкома партии: «В прилагаемом письме рабочих Петрушина И. Ф. и Невраева А. Д., как мне показалось, есть серьезное основание для того, чтобы посмотреть на дело партийным взглядом. Может быть, заявители и являются нарушителями дисциплины завода, но обход других таких же нарушителей уже сигнал, что на заводе неблагоприятно с дисциплиной, да и действуют пристрастно, налегая на одних и покрывая других, т. е. скатываются до порядка старых хозяев: «Хочу — наказываю, хочу — милую». Все это побуждает меня просить, чтобы Вы рассмотрели это дело на месте и подсказали правильный выход».

С каким возмущением рассказывал Павел Петрович об одной истории: старик Бажутин жаловался, что председатель колхоза «Новый путь» Бисертского района не считает его колхозником и не начисляет ему трудни.

— Внешне это вопрос хозяйственный, правовой, — говорил Павел Петрович, — но есть одно обстоятельство, которое заставляет считать его партийным. Дело в том, что Бажутину сто два года. Возраст такой, что все мы, — по мнению Павла Петровича, — не должны при-

менять к нему те нормы, какие обычно обязательны даже для пожилых. Проявление заботы в отношении такого старика крестьянина имеет политическое значение. Поэтому я и обратился к первому секретарю райкома с просьбой взять это дело под свой контроль и устроить жизнь Бажутина, чтобы ему не приходилось жаловаться на лишения...

В первые годы после окончания войны, когда перевод с одного места работы на другое без разрешения администрации предприятия был затруднен, возникало много недоразумений. В ряде случаев желания были справедливыми, а руководители предприятий частенько с ними не соглашались и, недовольные, жаловались. Депутату приходилось проявлять особую чуткость при рассмотрении этих вопросов. Вот хотя бы один из образцов такого решения, из десятков писем, находящихся в депутатской переписке Бажова:

«Г. Ревда, горком ВКП(б), тов. Мартьянову И. С. Уважаемый Иван Степанович!

Вновь решил обратиться непосредственно к Вам, так как, судя по прилагаемому заявлению лаборантки метизно-металлургического завода Зеленковой, требуется воздействие в партийном порядке.

При всей трудности с кадрами нельзя же мотивировать свой отказ отпустить работника тем, что муж уехал на учебу, а не на постоянное производство. Это ведь совершенно непартийное отношение к семье.

Очень прошу Вас сделать соответствующее разъяснение упомянутым в заявлении работникам об отношении по форме и по существу, т. е. разницу между чиновником и партийцем.

Прошу одновременно, чтоб по заявлению были приняты меры дирекцией завода и решение сообщено как мне, так и заявительнице».

В решении этих трудовых вопросов Павел Петрович был особенно внимателен и осторожен, всегда стремился рассмотреть их «с обеих сторон» — то есть с позиций трудящегося и администрации предприятия, и если мнение депутата не совпадало с желанием избирателя, Бажов не стеснялся объяснить заявителю, в чем он неправ. Так он рекомендует решать вопросы

и своему коллеге — депутату Верховного Совета СССР т. Сосунову. Однажды рабочий Первоуральского новотрубного завода, депутат В. И. Сосунов обратился к Бажову со следующим письмом:

«Здравствуйте, Павел Петрович!

Извините меня за то, что я принесу Вам беспокойство своим письмом, но у меня дело, не терпящее отлагательства. Напишите мне, Павел Петрович, пожалуйста, как Вы реагируете на заявления своих избирателей, желающих уволиться с места работы. Ко мне поступает много таких заявлений о переводе и уходе с работы от рабочих и служащих заводов, и я хочу с Вами посоветоваться, вопрос большой, пишут их старики и молодые, есть много писем от бывших фронтовиков.

Шлю Вам привет и поздравляю Вас и Вашу семью с наступающим праздником 1 Мая.

Депутат Верховного Совета СССР В. Сосунов»

Павел Петрович посылает обстоятельный ответ т. Сосунову и как пример приводит копию своего разъяснения, которое он дал по аналогичному запросу-заявлению трех своих избирателей из гор. Ревды:

«Возвращение технического персонала и рабочих, которые во время Отечественной войны вносили свою долю во всенародное дело борьбы своим трудом на заводах, эвакуированных на новые места, не может проходить тем же способом, как демобилизация армии. Здесь это гораздо сложнее. Человек на производстве занимает разное положение. Одних отпустить легче, других труднее, а есть такие, отпуск которых равносителен временной остановке завода. Ссылка на разлуку с семьями и собственные дома тоже не может считаться одинаково полноценным мотивом для возвращения. Семью, состоящую из жены и ребенка, легко перевезти на новое место, если там созданы приемлемые жилищно-бытовые условия. Совсем другое дело, когда семья состоит из беспомощных стариков или в ней несколько человек связано с учебой и производством. Дома тоже разные бывают. Иной не стоит того, чтобы за него держаться, тем более что заводоуправление ока-

зывает помощь в постройке домов индивидуальным порядком не только деньгами, но и строительными материалами. Немаловажное значение имеет и то, как поставлено на новом месте жилищно-бытовое и культурное обслуживание трудящихся. Словом, вопрос этот в данных условиях приходится решать по-разному, но всегда с учетом интересов производства.

Желания трудящихся и выявленное мнение руководителей предприятия позволит принять наиболее правильное решение по затронутому вопросу. И если Ваше решение не совпадает с мнением заявителя, обязательно разъясните ему, в чем он неправ».

* * *

Разъяснить каждому, кто обращался к депутату, правильность его заявления или разъяснить, и подробно разъяснить, почему его просьбу удовлетворить нельзя, П. П. Бажов считал своей неременной обязанностью. Не только сам, но и те учреждения, в которые он направлял своих избирателей, просил Павел Петрович обязательно разъяснять и отвечать заявителям, чтобы человек ясно понял, почему именно так, а не иначе, решен его вопрос.

«Уважаемый товарищ заведующий облфинотделом,— пишет Павел Петрович,— направляю Вам письмо тов. Пильниковой из Нижних Серег. Прошу дать соответствующие указания работникам райфинотдела. Они не должны забывать, что в их обязанности входит и разъяснительная работа. Финансовая сторона дела не должна затенять для советского работника и агитационно-политическую. Одновременно прошу выяснить вопрос о возможности снижения налога заявительнице...»

С возмущением обращается Павел Петрович к директору Челябинского завода имени Кирова по поводу безобразного отношения его подчиненных к справедливому заявлению трудящегося:

«Ко мне обратился избиратель т. Меньшенин, работающий на лесоучастке, принадлежащем Вашему заводу, расположенном в Полевском районе. Его просьбу на имя администрации лесоучастка откомандировать

на работу в г. Полевское, предварительно выдав полагающееся ему продовольственное снабжение, поддерживал Полевской горсовет, а вот начальник лесоучастка наложил резолюцию: «Удовлетворить просьбу не могу» и ниже — «В довольствии отказать». Мне думается, что любой начальник при обращении к нему обязан разъяснить причины отказа или, если он согласен с заявлением, указать, какие меры он примет для его удовлетворения и какой намечает для этого срок. Воскрешать же барское «не могу» в наших условиях неудобно и потому, что здесь еще живы рассказы старых рабочих, как они в 1905 году вывозили на тачках с заводских дворов управителей-«немогутков», приговаривая: «Раз ни черта не можешь, то и место тебе на свалке».

На основании сказанного прошу Вашего распоряжения о пересмотре дела т. Меньшенина.

О Вашем решении не откажите сообщить как мне, так и заявителю.

П. Бажов»

— Но бывают иногда и такие разъяснения на просьбы моих избирателей, что лучше бы их и не было вовсе,— с горечью говорил Павел Петрович. — Как-то раз обратился ко мне директор Полевского Дома пионеров и рассказал о подготовке их Дома к Октябрьским торжествам: какие они готовят выступления пионеров, как будут украшать свои комнаты, колонну пионерского отряда. Он достал все необходимое для праздника. Добился денег, купил музыкальные инструменты, много материала для костюмов, для украшений, но вот никак, жаловался он мне, не может достать на сотню рублей бумаги для вышивания, в магазинах она есть, а вот Дому пионеров не продают по безналичному расчету. Он написал об этом в облторготдел, я его поддерживал и тоже обратился туда же. Из облторготдела и последовало «разъяснение» директору Полевского Дома пионеров и в копии мне:

«На Ваше письмо сообщаем, что Министерством торговли СССР определена номенклатура товаров, которые разрешается продавать по безналичному расчету,— вышивальная бумага, в том числе и мулине,

данной номенклатурой не предусмотрена, следовательно, приобретение ее по безналичному расчету не представляется возможным».

— Безусловно, выполнять указания вышестоящих организаций местные органы обязаны, но вряд ли могло Министерство торговли, да еще союзное, помнить о необходимости включить мулине в обширный список товаров, продаваемых по безналичному расчету, а облторготделу всегда можно было продать на сто рублей вышивальной бумаги Дому пионеров для участия в Октябрьских торжествах. Нет, видите ли, желания не было, не хотелось подумать, а проще всего: «Разъяснить согласно циркуляру». Пришлось мне вновь попросить, и все-таки полевские пионеры бумагу получили.

Помнится мне и другой случай с «разъяснениями». Поступила ко мне жалоба от изобретателя. Он с лодки ловил рыбу в Ревдинском пруду. Бац — налетел на него человек, угрожает, шумит, называет его браконьером и требует подъехать к берегу. На вопрос моего избирателя, чем он провинился, представитель Госрыбнадзора, — а этот человек оказался общественным инспектором этого надзора, — заявил, что им ловится рыба сетью неположенного размера и вылавливается рыба тоже неположенного размера. Мой избиратель с ним вступил в спор, но ни в какую. Инспектор отобрал у него на берегу сеть, лодку, пойманную рыбу — шесть килограммов.

В результате жалобы пришло от областной инспекции Госрыбнадзора следующее разъяснение: ловить рыбу можно сетью размером ячеек в двадцать два миллиметра, а у нарушителя сеть была с ячейей в двадцать миллиметров; ловить рыбу — карася, линя, чебака — можно размером не менее девять см в длину. А как определять длину, указано было в примечании к разъяснению: «Размеры рыб определяются от середины глаза до конца переднего или заднего луча — анального плавника...»

Понятно, — продолжал Павел Петрович, — бороться с браконьерством надо самыми жесткими мерами, но возникает в данном случае вопрос: как мог инспектор, еще сидя в лодке, определить, что ячейи сети на два миллиметра меньше нормы и длина рыбы «от

анального плавника до середины глаза» меньше девяти сантиметров? Да и вообще столь сложное разъяснение Госрыбнадзора не может быть популярным среди рыбаков. Пришлось сети и лодку вернуть, так как при тщательной проверке нарушения обнаружено не было.

Вот и важно разъяснять все просто и понятно, тогда и людям будет ясно, что можно делать, чего нельзя, а главное — всегда надо разъяснять своевременно. Допустили же мы на Урале ошибку, и крупную ошибку, с охраной лесных массивов от вырубок вокруг городов и с загрязнением рек и прудов промышленными отходами. Не схватились вовремя, а сейчас много нужно лет, чтобы исправить создавшееся положение.

* * *

Исключительной скромности человек, Павел Петрович не любил рассказывать о себе, но о выборах его в Верховный Совет, о том, как ему было оказано великое доверие, он говорил с гордостью.

— В жизни мне приходилось испытывать состояние, когда поручали дело сложнее того, каким занимался. Обычно в подобных случаях каждый и радуется и чувствует подъем сил, и в то же время страшится: справится ли? Все это многим знакомо по личному опыту, но то, что мне пришлось пережить в те дни 1946 года, совершенно с этим несравнимо.

По области началось выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. И вдруг в одну из вечерних радиопередач услышал я свою фамилию. Услыхал отчетливо, но это показалось слуховой ошибкой. Вскоре, однако, стало ясным, что называют меня, старого уральского сказочника. Волна радости за доверие, оказанное мне общественными организациями и трудящимися Красноуфимского избирательного округа, на этот раз полностью была перекрыта сознанием огромной ответственности, связанной с высоким званием.

Понятно, что сознание ответственности должно смущать многих, и я вначале растерялся, но вот из памяти

выплыла картина первых лет построения нашего Советского государства. Количество подготовленных людей тогда было неизмеримо меньше: не хватало даже простой грамотности, работали еще ликбезы, но паники не было, как не было и прохладного отношения к делу. И все это потому, что у нас была партия, выпестованная Лениным. Это она, наша партия, взяла на свои плечи невероятный груз построения нового, социалистического государства на месте отсталой аграрной страны, какой была наша родина при изживших себя бесталанных последышах царей.

Немного помолчав, затянувшись трубочкой, Павел Петрович тепло улыбнулся своим собеседникам и продолжал свой рассказ:

— За истекшие годы у нас выковалась нерушимая дружба народов страны и тот прочный блок беспартийных и коммунистов, который является особенностью советской демократии. Весь народ знает, что у нас каждый, независимо от его положения и профессии, одинаково освещен и согрет солнцем Советской Конституции. Это дает спокойную уверенность в работе и то единство устремлений, которым мы можем гордиться. Каждый уверен, что его труд идет на пользу государства, а не каких-нибудь отдельных лиц или групп, каждый знает, что честный труд никогда не будет забыт или недооценен, что в трудных случаях тебе помогут. Это чувство всенародного плеча и общности интересов дает силу советскому человеку при любых трудностях. Ободрило оно и меня перед тем подъемом, перед которым меня поставили рабочие, колхозники и интеллигенция Красноуфимского округа, выставившие меня кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР в 1946 году и потом в 1950 году.

Я на предвыборных встречах принес им свою глубокую благодарность за оказанное доверие и уверил, что приложу все силы и знания, чтобы стать достойным звания члена судовой команды того корабля, который ведет к коммунизму наша великая партия большевиков.

В феврале 1950 года, когда проходили встречи кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР со своими избирателями, П. П. Бажов, депутат от Красноуфимского округа, опять там же выдвинутый кандидатом

в депутаты нового созыва, приехал в Красноуфимск. Он остановился в городской гостинице. Находясь в Красноуфимске по делам службы, я жил в той же гостинице. Днем, когда я зашел в комнату, занятую Павлом Петровичем, то застал у него нескольких работников горкома КПСС, горисполкома, знакомых, вернувшихся с ним из городского клуба, где состоялась встреча с избирателями-железнодорожниками. Здесь же были представители колхоза, куда должен был вскоре выехать Павел Петрович на встречу с избирателями. Дым стоял столбом, все курили без стеснения, так как знали, что скоро покинут комнату. Павел Петрович тоже курил, беспрестанно кашлял и оживленно говорил. Настроение у Бажова было приподнятое, но все же вид был нездоровый, чувствовалось, что он хворает, хотя это нисколько не мешало ему вовлечь всех присутствующих в общую беседу.

Его большой жизненный опыт, прекрасное знание истории и экономики нашего края всегда делали беседу исключительно интересной. Речь шла о прошлом и настоящем, о больших и малых делах. Бажов рассказывал, как всегда, образно и исчерпывающе. Он говорил об уральской промышленности, о развитии индустрии в нашей области, потом перешел на городское хозяйство и очень красочно сравнил состояние города до революции и сейчас. Раньше в области не было ни одного города, имевшего водопровод, канализацию, тем более городской транспорт, а сейчас даже в небольшом Красноуфимске имеется водопровод и автобусы. В Екатеринбурге было только 100 уличных электрических фонарей, а в Красноуфимске не было ни одного, не было ни одной мощеной улицы, а сейчас наши города овещаются, озеленяются, улицы мостятся.

— Красноуфимской молодежи даже в голову не придет,— говорил Бажов,— что кто-то из жителей города, если он достиг совершеннолетия, не может выбирать в городской Совет, поэтому и считают люди естественным, что в Красноуфимске сейчас голосует сто процентов взрослого населения, а вот по официальным данным в дореволюционном Красноуфимске в городские органы власти имели право выборов только

сто шестьдесят человек, то есть купечество и городские чиновники, это составляло два процента населения, и выбирали они всего двадцать три гласных думы из этой же среды. Так на кого работает наша городская власть?

Павел Петрович рассказал о ленинских принципах управления государством, о том, что депутатские обязанности внесли большие изменения и в его жизнь.

— Последние годы мое участие в социалистическом строительстве сводилось к созданию художественных произведений, к работе в Союзе писателей, участием в мероприятиях областной партийной организации. А теперь помимо этого пришлось окунуться с головой, если можно так выразиться, в многогранную жизнь всей страны, особенно нашей области, участвуя в работах сессии Верховного Совета, разрешая различные вопросы, которые выдвигают избиратели. Круг таких вопросов настолько многообразен, что мне, по существу, приходится в некоторых делах проходить хорошую школу. Я доволен, я живу этой самой своей миссией, я ощущаю прилив сил, когда выполняю свои депутатские обязанности, когда чувствую любовь народа к своим избранникам.

У подъезда гостиницы стояли две тройки лошадей. Дуги, оглобли, кошевы были разукрашены лентами, еловыми ветвями — этот поезд должен был доставить Бажова на встречу в колхоз. Павел Петрович услышал через открытую форточку звон бубенцов и начал собираться.

— Вы, когда обратно поедете, опять у нас остановитесь, Павел Петрович? — спросил его директор Красноуфимской гостиницы, провожая к выходу. — Мне еще хочется побеседовать с вами о некоторых исторических событиях, проходивших в районе нашего города, о чем воспоминанием служит засыпанный подземный ход под зданием гостиницы, вырытый, как говорят, во время пугачевского наступления.

— Ох, уж эти мне подземелья, — ответил, улыбаясь, Павел Петрович, — и в Невьянске они кое-кому спать не давали, кто демидовские кости перемывал, теперь в Красноуфимске были с небылицами переплетаются. На обратном пути заеду, и поговорим. Мой

искренний привет вам всем, дорогие товарищи. — И, низко поклонившись, Бажов спустился на улицу.

Вместе с другими я вышел проводить Павла Петровича. Усадили его и провожатых в кошевы, и когда тройки рванулись с места, вернулся обратно в гостиницу и долго еще вспоминал о его рассказах.

Многогранна деятельность депутата Бажова, выросшего корнями в уральский быт, прямого потомка рабочего рода, жившего веками в одних и тех местах, а сейчас и по возрасту, и по опыту являвшегося старшим среди многих к нему обращавшихся. И не только государственные учреждения по вопросам своей деятельности, не только граждане по вопросам быта и работы, к депутату обращаются его избиратели как к старшему товарищу, рассказывая ему о своей беде, просят совета.

Перед нами большое письмо-исповедь на имя П. П. Бажова. Молодая женщина, познакомившаяся на фронте с офицером, а сейчас одинокая, с трехлетней дочуркой, брошена на произвол судьбы этим офицером, у которого есть первая жена: после фронта он думает, пожалуй, возвратиться к ней и разорвать, как он считает, «случайную» связь. У молодой женщины тяжелые чувства обманутого человека, переживания за дочь. Что делать? «Вы — мой депутат, а я Ваша избирательница, выслушайте меня, я жду Вашего мудрого совета, свое личное горе я могу доверить только такому благородному и большому человеку, как Вы».

И вот ответ измученной женщине, которая ждет поддержки от депутата, человека, знающего жизнь.

«Люди моего возраста уже забыли боль и страдания весенних бурь и вспоминают об этом с улыбкой грусти о прошлом, — отвечает Павел Петрович. — Вы, конечно, это воспринимаете еще со всей болью молодости, и Вам может показаться обидным стариковское непонимание. Но простите, с других позиций смотреть не могу. Вы пишете о разбитой жизни, а я, смотря на Ваш четкий, красивый почерк и припоминая отдельные детали письма, думаю: «Эта выдержит!» Пожалуй, даже лучше, что без задержки открылось непривлекательное лицо ее мужа. Хуже, если бы это затянулось. А что он недостойный человек, для меня нет сомнения. Какой же это мужчина, когда он не может решительно выб-

рать одну из двух женщин? В лучшем случае — размазня, в худшем — прохвост, прикрывающийся любовью к детям. В том и другом случае жалеть некого. Ваши 25 лет не срок, когда подводят итог жизни, а только ее начало. Было бы, разумеется, лучше, если бы не произошло этой незадачливой встречи, но и беды непоправимой здесь нет. Памятью об этой ошибке у Вас останется девочка, которую Вы так ласково описываете, и тот «перегар страданий», который ведет человека от узколичного к высокому общественному. Идти же Вам есть куда, даже не выезжая из Вашего поселка, стоит лишь закрыть портрет недостойного человека заботами более высокого плана. Ведь жизнь в любом пункте нашей страны необыкновенно интересна и полна для всякого, кто искренне захочет этого. Если не Ваш поселок, то выход имеется — хоть на запад, хоть на восток. Меня лично больше тянет последний. Там все ново и все требует рук и большой советской работы. В то же время там еще в полной чистоте можно видеть красоты гор, могучих рек, первобытных лесов, даль океана. И люди едут туда не те, что на запад. В чем разница — об этом говорить долго, но об этом Вы, бывшая на фронте, знаете. Уральские и сибирские войсковые части не случайно выделялись.

Жизнь впереди, заботы и работы у всякого советского человека много, и тратить время на переживания о том, чего нельзя исправить, не стоит. Встретите людей несравненно выше того, кто Вас так тяжело ударил. И не верьте, пожалуйста, этим разговорам о любви к детям. Вероятно, это не больше, как прием или нерешительного человека, или грубого обманщика. У мужчины дети всегда идут после женщины, а у женщины наоборот.

Чем скорее перережете эту ниточку переживаний, тем лучше для Вас, для Вашей девочки и для дела, а будет ли сентиментальный полковник томиться отеческими чувствами или нет — об этом задумываться не следует.

Итак, желаю Вам хорошей, интересной жизни, без уныния и размышления по поводу первой ошибки, но с учетом ее опыта в дальнейшем выборе, который, несомненно, будет.

П. Бажов».

Через неделю Павел Петрович читал ответ на свое письмо:

«Дорогой Павел Петрович!

Нет слов благодарить Вас за то внимание, которое Вы оказали мне своим замечательным письмом. Недаром вас, писателей, называют инженерами человеческих душ.

Ваше письмо нельзя было прочесть без волнения. Приходилось читать и плакать, а потом много, много раз перечитывать красивое изложение мудрых слов и советов.

Постараюсь исполнить все, что Вы предлагаете».

Однажды на прием к П. П. Бажову пришел начинающий поэт-колхозник, пожилой по возрасту, но молодой по творчеству. Павел Петрович внимательно выслушал его стихи и позвонил директору Дома народного творчества.

— Этот человек у вас состоит или состоял на учете как поэт-самородок. У него много написано стихов, он хотел бы их издать. Мне кажется, надо серьезно рассмотреть его творчество. Прошу вас уделить особое внимание таланту из народа.

А в адрес колхоза от Павла Петровича идет письмо: «Член Вашего колхоза т. А. был здесь со своими стихотворными работами. В Доме народного творчества часть этих работ принята, и не исключена возможность, что его еще вызовут по этому делу. Очень прошу Вас помнить это в виду и в условиях колхоза представить ему возможность продолжать работу, в особенности же воспроизведение старых песен и сказок, которые он, как старый человек, притом же сам пишущий, должен помнить в большом количестве».

Значительный раздел работы депутата — забота о красноармейских семьях, защитниках нашей Родины, погибших на фронте. Много обращались к Бажову по этим вопросам. С каким вниманием он относился к удовлетворению этих просьб! Он понимал, что просьбы таких лиц особо важные, ведь у нас встречаются «администраторы», быстро забывающие свои обязанности к этим семьям. Депутат Бажов не мирился с такими фактами. Это видно из его письма секретарю Ревдинского горкома партии:

«Решил направить прилагаемое заявление гр. Гав-

риловой А. Я. непосредственно к Вам. Оно дает картину совершенно недопустимого отношения части работников города к семьям погибших на фронте добровольцев нашего танкового корпуса. Прошу Вас разъяснить товарищам, поименованным в заявлении, что с их стороны большая партийная ошибка отмахиваться от старухи, потерявшей детей на фронте».

— Я не могу пожаловаться на то,— говорил Павел Петрович,— что мои запросы остаются без ответа, правда, не все и не всегда выполняется так, как я прошу,— ведь очень часто открываются и новые обстоятельства, о которых я при написании и не знал,— но все равно многое выполняется, а главное— без откликов, без ответа не остается почти ни одна из моих просьб.

Действенность депутатских писем должна быть высокой, и Бажов добился этого.

Отделы кадров Артинского, Бисертского заводов сообщали о том, что работники заводов, о которых просил депутат, откомандированы на другой завод или устроены на другое место; вот ответы о предоставлении квартир красноармейским семьям, письма райисполкомов о выдаче денежных пособий, сообщения финансовых отделов об освобождении заявителей от неправильно начисленных налогов; вот ответы коммунальных органов о благоустройстве и водоснабжении улиц, о которых просили избиратели; письма райисполкомов о строительстве школ в селах Ачитского и Манчажского районов и многие другие. С какой благодарностью сообщают избиратели о выполнении их просьб.

А из Полевского горкома партии пришло следующее письмо:

«Депутату Верховного Совета СССР

тов. Бажову Павлу Петровичу.

Полевской горком ВКП(б) сообщает Вам на Ваше письмо и приложенное к нему заявление т. Медведева. С получением Вашего письма мы беседовали с т. Медведевым. В настоящее время дрова у него есть, ему 21 октября завод выписал дров 3 кубометра, которые привезены на квартиру, а также осуществлена и другая материальная поддержка. Горвоенкому т. Перминову дано указание и впредь оказывать т. Медведеву

всестороннюю помощь. Желаем Вам, Павел Петрович, многих лет доброго здоровья.

С коммунистическим приветом

Секретарь Полевского горкома ВКП(б)
Давыденко».

«Чувствительно я Вас благодарю за Ваше сочувствие ко мне. После Вашего письма меня пригласил в райком партии заведующий отделом. Я заявил ему, что у меня вот выписаны дрова и деньги уплачены, а вывезти не могут. Товарищ заведующий говорит, что это будет сделано, и еще в чем будете нуждаться, приходите сюда и я Вам во всем помогу.

Вот, Павел Петрович, дрова у меня уже привезены, во дворе, и что же, сейчас я обязан поблагодарить Вас за то, что Вы указали мне, куда надо обращаться с какой-либо просьбой. Еще раз благодарю Вас за Ваше сочувствие ко мне и еще прошу извинить меня, что я Вас побеспокоил в таком маловажном деле.

Медведев».

Вот еще ответы многих избирателей, обращавшихся к своему депутату по общегосударственным делам или с личными просьбами и теперь благодарящих за помощь: письмо врача, получившего работу в городе, где он хотел обосноваться, благодарность от колхозников, добившихся изменения размера налога, письмо учителей о пополнении их школьной библиотеки книгами.

Не только взрослые, но и дети шли к депутату Бажову, писали ему. Они знали, что им будет оказана всемерная поддержка, помощь. Кто, как не дедушка Бажов, сможет разъяснить все, что их интересует, кто, как не дедушка Бажов, сможет сделать для них все необходимое...

«Родной наш Павел Петрович, я обращаюсь к Вам за помощью, прошу Вашего содействия — у нас папа уехал на фронт в 1941 году и был ранен в обе ноги и взят в плен. После окончания войны он живет и работает в г. Кизеле, мы живем в г. Полевском. Семья нас 5 человек. Мне 13 лет, Кларе 8 лет, Эдику 6 лет, Стасику 5 лет и бабушке 67 лет. Мама у нас померла в 46

году от туберкулеза. Я училась в 5-м классе, в 46 году оставила учебу, помогала бабушке ухаживать за больной мамой. Во время войны мы получали пособие, а сейчас нет. Положение у нас очень тяжелое. Павел Петрович, помогите нам вернуть папу домой, я Вам сообщаю наш и папин адрес.

Маргарита».

Павел Петрович пишет депутатское письмо на шахту в Кизел, выясняет причины, по которым отец живет отдельно от семьи, в другом городе. Он обращается к этому человеку, к администрации предприятия, в общественные организации и все усилия направил на то, чтобы вернуть детям отца.

Далеко за пределы избирательного округа слышится слово депутата Бажова. Он пишет заявление генеральному прокурору СССР, просит пересмотреть в новом судебном составе дело главы одной из семей его избирателей из Н.-Серег; он пишет в ряд городов — Сибири, Алтая, Дальнего Востока, — настаивая на защите интересов его избирательницы, требующей алименты для детей с их отца, умышленно переезжающего из города в город; а вот его просьба Министерству путей сообщения по вопросу обеспечения вагонами дефибрерного завода, производящего дефицитную продукцию.

— Надо признаться, я с гордостью выполняю поручения избирателей, но устаешь иногда от большого числа запросов, — говорил как-то Павел Петрович, — да и слабое зрение мешает плодотворнее работать. Спасибо жене, Валентине Александровне, помогает мне читать и разбирать письма, а печатаю ответы на машинке дома я сам, иногда необходимо сразу же по получении письма обратиться в правительство. — И он показывает составленное письмо на имя заместителя председателя Совета Министров СССР о снабжении сырьем Полевского криолитового завода. — Ведь коллектив решил приложить свои трудовые усилия и досрочно выполнить пятилетний план.

Бывает и так, что сегодня же необходимо написать в несколько организаций для решения жалоб избирателей и обязательно добиться их удовлетворения, раз они справедливые. Я помню замечательные слова

М. И. Калинина о том, что если где и нужно уметь применять политику, так это именно в вопросах рассмотрения жалоб, ибо в наших условиях каждое решение жалобы есть политика. Вот почему нельзя ни на один час забывать, что работа депутата — работа важная, партийная. Поэтому-то я и не поддаюсь своим немощам и на возраст не хочу обращать внимания, есть еще «порох в пороховницах», и буду трудиться не покладая рук.

Свердловск, 1960—1976



М. ГОРЛОВСКИЙ



ВСТРЕЧИ П. П. БАЖОВА
С ИСТОРИКАМИ УРАЛА

С Павлом Петровичем Бажовым я познакомился в 1946 году. В то время Уральский государственный университет готовил первую научную конференцию по истории Екатеринбурга—Свердловска.

Предложение принять участие в конференции встретило со стороны Павла Петровича горячий отклик. Он согласился прочесть сообщение на тему «История Екатеринбурга—Свердловска, как зеркало горнозаводской жизни «Урала» и выразил пожелание об опубликовании трудов конференции и о привлечении к ней партийной и советской общественности города.

На одном из первых заседаний оргкомиссии по проведению конференции Павел Петрович сказал, что давно пора заняться созданием научной монографии по истории Екатеринбурга—Свердловска. Он живо интересовался подготовкой к конференции, сделал ряд предложений по ее программе, рекомендовал отдельных докладчиков. Позднее он был избран членом постоянной комиссии, созданной при университете для подготовки к изданию трудов по истории Екатеринбурга—Свердловска.

Памятно яркое выступление Павла Петровича на конференции. Он начал с рассмотрения вопроса об основных источниках по первоначальной истории нашего города и уральской горнозаводской промышленности.

Указав на то, что В. Н. Татищев и В. Геннин были «письменные люди», то есть оставили после себя огромное количество записей и инструкций, описаний и т. д., Павел Петрович рекомендовал критически отнестись к этому наследству, поскольку и Татищев, и Геннин сильно преувеличивали свои заслуги в развитии горнозаводской промышленности Урала. «Тот и другой,— указывал Павел Петрович,— склонны были своим «я», своими приказами, инструкциями, распоряжениями затенить всех остальных. У того и другого одинаково нельзя найти сведений о тех рабочих и мастерах, которые внесли вклад в заводское дело на Урале»¹.

Резко критиковал Павел Петрович дворянских и буржуазных историков, превозносивших деятельность Геннина. Опровергнув ошибочные взгляды Нила Попова, Н. К. Чупина и Д. Н. Мамина-Сибиряка на историю строительства города и развитие горного дела, он привел интересные факты о действительных строителях Екатеринбурга.

В своем выступлении Павел Петрович наметил основное направление деятельности уральских историков:

«Историкам надо направить свои поиски в сторону тех творческих исполнителей, которые мало или вовсе не показаны в материалах генералов-строителей»².

С 1947 года наши встречи с Павлом Петровичем, принимавшим активное участие в работах постоянной комиссии по истории Екатеринбурга — Свердловска, стали более частыми. Они проходили в хорошо знакомом исследователям и писателям Урала домике Бажо-

¹ «Материалы первой научной конференции по истории Екатеринбурга — Свердловска». Свердловск, 1947, стр. 17.

² Павел Петрович имеет в виду книгу В. Геннина «Описание уральских и сибирских заводов», в которой В. Геннин сильно преувеличивает свои заслуги в развитии горной промышленности Урала и строительстве Екатеринбурга.

ва. Говорил он не спеша, как будто подбирал каждое слово, и вместе с тем вдохновенно, ярко, образно. Он свободно ориентировался в исторической литературе, а иногда в разговоре сообщал такие ценные сведения, каких невозможно найти ни в книгах, ни в архивных документах. Себя он называл литератором, «работающим на материалах уральской истории».

В 1948 году университет принял решение о проведении второй научной конференции по истории Екатеринбурга — Свердловска. В конференции приняли участие московские ученые — член-корреспондент Академии наук СССР, профессор А. М. Панкратова и доктор исторических наук, профессор Б. Б. Кафенгауз.

Несмотря на плохое состояние здоровья, Павел Петрович согласился выступить. Специального доклада или сообщения он не готовил, а сделал лишь несколько замечаний по поводу выступлений отдельных товарищей. Но и замечания представляли большой интерес.

Особое внимание Павел Петрович обратил на неизученность вопроса о «мужицких» заводах, которые он считал предшественниками крупной казенной горнозаводской промышленности. Существование «мужицких» заводов на Урале, подтвержденное очень немногими официальными материалами, лишний раз свидетельствует о том, что «организация кустарных железоделательных заводов была обычной в уральских условиях».

Изучение этого вопроса связано с большими трудностями, но оно намного продвинуло бы разработку древней истории Урала, доказало бы, что еще задолго до петровских времен на Урале плавил металл и выработывали железо.

Павел Петрович категорически отверг точку зрения дворянских и буржуазных историков, утверждавших, что уральские рудные месторождения были открыты иноземными специалистами. Он назвал много имен замечательных русских рудознатцев, подлинных первооткрывателей богатств Урала и высказал предположение о преемственной связи уральской металлургии с более древней, «имевшей место до русской колонизации». «Исследование этого вопроса, — указывал Павел

Петрович,— еще более трудно, но оно и стоит работы, так как может дать совершенно новую картину развития и роста металлургии на Урале»¹.

Много и других ценных замечаний высказал Павел Петрович. Все они свидетельствовали о глубоком знании им фактического материала по истории края и о его большом чутье исследователя.

После конференции Павел Петрович пригласил историков к себе. Настроение у него было очень хорошее. Видимо, он чувствовал себя лучше, чем в другие дни, и как никогда много рассказывал о былых временах на Урале.

Павел Петрович заметил, что приезд московских историков на конференцию свидетельствует о большом интересе советских ученых к Уралу. Говорил он о том, что до сих пор не создана история Урала, а труды Белова, Колюпанова, Чупина и других должны быть пересмотрены с точки зрения советского историка, указывал на слабую разработку истории рабочего движения на Урале.

— Большое дело,— подчеркнул Павел Петрович,— требует усилия и работы многих людей. Бояться некоторых неудач на первых порах не следует. История Урала может быть и должна быть написана.

24 ноября 1948 года отдел пропаганды и агитации Свердловского горкома ВКП(б) организовал обсуждение моей книги «Горный город Екатеринбург».

Несмотря на недомогание, Павел Петрович пришел на совещание и принял в нем активное участие. В своем выступлении он остановился на формулировке «Горный город Екатеринбург» и, отлично разбираясь в тонкостях исторической науки, показал, что разработка этой темы может внести много нового в историю не только города, но и Урала в целом.

Большое значение придавал Павел Петрович привлечению новых архивных материалов. «Эта работа,— указывал он,— не только рассеяла туман над одним из важных пунктов истории города, но и показала, что

¹ «Материалы второй научной конференции по истории Екатеринбурга — Свердловска». Свердловск, 1950, стр. 248.

вся его история требует полного пересмотра по документам архивов»¹.

Характеризуя горный режим, господствовавший в Екатеринбурге в течение многих десятилетий, Павел Петрович указывал, что режим этот «был своеобразной попыткой поставить подпорки падающему крепостничеству... Попытка, как видно из документов, тщательно подготовлялась, были выбраны для проведения этого мероприятия достаточно сильные и надежные с точки зрения правительства люди, а результат получился все-таки обратный»².

Интересные мысли высказал Павел Петрович, касаясь вопроса о методе исследования:

«По части правильности метода исследования судить не берусь. Мы, литераторы, «ведь больше» всего боимся торных дорог и точных габаритов. Причем индивидуализация метода иногда дает неплохие результаты и для исследовательской работы. Чтобы не быть голословным, приведу недавний пример. Наши ученые-литературоведы не раз пытались найти истоки произведений Лермонтова «Вадим», «Странный человек». Думаю, что исследование вели, как говорится, по всем правилам, однако результат получался неутешительным: приходилось оценивать эти произведения как слабое юношеское подражание чуть ли не иностранным образцам. Но вот Ираклий Андроников поставил перед собой очень небольшую задачу: кого имел в виду Лермонтов в стихах, посвященных Н. Ф. И.? Чтоб решить эту задачу, Андроников провел огромную работу по архивным материалам, в том числе и таким, которые ему удалось найти в частном пользовании, — и результат оказался блестящим: Андроников не только получил ответ на поставленный им вопрос, но нашел интересный материал об истоках «Вадима» и «Странного человека», которые оказались вовсе не подражанием, а важным документом о состоянии юноши Лермонтова в пору написания стихов, посвященных Н. Ф. И.

¹ Стенограмма совещания по обсуждению работы доцента М. А. Горловского «Горный город Екатеринбург» в отделе пропаганды и агитации Свердловского горкома ВКП(б) 24 ноября 1948 г. стр. 29—30.

² Там же, стр. 31.

Я, разумеется, не предлагаю всем следовать исследовательскому методу Андроникова. Я хочу лишь сказать, что при всей ценности правильного метода главной ценностью является вновь привлеченный материал».

Немало глубоких замечаний по книге «Горный город Екатеринбург» высказал Павел Петрович и позднее. Он отмечал, что в книге недостаточно освещен вопрос о земельных отношениях между городом и близлежащими заводами. «Следовало бы,—говорил он,—подчеркнуть, что заводы препятствовали росту территории города, а крепостническое государство, ревностно защищая «священное право» частной собственности, стояло на защите интересов дворян и помещиков. Интересы целого города приносились в жертву царизмом во имя выгоды казны и горнозаводчиков».

Павел Петрович считал, что в книге необходимо полнее осветить деятельность людей труда, прославивших Урал, и подвергнуть решительной критике точку зрения некоторых историков, преувеличивающих роль иноземцев в истории Урала. «Далеко за примерами ходить не нужно,—говорил он,—возьмите хотя бы Бахарева, Брусницына. Как много эти простые русские люди сделали для развития горнозаводской промышленности Урала, а их вклад по-настоящему до сих пор еще не получил всесторонней оценки. А сколько было талантливых изобретателей-умельцев, для которых труд, несмотря на исключительно тяжелые условия жизни, был решающим фактором их существования!»

Особенно настаивал Павел Петрович на розыске новых материалов о борьбе горнорабочих Урала с заводчиками. «К сожалению,—констатировал он,—в этом отношении пока еще сделано очень и очень мало».

Запомнилась интересная беседа с Павлом Петровичем в день двухсотлетия со дня смерти Татищева.

Павел Петрович считал Татищева выдающимся деятелем петровской эпохи, много сделавшим для Урала, но предостерегал от идеализации его, подчеркивал классовую ограниченность его взглядов.

По мнению Павла Петровича, Татищев принадлежит к той группе петровских деятелей, которые вполне заслуживают внимания советских историков. «Особенно интересно,—указывал Павел Петрович,—было бы изучить архивные материалы о Татищеве, имеющиеся

в Свердловске. Они дали бы много нового для характеристики Татищева как выдающегося специалиста горного дела».

Последние мои встречи с Павлом Петровичем относятся к августу 1950 года.

В связи с окончанием своей работы над книгой по истории Екатеринбурга я просил Павла Петровича по возможности ознакомиться с ней. Несмотря на мучившую его тяжелую болезнь и постоянную занятость, он сумел найти время, чтобы прочитать значительную по объему рукопись.

Павел Петрович высказал по рукописи ряд замечаний, в частности предлагал подробнее осветить отношения между Татищевым и Бергколлегией. «Нет сомнения,— указал он,— что Бергколлегия всячески глушила инициативу Татищева в его первый приезд на Урал, однако в рукописи это доказано слабо. Шире, по-видимому, нужно обследовать архивы Бергколлегии».

Рекомендовал Павел Петрович также детальнее показать строительство завода и роль выдающихся русских умельцев, более тщательно обработать статистический материал и сопоставить данные, относящиеся к Екатеринбургу, с данными других городов России. Это помогло бы более рельефно показать своеобразие развития Екатеринбурга как центра горнозаводской промышленности Урала.

Павел Петрович считал необходимым объяснить, почему в Екатеринбурге большого развития достигла легкая промышленность. «Надо,— говорил он,— убедительнее показать, что местные купцы были лишены возможности вкладывать капиталы в развитие крупной промышленности города из-за действия закона, запрещавшего в горных городах строить фабрики и заводы, требующие для своего действия угля и дров».

Всякого, кто общался с Бажовым, поражали его необыкновенная работоспособность, широта и многогранность его интересов.

Для всех работающих над историей Урала он был неутомимым советчиком и мудрым собеседником.

Свердловск, 1952



НИКИТА БАЖОВ



О МОЕМ ДЕДЕ

Я долго думал о том, как мне написать о деде. Когда его не стало, мне было всего четыре с половиной года, и, таким образом, мои личные воспоминания о нем отрывочны и мимолетны. Однако многое из детских ощущений осталось незабываемым. И я хочу попытаться рассказать об этом, как говорится, с позиций моей сегодняшней «взрослости».

...Мы с дедом сидим в саду, «курим» трубки (у меня была своя, игрушечная, подаренная дедом) и разговариваем о чем-то очень интересном. Долго, неторопливо разговариваем — я задаю множество вопросов, дед отвечает, потом он меня о чем-то спрашивает, и мне хорошо около него.

В архиве деда осталась начатая им повесть «Никиткины дни». Может быть, замысел ее и возник в результате этой нашей беседы. Вот они, эти несколько страничек, написанных его рукой:

Никиткины дни

Никита еще не очень большой мальчик. Ему идет третий год, но он уже перестал спать днем, как самые

маленькие. Дни теперь стали длинные-длинные. Дольше, чем у самых больших. Каждый день Никитка видит много интересного, нового, но почему-то самое интересное и занимательное никогда досмотреть не успевают.

В доме много больших. У Никитки есть папа и мама, дедушка и бабушка, тетя Леля, тетя Таля, тетя Анюта, но никто из них не может рассказать, куда убежал петушок, где спряталась сорока, где дедушкина «нутрь», что делают мячики-свистуны. Даже брат Вова, который учится в школе, не может это объяснить. Младший брат Славик, может быть, больше знает, но он еще не научился говорить. Станешь его спрашивать, а он отвечает: «Дю!», после чего выходят неприятности и большие начинают укорять:

— Нельзя обижать маленьких!

Обидно Никитке. Не раз он принимался плакать, чтобы рассказали, но ничего не выходит. Бабушка даст конфетку, папа — мандаринку, тетя Анюта принесет книжку-почемучку, а все-таки не покажут, что надо. И сам уже больше никогда не увидишь.

Петушковый день

Утром мама сперва одевала, умывала, кормила Никитку. Потом они пошли гулять во двор. Там под навесом ходили курочки с петушком. Никитка сам кормил их хлебными крошками и зерном. Одна курочка ухватила большую крошку хлеба, другая подбежала и стала отнимать. Тогда курочка с большой крошкой хлеба выбежала из-под навеса и увязла в снегу. Валенок у курочки нет, ей показалось холодно, она замахала крыльями, взлетела немного, увязла еще больше в снегу и закричала. Петушок выбежал из-под навеса и закричал строгим голосом: «Кукареку!» Курочка опять захлопала крыльями, поднялась немного и на этот раз выбралась обратно под навес. Петушок сейчас же слетел с бревна, подошел к курочке и что-то стал ей говорить.

— Он что ей говорит? — спросил Никитка.

— Говорит, что нельзя по снегу без лыж ходить.

— А где курочкины лыжи?

— В магазине.

— А петушковые где?

— Тоже в магазине.

— И палки петушковые тоже в магазине?

— Петушку палок не надо. Он крыльями управляет.

Дальше было, что каждый день бывает. Занимался разными делами в доме. Вышла опять неприятность со Славиком из-за «дю». После обеда снова ходил гулять с мамой, но на улицу. Там видел, как мальчики на лыжах скатывались с горки на реку. Мальчик, который был в красной шапке, никогда не падал, а другой, с синим шарфом, все время сваливался в снег, но не плакал, а смеялся. Никитка стал просить у мамы лыжи. Она говорит:

— Ты еще маленький. Для таких не делают.

— А петушкам? Делают?

— Каким петушкам? — удивилась мама.

Она, видно, забыла, что говорила утром, и Никитка стал объяснять, но она все-таки не поняла и завела разговор о дяде, который проходил в мохнатой шубе. Как медведь! Это было тоже интересно, и Никитка стал спрашивать:

— А он в лесу живет?

— В лесу.

— А елка у него где? Тоже в лесу?

— У него много елок, и все украшены как на площади Пятого года. Видел?

— А дети там ходят?

— Там только звери да птицы: зайчики, лисички, зяблики...

— А кто такой зяблики?»

И еще как фотография: дед поливает из шланга деревья в саду. Мне тоже ужасно хочется, и я, подпрыгивая от нетерпения, молча жду, когда и мне дадут подержать этот тяжелый, мокрый шланг.

...Дед в кабинете. Он занят, кажется, у него кто-то есть, а мне очень нужно к нему, но мне говорят: «Дедушка занят, потом». А я вижу в щелку двери его лицо, обращенное к собеседнику, слышу его голос... а зайти не могу. До слез обидно.

И другое, очень яркое. Много людей, цветов. Я у кого-то чужого на руках в толпе. Меня несут. Я вижу

дедушку. Мне говорят: «Поцелуй деда». Я радостно обнимаю его и впервые вместо тепла и нежности натыкаюсь на холодный, каменный лоб...

Потом долгое время я вижу бабушку в черном, печальную, неразговорчивую. Притихшую маму, которая перестала со мной играть. Дом и сад, погруженный в воспоминания, в которых главной фигурой остается дед. И я знаю — это дедушкина трубка, ее нельзя трогать, это дедушкин стол, инструменты, книги, рукописи... Я часто слышу:

— Дедушка был бы недоволен.

Или:

— Ах, как бы он порадовался...

И, наверное, от этого мне кажется, что вместе с ним я прожил свою тридцатилетнюю жизнь. Его ласковые глаза наблюдали за тем, как я расту, ласковый голос звучал из книг и писем.

«Никиточка растет, старается,— писал он в одном из писем родным в августе 1946 года.— За первый месяц прибавил в весе на целый килограмм. Это считается очень хорошо».

А имя мое тоже придумал дед, отстоял от нападок родственников и устранил колебания мамы, которой говорили:

— Неужели назовешь этим деревенским именем? Тогда уж назови Никифор или Никтополеон, вот смеху-то будет! Не поблагодарит он тебя потом. А как его дочери будут называться? Никитишны или Никитичны? Тоже красивого мало!

В письме в больницу, поздравляя маму с рождением сына, дед писал:

«По части имени не слушай пустоговоря. Хорошее имя, полнозвучное и не такое затасканное, как многие другие. Как будут называться его дочери, думать рано, а пока лучше готовить «детство Никиты», чтобы оно прошло по-хорошему. Об его дочерях заботиться не станем. Они в случае надобности найдут выход. Да, может быть, к тому времени у нас будет принят общеевропейский способ имен без отчеств, а мы из-за пустяковых представлений о неподвижности быта

отвергнем такое занятное имя. Дело, впрочем, не в этом, был бы здоров!»

Быть потомком известного человека порой не легко. Если что-нибудь тебе не удастся, вокруг ропот ужаса:

— Подумайте — внук Бажова получил двойку!

А если вдруг что-нибудь удастся, закивают с сомнением головами:

— Ну конечно, ему все легко, ему имя дорогу пробивает.

Но я рад, что в начале моей жизни рядом со мной был умный, добрый и внимательный человек — мой дед, влияние которого сохранялось все те долгие годы, когда его уже не было с нами, и живет сейчас. Во всяком случае, иногда сознательно, иногда бессознательно я пытаюсь подражать ему, воспитывая своего сына.

Москва, 1976



МИХАИЛ КОТОВ



ЖИВОЕ СЛОВО

1

Этот человек обладал не только богатым писательским даром. Его по праву называли волшебником, магом слова, умевшим покорять сердца людей, сталкивавшихся с его творениями или с ним самим. Он относился к числу тех, кто носил в себе и дар личного обаяния. Каждый, кто хоть раз в жизни с ним встречался, с первой же минуты ощущал его добросердечие, его стремление сказать что-то особое, доверительное, что-то значительное, что должно запомниться, запасть в душу, оставить след. Он как бы излучал свет доброты. Нет, он не относился к числу добреньких. Его пристальный взгляд всегда отыскивал в человеке то доброе начало, которое он прославлял в своем творчестве. И если он не обнаруживал этого притягательного качества, он пытливо продолжал искать пути к сердцу человека, как бы стремясь открыть ту живинку, которую он всегда искал в собеседнике. Одним из любимых его слов, как рассказывали, было «волшебство». Оно, это слово, определяло дух всего его творчества. Да и сам он был похож на волшебника,—стоило увидеть его, загово-

рять с ним, и человек как бы захватывал, околдовывал тебя своим мягким говором, своей манерой слушать, улавливать самое главное, откликнуться на зов души. Именно таким он предстал передо мной, Павел Петрович Бажов, писатель-волшебник и чародей, наш именитый и почитаемый современник, в свою первую встречу. И до сей поры он живет таким в моей памяти, дорогой нашему сердцу человек.

Это было уже после войны, в конце сороковых годов, когда впервые мне довелось близко столкнуться с Павлом Петровичем. И хотя я был уже знаком с ним заочно, прочитав в канун самой войны его первое издание знаменитой «Малахитовой шкатулки», я почему-то рисовал автора именно таким, каким он предстал предо мной уже спустя много времени в образе сказочника. Правда, этому способствовали и рассказы о нем, и особенно случай на войне, о чем я расскажу несколько позднее.

Дважды мне пришлось встретиться с Павлом Петровичем — в Москве и в его родном, бесконечно дорогим его сердцу Свердловске. Эти встречи действительно были памятными. Они не носили сугубо личный характер. Я видел Баждова в окружении людей, в соприкосновении с важными делами, которые он делал и по долгу, и по велению своего сердца, я знал о его участливом отношении к судьбам людей, к их чаяниям, волнениям и заботам, и потому представлялось возможным судить о нем, улавливать те драгоценные черты, определявшие образ его как большого писателя, общественного деятеля, которому до всего было дело.

Время летит, как быстротекущая река. Вот уже и скоро исполнится сто лет со дня рождения Павла Петровича Баждова. Подумать только — сто лет... целый век прошел с того дня, как на далеком Урале русская женщина породила на свет человека, которому суждено было стать знаменитым писателем и выдающимся гражданином Страны Советов.

Его живое слово звучит далеко за рубежами нашей страны и покоряет ныне сердца людей, говорящих на разных языках, живущих в самых далеких и близких концах нашей планеты.

Могу судить об этом лично. Однажды мне довелось совершить поездку в Германскую Демократическую Республику. В Берлине была встреча сторонников мира, в которой принимал участие немецкий ученый-педагог. Случилось так, что после окончания встречи мы отправились в Тюрингию, где он жил. Как-то вечером он пригласил нас к себе домой на чашку кофе. Хозяйка дома, изучающая русский язык, расспрашивала нас о новых книгах писателей, показывала произведения наших литераторов, изданные на немецком языке. Во время нашей беседы в комнату вихрем ворвался с улицы раскрасневшийся сын хозяев Гейнц. Он вежливо представился нам, извинился за то, что нарушил беседу, и ушел в другую комнату. Потом он появился вновь и попросил разрешения послушать наш разговор. Он обратил наше внимание на большую географическую карту на стене. На ней виднелось несколько красных флажков.

— А что означают эти флажки? — спросил я Гейнца.

— Это города в Советском Союзе, в которых пионеры школы, где учится Гейнц, поддерживают связь с советскими ребятами, — разъяснил нам хозяин.

Он подошел к карте и, указав на красный флажок, спросил:

— А вот в этом городе вы бывали?

Я подошел поближе, увидел обозначение на карте: «Свердловск».

— Конечно, бывал, и много раз, — ответил я Гейнцу.

— Ну, тогда вы мне должны кое-что пояснить. В этом городе жил автор вот этой книги. — И он протянул ее мне. Это была «Малахитовая шкатулка», изданная на немецком языке. Гейнц и его друзья с огромным интересом прочитали эту книгу. И хотя в книге говорилось об авторе, все-таки немецким друзьям хотелось узнать более подробно о нем. — Вот мы и хотим написать пионерам в Свердловск, чтобы они рассказали нам о писателе, — заключил свою речь Гейнц.

Я взял книгу и стал ее перелистывать. Она была хорошо издана, на прекрасной бумаге, и по мере того, как я листал страницы, во мне все большее удивление вызывали рисунки. По всему чувствовалось, что художник, иллюстрировавший книгу, не знает Урала,

старой жизни, русских обычаев. Герои бажовских сказов выглядели совсем другими, он их написал такими, какими видел у себя дома. Рисунок к сказу «О великом полозе» выглядел так. У костра на берегу расположилась группа ребят, сидят они за небольшим столиком, на котором нарисованы приборы и даже салфетки, — судя по всему, художник не смог изобразить котелок и деревянные ложки. На другом рисунке вместо саней-дровен нарисованы просто... дрова. Это, разумеется, даже у неискушенного читателя вызывало улыбку. Я спросил, кто этот художник, знают ли его. Оказалось, что не знают. И тут я невольно припомнил рассказ талантливой уральской писательницы Елены Хоринской, большого друга Бажова. Когда в Союзе писателей Свердловска была получена из ГДР книга сказов, Хоринская пошла к Бажову. Павел Петрович был обрадован новостью и принялся рассматривать рисунки. И чем больше он перелистывал страницы, тем веселее становилось его лицо. Он улыбался, порой возвращался к картинкам и приговаривал:

— Ну и молодец же художник, как он по-своему все это воспринял... Посмотрите, посмотрите, как ребята уху едят! — И он от души смеялся.

Рисунки ему, как рассказывала Хоринская, явно нравились, нравились потому, что художник был по-своему талантлив.

Бажов тогда припоминал, как в военную пору уральские художники сделали рисунки к сказу «Каменный цветок». В этом сказе приказчика они изобразили фашистом, а мастер Данило был одет в форму танкиста. Это было объяснимо — шла война, и такой человек, как Данило, должен был сражаться с фашистом.

— Так что похвалим немецкого художника за его прекрасные рисунки, — заключил Бажов.

Он собирался написать ему благодарственное письмо.

— И, вы думаете, он послал? А вы лично знали Бажова? — забрасывал нас вопросами Гейнц.

Я не знаю, послал ли немецкому художнику писатель письмо, но он был искренне рад, что его читают на других языках, что его хорошо понимают.

Разумеется, мне пришлось рассказать о Павле Петровиче, его жизни, о своих встречах с писателем.

А еще как было не вспомнить мне первые месяцы Великой Отечественной войны. Вместе с писателем Аркадием Гайдаром я оказался на Юго-Западном фронте. Аркадий Петрович до самого последнего дня был в Киеве, не раз пробирался к бойцам на передний край. Однажды он провел с бойцами в дзоте целый день. Несмотря на трудное время и непрерывные бои, бойцы находили время для чтения. Гайдар обратил внимание, что рядом с пулеметом лежала аккуратно обернутая в газету книга. Это была «Малахитовая шкатулка». Боец привез ее с Урала.

Вернувшись в Киев с передовой, Гайдар с восторгом заговорил об этой встрече:

— Подумать только — Павел Петрович вместе с нами воюет... Знал бы он об этом, как бы обрадовался!

Гайдар рассказал нам о своих встречах с Бажовым в годы его работы в Свердловске в газете «Уральский рабочий». Тогда Бажов был еще малоизвестен, не было у него «Малахитовой шкатулки», но его первые книги привлекали внимание читателя. А появление «Малахитовой шкатулки» сразу стало явлением в литературе.

— Сказы его — это произведение большого художника, он еще многое сделает, и быть его творениям навечно в памяти людей — с восторгом говорил Гайдар.

Он помнил почти наизусть многие сказы, цитировал их.

В те дни Гайдар собирался написать в «Комсомольскую правду» очерк о том, как рождается смелость у советского воина, как он преодолевает танкобоязнь. Основой этого замысла послужил бажовский сказ. Под самим Киевом шли сражения. Гайдар ушел в партизанский отряд и не успел осуществить задуманное...

Позднее, уже после войны, я рассказал об этом эпизоде Бажову. Он был взволнован.

— Гайдар, когда работал у нас на Урале, был уже многообещающим литератором. Когда я читал его фельетоны, очерки, рассказы, я был уверен, что он проявит себя. Так и вышло. Я следил за его ростом. А вот его встреча в дзоте с уральцем, привезшем мою книгу, — это трогательно...

И я снова вспомнил об этом в Тюрингии — и на встрече с немецкими борцами за мир, и в беседе с юным пионером Гейнцем, который, прочитав бажовские

сказы, захотел как можно больше узнать о жизни этого удивительного человека.

А жизнь его была действительно удивительной.

2

Павел Петрович Бажов, как истый народный писатель, был в гуще событий. В апреле 1949 года в Париже состоялся Первый Всемирный конгресс сторонников мира. На нем присутствовала представительная советская делегация, которую возглавлял Александр Александрович Фадеев. Конгресс обратился к народам всех стран с призывом начать битву за мир, создавать повсюду национальные комитеты защиты мира. В августе 1949 года в Москве началась подготовка к Первой Всесоюзной конференции сторонников мира. На одном из заседаний Секретариата Правления Союза Александр Александрович Фадеев, докладывая о Парижском конгрессе, высказал пожелания о привлечении виднейших писателей и деятелей культуры к участию в проведении предстоящей конференции. При этом он заметил, что, помимо москвичей, надо не забыть пригласить на конференцию, как он заметил, «именитых писателей из глубинки».

— А как себя чувствует Бажов? — спросил Фадеев. — Вот бы хорошо, если бы он приехал на конференцию, а еще лучше — выступил бы на ней с речью. Человек он мудрый, самобытный, очень яркую речь может сказать.

Фадеев поручил связаться с Бажовым и переговорить с ним по этому поводу. На завтра звоним в Свердловск, в областное отделение Союза писателей. К счастью, Бажов оказался на месте. Он проводил заседание. Подошел к телефону. В трубке раздался его тихий, едва слышный голос. Сообщаем ему о предстоящей конференции, о пожелании Александра Александровича о намерении избрать его делегатом конференции. Передали также пожелание Фадеева выступить с речью.

В телефонной трубке то и дело слышалось покашливание. Бажов терпеливо выслушал все сказанное и под конец переспросил:

— У вас все? А теперь передайте Александру Алек-

сандровичу мой ответ на его пожелания. Коли изберут делегатом конференции, не откажусь. Ради такого дела готов приехать в Москву, хотя и чувствую себя не совсем хорошо. А насчет речи подумаю. Говорить-то я не мастак. Трибун из меня неважнецкий. Так и передайте Фадееву.

И вот Бажов в Москве. Мне, тогда работавшему в Союзе писателей СССР, приходилось заниматься делами комиссии по работе с писателями, живущими в областях. После короткого отдыха Бажов вскоре приехал в дом на улице Воровского. Его тотчас же приняли Александр Александрович Фадеев и Николай Семенович Тихонов. В их руках были все нити подготовки к конференции. Николай Семенович готовился сделать основной доклад. Как всегда радушный, гостеприимный, Фадеев вышел из-за стола навстречу Бажову. Крепко сжимая руку писателя, он тут же с присутствующими ему добросердечием и восторженностью заговорил:

— Павел Петрович, рады вас видеть. Как хорошо, что вы приехали... Нам пришлось много воевать во время войны. А теперь, видите, надо продолжать войну, ту же войну, только теперь уже за мир.

— Что же, готов воевать, нам не впервой. Как говорится, на войне как на войне, да тем более, как хорошо сказано, за мир...

— Ну вот и превосходно, вот и превосходно,— заключил Фадеев.

После недолгих расспросов о жите-бытье Фадеев вновь вернулся к своему предложению:

— Не мешало бы вам выступить, Павел Петрович, да сказать этакую народную мудрую речь о мире, о том, как рабочий класс Урала помогал фронту, разгрому фашизма, как он готов ныне отстоять трудно добытый мир.

Бажов сидел напротив Фадеева и слегка теребил свою окладистую бороду.

— Нет уж, Александр Александрович, избавьте от этого, не получится. Тягостно мне говорить, да и нездоровье одолевает. Пусть уж наш рабочий класс выскажется. Ему по всем статьям это положено. Есть у нас в Златоусте один превосходный сталевар, уж он-то может сказать слово дивное... Я могу и узнать,

приедет ли он. А вообще-то я его знаю, удивительный человек.

— Это кого же вы имеете в виду? — переспросил Фадеев.

— А сталевара Василия Амосова с Златоустовского металлургического завода, он же был делегатом на конгрессе в Париже. Истый златоуст.

— Так я же его хорошо знаю, он на конгрессе речь сказал прекрасную, удивил всех своей мудрой простотой. Как это он сказал, дай бог памяти... — Фадеев вышел из-за стола, прошелся по кабинету, потеревил свои белесые волосы. — «Мы, говорит, покараем народным судом всякого, кто посмеет развязать новую кровавую войну». И еще что-то насчет крепости уральской стали великолепно сказал... Ах, да, вспомнил: «Пусть наша воля к миру будет крепка, как прославленная уральская сталь». А металлургов всех призвал не давать ни одного килограмма металла для истребления людей... — У Фадеева была редчайшая память, и он восторженно продолжал вспоминать, как встретил Парижский конгресс уральского сталевара.

— А вы знаете, Александр Александрович, когда его избрали на конгресс, он нес вахту у доменной печи... — И Бажов рассказал, как сталевару предложили срочно собираться в дорогу и сдать вахту. А он наотрез отказался раньше времени сдавать свой пост. — И знаете, что он сказал: «Я, говорит, на конгресс поеду, так трудовой подарок должен сделать». Он, оказывается, решил в ту смену дать побольше стали. И действительно, рекорд поставил. На конгресс поехал радостный, довольный своим трудовым подвигом.

Фадеев внимательно слушал рассказ Бажова о сталеваре.

— Вот ведь какие у нас люди удивительные, писать и писать о них надо, сами в роман просятся, может, я и съезжу к этому сталевару... (Уже тогда Фадеев вышивал свой новый роман «Черная металлургия», и рассказ Бажова был, видимо, ему приятен.)

Обращаясь к Тихонову, добавил:

— Хорошо было бы сказать об Амосове в докладе на конференции.

— Пожалуй, можно, — согласился Тихонов, — человек действительно достойный...

А Фадеев понимающе посмотрел на Бажова и с присущей ему деликатностью заметил:

— Нет-нет, мы с Николаем Семеновичем не настаиваем, мы только высказали пожелание. Как говорится, вольному воля. А насчет сталевара — это, пожалуй, правильно, о нем надо вспомнить на конференции.

Бажов, как помнится, был весьма доволен таким исходом дела. Фадеев расспросил Бажова о жизни свердловских писателей, о новых книгах, о планах самого Бажова. Павел Петрович обо всем обстоятельно рассказал. Заключил беседу словами:

— Насчет моих планов — не люблю заранее похвальбой заниматься; как только новое что-то сотворю, вот тогда и говорить можно... Вам на суд пришлю. Вы ведь человек взыскательный. А если не выйдет, зачем же людей зря вводить в заблуждение? — Потом, раздумывая, добавил: — А то ведь может быть и так, как у нас камнерезы говорят: «Хочу вырезать виноградную ветку, а может, капустный лист выйдет».

Фадеев заразительно захохотал.

— Забыл, забыл, Павел Петрович, с кем имею дело. Это вы верно, у нас еще не перевелись любители похвальбы... Капустный лист, говорите? Нет, у вас эдак не получится, у вас виноградная лоза получится. Ждем ваши новые сказы...

Конференция сторонников мира проходила в Колонном зале Дома Союзов. Бажов внимательно слушал доклад, выступления ораторов. Я видел, как он заволновался, когда Тихонов заговорил об уральском сталеваре. Сталевар сидел рядом с Бажовым. Павел Петрович крепко пожимал руку своему земляку. Он был доволен похвалой Тихонова.

В перерыве заседания я подошел к Бажову.

— Вот видите, как хорошо сказал Николай Семенович о рабочем классе, а то я проямлил бы, и не тот бы эффект вышел... А тут сказал художник и политик, и как сказал о рабочем классе... Так только поэты могут говорить.

На конференции присутствовала большая группа иностранных гостей. Среди них были английский ученый Джон Бернал, американский писатель и ученый Уильям Дюбуа, финский общественный деятель

Феликс Иверсен. Бажова в числе других советских деятелей культуры пригласили на обед с ними.

Поначалу Павел Петрович был молчалив. Он внимательно слушал высказывания гостей о конференции, о выступлениях.

Джон Бернал, обращаясь к Бажову, одобрительно отозвался о речах ораторов, о том, как один из них сказал, что советскому человеку некогда думать о войне... какие крылатые, верные слова.

— Вам, видно, легко писать свои произведения, господин Бажов, когда видишь перед собой таких людей, которые присутствуют на конференции,— заметил Дюбуа.— Я недавно познакомился с вашей книгой сказов. Очень и очень хорошо вы показываете в них рабочего человека.

Лукаво прищурился Павел Петрович сказал:

— У нас на Урале обычай такой есть. Скажем, встречается на дороге незнакомый человек, и ему тут же вслед звучит напутствие: «Мир в дороге». Или человек, скажем, присел отдохнуть или отведать пищу. Ему тоже доброе слово сопутствует: «Мир на стану». Ну, а если, как у нас сегодня, беседа идет в застолье дружеская, то и на этот случай тоже есть доброе напутствие: «Мир в беседе».

— Прекрасный комментарий к речи сталевара! — восхищался Джон Бернал.

— А каково ваше личное отношение к проблеме участия деятелей культуры в движении за мир? — спросил его финский профессор Феликс Иверсен.

Бажов не сразу ответил на вопрос. Он посмотрел на финского гостя, минуту помолчал.

— У нас, у русских, есть такое слово «присказка». Так вот я вам расскажу этакую присказку, может быть, она и даст вам ответ на вопрос, профессор.

И Павел Петрович припомнил свой первый экзамен при поступлении в духовное училище. Русский язык, говорят, сложен. В то время, когда Бажов поступал в училище, существовали две буквы — «и» и «і», простое считали восьмиричным, а «і» — десятиричным.

— Иным ученикам было трудновато запомнить разницу в употреблении этих букв,— рассказывал Бажов.— Вышел я к доске. Экзаменатор меня и спрашивает:

«А ну, милейший, покажите-ка, как пишется слово «мир», когда оно выражает тишину, благополучие, спокойствие».

Я быстро начертил на доске: «Мир».

Экзаменатор похвалил меня.

«А теперь другой вариант, предположим, что это слово означает вселенную».

Я не задумываясь написал на доске: «Мир».

Дотошный экзаменатор не унимался. Он предложил мне образовать целое предложение, и еще тогда, будучи учеником, я записал памятное мне предложение: «Мир во всем мире». Оно, это понятие, жило и живет во мне и сейчас.

— Вы старый, убежденный поборник мира! — восхитился этим рассказом Феликс Иверсен.

— Об этом вам надо непременно написать, — сказал Дюбуа. — И о вашем сталеваре, делегате конгресса в Париже, о котором говорил докладчик Николай Тихонов.

— Это верно. Может, и мне удастся написать. Очень правильно было замечено то, как один из ораторов сказал: нам некогда думать о войне, мы все — и рабочий, и ученый, и писатель — думаем о мире.

Бажов пригласил гостей приехать на Урал, побывать на любом заводе, поговорить с любым советским рабочим.

— Вы увидите, — говорил Бажов, — как светел мир нашего человека и почему он готов защищать стойко мир.

Джон Бернал впоследствии, встречаясь с советскими друзьями, не раз вспоминал эту беседу с писателем Бажовым.

После конференции у нас в стране началась большая кампания за претворение в жизнь решений Парижского конгресса сторонников мира. В областях, краях и республиках создавались комитеты защиты мира. Павел Петрович Бажов возглавил Свердловский областной комитет. И хотя это дело было новое, приехав из Москвы, он выступал не раз с рассказами о поездке в столицу, о своих встречах с зарубежными гостями. Голос его в защиту мира звучал не только на Урале, в родном Свердловске. Он собирался написать книгу о мире. Тяжкий недуг не дал ему осуществить эти планы.

Был конец декабря 1949 года. Вместе с писателем Павлом Нилиным мы приехали в Свердловск, чтобы познакомиться с жизнью и деятельностью писателей. Павлу Филипповичу были хорошо знакомы эти края, и он, собираясь в поездку, по-зимнему оделся. Поглядывая на мою не подходящую сезону одежду, потирая руки, он подшучивал: «Морозы уральские колючие, узнаем мы, почем фунт лиха». Морозы и в самом деле стояли крепкие, жгучие.

В первый же день по приезде в город мы отправились в отделение Союза писателей, которое возглавлял Павел Петрович Бажов. Он уже дожидался нас, вышел нам навстречу и шутливо заговорил:

— Ну вот, приехали ревизоры, держись, свердловская писательская братия!

Павел Нилин, старый знакомый Бажова, ответил ему в тон:

— Чего-чего, а бумагу-то настрочим, только ведь похвальную, Павел Петрович, мы ревизоры—не кляузники...

— Ну, коли так, стоворимся, что к чему, сами вам подскажем беды-недостатки.

Павел Петрович был в хорошем настроении, и мы с первой же минуты установили с ним добрый контакт, передали приветы от Фадеева, Тихонова, Караваевой. Он слушал внимательно наш рассказ о делах столичных. Мы сразу же, как говорится, выложили на стол поручения, которые нам были даны. А состояли они в том, чтобы познакомиться с новыми книгами уральских литераторов, посмотреть, что можно было бы рекомендовать для издания в Москве. Поручалось нам вместе с Бажовым подготовить предложения об оказании помощи в работе писательской организации Урала.

Высказали мы и свое пожелание побывать на заводах, встретиться с рабочими, принять участие в одном из литературных вечеров.

— Что-что, а в этом мы поможем. Вот у нас послезавтра будет литературный вечер на Уралмаше. Милости просим.

Вскоре появились один за другим писатели, пошли знакомства, обычные в таких случаях разговоры. Павел Петрович неторопливо стал одеваться и, обращаясь ко всем, сказал:

— Братцы, не будем эксплуататорами, пощадим гостей с первого дня, пусть отдохнут.

Мы вышли на улицу вместе с Бажовым. Он вызвался пройти с нами до гостиницы, сообщил, что вообще любит ходить пешком, ездить в трамвае, а если представится возможность, проехаться за милую душу на санках. Было морозно, порывистый ветер обжигал лицо. Павел Петрович лукаво поглядывал на нас. На его лице то и дело проскальзывала добрая улыбка. Мы шагали молчаливые. Бажов заговорил первым:

— Ну, каков он, мороз-уралец? — Этот вопрос был явно обращен ко мне. Не дождавшись ответа, Павел Петрович продолжал: — Мороза бояться — и на Урал не ездить!

А потом как бы в утешение продолжал:

— Разве это мороз? Вот бы градусов под пятьдесят. А такие у нас бывали. Бывало, птицы на лету мерзли. А теперь другое дело. Меняется климат даже на моей памяти. Похоже, что юг продвигается на север. Вот наши садоводы уже виноград пробуют выращивать.

Павел Петрович перевел дух, остановился около большого красного дома и как-то неожиданно повернул разговор на другую тему.

— Вот, взгляните! — подняв руку, продолжал он. — Раньше это был один из красивейших домов в городе. А теперь уже нечем ему гордиться, хоть отделка и хороша, и украшений всяких сделано множество. Потерялся на улице, да и где ему тягаться с такими красавцами! — И Павел Петрович, повернувшись, показал на новые дома, сооруженные на этой же улице.

Бажов горячо, до боли, любил свой родной город, свой Урал, его леса, озера, особенно лес, несказанно радовался большим переменам, происходившим на уральской земле. Потом он нам рассказывал, как благодатен лес, как надо его беречь и холить (уже тогда он проявлял озабоченность непродуманной рубкой

лесов). После разгрома белогвардейцев Бажов вернулся в родные края. Он тяжело болел и целыми днями просиживал в лесу, слушал шум сосен, вдыхал запах смолы, и лес помог ему выздороветь. Перечитывая книги Бажова, нельзя не заметить, с какой любовью он описывает лес, чащобы, лесную красоту.

Совершая с Бажовым в тот вечер прогулку по городу и слушая его, мы поражались, с какими подробностями он говорил о дне вчерашнем, о нынешних переменах. Ему была известна история чуть ли не каждой улицы, чуть ли не каждого завода.

— И в самом деле есть что посмотреть. В музеях-то наших не забудьте побывать... Я ведь в этот город мальчишкой приехал. Все на глазах меняется. А многое новое подчас не замечается, будто так и надо. Кажется, совсем недавно бродил с корзинкой по местам, где сейчас раскинулся Уралмашзавод. Вот какова она, история с географией,— закончил Павел Петрович.

Посмотрел на нас пристально, спросил, как мы мороз выдерживаем. Мы старались выглядеть пободрей, а Павел Филиппович Нилин выглядел как заправский сибиряк, которому и самый лютей мороз нипочем. За разговорами не заметили, как прошли большое расстояние. В голосе Бажова уже чувствовалась усталость, он был еще нездоров, и мы настояли на том, что ему пора заканчивать прогулку.

— Ну, раз пора, так пора. Пожалуй, меня дома уже ждут, беспокоится у меня хозяйка. Милости просим в гости к нам, почаевничать.

И, прощаясь с нами в тот морозный вечер, он как бы подвел итог нашей беседе:

— Как это говорил нам Мамин-Сибиряк: «Вдали, закутанный в дымку, развернулся убегающий из глаз красавец город». А что бы сказал он теперь... И писать, и писать обо всем этом надобно,— словно размышлял он вслух. — Я вот недавно выпустил такую небольшую книжицу «Дальнее — близкое». Это о прошлом Свердловска. Будете дома, подарю ее вам. Надо напомнить нашим людям, особенно молодым, каким он был, Свердловск, наш Урал, и каким стал. Оно ведь правильно, без знания прошлого нельзя успешно строить настоящее.

Мы пообещали Павлу Петровичу выполнить его пожелания и поближе узнать город, условились с ним о встрече на Уралмашзаводе. Писатели Свердловска готовили там литературный вечер.

Мы пришли на завод заранее. Задолго до начала вечера во Дворце культуры царило необычное оживление. Народу собралось полным-полно. Пришли кадровые рабочие, старики, молодежь. Все ждали приезда Павла Петровича. Он бывал часто на заводе, в цехах, любил побеседовать в перерывах с старожилками, да и молодых не обходил.

Бажов вошел в зал приподнятый, бодрый, то и дело теребил по привычке свою густую бороду, что было знаком его веселого настроения. Запросто, как с хорошими знакомыми, здоровался со многими рабочими. Открытие вечера чуть запаздывало, и Бажова увлекли на сцену, в президиум. Вечер этот был необычный, писатели отчитывались о своей работе, поэты читали новые стихи, выступали артисты. Главная тема вечера — как писатели отражают в своих произведениях труд рабочего человека, как они показывают людей передних ударных рубежей.

Один за другим выходили на авансцену писатели, читали свои произведения, рассказывали о творческих планах.

Дошла очередь до Бажова. Когда председательствующий предоставил ему слово, в зале вспыхнули дружные аплодисменты. Бажов вышел поближе к краю сцены:

— Я тоже хочу вам подарок преподнести. Сказ я последний написал «Живой огонек». Только читать я громко не мастак...

Приумолк, посмотрел мудрыми, лукавыми глазами в зал и услышал одобряющие голоса:

— Читайте, читайте, услышим!

— Нет, братцы, я на этот раз хитрым оказался. Со мной артист из филармонии приехал, вот он и прочитает... А я уж потом выскажусь. Договорились? — И Павел Петрович, удовлетворенный, вернулся в президиум.

Артист выразительно читал последнее написанное

Бажовым произведение. В большом зале стояла тишина. Это был рассказ о том, что дала советская власть молодому рабочему человеку и какие перемены произошли в облике советского человека. Это был сказ о союзе труда и науки, о стирании грани между трудом умственным и физическим. Писатель давал живописную картину того, как растет и мужает новый, советский мастер: рабочие навыки у него освещены наукой, а книжные знания закрепляются рабочей практикой. Вот этот новый мастер и дает живой огонек. Он мастер отменный, любит и знает красоту, как его предки. Это его золотые руки выпускают изделия с нашей, советской маркой.

Когда артист закончил читать, по залу прошел гул одобрения и снова загремели долгие аплодисменты. Поднялись несколько рук, посыпались вопросы: все хотели услышать рассказ Бажова, как писался сказ, что еще пишет, скоро ли выйдут новые книги...

Бажов снова подошел поближе к авансцене. Ему поднесли микрофон. И он заговорил. Помнится, это не была обычная речь, а задушевная беседа с близкими и дорогими людьми, и говорил Бажов в тот вечер не отвлеченно, не вообще, а предметно, конкретно. Основная мысль сквозила в его выступлении — уметь беречь красоту, видеть ее, с детства приучать уважать труд и трудового человека. Он говорил о важности воспитания у детей, молодежи поэзии творчества, умения ценить и уважать красоту и силу этого творчества. Без этого не может быть гармоничного человека нашего времени.

Он говорил о том, что волновало рабочих, что выдвигала сама жизнь, говорил о сложных вещах просто, с какой-то особой бажовской выразительностью.

Встреча рабочих Уралмаша с любимым писателем явилась для нас праздником. И об этом было сказано в заключение вечера. Это был праздник и для Бажова, о чем он сказал, уезжая с завода.

4

Наступил черед нашей прощальной встречи с Бажовым. Нилин и я поехали к нему домой. Мы знали, что ему нездоровилось, и не хотели его беспокоить, но

Бажов настоял на своем, да и к тому же настаивала на этом хозяйка дома Валентина Александровна. И вот мы у дома Бажова, на улице Чапаева. Это был небольшой рубленый дом, построенный еще в 1914 году, с трех сторон он был окружен деревьями. Сад был посажен руками Павла Петровича; здесь всего было понемногу: уральская рябина, яблоки, смородина, крыжовник, малина. Разрослась и высоко поднялась ввысь липа, посаженная много лет назад Павлом Петровичем. Своим садом писатель гордился, он любил, как он говорил, «повозиться» в саду не только летом, но и во все времена года, с удовольствием работал по хозяйству, занимался столярным делом. Павел Петрович встретил нас у крыльца. И на этот раз он наводил у дома порядок — прочищал от снега дорожку.

— Милости прошу, посидим посумерничаем, чайку попьем,— весело произнес Бажов,— да и хозяйка заждалась.

Валентина Александровна встретила нас радушно. Хозяйка дома, да и сам хозяин потчевали каждого: «Что в печи, то и на стол мечи». Мы знали по рассказам друзей, что в трудные дни войны, когда в Свердловске жила большая группа эвакуированных из Москвы писателей, многие из них, бывая дома у Бажова, встречали приветливый прием, их всегда угощали горячим чаем.

Это гостеприимство мы с Павлом Нилиным ощутили тоже с первой минуты. Павел Петрович провел нас в свой кабинет и объявил, что «делу время, а потехе час».

Мы уютно уселись в кресла. Я стал пристально рассматривать кабинет. Окна кабинета выходили в сад, летом, видно, их закрывала листва. Сейчас виднелись деревья, покрытые пушистым снегом.

Павел Петрович сел за стол-конторку, заваленную множеством рукописей, книг, газет, журналов. Чувствовалось, что, несмотря на плохое зрение, он продолжал много читать. Здесь же были расставлены сувениры, изделия, подаренные ему в юбилейные дни.

Теперь, вблизи, его можно было рассмотреть лучше, и таким простым, человеческим тогда он предстал перед нами, в тот декабрьский морозный вечер. Он был одет в мягкую куртку, на ногах добротные валенки

(зимой он другой обуви не признавал). Действительно, он похож был на сказочника: русая окладистая борода с проседью, глаза сверкающие, почти прозрачные. Взгляд цепкий, пронзительный. Павел Петрович взял трубку, набил ее табаком и закурил.

Он забрасывал нас вопросами о работе московских писателей, о новых книгах, показал нам целую полку книг с автографами. Я попросил разрешения посмотреть эти книги, и мое внимание невольно привлекла трогательность надписей:

«Чудесному мастеру самоцветов народных сказов с солдатским приветом. А. Сурков».

«Обладателю волшебной «Малахитовой шкатулки». Ф. Гладков».

«Дорогому Павлу Петровичу с лучшим дружеским чувством. Илья Садофьев».

— Книг-то много, одних надписей всех не перечитать,— заметил Павел Петрович, как бы приглашая продлить начатую беседу.

Он спросил о Николае Тихонове. Я рассказал о первых шагах создаваемого Советского Комитета Защиты Мира.

— Это хорошо, что избрали его председателем такой почетной организации. Это по нему. Все войны прошел. А поэт какой — большой, настоящий гражданский.

И вспомнил:

Гвозди бы делать из этих
людей,
Не было б крепче в мире
гвоздей.

Передайте ему привет. Скажите, что ждем инструкций, как разворачивать работу. Я ведь теперь тоже Свердловский комитет должен возглавить. Дело важное, а инструкций все нет,— шутливо сказал Бажов.

— И вас, вижу, к циркулярам потянуло? Этак и в бюрократа можно вырасти,— пошутил Нилин.

— Из меня бюрократа никак не получится,— ответил Бажов.

Зашла речь о творчестве свердловских писателей. Павел Нилин рассказал о своих впечатлениях, о бе-

седах с писателями, об их творческих замыслах, называл книги, которые успел прочесть.

— Что же, впечатление в общем хорошее, творческая жизнь у вас в полном разгаре. Это радует. почаще надо публиковать произведения ваших писателей в толстых журналах. Мы вот целый рекомендательный список составили...

Было видно, что все сказанное для Бажова не ново. И во время болезни, продолжавшейся много времени, Павел Петрович не отрывался от дел писательской организации, продолжал направлять ее работу. Он радовался выходу каждой новой удачной книги, постоянно помогал начинающим литераторам и учил этому других писателей.

— Только вот мастерства иным не хватает. Все уповают на талант... Талант, конечно, дар божий, его надо беречь и развивать, но я сторонник труда и в литературе. Я убежден, что каждый, кто горячо трудится, много дает, может создать добротную книгу. Я вот сколько себя помню, столько лет и работаю, даже по ночам. Мне говорят: талант, талант... А что такое талант? Один мудрец правильно сказал: «Гений — это один процент гения и девяносто девять потения».

Приумолк, снова посмотрел в заиндевелое окно, выходящее в сад, и сощурил глаза:

— Вот опять-таки к вопросу о талантливости. У нас иной раз критики однобоко подходят к оценке творчества писателя. Помню, когда я написал сказ «Зеленая кобылка», на нее в газете рецензия появилась. Расхваливает критик: талант, мол, появился обнадеживающий. А я с бородой жожу...

Мы с Нилиным дружно засмеялись.

— Насчет талантливости судить не берусь, а что молодой, это верно... — продолжал Бажов. — Подольше бы ходить в молодых. Завидовать только можно нашей молодежи. Вот сколько у нее возможностей — журналы, газеты, печатайся... только трудись.

Зашла речь о связях писателей с жизнью, о контактах с рабочими коллективами. Мы высказали свое одобрение состоявшемуся литературному вечеру на Уралмаше и особенно похвалили выступление Павла Петровича.

— Такие вечера должны стать регулярными, и не только на Уралмаше, но и на заводах других городов,— посоветовал Нилин.

— Это верно. Мало бывают наши писатели на производстве,— ответил Бажов.— А ведь писатель должен находиться в самой гуще жизни, должен больше наблюдать, больше видеть людей, прекрасных советских людей. Тогда и произведения наши станут полнокровнее, ярче, и недостатков в них будет меньше.

Павлу Петровичу как-то рассказали о рабочем дне одного свердловского литератора, который по утрам обходил редакции, выписывал актуальные темы, а получив заказ, работал до очередного обхода. Привлечь его в заводскую или колхозную аудиторию было трудно. Естественно, что произведения его нередко отличались надуманностью.

— Это настоящее ремесленничество,— заметил Бажов.— Так ведь можно и совсем перестать быть писателем. Вспоминается такой факт. В 1949 году вышла приключенческая повесть Ликстанова «Зелен камень». Талантливый писатель на этот раз создал не совсем удачный детектив. Естественно, в печати появились критические замечания. Писателю указали на существенные творческие пробелы. Но Ликстанов принял критику в штыки, обиделся. А ведь писатель-то неплохой. Помочь ему надо,— говорил Павел Петрович.— Поймет он, обязательно поймет, что критикуют его поделом, что эта критика только на пользу ему.

Вопрос о критике очень волновал Баждова и как писателя, и как руководителя писательской организации,— он часто сетовал на то, что в Свердловске мало своих критиков.

Павел Петрович сам был человеком большой скромности и не терпел зазнайства. «Зазнайство вообще, а в литературе в особенности — самое страшное зло», — не раз говорил он. Резкое недовольство его вызвала статья, опубликованная в одном из номеров «Уральского современника».

— А вот вам другая сторона однобокости иных критиков. Один из них меня считает знаменитым, даже сравнивает с классиками. Позвольте, как же так можно? — сердился Павел Петрович.— Какой же я клас-

сик? Пусть автор соизволит обойтись без этих слогов и разбирает творчество по существу...

Вспоминается и другое. Шла речь об одном писателе, который перестал требовательно относиться к себе, прислушиваться к голосу своих товарищей по перу.

— И написал-то он не так много,— говорил Павел Петрович,— а уже возгордился. А гордиться особенно нечем. В книге огрехов многовато и сорных слов немало. Все от того, что мы мало по-доброму критикуем людей. Истина ведь: скромность украшает человека.

Шла тогда речь, казалось бы, об известных свойствах писательского труда. Но, говоря о них, Бажов находил свои подходы, свои меткие оценки. Говоря о красоте слова, о чем часто забывают иные литераторы, он выступал против вычурности, надуманности, усложненности.

— Я за то, чтобы писатель говорил со своим читателем доходчиво, и, разумеется, против упрощенчества. Хотя и говорят, что простота хуже воровства, но ведь еще есть и мудрая простота. Все великое просто.

Сетовал Бажов и на то, что стало все чаще появляться много объемных, толстых книг. Он признавался, что не любит длинных сочинений.

— Они похожи на товарный поезд. Первый десяток вагонов при встрече пропускаешь с удовольствием, с любопытством, дальше — полоса безразличия, еще дальше думаешь: когда же это кончится?

В тот вечер Бажов озабоченно говорил о детской литературе; он любил хорошую детскую книгу, хвалил писателей, пишущих для детей — С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто, Л. Кассиля, свою землячку Елену Хоринскую. Вдруг неожиданно заговорил о Мамине-Сибиряке. Вспомнил, как еще в училище на одном из вечеров он прочитал доклад «Д. Н. Мамин-Сибиряк как писатель для детей».

— А у нас почему-то забывают об этом писателе,— с горечью сказал Бажов.

Мы обещали Павлу Петровичу передать его сообщения Фадееву. Нет-нет да и возвращался опять Бажов к вопросу о долге писателя. Почему-то вспомнил он, как рабочий одного из свердловских заводов обратился к нему как к депутату Верховного Совета с просьбой помочь внедрению ценного изобретения.

Убедившись в том, что изобретение действительно представляет ценность, Павел Петрович говорил с директором завода, а когда этот разговор не дал результата, в одну из своих поездок побывал в министерстве и добился внедрения изобретения в производство.

Да, он всегда помнил о своем общественном долге. Однажды рабочий сказал ему:

«Вы ведь, во-первых, писатель, а во-вторых, депутат. Вы потому депутат, потому что писатель». Вот она, мудрая простота.

Был уже поздний час, мы начали собираться в гостиницу: завтра предстоял отъезд в Москву. Павел Петрович просил передать его пожелание руководству Союза писателей, чтобы свердловских писателей почаще вызывали в Москву для обсуждения их произведений с участием московских литераторов.

На прощанье он подарил свою последнюю книгу «Дальнее — близкое». Он подошел к своей конторке и сделал надпись: «Михаилу Ивановичу на добрую память о поездке в Свердловск. П. Бажов. 19. XII. 49. Свердловск, Чапаева, 11».

Мы уезжали от Бажова покоренные этим человеком, его умом, его мудростью, его человеколюбием.

...Прошло много лет с той незабываемой декабрьской встречи в Свердловске с Павлом Петровичем Бажовым, а она остается неизгладимой в памяти.

В одном из своих сказов его герой говорит: «Работа, она штука долговекая, человек умрет, а дело его остается».

Эти слова высечены на памятнике Бажову, что сооружен в Свердловске.

Москва, 1952—1976



П. П. БАЖОВ



АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 28 января (15 старого стиля) 1879 года в Сысертском заводе бывшего Екатеринбургского уезда, Пермской губернии.

Отец по сословию считался крестьянином Полевской волости, Екатеринбургского же уезда, но никогда сельским хозяйством не занимался, да и не мог заниматься, так как в Сысертском заводском округе вовсе не было тогда пахотных земельных наделов. Работал отец в пудлингово-сварочных цехах в Сысерти, Северском, Верхсысертском и Полевском заводах. К концу своей жизни был служащим — «рухлядным припасным» (это примерно соответствует цеховому завхозу или инструментальщику).

Мать кроме домашнего хозяйства занималась рукодельными работами «на заказчика». Навыки этого труда получила в оставшейся еще от крепостничества «барской рукодельне», куда была принята в детстве, как сирота.

Как единственный ребенок в семье при двух работоспособных взрослых, я имел возможность получить образование. Отдали меня в духовную школу, где плата за право обучения была значительно ниже

против гимназий, не требовалось форменной одежды и была система «общежитий», в которых содержание было гораздо дешевле, чем на частных квартирах.

В этой духовной школе я и учился десять лет: сначала в Екатеринбургском духовном училище (1889—1893); потом в Пермской духовной семинарии (1893—1899). Окончил курс по первому разряду и получил предложение продолжать образование в духовной академии на положении стипендиата, но от этого предложения отказался и поступил учителем начальной школы в деревню Шайдуриху (нынешнего Невьянского района). Когда же мне там стали навязывать, как окончившему духовную школу, преподавание закона божия, отказался от учительства в Шайдурихе и поступил учителем русского языка в Екатеринбургское духовное училище, где в свое время учился.

Эту дату — сентябрь 1899 года — я считаю началом своего трудового стажа, хотя в действительности работу по найму начал раньше. Отец мой умер, когда я был еще в четвертом классе семинарии. Последние три года (отец болел почти год) мне пришлось зарабатывать на содержание и учебу, а также помогать матери, у которой к тому времени сильно испортилось зрение. Работа была разная. Чаще всего, конечно, репетиторство, мелкий репортаж в пермских газетах, корректура, обработка статистических материалов, а «летняя практика» порой бывала по самым неожиданным отраслям, вроде вскрытия животных, павших от эпизоотии.

С 1899-го по ноябрь 1917 года работа была одна — учитель русского языка, сначала в Екатеринбурге, потом в Камышлове. Обычно летние вакации посвящал разъездам по уральским заводам, где собирал фольклорный материал, интересовавший меня с детства. Ставил перед собой задачу сбора побасок-афоризмов, связанных с определенной географической точкой. Впоследствии весь материал этого порядка был потерян вместе с принадлежавшей мне библиотекой, которая была разграблена белогвардейцами, когда они захватили Екатеринбург.

Еще в семинарские годы принимал участие в революционном движении (распространение нелегальной литературы, участие в школьных листках и т. д.).

С начала февральской революции ушел в работу общественных организаций. Некоторое время партийно не определился, но все же работал в контакте с рабочими железнодорожного депо, которые стояли на большевистских позициях. С начала открытых военных действий поступил добровольцем в Красную Армию и принимал участие в боевых операциях на Уральском фронте. В сентябре 1918 года был принят в ряды ВКП(б).

Основной работой была редакторская. С 1924 года стал выступать как автор очерков о старом заводском быте, о работе на фронтах гражданской войны, а также давал материалы по истории полков, в которых мне приходилось быть.

Кроме очерков и статей в газетах написал свыше сорока сказов на темы уральского рабочего фольклора. Последние работы, на основе устного рабочего творчества, получили высокую оценку. По этим работам был принят в 1939 году в члены Союза советских писателей, в 1943 году удостоен Сталинской премии второй степени, в 1944 году за эти же работы награжден орденом Ленина.

Повышенный интерес советского читателя к литературной моей работе этого вида, а также мое положение старого человека, лично наблюдавшего жизнь прошлого, побуждают меня продолжать оформление уральских сказов и отображать жизнь уральских заводов в дореволюционные годы.

Кроме недостатка систематического политобразования сильно мешает работать слабость зрения. При начавшемся разложении желтого пятна уже не имею возможности свободно пользоваться рукописью (почти не вижу того, что пишу) и с большим трудом разбираю печатное. Это тормозит и остальные виды моей работы, особенно по редактированию «Уральского современника». Приходится многое воспринимать «на слух», а это и непривычно, и требует гораздо больше времени, но работу, хоть и в замедленном темпе, продолжаю.

С февраля 1946 года избран депутатом Верховного Совета СССР по 271-го Красноуфимского избирательного округа, с февраля 1947 года депутатом Свердловского горсовета от 36-го избирательного округа.

25 января 1950

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. А. Бажова. О муже *</i>	3
<i>Николай Анов. Павел Бажов в Усть-Каменогорске</i> . . .	26
<i>Ариадна Бажова-Гайдар. Глазами дочери.</i>	43
<i>Николай Рахвалов. В устье каменных гор *</i>	83
<i>Александр Шарч. Встречи с П. П. Бажовым</i>	92
<i>Николай Олесов. Дружба с газетой *</i>	103
<i>Павел Соломеин. Мудрый учитель *</i>	113
<i>Константин Боголюбов. Большая жизнь *</i>	119
<i>Людмила Татьяничева. Слово о мастере несравненном</i> .	132
<i>Евгений Пермяк. Долговекий мастер</i>	146
<i>Ольга Маркова. Незабываемое *</i>	181
<i>Борис Михайлов. Друг и наставник *</i>	190
<i>Елена Хоринская. Пионерский галстук</i>	199
<i>Константин Мурзиди. Первые слова *</i>	216
<i>Анна Караваева. Странички воспоминаний *</i>	220
<i>Виктор Стариков. Встречи сквозь годы</i>	241
<i>Борис Рябинин. По следам легенды *</i>	264
<i>А. С. Бондина. Первые начинатели *</i>	307
<i>Евгений Багреев. Большой друг газеты</i>	312
<i>Иван Тюфяков. Черты душевной полноты</i>	325
<i>Олег Шумков. Самоцвет</i>	331
<i>Иван Дергачев. Дела литературные</i>	342
<i>Лев Кассиль. «Дорогое имячко» *</i>	354
<i>Нина Попова. Наш Бажов *</i>	360

<i>Л. Скорино. На Урале, в дни войны</i>	369
<i>Григорий Шумилов. Беседы с писателем *</i>	436
<i>Федор Гладков. О Павле Петровиче Бажове *</i>	449
<i>В. Данилевский. Наши маршруты *</i>	458
<i>Юрий Хазанович. «Ключ-камень» *</i>	465
<i>Михаил Батин. «Оставить людям доброе» *</i>	478
<i>Алексей Сурков. Уральский волшебник *</i>	488
<i>Михаил Китайник. Истоки чудесного *</i>	491
<i>Борис Полевой. Секрет вечности *</i>	496
<i>Валентин Федоров. Памятный день</i>	508
<i>Андрей Мешавкин. Манчажская страница</i>	516
<i>Александр Нейштадт. Павел Бажов — депутат *</i>	531
<i>М. Горловский. Встречи П. П. Бажова с историками Урала*</i>	552
<i>Никита Бажов. О моем деде</i>	559
<i>Михаил Котов. Живое слово</i>	564
<i>П. П. Бажов. Автобиография *</i>	586

МАСТЕР, МУДРЕЦ, СКАЗОЧНИК

Воспоминания о П. Бажове

М., «Советский писатель», 1978, 592 стр.
План выпуска 1978 г., № 103

Художник **В. Н. Чупрыгин**. Редакторы **В. П. Балашов**, **Р. И. Винонен**.
Худож. редактор **Н. С. Лаурентьев**. Техн. редактор **М. А. Ульянова**.
Корректоры **Т. Н. Гуллева** и **Р. Г. Рагимова**

ИБ № 1242

Сдано в набор 20.12.77. Подписано к печати 22.05.78. А 10985. Формат 84×108^{1/2}. Бумага тип. № 1. Журнальная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 30,91. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1684. Цена 2 р. 30 коп.

Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 28.

2р. 30к.

